84.5Рез
Б74

тамыр

Герольд
Бельгер

Разлад

Б36965

Бельгер

ГЕРОЛЬД БЕЛЬГЕР

Сочинения в десяти томах.
Избранное

«Балалар әдебиеті»
Алматы 2011

ГЕРОЛЬД БЕЛЬГЕР

Избранные сочинения
том пятый

РАЗЛАД

«Балалар әдебиеті»
Алматы 2011

УДК 821 (574)
ББК 84 Рус-Каз 7-44
Б 44

ВЫПУЩЕНО ПО ПРОГРАММЕ «ИЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ВАЖНЫХ ВИДОВ ЛИТЕРАТУРЫ»
КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИИ И АРХИВОВ
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

536965

Бельгер Герольд.
Б 44 Избранное: Сочинения в десяти томах. /*Герольд Бельгер.* — Алматы, «Балалар әдебиеті», 2011.

ISBN 978-601-252-019-4
Т.5. РАЗЛАД. *Роман, литературные портреты.* — 562 с.

ISBN 978-601-252-037-8

В пятый том Избранного Герольда Бельгера вошли остросюжетный современный роман «Разлад» о причудливых судьбах казахстанцев разных национальностей и три десятка литературных портретов выдающихся деятелей отечественной культуры.

УДК 821 (574)
ББК 84 Рус-Каз 7-44

ISBN 978-601-252-037-8 (Т.5.)
ISBN 978-601-252-019-4

© Бельгер Г., 2011
© «Балалар әдебиеті», 2011

Северо-Казахстанская
областная библиотека
им. С. МУКАНОВА
г. Петропавловск

Халим Садыков

НОСТАЛЬГИЯ ПО НЕВОЗВРАТНОМУ
(о романе Г.Бельгера «Разлад»)

Этот роман пока не появился на свет отдельной книгой. Я прочел его в журнальном варианте, опубликованном в четырех номерах «Простора» за 2007 год. Поэтому я далек от мысли, что мои суждения и выводы о романе будут окончательными и безупречными. Наверняка найдутся критики, которые терпеливо подождут выхода произведения отдельным изданием и займутся его обстоятельным разбором.

Но хватит загадки. Пора назвать роман и его автора. Роман называется «Разлад», и написал его Герольд Бельгер. В нынешнем литературном пространстве фигура эта настолько приметная, что я обхожусь без всяких эпитетов.

Когда я читал «Разлад», меня не покидала мысль, что держу я в руках поистине уникальную, редко встречающуюся в нашей предельно насыщенной литературной жизни книгу. Ну посудите сами: написана она немцем по происхождению, казахом по месту жительства и исторической судьбе и русским человеком, пишущим и думающим на языке межнационального общения. И все эти три культурные почвы настолько естественно, органично, без всякой заданности и фальши входят в плоть и кровь этого писателя, рождают такой немыслимый колорит — душевный, стилевой, интонационный, сюжетный, — что читаешь и думаешь про себя: «Ну и ну!.. Так кто же он — Герольд Бельгер, чей писатель?»

Один из двух главных героев его романа немец Карл Деграф попал в Казахстан в числе переселенцев, да так и прирос к аульной, колхозной жизни, обретя здесь свою вторую родину. Всю свою сознательную жизнь просидел за рычагами трактора и штурвалом комбайна, работал, как говорится, за троих. И теперь этот немец так глубоко врос, вжился в иную национальную среду, культуру, язык и обычаи, что его уже трудно было отличить

от местных казахов. Он говорил, рассуждал (и мыслил!) как истинный степняк, виртуозно владея всеми красками и нюансами казахского языка.

Но ведь это история и самого автора романа — Герольда Бельгера, который, как мне известно, окончил казахскую школу в ауле и говорил на казахском языке более живо и уверенно, нежели на русском или немецком. Так что Карл Деграф — не совсем выдуманная фигура, а скорее родной брат по крови, по духу, по человеческой судьбе самому создателю романа. В этом смысле мы можем говорить об автобиографизме этой книги, пронизывающем буквально весь роман, особенно в публицистической его части. Поэтому я не очень удивился, когда услышал в диалогах и монологах героев романа и в авторской речи обилие казахских слов и выражений, пословиц и поговорок, которые, впрочем, по-своему гармонировали с русской речью, а не казались излишней экзотикой. Вот некоторые образцы казахской лексики, которые даются, так сказать, «открытым текстом»: бишара, барекельды, хабар, айналайн, курултай, тойдуман, тамыр, агай, аксакал, ата, келин, женге, шукур, аздап-маздап, байбише и другие. А как умело и уместно вплетает автор в русскую речь казахские пословицы и поговорки, крылатые выражения! При этом многие из них не копируют первоисточники, а как бы перевоссоздают их глубинный смысл. Например: «Чем сорок дней быть атаном — холощеным рабочим верблюдом — лучше быть один день бурой — самцом-производителем и побуйствовать всласть»; «Старая-престарая истина, что-де «пусть говорит байский сынок, хоть и рот его кривой», вновь стала правилом лживого бытия»; «Кто верблюда заглатывает с шерстью, а коня с поклажей»; «Кто не хочет видеть, тот и верблюда не увидит» и др.

Ну а диалоги героев романа, их словесные ритуалы и манера общения, ей-богу, просто неподражаемы. В них сокрыты и теплота чувств, и легкая ирония, и дань речевым традициям, «заповеданным неторопливыми предками степняков». Вот так начинается приветствие двух старых друзей — Карла Деграфа и Мамбета Адилова:

«— Эй, бауырым, жив-здоров? — спросил по обыкновению Мамбет по-казахски.

— Е-е, слава всевышнему! Шукур, шукур! — также по-казахски ответил Карл».

Или:

— Ойбай, Маке, срочно собирайтесь. Велено вас доставить в район.

— Кто велел?

— Сам Саке.

— А ему кто приказал?

— Сам Таке!

— А его кто вспомнил?

— Ваш сын Баха.

— Апырай, а! Как снег на голову...».

Вот такой любопытный симбиоз языков. Поневоле вспоминаешь «Войну и мир» Л.Толстого, где господа дворяне изъясняются между собой на смешанном русско-французском языке. Но там мы имеем дело с сатирой — осуждением офранцуженных русских. А в «Разладе» совсем другое, без намека на сатиру (именно в данном контексте). Здесь другая культурная атмосфера, другие традиции, основанные, как мы говорим, на дружбе народов, на необходимости дышать одним историческим воздухом.

Возможно, с точки зрения строгих лингвистов, в этой манере говорить одновременно на двух-трех языках не безгрешно (засорение языка!). Но мне, черт возьми, импонирует такое речевое общение людей, связанных одной исторической судьбой; да и герои романа становятся как-то ближе, роднее, и сам роман дышит правдой жизни.

Итак, еще раз спрашиваю самого себя: «Чей же вы писатель, Герольд Бельгер? К какой литературе мне вас отнести, чтобы была в этом деле определенность?» Но, увы, ясности не получается. Скажу «казахский писатель» — обидятся немцы; скажу «немецкий» — не вполне одобрят русские. Одним словом, перед нами явление отнюдь не типическое, а скорее исключительное, но в историческом смысле вполне объяснимое. Такую необычную судьбу преподнесла писателю сама жизнь. Жизнь, полная шекспировских страстей и трагедий, счастливых приобретений и потерь. Поэтому я скажу, пожалуй, так: «Герольд Бельгер — талантливый и уже маститый казахстанский писатель и переводчик, чью казахско-русско-немецкую интонацию не спутаешь ни с чем другим. И слава богу».

Однако пора перейти к главной теме моей статьи. А главное — это герои романа, его идейно-тематическая проблематика и поэтика.

Роман назван «Разладом». По-моему, точно и емко. И публицистически открыто и остро, без либеральных реверансов. «Разлад в жизни, в семье, в обществе, в душе, в сердце, в думах, в поступках», — уточняет автор. Роман написан, что называется, по следам сегодняшней быстротечной жизни, как гражданская реакция человека на те сокрушительные, убийственно-шокирующие и неудержимые изменения, которые последовали после распада СССР. Этим объясняется актуальность, злободневность произведения, его публицистическая нацеленность. Причем сам ав-

тор «Разлада» отнюдь не сторонний наблюдатель, а такой же участник и свидетель всего того, что переживают его герои. Их голоса сливаются, звучат в унисон, их души болеют, страдают от одной и той же причины — от разлада. В этом смысле, повторяю, роман автобиографичен, устами его главных героев чаще всего говорит сам автор. И говорит, выворачивает свою душу, столь искренне, с таким эмоциональным надрывом и нетерпением, что не сразу угадаешь, кому принадлежит та или иная речь, тот или иной внутренний монолог — то ли самому автору, то ли одному из героев. Вот читаю: «Голова шла кругом от всех этих дум и впечатлений. И старику чудилось, что жить становится все труднее, все неуютнее в этом беспокойном, вздыбленном времени, несмотря на кажущееся благополучие и благоденствие. Может, лучше вообще ни о чем не думать, ничего не видеть и не слышать? Жить в своей скорлупе отшельником, перетирая полуистлевшие воспоминания? Жить, как живется, плыть по течению, ни на что не уповать или уповать лишь на то, куда кривая вывезет...»

И таких продолжительных внутренних монологов, обретающих не одноголосый, а какой-то хоровой, многоголосый характер, как плод раздумий каждого честного, порядочного человека, — будь это академик или сельский тракторист, — таких монологов мы в избытке слышим чуть ли ни на каждой странице. И получается, что публицистическая запальчивость и боевитость героев романа и его автора окрашивается одновременно психологической углубленностью, простыми человеческими страстями и переживаниями. И в этом я вижу одно из бесспорных достоинств «Разлада» и его притягательную силу. Для серьезных читателей главное и дорогое в романе — это, думаю, не то, что автор столь смело и прямо, без аллегорий, вскрывает язвы и заразу нашей капиталистической действительности с ее циничной философией: «Кто смел, тот и съел». Об этом мы читаем и слышим почти ежедневно.

Дело в другом. Перед нами в целом добротный реалистический роман, написанный в традиционном эпическом жанре, без модных сегодня авангардистских ухищрений. И его герои — живые, объемные люди с индивидуальными чертами лиц и характеров. Публицистическая патетика, сильно звучащая в романе, не делает их плакатными, плоскими, одномерными, как обычно случается в произведениях подобного типа. Правда, второстепенные фигуры, собирающиеся в сквере, возле памятника Чокану Валиханову или в гостях у сына Мамбета Казиевича, описаны не столь подробно, скорее одномерно, но об этом поговорим попозже.

В «Разладе» два главных и равноценных героя, на истории ко-

торых и построен основной сюжет. Это — в недавнем прошлом аульный учитель (по-Бельгеру, «мугаллим»), ныне пенсионер, ветеран войны Мамбет Казиевич Адилов и его односельчанин и друг, бывший колхозный тракторист и комбайнер, тоже пенсионер Карл Деграф («Карл-аксакал»). О нем автор сообщает: «Старый Карл говорил с аульчанами совершенно свободно по-казахски, а по-немецки общался уже долгие годы исключительно с дворнягой Рексом».

Вот так смешались, завязались одним узлом казахи, немцы, русские. И уже национальные признаки отошли куда-то в сторону. Карла в ауле уважительно называют «Каке» или «Кареке», Мамбета — «Маке», Егора — «Жаке». И стали они похожими друг на друга в говоре, в аульной степенности, в походке и в манере встречать и провожать гостей.

Но однажды эти два друга-тамыра, вросшие ногами и руками в советскую колхозную жизнь, нежданно-негаданно оказались перед лицом другой, новой жизни, принесшей с собой «рыночную экономику», иначе говоря, капитализм. Обоих героев мы застаем в сильном смятении и растерянности. Уже подросшие и кое в чем преуспевшие дети позвали своих отцов к себе — одного в город, в столицу, другого — еще дальше, в Германию. На свою историческую родину.

Вот с этого и начинается романный конфликт. Мамбет Адилов и Карл Деграф, попав в другую житейскую среду, в другой психологический мир, абсолютно чуждый их человеческой природе, переживают то, что известно под названием «ностальгия». Ностальгия по той жизни, по тем нравственным основам, которые были естественными и незыблемыми в той, аульной действительности. Там человек, его поступки и дела измерялись совсем иными ценностями, не такими, с какими наши герои столкнулись в капиталистическом городе.

Вообще-то проблема города и села не нова в литературе Казахстана и Средней Азии. Она приобрела особую актуальность в 60-70 годы прошлого века. Я вспоминаю романы и повести Б.Тлегенова, Э.Габбасова, Р.Сейсенбаева, узбекского прозаика С.Анарбаева («Красное ореховое дерево») и др. Но то была ностальгия прошлого, советского времени со своими особыми идеалами и философией. А те перипетии бытия, о которых рассказывает Г.Бельгер, звучат, на мой взгляд, глубже и драматичнее, конфликт здесь разгорается по большому счету, почти на грани жизни и смерти. Это прежде всего ностальгия, переживаемая Мамбетом Казиевичем, который по воле своего «крутого» сына Бахыта попал из аула в южную столицу, в новую семью, что вскоре обернулось для старого человека сущей бедой и источником душевных страданий.

Развал СССР, перестройка жизни и дикий передел собственности по принципу «хватай, что плохо лежит» разбудили во многих людях циничные, грубо потребительские инстинкты; стали плодиться люди-манкурты, не помнящие родства, любители сладкой жизни. Именно этот страшный недуг поразил семью Бахыта, высокопоставленного чиновника, добившегося всех материальных благ, но проглядевшего разлад, раздрай в собственном доме. Здесь нет взаимопонимания, нет любви, нет всего того, что создает основу семьи. Счастливой семьи. Жена и дети Бахыта поражены бациллами того, что мы называли раньше мещанством, обывательской психологией: жить только для себя, жить одним днем, но с шиком, блеском.

Оказавшись свидетелем такой картины в доме собственного сына, Мамбет Казиевич не сразу пришел в себя, был подавлен, растерян. И больше всего ему было жалко Бахыта, который выглядел скорее жертвой этого всеобщего раздрая, поклонения золотому тельцу. То и дело Мамбет Казиевич предавался печальным размышлениям: «...сыну недосуг. Слишком много забот на себя взял. Так запутался, что неизвестно, когда с женой спит. И спит ли вообще?.. Отношения в семье сына показались старику странными. Каждый жил как бы сам по себе, в своей комнате, лишь иногда сталкивались невзначай в неохватном коридоре или на просторной кухне». Сам этот престижный дом, куда попал старик, его железные изгороди стали некой ловушкой, западней, страшной своей духовной опустошенностью.

Нелегко переносит перемены в жизни и его старый друг Карл Деграф. У него большая семья, все дети родились и выросли в ауле. Но как только рухнул «железный занавес», дети рванули на свою историческую родину; потащили за собой и отца. А отец не рад этому, ему все время снится его родной аул, его люди. Там была природная, естественная жизнь, естественные людские отношения. А здесь, в немецком городке, чистеньком и гладком, словно по нему прошлись утюгом, среди сытых и самодовольных горожан ему, казахскому немцу, становилось невмоготу. Так же, как и его старый друг, Карл почувствовал себя лишним и одиноким. «Он никому не нужен. Не нужен! Он растерян, потерян. Задержался в чужой гостинице, куда неизвестно как попал. А время от времени перед ним вырастает грозный немецкий полицай, упитанный, рослый, в новенькой униформе, и, тыча в него пальцем, рычит: «Verboten!»

Это был сон, но явственный в своей реальной основе.

Поколения отцов и детей, разлад между ними — проблема стара, как и сам мир. Она то ослабевает, то накаляется до кипения. Перестройка жизни одних подбросила вверх, других — опустила на дно; проснулись инстинкты самозащиты и самоу-

тверждения, инстинкты хватать все, что плохо лежит. Причем перешагивая через непреложные моральные ценности — через вековые традиции и обычаи, этические нормы и просто человеческие устои. Для жены и детей Бахыта его родной отец, старый мугаллим, — это всего лишь чужой, посторонний человек, не «ата» и даже не «аташка», а какой-то Мамбет... Казиевич, «господин устаз», «Песталоцци», как выражается его бойкий внук Арыстан.

Конечно, тяжелее всего приходится Мамбету Казиевичу. В его семье разгорелись такие кипучие страсти, от которых старый человек словно поперхнулся жизнью, потускнел душой. И стал просить сына устроить его в дом престарелых или, на худой конец, вернуть в аул. Он пояснял: «Может, там ко мне вернутся былые покой, умиротворенность, бодрость души...»

Перед нами безусловный конфликт — по-своему острый, динамичный, напрягающий души и мысли героев.

Но вот что парадоксально. Конфликт в романе какой-то мирный — без боя, без схватки, без кулачных действий. Помните, чем закончился конфликт между отцами и детьми в романе И.С.Тургенева? Вначале — острый словесный диспут между Базаровым и Павлом Кирсановым, а потом — дуэль между ними. В «Разладе» ничего подобного нет. Два старика, два положительных героя даже голоса на своих отпрысков не поднимают, не вмешиваются в их личные дела, не занимаются педагогическими нравоучениями, не демонстрируют буйство нравов. Они лишь немые свидетели происходящего, словно люди с другой планеты, для которых людские перемены, их нравственное оскудение и душевная пустота кажутся дьявольским наваждением, божьей карой, с которыми бороться невозможно, да и бессмысленно в создавшихся условиях.

Читатели, возможно, заметили только единственный случай, когда старый Карл, доведенный до отчаяния бесчисленными и изматывающими проверками и вопросами немецких чиновников — кто он да откуда, зачем приехал, на что надеется, — буквально рассвирепел, перешел на крик, заговорив вдруг не на немецком и не на русском языке, а на казахском. Автор дальше комментирует: «Это получилось так неожиданно, что присутствующие в чистом, ухоженном закутке застыли в изумлении: с таким напором на таком языке здесь никто никогда не выражался».

Что касается Мамбета Казиевича, то он вообще выглядит человеком мягким, неуверенным, компромиссным и даже застенчивым. Больше слушает, чем говорит. Ему ли бросаться в схватку?..

Так что же выходит? Роман без конфликта в традиционном смысле этого слова? Положительные герои над схваткой?

Да нет же. Конфликт, разумеется, есть. Мы, читатели, ви-

дим, ощущаем его присутствие, реагируем на него своим умом и сердцем. Но его необычность в данном случае состоит в том, что он не носит открыто-лобовой характер, не сталкивает между собой положительных и отрицательных персонажей в своей непримиримости. Здесь нет победителей и побежденных. Конфликт в романе разворачивается скорее на психологическом уровне, он проникает внутрь, в души героев, в их сознание и чувства. Двум старикам, двум тамырам досадно и больно от того, что они не могут повернуть жизнь назад, не могут раскрыть глаза своим детям и внукам, блуждающим в тумане времени. Поэтому они-то больше всего и страдают, мучаются от своего бессилия что-то изменить. Они находятся в плену тех самых ностальгических чувств, у них словно выбили из-под ног твердую почву. Нашим милым старикам кажется, что мир перевернулся — извечные, испытанные временем представления о счастье, добре, любви, о прекрасном и романтическом чудовищно исказились, деформировались, как в кривом зеркале, и привели большинство современников в шоковое состояние. «Я человек XX века, — говорит один из участников «дискуссионного клуба». — Там и остался. XXI мне чужд. Он скверно начался и скверно кончится. Прогресс, конечно, будет, но люди выродятся, деградируют...» Сказано, может быть, излишне категорично, но такую позицию можно понять.

А что же с самим автором романа? Каковы его идеалы? Кого он защищает?

Понятно, что он на стороне своих положительных героев — двух сердечных стариков. Но мало отметить это. Герольд Бельгер сам является одним из персонажей «Разлада», ведь и он постоянно рядом со своими друзьями-тамырами, с которыми часто коротает время в сквере, у памятника Валиханову. Тут все автобиографично и натурально. Азартно и хлестко. Ибо старики-пенсионеры собираются сюда не только анекдоты травить и своих предков вспоминать, а спорить, рассуждать на самые злободневные темы сегодняшней жизни. В том числе и на политические и социально-экономические, с упоминанием имен реальных и весьма значимых фигур, включая и самого Президента. Пенсионерам, как говорится, терять нечего.

Именно эти страницы романа напрямую публицистичны и дискуссионны. Верх берут монологи и диалоги со всеми риторическими всплесками и эмоциями. Газетные материалы из разных оппозиционных изданий толкуются, анализируются и комментируются вдоль и поперек, порой с обезоруживающей прямотой. Фигурантами этого «дискуссионного клуба» в романе чаще всего являются реальные лица, слегка «замаскированные» — бывшие номенклатурные и творческие персоны, ныне почетные пенсионеры. Самый «горластый» и влиятельный среди них — это, пожа-

он лично знавал всех казахских знаменитостей 40-80-х годов прошлого века».

Можно ли назвать «Разлад» политическим романом? В известной мере, пожалуй, да. Если на то пошло, вся наша нынешняя сложная, противоречивая, плохо управляемая и суматошная жизнь со всеми ее социальными, экономическими, идеологическими и культурными проявлениями и есть политика. В самом глубинном смысле этого слова.

Политические диалоги, введенные в роман, к счастью, не страдают пустым резонерством и плакатностью, оппозиционным максимализмом. Это всего лишь «кусок жизни», схваченный зрением романиста. И как во всякой жизни, здесь, на площади Чокана, сталкиваются случайное и закономерное, профессиональный расчет и полет фантазии, смешное и печальное. Участники дискуссии, несмотря на солидный возраст, по-мальчишески горячатся, спорят, демонстрируют свою эрудицию, устают и расходятся по домам. При этом удивительно, что каждая фигура в этой компании отличается своим индивидуальным лицом, своей манерой говорить, своей внешностью и мимикой. Так, уже у упомянутого историка Асенамана «светлое, мясистое, сонное лицо... мышиные глаза». Да к тому же он оказался туговат на ухо, так что беседовать с ним бывало не просто.

Все как в обычном реалистическом романе. Впрочем не лишенном... сатиры. Да, да, и сатиры, неизбежной в тех случаях, когда перед нами предстают отрицательные персонажи в своем классическом виде, т.е. как средоточие всех низменных, отталкивающих и антигуманных свойств. В романе Бельгера мы имеем дело именно с такими антигероями: Серж — «гусиноголосый», «хмырь смазливый», «скользкий, лживый... Хлыщ. Фрондер. Угодник»; Зухра — «смазливая куколка», неутомимая в любовных утехах, неверная жена, никудышная мать. Сатирико-ироническая интонация присутствует и при характеристике таких юных натур из этой же семьи, как Лаура и Арыстан.

Известно, что сатирические образы часто одномерны, эскизны, не отличаются реалистической полнотой. В них превалируют, как правило, мрачновато-черные окраски. Ни о Зухре, ни о Серже мы не можем говорить как о сложных и противоречивых характерах. Они — характеры сатирические.

Этому художественному принципу и следует Бельгер, решая собственные идейно-эстетические задачи. И тут автора мне трудно в чем-то упрекнуть. Хотя, впрочем, Пушкин как-то писал: «У Мольера скупой — скуп — и только; у Шекспира — скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен». Если следовать этому принципу, то нашему автору надо было бы написать другой роман.

РАЗЛАД

В дому разлад — и дому не рад.
Что за клад — коли все в дому на разлад

Глава первая

Третий день тянул с озера студеный ветер. Березовые и осиновые колки вокруг зябко сникшего аула приуныли, покорно роняли листву. Кудлатые тучи все плотнее затягивали небо, сплошняком струились над степью, исходя иногда сиротливым дождичком. С утра, надрываясь во все горло, черной стаей низко-низко пролетали огрузневшие за осень вороны. Они деловито спешили к мусорной свалке в лощине за аулом, откуда потом на закате дня возвращались на ночлег к лесочкам.

Осенняя тишь усугубляла одиночество.

Старый аульный муталлим[1] Мамбет Адилов в последнее время не находил себе места. Со дня на день ему предстояло покинуть родной аул, и, по всему видать, навсегда. Это его тревожило и тяготило. Шутка ли — оставлять на веки вечные родной край, родимую сторонушку... Здесь он увидел впервые белый свет, здесь был его пуп резан, отсюда ушел на войну, сюда же возвратился изрядно помятый, израненный, здесь долгие годы учительствовал в местной начальной школе, женился, похоронил жену, тихую, безответную Зуру, и теперь на восьмом десятке жизни надо было

[1] Муталлим — (мұғалім, каз.) учитель (здесь и по всему роману).

все бросить и уехать к сыну в далекий, большой город, который и манил, и пугал.

Что поделаешь? Мало ли кто в наше смутное время покидает отчий край? Жить одному в осиротевшем, хиреющем изо дня в день ауле становится невмоготу и бессмысленно. Старость драной кошкой неожиданно запрыгнула на плечи и нещадно придавливала своей глухой тяжестью к земле. Может, там, на новом месте, у сына, снохи и внуков, удастся встрепенуться и наполнить оставшуюся жизнь каким-то смыслом, избавиться от гнетущего, иссушающего душу одиночества...

Ай, вряд ли... Не было еще такого, чтобы на склоне лет человеку на чужбине было хорошо.

Но иногда разыгрывались в мыслях радужные картины: вот сидит он на кухне в уютной городской квартире, блаженствует, медный самовар посвистывает на столе, сноха потчует свекра духмяным чаем со сливками и учтиво внимает его длинным, как сказки из «Тысяча и одной ночи», рассказам об ауле, о невозвратной жизни, а внуки, разинув рты, воркуют-щебечут: «ата... ата...»

Ах, благодать! О какой усладе еще мечтать пожилому человеку...

Старый мугаллим ждал весть от сына. Еще весной Бахыт намекнул, что ближе к осени он непременно заберет отца к себе, в новую просторную квартиру в элитном доме, где заслуженного пенсионера-ветерана ждет безмятежная, обеспеченная старость, без забот и хлопот, на всем готовом и где, наконец, предстоит ему вкушать все блага цивилизованной жизни. Бахыт особенно нажимал на слово «цивилизованная». В его преподнесении оно звучало как «райская», но старик смутно представлял, в чем эта цивилизованность выражается, кроме того, что есть постоянный свет, горячая вода, теплый закуток, куда, по народной молве, сам падишах ходит пешком и уединяется за дверью.

Мамбет-аксакал давно смирился с неизбежностью отъезда, заблаговременно раздал скудный домашний скарб аульчанам, а дом и корову отписал единственной женге — вдове погибшего на войне брата.

Все долгое лето в ожидании знака от сына старик слонялся без дела по заметно опустевшему аулу, точно не-

прикаянный. Ни о чем уже не надо было заботиться — ни о сене для коровы, ни о топке на зиму, ни о ремонте по дому (о том теперь пусть болит голова расторопного внука Майры-женге из райцентра), но чувствовать себя никому и ничему не нужным было тягостно. Долгими, бесконечно тянущимися днями Мамбет-мугаллим до одури читал изрядно потрепанные за годы учительства книги, по давней привычке записывал в клеенчатые общие тетради свои наблюдения, стариковские раздумья, иногда кропал стишки, которые даже районная газета редко когда печатала, ходил на могилку Зуры, окапывал осевший холмик, чтобы бродячая скотина не тревожила его покой, заглядывал к аульчанам, к таким же, как он старикам и старушкам, выведывал их «амандық-саулық», житье-бытье, здоровье-благоденствие, навещал давнего собеседника Карла, куковавшего бобылем в своем доме-бастионе на дальнем берегу озера.

И так мелькали дни, недели, а сын все помалкивал. Видно, что-то там, в южной столице, не заладилось...

Вот и сегодня старик Мамбет неожиданно свернул на узкую, полузаглохшую тропинку вдоль заросшего ряской, кувшинками, осокой, темного от ненастья, рябью подернутого озера, по-мальчишески сбивал дрыном метелки камыша, вдыхал бодрящие запахи увядающей травы и терпкую сырь от набухшей после дождя земли. Одинокого путника издали заметил одуревший от скуки дворняга Рекс, выбежал навстречу, забил мокрым, в репейниках, хвостом, прижался к сапогам гостя, принюхался, завертелся, выражая свою собачью преданность и радость.

— Е-е... гут, гут, зер гут, — бормотал растроганный мугаллим, убежденный, что Рекс понимает только по-немецки. Старый Карл говорил с аульчанами совершенно свободно по-казахски, а по-немецки общался уже долгие годы исключительно с Рексом.

— В этом ауле немцев осталось только двое, — пошучивал иногда Карл-аксакал. — Я да Рекс. Без меня ему и беседовать станет не с кем. Может, его в Германию с собой забрать? Так у него повадки казахские. Околеет он там от немецкого орднунга. Никакой воли. Будет на цепи сидеть и в намордник ходить, боясь невзначай запачкать тротуар или газон.

Однако, чудилось, Рекс и по-казахски все прекрасно понимал, а вот говорить в отличии от своего хозяина не умел.

Поздоровавшись с давним знакомцем и желанным гостем, воздав дань приличию, Рекс опрометью застрочил назад к дому, чтобы сообщить радостную весть. Увидев на крыльце хозяина, ликующе тявкнул раза три.

Мамбет улыбнулся. В ауле зубоскалили, будто умный пес Карла-аксакала и лает по-немецки: коротко, сдержанно, экономно. Не так, как аульные пустобрехи, которые, войдя в раж, долго не в состоянии успокоиться.

— Эй, бауырым, жив-здоров? — спросил по обыкновению Мамбет по-казахски.

— Е-е, слава Всевышнему! Шукир, шукир! — также по-казахски ответил Карл.

Был Карл долговяз, костляв, жилист. По двору и саду ходил в обтерханных до белизны кирзовых сапогах, даже летом не снимал затрапезную меховую безрукавку и застиранную шерстяную шапчонку. Всю жизнь Карл проработал на тракторе и комбайне и от него до сих пор разило соляркой, мазутом, бензином. И никакая баня не могла вытравить эти въевшиеся в плоть запахи. Огромные, раздавленные работой руки его не знали покоя. Рассказывали остряки, что Карл даже во сне что-то непременно мастерит: сети плетет, мордушки ладит, черенки строгает. Просыпался он вместе с птицами и день-деньской копошился во дворе, возился в бесконечных клетушках-закутках, перетаскивал-перекатывал кряжистые пни с места на место, все наводил какой-то порядок. Все в ауле знали, что Карл-аксакал не сегодня-завтра укатит в свой фатерланд, к детям и внукам, но он все что-то медлил, оттягивал, выжидал, чинил крышу, поправлял забор, обновил ворота, переклал печку, аккуратно складывал сушняк.

Старики, соблюдая степной ритуал, обменялись каскадом традиционных приветствий:

— Ия, мал-жан аман ба?

— Благополучно ли в твоем доме?

— Здоровы ли твои соседи?

— В здравии ли дети-внуки?

— Благоденствуют ли твои близкие?

— Не омрачают ли заботы твою душу?

536965

Северо-Казахстанская
областная библиотека
им. С. МУКАНОВА
г. Петропавловск

— Не тревожат ли дурные сны?
— В целостности ли руки-ноги?
— Не ноет ли поясница?
— Царствуют ли покой и тишина в округе?
— Ладно ли горит под очагом-треногой?
— Подрастают ли твои потомки?
— Какой хабар-ошар доходит до твоих ушей?

Так они долго обменивались словами вежливости, заповеданными неторопливыми предками степняков, пока, утомленные, не обменялись по-восточному грудь в грудь. Вообще-то полагалось еще расспрашивать о женах, и раньше они обязательно входили в набор расспросов, но вот уже лет пять-шесть оба старика маялись на белом свете бобылями и тема эта отпала сама собой, только саднила душу.

Рекс с любопытством прислушивался к длинным речам стариков, попеременно задирая то одно, то другое ухо, а когда старики обнялись, похлопали друг друга по спине и плечам, от избытка нежности и счастья взвизгнул и забил хвостом по земле.

— Ну, проходи, Маке. Что будем пить — чай или что-нибудь другое? — поинтересовался Карл.

— Что-нибудь другое, — тотчас ответил Мамбет. — Чаи мы гоняем каждый день.

Отменная ячменная бражка, настоянная на диком хмеле и заправленная для благородного цвета свеклой, не переводилась в усадьбе Карла Деграфа. В свое время ею насладились многие аульчане, а при жизни Марии, случалось, и бабы-хатуны пригубливали ее в охотку. Бывало, частенько наведывались к Карлу-агаю незваные гости, и в одиночку, и гурьбой, оглядывались по сторонам и, усмехаясь, намекали:

— Оу, Кареке! Не угостишь ли нас немецким кумысом? А то душа иссохла вся.

Карл никому не отказывал, потчевал всех подряд. Полулитровая эмалированная зеленая кружка стала достопримечательностью в ауле и даже за его пределами. Кто только из нее не пил, наслаждаясь розовым хмельным напитком, приятно согревающим нутро. Иные, опустошив зеленую кружку и обтерев ладошкой губы, смущенно просили:

— Кареке, повторить нельзя ли?

— Нельзя, — строго говорил Карл. — Не годится лишать напиток его священного достоинства.

С Карлом никто не спорил: слова его звучали веско. Смиренно говорили: «Е-е... немец знает. Умеренность должна быть во всем. Это только мы, казахи, ни в чем предела не знаем».

С уходом Марии бражка на усадьбе Карла изменила вкус: стала более крепкой и терпкой, не такой, как прежде, мягкой и сладкой, немного на самогон смахивала, но все равно пилась с удовольствием, а главное — веселила душу, ширила грудь и приятно кружила голову.

Карл поставил перед гостем знакомую зеленую кружку с пенящимся розовым напитком, себе же плеснул в фужер водки.

Мамбет удивленно вскинул брови.

— Бражку пусть казахи пьют, они, замечаю, свою норму по водке вполне выполнили. А немцы, как всегда, немного поотстали. Придется наверстать.

— Ай, бауырым! Вечно что-то придумаешь... Ал, кеттік. Поехали!

— Нет, Маке. Так не годится, — строго заметил Карл, встопорщив белесые брови и повесив длинный нос. — Ты же не урус, чтобы сходу за ворот закладывать. Давай толкай речь!

Мамбет спохватился, отставил кружку, откашлялся. И в наступившей тишине торжественно произнес:

— Пусть не померкнет над нами солнце, пусть вечно светит луна. Да не обрушится никогда наш шанрак. Да не покачнется остов. Да не потухнет огонь в очаге. Пусть наши дети и внуки не ведают горя. И пусть нас, побратимов, не гнетут черные думы. Пусть милосердие Всевышнего не оставляет нас. Пусть мерцает на небосклоне твоя немецкая и моя казахская звезда. Пусть ...

— Е-е... болды, болды... Хватит, уймись. Достаточно, — остановил Карл ударившегося в расхожее краснобайство собрата. — Ауминь!

И, огладив по-мусульмански кончиками пальцев лицо, Карл поднял стопку.

— Бисмилля, — произнес по привычке Мамбет, осторожно поднеся зеленую кружку к губам.

Выпили, крякнули, помолчали, прислушались к тому, как пошло. Потом Карл, шлепая отопками, направился в за-

куток в углу веранды и принес связку провяленных чебачков.

— Во! Самый раз. Дұрыс болды.

Из просторной веранды хорошо просматривалась вся усадьба Карла с садом, с разными пристройками, мастерской, баней, душем, маленькой кузней, курятником, балаханой над кладовой, какими-то клетушками. Еще недавно на подворье Деграфов бывало многолюдно и шумно. Двух дочерей, одного сына, пятеро внуков растили-воспитывали одно время Карл с Марией, все возились-копошились с утра до вечера на любовно ухоженной усадьбе, вечерами нередко музицировали на струнных инструментах, слаженно пели немецкие, казахские песни — весь аул заслушивался. Дружную семью Деграфов ставили всем в пример. Говорили: «Этот немыс — простой механизатор, а правильно живет. Все у него по уму, во всем здравый смысл». О Карле и его детях, скромных работягах, часто писали в газетах, даже областное телевидение не однажды репортажи делало. Называли Деграфов образцами, передовиками, маяками, умельцами, награждали знаками, грамотами, сажали в президиумы. Мамбет едва ли не каждый год посылал заметки о своем друге в немецкие газеты, а в областную казахскую как-то даже тиснул стишок под названием «Мой немецкий тамыр». Весь аул знал его наизусть.

И вот нежданно-негаданно опустела обустроенная, казалось, на века веселая усадьба. Вышла замуж старшая дочь Эльма, знатная доярка, за заезжего механизатора-белоруса, работавшего на уборке, и, недолго думая, успев закончить агротехникум, укатила с ним в Россию. А еще через два года за ней последовала Зельма, телятница и певунья, и подалась с Оскаром-меннонитом из соседнего поселка в Германию. Самое печальное — с молодыми уехали в неведомый фатерланд двое внуков-забияк. Какой спрос с дочерей? Они временные жильцы в отчем доме. Вся надежда была на единственного сына Эдвина, который, казалось, шел по стопам отца — такой же покладистый, безотказный, мастеровитый. Нет и ему задурила голову невестка, тоже захотелось жить в Германии, хоть и была русская из соседней Козловки. Настояла-таки на своем, отправила, куда надо, антраги, не раз ездила в Германское посольство, даже

языковой тест умудрилась сдать, не зная по-немецки ни бэ, ни мэ, ни кукареку, подключила к своей затее и золовку, сорвалась с места. Эдвин только ушами хлопал да руками разводил. Пошел за расторопной женой, как бычок на привязи. И остались куковать в доме, на сразу потускневшей, онемевшей усадьбе двое стариков, в одночасье почувствовавших себя никому не нужными. Об отъезде из аула супруги Деграф и во сне не помышляли. «Как я могу жить в Германии, с которой меня ничего не связывает? — недоумевал Карл. — Ну, какая же она историческая родина? Ни я, ни отец, ни дед, ни прадед, прапрадед там сроду не жили. Российский немец — я еще могу понять. Там мои предки обитали. Оттуда меня выслали, изгнали, вытурили. Казахстанский немец — тоже понятно. Здесь прожил жизнь, пахал землю, построил дом, вырастил детей. Но германский немец — с какой стати? Сроду им не стану. И никакая она не этническая родина. Чужбина. Нет, нет. Найн!»

Мария соглашалась с мужем. Она тоже не представляла, как можно уйти от себя, бросить все нажитое за долгую жизнь, ломать так прочно заведенный уклад, но однажды высказалась в том духе, что родина для женщины там, где ее дети, где ее детям хорошо. И Карл понял, что червь сомнения постоянно грызет душу тихой Марии. «Ну, и где твои дети? Где твоим детям хорошо?!» — вскинулся Карл. Мария промолчала, вздохнула только. Она чувствовала: ни в России, ни в Германии детям не больно хорошо. И неизвестно, когда у них жизнь наладится. Но понимала: и в ауле молодым делать стало нечего. Одни слоняются без дела, другие мыкаются в городах.

«Ничего, образумятся, пообломают себе рога, вернутся», — утешал Карл себя и Марию. Но вскоре понял: не вернутся. Аул хирел, угасал, умирал. Новая власть махнула на него рукой, поставила крест. Более значительные дела заботили независимое государство. И уповать на чудо, кажется, не приходится. Что еще остается? Слушать кваканье лягушек, дуреющих от любви? Любоваться полем, которое третий год не засевают? Слоняться по пустым комнатам? Внимать жалобам аулчан?

Все вокруг пришло в запустение и разруху. И не видно уже никакого просвета.

— Ну, и кому это все оставишь? — указал взглядом во двор Мамбет.

Карл опустил веки, подергал кустистыми бровями, вздохнул:

— Ясно: с собой не заберу. И детям ничего этого не нужно. Продать тоже некому. Кому нужно немецкое подворье в глухом ауле? Отдал бы под медпункт — так теперь и медпункта нет. Отдал бы под контору — конторы нет. Шикарная была бы дача для какого-нибудь богатея — да от города далеко... Оставлю, наверное, Маруар. Хибара ее разваливается, а детей-внуков куча. А, может, сам еще разок-другой заверну сюда. Вряд ли в Германии уживусь. От скуки умру. А здесь простор, воздух, озеро, леса. Траву покосишь — удовольствие. Рыбку половишь — радость. Зайчишку поймаешь — удача. Костянику в лесочке собрал — счастье.

— Верно, верно говоришь. И меня что в Алматы ждет? Конечно, с сыном хорошо. Но придусь ли ко двору? Приживалой жить — не сахар.

Помолчали. Погоревали. Карл вспомнил Марию, Мамбет — Зуру. Жены покоились на одном кладбище, только широкая вспаханная полоса между двумя холмами разделяла их.

— Что поделаешь... Не будем гневить Создателя. Поели, попили. Долю отмеренную изведали. Пора, видно, и честь знать.

— Да-а, Маке. Жизнь изменилась. Время другое.

— И люди не такие, как раньше. Суетливые, дерганные, мятущиеся.

— Недаром везде взрывы, ураганы, наводнения, землетрясения.

— Акырзаман наступает. Совсем обиделся Творец на неразумных людишек.

Вздрогнули верхушки оголившихся деревьев. Ветер с озера подул заметнее. Жухлые листья заметались по двору. Ранние сумерки поползли со стороны колок.

— Апырай, неужто осень всерьез надвигается? И так на душе муторно.

— Может, Маке, малость повеселить твою душу?

— Было бы кстати.

Карл вынес из спальни свой старый, с залатанными мехами, аккордеон, пробежал корявыми пальцами по облупленным клавишам, нащупал нужные басы.

— Ну, и что тебе сыграть?

— Сначала что-нибудь немецкое.

Карл поправил лямки, поустойчивей поставил на колени аккордеон, прошелся разок-другой сверху вниз по клавишам, дернул кадыком.

— O, wie ist es kalt geworden...

Голос его прозвучал резко, с жалобной ноткой. Мамбет слышал это впервые. Обычно Карл, разогревая себя, долго играл задумчивые вальсы, озорные польки, грозные марши, игривые, с переборами, частушки. А сегодня он запел надрывно, будто сетовал на судьбу, и басы под пальцами его стонали, гудели, рокотали.

-...Rauhe Winde weh'n von Norden,

Und die Sonne scheint nicht mehr...

— Оу, о чем поешь, Кареке?! Тоску наводишь.

— Старинная немецкая песня. Мать моя любила.

— Грустная. Не песня — плачь. Давай, споем по-казахски.

Карл переключил регистр. Заиграл что-то раздумчиво-протяжное. Теперь, закинув голову, выставив белую бородку, в такт затянул Мамбет:

— Кө-зім-нің қа-а-ра-сыыы...

Тотчас октавой выше тенорком вступил Карл:

— Көңілімнің са-а-ана-сыыы...

И, набрав в легкие побольше воздуха, тамыры в лад, слаженно пропели весь куплет:

— Біт-пей-ді іш-тегі

Ғашықтық жарасыыы.

Рекс за верандой, услышав звуки аккордеона и знакомые голоса стариков, приподнял оба уха, встал на задние лапы и с любопытством уткнулся мордой в окошко.

— Видишь? Наше искусство один только Рекс и оценит.

И чтобы обрадовать пса, Карл заиграл громче, перебирая басы.

— Бітпейді-і іштегі... — более густо, напрягая горло до дрожи, повторил Мамбет.

Рекс прижал уши, вытянул кверху морду, зажмурился и громко заскулил. Старики расхохотались.

Сумерки сгущались. Мамбет допил бражку в зеленой кружке, догрыз рыбешку.

— Ал, хаир, аксакал. Побреду назад. Я ведь проститься зашел. На днях, видно, отчалю. Там, в Алматы, тебя будет сильно не хватать. И ты в Германии меня не забывай. Как-никак столько лет прожили вместе. По одной земле ступали. Из одного колодца воду пили. Один хлеб ели. Живы будем, может, и встретимся, а, тамыр...

— Солай, солай, — расчувствовался Карл, зашмыгал длинным носом. Белесые ресницы затрепетали.

Вышли во двор. Обнялись.

Рекс сидел рядом, опечаленно глядел то на одного, то на другого старика.

Псу тоже стало грустно.

Темнела тропинка вдоль потемневшего озерка. Над лесочком украдкой выглянул месяц. Далеко в низине надрывался удод. Пахло жухлой травой, сыростью и одиночеством.

По тропинке на другой конец аула, размахивая дрыном, брел одинокий старик. Карл и Рекс молча, долго глядели ему вслед.

Глава вторая

Живописный пустырь пролегал между неким министерством и одним из институтов бывшей Академии наук. На этом месте еще в послевоенное время тесно лепились друг к другу, доживая свой век, ветхие лачуги. Их снесли, вокруг воздвигались громоздкие здания из бетона и стекла, рядом разбили сквер, поставили на возвышение памятник погруженному в глубокие раздумья о будущем потомков ученому, посадили голубые ели и сосны, даже запустили веселый говорливый фонтан, в котором в летний зной купались собаки и дети. А неприглядный пустырь сбоку так и остался. Из-под серой изрытой земли торчали обломки фундамента, громоздились огромные валуны, испещренные ненормативной лексикой и признаниями в вечной любви, высовывались уродливые, трухлявые пни, валялись изъеденные дождями и ветрами кирпичи и разный хлам. За

несколько лет пустырь густо покрылся диковинной сорной травой, чахлыми кустами акаций, жимолостью, тальником, вымахнули в рост молодые карагачи, осина, шиповник, даже старые, искореженные пеньки выстрелили гибкими ветками-побегами. Образовалось в центре города подобие запущенного островка диких джунглей. Здесь вдоль бетонного забора, отгородившего институт, по утрам прогуливали собак, днем неугомонная пацанва играла в прятки, в зарослях лопуха пировали бомжи, ночами случались грабежи и насилия. Даже в ясный солнечный день прохожие с опаской обходили дикий участок.

Но видно, кто-то давно нацеливался на этот пустырь. Зачастили вдруг сюда какие-то господа в заморских пиджаках и кожаных куртках. Приглядывались, примеривались. Приезжали на импозантных иномарках, сосредоточенно прохаживались взад-вперед, вдоль и поперек измеряли мрачный пустырь, потом надолго исчезали. Завсегдатаи аллеи по соседству шушукались. Похоже, здесь двухэтажный магазин построят. Нет, нет... скорей всего, гараж. Ну, что вы! На таком видном месте?! Наверняка какой-нибудь выставочный зал. Или картинная галерея. Целый год судили-рядили, гадали-предполагали. А когда вдруг, точно полчища, понаехали самосвалы и бульдозеры, вырубили за полдня под корень все кустарники и деревья, а за неделю выкопали котлован глубиной в два человеческих роста, стало ясно: ни то, ни другое, ни третье.

Тут-то первым всполошился и забил тревогу во все колокола маститый, с мировым именем ученый — директор Института химии. Стал строчить в разные инстанции, слать петиции-эпистолы с перечнем всех своих регалий и титулов. Дескать, что же такое происходит средь бела дня, без ведома и согласия славных тружеников науки, разве мыслимо затевать стройку впритык к институтским лабораториям в нарушение всех пожарных правил, это же не только нарушение всех норм, а формальный беспредел. Куда только смотрят городские власти?! Маститый ученый грозился обратиться в Астану, к Большому человеку, в международные организации, он найдет управу на зарвавшихся нуворишей, творящих произвол. И все жильцы округа не позволят такого бесчинства. Ученый возмущался,

бушевал, собирал подписи, обращался в суд и прокуратуру, писал в газетах, обивал высокие пороги, будоражил общественность. И однажды строптивого ученого пригласили к бо-о-ольшому начальнику. Тот вежливо поинтересовался здоровьем-благополучием ученого, восхитился его научными трудами и мировой славой, потом затвердел лицом и показал пальцем на потолок. От неожиданности ученый растерялся и тоже вскинул взгляд на люстру.

— Знаешь, кто за всем этим стоит? — спросил после долгой паузы начальник. — Догадываетесь? Анау! Да, да, он самый! А еще точнее: его дочка. Так что, почтенный, зря изводите бумагу и напрасно сотрясаете воздух.

— Но, — попытался что-то сказать ученый с мировым именем.

— Никаких «но!» — насупился начальник и грозно задвигал-заклацал челюстями. — Иначе очень скоро забудете, что вы директор и светила науки, а вонючий ваш институт мигом переселят за тринадцатый разъезд!

Светила опустил свою тяжелую, гордую голову и предпочел держать язык за зубами.

А дом строился быстро, в жуткой спешке, с размахом, с грохотом днем и ночью. И за год на месте собачьего пустыря воздвигли сказочный восьмиэтажный жилой дом с кичливой, аршинными буквами, надписью по фронтону — «ЭЛИТСТРОЙ».

Дом оградили витиеватым высоченным железным забором. Все вокруг выложили разноцветными плитками, разбили газоны и клумбы, расставили скамейки. Возле переливающегося на солнце дивного дома с утра до вечера суетились, копошились уборщики, поливальщики, садовники. За железной оградой на размеченной площадке выстроились в чинный ряд разномастные иномарки. По гранитным ступенькам деловито поднимались и спускались отутюженные господа и расфуфыренные дамы.

Чудилось, однако, будто дом нежилой. На балконах ни души. Даже тень не мелькала. Окна задернуты плотной шторой. Не слышно было и детских голосов. Вечером на иных этажах не зажигался свет. Выморочный богатый дом!

Прохожие изумлялись:

— Апырай, кто в этом тереме живет?

— Ясно, что не мышка-норушка.

— Да-а... Публика не нам чета.

— Баи-богачи. Жулики-юркачи. Шустряки-ловкачи.

— Те, что чик-чирик и в дамки.

— Кто верблюда заглатывает с шерстью, а коня с поклажей.

— Некоторые даже, похоже, не проживают здесь.

— Зачем? Когда можно в загородной вилле прохлаждаться.

— А квартира для чего?

— На всякий случай. Куда же шальные деньги девать?

— Интересно, почем здесь квадратный метр?

— Более тысяч баксов. Точно! А метраж 150-200. Вот и считай!

— Е-е-е...

— А-а-а...

— Ия, ия... Глазей и помалкивай.

— Да-а-а... «Элитстрой» во все щели лезет. Даже детскую площадку мигом прихватит. А бишаринский люд отсюда скоро поганой метлой выметут.

— Ия, ия... Прогуливаться здесь тебе уже не позволят. Отправят за кинотеатр «Сары-Арка».

Глава третья

Место было бойкое. Скамейки вдоль аллеи, тянувшейся вниз от памятника на возвышении до самого парка со знаменитым храмом, не пустовали круглые сутки. На рассвете вокруг розария бегала трусцой группа почтенных приверженцев здравого образа жизни. Потом, откуда ни возьмись, выбирались на белый свет бомжи и бомжихи, расхристанные и опухшие и, расположившись поудобнее, по-хозяйски доставали выловленные из мусорных ящиков пакеты с объедками и неторопливо совершали утреннюю трапезу. Вслед за бомжами ближе к полудню со всех сторон подтягивались современные бонны-гувернантки с барчуками и начинали судачить обо всем на свете, перемывать косточки всем в городе, не спуская, однако, глаз со своих своенравных, избалованных воспитанников. Потом здесь отдыхали случайные прохожие по пути в кассу, аптеку, в магазин, киоски,

на базар. Шмыгал по аллее озабоченный чиновный люд из бывшего министерства и исследовательских институтов. Дважды на дню тусовались тут степенные пенсионеры, обитающие по близости, по обыкновению с ворохом всевозможных газет под мышками и по причине тугоухости громко, на всю округу, пугая детей, обсуждали последние новости и внутреннюю политику. Обмен мнениями проходил азартно, с обстоятельными комментариями, с безапелляционными выводами и дальнесрочными прогнозами.

— Оу, Кареке, заметили: дела-то у наших соседей жаман, ой жаман...

— А у нас лучше, что ли?

— Конечно, лучше. Вон опять пенсию прибавили.

— Это перед выборами. Завтра отберут.

— Прибавят к пенсии тиынку, а цены взлетают на тенге.

— В один кармашек кладут, из другого тотчас вынимают.

— Да-а уж! Государство не обманешь.

— Оу, Исеке, что пишет твоя «Казправда»?

— Об успехе в макроэкономике.

— А до «микро» когда дойдем?

— Скажи, Гереке, с какой стати Америка сует нос во внутренние дела других государств?

— О том казахи давно сказали.

— Как?!

— Сильный задницей жернова крутит.

— Апырай, до чего же казахи приметливый народ!

— Слышали, Шаке, Паленшеева, сказывают, вот-вот снимут?

— Да, Паленшеева снимут, а Тугеншеева поставят.

— Так он же уже сидел на этом месте?!

— Опять посадят.

— Других нет, что ли?

— Может, и есть, но они подозрительные. А Паленшеев и Тугеншеев проверенные, надежные.

— Значит, так и будут менять шило на мыло?

— А что делать? Такая ри-пор-ма!

— Какая же это реформа, если толчемся на месте?!

Казалось, все государственные и международные дела решилась именно здесь, на площадке возле памятника погруженному в глубокие раздумья ученому. Разномастная

информация стекалась сюда отовсюду. И многие завсегдатаи «Чоканки» (так это замечательное место называлось в просторечии) знали друг друга годами, десятилетиями и поскольку все они были не первыми встречными поперечными, не шалтай-балтай или халам-балам, а бывшие ответственные работники, ученые, литераторы, журналисты, общественные деятели, сполна познавшие за свой век не один фунт лиха, то каждый обо всем на свете имел свое твердое, выверенное житейским опытом суждение.

Да, место было знатное, многолюдное. И таких бойких, славных очагов общения в огромном городе оказалось не так и много: площадь перед Дворцом Республики, фонтан у памятника крупному партийному деятелю, сквер у Оперного театра, аллеи в сумрачном городском парке, ну, и место у памятника славному ученому возле неугодной власти Академии наук. Именно здесь бушевали потоки городских сплетен и бурлили интеллектуальные ручьи. Именно здесь обкатывались все грядущие перемены в стране, которые — это надо же! — полгода спустя, как правило, оборачивались реальностью. Большинство завсегдатаев этих мест было верно однажды избранному кругу, однако находились и такие, которые шастали по всем обозначенным точкам в целях расширения своего кругозора или по причине природного любопытства, способствуя распространению слухов-новостей по всему мегаполису.

Глава четвертая

Все лето Мамбет Казиевич готовился к отъезду, внутренне настраивался на новую жизнь на новом месте, а когда пробил час прощания, растерялся, почувствовал странный озноб в пояснице, будто нежданно-негаданно обрушилась на него дурная весть. Оказалось, что он и не готов к отъезду. И все привычное — сникший от бесчисленных в последние годы напастей аул, безлюдное озеро, обезлистившиеся в предзимье колки вокруг, одинокая туранга, скрип колодезного журавля, полузаглохшая козья тропа, гряда серых увалов вдали — все, все увиделось в первозданном, милом сердцу очаровании, без чего не представлялось его даль-

нейшая жизнь. О, боже милостивый, до чего же все близко, кровно, прекрасно! И его, старого аульного мугаллима, вдруг хотят отлучить от всего, что приросло к сердцу, что проникло в самую душу — от родного аула, от земли отцов — атамекен!

Еще вчера заехал в затерявшийся в глуши, заброшенный аул Нижняя туранга на раздрызганной «Ниве» заполошенный председатель аулсовета пустобай Даулет.

— Ойбай, Маке, срочно собирайтесь. Велено вас доставить в район.

— Кто велел?

— Сам Саке!

— А ему кто приказал?

— Сам Таке!

— А его кто всполошил?

— Ваш сын Баха́

— Апырай, а! Как снег на голову... Я ведь так не могу. Дай очухаться. Мне же с людьми прощаться надо, — озабоченно пробормотал Мамбет Казиевич.

После долгих прикидок решили отложить отъезд на завтра.

— Как же мне быть? — озадачился аулнай. — Мне же Саке башку снимет.

— Так и передай. Отъезд, мол, откладывается на сутки. Позвони в район Саке; Саке позвонит в область Таке; Таке свяжется с Алматы.

— Ладно, кария. Завтра примчусь снова. Чтоб готовы были, как штык!

Выстреливая клубы дыма, тарахтя на всю округу, разбитая проселочными дорогами аулнайская «Нива» покатилась на центральную усадьбу — Верхняя туранга.

Мамбет Казиевич, стараясь унять волнение, облачился в свой изрядно поношенный костюм с орденской планкой, с разными медалями и знаками, расчесал бородку, взял в руки витиеватую кизиловую трость и отправился обходить аул.

Когда-то в ауле «Нижняя туранга» мирно дымила добрая сотня очагов. Теперь жидкий дымок едва вился над двадцатью скособочившимися домишками. Сначала старик посетил аульное кладбище у подножья холма. Опустившись

на колени возле забуревших от времени камней-стояков, под которыми покоились родные и близкие, пробормотал заученный давным-давно поминальный аят из Корана, перемешав его со словами благодарения по-казахски, благоговейно огладил лицо, а возле мазара Зуры задержался подольше. Смежив веки, сел на валун, живо представил облик тихой, скромной жены, завел с ней беседу.

«Ну, вот, айналайын Зура, да буду тебе жертвой... Сначала ты меня покинула, теперь я от тебя уезжаю... Кто знает, сколько еще суждено мне топтать землю в этой жизни. Побуду с сыном, с внуками. А ты спи спокойно... — У старика задрожала бородка, защипало в глазах. — Значит, судьба. А наступит роковой час, меня привезут сюда, упокоят рядом с тобой. Так я давно решил. И Бахытжан обещал... Прощай. Ты всегда в моем сердце. Думаю, недолго мне осталось...»

«Не горюй. Все правильно. Зачем же тебе маяться одному? Порадуйся на сына и внуков. Счастье, не изведанное мной, пусть осенит тебя. Светлого тебе пути!»

Голос жены был, как и прежде, тих и ласков.

«Знаешь, как мне тягостно, как горько покинуть родной аул, — пожаловался старик. — Сердце разрывается. Как мне жить на чужбине, Зуражан?!»

«Не отчаивайся. Не на чужбину едешь. Наша же земля. Там наши сын и внуки живут. Разве не счастье это твое на старости лет?»

«Ну, а ты как? Тебе-то одной каково?»

«Судьба... На все воля Всевышнего. А ты живи. Не спеши сюда. Мы и так всегда вместе».

«Спасибо, Зуражан. Прощай!..»

«Прощай, мой Маке! Да не угаснет над тобой солнце».

Старик, опечаленный, но просветленный, спустился с холма и пошел по домам. В крайних двух хибарах никто не жил. Дородная Балшекер простилась с белым светом еще в прошлом году. Дочки разлетелись кто куда, а сын-алкаш, поговаривали, где-то на юге тягал тюки на городском базаре. Никто на похороны матери так и не приехал. И похороны, и седьмицу, и сороковину провели по ритуалу сами аульчане. Заброшенное жилье облюбовали одичавшие кошки. Третий год пустовал и следующий дом. Ишанкабул со своей обезножившей байбише перебрался на станцию

Жарма, передоверив отчее гнездо соседке Фариде. В засаленном камзоле и застиранном жаулыке, Фарида сидела в шошале, подкладывая кизяк под треногу, варила на слабом огне кукурузные початки в котле.

— Как живешь, Фарида?

— Шукур, шукур.

— Дети навещают?

— Шукур, случается. Что с них взять? Маятся бедняжки. Никак дырки не залатают.

Беспросветная бедность смотрела изо всех щелей. Не дом — заброшенный мазар. Пахло нежитью и дымом. Но Фарида покорно твердила одно: «Шукур — слава Всевышнему. Вокруг если и не благодать, но царят покой и мир. И айналайн правители наши, сказывают, прочно восседают на своих тронах-креслах. И солнце с извечного круга не сошло. Что еще надо человеку — мячу Аллаха?»

«Такие мы, казахи, — печально подумал старый мугаллим. — Нами сказано: на третий день и к аду привыкнешь. Наши казахи и в аду будут долдонить: «Шукур... шукур...»

— А я, Фарида, уезжаю... к сыну... в город. Такие вот обстоятельства...

— Ну, счастливого пути! Удачи! — Старуха засуетилась — Хоть глоток чаю выпей из моих рук.

Фарида сняла котел с треноги, вынула черпаком разбухший кукурузный початок, положила его на деревянный подносик, плеснула из чумазого, помятого чайника кипятка в кесушку, макнула туда сморщенным пакетиком.

— Угощайтесь! Надо бы баурсаков нажарить, да мука вся вышла. Может, племянник на днях подъедет — подкинет.

Мугаллим отщипнул, выковырил из початка золотистый распаренный зернышек, разжевал его, отпил глоток буроватой жидкости. Фариду он помнил еще девчонкой. Тихая, незаметная была. Рано выдали ее замуж за колхозного пастуха Сейтена. И так всю жизнь хлопотала по дому, за скотиной ухаживала, соседям в хозяйстве подсобляла, детей рожала, а на старости лет осталась одна-одинешенька. И вся жизнь. И вспоминать почти нечего. И сколько таких бедолажек в казахской степи!

— Спасибо, Фарида. Загляни ко мне вечерком на прощальную трапезу.

Далее за балкой с чахлыми кустарниками, обглоданными вездесущими козами, находился дом бывшего счетовода Сайрана, косоглазого, кривоногого мужичонки, слегка тронутого умом еще с войны. Он запомнился тем, что, опрокинув в себя стакан огненной водицы, имел обыкновение орать застрявшую некогда в его порушенной памяти разудалую песенку: «Выпьем за родину, выпьем за Сталина, выпьем — и снова нальем». На этом знания Сайрана по русской части полностью исчерпались. Пропев дурниной этот куплет, он начинал страшно вращать глазами и выпаливал не то ругательство, не то благословение: «Оттуой мать!» Знойным летом при жуткой сухмени домишко его сгорел дотла, а непутевый бывший счетовод подался к дальней родне в соседнюю область. Пепелище аулчане вскоре превратили в свалку.

Брюхастый сапожник Мухан по обыкновению громоздился на низеньком стульчике в углу передней среди разной рухляди, обрезков и ладил какую-то обувку, сплевывая налево-направо. Возле плиты вся закутанная в обноски пряла шерсть сухопарая Салима. Старики экономили топку, с осени до весны ютились в крохотной передней, довольствуясь маленькой плитой.

— Оу, Маке! Что ты такой нарядный сегодня?

— Уезжаю, Мука. Вот прямо завтра и уезжаю. В город. К сыну.

— Э, барекельды! Прощаться пришел?

— Прощаться. И вечером в гости пригласить.

— Вон как! Барашка зарежешь?

— Как положено!

— Жаксы, жаксы! Давно свежатинки не пробовали. Видишь, осталось в ауле одно старичье — шал-шаукан да кемпир-сампыр. Теперь и ты уезжаешь. Вымрет скоро аул. Одно название останется. И то пока туранга стоит. Завтра какой-нибудь дуралей спилит ее на дрова, и следа от аула не останется.

— Озеро останется.

— Какой там! И оно с каждым годом мелеет, высыхает.

— Да-а... Что суждено, того не миновать...

— Говорят, сын твой, Маке, важной птицей заделался. Со славными азаматами в государстве дружбу водит. Ска-

жи ему: пусть и на наш аул правым глазом посмотрит. Не чужой ведь.

— Ну, да. Сказать можно. Только вряд ли рука его дойдет до нашего аула. Сколько таких аулов на просторах Казахстана — ой-бо-о-ой! Да и не нужны стали аулы государству.

— Неужели?! Разве не аулом процветает страна? Разве не из аулов вышел казахский народ?

— Времена другие. Жизнь, видно, в город потянулась.

— А что, хлеб в городе растет? Скот в городе пасут?

От сапожника Мукана муталлим направился в школу. Обшарпанный, давно не беленый домик на бугре состоял из двух комнат-классов и крохотной пристройки рядом с крыльцом. Площадка, называемая некогда спортивной, теперь заросла лебедой и бурьяном. У покосившегося столба, оставшегося от качелей, сгрудились, цепляясь друг за друга, колючие шары перекати-поля.

Почти полвека учительствовал здесь Мамбет Казиевич. Когда-то здесь сосредотачивалась вся аульная жизнь. Здесь проводились всевозможные собрания, шумела детвора, проходили концерты, устраивались соревнования. Здесь молодая чета Адиловых пропадала целыми днями, сменяя друг друга. Веселый шум и гам из школы витал, бывало, над всем аулом. Теперь же было выморочно тихо.

Волнуясь, Мамбет Казиевич приотворил наружную дверь, вошел в коридорчик. На серой с ржавыми разводьями стене висели расписание занятия по четырем классам, список учащихся с вычеркнутыми фамилиями и весь заляпанный, пожелтевший плакатик со старыми фотографиями. «Они учились в нашей школе» — гласила выцветшая надпись. С плакатика взирали скуластые, чернявые рожицы с напряженно вытаращенными глазенками, с оттопыренными ушами и среди них несколько рыжеватых, конопатых, носатых мордашек явно чужого рода-племени. Всех старый муталлим помнил. Вот этот светлолицый, надо же, стал дипломатом. Вот этот выбился в начальники. Еще один прослыл крупным деятелем культуры. Этот плосколицый, с носом-пуговкой стишки шкрябает, книжки издает. А этот долголицый, кривоpотый обернулся знаменитым музыкантом... Ия, ия... аульный муталлим Мамбет Казиевич наверняка способствовал их становлению. Азы образования они

получили именно здесь, в невзрачной аульной школе Нижнего туранги. Неслучайно, надо полагать, шлют иногда по праздникам открытки бывшему мугаллиму.

Один класс — самый просторный — пустовал. В другом шли занятия. Мамбет Казиевич осторожно заглянул в приоткрытую дверь. Куляш, единственная учительница на четыре класса аульной школы, собрала всех учащихся в одну комнату и что-то им объясняла у доски. Вообще-то полагалось вести занятия в две смены, но поскольку учащихся в ауле набиралось едва восемь-девять человек, то Куляш в обход инструкции и тарификации, собирала всех вместе и как-то умудрялась укладываться в расписание. Получалось так, что первоклашки занимались правописанием, второклассники корпели над задачками, третий класс заучивал стишок, а четвертый до дыр разглядывал физическую карту. А пели и физкультурой занимались все вместе. И каждому классу отводилось по одной парте, на которых были вырезаны перочинным ножичком еще имена родителей нынешних учеников. Куляш — младшая дочка бывшего колхозного бригадира Малгаждара, который, уйдя на пенсию, занимался скудным хозяйством — обихаживал коровенку и пять-шесть овец. Дети бригадира давно разъехались, искали свою долю на стороне, а младшенькая, окончив районную школу, подалась было в областной город, но что-то не заладилось у нее ни с учебой, ни с работой, и она, поникшая, подавленная, вернулась в аул, считая отныне своей обязанностью присматривать за престарелыми родителями. РайОНО доверил ей начальные классы аульной школы, не без основания полагая, что приличного специалиста в захолустный аул все равно не заманишь никаким калачом. А тут пропадает свой местный кадр, который и в жилье не нуждается и других каких-либо претензий предъявлять не станет. И вот уже восьмой год Куляш по мере сил и умения обучала аульных шалопаев начальной грамоте. О замужестве она помышляла все реже и реже. Годы мелькали, девичьи грезы таяли, рассеивались, подходящих женихов не предвиделось ни в дальней, ни в ближней округе. И Куляш смирилась с участью старой девы. И старики сознавали: заедают они век своей дочки-неудачницы. Пожертвовала она собой ради них. Отпустить бы ее в город, может, там и

нашла бы свою судьбу, да как отпустишь — узка тропинка девичья, и с чем: разве что единственную корову продать, только на сколько хватит этих денег в прожорливом городе, если и жить негде и за учебу нынче платить надо...

При появлении Мамбета Казиевича, своего предшественника и наставника, Куляш по-девчоночьи смутилась, растерялась, зарделась вся, а дети, тесно прижавшись друг к другу, как озябшие воробышки, разом вскочили с места и заблестели любопытными глазенками.

— Ну, балалар, как дела?

— Жаксы! — вразнобой ответили дети.

Сидели в верхней одежде, кто во что горазд. Света не было. Топки не завезли. Деньги, еще летом выделенные на отопление, безнадежно застряли в райОНО. В сильные зимние холода Куляш проводила занятия у себя дома. Все четыре класса усаживались в полукруг на домотканом паласе, скрестив под себя ноги, точь-в-точь как в старых туземных школах, заучивали стихи, повторяли все вместе таблицу умножения, что-то писали в замусоленных тетрадках прямо на полу, толкали друг друга, потом расходились по домам. Балжан, мать Куляш, иногда угощала аульных грамотеев только что нажаренными баурсаками, потому на учебниках и тетрадках оставались жирные пятна. Весной, когда солнце взбиралось все выше и возле домов обнажились проталины, дети вновь переселялись в школу.

Мамбет Казиевич помнил: примерно в таких же условиях проходили занятия в ауле в первые послевоенные годы. Но тогда все воспринималось иначе: все, все, от глубоких старцев до несмышленых мальцов, верили, что все эти неурядицы и нехватки временные, что вот-вот наступят другие времена, и все пойдет на лад, как и вся советская страна, преобразуется и их аул. Теперь вот готовятся отметить шестидесятилетие Победы, и целый мушель лет прошел с тех пор, как объявили независимость, строим новую столицу в степи, а аул захирел, похоже, окончательно, бесповоротно и нет никакой надежды на его возрождение. И сколько таких аулов, как Нижняя туранга, медленно умирает в беспредельной казахской степи! Неужто так судьбой определено? Неужели чтобы где-то процветал город, необходимо повально жертвовать аулами — остовом казахского бытия?

Да-а... все изменилось. Изменился облик земли, изменились люди, изменились нравственные устои. И самое скверное — народ, кажется, смирился с безнадегой. То ли времена настали подлые, о которых предупреждали еще древние казахские акыны и сказители-жирау, то ли души людские очерствели...

Мамбет Казиевич остановился у крайней парты, из-за которой едва виднелись два черноголовых мальца.

— В каком вы классе?

— В первом, ата.

— Сколько тебе лет?

Беззубый шкет шмыгнул носом, выпучил глазенки, задумался и растопырил пятерню.

— Пять!

— Хм-м... И что так рано пошел в школу?

Шкет осекся, рассеянно поковырял в носу.

— Брат пошел в школу, и он за ним, — пояснила Куляш. — Ну, и учится. Пусть! Все-таки двое в одном классе. И для отчетности нужно.

— И успевает?

— Пока — да. А надо будет — оставим на следующий год. Или при необходимости переведем в третий класс. По обстоятельствам. А что делать? Не закрывать же целый класс.

— Ия, ия, — согласился Мамбет Казиевич.

Ему эта маленькая хитрость была знакома издавна. Из-за нехватки учеников едва ли не каждый год приходилось кого-то передвигать на класс вперед или, наоборот, пересаживать назад. Ведь в ауле должны были функционировать все четыре класса. В том был заинтересован и РайОНО, иначе что-то не срабатывало в отчетности. Случалось, в школьном журнале фигурировали и мертвые души, то есть, ученики, давно уже сменившие место жительства.

Мамбет Казиевич подошел к соседней парте.

— А ты в каком классе?

— В четвертом! — с готовностью ответил рыжий, вихрастый сорванец.

— Как зовут?

— Тима.

— Тима?

— Внук дедушки Жагора, — подсказала Куляш. — По-казахски говорит лучше, чем по-русски.

— Вон как! Значит, наш казах!.. Скажи-ка, Тима айналайн, что тяжелее: килограмм золота или килограмм хлопка?

— Ой, ата... — с укором тотчас отозвался рыжий Тима. — Конечно, золото тяжелее.

— Правильно? — спросил Мамбет Казиевич у бритоголового соседа.

— Правильно! Тима — отличник. Он все знает.

— Ну как же?! — встряла Куляш. — Ведь килограмм же!

Дети не поняли, засопели усерднее.

— Раз килограмм, то какая разница: золото или хлопок?

— Ладно грамотеи, — улыбнулся Мамбет Казиевич. — Скажите родителям, бабушкам и дедушкам, пусть вечером зайдут ко мне. На проводы. Не забудьте!

— Ла-а-ад-но-о! — откликнулись хором вся начальная аульная школа. — Жарайды.

— И ты, айналайн Куляш, приходи.

Когда Мамбет Казиевич вышел из школы, его поджидали у входа два неразлучных пса. Никто не знал, когда, откуда и как приблудились они в аул. Просто объявились однажды, да так и прижились. Всюду ходили вместе, точно близнецы. Всех аулчан знали поголовно. И ни в каком дворе не чувствовали себя чужаками. Вечерами исправно пригоняли с выпаса овец, коров. Ночью бдительно сторожили аул. Даже ворон и сорок отпугивали лаем. Детей сопровождали в школу. И к старикам, справлявшим нужду в кустах, никого не подпускали. Радушно встречали редких гостей. Никто не знал их кличек. Собаки охотно отзывались на банальное «кя-кя!» И довольствовались тем, что им подбрасывали сердобольные аулчане.

— Ну, братцы кя-кя, пошли, — сказал им Мамбет Казиевич.

И оба пса послушно потрусили за ним, усердно помахивая хвостами.

Через несколько дворов от школы жил единственный урус в ауле Егор Тиморшин. Он давно оказаховался, отменно сквернословил по-казахски, изысканно прохаживаясь по отцовской и материнской линиям едва ли не всех аулчан вплоть до седьмого колена. И никто не возмущался, не перечил, не оскорблялся — все знали: урус Жагор выражался так от избытка доброты и любви.

За долгие годы проживания в ауле он стал его достопримечательностью. Когда-то, в далекие тридцатые годы, его отец был первым трактористом в «Нижней туранге». Первую борозду в колхозном поле за озером проложил он. Его тоже звали Егором. Никто не знал, откуда он родом — то ли из Омска, то ли из Тюмени. В аул он однажды приехал из МТС прямо на тракторе, всколыхнув тишь во всей округе. Работал от зари до зари. Оброс рыжей кудлатой бородой. И был мастер на все руки: пахал, боронил, косил, скирдовал, столярил, паял, лудил. Срубил дом, баню, разные клетушки-сараюшки. Первым завел огород, пасеку. Обрыблил озеро. Сразу же стал тамыром всех аулчан. «Апырай, — удивлялись стар и млад. — Как мы только без этого уруса обходились?!»

И сына воспитал под стать себе. Такой же ражий и рыжий. Крепыш и умелец. И стало в ауле два Жагора — большой и малый. Хотя малый и вымахал больше большого. Большой все понимал по-казахски, а гундосил в бороду и с большим акцентом. Казахские звуки так и не дались ему. Малый же Жагор изъяснялся по-казахски свободно и ловчее самих казахов, обильно снабжая свою речь — к месту и не к месту — витиеватыми ругательствами. Теперь и малый Жагор стал пенсионером. Тоже оброс дремучей рыжей шерстью. Дочка Клава пропадала день-деньской на скотобазе и неизвестно, от кого понесла, в подоле принесла мальчонку, после чего незамедлительно покинула аул. И вырос у малого Жагора помощник и наследник Тимоша-Тима, в котором дед и бабка, понятно, души не чаяли. Жил малый Жагор в ауле наиболее зажиточно. И скот держал, и птицу, и рыбу ловил, и на охоту ходил, и пасеку имел, хозяйство вел образцово, возил на мотоцикле с коляской излишек продуктов на районный базар. «Наш бай», — говорили о нем аулчане, но без злобы и зависти, ибо хорошо знали: ничего Жагору с неба не падало, все зарабатывал своим горбом, с юных лет крутился от зари до зари. Очень надеялся малый Жагор, что непутевая Клава образумится и вернется в отчий дом со своим новым хахалем. Вот тогда уж он развернется на славу. Запросто новый дом-пятистенок возведет. Но дочка не возвращалась, и неизвестно было, что из себя представлял новый ее хахаль, и малый Жагор все чаще озабоченно задумывался.

— Ой, әкеңнің ауызын... четыре с половиной господа бога мать! Зачем мне все это? Ради чего горблюсь?!

Потом утешал себя.

— Ладно... Мать твою шешехану! Тимке все достанется...

Жагор сидел в замызганном, заляпанном всеми красками некогда синем халате, в шерстяной шапчонке на плешивой голове в уголочке двора и намешивая лопаточкой в деревянном корыте корм для гусей и уток. У ног его копошились куры, пружинисто вышагивал петух, с навеса зорко следил за каждым движением хозяина раскормленный кот.

— Ассалаумагалейкум! — первым поздоровался Жагор, завидев старого мугаллима.

— Алейкум салем!... Как живете, брат?

— Ой, әкеңнің... бил-лят... мать, — завелся по обыкновению Жагор. — Без электричества, как без рук. Разве это дело? Телевизор, холодильник, сепаратор — все стоит. Копошишься с утра до вечера, а толку нет. Да и хозяйка, келин ваша, состарилась. Постель не греет.

— Так заведи токал. Согреешься.

— Легко сказать! — гуднул в бороду Жагор. — Әкеңнің аузын... Работящую токал где найдешь, а для игры-забавы зачем? Игрун-то не тот...

— Брось! Не говори никому. Ты во-он какой джигит! Грудь колесом и ручища — что грабли. Любую бабу затискаешь. Бороду сбреешь, и хоть куда.

— Е-е, что еще, кроме бороды, осталось? — хохотнул Жагор. — Проходи, мугаллим. Гостем будешь.

— Нет, нет. Спасибо. Гостевать некогда.

— Ия, что стряслось?

— Уезжаю. Зашел пригласить на проводы. Вечером. Приди.

— И ты, мугаллим, значит, уезжаешь? — печально замотал головой Жагор. — Выходит, скоро я один останусь в ауле. Ну, ну! Аул казахский, а житель — урус. Песни горланить об ауле, о родимой сторонке все мастаки, а работать на земле кто будет? Немысы уехали, теперь шуршута ждете? Урус в конце-концов тоже к урусам подастся. А вы, казахи, все вдруг к городу жметесь. Ну и дождетесь шуршутов. Они мигом вашими просторами завладеют.

— Ты прав, Жагор. Действительно, нескладно получается. Но обстоятельства диктуют волю.

— Обстоятельства, обстоятельства, — пробубнил сердито Жагор. — Обстоятельства от человека зависят. Батыр к родному краю тянется, собака — к сытому месту.

— Не ворчи, Жагор. И так муторно. Думаешь, мне легко? Всю жизнь здесь прожил...

— Да-а... Что я скажу? Слышал, сын твой — шишкарь. Высоко сидит. Большими делами ворочает. С властями якшается. Шепни ему: пусть об ауле разок подумает. Хотя бы свет из центральной усадьбы протянет. Рукой ведь подать. Позор!

— Сказать-то скажу. Только... только... — недоговорил старый мугаллим.

Жагор встал, отряхнулся, пошел провожать запечалившегося гостя.

Неразлучные псы терпеливо ждали, выпростав языки, возле калитки. Увидев стариков, разок-другой дернули хвостами и попеременно наклонили головы то влево, то вправо. Грустные песьи глаза вопрошали: «Ничем не угостите?» Мамбет Казиевич смущенно похлопал по карманам, и собаки на мгновенье напряглись, облизнулись, но тут же все поняв, выставились на Жагора. Тот достал из кармана синего халата огрызок лепешки, разломал его и подкинул псам. Они проявили деликатность, не сразу набросились на черствую лепешку, и благодарно посмотрели сначала на Жагора, потом на Мамбета, чуть помедлили, принюхались, оглянулись и лишь тогда подцепили добычу, заклацали клыками.

— Кя-кя, пошли! — сказал мугаллим.

Псы послушно потрусили за ним.

Солнце стояло в зените. С озера дул сырой ветерок. Мамбет Казиевич спешил домой. Надо было зарезать ярку, освежить ее, разделать тушку, попросить женге развести огонь под треногой в шошале, заложить мяса в котел, опалить баранью голову, сготовить бесбармак к приходу аулчан. Угостив аулчан и получив по обычаю их бата-благословение, можно будет с чувством исполненного долга уехать завтра спозаранок...

❂❂❂

Вечно запаренный председатель аулсовета из «Верхней туранги» на своей разболтанной «Ниве» примчался ни свет, ни заря.

— Аксакал, давай, давай! — заторопил, не выходя из машины. — Еще сегодня должны вас живым и невредимым доставить в область, а вечерним рейсом — в Алматы. Времени в обрез.

— Не хватай за глотку, бастык! Не горит, небось!

— Это у вас, аксакал, не горит. А у меня запарка.

— Что так?

— Такова доля маленьких бастыков. Их шпыняют все, кому не лень.

Расторопный аулнай закинул в багажник чемоданчик и саквояж (сын строго предупреждал: «Ничего с собой не бери. На новом месте купим все, что нужно»), плюхнулся на продавленное сидение, почему-то нажал на клаксон.

— Ладно, ладно. Не буди аул. Поехали...

Мамбет Казиевич едва успел обнять ударившуюся в слезы женге.

— Аллах даст, еще свидимся.

Свернули на дорогу, обогнули озеро. Сбоку мелькнула одинокая туранга. Ветер трепал разноцветные тряпицы и ленты, привязанные к веткам.

— Стой! — хрипло приказал старый мугаллим.

Аулнай притормозил. Старик медленно выбрался из машины, горбясь по-стариковски, дошел до туранги, вынул из кармана носовой платок, оторвал с края полоску, привязал к кривому сучку. Потом постоял, опустив голову, провел ладонями по лицу и, вздохнув, вернулся к машине.

— Все, — сказал он дрогнувшим голосом. — Все... все...

Аулнай промолчал.

По запавшим щекам старика покатились слезы, исчезая в белой трясущейся бородке.

Глава пятая

Всю дорогу старик молчал. Аулнай «Верхней туранги» привез его к себе, молодка-келин сноровисто накрыла дастархан, но Мамбет Казиевич лишь приличия ради отпил глоток чаю, поблагодарил хозяйку и пересел на машину районного акима, который наказал своему водителю доставить отца уважаемого Баха́до области.

— Устраивайтесь, старина, поудобней, — сказал русский шофер. — Ехать нам более двух часов.

Ни о чем говорить не хотелось. «Тойота» плавно мчалась по асфальтной дороге, мимо проплывали знакомые перелески, опустевшие поля, безлюдные бригадные станы, пастбища, поселки, аулы, там-сям попадались на глаза потемневшие копешки, вдоль дороги, спесиво выпятив грудь, упруго вышагивали вороны, и все было по-осеннему скудно, уныло, убого, будто жизнь замерла во всем краю.

— Что-то скота никакого не видно, — проронил вслух старик.

— Какой скот? — тотчас окликнулся шофер. — Пасти-то негде.

— Как это? Вон сколько божьей земли вокруг.

— Да... но она продана. Скот пасти не смей. И поля, видите, пустуют. Не пашут, не сеют. Хозяин не велит.

— А хозяин кто?

— Бог знает... Где-то сидит. То ли министр, то ли депутат. А народу — шиш. Живи, как хочешь. Говорят: рыночная экономика.

— Значит, кто смел, тот и съел?

— Кто нагл, тот и хапнул.

— Апырай, а! Ну, купил землю, а дальше что?

— А ничего! Собственник! Как собака на сене. И сам не гам, и другим не дам.

— И смысл?

— Смысл один: хапать, драть, продать, деньгу качать.

— А совесть-иман где?

— Ха-ха! Зачем совесть? Совесть — доллар!

Мамбет Казиевич пригорюнился. Он и сам замечал, что совесть, честь, благородство, достоинство, о чем он внушал детям столько десятилетий, нынче не в чести. Нынче герой,

славный батыр тот, кто изловчился, хапнул кусок побольше, разжился чужой долей, заарканил удачу и затаился в кустах, высматривая, поджидая очередную добычу. То, что еще недавно считалось подлостью и коварством, теперь обернулось достоинством и удалью.

Мамбет Казиевич не раз видел по телевидению, когда в ауле было еще электричество: лежит себе чудовищный крокодил в тине, в траве, между коряг, шершавый, зубастый, растопырив кривые лапы, глазками зыркает вокруг, крутыми боками чуть-чуть водит, и когда чуткая серна или глупая овца подходит к водопою, он, взбаламутив воду, рывком набрасывается из-за засады, раззявит мерзкую пасть и — хвать! цап-царап! — уволакивает свою добычу в омут. Развелось нынче подобных крокодилов и в степях Казахстана!

Говорить не хотелось. Что в мире творится — уразуметь сложно, а в родном краю, похоже, происходит что-то неладное. В последние годы на каждом углу только и слышно гугу, шу-шу: такой-то бывшую колхозную землю обрел в свою собственность, такой-то ловко оттяпал себе детсад, баню, магазин; жуликоватый фельдшер «Верхней туранги» исхитрился присвоить себе акушерский пункт и теперь аульные роженицы разрешаются от бремени только за приличную сумму; кто-то из районного начальства ликвидировал библиотеку, выкинул на свалку все книги, а хлипкое здание переоборудовал в продуктовый магазин; в соседнем ауле кто-то отхватил половину школы под контору. За каких-нибудь пять лет все оказалось разграблено на корню. Но, поговаривали, все это мелочи, семечки, местный жалкий масштаб. С нищего населения, понятно, навар небольшой. А там, наверху, в высоких руководящих сферах, по слухам, начальство и вовсе распоясалось, сполна проявляя свои неумеренные аппетиты. С придыханием и изумлением рассказывали, как за бесценок проданы чужакам-пришельцам и доморощенным юркачам целые предприятия, заводы, учреждения, музеи, участки, угодья, заповедники, общественные здания, заправочные станции, шахты, нефтескважины, банки... бог ты мой, ненасытные утробы заглатывали, как взбесившийся крокодил, все подряд, как говорится, верблюда с шерстью, коня с поклажей. Вся страна за короткое время превратилась в сплошной дикий базар. Точно

безумие охватило всех. И в помыслах, и на устах одни деньги, деньги, деньги. Акша, акша, акша. Доллар, доллар, доллар. «И чем это кончится?» — задумывался иногда Мамбет Казиевич. Ну, все продадут, все-все, что на земле и под землей, нажрутся в три горла, набьют брюхо, сядут на кучу добра, нахапают, чтобы на семь поколений хватило. А потом что? Одни начнут беситься с жиру, другим — лишь бы быть живу. Потом остается только пожирать друг друга. Ведь за кордон не шмыгнут, в замках-дворцах не упрячутся. Нищебродам придется довольствоваться убогой и унизительной жизнью, существованием, прозябанием на разграбленной, отравленной, измытаренной, истерзанной земле отцов — атамекене. Неужели благодетели народа, дорвавшиеся до власти, настолько ослепли и оглохли, что не в силах сообразить, что творят безумие?

Говорят: рынок, капитализм. Шпыняют на все лады социализм и недавнюю советскую власть. Открещиваются от прошлого. Будто там жили одни недоумки, недотепы, придурки, словно там было все отвратительно и мерзко. Этого понять Мамбет Казиевич был не в силах. Он чувствовал, как весь напрягается, ощетинивается, когда какой-нибудь самодовольный хмырь или записной трепач разглагольствовал публично об уродливой жизни в прошлом. Что они, эти пройдохи и рвачи, прощелыги и прохиндеи, приспособившиеся к новым веяниям сомнительного времени, понимают о прошлом своих отцов и дедов? А особенно нестерпимо, гадко, когда какой-нибудь пошляк-юнец, одолевший две-три книжки, с видом знатока охаивает далеких предков за их — по его представлению — нерадивость и ограниченность. Ай, чья бы корова мычала...

Хорошо думается в пути. И мысли текут ровно. И перед глазами все стоял родной аул, который он покинул — кто знает, может, навсегда. Жизнь-то осталась с куцый вершок.

Крохотный, в два десятка дворов, аул затерялся в перелесках возле степного озерца, окаймленного зарослями осоки, камыша и ивняка. На краю озерка росла бог весть с каких времен одинокая, раскидистая туранга. Она-то и дала озерку имя — Туранколь. Так до поры до времени назывался и сам аул. Его переименовали много раз в зависимости от новых веяний неспокойного времени. А времена и

порядки менялись часто, сменяли друг друга и вожди большой страны. Но неизменными оставались березовые колки вокруг, пшеничные поля за ними, само озерцо, питаемое двумя-тремя ключами и талой водой, да и неказистый аул с полусаманными, полудеревянными домишками и незатейливыми подворьями.

Отсюда хилым подростком Мамбет отправился на войну, сюда вернулся четыре года спустя заметно окрепший, но и изрядно помятый, с подбитой рукой, с несколькими орденами и медалями на тощей груди. Отец, Кази, еще бригадирствовал в колхозе, тянул привычную лямку, весь в нескончаемых заботах и хлопотах и, хотя перевалило ему едва за пятьдесят, вид у него был глубокого, изможденного старца. Видно, годы лихолетья и в глубоком тылу никого не щадили.

Однако бригадир Кази успел закатить на весь аул той по поводу благополучного возвращения сына, оженить его, построить домишко-отау рядом с совсем уж захудалой отчей халупой, завещать пяток овец и коровку и благословить молодых перед уходом в невозвратный путь.

Поначалу демобилизованного лейтенанта Мамбета Адилова определили инструктором райкома партии. Мотался молодой Мамбет по аулам, разъяснял партийные установки, бодрил уставший, окаменевший от затянувшихся невзгод народ, направлял его оставшиеся силы на восстановление порушенного вконец хозяйства. Однако вскоре понял: не его это дело. Аулы дошли до ручки, брать с них уже ничего нельзя, лозунги не срабатывали, никого не зажигали, и страх на людей уже не действовал. Да и здоровье пошаливало: все чаще кружилась голова и сердце по утрам екало. Попросился Мамбет в аульную школу, заочно окончил двухгодичный областной учительский институт.

В крохотном ауле и школа была крохотная: даже в лучшие годы в двух комнатушках одновременно учились от пятнадцати до семнадцати аульных шалопаев. Мамбет преподавал в двух классах с утра, жена, Зура, в двух классах после обеда. И этот однажды заведенный порядок продолжался десятилетиями. Где-то далеко, в необъятной стране, происходили крутые перемены, новости сотрясали государство, даже в районном центре то и дело разгорались

какие-то кампании, но в ауле с одинокой турангой на краю озерца ничего примечательного не происходило. Разве что у кого-то из аулчан волк задирал телка, какая-нибудь молодка разрешалась от бремени, сосед по нерадивости спалил шошалу, у другого прохудилась крыша, на чьей-то шильдехане повздорили двое славных азаматов, а по валунам в овраге ударила молния. Вот и все новости.

Мелькали дни, месяцы, годы; солнце всходило с востока и, завершив свой круг, в положенный час уходило на покой за березовым леском; люди копошились по дому и на поле; растили детей; обихаживали скотину; старели и безропотно уходили в мир иной. Учителем Мамбет был увлеченным. Учил детвору не только начальной грамоте, но и житейской сноровке и мудрости, затевал разные игры, водил по окрестностям, устраивал читки и беседы, рассказывал, что происходит в мире, о войне, о странах, где побывал в войну, опекал воспитанников по-отцовски, следил за их успехами в соседней семилетке и районной средней школе, будил в них мечту и стремление к знаниям. Был Мамбет человеком любознательным, выписывал газеты и журналы, ловил все новости, писал в районную и областную газеты стихи, заметки, статьи. Аулчане уважали его и гордились им. Со временем он стал аксакалом аула, с ним советовались и стар, и млад. И бывшие ученики не забывали своего наставника. Переписывались с ним, приезжали при случае отдавать салем. Представить аул «Нижняя туранга» у озера с одной турангой без почтенного Мамбета Казиевича было невозможно. Годовалые ребятишки при виде его тянули ручки, щерили рты и лепетали «Ата», «Ата». И он здоровался с ними, весь рассияв лицом, за ручку, называл всех по имени, вспоминал их родителей, дедов и бабушек, говорил подобающие слова-благословения.

— О, айналайн. Вырасти джигитом большим-большим, как Алатау.

— О, милый цветочек, да освещают твой путь солнце да луна.

— Уай, мой сарбаз! Стань сильным, как тигр. Как леварыстан!

— Да будет усеяна твоя тропинка цветами.

— Да будет высоким и чистым над тобой небо.

— Прославь свой род на всю страну.

Дети, не понимая слов, улыбались доброму дедушке, а их бабушки млели от счастья и гордости.

Мал был аул, да сколько славных людей из него разлетелись во все стороны божьей земли. Считай, потомков аулчан найдешь ныне и в Москве, и в Алматы, и в Астане, а некоторые даже очутились в других странах-государствах. О, тауба, тауба! Благодарение Всевышнему! Благодать его безмерная щедро разлилась и на их крохотный, затерявшийся в лесостепи аул. Малая толика заслуг, надо полагать, принадлежит и ему, скромному учителю-мугаллиму Мамбету, сыну Кази.

И думать об этом было приятно. И от сознания своей причастности к успехам и радостям незаметного аульного бытия становилось тепло и светло на душе.

Одно омрачало жизнь Мамбета-мугаллима. Долгие годы у них с Зурой не было детей, и это учительскую чету постоянно удручало. Стыдно было и перед аулчанами из-за того, что кукуют одни в опрятном и чистом доме. И ночами Мамбет, бывало, предавался горестным раздумьям: «Это надо же! Все есть, а ничего нет. Верно говаривали предки: «Дом с детьми — базар. Дом без детей — мазар». Неужели судьба не сжалится над нами? Неужто так и суждено нам жить в одиночку? За что такое наказание?..»

Зура и вовсе лишилась покоя. Певунья, щебетунья, она стала избегать разные аульные тои-вечеринки, старалась, кроме школы, никуда не ходить, молча копошилась по дому, замкнулась. Опечаленные супруги все чаще заговаривали о ребенке из детдома, но знакомые отговаривали: «Проявите терпение. Бог смилостивится. И ваш очаг еще огласит детский гомон». Не было и таких родственников, которые по казахскому обычаю могли бы удрученных супругов облагодетельствовать ребенком. «Апырай, какая несправедливость! — все чаще роптал Мамбет-мугаллим. — У других дети рождаются косяками, а тут и одного судьба не дает».

Однажды, на летние каникулы, превозмогая гордость, сомнения, стыд и возможные людские пересуды, супруги съездили к областному специалисту, обследовались, сдали всевозможные анализы, и врач, низкорослый, щуплый, носатый мужичонка в толстых очках, с козлиной бородкой и густым, уверенным басом утешил их: «Не отчаивайтесь. Все нормально. Избавьтесь только от всех комплексов».

Что подразумевал носатый карлик в белом халатике под этим словом, супруги так и не поняли, но вышли от него ободренные, с надеждой.

Носатый специалист оказался прав. Вскоре Зура понесла. Но девочка родилась хилой, вялой и умерла через месяц. И вторые роды оказались неудачными. Трое суток мучилась Зура в районной больнице и разродилась, наконец, недоношенным ребенком. Роженицу тогда еле спасли. А еще два года спустя Всевышний сжалился над безутешными супругами: родился сын, крепенький, здоровенький, черноглазый, круглоголовый, своевольный, и с приходом его на белый свет тихий дом аульных мугаллимов наполнился смыслом и счастьем. Весь аул обрадовался этому событию. Весть о том, что в семье Мамбета-мугаллима появился долгожданный ребенок, облетела все верховья и низовья. Целый год со всех окрестностей стекались в счастливый дом гости, чтобы порадоваться счастью облагодетельствованных Всевышним терпеливых супругов. Назвали сына просто — Бахыт, что означало счастье.

Родители очутились на седьмом небе. Мамбет-мугаллим нередко забирал мальца-бутуза с собой в школу, усаживал его за парту, не спускал с него влюбленных глаз.

У мальчика рано проявились способности. Непоседливый, он, однако, прилежно сидел за партой, крутил кудрявой головенкой туда-сюда, поблескивал любознательными глазенками, хватал все на лету, вместе с одноклашками зазубрил таблицу умножения, вместе с четырехклассниками заучивал стихи, в три года научился бегло читать и стал любимчиком всей аульной начальной школы. Особенно впечатляли его способности в арифметике. Играючи умножал в уме двухзначные числа.

Мальчика оберегали от сглаза, от случайных напастей, от озорных игр. Его и подкармливали на особый лад, не так, как аульных сверстников, поили сливками, пичкали витаминами, доставали откуда-то овощи и фрукты. И одевали его по-городскому. И Бахыт рос сытеньким, гладеньким, ухоженным, чистеньким. И в ауле смирились с тем, что он особый, не чета другим, позднее, долгожданное, желанное, единственное счастье мугаллима Мамбета. «Айналайн наш Бахытжан», — говорили с гордостью мужчины. А женщины

в ауле называли его не иначе, как «нежный, ласковый учительский ягненочек». Он и был похож на ягненка — большеголовый, крутолобый, круглый, с большими влажными черными глазами, курчавый. Каждому хотелось непременно обласкать милого мальца. Даже аульные сорвиголовы не испытывали к нему ни зависти, ни зла. Все признавали его особые задатки, говорили: «Из учительского сынка выйдет толк».

Учился Бахыт играючи. Все давалось ему легко. Слыл во всем примером. А после окончания начальной аульной школы его определили в районную русскую десятилетку. Ради сына учительская чета даже вознамерилась одно время переехать в район, но начальство отговорило Мамбета от этой затеи. Условия в интернате при школе оказались вполне приличными, и родители решили, что самостоятельность их чаду не повредит. К тому же каждое воскресенье они наведывали своего ненаглядного, подкармливали и одевали в самые модные, дорогие наряды.

Мамбет убедился: и в районной русской школе сын ходил в передовых. Учителя его хвалили, сверстники почитали, девчонки любили. Щебетали: «Бахытик, Бахытик!» Писали на партах, на скамейках: «Бахытик — лапочка». Мальчик выделялся своей тягой к новизне: много читал, рисовал, играл в шахматы, бренчал на гитаре, участвовал в разных олимпиадах, конкурсах, болботал по-английски, увлекался фотографией, посещал танцы, одевался опрятно, освоил изысканные манеры. Им восхищались, говорили: «Далеко пойдет».

— Ия, ия, — кивали старики. — Сидеть ему в райкоме.

— Оу, — возражали им. — Какой райком? Ему обком или ЦК подавай.

— Бесспорно: звезда его взойдет.

Мамбет гордился сыном. А когда прочел о нем заметку в районной газете, то от счастья, как говорят казахи, едва не достиг макушки неба. Вырезал заметку из газеты и всюду бережно носил ее с собой в бумажнике.

Когда Бахыту после окончания школы вручили золотую медаль, обалдевшие от счастья родители провели той на всю округу. Даже районное начальство приезжало разделить радость аульного муталлима.

Одно тревожило отца: сын совсем отлучился от родной речи, перестал говорить по-казахски, казахские книги и в руки не брал. «Апырай, — досадовал Мамбет. — Бұл қалай болды? Как это получилось?! Стыд-то какой! Отец и мать — казахи, а сын совсем обрусел. Букву «алиф» от палки не отличает. Что люди-то подумают?» Зура заступалась за сына, утешала мужа: «Ничего! Он вскормлен родным языком. И первое слово произнес по-казахски. Надо будет — заговорит не хуже нас».

Бахыт по республиканской разнарядке попал в Московский университет и учился на экономиста. Он был видным юношей: невысокого роста, но ладно скроенный, высоколобый, с блестящими, живыми, чуть навыкате глазами верблюжонка. «Родился на счастье какой-нибудь длиннокосой», — говорили аульные молодки.

Но обзаводиться «длиннокосой» Бахыт не спешил. Отмахивался от каких-либо разговоров на эту тему. Окончив университет, год поработал в республиканской Академии наук. Потом опять на три года укатил в Москву, окончил аспирантуру, защитил диссертацию, вращался в кругу знатных московских экономистов, но вскоре с головой окунулся в водоворот событий по строительству независимого государства, всюду был нарасхват и незаметно сблизился с большими людьми во власти.

Родители, по-прежнему проживали в захолустье, лишь по газетам следили за карьерными успехами сына. Он постоянно куда-то перемещался: то в каких-то научных и управленческих структурах, то в фирмах с длинными витиеватыми названиями, то в совместных корпорациях с иностранцами, то в министерствах по финансовой части, то в загадочных холдингах. Мамбет догадывался: сын попал в струю, везде востребован, заправляет большими делами. Это, конечно, радовало стареющих родителей, но огорчало то, что сын совсем отбился от родного дома, от отчего края, за все долгие, лихорадочные годы только и навестил аул раза три. И то все как бы мимоходом, проездом, в спешке, не отрываясь от мобильного телефона, с которым не расставался даже ночью. И переговоры вел какие-то нескончаемые, непонятные, с набором диковинных слов и фраз из разных языков. Мамбету так хотелось обстоятельно по-

говорить с сыном обо всем, что происходило на белом свете, выяснить, что за реформы затеваются в высоких кругах власти, куда направилось большое кочевье времени, что думают благодетели-правители о простом люде, об аулах, о житье-бытье казахов и в чем заключается суть независимости. Да мало ли вопросов возникает в голове пенсионера-мугаллима. Небось и его башка не мякиной набита. Смутные представления и ощущения волнуют, будоражат и его душу. Но сын избегал досужих бесед. То ли ему было некогда, то ли неинтересно мурыжить очевидные для него истины, то ли посчитал, что аульному старику подобные речи не по зубам, то ли у самого в душе творится разлад и раздрай.

Одно было ясно аульному мугаллиму: страна попала в водоворот, вихрь событий закружил-завертел новоявленных вершителей судеб, все складывалось со скрипом, до многого руки не доходили, и Бахыту тоже все некогда, некогда, некогда, и все вокруг него куда-то спешат, спешат, не имея возможности перевести дыхание и оглянуться.

Однажды сын во время парламентских каникул неожиданно нагрянул в Нижнюю турангу, и не один, а с светлолицей, большеглазой, тонкогубой, стройной молодкой с непривычными для аулчан вольными манерами.

— Ну, вот, коке, ваша келин. Зовут Зухра. Прошу любить и жаловать.

Незнакомка вскинула бровки, чуть растянула тонкие губки, проворковала по-русски: «Очень приятно!» и протянула опешившему свекру мягкую, с твердыми коготками ручку.

Потом городская келин, поцокивая высокими каблучками, подошла к Зуре, застывшей в растерянности, и тоже подала ладошку, представилась:

— Зухра Ганиевна.

Родители Бахыта от изумления онемели, а молодые, переглянувшись, отчего-то расхохотались.

«Красивая, милая, — подумала про себя Зура. — Но, видно, шалунья, баловница. Такую в узде не удержишь».

«Апырай, какая она хрупкая! — отметил невольно Мамбет. — Пушинка! Такая и ведро воды не поднимет. Ее только на колени усадить да пыль сдувать».

Весть о приезде Бахыта с юной женой мигом облетела аул. К учительскому дому начал стекаться народ. Всем хоте-

лось поглазеть на городскую невестку-келин. Мамбет, едва опомнясь, бросился в овчарню резать ярку. Зура захлопотала у казана. Ей на помощь поспешили соседки. А молодые между тем переоделись с дороги, раздали городские подарки и отправились в ближний лесок, потом на озеро и вернулись лишь к свадебному дастархану.

Бахыт держался спокойно, всем улыбался, произносил подобающие слова, почтительно обнимался со стариками и старухами, подставлял им для обнюхивания лысеющий лоб, а невестка в прозрачном, открытом платьице, подчеркивающем все ее прелести, простоволосая, накрашенная, надушенная, озиралась по сторонам, хлопала с наигранной наивностью длинными ресницами, кривила капризные губки, восхищалась по всякому поводу: «Ах, мило!», «Дивно!», «Чудно!», «Восхитительно!», «О, святая простота!»

Все догадались: смазливая, как куколка, невестка — вольная птаха, которой аульные нравы и порядки не только чужды, но и странны, дики. Видно, понятия не имела о каком-то приличии и этикете. И держалась так, будто не к родителям мужа приехала, а в гости к сердечному дружку или на побывку к родному отцу. Ей все было в диковинку, и скованность, смущение аулчан — тоже. И никто не знал, о чем и как с ней разговаривать. К ней обращались по-казахски, а она в ответ щебетала по-русски и чаще всего невпопад. Старики и старухи все ждали, когда невестка сядет к самовару и начнет собственноручно, с соблюдением вековых степных правил угощать всех чаем, изящным и скромным жестом почтительной молодки попеременно подавая всем чашки с едва заметным поклоном головы, но невестка, не зная, куда девать ноги, прикрыв обнаженные колени полотенцем, восседала рядом с мужем на почетном месте, на атласном одеяле поверх домотканого паласа и время от времени роняла непонятные слова:

— Прелесть!

— Дивно!

— Посмотри, Баха! Поразительно!

Бахыт только улыбался, и вид его был утомленный. Волосы его заметно поредели, но по-прежнему курчавились. На губах, на подбородке обозначился пушок. Лицо было юное, ухоженное, лосьоном протертое, а большие и влажные, как

у верблюжонка, глаза отливали потаенной грустью и заботой. Аулчане почтительно ловили каждое его слово, но Бахыт все больше помалкивал, казалось, стеснялся чего-то, и казахские слова в его устах звучали непривычно, коряво. Беседа за дастарханом никак не налаживалась, и аулчане, заполняя тягостные паузы, начали перекатывать пустые словеса:

— Что-то давно дождя не было.

— Да, травы начали желтеть.

— Видно, ранняя осень обрушится.

— И пшеница созрела, а убирать нечем.

— Как всегда, к осени горючего нет.

— Хоть серпом коси.

— Беда!.. Все как-то неожиданно разладилось...

Бахыт слушал, понурив большую голову. А невестка, пожевав иримчик, достала из крохотной сумочки сигарету, ловко щелкнула зажигалкой, затянулась и выпустила из накрашенного рта сизые кольца дыма.

За дастарханом все враз онемели. А у сапожника Мукана вырвалось:

— Астафыралла!

Молодые прогостевали всего три дня. Незатейливая аульная жизнь, видно, наскучила им. Уже наутро следующего дня Зухра надула губки, все ей было не по душе — и отсутствие привычных удобств, и скудный завтрак, и недоуменные взгляды вокруг. Только фыркала: «Экзотика, экзотика!», подчеркивая всем видом, что такая экзотика ей поперек горла. Гости пропадали в лесочке, собирали костянику и смородину, купались в озере на потеху аульной пацанвы, бродили по окрестностям и неожиданно укатили, вызвав машину из областного акимата и оставив аул в недоумении.

— Апырай! — цокали язычками аульные бабы-хатуны. — Ай да краля! Сколько с ней будет мороки нашему Бахытжану.

— Да и он хорош... Распустил красотку.

— Интересно, кто ее родители?

— Ойбай, большие люди, сказывают! И отец вроде как академик, да и мать не кизячным дымом пропахла.

Семейную жизнь единственного сына учительская чета совсем по-иному представляла.

Зура долго молчала, вздыхала, переживала, а однажды поделилась с мужем тайной.

— Знаешь, она уже была замужем. И имеет дочь от первого брака.

— Не дейды?! Откуда взяла?

— Земля полнится слухом...

На другой день Мамбет сказал за чаем:

— Ну, что ж! Так, значит, суждено. Надо полагать, и Бахыт до тридцати лет не монахом прожил. Не нам судить. Лишь бы жили в дружбе и согласии.

Зура ничего не ответила, но червь сомнения и подозрения подтачивал ее нежную душу.

Бахыт больше не приезжал. Лишь изредка приходили от него по почте аляповатые, глянцевые открытки из Парижа, Брюсселя, Берлина, Каира, каких-то зарубежных курортов.

— Ну, да... Зачем ему наша глушь?! — сетовал Мамбет, рассматривая красочные открытки.

— Благодарение Всевышнему, что живой-здоровый, — отозвалась Зура.

Одно время грезилось: заберет их, стареющих родителей, сын к себе в благоустроенную городскую квартиру, Зура будет нянчить внуков, учить их казахской речи, Мамбет — наслаждаться покоем и уютом, ублажать свою застарелую «купиртонию», ходить по театрам и библиотекам, о чем мечтал с юношеских лет, вечерами подолгу сидеть на кухне, потягивать кок-чай, искусно заваренный учтивой и услужливой снохой, слушать новости по телевизору, шуршать газетами, при случае кропать стишки, сочинять заметки-отзывы, а иногда вести вольные беседы со всезнающим сыном и его друзьями. Ну, и как водится, ходить по гостям. Какой казах этого не любит, тем более у добрых людей и знакомых всегда уйма.

Годы мелькали, а сын все реже давал о себе знать. Он мотался по разным странам-государствам, выступал на важных конференциях, давал интервью, проводил круглые столы, на которых вроде как решались какие-то государственные дела. Однажды пришло письмо с фотографией. В кресле развалилась вся увешанная серьгами, браслетами, кольцами, бусами расфуфыренная сноха с лобастым мальчонком на коленях, а сзади пристроился улыбающийся Бахыт в

черном костюме, белой сорочке и ярко красным галстуком. Лоб его еще более обнажился, а телом был по-прежнему худощав, легок. На висках появилась седина. Тыльная сторона фотографии была подписана четким, твердым почерком сына: «Арыстан Адилов, два года. Лондон». Мамбет долго разглядывал фотографию.

— Байбише! Какой, однако, у нас внук!

— Выходит, в Англии родился, а мы и не знали.

— Надо бы съездить, поздравить.

— Куда? В Англию?.. Бахыт дома не застанешь. А снохе мы и не больно нужны.

Мамбет Казиевич и обрадовался, и огорчился. Продолжение рода — разве может быть большей радости? Но... почему о том сообщили два года спустя? И почему не посоветовались при выборе имени, хотя против Арыстана-Льва кто возразит? Арыстан Адилов — звучно и мощно.

Зура с юных лет не отличалась крепким здоровьем. Часто недомогала. Странная слабость подтачивала ее. Она молчала, терпела, перемогалась, чтобы не омрачить Мамбета. А когда по просьбе Бахыта ее обследовали в областной больнице, обнаружилось, что уже невозможно что-либо предпринять. Так и угасла тихо, безропотно, не увидев, не обласкав внука. Значит, не суждено было. Упокоили ее на старом аульном кладбище. Бахыт в это время находился в южной Америке по торговым делам. На могилу матери он приехал лишь на годовщину. И то на полдня. Постоял у холмика, возложил цветы, распорядился в областном акимате, чтобы поставили достойный памятник — мраморный стояк с надлежащей надписью.

... Приехали! — объявил вдруг шофер. — А вон и Саруар нас дожидается.

Мамбет очнулся от дум-воспоминаний, только теперь заметив, что стоят возле городского аэровокзала.

— А кто такой Саруар?

— Помощник областного акима.

Мамбет Казиевич тяжело выбрался из машины, почувствовав, как ныло все его тело с непривычки.

— Добро пожаловать, аксакал!

Расторопный, вышколенный, молодой человек в кожаном длинном пальто и в блестящей черной кепке из нерпы радостно поприветствовал его, подхватил под локоть.

— До вылета осталось три часа. Мне велено вас встретить, повести в привокзальный ресторан и посадить на самолет. Багаж и билет ваш зарегистрируют.

— Е-е, ладно, ладно, — хрипло произнес старик. — Жаксы, жаксы, мой жигит. А кто велел?

— Аким.

В тот же день, поздно вечером самолет прибыл в Алматы. Бахыт не мог встретить отца: был на каком-то срочном совещании в Астане. Встретил Мамбета Казиевича помощник сына и на сверкающей длинной машине довез его до восьмиэтажного нового, как на картинке, дома за железной высокой оградой.

Начиналась новая жизнь.

Глава шестая

Квартира сына поначалу ошеломила. Мамбет Казиевич только диву давался, не представляя, что так могут люди жить. Боже, что это была за квартира! Да в ней, пожалуй, при необходимости мог вполне разместиться весь аул у озера с одинокой турангой. Целая неделя понадобилась аульному старику только на беглый осмотр ее. Не квартира — сказочные хоромы! Каждый член семьи имел свою отдельную просторную комнату, заставленную диковинной заграничной мебелью, диванчиками, креслами, компьютерами, телевизорами, магнитофонами, сейфами и бог весть еще чем, предназначение чего было Мамбету Казиевичу и неведомо. Ой, Алла... это и не квартира вовсе, а музей. По обе стороны длинного-длинного коридора тянулись встроенные шкафы с дубовыми дверцами и позолоченными ручками. В необъятной прихожей могла бы запросто расположиться колхозная бригада. В зале в самый раз свадьбы играть. Непонятно было, как потолок выдерживал многопудовую ослепительную люстру. А зачем двум человекам на ночь нужна такая непомерная спальня с коврами, зеркалами, тумбами, пуфами, шифоньерами, бра, торшерами, настенными полками, фривольными, аляповатыми картинами, двумя широченными, как колхозный хирман-ток, кроватями, старику было и невдомек. Неужели молодым одной кровати мало?

Удивляли и две лоджии и четыре балкона, застекленные, оборудованные, с разными креслами-качалками, столиками, шезлонгами, кадками и цветочными горшками, массивными вазами. На кухне вполне можно было разделывать кобылу на согум, а рядом с ней находилась еще и столовая с длинным овальным, арабского изделия полированным столом и двадцатью стульями с высокими резными спинками и мягкими атласными подушечками. В первый же день Бахыт продемонстрировал отцу три туалетные комнатки в разных углах квартиры, две ванные и душевую, две кладовки для хозяйственных нужд, и все эти помещения были украшены, заставлены, увешаны дорогой мишурой, безделушками, стекляшками, банками, тюбиками, которых старику доселе видеть не приходилось. Мамбет Казиевич, опасаясь поскользнуться на отполированном, навощенном до блеска паркетном полу, только восторженно восклицал: «Керемет!», «Ғажап!», «Тысяча и одна ночь», «Сказка!», «Свихнуться можно!».

— Бахытжан-ау, какая же общая площадь квартиры? — полюбопытствовал Мамбет Казиевич.

— Не помню точно. Где-то триста-триста двадцать метров.

— Апырай, а! И откуда только все это?!

Бахыт театрально развел руками.

— Ну, как же! Трудимся ведь...

— Но другие ведь тоже не свиней подковывают или ворон ловят.

— Каждому свое, коке, — чуть запнувшись, ответил Бахыт. — Все одинаково никогда жить не будут. Этот коммунистический идеал себя не оправдал. У рынка иные мерки.

Мамбет Казиевич давно догадывался, что сын его взобрался высоко, что он, судя по всему, и специалист отменный, и поставить себя сумел, и с властью на дружеской ноге, и приятелями обзавелся, ворочащими крутыми делами. И все же, все же... Откуда что берется? За такое короткое время?! На одну зарплату все это не обретешь. О наследстве опять-таки речи нет. Какое наследство от аульного учителя? Так откуда же дровишки? Уму непостижимо! Мамбету Казиевичу приходилось читать в газетах, что за годы независимости в Казахстане, да и в других новых

странах-государствах, появились юркие, удачливые, хваткие молодые люди, способные с куриных яиц настрочить шерсть и запросто проглотить коня с поклажей, верблюда с шерстью. Они, эти юркачи умели запросто копейку обернуть рублем, улыбаясь, вежливо загребать все, что плохо лежит и сказочно обустраивать свою жизнь. Выходит, и его Бахыт — парень не промах. И он, где надо шустрит. Неслучайно, видно, работает в нескольких прибыльных местах, ходит у правителей в советниках, заправляет какими-то фирмами и холдингами, корпорациями да консалтингами — черт ноги сломит в их названиях. Кто бы подумал — такой тихий, скромный, вежливый, мухи не обидит, обходительный, деликатный, а доли своей, видно, ни за что не упустит. То-то — и в глазах вечная забота и тревога, и печать усталости на обнажившемся челе, и кудри заметно поредели. Попробуй содержать такую махину-квартиру да деньденьской вертеться в высших слоях...

— О том, коке, не беспокойся, — отмахнулся Бахыт, когда отец поделился своими сомнениями. — Казахстан богат. На наш век хватит. И за независимость мы ведь не зря боролись.

— А, солай-ма? Ты тоже боролся?

— А как же, коке?! У самых истоков стоял. Есть заслуги.

— Надо же! Я-то полагал, что за нашу независимость боролись и проливали кровь наши славные батыры, мудрецы-бии, прозорливые ханы.

— Е-е, коке... конечно, они боролись. Но как? Дубинами да пиками, мечами да луками. А есть еще борьба умов, разума, дипломатии, хитрости, искусства, интеллекта. По этой части наши славные предки были не больно-то искусны.

— Апырай, а! — задумался Мамбет Казиевич. — Наверное, я что-то не понимаю. Почему-то в ауле я независимых не заметил. Там, наоборот, сплошь зависимые. От погоды, от начальства, от законов и беззаконья, от новых порядков, от приватизации и черт знает еще от чего.

— Ну, коке, это сложный вопрос. И мы с тобой его не решим. К тому же переходный период, реформы. Не все сразу наладится. Неизбежно мокропогодица. Независимость еще не гарантирует сплошное благоденствие. И при независимости будут и бедные, и богатые.

Мамбет Казиевич кивнул головой, вздохнул.

— А ты, сын мой, выходит, из богатых?

— Ой, коке, не смеши меня! Это в ауле считают, что если у тебя две коровы и десяток овец, то ты уже богач. Вот это, — он повел вокруг руками, — разве богатство? Это, если хочешь знать, норма. Э-ле-мен-тар-но! Богатство — это когда владеешь заводами, землей, гостиницами и ресторанами, пароходами, банками. А это все — мелочь. Тьфу!

Мамбет Казиевич промолчал, не зная, что и сказать.

— Сноху жалко, — сказал он вдруг. — Как ей такие хоромы содержать?

Бахыт расхохотался. Хохотал долго, до слез. Даже лоб покрылся испариной.

— Ой, коке! Да разве ваша сноха убирать станет?! Она же тоже на работе. Убирают Вильма и Ольга, служанки. При необходимости помогают чеченец Ахмет да немец Рихард. Помощников сколько угодно.

— Но ведь им тоже надо платить?

— А как же, коке! Платить надо за все. В рынке живем.

— Е-е... Солай де!

Многое в жизни сына старику было непонятно, непостижимо.

Глава седьмая

Немыслимо представить аулы по всему безбрежью Казахии, где не обитали бы немцы-переселенцы. Осколки народа, называемого где аллеманами, где саксонцами, где тевтонцами, позднее — этническими, русскими, российскими и даже советскими немцами, появились в Степи, особенно в Акмолинской губернии и на Павлодарщине, еще в конце XIX века, потом — в годы Столыпинской реформы, большевистского раскулачивания, тотальной советизации, коллективизации, организованного голодомора, а уже в массовом порядке — осенью 1941 года после сталинского указа от 28-го августа о переселении немцев Поволжья на просторы Сибири и Казахстана. И не только с Поволжья насильно свезли в Степь несколько сот тысяч немцев, но еще столько же из Крыма, Кавказа, Украины и других окраин великой империи.

Степь приняла в свои объятия всех обиженных и обездоленных в одночасье — немцев, корейцев, поляков, чеченцев, ингушей, турков, крымских татар, курдов, карачаевцев, калмыков, балкарцев, греков, хемшидов, помимо ссыльных и административно высланных детей -представителей разных других народов.

Не стал исключением и крохотный аул у озера с одинокой турангой.

Еще в начале сентября, в первый год войны, когда по разморенному воздуху плавали серебряные нити, с железнодорожной станции, затерявшейся в глухомани, доставили в аул на стареньком «Фордзоне» с прицепной тележкой пять немецких семей с немудреным скарбом. Поглазеть на немцев собрались все местные жители — и стар, и млад. Всех охватило недоумение: и немцы были похожи на людей с руками и ногами, ушами и глазами, и даже рога не росли на их головах. Были и среди них мужчины, бабы, старики и старухи, подростки, дети. Вид их был усталый, изнуренный, подавленный, говорили почему-то тихо, на непонятном наречии, озираясь вокруг, будто были напуганы на всю оставшуюся жизнь. Привезли они с собой тощие баулы и самодельные, наспех сколоченные сундуки. И одеты они были не по-здешнему.

— Эй, неужели они — немцы?

— И с такими мы воюем?! У них же еле душа в теле.

— Они, кажется, в жизни досыта не ели.

— Е-е... бейшара... бедняжки...

— И куда их поселят?..

О том, видно, думали и приезжие. Мужчины оглядывались вокруг, будто что-то прикидывали, озабоченно о чем-то переговаривались. Женщины и дети, прижавшись друг к другу, сидели на баулах, молчали.

Местные глазели на приезжих с любопытством и страхом. Русских случалось видеть хоть изредка в соседних селах и райцентре, немцев же — впервые.

— Странно: и клыков нет, и оружия не видно.

— Вроде люди как люди.

— Апырай, а! И немцев довелось видеть.

Подъехал верхом на кауром жеребце Алеке-баскарма. Выставился на кучку растерянных пришельцев, выковырял

указательным пальцем изжеванный насвай из-за оттопыренной нижней губы, смачно сплюнул.

— Эй, немыс, здрасти, — сказал на всякий случай.

— Страфстуй... те, — ответили неуверенно двое-трое.

Восседал коротконогий, кряжистый, рябой баскарма в седле, будто на троне. Солнце пригревало по-летнему ласково, но из-за лесочка налетал зябкий ветерок, белесые тучки метались по небу. На баскарме был выцветший, заметно засаленный, наглухо застегнутый френч, фуражка, низко надвинутая на лоб, изрядно помятые брюки-галифе, заправленные в тупоносые сапоги. Сразу было видно: хозяин, владыка, привыкший повелевать колхозом с седла.

Баскарма кнутовищем почесал затылок, что-то соображал, наморщив лоб.

— Э-е... көтен так! — сказал, наконец.

— Гутен таг.... гутен таг! — дружно откликнулись приезжие.

Казахи повеселели лицом: «Уай, наш Алеке запросто калякает по-немецки».

И у немцев потеплели глаза: «Либер Хайланд, у киргизов, оказывается, добрые лица».

— Е-е... стырляйт... бах-бах... нету?

Немцы не сразу поняли. Потом один догадался.

— Найн, найн... нихьт шизен. Стреляйт нету!

— Карашо, — сказал баскарма. — Стрыляйт плохо. Работать — хорошо.

— Я, я... арбайтен... арбайтен, — отозвались немцы.

— Карашо! — заключил баскарма и показал кнутовищем в сторону заброшенной саманной кошары. — Там, там! Понятно?

Приезжие поняли: в пустующей, полуобвалившейся по краям саманной кошаре им предлагают поселиться. Конечно, это лучше, чем оставаться под открытым небом.

— Данке... данке шен... Спасибо!

Кто бы мог подумать, что развалюху-кошару, покрытую камышом и дерном, можно приспособить под жилье. А тут еще и зима была не за горами. Месяца через два-три заладят дожди, потом заснежит-запуржит, завоют-задуют свирепые ветры. Видно, приезжие все понимали. И захлопотали-закопошились возле кошары с утра до вечера. Какие же

они были мастеровитые, умелые, предприимчивые! Все спорилось в их руках. А заправлял всеми делами рослый, сутуловатый, сухолицый, обросший жесткой сединой немец по имени Фриц. Слушались его приезжие беспрекословно. Местные жители и не предполагали, что именно так неистово можно работать. И при этом все делать без суеты, надрыва, аврала, а размеренно, с толком, с умом. Их вожак, Фриц, постоянно внушал: «Работать следует так, чтобы и на завтра оставались силы». Мужчины перекрыли крышу, аккуратно уложили дерновые пласты, укрепили углы кошары. Женщины месили глину, обмазывали стены. Кошара преображалась на глазах: появились новые двери, оконца, отсеки, по которым располагались семьи. Слежавшийся намет убрали, выскребли, пол устлали полынью, чтобы вытравить овечий дух. Убрали и весь хлам вокруг, разбили дорожки. Аульчане диву давались: до чего все ловко получалось у пришельцев. И всему у них находилось применение — каждому бревнышку, бруску, охапке травы, пучку тальника, камыша, белой глине в буераке, валунам в овраге, железякам в степи. В ауле восхищались: «Эй, эти немысы — чудодеи. Из ничего что-то сляпают. И такие приветливые, благодарные. На лицах их есть имам. И по-казахски сходу болбочут. Вон орыс Журавлев всю жизнь живет среди казахов, а до сих пор два слова по-казахски не свяжет. А эти на лету все схватывают. Непонятно, как среди них фашисты-кровопийцы завелись? Может, они не совсем немысы? Наверное, у них матери другие...»

И в колхозе пришлые горбились безотказно. Баскарма от радости стал меньше кричать и сквернословить. И если поначалу он то и дело срывался на ор: «Эй, немыс!», то вскоре, видя их расторопность и усердие, заметно помягчел, стал ласковей и, бывало, говаривал: «Ай, айналаин немыс...» Особенно удивляло местных ласковое обращение пришлых со скотиной. Безымянные колхозные буренки вдруг обрели клички — Марта, Майя, Зойка, Эльза, отзывались на зов немок, млели, когда теплой водой обмывали перед дойкой вымена. Замученные, норовисто-упрямые колхозные быки стали послушными. Даже аульные шелудивые пустолайки при виде пришлых переставали брехать и уже издали помахивали хвостами.

Баскарма выделил переселенцам несколько пудов ячменя, овса, неочищенного проса, с фермы ежедневно отпускал пару ведер обрата, детвора удила рыбу, собирала перезрелую ягоду в ближних колках, выкапывала в степи солодковый корень. Аульные шалопаи вечерами вертелись возле бывшей кошары, затевали с немецкими сверстниками-тамырами мальчишеские игры-забавы, каким-то образом изъяснялись, понимали друг друга. В устах казашат звучали неведомые доселе имена — Робка, Йоська, Адам, Гуго, Артур, Вилли, Саша, Оля, Аня, Гильда, Фрида, Курт. Переимчивость конопатой, рыжей немецкой детворы удивляла аульных жителей. Пришлые ребята быстро научились учтиво называть стариков «ата», старушек — «аже», молодок «апа», старались угодить взрослым, пригоняли с выпаса скот, ходили за водой, собирали хворост и кизяк за кусок лепешки, за миску айрана, за горсть поджаренной в бараньем сале пшеницы, и сердца аульчан смягчились, недавняя настороженность развеялась, сердобольные старики и старухи называли ребятню другого роду-племени ласково «айналайн», гладили их по головкам, хвалили за понятливость и расторопность, одаривали немудреной аульной снедью — баурсаками-пончиками, коже-похлебкой, горстью курта или иримчика, ложкой толченного вперемешку с сахаром тары-проса. Казашата и «немыс балалар» ходили вместе на озеро, в лесок, шатались по аулу шумной ватагой, горланили по-казахски «Балкадиша» и «Камажай» и по-немецки, сильно искажая слова "Schön ist die Jugend" ,"O mein lieber Augustin" и "Hoch soll er leben". Эти три песенки особенно пришлись по душе аульным голодранцам за простоту мелодии, игривость и доступность легко запоминающихся слов. Похваливая кого-нибудь, одобряя за добрый поступок, пацанва восклицала: «Ай, маладес!», «Жарайсың!», «Жигит!» и тут же вразнобой, как молодые петушки восторженно, торжественно, во все горло прокрикивали:

Hoch soll er leben,
Hoch soll er leben,
Dreimal hoch!

Получалось не очень слаженно, зато громко, от всей души.

Трижды спев старинную немецкую величавую, казашата спрашивали:

— Хох! Хох! «Хохың» немене?» Что за «хох»?

— Это «Хенде хох!», да?

Но и «немыс бала» не могли это вразумительно объяснить, ибо их познания в казахском языке ограничивались расхожими словами: нан, сүт, қаймақ, құрт, ірімшік, бар, кел, отыр, дос, ойнайық, от, ат, сиыр,үй, жақсы, жаман.

Забавно было смотреть, как дети пришельцев и местных, взявшись за руки и встав в круг, изображали шутливый танец, умиленно подпевая при этом незатейливые слова:

O mein lieber Augustin,
Augustin, Augustin,
Geld ist hin, Mädl ist hin,
Mädl ist hin, Geld ist hin
O mein lieber Augustin
alles ist hin...

И, довольные собой, отхохотавшись, казашата спрашивали:

— Эй, Адам, Аукөстінің кім? Кто он такой, твой Аугустин?

Голенастый Адам, потрепав озабоченно рыжие вихри, объяснял:

— Жақсы жігіт.

— Немыс?

— Ну, да... немыс. У казахов Аугустинов не бывает.

— Ия, ия, — соглашались казашата. — У казахов бывают Ахмет, Аубакир, Алимхан, а Аугустинов нет.

«Аугустин» полюбился в ауле. Даже казашки-молодки то и дело вытягивали упоенно:

— О майн либер Аугустин, Аугустин, Аугустин...

Баскарма Алеке, услышав однажды на хирмане монотонную шаловливую немецкую песню, которую дружно напевали за работой немки и казашки, вслух изумился:

— Что же это получается? Там, — он тыкал рукоятью камчи в сторону запада, — наши азаматы с немцами воюют, кровь проливают, а здесь немецкие песенки поем?! Что это происходит? Немцы казахами стали, или казахи — нем-

цами? Шорт знает что! Приедет уполномоченный, скажет: вражеская агитация. Голову мне оторвут. Е-е... ладно. Пойте, только работайте.

И, заложив за губу очередную порцию насвая, сплевывал налево-направо, все так же восседая на длинном кауром жеребце, как на троне, привычно заключал:

— Давай, давай! Работай, работай! Арбайтен! Тьфу!..

Слово «арбайтен» баскарме понравилось. Им он с некоторых пор заканчивал любую речь. Оно звучало в его устах весомо, раскатисто, призывно, как лозунг на все времена.

Баскарму Алеке в ауле уважали. Он был криклив, строг, но добр. С каурого жеребца он, казалось, не слезал. И аульные охальницы поговаривали, что он даже свою байбише любит, сидя в седле, как-то, мол, подстраивается...

К первому снегу бывшая завалюха-кошара обернулась вполне приличным, годным для жилья бараком. И в каждом отсеке появилось по маленькой печке-плите. Топили кизяком, сухостоем, камышом, соломой. И колхозную лямку переселенцы тянули исправно. Никакой работой не гнушались. И если косоглазый матершинник бригадир Аманхан, размахивая камчой, с трудом, уже ближе к обеду кое-как выгонял измученных аульных баб и подростков в поле, на ферму или на стан, то немцы спозаранок шли сами без окриков и понукания и делали все с умом, будто век работали в ауле у озера с одинокой турангой.

Баскарма радовался: «Мне бы еще с десяток таких немцев, и я бы горя не знал. Какой, однако, хороший народ, эти немысы! Скажи только: «Арбайтен!» и в лепешку расшибутся. И откуда на их голову навязался этот бешеный Китляр?!»

В марте 1942 года в трудармию забрали сразу шестерых немцев-мужчин. И немецкий барак, и казахский аул возле озера с одинокой турангой сразу опустели. На проводы немцев собрался весь аул. Женщины плакали. Дети долго бежали за санями, на которых призывников повезли в районный центр. Пригорюнились все. Особенно баскарма. Весна была не за горами. На носу суматошливая пора посева. А с кем пахать? С кем сеять? Много ли напашешь с бабами, с подлетками, со стариками на быках и коровах?... А уполномоченный из района, понятно, орет одно: «Все для фронта! Все для победы!»

Осиротел немецкий барак на краю аула. Женщины-немки еще больше сблизились. На работу уходили спозаранок, оставив полуголодных детей на попечение дряхлых старух, возвращались же поздно, а то и вовсе оставались ночевать на ферме, на стане, ибо сменять их было некому. Так и маялись, усталые, измученные, понурые, в неотступных думах о мужьях на сибирском лесоповале, в вечной заботе о прокорме заброшенных, растущих без ласки и тепла детей-полусирот.

Тянулись однообразно унылые, тягомотные дни, недели, месяцы в томлении, ожидании неизвестно чего, без радости, без любви, без песен, почти без надежд. Случалось, поначалу немки собирались в каком-нибудь стылом отсеке при тусклом свете керосинки или сальной свечи, тихо беседовали, жаловались на родном гессенском диалекте, делились скудными новостями, рассказывали сны, читали-перечитывали редкие, давние письма мужей, густо вымаранные армейскими цензорами, мечтали о конце войны, о возвращении в родные края, в покинутые поневоле дома, к родному очагу, брошенному в спешке, как в пожаре, о мужьях, братьях, которые вновь вернутся к семье, учили детей песням, потешкам на родном языке, заповеданном предками и еще не выветренном из памяти.

Но война не кончалась, от мужей письма приходили все реже, и от этих писем веяло безнадежностью, холодом отчаяния; милые душе воспоминания о былом и, чуялось, невозвратном растворялись в тумане, окутывающем весной и осенью большое озеро с одинокой турангой; колхозная непосильная каторга выжимала последние соки; дети росли, как дикая трава в оттаявшей степи, чахлые и бледные; нищета зловеще выглядывала из всех щелей; колхозный бригадир все яростней размахивал камчой-восьмиплеткой, сквернословил на казахско-русской немецкой мешанине — «Доннер веттер әкеңнін аузын твою мать», а баскарма, не слезая с жеребца рычал одно: «Все для фронта! Арррбайтен!!»

Когда же наведывался из района коротышка — комендант регулярно на исходе каждого месяца и, собрав несчастных, перепуганных спецпереселенок в колхозную контору, изрыгал тяжелые, как булыжники, слова: «Враг народа!»,

«Немецкий фашист-оккупант», «Закон военного времени» и прочие угрозы, и вовсе жить становилось невмоготу. Ради детей, во имя мужей терпели все, сносили обиды и унижения, задавляя в себе женскую гордость и достоинства, ощущая себя покорными, безвольными рабынями.

Глядя на вечно подавленных матерей, и дети росли молчаливыми, запуганными, трусливыми.

— Мой коке на войне бьет фашистов! — хвастался задира Аскер.

— И мой коке в армии, — кротко заявлял Роберт.

— В какой?

— В трудармии.

— Ф-фи! В трудармии и автоматов нет, и орденов не дают.

Роберт шмыгал носом и молчал. Из одного-единственного письма от отца и рассказов матери он знал, что фатер его валит лес в сибирской глухомани, живет в бараке за колючей проволокой, получает 600 граммов хлеба в день и миску баланды, и конвой со свирепыми овчарками не спускает с него глаз.

Но самая страшная беда подстерегала впереди. Весной 1943 года забрали в трудармию девушек и молодых женщин, у которых дети были старше трех лет. «Немецкий» барак в ауле опустел наполовину. Несколько малышей отвезли в детдом в областной центр. Братьев Артура и Курта Фогелей забрал к себе сторож и местный мулла Елемес. За остальными присматривали дряхлые бабушки. Старшим из мужского пола оказался теперь тринадцатилетний Карл Деграф. На Волге, в Половодино, он успел проучиться четыре года в немецкой школе, здесь, в ауле, месяца три посещал казахский мектеп. Оказавшись самым старшим в классе. Карл рос любознательным и сметливым. Его отец, Генрих Деграф, еще в 1936 году первым в русско-немецком селе приехал однажды на чуде-тракторе ХТЗ-7. И это событие врезалось в память мальчика на всю жизнь. Он мечтал, что, повзрослев, тоже сядет когда-нибудь на трактор. А тогда, помнится, его заинтересовало устройство сноповязалки. В казахском ауле той техники, что было в поволжских колхозах, Карл не видел. О том и отец постоянно говорил. В МТС он, якобы, увидел только старый «Фордзон» и «Универсал»,

а на Волге, мол, тогда уже были и ЧТЗ и ХТЗ. Здесь же, в ауле, Карл уже 12-летним работал на лобогрейке. Это было непросто и ответственно. Надо было регулировать высоту среза хлебной массы, углядеть, чтобы коса не забивалась землей, да и за малолетним погонщиком присматривать, чтобы он случайно, уснув, не свалился с вола.

Пахал подросток Карл на волах и коровах однолемешным плугом, пребывал постоянно на солнце и ветру, тянул юные жилы, вдосталь нахлебался пыли. По необходимости бывал и прицепщиком, и сакманщиком, и пастухом, а через год отправил его баскарма на курсы трактористов при МТС, и доверили юнцу Карлу Деграфу, еще до того, как его поставили на учет комендатуры как спецпереселенца, заметно изношенный, чумазый СХТЗ-НАТИ. Рослый, костлявый, закаленный в лишениях и непосильных трудах, Карл быстро возмужал, казался старше своих лет. Говорил хриплым баском, слова ронял скупо, ходил вразвалку, будто нес постоянно невидимую тяжесть, смотрел строго, по-казахски общался свободно. В ауле его все любили за надежный, добродушный характер, за услужливость, за приученные к любой работе умелые руки. Ни баскарма, ни бригадир не осмеливались повышать на него голос, а для аульной малышни он стал кумиром. Молодки вскоре стали называть его ласково Карлжан, любовались его ладной статью, широкими плечами, бугристой грудью, кулаками-кувалдами. Трактор его тарахтел безотказно. В пору уборки он пересаживался на комбайн. На все был горазд расторопный малый немыс Карл. Все спорилось в его руках. Баскарма души в нем не чаял. «Апырай, — досадовал он не раз. — Как жаль, что ты немыс, а то бы бригадиром назначил».

К лету 1946 года вернулись все трудармейки. Надорванные, резко состарившиеся, с потухшими глазами, бледными лицами, они вскоре разыскали своих детей, с трудом вдохнули жизнь в угасший было очаг, снова впряглись в колхозное ярмо, стали ждать мужей-кормильцев.

Объявился в ауле один онкель Фридрих, согбенный, полуслепой, без зубов, безнадежно хворый. Все немки вместе выхаживали его, подкармливали, чем могли. Танте Амалия и две ее напарницы на исходе марта привезли его волоком со станции на детских санях. С полей еще не сошел снег, но

дороги были раскисшие, слякотные, земля уже курилась, над проплешинами на солнцепеке вился парок, вороны надменно вышагивали по обочинам, зыркали по сторонам, высматривая из-под талого снега прошлогодний размокший колосок. Женщины умаялись, упарились, пока доволокли сани с укутанным сеном и разной ветошью обезноженного доходягу — онкеля Фрица. Тетя Маля часто останавливалась, подолгу всматривалась в живого мертвеца, не узнавая в нем былого крепыша-тракториста, спрашивала, смахивая слезы с запавших щек.

— Friz, Frizchen, lieber Gott, bist woll du?

Дядя Фриц, чуть шевеля руками, невнятно бормотал что-то в ответ.

Потом в бараке, собравшись вместе у его постели, женщины долго оплакивали своих мужей, загубленных в распроклятой трудовой армии. Дети же пугались дяди Фрица, точно призрака из страшной сказки.

Фриц-онкель, которого теперь все чаще называли Федором, часами сидел на завалинке, обложенный разной рванью, в разношенных бурых валенках, в фуфайке и ушанке, тупо глядел вдаль и молчал целыми днями. Он обходился всего двумя словами — "ja" и "nein". Чаще всего с его лиловых губ срывалось : "найн".

Так, сидя на завалинке, он и угас.

«Жертва войны», — сказал у могилы баскарма и, сойдя с лошади, обнял безутешную Амалию.

«Все мы жертвы войны. И живые, и мертвые», — подумал тогда про себя юный Карл Деграф, приехавший на похороны прямо на тракторе. И еще он решил тогда повзрослому: «Фрицу-онкелю все же повезло. Он хоть ненадолго вернулся в свою семью, побыл с женой, с дочерьми — белокурыми Катенькой и Лизонькой, умер в окружении своих, на земле, которая приняла его без зла и ненависти в черный час. А мой отец... навеки остался в чужом краю, в тайге, под безымянным холмом, и никто и не узнал, что единственный сын пошел по его стопам — тоже стал трактористом... Жертва войны...»

Жилось тяжко — и немцам, и казахам.

Но надо было жить.

Немки сознавали: погибших мужей не вернешь, и возвращение на родную Волгу вряд ли суждено, нет возврата к

прежней жизни, и ничтожный, плюгавый комендант будет измываться над ними всласть, и неоткуда ныне ждать защиты, никто, никто не пожалеет, не обласкает, не утешит, и бабья доля отныне горше степной полыни, и остается один-единственный смысл в этой измытаренной, жестокой жизни — растить, поднять детей, может, им со временем улыбнется какое-никакое везение. Ведь никак не может, не должна состоять жизнь из сплошного горя. Зачем же тогда светит солнце? Журчат ручьи? Блестит роса в предрассветный час? Зачем блещут звезды и сияет бездонное небо над головой божьих созданий? Пели ведь «болотные солдаты», исторгая из охрипших от простуды глоток затаенные слова надежды:

Doch für uns gibt es kein Klagen
Ewig kann's nicht Winter sein!

Да, да, именно так: зима не может длиться вечно.

В «немецком» бараке Карл Деграф слыл за старшего. Хлев подправить, свинью заколоть, огороды вспахать, сено подвозить, косу отбить, утварь починить, юнцов приструнить, веским мужским словом бабьи пересуды угомонить — все стало обязанностью и долгом долговязого, не по годам серьезного Карла. Только и слышно было: «Карлуша», «Карлхен», «Карл-ага» и даже почтительно «Карекеш». Карл вскоре свыкся со своей ролью вожака, заступника, благодетеля не только «немецкого» барака, но и всего аула. С ним считались, к нему прислушивались и бригадир, и баскарма, и уполномоченный из района, и даже комендант, по-прежнему хорохорившийся перед ссыльным людом. И Гермина, передовая доярка, не могла нарадоваться своим сыном. Сознание своей нужности окрыляло Карла. Мысль-мечта о возвращении на родину, в немецко-русское село Половодино возле речушки Караман, понемногу улетучилась, растворилась в дымке памяти о прошлом, все чаще казалось, что жизнь его, Карла Деграфа, началась, собственно, отсюда, с казахского аула возле степного озера с одинокой турангой, с этих безбрежных полей, с березовых колок, тянувшихся до горизонта, до сказочной шири во все стороны, с бездонного неба с белесыми облаками, беспокойно

метавшимися от края до края, с ощущения необъяснимого чувства божьей свободы, когда душа ликует, поет от полноты жизни и затаенного предчувствия счастья.

Карлу нравилось вставать еще до зари, когда мать неслышно выбиралась из барака на первую, утреннюю дойку на ферму, когда аул еще находился в объятиях зоревого сна и даже аульные пустолайки предавались сладкой дреме, в сутемени сжевать ломоть ржаного хлеба, запить молоком из большой эмалированной кружки, окунуться в утреннюю свежесть, вслушаться в оглушительную тишь, полюбоваться на сизый предрассветный туман над озером, внимать веселому, призывному теньканию скворцов, наблюдать за возней воробьиной стайки в кустах акаций, смотреть на едва брезжущую алую полоску у горизонта и на яркую одинокую звезду Шолпан — предвестницу нового дня.

Сладостные мгновения бытия!

Карл делал круг возле остывшего за ночь трактора, зорко подмечал, все ли на месте, все ли в порядке, потом заводил его, прислушиваясь к стрекоту мотора, в клочья разрывавшего утреннюю тишь, и поневоле, на казахском манере, привычно пробормотав «бисмилля», выезжал в поле, которое начиналось тут же, за околицей. Путь пролегал мимо школы на бугорке, где тоже спозаранок обходил свое владение аульный мугаллим Мамбет Адилов. И после войны Мамбет-ага не расставался несколько лет с выцветшим кителем, истыканным орденами и медалями, с памятными, обвисшими брюками-галифе, с обтерханными до белизны сапогами. Он ходил вокруг ветхой саманной постройки с двумя классами и крохотным закутком: учительской, что-то обдумывая, прикидывая, ожидая учащихся начальной школы, которых можно было пересчитать на пальцах двух рук. Школа была маленькая, а заботы большие. И недавний фронтовик Мамбет-мугаллим не знал покоя.

— Ассалаумагалейкум, Маке! — приветствовал учителя Карл, перекрикивая грохот трактора.

— Саламат бол, Карлжан! — живо откликался мугаллим. — Приглуши свой тулпар, спустись на минутку, потолкуем.

— Э, Маке, некогда. Поле ждет, — отвечал Карл, однако, приглушал мотор, спрыгивал на землю, подходил, протягивал почтительно обе руки к учителю. Карл заранее знал, о

чем, пойдет разговор. «Видишь, фундамент разрушается. Завез бы несколько валунов из оврага». «Смотри, вокруг школы голо. Выкопал бы в лесу десяток сосенок». «И туалет вон покосился. Поправить бы надо. Ты ведь председатель школьного совета». «Пропахал бы поглубже полосу вокруг школы, чтобы скотина не лезла».

У учителя свои заботы, у баскармы — свои, у директора МТС — третьи. А Карл Деграф один. И трактор в колхозе один. Вот и крутись.

На поле Карл забывал о всех заботах-горестях. Трактор-трудяга тарахтел безумолку, выстреливая клубы дыма. Плугом умело управлял, привычно сквернословя, кособрюхий старичок Ишан. С весны до весны не снимал он замасленный, молью изъеденный лисий треух, старую фуфайку, из всех прорех которой торчали бурые клочки ваты, непомерно огромные, бог весть откуда раздобытые, на толстой подошве «амыркановые» сапоги.

Поле простиралось едва ли не от горизонта до горизонта. Борозда ложилась ровная, необходимой глубины. Земля дымилась. Пласты бугрились глыбами, комками. Их потом приходилось дробить и разровнять бороной. За бороздой тянулись стройными рядами вороны, сороки, скворцы, выклевывали прошлогодние зерна и лениво шевелящихся дождевых червячков. Из лесков поддувал свежий ветер. В воздухе струились запахи оттаявшей земли, талой воды, прелых листьев, оживающей муравы. Высоко в голубеющем небе кружились стервятники, заливался одинокий жаворонок, зависнув в одной точке. Над лесочками тусовались грачи, вили гнезда. В степи пересвистывались суслики. Стремительно проносились косяки. Вдали дрожало сизое марево.

Здесь, на приволье, Карл Деграф забывал про депортацию, про бедность барачной жизни, про убогий быт, про назойливого коменданта, про то, что он спецпереселенец, находящийся на спецучете, что он лишен многих прав, что отторгнут от того, что положено нормальному человеку, здесь, на поле, на своем верном, безотказном тракторе, он чувствовал себя нужным, свободным, ибо у него не могли отнять любимую, достойную мужчины работу, вольные думы, тихие, затаенные мечты.

Шел между тем Карлу девятнадцатый год, и все чаще думалось, мечталось до щемящей дрожи в груди, до сладостного холода в пояснице о тихой маленькой, как птаха, рыжеватой девчонке Марии Ленгле из соседнего колхоза «Верхняя туранга». Ей исполнилось только шестнадцать, а уже три года работала на ферме телятницей и нынешней весной стала прицепщицей. Увидел ее Карл впервые на МТС, куда она приехала в мастерскую поточить и сменить лемех. Увидев мельком, поздоровался, перекинулся несколькими словами, узнал, что сирота, живет у тети Гульды, что проучилась всего три года, а дальше учиться возможности не было, надо «тянуть» малолеток — сестренку и двоюродных братьев. Потом вместе пообедали в затрапезной столовой МТС.

С того времени и началась неведомая маета в душе Карла.

Встречались редко. Чаще всего на меже с соседним колхозом. О чем говорили — сами не понимали. Но говорить было в радость. В мечтах влюбленного тракториста светлолицая, стеснительная девчонка из соседнего колхоза мерещилась своей прицепщицей, приставленной именно к нему. Полевой стан соседнего колхоза находился за межой, на опушке колка, и Карл при возможности наведывался туда, чтобы хоть мельком увидеть Марию — маленькую, хрупкую, укутанную в платок, тоже в фуфайке и кирзачах. Красивей Марии во всей округе для Карла не было.

Она была родом из швабов и говорила на потешном наречии. Так Карлу чудилось. Он же изъяснялся с матерью и барачными жильцами на гессенском диалекте, так как говорили на Волге, на луговой стороне, дома, в семье. В шутку он называл Марию иногда "Schwabenliesel" и вспоминал запомнившуюся строчку из старинной песни:

Hopsa, Schwabenliesel, dreh dich rum
und tanz a bissel.
Hopsa, Schwabenliesel, dreh dich rum
und tanz!

Увы, о танцах говорилось только в песне, а было не до танцев. Трактористу из «Верхней туранги», чумазому, про-

питанному до костей соляркой, мазутом, керосином, кривоногому, ворчливому Ахметжану, почему-то очень не нравилось, что приблудный «немыс бала» положил глаз на его прицепщицу — «немку-кызымку».

— Эй, Карл, — орал он вечно простуженным голосом. — Ищи себе забаву в своем колхозе. А то невзначай морду набьем.

И старичок-прицепщик Ишан не одобрял увлечения своего «начандыка»-тракториста.

— Немыс бала, арбайтен! За твой махаббат бригадир нам с тобой палочку по трудодню не поставит.

Встречались урывками, украдкой. На краю березового колка, на меже двух колхозов торопливо и неожиданно признались однажды в своих чувствах.

Мария простодушно сказала, опустив глаза, словами швабской песни:

I gugg de o
mit ganz verliebde Auga,
von alle Seida.

Не все он понял в ее потешном выговоре, гессенский юноша, но «verliebde Auga» всколыхнули его влюбленное, пылкое сердце, и он схватил ее на руки и закружил ее, потеряв голову от счастья.

— Машенька, пойдешь за меня замуж? — допытывался для большей ясности Карл по-русски.

— А ты серьезно? — тихо вопрошала она, подняв на него огромные глаза.

— Еще спрашиваешь! Да я... я...

— Пойду, — твердо ответила Мария.

Осенью 1948 года, получив разрешение от коменданта и баскармы соседнего колхоза, Карл привез на тракторе Марию в «немецкий» барак. Гермина, счастливая, взволнованная, благословила молодых и переселилась на кухоньку. Баскарма Алеке на радостях, что заполучил в свой колхоз еще одну работницу и в честь передовика-тракториста, выделил на свой страх и риск барашка и полмешка пшеницы. А накануне немецкого рождества, когда немки обучали своих чад старинным песням "O Tannenbaum" и "Stille Nacht, hei-

lige Nacht", заехал в аул комендант и огласил секретный правительственный указ, из которого явствовало, что немцы переселены навечно и что нарушение закона, своеволие караются каторгой сроком на двадцать лет.

Уныние и тоска окутали «немецкий» барак, как тучи в ненастье.

Слово «навечно» враз перечеркнуло оставшиеся зыбкие надежды.

Первым пришел в себя Карл.

— Значит, будем жить и строиться здесь. Ist eigentlich nicht's zu machen.

И с весны следующего года тракторист Карл Деграф, спецпереселенец, обреченный на вечное поселение, первым в ауле «Нижняя туранга» начал строить дом с просторной комнатой, с кухней, кладовкой и крыльцом по собственному разумению, преодолевая все страхи и сомнения. Бессменный баскарма Алеке одобрил его затею и даже вызвался посильно поддерживать стройматериалами.

Дом на окраине села возле озера поднимался медленно и тяжко. Пока он строился, у молодых родились две дочки — Эльма и Зельма, а потом — уже в новом деревянном доме — последыш Эдвин.

Времена менялись.

Раны, нанесенные войной, медленно затягивались.

Подрастало новое поколение.

Благие перемены докатились и до аула.

Подворья расширялись. Люди обзаводились скотом, заимели огороды, перевели дыхание.

Жизнь — хоть и со скрипом — входила в известное русло, обретая снова смысл и надежду.

Карлу Деграфу другая жизнь, жизнь вне этого аула, без знакомых перелесков, степей и озера, привычных троп и людей с их столь понятными заботами, не представлялось, не мерещилось. Он как бы пуповиной прирос к этой земле и обустраивать, облагораживать ее стало его долгом и потребностью.

Уже в начале 60-х годов прошлого века Карл возвел новый дом, просторный, высокий, из четырех комнат, с верандой, а прежний стал времянкой, подсобкой, летней кухней, бакхаузом. Карл с Марией мечтали о ладной жизни в но-

вом благоустроенном доме с детьми, с внуками, в согласии и мире, достатке и радости. Ведь они высланы «навечно», о возврате к прошлому в распущенной автономии на Волге речи нет, да и Марию Волга не прельщала, ее ведь депортировали с Кавказа, а дети все родились уже здесь, на казахстанских просторах, значит, нечего строить воздушные замки, разумно довольствоваться тем, что есть, и почему бы здесь не пустить корни — работы навалом, ширь немереная, народ добрый.

Так думалось.

И к этому, казалось, все шло.

Но вышел очередной указ, отменивший прежний о «навечном» выселении. Сняли с спецпереселенцев кое-какие ограничения. Сгинул комендант. Можно было выезжать и в область, и даже дальше без разрешения райУМВД. У молодых появилась возможность учиться. И Эдвин, последыш, малый с явными музыкальными задатками, окончив областное музыкальное училище по классу баяна, стал подумывать о других берегах, заявив однажды опешившим родителям: «В этой дыре я загнивать не буду. Однозначно!»

И уехал. Гастролировал с каким-то инструментально-вокальным ансамблем, удивляя отца-тракториста шальным заработком, с головой окунулся в водоворот немецкого национального движения в Союзе, начал сначала горячо ратовать за восстановление автономии немцев на Волге, а вскоре с таким же напором и азартом — за тотальный исход из страны, которая, мол, обернулась для российских немцев мачехой.

Карлу Деграфу эти затеи были внове. Он понимал тягу российских немцев жить вместе, возродить родной язык, былую культуру, школы, газеты, радио, чувствовать себя равными, вытравить из себя страх, все это его волновало и манило, но уезжать из края, где — пусть и поневоле — прошла вся твоя нелегкая жизнь, в неведомую страну предков его никак не прельщало, не укладывалось в голове, и озадаченная Мария, сбитая с толку яростными рассуждениями любимого сына, в душе все больше разделяла настроение мужа.

А дочка Эльма, едва окончив агротехникум, выскочила замуж за механизатора-целинника из Белоруссии и упорх-

нула из отчего дома, а потом, в начале 90-х, тоже умудрилась выехать в вожделенный «фатерланд».

Супруги Деграф опешили. И что же им теперь делать в огромном доме? Для кого они его строили, жилы тянули, ночами не спали, копейку сколачивали? Вся надежда оставалась на строптивую, своевольную Зельму, которая, как, однако, вскоре выяснилось, тоже грезила о другой жизни. И самое странное: из аула стали уезжать не только пришлые инородцы, но и коренные жители. Заговорили о бесперспективности аула, что он, мол, обречен, иссяк и потому разумно аулчанам переезжать в город — там и работа, и культура, и будущее нации. И это говорилось устами благодетелей народа. И взять это в толк Карл Деграф не мог. Он почему-то полагал, что аул — основа казахов. Сам же он аул у озера с одинокой турангой никак не воспринимал временным обиталищем, местом ссылки.

Уехала и Зельма со своим Оскаром-меннонитом, сначала в Россию, потом — в Эстонию, а еще через пару лет пришло от нее письмо из Германии. В письме Карл обнаружил глянцевую фотографию, где возле белой, непонятной марки машины на зеленой лужайке перед двухуровневым особняком с цветниками, улыбаясь во весь рот, стояли его счастливые дети — Эдвин, Эльма, Зельма, со снохой, зятьями, внуками и самодовольным, огромным, как бычок, брыластым псом. Полная идиллия! Дети звали родителей в Германию. Это, мол, несложно: воссоединение семей полагается по всем законам. Пенсию получите изрядную, да еще разные пособия. Будете жить, как у Бога за пазухой. На старости лет хоть узнаете настоящую жизнь. Путешествовать будете по всей Европе. Хватит вам торчать в казахской дыре. Довольно горбатиться ни за что, ни про что, ни за понюшку табаку. От письма веяло самонадеянностью, бахвальством. Карл вздохнул: «казахская дыра» резануло по сердцу. «Неужели немецкая дыра слаще?!» — подумалось мимовольно. Или у нас машин нет? Или тряпья нет? Что за спесь? Пристроились к чужому достатку и землю под собой не чуют...

«Успеем, — решил Карл Деграф. — Приспичит — видно будет. А пока нам и здесь хорошо. И никто нас не гонит. Зачем мне жить в чужом раю, если я за всю жизнь ничего для этого рая не сделал?»

"Ja, ja... richtig, — согласилась Мария. — Не будем им обузой. Сами все безработные. На социалке живут».

Так оно и было. Никого из аусзидлеров не только по своей профессии, но и на другую работу не принимали в пресыщенной Германии. Разве что на временную работу уборщицы, обслуги, дворника, грузчика, разносчика. И шпрахкурсы вроде окончили, и сертификатами обзавелись, и компьютер освоили, и пообтерлись, понемногу избавлялись от прежней ментальности, местным манерам подражать сподобились, а все равно за три версты можно было распознать позднего возвращенца из бывшего Союза. Никто их за немцев не считал, а говорили с тайным вызовом и злорадным преимуществом — русские, киргизы, казахи, узбеки. Одно спасение, что в Дойчланд кишмя-кишели и другие экзотические представители рода человеческого — турки, эфиопы, хорваты, румынские цыгане, сербы, поляки, евреи и Бог весть кто еще, и на фоне этого вселенского сборища растворились как-то и российские немцы. Поначалу такое отношение их удивляло, возмущало, озадачивало, ну, как же, они ведь тоже немцы, пусть обрусевшие, оказахившиеся, испорченные, разболтанные кровью других народов, потерявшие себя, заблудшие, отторженные, отверженные, какие угодно, но немцы, немцы же, потомки германцев, и вот вернулись, наконец, на свою историческую родину, на Хайматланд, к своим единокровникам, соплеменникам, а их таковыми не считают, к ним относятся с такой же убийственной вежливостью и равнодушием, как и к остальным многоплеменным гастарбайтерам. Нет, к гасторбайтерам относятся лучше, ибо он хоть и чужой, а работник, а российский немец безработный, можно сказать, чужой, которого почему-то полагается терпеть. Но что делать? Бедному родственнику кто будет радоваться, тем паче если этот родственник слишком отошел от своих корней, разболтан разными кровями, напрочь лишен современного языка, болбочет на жуткой мешанине-каудервельшь и представляет собой средоточие всяческих заемных пороков и необъяснимой, диковинной ментальности. Какой же он немец, если только вчера вышел из тундры, из азиатских степей, из сибирской глухомани, из казахстанской глубинки, туркменских пустынь, из вчерашних колхозов и совхозов? По-

пробуй его за короткое время окультурить, приводить к европейскому стандарту и обличию, идентифицировать и интегрировать в современное немецкое общество вчерашнего тракториста, комбайнера, прицепщика, бульдозериста, сакманщика, доярку, телятницу, рисовода, мираба, забойщика, овчара, табунщика, верблюжатника, мастера искусственного осеменения, таежника-охотника... либер Готт, да таких профессий в Германии и в помине нет. И что с таким бедолагой делать, который полжизни или даже, считай, всю жизнь вкалывал в колхозе «на быках», то есть крутил волам хвосты и покрикивал день-деньской: «Цоб! Цибэ!» или пахал землю однолемешным плугом, или погонял быков, запряженных в косилку с мотовилом? Так, какую же работу, с позволения сказать, такому немцу, прикажете представить в цивилизованной европейской стране?! Полное недоумение, недоразумение, непонимание, неприязнь и обида обрушились на поздних возвращенцев из Советской империи, искренне полагавших, что наконец-то, двести с лишним лет спустя, после стольких мытарств и унижений, инспирированных Властью, вернулись в лоно этнической родины, вожделенного фатерланда, к единокровникам. А единокровникам аусзидлеры оказались нужны, как собаке пятая нога. Поначалу, еще в аденауэровские времена и позже, в бытности берлинской стены, возвращенцы были нужны как предмет политического торга, как объект идеологической игры и только, и только, и только...

Тракторист из «Нижней туранги» Карл Деграф все это не очень четко сознавал, но чувствовал чутким сердцем, здравым умом и, бывало, споря с пылким Эдвином, убежденным, что только в Германии он раскроет свой дар и ему распахнуться там райские кущи, говаривал в запальчивости: «Сын мой, кто... кто, скажи на милость, нас там ждет и кому мы нужны?! Немцам тамошним и без нас забот хватает. Куда это годится: один народ и то разделен стеной. Брось!»

Из всех детей, зятьев и снохи работу нашел в Германии лишь Петя — зять-белорус, живчик, балагур. Он оказался самым расторопным и практичным. Ему не надо было выдавать себя за немца, он ни на что не претендовал, никакие амбиции не раздирали его душу, даже на шпрахкурсах шта-

ны протирал всего два месяца, возненавидев и шпрехерай, и слабые и сильные немецкие глаголы, а походил-походил, пригляделся-присмотрелся и нежданно-негаданно устроился грузчиком в одной кнайпе, потом ночным развозчиком почтовых посылок. О большем он и не мечтал. Остальные из его клана довольствовались в основном «социалхильфе», околачиваясь по «амтам», унизительно удостоверяя каждый раз свою беспомощность.

«Ну и что? — продолжал хорохориться Эдвин, который на своем баяне играл на русско-немецких свадьбах и разных земляческих тусовках. — Зато одеты, обуты, сыты. Крыша над головой. Цивилизованно. И — главное — никто никому не указ.»

Карл не спорил, лишь бы детям было хорошо, но чудилось ему, что ныне как раз он свободен, самостоятелен, живет в уважении и почете, сам себе хозяин, а вот дети выбрали себе судьбу на задворках бытия, оторванные от всего, от земли, на которой выросли, никому не нужные, довольствующиеся призрачным, в сущности пустым прозябанием, живущие на подачках страны, для которой ничего не сделали и, судя по всему, никогда ничего не сделают.

Одно угнетало: болезни Марии. Она, уйдя на пенсию, как-то погрузилась в себя, по-прежнему копошилась по дому, справлялась со всеми обязанностями хозяйки большого подворья, отвозила излишки на районный базар, но без прежнего интереса и азарта, достаток ее не радовал, а неведомая хворь незаметно подтачивала ее, силы уходили. Перебои в сердце, частые головокружения, боли в пояснице, приступ слабости преследовали ее. О больнице, врачах она и слушать не хотела. Что могут врачи, если организм сам себе помочь не в состоянии? Пила какие-то отвары, настойки, целебные травы, пользовалась самодельными мазями, парилась в бане, перемогалась, как могла. И однажды, убирая слежавшийся назем в овчарне, вдруг потеряла равновесие, упала, и вечером, придя с сенокоса, Карл обнаружил ее, неподвижную, в хлеву. Врач из «Верхней туранги» приехал на мотоцикле на третий день и проронил: «Инсульт».

На похороны матери прилетела из Германии одна Эльма.

«Хватит! — сказала дочь после поминок. — Заполняй антраг. Мы вышлем вызов».

«Не время, — проронил убитый Карл. — Может, через год-два. Как я брошу свежую могилу? А если честно, мое место здесь. Я должен лежать рядом с Марией. Да, зо-о...»

Дочь уехала: кончилась виза.

Остался Карл один в пустом, просторном доме, один со своим безмерным горем, постылым одиночеством, грустными воспоминаниями.

Жизнь лишилась смысла.

На могилу Марии Карл ходил каждый день и, сидя на низкой скамеечке, сколоченной за оградой возле холмика, подолгу предавался безутешным думам и разговаривал то ли с духом усопшей, то ли сам с собой.

Аулчане заботились о нем, навещали его, утешали, как могли, приглашали после сороковины попеременно к себе. Особенно часто наведывал его мугаллим Мамбет, тоже похоронивший свою байбише.

Дни проходили в однообразии и унынии. Время для Карла Деграфа точно остановилось. Четко разграничилась грань: до Марии, с Марией и после Марии. До Марии мерещилось в далеком зыбком тумане. С Марией — сплошной свет, ясный, солнечный день; после Марии — мрак, длинная, безрадостная ночь.

Дети настояли на своем. Два года спустя, вконец одичавший от одиночества и заброшенности, душевной маеты, Карл Деграф съездил в район, разыскал местного учителя немецкого языка, председателя общества «Видергебурт», с его помощью оформил все бумаги-антраги, собрал всевозможные справки-документы, снял нужные копии, отправил детям, и те сдали его прошение туда, куда надо, в эмиграционный центр, и усердно тормошили тамошних бюрократов-крючкотворов, которых в Германии на диво оказалось больше, чем где-либо на свете.

И вот тот час настал.

Светлый или черный — он не знал.

Покидал Карл Деграф родной аул с тяжелым сердцем. Сомнения терзали его душу.

Навсегда?

Возврата нет?

Как он будет жить на чужбине?

Завершался круг жизни.

Его жизни. Единственной.

И это было похлеще депортации 1941 года.

Тогда оставалась надежда.

Теперь надежда истаяла, как туман на рассвете над озером с одинокой турангой.

Навсегда?

Навсегда... навсегда...

Глава восьмая

Субботним вечером Бахыт выкроил время и провел в семейной обстановке небольшую пирушку в честь приезда отца в город. Нечто похожее на ерулик. Разговор о тоеерулике продолжался несколько недель, но что-то никак не налаживалось. Все время подворачивались непредвиденные дела и причины.

— В эту неделю меня избавь. Некогда! — категорично отрезала однажды сноха, когда Бахыт осторожно заикнулся было о необходимости по достоинству отметить долгожданное воссоединение отца с сыном.

— А что так? Опять аврал?

— Сезон высокой моды. Конкурс красоты. Костюмы для делегации. Демонстрация мужского стриптиза. Аврал! Запарка! Не до тоев.

— О господи! Тоже мне событие! — фыркнула Лаура, презрительно поджав губки. — Можно подумать... Обойдетесь без меня. Нужен мне больно ваш шалман.

Бахыт с укоризной воззрился на нее.

— Между прочим, Мамбет Казиевич — мой отец, а тебе дедушкой приходится. И он не в гостиницу приехал, а в семью. И праздник семейный.

— Ф-фи, слова сказать нельзя! Сразу нотации начинаются...

— В самом деле, — еле сдерживала возмущение сноха. — Пригласи своих в ресторан и баста. Обязательно в квартире, что ли, пиры закатывать?

Мамбет Казиевич смутился.

— Верно келинжан говорит. К чему эти хлопоты? Ну, приехал и приехал. Зачем суетиться ради аульного старика? Люди вы занятые, городские...

— Нет, коке! Так не годится. Есть же обычай, приличие. А у меня друзья, знакомые. Скажут: отца не мог встретить, как следует.

Мамбет Казиевич в душе и сам сознавал, что по такому случаю по заветам предков, конечно же, приличествует «окровавить нож», то есть, зарезать какую-нибудь животинку, накрыть дастархан, пригласить близких, сватов, друзей сына и невестки, исполнить положенный ритуал, высказать благопристойность, ублажить семейных духов, укрепить остов очага. Так ведь исстари заведено. И если городская невестка о том не ведает, то Бахыт ведь обязан это прекрасно сознавать. И дело вовсе не в Мамбете Казиевиче, ему-то как раз никаких почестей, пожалуй, и не надо, он вполне обойдется без всякой показухи и суеты, тем паче он здесь, на новом месте никого и не знает. И сын ведь каким бы шишкарем не был, все же не с неба свалился и не безродный какой-то, а родился, как и все, от отца и матери, и отец его тоже не первый встречный-поперечный, не мамбет аульный, не заурядный старичок в заскорузлой шубе, бараньем малахае и в самодельных воловьих сапогах, а заслуженный человек, мугаллим, отличник просвещения страны. И приезд отца к сыну, на новое местожительство, в новую квартиру, которая не снилась, надо полагать, ни одному степному хану, — разве не событие?! И напрасно сноха намекает на ресторан. В ресторан можно пойти и отобедать в любой день по любому поводу.

Впрочем, как хотят. Им, молодым, виднее. Что он будет лезть, как говорят, в чужой монастырь со своим уставом?

Проходили дни, недели, месяц, другой, а дети никак не могли определить время и место для проведения семейного тоя, заповеданного обычаем предков.

Чувствовалось, что невестка ни о каком тое и не помышляла. Видно, у ней и в самом деле хватало своих забот.

Еще в ауле старику иногда грезилось: будет он жить-поживать в городе, в тепле, сытости и уюте, по утрам учтивая невестка потчевать его чаем, угощать городскими яствами, слушать его стариковские назидания, внуки вни-

мать с разинутыми ртами его поучительным речам, впитывать дедовскую мудрость, и душа аульного мугаллима замлеет от благости и нескончаемой идиллии. Во многом так оно и обернулось. Жил он, действительно, в тепле, сытости и уюте, окружал его сплошной достаток, правда, чай он пил чаще всего в одиночестве или в компании с конопатой молчуньей Вильмой, не в меру аккуратной домработницей, и внуки не внимали его наставлениям, и думами-мыслями делиться было не с кем. Сказать, что сноха невнимательна к свекру, он тоже не мог. Невнимание ее заключалось в том, что она, казалось, вовсе его не замечала. Уже через неделю после приезда свекра она, оказавшись с ним наедине, очень вежливо и холодно все ему растолковала и разъяснила:

— Значит, так, почтенный Мамбет Казиевич. В этом доме все регламентировано. Все подчиняются разумному порядку. У каждого свои дела и обязанности. От вас ничего не требуется. Ни-че-го! Комната в вашем распоряжении. В холодильнике все, что надо, всегда есть. Баня под боком. Белье меняйте каждую неделю. Грязное складывайте в корзину на балконе. Ольга отнесет в прачечную. Все остальное под рукой. Гуляйте возле дома. За оградой не ходите. С разной шантрапой-старичьем не якшайтесь. Лишних разговоров избегайте. Читайте газеты, слушайте радио, смотрите телевизор. Все! Никаких обид-недоразумений не должно быть. Договорились?

Такого крутого разговора Мамбет Казиевич никак не ожидал и от растерянности только пробормотал:

— Хорошо, хорошо, келинжан. Я все понял. Какие могут быть еще обиды?

— Ну и славненько.

Но в душе остался нехороший осадок. И несколько дней старик только обдумывал каждое слово деловой невестки. Немного его коробило. «Апырай, могла бы и помягче сказать. Сам бы догадался. А лучше бы промолчала». Потом оправдывал ее. «Что ж... Все верно. Во всем нужна определенность. Должен же я знать, на что рассчитывать...» И все же Мамбет Казиевич был явно обескуражен. Особенно его огорчило то, что сноха не пожелала его пускать даже за ограду. Однако и тут он пытался оправдать сноху. «В самом деле, зачем пускаться в случайные знакомства? И сын,

и сноха — видные люди. Ляпнешь невзначай что-нибудь не то, и поползут тары-растабары. Кому это нужно? Видно, в городе язык держать лучше за зубами. На чьей телеге едешь, того песню и пой...»

Бахыт тоже все оттягивал с тоем, и были на то разные причины:

— Та-ак, в эту неделю не получится. Командировка в Арабские эмираты и коллегия в Астане.

— И в эту субботу не складывается: жигиты затеяли соревнование по гольфу. Иностранные профи приезжают.

— Ч-черт! Опять нестыковка: встреча в Атырау с американцами.

— Соломон только через неделю приезжает из Парижа. Да и Жан с Авелем в отъезде. Никак их вместе не соберешь.

— Да, ладно, Бахытжан, — утешал сына отец. — Выкинь из головы. Зачем лишняя морока?

Мамбет Казиевич и сам видел: сыну недосуг. Слишком много забот на себя взял. Так закрутился, что неизвестно, когда с женой спит. И спит ли вообще...

Старик давно замечал, что сын, почти всегда возвращаясь поздно, даже в спальню не заглядывал, а укладывался спать на большом кожаном диване в кабинете. Ни разу не видел Мамбет Казиевич, чтобы невестка выходила когда-нибудь из кабинета сына. «Когда они только детей сообразили?» — недоумевал про себя старик.

Вообще отношения в семье сына показались старику странными. Каждый жил как бы сам по себе, в своей комнате, лишь иногда сталкивались невзначай в неохватном коридоре или на просторной кухне.

Как-то Мамбет Казиевич осторожно поделился своими сомнениями с внуком, и тот, сразу все смекнув, с ухмылкой заметил:

— А у нас конфедерация. Сосуществуют четыре суверенных кантона.

Любил внук щеголять мудреными словечками и выражаться заковыристо. И хлебом не корми, дай только поерничать.

И все же сын и невестка уж как-то сладили, столковались, сподобились однажды в субботний вечер провести застолье в честь отца.

Дастархан накрыли в зале на двенадцать персон. Торжеством распоряжалась сама невестка. В расшитом ярком вечернем арабском халате, в немыслимой прическе, вся напомаженная, надушенная, мягкая и вкрадчивая, томно-снисходительная, она порхала по гостиной и коридору, шуршала плотной тканью, волнами спадающей с плеч, встречала гостей, принимала цветы, наигранно восторгалась, обворожительно улыбалась, ворковала сладко-сладко, с придыханием, демонстрировала отбеленные зубки, гладкую шею с нежным подбородком, звякала при каждом движении огромными серьгами-кольцами и браслетами и при этом распоряжалась двумя полуголыми молоденькими официантками из соседнего ресторана, то и дело строго оглядывала стол, заставленный диковинными яствами и дорогой посудой, от обилия и разнообразия которых виновник торжества испытывал оторопь.

Все сверкало чистотой и вопило о достатке. От праздничного стола исходило сияние. Мамбет Казиевич, чисто одетый, с тщательностью расчесанной, ослепительно белой, благообразной бородкой, в очках и золотом вышитой такия-шапчонке, держа в одной руке газету, с любопытством заглянул было в зал, да так и застыл от изумления на пороге. Две туготелые ресторанные официантки, приглашенные невесткой специально на подмогу по столь торжественному случаю, — одна смуглая, жгучая турчанка, другая голубоглазая, белокурая то ли немка, то ли латышка, ошарашенно выставились на выросшего у порога старика и, заметив его растерянность от дастарханного изобилия, прыснули со смеху.

— Что, ата, нравится или будут замечания? — на чистейшем казахском языке спросила белокурая.

«Е-е, — мелькнуло у старика. — Видать, из наших немцев. Они балабонят по-казахски лучше казахов...»

— Ойбай, айналайн, такой дастархан только в кино показывать.

— Рахмет, ата. Для вас стараемся, — пропищала черноглазая смуглянка.

Тут, будто из-под земли, выросла у парадной двери озабоченная невестка и сдвинула бровки. Мамбет Казиевич, уронив газету, наклонился было за ней, но невестка строго воззрилась на него.

— Это еще что такое?!

— Га-га-газета, — растерялся старик.

— Вижу! Но чтобы этой мерзости не было в нашем доме. Зачем вам «Свобода слова»? Вам «Казахстанской правды» мало?!

— Да, нет... Я просто так... Из-за любопытства.

— Вас пригласят, когда надо, — проронила холодно невестка.

Старик поспешно засеменил в свою комнату, а официантки застыли у стола, как вкопанные.

— Да, да. Келинжан, извини. Я просто так... невзначай.

Испуганной птицей заверещал звонок над входной дверью. Сноха, вспыхнув, зашуршала арабским халатом-накидкой по коридору.

Через мгновенье густой гусиный клекот огласил эхом огромную квартиру.

— А вот и мы, божественная Зухра-ханум! Спешу засвидетельствовать мое почтение. Вот!

— О-о! — застонала-заворковала невестка. — Боже! Ты, Серж, как всегда неотразимо галантен.

— Х-ха-а! — пророкотал самодовольный гусиный голос. — А я, видно, как всегда, первый?

— Ты, Серж, неизменно первый, — польстила гостю невестка. — И точен, как... как...

— Как Кант, хотите сказать?

— Как король... Что-то в этом роде.

И оба, довольные, расхохотались дружно, в унисон — сытый, бархатистый баритон и звонкий, как колокольчик, заливистый, счастливый женский смешок.

«Опять этот хмырь смазливый» — с досадой подумал Мамбет Казиевич в своей комнате, не смея выглянуть и прислушиваясь к шорохам, чмоканиям и возне у входной двери.

За время, пока старик жил в этом доме, он частенько сталкивался с обладателем сочного гусиного клекота. Он Мамбета Казиевича почему-то раздражал.

Гусиноголосый вел себя развязно, вольно, уверенно. Казалось, он уверовал в своей неотразимости и полагал, что его обожают все. Старику особенно не нравилось, что, переступив порог, он никогда не снимал обувь, как полагает-

ся у правоверных, что явно поигрывал своим раскатистым гусиным голосом, точно известный певец в опере, что откровенно любовался собой и картинно встряхивал кудрями до плеч. И еще имел гусиноголосый обыкновение, выпучив глаза-маслины, в упор разглядывать человека, вгонять его в смущение, снисходительно похлопывать собеседника по плечу, похохатывать к месту и не к месту.

И такой был из себя ухоженный, холенный, отутюженный, всегда в галстуке-бабочке, ослепительно белой сорочке. Все на нем и при нем выделялось изысканностью, редкостью и безукоризненностью: и манжеты, и заморские часы, и золотой, с узором, браслет на правой кисти, и всякие застежки, и перстень на мизинчике, и запонки, и краешек яркого платочка из-за нагрудного кармашка. И причудливый, щекочущий ноздри аромат исходил от него — смесь диковинных духов, дорогого шампуня, марочного коньяка и модного дезодоранта. «Не хватает только серьги в ухе», — с издевкой думал про себя Мамбет Казиевич.

Почему-то он сходу его не взлюбил. Что и говорить, жигит был из себя что надо, видный, броский, рослый, манерный, галантный. И все же неприятный. Скользкий, лживый какой-то, неестественный. Хмырь. Хлыщ. Задавака. Фрондер. Угодник. Так определял его про себя Мамбет Казиевич.

— Серж, — представился он при первой встрече и, щелкнув каблуками, откинув фалды пиджака, избоченился, изогнулся перед стариком, будто собирался приложиться к ручке невидимой дамы.

— Странное имя. Что-то у казахов не встречал, — сдержал раздражение Мамбет Казиевич.

Серж осклабился.

— Ну, вообще-то Серик... Но сколько себя помню, только и слышу «Серж», «Серж», а то и «Сергей». Привык.

— Из казахов?

— А что, ахсахал, сомневаетесь? Правда, бабка говорят, татаркой была. И дед по матери уйгур.

— А-а... Оно и видно, шырағым...

Случалось, Серж наведывался в отсутствии Зухры-келин, и тогда старик, проявляя гостеприимство, пил с незваным гостем чай на кухне. Сержу аульный старик был неинтересен, а Мамбет Казиевич едва терпел хлыща-щеголя.

— Где, прости, работаешь?

— В корпорации Зухры Ганиевны.

— Е-е... помощником, заместителем?

Серж уловил усмешку в вопросе старика и ответил с вызовом:

— О, нет, ахсахал. Ни у кого заместителем не служу. Даже у Зухры-ханум. Разве что коллегой. Я дизайнер, художник. Вам ахсахал, это о чем-то говорит?

— Смутно представляю.

— Могу уточнить: дизайнер по имиджу тканей, по аксессуарам. Вам, впрочем, это не понять.

— О, да! Куда уж...

— Редкая профессия! — Серж разгладил мизинчиком густые брови. — Приходится много думать, размышлять, экспериментировать.

— Догадываюсь. И кому нужны ваши... е-е-е... эксперименты?

— О! Элите. Крутым. Эстетам. Понимающим толк в изысканном гардеробе.

«И чего он клеится к моей снохе? — все чаще задавался вопросом Мамбет Казиевич. — Вечно путается под ногами. И келин хороша. Жеманничает. Кокетничает. Млеет. Непонятные разговоры ведет. Уединиться норовит. И что она нашла в этом манекене?..»

Странно было и то, что сын с подчеркнутым безразличием относился к частым визитам самоуверенного молодца. Будто так и надо. Словно он первый друг семьи.

— Этот... Серж опять приходил, — как-то доложил Мамбет Казиевич сыну.

Тот только отмахнулся.

— А-а...

Старика это тревожило. Серж мог наведываться и утром, не стеснялся прижать к себе и целовать ручку келин и при старике, и та вся ворковала-таяла, потом они подолгу исчезали за дверью спальни, потом куда-то вместе уезжали, и у Мамбета Казиевича при виде назойливого гостя тоже бухало сердце и кровь приливала к вискам. «Эй, и куда Бахыт — только смотрит? Что за странные отношения? Или у городских так принято?» — недоумевал старик про себя.

— А-а... Серж?! — сказал старик однажды, открывая дверь, и почувствовал, что голос его дрогнул. — Зачастил что-то, милок...

— Дела, ахсахал, дела-а... — многозначительно произнес Серж. — Работа такая. Ра-бо-та, понимаешь, ахсахал?

Все было в нем противно, даже то, как он коверкал на ломаном казахском языке слово «ақсақал».

Странным казалось то, что и дети привыкли к постоянному визитеру, словно так и должно быть. Арыстан называл его «дядя Серж» и вел себя с ним совершенно раскованно, даже запанибратски. Лаура глядела на него с затаенным женским любопытством, звала его подчеркнуто-кокетливо Сериком Коразбаевичем.

Старик не удержался, поинтересовался у внуков:

— Кто он такой, этот Серж?

— Мамин коллега, подельник, — тотчас отрубил Арыстан и по обыкновению пояснил еще более туманно. — Чичероне... а еще точнее — мамин чичисбей.

Лаура скривила губки.

— Амюзант... Фармазон Альфонсович.

К стыду своему, всех этих слов Мамбет Казиевич не знал, но уловил нечто нехорошее, насмешливое.

Вот и сегодня Серж завалился на праздничный ужин первым; облобызал Зухру, и та, виляя упругими бедрами, повела его сразу к себе.

— Проходи, Серж! Сейчас подойдут и остальные.

— Баха́-то дома? — нарочито громко спросил гусиноголосый Серж.

— У себя... Деловые разговоры ведет.

— О-о, — приложил палец к губам Серж. — Не будем мешать...

Вскоре опять заверещала электрическая птаха над косяком. Мамбет Казиевич, не дождавшись ни сына, ни снохи, сам прошаркал к входной двери. За порогом с огромными букетами в руках тесно стояли четверо импозантных, как на подбор, жигитов и одна миниатюрная, с кукольным личиком молодка-келиншек с огромной, аляповатой коробкой под мышкой.

— Что такое?! — возвысил голос длинноволосый, в широкополой шляпе, скуластый — явно в годах, но по всему молодящийся азамат. — Где хозяева? Или не ждали?!

У самоуверенного скуластого гостя был пронзительный взгляд и капризный голос публичного баловня.

Услышав его, тотчас выскочили из своих комнат хозяева.

— О, Соломон-ага! — заверещали, засуетились.

Мамбет Казиевич, растерявшись, отступил в сторону. «Вот-те раз! Я думал, Соломон — еврей, а он ни дать, ни взять казах, — мелькнула мысль, и тут же осенила догадка: — Да это же тот самый, которого он десятки лет видит в газетах и по телевизору».

Соломон широким жестом снял шляпу, церемонно поклонился, поцеловал хозяйке ручку, вручил цветы, приобнял Бахыта. Вслед за Соломоном вступили в квартиру и остальные и начался галдеж.

— Ой, Карлыгашка, ты возмутительно молодеешь!

— Здравствуйте! Ассалаумагалейкум!

— Мир вашему дому!

— О, о, о!..

— Ах, ах, ах!..

— Уай, уай, уай!

— Эй, Авель! Ай, Жан-ага! Уа, Сарсен!

— Милости просим!

— Какие люди! И все без охраны!

— Сливки общества!

— Цвет страны!

— Уай, уай, уай!..

На раскатистый, многоголосый, с переливами и придыханиями шум не утерпели-таки, выглянули из зала полуобнаженные, цветущие молодостью и свежей красой официантки в белых, ажурных фартуках.

— Бонжур! — помахал им парижской шляпой широколицый Соломон.

Те, улыбнулись во весь рот, изобразили книксен.

Старик незаметно прокрался к себе. Он чувствовал себя лишним и растерянным. Широколицего он давно знал как поэта, историка, сценариста, очень популярного среди обрусевших казахов, которых называли «шалá» и «адá». Имя его в свое время гремело на всю страну. Говорили о нем, что он потомок славного воина-батыра. В последние годы он пропадал в Европе, где-то представлял страну, оторвался от своей среды и, приезжая изредка, давал налево-направо интервью, чаще всего с большим апломбом, но совершенно

невпопад, что раздражало проказахски настроенную молодежь, которая в разных газетах усердно клевала и шпыняла давнишнего кумира. Звали широколицего Сулейменом, и Мамбет Казиевич и не предполагал, что именно о нем шла дома речь, когда говорили о неком Соломоне. Другого гостя, которого назвали Жан-ага, недавно еще занимал высокий пост в правительстве и нередко мелькал рядом с Большим человеком. Третий, по имени Сарсен, часто и остро выступал в печати, не по возрасту степенный, сдержанный, вроде как находился где-то послом, но Мамбет Казиевич не мог вспомнить — где. Ну, а четвертый с неказахским именем Авель слыл богачом и меценатом — не то банкиром, не то олигархом. Плосконосая, миниатюрная молодка приходилась, видно, кому-то из них то ли женой, то ли подругой-канизачкой.

Все это живо представилось Мамбету Казиевичу, до которого донеслись смех и обрывистые фразы из углового кабинета сына.

«Апырай, как я с ними буду восседать за одним столом? И о чем мне с ними говорить? Скажут: дундук аульный. Только сына опозорю», — с волнением подумал старик, стоя у окна и любуясь окутанными дымкой горами.

И остальные гости не заставили себя долго ждать. И опять столпились возле входной двери гости и хозяева и заметались гулким эхом по длинному коридору восторженно-радостные голоса:

— О, Есмакан! Сколько лет, сколько зим?!

— Ай, айналаин Бигайша, чайка казахской поэзии.

— Ах, Каршыга! Наконец-то сподобились и тебя лицезреть.

— А-а, Ереке, краса и гордость земли казахской!

— Слушайте, а по какому случаю столь знатный курултай?

— О, было бы желание, а повод всегда найдется.

— А — ха — ха!

— Э — хе -хе!

Вскоре гости разбрелись по кабинету, залу, балконам. Мамбет Казиевич затих, затаился в своей комнате, прислушиваясь к отдаленному гулу. Он почувствовал зябкую дрожь по всему телу, сердце зачастило, в затылке заныло,

как всегда, когда подскакивало давление, а во рту стало сухо. Пришлось прибегнуть к испытанному коринфару. Он слышал, как гости стекали в зал, как задвигали тяжелыми стульями, как милашки-официантки из ресторана откупоривали бутылки, и все раздумывал, как ему быть: то ли выйти к гостям, показаться, поздороваться, то ли терпеливо ждать, пока его пригласят.

Наконец, кто-то резко толкнул дверь, и Арыстан в белой рубашонке, розовой жилетке, в галстуке-бабочке, встал, точно слуга-дворецкий в каком-то фильме, дурашливо отвесил поклон и в своей насмешливо-ернической манере торжественно произнес:

— Ваше высокоодиночество Бахадур Мамбет ибн-Кази султан-бей, милости просим к столу в вашу честь.

— У, зубоскал, — пробормотал старик и, унимая слабость в ногах, направился в гостиную.

Глава девятая

Когда Мамбет Казиевич, волнуясь, торжественно вошел в зал, позвякивая орденами и медалями на новом пиджаке, Соломон, встряхнув крашеной гривой, подхватил его под руку и отвел на почетное место во главу стола. Все встали. Кто-то захлопал. Гости вразнобой приветствовали старейшину.

— Добро пожаловать, аксакал!

— Наше почтение!

— С новосельем! Пусть легко и приятно живется вам на новом месте.

— Да сбудутся ваши слова, айналаиндар! Ауминь!.. — произнес старик и по привычке огладил жидкую сивую бороденку.

Возникла пауза. Белокурая официантка, размалеванная, как кукла, подъюркнула к старику, придвинула к нему плоскую расписную тарелку с пышногрудой красоткой на дне, перебрала почему-то три разновеликие вилки слева, три тоже разных ножа справа, а продольно к тарелкам положила еще одну большую вилку и нож с широким лезвием. «Апырай, зачем мне столько? — мелькнуло в голове стари-

ка. — Хватило бы и одной вилки». Рядом с тарелкой выстроились, как постовые, огромные бокал, средний фужер и крохотная рюмка. Белокурая развернула туго накрахмаленную жесткую салфетку и положила старику на колени. Тут же подскочила и растелешенная тугогрудая смуглянка, склонилась к нему, обдав волной духов, учтиво спросила:

— Вам коньяк? Вино? Водку?

— Соку желтенького, — шепнул старик.

Недавний оживленный разговор оборвался. Все чего-то ожидали. Один Серж нашел себе занятие, бодро и артистично откупоривал бутылки, изящно выстрелил пробкой шампанского, наполнил бокалы и рюмки, вежливо отстранив официанток, кому-то накладывал закуску на тарелки, изогнувшись над столом, точно биллиардист, прицелившийся кием к шару.

Наиболее раскованно держался Соломон. Он чувствовал, что находится в центре внимания, видел, как дамы следили за каждым его жестом, ловили каждое его слово, и он по привычке всеобщего любимца и баловня немного играл на публику, сам подливал себе в пузатый бокал темно-красного вина и понемногу смаковал его, причмокивая и принюхиваясь, время от времени откидывая резким движением головы непокорную прядь волос со лба. Неловкую паузу заполняли гостьи Карлыгаш и Бигайша, обозревая с наигранным восторгом роскошный дастархан и восклицая на разные лады с придыханиями:

— Прелесть!

— Диво!

— Ах, ах, пальчики оближешь! Язык проглотишь!

— Прощай, фигура.

— Ну, Зухра, сразила наповал.

Зухра Ганиевна сияла, скромно восседая рядом с мужем, поправляла на груди прозрачную арабскую накидку, дотрагивалась до серебряных браслетов с золотой вязью-крапинками, не спускала умиленно-настороженных глаз с Сержа, сходу слишком много внимания уделявшего кокетливой Лауре, замлевшей от изысканных ухаживаний соседа. Вообще Зухра-ханум была против того, чтобы ее взбалмошная дочь сидела за одним столом со столь знатными гостями. С этой вертихвосткой довольно и ее студенческих

пирушек. Пусть научится сначала вести себя поприличней. Но Бахыт настоял: праздник семейный, ритуальный и желательно, чтобы все домочадцы присутствовали, хотя бы ненадолго. Стыдно перед старым отцом ударять в грязь. Расфуфыренная Лаура, затмив своими юными прелестями и гибким станом моложавую мать, выпорхнула вдруг из своей комнаты, точно пташка, и опустилась на стул рядом с верзилистым Сержем, будто заранее обусловились, и тот сразу распустил хвост, затрепетал ноздрями, замаслился усиками, высказывая изощренную галантность. Лаура шельмовато опускала глазки, нервно водила оголенными плечиками, напрягала грудки, польщенная вниманием маминого обожателя. И Зухре-ханум это совсем не понравилось, хоть она и старалась делать вид, будто ничего не замечала. Но первыми все заметили щебетуньи Карлыгаш и Бигайша. Они многозначительно переглядывались, ухмылялись краешком губ, едва заметно покачивали ухоженными головками, удивляясь дерзкой юннице и тайно злорадствуя. Мужчины прекратили недавний спор, не зная, очевидно, в какое русло направить застольный разговор и можно ли откровенничать в присутствии дам и аульного старика.

Беседа не налаживалась, разговор пошел вразнобой. Надо было завести застолье, но чувствовалось отсутствие записного тамады. Зухра Ганиевна, зная беспомощность своего благоверного в подобных делах, раза два выразительно посмотрела на Сержа, тот всегда мог кстати ввернуть какой-нибудь анекдот на любую тему, поведать подобающую случаю притчу, витиевато плести словеса о заслугах любимчиков народа — славных азаматов, подкладывать, что называется, подушку под мягкое место, но сегодня он был то ли не в форме, то ли оробел в присутствии избранной публики, опасаясь попасть впросак, то ли слишком увлекся юной собеседницей, чувствующей себя если и не царицей бала, то по крайней мере именинницей. Другие мужчины тоже не спешили брать в свои руки бразды правления, сдерживались, чего-то выжидали, незаметно поглядывая на Соломона. Как-никак тот был среди них старший по годам и положению, к тому же прибыл издалека, гость, так сказать, особенно почетный, высовываться раньше него, конечно же, неприлично, бестактно. На традиционное благослове-

ние аксакала из аула рассчитывать тоже было рано, бата́по ритуалу уместна в конце. Проявлять активность со стороны женщин в подобных случаях не поощряется. Бахыт, опустив тяжелую голову на слабой, юношеской шее, теребил салфетку, скручивал и раскручивал ее, будто это было его главным занятием. Зухра-ханум начала ерзать. И тут запел мобильник Арыстана. Он заполошенно вскочил, выхватил из-за пояса телефон, ринулся в коридор, зацепился за ковер и распластался у порога. Мобильник отлетел в сторону.

Все засмеялись.

Вслед за этим затренькали сотки сразу у троих, и все трое озабоченно разбежались по углам, держа аппарат у уха. Едва, переговорив, они вернулись на свои места, как на разные лады подали музыкальные сигналы мобильники в сумочках дам, и они выскочили на балкон. И тут пошло-поехало, будто сговорились. Так перекликаются петухи на рассвете. Из каждого кармана, из-за каждого пояса дзинь-дзинь, и-ги-ги, у-гу-гу, ша-ша-ша, шу-шу, гу-гу. У одного Мамбета Казиевича ничего ниоткуда не звенело.

— Всем враз приспичило, — пробасил Соломон. — Эдак наше застолье превратится в какафонию.

Вернулся к столу Арыстан, словно исполнил важную миссию, сосредоточенно навалил себе на тарелку салаты, мясные деликатесы и в предвкушении удовольствия шмыгнул носом.

— С кем, Арыстанчик, говорил? — поинтересовалась Зухра.

— Ай, бабы донимают. Достали, блин, — отмахнулся Арыстан.

— Что-о?! Какие бабы?

— Да девчонки из класса.

За столом переглянулись.

— Жи-гиит! — одобрил Соломон.

— Предлагаю, господа, всем на часок-другой отключить мобильную связь, — предложил Арыстан.

И первым щелкнул кнопкой.

Гости опять переглянулись и рассмеялись.

— Устами младенца гласит истина, — заметил Серж.

— Истина — да, — серьезно отпарировал Арыстан. — Но «младенец» в данном случае неуместен. Я здесь младенцев не вижу.

— Во дает! — вырвалось у Лауры.

— Айналайн, — восхитился внуком Мамбет Казиевич.

За дастарханом чуть оживились.

Соломон встал, картинно тряхнул гривой. Воцарилась тишина.

— Дорогой Бахыт и божественная Зухра! Сегодня памятный день: мы собрались в вашей новой, уютной квартире. Желаю, чтобы ее не покинули мир и благоденствие. Крепкий семейный очаг — основа радости и счастья. Поздравляю с воссоединением семьи. Аксакал в доме — благо. Три поколения под одним шанырaком — редкость в наше время. Да и четвертое, надеюсь, не за горами. — Соломон улыбнулся Арыстану — Да будет крепка босага этого дома!

— Рахмет, мой младший брат, — сказал Мамбет Казиевич, приподнявшись и приложив правую ладонь к сердцу. — Мед тебе в уста.

Все встали, сдвинули бокалы.

Выпив, потянулись к яствам. И потекли-полились один за другим тосты-пожелания, короткие и длинные, прямые, как скала, и диковинные, как казахские накладные узоры на кошме. Дольше всех говорил краснобай-советник Есмахан. Начал он издалека, откашливаясь и поминутно поправляя очки на грубом, изрытом оспой, чугунном лице и временами поправляя рассыпчатые, жесткие, как конская грива, волосы. У гостей на лицах появилось скорбно-унылое выражение. Все знали: государственный советник по политическим вопросам наверняка будет говорить долго и красноречиво по стародавней привычке читать лекции по марксизму-ленинизму в провинциальном университете. Весь вопрос в том, с какой отправной точки он начнет. Если с арабского Востока, то еще можно вытерпеть его словесный поток, если же возьмет старт с Древней Греции, то доведет всех до обморочного состояния. Сегодня непонятно, почему, советник коснулся многоженства Зевса, потом завернул к Аполлону, перешел к вакханалиям и безумствам древних греков, слегка пожурил Афродиту за невоздержанность, потом пространно заговорил о примитивизации общественного сознания, об инерции в жизни, об агрессивности человеческой натуры, о разрушении надежды человечества на прогресс в XXI веке, о ложном мироощуще-

нии, охватившем человечество в предчувствии всеобщего катаклизма, об очеловечении в нечеловеческом бытии, о гуманизме, который должен вернуться назад в эпоху высокого стремления человека к Богу.

Советника понесло, остановить его не было никаких сил, мудреные словечки метелицей порхали с его уст и было непостижимо, в каких только глубинах его сознания рождаются, вскипают, цепляясь друг за другом, диковинные, в пене, в мыле, словеса, будто таинственный паук затаился где-то под черпаком и плел, плел, плел свою нескончаемую паутину.

— Господи, о чем он мелет?! — прошептала непосредственная Лаура своему соседу Сержу. И все это услышали, а Серж двусмысленно закатил глаза.

И тут подал голос Соломон, успевший за время спича говорливого любомудра выцедить пару бокалов вина и опустошить тарелку с закусками.

— Спустись, Есмахан, с заоблачных высот на землю. А то мы, грешные, ничего уже не в состоянии понять.

Советник стушевался, снял очки, протер их салфеткой, тоже, видно, подумав, что же он, собственно, хотел сказать и где и по какому поводу толкает речь, но ухмыльнулся снисходительно и продолжил, с натугой выгребая к основной мысли своего явно затянувшегося спича.

— Истинная любовь к людям начинается с семьи, и то, что наш главный гость, е-е, не гость, а теперь уж домочадец, почтенный аксакал Маке вернулся в благоустроенное лоно сына, есть достойный акт, свидетельствующий...

«Апырай, где он, интересно учился? — подумал про себя Мамбет Казиевич. — И как в его мудрой башке помещается столько всякой всячины?! Он же любого в усмерть заговорит. Неужели Большой человек нуждается в его советах? И неужели он в состоянии его выслушать?»

— ...акт... акт... свидетельствующий... е-е-е... свидетельствующий о том, что время для спасения еще есть.

— Спасения, простите, кого? — наивно поинтересовалась Бигайша, облизывая пересохшие губы.

— Человечества, — буркнул неожиданно Арыстан.

— Браво, браво! — воскликнул гусиноголосый Серж.

— Остроумный парень, — одобрительно прогудел и Соломон и обернулся к советнику. — надо было, Есмахан, на-

чать с более раннего периода. С Адама и Евы, например. И еще упустил древний Египет, Осириса...

Соломон сделал паузу, вспоминая, кого бы еще назвать, но тут опять вклинился Арыстан.

— Тутанхамона и султана Бейбарса.

За столом опять захихикали. А Бахыт строго посмотрел на расшалившегося сына-недоросля, и тот опустил глаза, погасил озорной блеск в черных зрачках и стал внимательно разглядывать грудастую красотку на дне тарелки.

После занудной речи самовлюбленного советника Есмахана гости никак не смогли сменить тональность дастарханного разговора, все опасались, что и Соломон начнет вдруг рассуждать о дифтонгах и трифтонгах, и тогда уж туши свет — никому никогда не удастся выбраться на другую колею. Была еще одна опасность: Бигайша сочиняла стихи и не упускала возможности услаждать слух публики своими виршами. Но сегодня, видно, никак не подворачивался удобный случай, да и присутствие мэтра Соломона ее немного стесняло. Тот дамское творчество не особенно жаловал.

Тему беседы неожиданно повернула Карлыгаш. Она писала в каких-то заумных журналах туманные статьи о миропонимании степняков-тенгрианцев, об этнографии древних этносов, о культурологии и религиоведении и слыла в светской среде весьма продвинутой и смелой дамой, обладающей крутым нравом и самодостаточным интеллектом.

— Уважаемый Есмахан Абдрахманович, вы в очередной раз, как всегда, поразили нас своей эрудицией и глубоким анализом современного общественного процесса. Находясь на ответственной государственной службе, будучи главным, верховным визиром Улькен адам по политическим вопросам, вы поразительно проникновенно и либерально затронули деликатнейшие струны критического воспитания поколений. Вы нащупали тончайший нерв, задели подспудные нюансы философии оппозиционности. Не знаю, все ли это уловили, но ваши мысли созвучны тезису, изреченному еще Конфуцием. За буквальную точность не ручаюсь, но мысль эта примерно такова: для каждого общества важно воспитать критическое поколение. И то общество, которое не воспитало критического поколения,

становится опасным. Такое общество просто-напросто обречено. Режиму всякому, понятно, нужна стабильность. Но мнимая стабильность рано или поздно оборачивается распадом, разладом, трагедией. Потому и нужна оппозиция. Я бы сказала: философия оппозиции.

— Но... простите, я об оппозиции ничего не сказал, — развел руками советник.

— Напрямую не сказали, но из ваших суждений вытекало, что... — настаивала Карлыгаш.

— Да ничего не вытекало, — недоумевал советник.

— Вытекало, вытекало, — подтвердила Бигайша.

— Жан, скажи ты, — обратился Соломон к долговязому, улыбчивому и молчаливому Жану. — А то наше застолье превращается в научную конференцию по проблемам тенгрианства.

Жан встал, едва не задев головой люстру, улыбнулся всем.

— Да, дамы и господа, не будем забывать, однако, по какому поводу мы собрались. А повод — долгожданное единение отца и сына. Я, знаете, люблю на сон грядущий почитать Библию. При том на немецком языке, дабы не забыть студенческие навыки. И мне вспомнились сейчас две фразы. Может, даже не из Библии, а из молитвенника. «Herr, ich spüre, da ich ä lter werde» — «Господь, я чувствую, что становлюсь старше». И: «Am Ende aber la mich nicht einsam sein» — «А в конце не оставь меня одиноким». Я полагаю, что слова эти звучали в душе и нашего аксакала Маке. И великое счастье, что отец и сын вновь обрели друг друга под единым шаңраком.

— Браво! Молодец! — раздалось за столом.

— В самую точку! Әрі қысқа, әрі нұсқа, — с легкой картавинкой по-казахски произнес Авель.

— Ende gut, alles gut, — похлопал Жана по плечу Сарсен, также блеснув своими немецкими познаниями.

Застольные разговоры оживились, но обрели откровенно политический крен, к досаде хозяйки дома. Она изо всех сил старалась казаться улыбчивой, гостеприимной, обаятельной, подавала знаки официанткам, подбадривала гостей, но бровки ее хмурились все озабоченней, взгляд становился тревожным, ее раздражали Карлыгаш и Бигай-

ша, пересевшие на диван и оживленно судачившие между собой, и Зухра подозревала, что они наверняка зубоскалили по ее адресу, сразу обратив внимание на бестактность красавчика-жуира Сержа, уж больно усердно ухаживающего за взбалмошной Лаурой. Досадовала Зухра и на растяпу мужа, не сумевшего с самого начала направить застолье в подобающее русло и все пустившего на самотек. А она так старалась, официанток пригласила из ресторана, стол накрыла — глаза разбегаются, от вечера ожидала совсем другое, рассчитывала на светский блеск и сверк, на галантные обхождения, на изысканные комплименты в ее адрес, хотя и знала, предчувствовала, что, когда соберутся закадычные друзья Бахыта вместе, то досужих разговоров о политике, об интригах во власти и потайных намерениях вряд ли избежать. Их хлебом не корми, дай только часами чесать языки о наболевшем, о том, без чего жить не могут. И при этом каждый непременно норовит продемонстрировать свою ученость, дальновидность и прозорливость. Все они подававшие надежды ученые, деятели, общественники, талантливые и целеустремленные, всплыли на волне распада Советского Союза и обретения национальной независимости на окраинах империи. Все получили хорошее образование — кто за рубежом, кто в российских университетах, все успешно делали карьеру — кто в политике, кто в бизнесе, кто в государственном управлении, все крутились-вертелись в высшем эшелоне власти, пока не возникли разногласия с Главным благодетелем, и то они приближались к власти, то дистанцировались от нее, то вновь к ней льнули, якшались с демократами, с либералами, иногда позволяли себе критические выпады, противоречили самим себе, шли на уступки, на компромиссы, путались, шарахались, меняли ориентации и партии, выбиваясь из той среды, в которую еще недавно так стремились. Зухра их политические колебания, шараханий, стремления и поиски на идеологической ниве никак не разделяла. Она любила определенность, ясность во всем, и политика и праздные высокие разговоры о ней ее не только не интересовали, а раздражали своей бессмысленностью и вредным брожением умов. Она считала, что жизнь дана для наслаждения, для удовольствий и услад, и нечего ее усложнять и омрачать досужими раз-

глагольствованиями. Кому это нужно? Какой смысл в этих мужских забавах? Вот Серж — молодец, он свою красивую голову подобной дребеденью не забивает. У него, подлеца, на уме другие страсти. Взялся сегодня дурить голову смазливой девчонке...

Мамбет Казиевич давно уже сладил с начальным волнением и теперь с любопытством наблюдал за гостями. Видно было, что еда и питье их почти не занимало. Эх, думал старик, усадить бы наших аулчан за этот стол. Вмиг все смели, умяли бы. И бутылки заморские, фигуристые, с яркими, кричащими наклейками наверняка тотчас опустошили бы, даже не смакуя. Не стали бы цедить-тянуть из рюмашек и бокалов, а глушили бы, не моргнув, стаканами с «прицепом», предпочитая всему белую огненную водицу. Чувствовалось, что и он, аульный старик, их меньше всего интересовал. Просто деликатность блюли, вежливость выказывали. А вот поговорить друг с другом явно хотелось, излить душу, высказать сомнения, открыться перед именитым и, судя по всему влиятельным Соломоном, каждое слово которого жадно ловили. И тот, кажется, прекрасно сознавал, что являет собой важную птицу, что именно он в центре внимания, а вовсе не балаболка советник, которого пригласили по старому знакомству и как человека власти. К тому же, как догадывался старик, советник на всякий случай тоже прикупил себе — или кому-то из родственников — квартиру в этом же элитном доме. Видно было, что друзьям сына советник интереса не представлял, взор их был нацелен на Соломона, с ним хотелось поделиться сокровенным, на него рассчитывали в каких-то своих потайных намерениях. Особенно не терпелось что-то сказать щуплому, импульсивному Авелю и не по годам сдержанному, осторожному Сарсену. Бахыт помалкивал, прислушивался к направлению разговора, но явно что-то скрывал, будто опасался невзначай сказать лишнее. Мамбет Казиевич понимал, что его присутствие совсем не желательно, и Серж, и Лаура, и тем более Арыстан здесь очевидно лишние, разговор задуман мужской под видом застолья в честь приезда отца, и даже красотки Карлыгаш и Бигайша быстро сообразили, что отнюдь не они являются украшением сегодняшних посиделок. И, смекнув о том, вскоре уединились, покуривая и

о чем-то сплетничая на широченном кожаном диване в углу гостиной. Но основное блюдо — бесбармак с преподношением опаленной и сваренной бараньей головы ожидалось впереди, и между мужчинами — обрывками, фразами, намеками — налаживался, разгорался разговор, в суть которого старик пытался — иногда тщетно — вникнуть.

— Ну, хорошо, допустим, — горячился щуплый Авель. — Каждый, кто может, заведет свой собственный кабак, но это ведь еще не рынок. Это грабеж. И так у нас все продано! Все в руках пришельцев. Они миллиардеры!

— Так уж и все, — усмехнулся советник, и чугунное лицо его еще более потемнело. — Повторяешь оппозиционный бред. И земля, и леса, и поля — все на месте. Никто никуда ничего не забрал.

— Ты это своему боссу говори. Ему это будет приятно слышать.

— Не горячись, — заметил Сарсен. — Здесь не трибуна, не митинг. И даже не «Дода» по 31-му каналу... Вопросы, однако, есть. На каких идеалах строить новую жизнь? Ведь надо куда-то двигаться. Не к средневековому же ханству! На старых заблуждениях и предрассудках, на замшелых демагогических россказнях, которые, как мы видим, неминуемо ведут к разложению и тупику, куда сунешься?

— И что это за политическое кредо: «Я дал вам свободу, теперь живите, как хотите?» За свободу боролись наши предки веками, никто никому в одночасье ее не дал. И разве можно народу говорить: «Выживай, как можешь. У нас рынок». Черт знает что!

— Это неправда, — вклинился Сарсен. — А всякая неправда — дрянь и гадость.

— Политический треп, — заметил Жан.

— Вопрос в том: в состоянии ли Власть защитить ресурсы страны? Или все уже пошло наперекосяк, по кривой дорожке? Нельзя все строить на временщиковой философии! Вообще кто или что, в самом деле, управляет государством? Инерция? Теневая экономика? Криминал? Олигархи? Абы как? Надо, чтобы народ это себе точно уяснил. А то куда плывем — смутно представляем.

— Не утрируйте! — сверкнул очками советник. — Вам ли о том рассуждать? Власть управляет страной прочно и

надежно. А, значит, она и ресурсы страны защищает, и себя тоже.

— Себя — да, но до каких пор?

— А что вы хотите? Сумбур? Хаос? Это ваша демократия?! Не пойдет! Что это за власть, которая не в состоянии себя защитить? — Советник от возмущения даже передернулся. — Это априорно! Это диалектично! Власть не может себя добровольно обезоруживать перед встречными-поперечными авантюристами.

— Ну, и что дальше? Что из этого следует?

— Следует одно, — изрек Соломон. — Не надо торопиться. Не надо рваться в последний и решительный бой. Не время. Народ только приходит в себя, только-только познал вкус свободы и не надо его будоражить, звать на баррикады. Народ нуждается в мире и согласии.

Жигиты за столом переглянулись. В их глазах мелькнуло разочарование. Видно, они ожидали от Соломона совсем других слов.

— Конечно, конечно, — первым подал голос после паузы Сарсен. — Кто может возражать против мира и согласия? Но, ага, разговор ведь о другом. Сколько же можно катить государственную тележку по инерции, по изъезженной колее. Как наиболее эффектно мобилизовать государственные и кадровые ресурсы? Как влить новую кровь в управление? Как управлять государством, вставшем на путь демократии? Или, точнее, декларирующем народовластие. Ведь согласитесь, президент — не Посланник Божий. Он пенде. И ему не чужды человеческие слабости. Не так ли?

— Да, да, — не удержался Авель. — Работает ли механизм госуправления? Действуют ли все рычаги, шестерни? Или все увлеклись гольфом, теннисом, шахером-махером? Чиновничество обнаглело, вышло из-под контроля. Каждый аким и акимчик на местах — сам себе и хан, и бек, и би. И у президента нет сил и возможностей за всеми уследить. Незаметно он становится их рабом. И акимы смотрят на него не как на президента, а как на старшего чиновника, у которого и так голова кругом от забот.

— А партии для чего?! — ехидно ввернул советник.

— Е-е... будто ты не знаешь, для чего! Чем больше партий, тем лучше управлять толпой, сталкивая ее лбами. — Сарсен

в сердцах скомкав, бросил салфетку на стол. — Есть ли у этих партий партийная ответственность, партийная дисциплина, партийная этика? Или все они сборище шустряков, чиновников, не отвечающих ни за что?

— По КПСС соскучился? — вклинился опять советник.

— При чем КПСС?! Партия должна быть партией. А у нас лишиться членства ровным счетом ничего не значит. Чуть что — запросто перемахнут, точно заяц в кусты, в другую партию. Эка невидаль!

— Внешне все о кей, — вступил в спор молчаливый Жан. — Есть видимость деятельности, даже какие-то проекты-прожекты принимаются. И это нетрудно. А вот выделять деньги под эти проекты — вопрос. Их ведь тотчас разворуют. И все это видят. И президент знает. А противостоять не может. Ибо нет у него рычага контроля и наказания. Потому что сам бесконтролен и безнаказан. Коррумпированное чиновничество мигом все слопает. И верблюда с шерстью, и лошадь с поклажей. Не подавятся.

— Безответственность сверху донизу — самый страшный бич. И надо вырваться как-то из этого порочного круга.

— И кто должен начать процесс? Интеллигенция?

— Е-е-е... Когда национальная интеллигенция выполняла свою социальную функцию? Выродился зиялы қауым. В курицу превратился. Довольствуется тем, что патрон с барского стола смахнет. Кормится с его ладошки.

— Значит, — встрепенулся Соломон. — По-вашему, что нужно?

— Политическая реформа! — выпалил Авель. — Кардинальная политическая реформа. Нужно менять режим, систему.

— Это опасно, жигиты. Заварите кашу — не расхлебаете. А общество жаждет тишину и покой.

— То есть, все пусть остается как есть?

— Пока да. Ну, может, заменить лишь кое-какие детали.

— Ф-фи, господа, уймитесь! — урезонила гостей Зухраханум. — Устроили тут дебаты. Смените, наконец, пластинку. Вот уже бесбармак подают.

По сигналу хозяйки белокурая официантка с белым передничком выше оголенных круглых колен внесла на широком подносе опаленную баранью голову и торжественно

поставила перед Мамбетом Казиевичем. Смуглянка с насурьмленными бровями поднесла на тарелке большой нож и салфетку.

— Баракельде! — воскликнул Сарсен, довольный традиционным ритуалом.

Мамбет Казиевич подвернул рукава, степенно и уверенно принялся за обработку бараньей головы. Он решил, что разделывать и раздавать по обычаю части бараньей головы — уши, язык, небо, глаза, щеку, затылок — этим важным господам, воспитанным в иных традициях, пожалуй, неуместно, поэтому попросил дать чашу, куда, мелко-мелко накрошив, сложил все обрезки, потом умело вскрыл затылочное отверстие оголившегося бараньего черепа, вынул мозг, тщательно все перемешал в чаше, сделал мипалау и каждому гостю положил на тарелку по ложке мясного крошева.

— Рахмет, рахмет, рахмет, — умиленно произнесли все.

Мипалау из рук старейшины — высший знак внимания.

Посередке стола на двух глубоких подносах-табаках дымился-сочился бесбармак, горой возвышались вперемешку конина, говядина, баранина, қазы, қарта, жал, жая, золотом отливали пропитанные жирным бульоном сочни.

— Ну аксакал, скажите речь перед главным блюдом, — предложил Соломон.

Мамбет Казиевич тщательно вытер руки полотенцем, отодвинул нож, оглядел всех за столом.

— Айналайн мои дети! Дорогие гости! Слава и гордость народа! Благодарю всех за внимание ко мне и за честь, что нахожусь с вами за одним щедрым, благодатным дастарханом. Там, в ауле, я разве мечтал о том, что я, простой аульный мугаллим, буду восседать за одним столом с такими знатными азаматами и слушать ваши поучительные, полные забот о народе, о стране речи?! Благодарю вас и благословляю. Да сбудутся все ваши высокие помыслы, желания и стремления. Пусть успех и удача сопутствуют вам повсюду!

— Аминь! Аминь! — дружно откликнулись гости.

— Не стану утомлять вас стариковскими назиданиями, — продолжил Мамбет Казиевич. — А вот одну притчу расскажу. Я ее вспомнил, слушая вашу беседу. Не знаю только, в тему ли... Так вот в стародавние времена жил-был, оказывается, один хан. Он до-о-ол-го сидел на троне. И при нем

царили мир и спокойствие. И никто особенно в его ханстве не роптал. Но вечно жить, кроме Иблиса, никому еще не удавалось. Пришел положенный срок, и хан отошел в мир иной.

Все за столом превратились в слух. Так, так, так, что же дальше? Аульный мугаллим умел рассказывать неторопливо, увлеченно, с паузами, взвешивая каждое слово.

— И на ханский трон сел его сын. И правил он народом точь-в-точь как отец. Что-то, однако, не ладилось. Недовольство в народе росло. Многие начали зариться на его трон. В чем дело? Как быть?

— Хм-м... любопытная ситуация, — заметил Авель.

— Знакомо, — подтвердил Соломон.

— Пригласил молодой хан самого старого и мудрого визиря. «Скажи, визирь, почему так? Почему народ ропщет? Что нужно делать?» Визирь подумал и сказал: «Издай указ, повелитель. Пусть отныне все мужское население займется торговлей. В обязательном порядке».

— Интересно... Бизнесом, значит, — опять не утерпел Авель.

— Видно, визирь был мудрее нашего Есмахана, — ухмыльнулся Жан.

— «Ну, и что это даст?» — удивился молодой хан. «Увидите», — ответил визирь. Ну, и издал хан указ. С сегодняшнего дня, мол, пусть все занимаются торговлей. Заимеют свое дело. Пусть вся страна превратится в сплошной базар. И пусть все — и стар, и млад — торгуют. И все помыслы отныне будут о выгоде.

— Все, значит, тенге считают.

— Да, все заняты, все торгуют-мухлюют, и никто о политике не думает. Никому ничей трон не нужен. Даже ханский. И никто не ропщет. И крамольных речей не говорит...

Мамбет Казиевич умолк, хитро прищурился, потеребил бородку.

— Все? — полюбопытствовал Авель.

— Все, — сокрушенно сказал старик.

— А мораль?

— Не знаю... Такая притча.

— Молодец, старина! — забасил Соломон. — Вот и ответ на все ваши речи, жигиты. Какая еще мораль? Занимать-

ся надо своим делом и не зариться на ханский трон. Трон один, на всех не хватит.

— А мораль, скажу вам, в том, — улыбнулась напряженно Зухра Ганиевна, — что бесбармак остывает. Его надо съесть. А потом до чая объявляю небольшой перекур.

От бесбармака все пришли в восторг, поахали, повздыхали, но ели чуть-чуть, не по-аульному, костей обгладывать никто не стал, а от сурпы-бульона и вовсе все отказались. «Апырай, что это с казахами стало? — удивился про себя Мамбет Казиевич — Мясо есть разучились! Салат едят, траву жуют. Жирные куски не глотают, от жал-жая носы воротят. Вот и ходят все дохлые. Перевелись едоки. Соевую сосиску за еду принимают...»

Едва Мамбет Казиевич пробормотал благодарственную молитву на казахский лад, гости разом встали, разошлись-разбрелись по балконам, коридору, кабинету, прильнули к своим мобильникам, начали кому-то отдавать разные распоряжения. Арыстан давно уже куда-то исчез. А Лаура ринулась к себе в комнату, за ней блудливо поплелся Серж, избегая ехидных взглядов Карлыгаш и Бигайши. Зухра-ханум на ходу остановила дочь.

— Ты была сегодня в университете? — спросила с укором.

— Зачем? — повела плечиками дочь.

— Как зачем? А экзамен?

— Сто баксов в зачетку — и весь экзамен.

— Что-о? Такие у вас порядки?

— Везде такие! Староста собирает дань — и вся недолга. Хоть зачет, хоть экзамены. Все тип-топ. Иной препод, сидя в машине, зачет принимает. И никто ему не указ.

— Господи, неужели эта зараза и до вузов дошла?

— Во дает! Ты что, мамуля, с неба свалилась? В вузах давно уже такса твердая.

Серж расхохотался и исчез с юнницей за дверью.

Зухра Ганиевна заметалась по коридору, по залу, по балконам, все более раздражаясь. Официантки проворно убирали со стола, зашмыгали между гостиной и кухней, сверкая тугими бедрами, готовя дастархан к чаю.

Мамбет Казиевич тоже засеменил к себе и столкнулся по пути возле кухни с сыном и снохой. Холеное лицо Зухры покрылось пятнами, глаза гневно сверкали.

— Все из-за тебя, из-за тебя! — шипела сноха. — Ты виноват! Ты, ты! Устроил тут балаган...

— А что, собственно, стряслось? — тихо оправдывался Бахыт. — Ведь все в порядке.

— В порядке! Ты, ты виноват!

— Ну, конечно, я... кто еще?!

Зухра задохнулась от возмущения. Мамбет Казиевич, не поняв, что же произошло между супругами, сгорбился и поспешно убрался восвояси. «О, Аллах! Неужели я что-то испортил? Неужели сказал что-то некстати?»

Он слышал в своей комнате, как гости в разных углах наперебой говорили по мобильникам, потом недолго пили чай и один за другим начали расходиться, благодаря супругов за гостеприимство и щедродушие, за редкую возможность поговорить по душам. Уходили не все вместе, а поодиночке, оглядываясь, словно прячась от кого-то.

Мамбета Казиевича к чаю пригласить забыли.

Глава десятая

Начался второй месяц зимы, а снега все не было. Так, чуть выбелил, припорошил газоны. Старику трудно дышалось. Слякоть, месиво на тротуарах, затянувшаяся пасмурь, густой смог над городом приводили в уныние. В сизом утреннем тумане не просматривались даже горы. Хилое солнце не в состоянии было пробить толщу туч, волочивших обвисшее подбрюшье по холмистому предгорью.

Мамбет Казиевич по давней привычке вставал рано и, стараясь не шуметь, облагался в толстый чапан из верблюжьей шерсти, натягивал ватные штаны, теплые байпаки, нахлобучивал на голову лисий треух и подолгу ходил взад-вперед по длинному балкону и натужно покашливал, вытирая огромным платком слезящиеся глаза.

— О, бабай на Шпицбергене, — язвил Арыстан, глядя на деда. — Прохожих испугаете. Подумают: оленевод вышел из тундры.

Старику было не до шуточек языкастого внука. Тому лишь над кем-нибудь подтрунивать да ошарашивать заумными словечками.

Мамбету Казиевичу вспомнился зимний аул на берегу озера, заснеженная степь, причудливые сугробы возле домов, звенящий сухой воздух, бодривший душу, сладковатый дух сена на морозе, клубящийся из коровника пар, прямой дымок из печных труб, темная тропинка к колодцу, хрустящая наледь возле водопойной колоды, резкий стрекот чутких сорок у помойки. Ай, какая благодать! Пройтись бы сейчас по аулу по утреннему морозцу, вслушаться в скрип снега под ногами, отзывающийся эхом в замерзшем в спячке лесочке, полюбоваться на искристую снежную насыпь на деревьях и кустах, подышать всей грудью, испытывая разливающуюся по жилам бодрость.

О-о... а потом прогуляться бы вдоль замерзшего озера мимо уснувшей одинокой туранги, завернуть бы к усадьбе тамыра Карла, покалякать бы с ним о том, о сем на просторной веранде да потягивать из крохотной фарфоровой чашки его целебный чай, настоянный на семи травах, которыми Карл запасался впрок с леса, — душица, мята, зверобой, шиповник, солодковый корень и бог весть что еще. Пьешь, бывало, его чудодейственный чай-настой, прислушаешься к блаженству, разливающемуся по телу, и проникнешься легким и высоким смыслом бытия.

Ах, какое же славное было время! Было, было, а мы его и не оценили. Да, и где теперь Карл-дос, как ему живется в далеком фатерланде... небось, и ему вспоминается аул возле озера, и, может, даже о нем, друге Мамбете, тоже вспоминает в это время...

Там, в ауле, все было иначе: зима так зима, лето так лето. А здесь что? Слякоть, хмурь, сырь. Под ногами чавкает. Грудь заложило — не прокашляться. Кости ноют. На ногах точно кандалы, на глазах — будто шоры. Куда это годится? Посреди зимы моросит дождь, а грязные отметки снега пахнут удушливой копотью.

Скрипнула балконная дверь. Выглянул Бахыт — уже побритый, одетый, собранный. Росточка небольшого, а голова крупная, лоб высокий, обнаженный. Волосы поредели, а все курчавятся, и виски уже подернуты солью. Глаза вечно напряженные, озабоченные, и весь какой-то зажатый, настороженный. Ходит легко, пружинисто, а все равно кажется, будто непосильный груз давит на плечи.

— Что, коке, не совсем хорошо?

— Да нет, балам, шукир... жаловаться грешно.

— А почему такой вялый, кислый? Плохо спишь?

— Да погода немного не по мне. Не могу привыкнуть к сырости.

— Об ауле наверное, тоскуешь?

— Не тоскую, но вспоминаю.

Бахыт посмотрел вниз, потом туда, где должны были быть горы, потом — на еле видневшуюся вдали корону многоэтажной гостиницы, на серую муть, стекавшую с крыш, зевнул, поморщился.

— Мизерабельная погодка... Бр-р... Смотри: продует.

Потом, перед отъездом в свой офис, Бахыт еще раз обратился к отцу.

— Коке, значит, так. После школы Арыстан с Рихардом отвезут тебя на дачу. Во-первых, осмотришься, а во-вторых, поразвеешься. Там и воздух другой, и снег чистый. Взбодришься.

— Ладно, балам. Только Арыстану, наверное, недосуг?

— Ничего. Уже договорились. Хватит ему за компьютером торчать. Пусть немного на лыжах покатается.

Что у сына есть дача, Мамбет Казиевич был наслышан. Догадывался из разговоров, что она находится высоко в горах. Кто-то, видно, за ней постоянно присматривал. В конце недели Рихард привозил с дачи отборные фрукты, и Мамбет Казиевич смекнул, что там, в горах, яблоки, груши, сливы, даже ягоды заметно отличались по размеру и вкусу от тех, что продавались на базаре или в ларьках поблизости. Знал старик также, что дача особенно облюбовала Лаура и при этом ехала туда не одна, а со своей компанией девиц и жигитов. Чаще всего ездили они туда на субботу и воскресение, загрузив багажник «Магды» минералкой, соками, пивом, вином и всякой закусью. И каждый раз говорили про какого-то Аслана, который к их приезду «соображал» на мангале отменный шашлык — пальчики оближешь. Заметил еще старик, как Лаура всякий раз наказывала родителям:

— Сегодня, любезные, я побуду с друзьями на даче. Сессия на носу. Прошу не мешать. Может, даже там заночуем.

— Только без оргий! — предупреждала Зухра Ганиевна.

— Ф-фи, мама! О чем ты только думаешь!

Прошло столько месяцев, а Мамбета Казиевича на дачу никто из домочадцев не приглашал. Знал он также, что к концу рабочего дня на часок-другой заезжала на дачу сноха. А вот сын, кажется, там редко показывался. Старику почудилось, что Лаура и сноха не очень-то и хотели, чтобы он там бывал. И Арыстан о даче почти не заикался. Только однажды провел там с ватагой одноклассников свой день рождения.

— Чтобы в последний раз! — строго выговаривала на другой день Лаура. — Насвинячили там, шаромыги!

О поездке на дачу Мамбет Казиевич помышлял давно. Неизвестное всегда манит. И едва дождавшись внука из школы, он ему напомнил:

— Арыстанчик, ты не забыл? Позвони Рихарду. Мы ведь сегодня собирались на дачу. Папа сказал.

— Помню, помню, эксцеленз, — откликнулся внук.

Рихард подкатил после обеденного перерыва. Просигналил у подъезда и по обыкновению принялся пыль сдувать с и без того сверкающего «Ланд круизера», бока его щеткой оглаживать да тряпкой до глянца надраивать.

Ехали молча. Строгий, худощавый, рыжеватый Рихард сидел за рулем, точно падишах на троне, внимательно смотрел на дорогу, все круче взбиравшуюся вверх и по мере подъема все более суживающуюся. Мимо плыли дворцы, громоздились высотные здания, гостиницы, маркеты, какие-то спортивные комплексы, потом пошли коттеджи, виллы за кирпичными и железобетонными заборами, а «Ланд Круизер» неслышно и плавно катил все вверх и вверх к ущелью гор. У Мамбета Казиевича заложило уши. Рихард включил музыку. Виртуоз-домбрист самозабвенно исполнял знакомый кюй.

— Уай, Таттимбет, — встрепенулся Мамбет Казиевич. — Чуть добавь звуку, Рихард айналайн.

— Переключи, — хмуро брякнул Арыстан с заднего сидения.

— Е, не болып қалды? — Старик повернулся к внуку.

— Обрыдли эти кюи-мюи! Китч! Примитив!

— Вот-те раз! Ты же казах!

— Если и казах, то не национал-патриот. Мне это гнусавое бренчание надоело. Я евроазиец, если хотите знать!

— А я не евроазиец?

— Вы почтенный Маке, обеими ногами по самым голенищам завязли в болоте феодализма! — с апломбом заявил внук.

— Е, солай де, — миролюбиво согласился дед.

Рихард, усмехнувшись, повернул рычажок радио. Под барабанный бой и ритмические гитарные аккорды кто-то хриплым, натуженным голосом заорал на картавом, заморском языке.

— О самое то! — воскликнул Арыстан. — Клево! Обалденно!

— Не дейды?! — возмутился Мамбет Казиевич, однако спорить с внуком расхотел.

Арыстан принялся ерзать в такт какофонии, елозить на заднем сидении, вскидывать руки, трясти кистями и судорожно корчить рожи.

— Рихард, я все забываю спросить: ты откуда родом-то будешь?

— Я? — откликнулся Рихард. — Родом казахстанец. Но не шапырашты. И даже не албан.

— А кто?

— Из атыгайских немцев.

— О, выходит, мы соседи.

— Получается так.

Говорил Рихард по-казахски безукоризненно чисто. И Мамбет Казиевич охотно с ним общался и заметил, что при Рихарде казахи как бы испытывают неловкость. Слушали охотно, но беседовать с ним на материнском языке робели.

Старик вспомнил, как Бахыт однажды полушутя заметил, что Рихард только притворяется немцем, а на самом деле он, мол, настоящий казах. Как-то за дастарханом надо было по обычаю произнести благодарственную молитву, и никто из казахов не отважился на это. Тогда, извинившись, Рихард на певучем арабском языке складно и торжественно сотворил молитву, после чего мусульманам только и осталось хором произнести «Ауминь!» и благоговейно огладить ладонями лица.

— Родители есть?

— Мать умерла. Отец в Германии у сестры.

— А ты почему не в Германии?

Рихард ответил не сразу.

— Е-е, кария, долгий разговор. Не успею рассказать. Уже подъезжаем.

— Но в Германии был? Отца навещал?

— Был. Навещал, — подтвердил Рихард.

«Немногословный, однако, малый, — отметил про себя старик. — Себе на уме. Привык язык держать за зубами».

От Арыстана и Лауры старик узнал, что Рихард давно при Бахыте. Как познакомились — никто не знал. Арыстан помнил дядю Рихарда с малых лет. Называл его поначалу «Ри-ри» и искренне полагал, что этот молчаливый, спокойный, стройный дядя — член их семьи. Своенравный с детства Арыстан слушался Рихарда больше родителей. После армии Рихард служил в МВД, ходил в капитанах. Потом уволился, пошел в частный сыск, работал где-то охранником, вышел со временем на Бахыта, когда тот еще работал в банке. Исполнительный, вышколенный, надежный немец, способный своими казахскими манерами, учтивостью и знанием языка ошарашить и обаять любого казаха, пришелся Бахыту сразу по душе. Он был и классным водителем, и надежным телохранителем, не краснобайствовал попусту и угадывал без лишних слов желания и настроение шефа без какой —либо угодливости.

— Ну, и как в Германии? — полюбопытствовал Мамбет Казиевич.

— В гостях — хорошо. А постоянно жить — скучно.

— Что так?

— Все обустроено, решено, разложено по полочкам, загнанно в строгий неукоснительный порядок. Ты щепка. Никто никому не нужен. Во всем мелочный расчет. Все регламентировано: кому что пить, есть, одевать, куда ходить, сколько, зачем и почему. Человек — машина. Может кому-то это и нравится, а мне не по душе.

— Здесь лучше?

— Как сказать... В чем-то, может, лучше. Там демократия, закон, порядок. У нас — воля, стихия, раскованность.

— И шахер-махер?

— И шахер-махер, уфит-суфит, ахалай-махалай, — согласился Рихард.

— Интересно...

— Да, так, кария. Закон, порядок — хорошо. Но когда человек становится роботом — плохо... А вот и приехали!

Двухэтажная вилла, обшитая гранитными плитами, с колоннами и парадным входом стояла за пирамидальными тополями и ажурным железным забором. Мамбет Казиевич, выбравшись из запыхавшегося после затяжного крутого подъема «Ланд круизера», застыл в изумлении. Горный воздух ширил грудь и кружил голову. Снежные пики гор казались рядом. Рослый, грузноватый, горбоносый мужчина в спортивной кепочке, синем халате поверх грубой вязки свитера, в высоких армейских ботинках сосредоточенно подметал и без того чистый двор. От тишины звенело в ушах.

— Это и есть дача? — обескуражено спросил старик.

Он полагал, что дача — это ветхий домик в саду, фруктовые деревья, кустарники по краям ограды, грядки, бочки с водой, длинный шланг для полива, скамейка у входа, сарайчики, закутки. А здесь...

— Это же дворец! Клуб! Сюда можно поместить весь аул. Ханская усадьба!

Вилла напоминала беркута, усевшегося на скалу и раскинувшего крылья перед взлетом. Отсюда, как на ладони, просматривался город, окутанный густым смогом. Внизу виднелась телевизионная башня на холме. Туча волочила отяжелевшее брюхо по ущельям. Неподалеку виднелись очертания таких же вилл.

— Ну, располагайтесь, отдыхайте, — сказал Рихард. — После восьми заеду за вами.

И «Ланд круизер», едва переводя дыхание, покатился по асфальтной дорожке вниз.

Горбоносый, бородатый, смуглый верзила, держа в левой руке метлу, учтиво протянул правую Мамбету Казиевичу, гортанно произнес:

— Ассалаумагалейкум!

И старик догадался: видно, из кавказского племени.

Вилла ошеломила Мамбета Казиевича. Такая ухоженная, внушительная и одновременно изящно-миниатюрная на фоне громоздящихся суровых скал. Одно настораживало: безлюдье, выморочная тишина, обособленность. Даже вороны на верхушках тополей сидели нахохлившись и не оглашали окрестность карканьем. И огромный лохматый волкодав на цепи будто онемел. От виллы веяло одиночеством и потерянностью.

В стороне у самой ограды темнел КамАЗ со специально оборудованной будкой.

— Это что за кибитка на колесах? — спросил Мамбет Казиевич.

— Х-ха... кибитка, — усмехнулся Арыстан. — Это кунг.

— Кунг?

— Ну, домик на колесах. В нем папа с друзьями на охоту ездит. Удобно, тепло. Где хочешь, там и ставишь.

— Апырай, а?!

— Ну, пойдемте, почтенный Мамбет Казиевич, — сказал Арыстан в своей обычной ернической манере. — Мне ведь поручено быть вашим гидом волшебного замка графа Адилова Мамбет-оглы Бахыт-бея.

Осмотр начали с первого этажа. Мягкая ковровая дорожка скрадывала шаги. По обе стороны коридора тянулись дубовые с узорами двери, как в гостинице. В затейливых нишах возле окон стояли на мраморных тумбах кадки с кактусами. На стенах висели аляповатые картины с нагромождением каких-то квадратов, кубиков, символов, модерновых закорючек, от которых рябило в глазах. Арыстан шел впереди и небрежно разводил руками по сторонам:

— Галерея... Спальня... Еще спальня... Тоже спальня... Гостиная... Душ... Дамская комната... Мужской туалет... Комната для отдыха...

— Апырай, тут же не мудрено заблудиться! — поражался Мамбет Казиевич.

— Диванная... Кабинет... Вот здесь поднимаемся на второй этаж. Извините, лифта нет.

На втором этаже дверей оказалось меньше, зато помещения просторнее.

— Банкетный зал, — равнодушно продолжал Арыстан.

— Ойбай, здесь же на лошади скакать можно!

— Можно, — согласился Арыстан, — если лошадь — пони.

Старик насчитал около сорока мягких стульев с высокими резными спинками, похожих на царский трон, плотно обступивших непомерно огромный, овальной формы, отполированный стол, на котором в разных местах возвышались диковинные вазы. Вдоль стен стояли кожаные диваны и диванчики, массивные кресла, круглые столики, шкафы,

серванты, горки, заставленные дорогими сервизами, бокалами, рюмками, бутылками причудливой формы. На краю одного серванта горкой возвышались льняные салфетки и пушистые полотенца. Окна на всю стену были наполовину задернуты толстыми цветными шторами, огромными складками свисавшими с потолка до паркетного пола.

— Е-е... — ошарашенно потеребил бородку Мамбет Казиевич. — Со-о-о-лааай де...

— А вот здесь биллиардная, — продолжал Арыстан, распахнув следующую двустворчатую дверь.

— О, какие красивые палки, — воскликнул старик.

— Эти палки, о почтенный Хоттабыч, называются киями. А вот эти кругляшки — шары, — пояснил, кривляясь, Арыстан. — Здесь господа хорошие играют в биллиард и отдыхают на диванчиках. В эмпиреях витают. Ну, бывает, пивком балуются, покуривают, тары-бары ведут. Усекли?

— Усек, айналайн. А по-нормальному говорить не можешь?

— Нормальный — это какой?.. Ладно, дальше пошли. Еще кабинетик... Комната отдыха... Туалет. Буфет. Бар.

— А библиотеки нет? — недоумевал старик.

Ему давно казалось странным, что книг у сына с келин и в городской квартире не густо. И здесь он увидел лишь там-сям разбросанные глянцевые журналы.

— Книги? А зачем они? Нонсенс! Анахронизм! — завелся Арыстан. — Все, что вашей просвещенной душе нужно, можно найти в компьютере, в интернете. Сиди себе у монитора и читай, пока глаза на лоб не полезут. Скоро бумажных книг, любезный муталлим Мамбет Казиевич, и вовсе не будет.

— Как это?

— А просто... Будут электронные версии. На одном диске 600 книг. Представляете? Четыре диска — и вся библиотека.

— Странно... Не понимаю, — пробормотал Мамбет Казиевич.

— О да, конно-кочевая цивилизация осталась позади. Другие времена — другие песни.

— О, алла... откуда ты все знаешь?

— Хм-м... Знаю, а потому и говорю... Теперь, мой славный предок, спустимся в полуподвальный этаж.

— А там что?

— Увидите.

По крутым ступенькам в углу коридора спустились вниз. Приглушенно горел дневной свет. Было тихо, тепло. Откуда-то просачивался пар. Воздух был влажен.

— Сауна... — вновь завелся юный гид. — Отрада бренного тела. Турецкая банька... Комната для прислуги... Кладовая... Автономное отопление.

Подошли к железным дверям, к которым вел невысокий приступок. Донесся глухой плеск воды. Потом с паузами послышался приглушенный игривый женский смех и раскатистый рык мужчины. Арыстан остановился у двери, настороженно прислушался, но стало вдруг тихо, только вода журчала поблизости.

— Вроде кто-то здесь есть, — растерянно произнес Арыстан. — Неужели Лаура?

Он осторожно раздвинул железную, в подтеках дверь, и дед с внуком неслышно вступили в просторное сумрачное помещение под высоким сводом. У кромки бассейна на столике стояли две початые бутылки пива, два фужера и беленький, миниатюрный сладко воркующий транзистор. На шезлонгах валялись два мохнатых банных халата. Возле ступеньки с поручнями, уходящими в воду, виднелись две пары пляжных тапочек. А в бассейне размашисто плавала женщина в ярко красной резиновой шапочке, взбивая, вспенивая руками и ногами голубую воду, дразняще мелькая ослепительно белым бикини. Мамбету Казиевичу на миг почудилось, будто в волнах резвится крупная белая рыба, сверкая разными частями упругого тела. За женщиной плыл-гонялся, подныривая, черноволосый детина, норовя схватить ее за ноги. И старику опять померещилось, будто пестрый красавец-окунь норовил схватить, поймать, проглотить изящную, белую, беззащитную рыбку. Видно, игра их так увлекла, что они ничего вокруг не замечали. Купальщица лишь временами дребезгливо смеялась, дразнила, манила, а мужчина рычал, грозился, ярился, ухал, гудел, словно забавлялся, наслаждался перед тем, как схватить, подмять вожделенную добычу.

Дед и внук, захваченные упоенным ристалищем в бассейне, застыли, как вкопанные. Самозабвенная погоня-

игра мужчины и женщины в взбаламученной кипени воды завораживала. Над водой мелькали белые руки, полные соблазна круглые женские ноги. Чернявый верзила, то ныряя, то всплывая, сильно загребая могучими ручищами, все пытался настичь желанную жертву, сграбастать, утянуть ее под себя, но женщина ртутью скользила под водяными брызгами, вздымая волну, изгибалась, изворачивалась, выказывая то спину, то бок, то впалый живот, то тугие молодые чресла, то напряженные полные груди.

Первым опомнился Арыстан.

— Какая мерзость! — точно простонал он и, закрыв ладонями лицо, бросился к выходу.

И только тут Мамбет Казиевич узнал в белой рыбке в голубом бассейне свою невестку. А полосатым, туготелым окунем, неистово гонявшимся за ней, оказался Серж.

Старика будто дубиной шарахнули по темени. Невестка вдруг угомонилась, встала, высоко вскинув руки, словно сдавалась в плен, отчего груди ее напружинились вызывающе маняще, потом закинула голову, подставляя губы, счастливо вскрикнула-застонала, и было в ее стоне что-то нечистое, порочное. Серж, утесом возвышаясь над ней, сграбастал ее в свои объятия, прижал к себе, стиснул, жадно зашарил ручищами по ее телу.

— Астафыралла! — вырвалось у Мамбета Казиевича.

Он, наконец, опомнился, вышел из оцепенения, направился к выходу, громко хлопнул железной дверью и услышал за собой испуганный вскрик:

— Ой! Тут кто-то есть!.. Господи!..

...Час спустя, обшарив все углы усадьбы, горбоносый, бородатый Аслан нашел Арыстана в угловой беседке в саду. Юнец был бледен и взвинчен. Сжавшись в комок, обхватив обеими руками живот, он раскачивался, как подранок, плевал под ноги, бессмысленно рычал:

— Альфонс! Мразь! Кобель! Бугай! Убью... убью... твою мать!..

Аслан приволок, точно щенка, враз осунувшегося, скукожившегося парня в свой закуток, отпаивал чаем и каким-то травяным настоем, что-то бормотал на непонятном языке, трепал за плечи, мягко внушал:

— Делай, что хочешь, жигит! Только травку не кури. Последнее дэло... Поганое дэло. Наркоман будэшь — дурак будэшь. Пропал. Понял?!

Старик был так растерян, что только качал головой, дергал бородку и бессвязно бормотал:

— Ой, алла-ай! Что творится на свете?!..

Рихард приехал вовремя. Дед и внук, не глядя друг на друга, всю дорогу молчали.

Рихард допытывался:

— Ну как отдых? Или не очень?

Ему не ответили. И Рихард не стал докучать им расспросами.

Глава одиннадцатая

Многое в семье сына показалось Мамбету Казиевичу странным. Он совсем по-другому представлял семейные отношения. К постоянному ёрничанью, зубоскальству внука старик вскоре привык, поняв, что это подростковая бравада, оригинальничание, фрондерство. Парень смышленый, не по годам развитый, не оторвешь от компьютера, напичкан всякой всячиной, обыкновенное городское дитя, выросшее в каменных джунглях, но непременно добрый малый, весь на виду, а фронда со временем пройдет. Правда, его манера общения с дедом иногда озадачивала, смущала. Но разговаривать с Арыстаном старику было сподручнее, чем с остальными членами семьи. Особенно обескуживала его Лаура. Отношения с ней не заладились с самого начала. В большой квартире она жила как бы особняком, замкнуто. И вела себя дерзко, вызывающе. Словно в упор не замечала никого из домочадцев.

А девушка была броская, красивая. Стройная, гибкая, высокая. Рано оформившаяся. Рысьи, с холодными искринками глаза глядели исподлобья. Настороженная, загадочная усмешка змеилась на тонких губах. Неприступная, строптивая, она походила на ощетинившуюся кошку. И ступала тихо, вкрадчиво, по-кошачьи, слегка виляя бедрами, точно топ-модель на подиуме. Смеялась натужно, артистично, явно кому-то подражая. И вообще казалось, она

не бывает сама собой, а постоянно играет какую-то роль. Слова не произносила, а как бы роняла через силу, цедила снисходительно, словно делая одолжение. И с матерью, похоже, состояла в давнем конфликте. Дочь и мать избегали друг друга, а при встрече только фыркали и шипели по-змеиному, будто были непримиримыми соперницами. На случайное замечание матери Лаура огрызалась так яростно и агрессивно, что Мамбету Казиевичу становилось не по себе. Мать и дочь и не разговаривали с собой по-людски, а обменивались постоянными колкостями, выпадами, будто сражались на рапирах.

Старик невольно робел перед Лаурой, не зная, как вести себя в ее присутствии. Она его просто третировала, лишь изредка бросала на него холодный, прищуренный, оценивающий взгляд и ни разу не называла его «ата» — «дедушка», как приличествовало, а при крайней необходимости — Мамбетом Казиевичем. Из ее комнаты, куда никому не позволялось сунуться, часто доносились иноязычные какофонические звуки со звериным рыком и с задушенной хрипотцой, от которых мурашки бегали по спине, иногда душераздирающей дурниной вскрикивала обуянная страстью Лаура, и тогда Мамбет Казиевич хватался за голову, затыкал уши и выскакивал на балкон. Однажды все же не удержался и мягко попрекнул внучку:

— Милая, а почему ты не слушаешь казахские кюи? Неужели тебе не надоел этот ор?

Лаура резко остановилась, сузила рысьи глаза, выставилась на него вприщур, верхняя губка капризно вздернулась и в голосе ее прозвучало такое презрение, такая гадливость, что старик зарекся когда-нибудь еще обращаться к ней со своими советами.

— Эт-то что еще такое?! С каких пор мамбеты будут меня учить? Может, мне еще «Тамашу» смотреть? Сами слушайте свои куи-муи, если угодно!

И, полоснув по опешившему старику испепеляющим взглядом, скрылась за резной дверью. Мамбет Казиевич, сжавшись, как от удара камчой, ретировался подобру-поздорову в свою комнату.

А Лаура назло непрошенному наставнику, во всю мощь поставила другую кассету с неистовыми воплями буги-вуги.

«Е-е... солай де! — по привычке, сам себя утешая, произнес Мамбет Казиевич. — Этой городской птахе палец в рот не клади».

Казалось, все вокруг были виноваты перед взбалмошной Лаурой. Мамбет Казиевич ни разу не слышал, чтобы она назвала Бахыта «аке» или «коке», или «папа». Вообще никак не называла его. При нем сжималась, презрительно складывала губки, будто невзначай разболелся зуб, а из рысьих глаз её сыпались ледяные искры. И Бахыт, чувствовалось, избегал ее, терпеливо сносил ее колкости, терпел ее вызывающее поведение. Мамбет Казиевич это удручало. Так распустить своенравную девчонку... Такое позволять ей!.. Черт знает что!... Особенно надменно держалась Лаура с матерью, словно мстила за что-то, называла ее при всех «Мадам», «Шахиня», «шамаханская царица», «ханум», и Мамбету Казиевичу это и вовсе показалось нелепым.

С Арыстаном Лаура обращалась, как с мальчишкой на побегушках. При сталкивании в коридоре или на кухне норовила дать ему подзатыльник, шипела: «Эй, козел!», фыркала: «Опять путаешься под ногами, блин!», и братишка покорно сносил все ее колкости, лишь изредка огрызаясь: «Сама козлуха!»

Мамбет Казиевич — особенно в первое время — диву давался. Ощущение было такое, будто в этой семье все друг другу чужие, что каждый сам по себе и ничего их в этой огромной, богатой квартире не связывает.

Редко семья в полном составе собиралась за столом в просторной кухне. Решив, что все домочадцы страшно заняты, все живут в вечной спешке, в заботах и хлопотах, Мамбет Казиевич по аульной привычке вставал рано, долго возился в ванной комнате, стараясь не греметь, не шуметь, чтобы не разбудить кого-либо невзначай, побрившись и помывшись, отправлялся на кухню, ставил чай, доставал из холодильника продукты, накрывал стол, предвкушая неторопливую утреннюю трапезу с долгим чаепитием, обстоятельной беседой под утреннее бормотание радио и позвякивание ложек.

Какой там!

Первым врывался на кухню взлохмаченный, словно после тушения пожара, сын, сиплым спросонья или после вчерашнего банкета голосом безлико ронял:

— Ия, коке, как спалось?

И, не слушая ответа отца, озабоченно косился то на часы, то в окно — подъехал ли Рихард, помыл ли машину, торопливо съедал круто сваренное яйцо, маленький кусочек хлеба с черной икрой, выпивал на ходу чашечку кофе со сливками.

— Ну, бывай, коке! Не скучай!

Через полчаса он спускался по лифту вниз, выходил из подъезда, размахивая кожаным кейсом, навстречу ему бросался услужливый Рихард, принимая из рук шефа кейс, распахивал перед ним дверцу, и огромный, сверкающий вороным отливом «Ланд круизер», мягко колыхаясь, исчезал за углом элитного дома, вклиниваясь в поток машин по проспекту «Достык».

Мамбет Казиевич, вздохнув, отворачивался от окна, садился к столу, продолжая утреннюю трапезу в одиночестве.

Хотелось, конечно, старику поговорить о том, о сем, вспоминать аул, поделиться впечатлениями, узнать про дела вечно занятого Бахыта, спросить, какие думы его гложат, но сыну вечно было некогда. Старик видел: сын не принадлежит себе, он только полагал, что влияет на какие-то обстоятельства, на самом деле обстоятельства подмяли его, и он был послушным рабом этих самых обстоятельств. Утром по привычке сын задавал один и тот же вопрос: «Ну, коке, как спалось?», а вечером, возвращаясь поздно с каких-то совещаний, деловых встреч, пресс-конференций, банкетов, сразу проходил к себе в кабинет и до глубокой ночи висел на телефоне, и такой распорядок дня продолжался месяцами, годами. И Мамбет Казиевич, мельком косясь на постоянно озабоченного, уже лысеющего сына в больших, в золотой оправе очках, с седеющими висками, молчаливого и хмурого, про себя, бывало думал: «Апырай, это мой сын или чужой дядька? Что у него на уме? Что его заботит, тревожит? Неужели ему мало того, что имеет?»

Часто Бахыт выезжал в командировки, то в области, то в зарубежные страны, вел затяжные переговоры от крупного акционерного общества — то ли банка, то ли бог весть каких корпораций, ворочащих миллионами. Иногда на два-три дня отправлялся в степь на охоту с группой, таких же, как он, строгих, богато экипированных в иностранных шмотках-снаряжениях бывалых жигитов, называвших

друг друга не именами, а кликухами на чужой манер — Майклом, Джоном, Бобом, Джорджем, хотя и были все из славного казахского племени.

Жизнь их была Мамбету Казиевичу совершенно недоступна.

Потом на кухню вступала, точнее, вплывала нарядная, напомаженная, надушенная, изысканно упакованная сноха, держа возле уха мобильник, и певучим, врастяжку, голосом переговаривалась с кем-то на диковинной тарабарщине из русских, казахских, английских слов:

— Ия, ия, айналайн, мен ойлаймын, что Сауле Омаровна келгенше надо пошире открыть уиндовку и пылесоспен подиумды хорошенько тазалау керек. Я сейчас чилдренімді в школу отправить етем де каремен жедел приеду. Чао!

Сноху Мамбет Казиевич даже не пытался понимать. По отдельным обрывкам фраз он догадывался, что речь идет о салонах мод, конкурсах красоты, пошивочных мастерских, парфюмерии, магазинов со странными — нерусскими и неказахскими — названиями. Старик предположил, что его «беленькая, как яичко» сноха, которую, по казахскому выражению, следует посадить на ладонь, обдуть и проглотить, как образец чистоты и смазливой красоты, заведовала большим и элитным хозяйством. И судя по всему, успешно и при этом цену себе знала.

Тараторя по мобильнику, сноха цепко осматривала стол, кухню, шкафы, заглядывала в холодильник, одновременно легким похлопыванием пальчиками свободной руки массажировала холеное, без единой морщинки личико, разглаживала бровки, приглушала радио, включала миниатюрный телевизор, а Мамбет Казиевич наливал ей в чашечку чай, придвигал ломтики поджаренного хлеба, вазочку с медом, приговаривал ласково:

— Шай іш, келінжан. Поешь что-нибудь, қызым!

Именно так — «келинжан», — «сношенька», «қызым» — «доченька» упорно называл он ее, хотя знал, что невестку это раздражало, она предпочитала, чтобы ее называли по имени-отчеству — Зухрой Ганиевной. Но так называть сноху старик никак не мог — язык не поворачивался.

Наконец, закончив очередной разговор, сноха мельком косясь в зеркало серванта и отпив глоток чаю, привычно пробежала пальчиками по кнопочкам мобильника.

— Ал-лё... Вильмочка, здравствуй! Я прошу тебя уделить нашей фатере немного больше внимания. В холодильниках-то, милочка, пусто. Ну, не совсем, конечно. Но казы осталось с гулькин нос. Да, и карта, жал-жая подкупить не мешает. А то нагрянут жигиты — на дастархане шаром покати. Да, да, съезди сегодня с Гошей в Иссык. Ибрагим-ака все организует.

Откусила ломтик поджаренного хлебца, пригубила чашку, вытерла салфеткой губы, снова пробежалась пальчиками по кнопочкам — тик-тик-тик-тик...

— Ал-лё... Оленька? Как хорошо, что ты на месте. Надо бы прибрать квартиру. Везде. И на балконах. Ну, ничего... — ничего... еще раз пройдешься. Договорились? О кей!

Дохрумтела хлебец, облизала ложечку с медом, допила чай.

— Ал-лё!... Гоша? Все в порядке? Машина заправлена? Молодец! Сегодня нам предстоит посетить пять-шесть объектов. А пробки, сам знаешь, жуткие. Вечером еще и на дачу заехать надо. Ладно. Через пятнадцать минут выйду.

Мамбет Казиевич, прислушиваясь к бесконечным телефонным разговорам снохи, все надеялся, что она, наконец, и на него обратит внимание, о чем-нибудь спросит хотя бы вежливости ради, но Зухра Ганиевна будто его и не видела.

Старик слышал, как сноха процокала через длинный — хоть на стригунке скачи — коридор, потом хлопнула наружной дверью, вышла во двор, где дворники копошились с утра до вечера, у ограды вытянулся, точно милиционер, охранник, и, не глядя по сторонам, строгая и энергичная, спортивная и деловая, настоящая бизнес-вумэн, как она себя представляла незнакомым, решительно направилась к ослепительной «Тойоте».

Мамбет Казиевич, обтираясь махровым полотенцем, допивал шестую или седьмую пиалу крепкого, со сливками, чая. Он обожал чаевничать не торопясь, основательно, до седьмого пота и только тогда чувствовал себя здоровым и бодрым.

Потягиваясь и позевывая, вошла на кухню Лаура. Явно не выспавшись, взлохмаченная, помятая, будто черти всю ночь драли напролом, с опухшими веками, с мутными гла-

зами, с кривой, как бы навсегда застывшей язвительно-брезгливой ухмылкой на губах.

— Ф-фи, блин! Опять опоздала на первую пару.

Скользнула рассеянным взглядом по столу, кончиками пальцев подцепила кружочек казы, морщась, пожевала, плеснула в бокал мандариновый сок, отпила глоточек, исподлобья глянула на Мамбета Казиевича.

— Хорошо вам. Ни забот, ни горя...

— А что, милая, у тебя забот и горя много?

— Во! — ребром ладошки рубанула Лаура по шее.

Мамбет Казиевич поспешно отвел глаза. На голые телеса натянула юнница прозрачную коротенькую кофточку, под которой бугрились тугие грудки, четко обозначились сосцы. Синюшный пупок украшала не то серьга, не то какой-то камушек. Белые трусики обтянули, впиваясь, бугристую плоть, что, казалось, лопнут при первом же движении.

«Апырай, взрослая девка. Неужели самой не стыдно? Хоть бы халатиком прикрылась. Или меня за человека не считает?»

Лаура, чертыхаясь, долго набирала номер по мобильнику, наконец, дозвонилась, хриплым голосом спросила:

— Ну, что? Оклемался? Трещит башка с бодуна? Что ж ты придрался к этому придурку? Послал бы его к этой самой матери. Нужен он тебе больно... Что? Да сдался он мне, козел, на фиг! Ладно... поговорим. На лекцию собираешься?.. Там и встретимся. Вечером?.. Да надоел мне этот «Адмирал Нельсон». Бедлам! Шарага! Все обрыдло. Что-нибудь сообразим. Құп мейлі!

Швырнула мобильник на подоконник, выглянула в окно, выключила радио, допила сок в бокале.

— Чай пить не будешь, что ли? — робко поинтересовался Мамбет Казиевич.

— Чаи пусть бабаи гоняют, — отрезала, скривившись, Лаура. — Им-то не хрена делать!

— Хм-м... отчего злишься?

— От того, что скучно. Понятно?

— А скучно почему? — допытывался старик.

— Почему, почему... По кочану!.. Любви не хватает. Понятно?

— Понятно, — поспешно согласился старик.

Лаура достала из-за навесного шкафчика пачку сигарет, ловким щелчком выстрелила белохвостую цигарку, прикурила у газовой плиты, пустила струйку дыма в форточку.

Мамбет Казиевич опять невзначай покосился на нее. Смуглые тугие ягодицы вздрагивали. На одной ягодице притягательно темнело большое родимое пятно. На круглых, гладких бедрах в лучах утреннего солнца золотились волосики. «Ай, ай! В соку девка. Ее скорей бы замуж сплавить. От греха подальше...»

Зашвырнув недокуренную сигарету в форточку, Лаура прошлендала к себе, вызывающе сверкая оголенной попой. Что-то не в духе была дева с утра и, видно, искала повод, чтобы сорвать на ком-то зло.

Мамбет Казиевич продолжал пить чай, досадуя, что никак не может вспотеть. Даже лоб не покрылся испариной. А это значит, что он весь день будет скованный, квелый. Включил было радио. Диктор, захлебываясь, говорил о небывалых достижениях в макроэкономике, о мощной государственной помощи на восстановление аула, о том, что в какой-то области завершено строительство моста и Елбасы в торжественной обстановке перерезал ленту.

«Е-е... дұрыс екен... Лишь бы тишь да благополучие не покидали родной край, благословенный предками»...

Услышав знакомое урчание машины, Мамбет Казиевич выглянул в окно и увидел, как розовая «Мазда» резко рванула с места. Это Лаура покатила на свои занятия. Училась она на менеджера в каком-то частном университете со странным и длинным названием.

Внука Арыстана к завтраку старик так и не дождался. Видно, он незаметно выскользнул из дому, таща за спиной огромный, в сплошных кармашках и застежках заморский ранец, набитый всякой всячиной.

Парень рос сам по себе, особняком, вольно. Казалось, никто им не интересовался — ни отец, ни мать. В своей комнате, заставленной и заваленной в жутком беспорядке, он чувствовал себя, как рыба в воде. То заряжал на всю катушку свой истерзанный «маг», то часами забавлялся с компьютером, то что-то выкрикивал, то хихикал, то гремел какими-то железками, изображал из себя супермена, то яростно колотил боксерскую грушу, то сражался на шпа-

гах с неведомым врагом. Потом резвился с дружками, подолгу балабонил по мобильнику. Когда он готовил уроки и готовил ли их вообще — никто не ведал. Учился Арыстан в колледже для особо одаренных детей. В чем выражалась его одаренность, да еще особая, Мамбет Казиевич так и не понял. Поначалу он раза два напросился помочь внуку, заглянул в его тетрадки и дневник, но внук выказал полное пренебрежение к советам дедушки. Более того, заговорил с ним снисходительно, заносчиво.

— Вы, Мамбет Казиевич, всю жизнь учили аульных дурачков в начальных классах, да?

— Да.

— А я ведь учусь в седьмом классе городского колледжа, да?

— Да.

— Ну, так вот...

— Что, «так вот»?

— Так вот, чему вы собираетесь меня учить?

— Хм-м... Ну, хотя бы вежливости, аккуратности, уважению к старшим.

— И все?

— А что, мало?

— Вот блин! Достали вы меня, ваше высокородство! Заколебали совсем своими нравоучениями.

— Слушай, а почему ты так меня называешь?

— Как?

— Мамбет Казиевич. И по всякому.

— А вы разве не Мамбет... э-э... Казиевич?

— Для тебя я «ата», вот так и называй.

— «Атан» — знаю, «отан» — знаю, «аттан» — знаю, а «ата» что такое?

— Ата — это дедушка.

— «Дедушка». Скажете тоже! И мама, и Лаура вас дедушкой не называют. Почему же я должен говорить «ата»?

— Так принято.

— Кем принято? Может, мне называть вас еще «коке», как папа?

— Для папы твоего я, конечно, коке. А для тебя — ата.

— Вот еще! Аташка, апашка, ажешка, агашка — попугайские слова! Псевдо-калбитский язык.

Разговор с внуком пошел наперекосяк с самого начала. Шибко умный, щеголявший набором заемных слов задирав внук, казалось, изощренно издевался над дедом. Упорно продолжал называть его Мамбетом Казиевичем. При этом между «Мамбетом» и «Казиевичем» делал нарочитую паузу, оттеняя, подчеркивая имя. Во всем демонстрировал свое преимущество, передразнивал казахский акцент деда: «обшым», «шай-пай пьем», «дебка инстет пашел». То и дело заговаривал по-английски, болботал что-то несуразное, непонятное — «трансцендентальная апперцепция», «априорирует к филиациям», «дискриминация», «дискредитация».

— Айналайн, говори понятнее, — умолял дед.

— Ну, куда еще примитивнее?! — ерничал внук.

Иногда он силком усаживал старика к компьютеру, как бы невзначай просил подключиться к интернету, перейти на спортивные или эротические сайты. А то подкидывал какую-нибудь заковыристую задачку по математике, и, видя беспомощность дедушки, картинно разводил руками и вздыхал:

— Эх, невежество аульное! Эх, темнота! Ах, Мамбет... Мамбет... Ка-ка-казиевич! И чему вы только детей учили целых сорок лет?!

— Не сорок, а пятьдесят два, — сдерживаясь, поправлял дед внука.

— Тем более! — презрительно выпячивал внук губу. — Пятьдесят два года долдонили, что дважды два четыре.

Но по казахскому языку Арыстан безнадежно плавал. Ему совершенно не давались казахские звуки. И слова казахские в его произношении звучали чудовищно. И Мамбет Казиевич удивлялся: почему так? Какие-то слова и даже фразы Арыстан с горем пополам еще как-то заучивал, но в устах его они звучали уродливой абракадаброй. Дед хватался за голову.

— Ауыл, — говорил дед. — Ау-ыл!

— Аул, — повторял внук.

— Ауыр, — настаивал дед. — Ау-ыр!

— Аур, — твердил внук. — Р-р-р!

— Аппақ қар, — подсказывал дед.

— Апбагх гхар, — вторил внук.

— Ақмақ! — взрывался дед.

— Сам агхмагх! — огрызался внук. — Калбитский язык! Кому он нужен?!

— Как калбитский?! — возмущался дед. — Ты что мелешь? Это же твой, материнский язык!

— Какой еще материнский? Матерный, что ли?

— Язык твоих предков! Понимаешь?

— Ладно, Мамбет... е-е... Казиевич. Пусть на нем мамбеты и говорят. И мама, и папа вполне обходятся без него. Только вы нам голову морочите. «Казахский», «государственный»... Черта с два! Это только вы, мамбеты-патриоты, дурите народ. Какой «государственный»? Государству он даром не нужен. Вон и министры, и депутаты, и акимы — все-все по твоему «кхазакхскому» ни бельмеса не знают, а как высоко взлетели, а ?!

— Это ты сам додумался, или, как попугай, чужие слова повторяешь?

— И я говорю, и другие говорят.

— Ну, так кто из нас мамбет — я или ты, отрекающийся от родного языка?

— Мамбет — вы, а я — Арыстан! Слышите: А-р-р-рыста-а-ан!

— Ай, не знаю! Арыстан или Сары тышқан...

— Что такое сары тушхан?

— Серый мышонок.

— Это что — оскорбление? Ущемление человеческих прав? Унижение достоинства?

Арыстан встал в позу, прищурил глаза, дернул хвостиком-косичкой на затылке, грозно прошипел:

— Не по-зво-лю-ю, почтенный Мамбет... е-е... Казиевич! С Арыстаном такой номер не пройдет!

Внуку шел четырнадцатый год. Был он росл, строен, осанист. И уже, видно, нравился девчонкам.

Как-то на прогулке Мамбет Казиевич присел на скамейку, всю испещренную дурашливыми надписями. Бросалось в глаза выведенное белой краской, разноцветными фломастерами, шариковой ручкой, карандашом имя «Арыстан». Одна надпись гласила: «Я Арыстана люблю. Аида». Рядом красовалась вторая: «Я тоже. Гуля.» Третья вопрошала: «Правда, он лапочка? Мадина». А поверх этих невинных девичьих признаний какой-то озорник выцарапал гвоздем:

«Суки вы все!» Мамбет Казиевич не сомневался, что речь несомненно шла о его внуке.

Однажды вечером, когда за столом собралась вдруг вся семья, что случалось крайне редко, Арыстан ни с того, ни с сего надулся, насупил брови и ломающимся голосом буркнул, не глядя ни на кого:

— Блин, несправедливость получается!

— Что такое? — всполошилась Зухра Ганиевна.

— Несправедливо говорю! Дискриминация молодого дарования, — еще пуще возмутился Арыстан.

— Это ты, что ли, молодое дарование? — скривила губы Лаура.

Арыстан промолчал, но засопел сильнее.

— Говори яснее, без намеков, — заметил Бахыт.

— Ну, как же! Все вы раскатываете на своих машинах, а я что — рыжий?! — выпалил, наконец, Арыстан и покрылся пятнами.

— Во дает! — первой догадалась о «дискриминации» Зухра Ганиевна.

— Коз-зел! — буркнула, поджав губки, Лаура.

— Сама ты! — вскинулся Арыстан, но осекся. — Разве справедливо?

— Слушай! Ты ведь только в седьмом классе, — урезонил его отец. — Дойдешь до девятого-десятого, тогда видно будет.

— Ну и что, что в седьмом?! У нас в классе уже у троих свои машины. А для меня вам и паршивого «Жигуленка» жалко, да?

— И что ты, козел, будешь с ней делать, с машиной?! — все более распалялась Лаура.

— Ну, в школу ездить... На бассейн. В Парк. Учителку домой возить. Девчонок катать.

— Какие еще девчонки?!

— Обыкновенные! С руками и ногами.

— Ты глянь на него! — изумился Бахыт. — Орел! Каскыр!

— Арыстан я!

— Ну и ну!

— Учудил, козел!

— Губа не дура!

— Ладно, — задумчиво заметила Зухра Ганиевна. — Не базарьте. Мальчик подрос. И у него новые запросы. И он, действительно, не Кушикбай, не Мамбет... простите, пожалуйста, — невестка мельком покосилась на свекра, — а Арыстан. И с правами и потребностями его надо считаться.

— Он же в первый же арык свалится, — съязвила Лаура.

— Но ты же не свалилась!

— Х-ха, сравнила!

— Ему ведь и шестнадцати нет, — подал голос Бахыт. — Какая машина? Самокат или велосипед — и то...

— Брось! При чем тут шестнадцать? К Арыстану это не относится.

— Ай, рановато... рановато пока, — покачал было головой все время молчавший Мамбет Казиевич.

— А вас не спрашивают! — осадил его внук. — Ваше дело — сторона.

Мамбет Казиевич прикусил язык и отодвинул чашку.

В семье сына он все больше чувствовал себя чужим.

Глава двенадцатая

«Люфтганза» вылетела из Алматы на рассвете. Регистрация началась в полтретьего ночи. Двое суток Карл Деграф промаялся в гостинице «Алтын дэн» в ожидании своего рейса. Документы были в порядке, все вроде предусмотрено, дом, усадьба переданы в надежные руки, но на душе скребли кошки. Оторванный от родного аула, вытолкнутый из привычной среды, очутившийся один-одинешенек на распутии, он не находил себе места, томился в неведении и как ни старался настраивать себя на предстоящую радость встречи с детьми и внуками на земле предков, душевного облегчения не испытывал. Иногда ему чудилось (или так хотелось?), что наверняка произойдет что-то неожиданное, непредвиденное, что-то помешает, ну, может, с бумагами непорядок какой выйдет, или рейс вдруг отложат и скажут ему в последний момент: «Возвращайся, старина, домой. Полетишь через год». И тогда он с легким сердцем вернется в аул. Но нет, все шло, казалось, своим чередом, все срабатывало, как надо.

В гостинице он познакомился с большой семьей Таубе из Костаная. Многочисленный клан Таубе — старуха-мать, двое сыновей с женами, дочь с мужем, шестеро внуков — после двухлетних мытарств с оформлением всевозможных бумаг, языковых тестов-экзаменов, бесконечных проволочек и отговорок, унижений и вымогательств, после продажи домов и нажитого за долгие годы имущества, наконец-то собрался в путь на этническую родину, о которой имели весьма смутное представление. Вид у всех Таубе был измученный, подавленный; лица точно окаменевшие; одеты были по-сельскому непритязательно, кто во что горазд. И этим своим обличием клан Таубе производил тягостное впечатление. Так российские немцы выглядели еще в пятидесятые годы, когда возвращались из трудармии и ссылок и находились еще под бдительным оком комендатуры.

С раннего утра за все эти дни Таубе, уже готовые в дальнюю дорогу, собирались вместе, словно на производственное совещание, сидели на баулах, среди бесчисленных сумок, что-то жевали, тихо, чуть не шепотом, оглядчиво переговаривались. И все заботились о суроволицей, высохшей, как мумия, старухе, главе клана, отрешенно смотревшей вдаль и редко проронявшей словечко.

— Не знаю, как довезем мать, — пожаловался старший сын, Гельмут, при знакомстве с Карлом. — Совсем плоха.

Выяснилось из разговора, что весь клан Таубе из одного колхоза, все механизаторы, свинарки, доярки, шофера. Один лишь бабушкин любимчик, внук Володя, отслужил армию и теперь как бы их главный командир, ибо самый грамотный и бывалый среди них. Ну, а на хох-дойч шпрехает одна престарелая мать, и на нее там, в Германии, вся надежда. Да вот совсем расклеилась, хворости одолели. А тут еще дорога, хлопоты, бессонница, волнения.

— Вас там встретят? — поинтересовался Гельмут, кряжистый, почти квадратный мужчина с обветренным, грубой ковки, в тяжелых складках лицом.

— Да, дети, внуки.

— Вам легче. А мы сразу в лагерь. Как все. Бараки, нары, общая столовая. А потом, сказывают, нотвоунунг, шпрахкурсы, определения местожительства. Хорошо, если отправят на запад, а если определят жить в бывшей ГДР — то

говорят, хуже. Ну, Бог с ним. Только бы довезти муттерхен. Только бы она выдержала.

Регистрация тянулась долго и нудно. Проверяли отъезжающих пристрастно, строго. Документы просматривали до дыр. Просвечивали всю поклажу. Сравнивали с фотокарточкой, заставляли снять головной убор. Искали, к чему бы придраться. Тщательно сверяли декларации. Обнаружилась всякая нелепица. У одной снохи Таубе в декларации, оказалось, не указаны золотые серьги, у второй — золотая цепочка. В портсигаре Гельмута были спрятаны три кольца с камушками и золотой мундштук. Начали выяснять, доказывать, оспаривать, заставили переписать декларации. И старинная, вся потемневшая от времени плотная книжица с готическим шрифтом вызвала у таможенников подозрение. Но старуха, выхватив из чужих рук священную книгу с духовными песнями-молитвами, цепко прижала ее к тощей груди, всем аскетически-суровым видом как бы доказывая, что теперь уж не упустит ее, даже если невзначай умрет. Недавний солдат Володя Таубе прихватил с собой свой любимый кларнет в дорогом футляре, а на вывоз инструмента, оказалось, нужна справка-разрешение от Министерства культуры: вдруг кларнет представляет особую ценность или выкраден из государственной коллекции? Но недавний воин армии проявил настойчивость и упорство, сверкал глазами, нажимал на голос, качал права, демонстрировал кларнет, доказывая, что инструмент заурядный, серийный, а, исчерпав все доводы, с презрением сунул в кармашек таможенника пятьдесят долларов, после чего тот сразу же убавил служебную прыть.

Возбужденный, взбудораженный, ощетинившийся клан бывших колхозников из Костаная, наконец, миновав все преграды, пробился в тесный и душный накопитель. Здесь старой немке совсем стало плохо. Сыновья поддерживали ее с двух сторон под руки, снохи усердно обмахивали ее платками, перепуганные внуки умоляюще таращили на бабушку глаза, а старший, Володя, подносил ей под нос ватку с нашатырем.

— Мутти, мутти, потерпи, еще чуть-чуть, — уговаривал мать Гельмут. — Сейчас запустят в самолет. Там тебе сразу станет легче. Врача пригласим.

Волнение и страх семейства Таубе передались и Карлу. Его стало бить мелкая дрожь. Сам он таможенный осмотр прошел без проблем. По совету детей он прихватил с собой лишь самое необходимое, отправившись в дальнюю дорогу с одной тощей сумкой и целлофановым пакетом.

Начали медленно подниматься по трапу. Гельмут пропустил Карла вперед, наказывая занять места.

— Чудак! Места ведь указаны в билете.

— Ай кто знает! Народу-то вон сколько.

Семейство Таубе уже у трапа опять взяли в оборот. Видно, проверяющие намеревались хоть что-то содрать с отъезжающих немцев. Опять подолгу принялись просматривать ворох разных бумаг, билеты, вызов, ауфнамебешайд, декларацию, подозрительно косились на ручную кладь — полтора десятка сумок и пакетов, снова с пристрастием всматривались в лица. Наконец, во внутрь ровно гудящего самолета нырнули внуки, снохи, оба сына. Сзади под руку осторожно вел бабушку внук Володя. Стюардессы, контролеры нетерпеливо столпились у двери. Посадка явно затягивалась. И вдруг донесся испуганный крик Володи:

— Ома! Ома!..

Бабушка бесчувственно повисла на его руках, завалилась на перила трапа. Пухлая книга-молитвенник в черном переплете глухо упала на ступеньку. Стюардессы ахнули. Весь клан Таубе ринулся назад на входную площадку, все так же держа ручную кладь.

— Нельзя! Нельзя! Куда вы?! — всполошились стюардессы.

К ним подбежало несколько человек в форме.

— Что такое? Что такое?!

— Что случилось?!

— Либер Готт! Я так и знал... Предчувствовал... — простонал враз побледневший Гельмут. — Не хочет господь, чтобы мы уезжали...

Всего лишь две ступеньки не успела преодолеть старая немка из Костаная, чтобы войти в уютный зев разогретого лайнера, в котором уже успели расположиться ее снохи и внуки, отъезжающие в Германию. Столько лет о том желанном мгновении говорили, мечтали, грезили и, когда до осуществления выстраданной мечты осталось два малых шажка, случилось непоправимое.

Уж если Бог карает за что-то, то беспощадно.

Шок длился недолго.

«Люфтганза» готовилась к взлету. Время на раздумывание вышло.

Засуетились стюардессы, диспетчеры, провожающие, командир корабля, все подразделения службы.

Что делать? Как быть? Всех Таубе снять с рейса? А потом что? Как все заново утрясти, уладить?

Клан Таубе охватила паника.

Подкатила санитарная машина. Врач и сестры, развевая халатами, стремительно поднялись по трапу. За ними засеменили двое санитаров с развернутой носилкой.

Володя с трудом удерживал безжизненное тело бабушки.

В салоне заволновались пассажиры.

— Бабушке плохо, — прокатилось по рядам кресел.

— Умерла, — подтвердил кто-то.

— Какой ужас! Уже в самолете?

— Нет, на трапе при посадке.

— Какая нелепость!

— Не приведи Бог!

Растерянность обрушилась на всех.

Бабушку уложили на носилки, рядом положили растрепанный молитвенник. Внесли тело в машину.

Володя принял решение.

— Летите. Я остаюсь. Справлюсь. Похороню. Потом видно будет. Летите! Другого выхода нет.

— Володя, держись! Крепись! Родной... прости нас.

— Ладно. Не волнуйтесь. Все уладится.

— Либер Готт! Такой удар...

Люк с треском захлопнулся. Трап спешно отъехал. Лайнер медленно и тяжело, колыхаясь, вырулил на взлетную посадку, надсадно взревел, взрывая предрассветную тишь во всей округе.

Три ряда кресел, занятые семейством Таубе, онемели от неожиданного горя.

Стюардессы мигом рассыпались по своим местам. «Люфтганза» затряслась всем своим огромным телом.

По радио призвали всех пристегнуть ремни.

Часы на табло показали четыре двадцать пять местного времени.

Карл плотнее вжался в сидение, пристегнул ремни, бросил таблетку нитроглицерина под язык. Слабость ударила в поясницу, по телу пробежал противный озноб.

Старой Таубе из Костаная не суждено было ступить на землю предков.

«А что, если бы со мной такое случилось? — подумалось Карлу. — Хоть и тракторист, да сердце ведь не железное. И рядом никого...»

Он даже не осмеливался покоситься в сторону поредевшего клана Таубе.

«Люфтганза» уверенно набирала скорость и высоту. На экране у потолка зажглись карта, маршрут полета, стрелка над городами, красотка-куколка, улыбаясь до ушей, демонстрировала, что надлежит делать пассажирам в случае непредвиденной опасности. У Карла кружилась голова, ныл одеревеневший затылок, знакомая боль отдавала в левую руку. Он зажмурился, представил свой дом у озера, усадьбу, вспаханное поле, одинокую турангу, увешанную разноцветными лоскутками, могилу Марии за железной оградой, и на сердце его стало так тяжело, что он застонал.

— Was ist los, mein Herr? — озабоченно спросил рядом сидевший краснолицый, толстый, не в меру бодрый немец, обросший сивой бородой. — Haben sie Schmerzen?

— Нет, нет, — ответил Карл по-русски. — Просто... так...

— Ach so?! — промычал толстяк участливо.

В салоне ярко горел свет. По рядам забегали стюардессы и стюарды, ловкие, вышколенные, источали вежливые улыбки и готовность услужить. Запахло кофе, пивом, зажаренными колбасками. Зазвучала громкая, уверенная, картавая немецкая речь. Все изготовились к завтраку.

Карлу все было внове, в диковинку. Когда-то он летал в Москву, на выставку народного хозяйства, но, помнится, такого радужного обхождения не было. Один раз угощали тощей, синюшней, пережаренной курицей с зеленым горошком, блеклым чаем с рафинадом и раза два давали слипшиеся карамельки. А тут глаза разбегались. Он подолгу разглядывал изящные упаковки, тюбики, коробочки, баночки, внимательно читал надпись, смутно догадываясь, что же скрывалось за блестящими, шелестящими, разноцветными обертками, соображал, как же подступиться ко

всему этому изобилию, как бы не перепутать и не опростоволоситься, начал распихивать по карманам разные расфасованные штучки, чтобы угостить при встрече внуков, и искоса наблюдал за вальяжным соседом, который артистично орудовал пластмассовыми, одноразового употребления ножиком, вилкой, ложечкой, запросто вскрывал баночки и пакетики, откупоривал бутылочки, ел со вкусом, быстро и уверенно расправляясь со всем набором всякой всячины на огромном подносе-коробке.

Крупноголовый, массивный немец-бородач то и дело косился на Карла, хмыкал, фыркал, чмокал красными губами, ухмылялся, крякал, отдувался, пыхтел, мурлыкал под нос, испытывая явное наслаждение от обильной трапезы.

— Матиас Хорнунг, — представился он по-немецки и уточнил. — Доктор Матиас Хорнунг. Коммерсант.

И отправил в широкий красный зев бутербродик с черной икрой, потом вслед — розовую ветчину, заглотал, как удав и тут же запил глотком пива.

— Карл Деграф, — буркнул Карл, и подумав, добавил. — Бывший колхозник... колхозбауэр.

Коммерсант вскинул кустистые рыжие брови, колыхнул тугим брюхом.

— Карл? — переспросил, проглатывая «р». — О, дойчер, альзо?

— Руссланддойчер, — поправил Карл.

— О! Sehr angenehm! Хар-ра-шо-о! Gut! По-немецки говорите?

— Многое понимаю. Но говорю, извините, плохо. Отвык.

Коммерсант из Германии оказался мужиком разговорчивым, любознательным, к тому же, видно было, пребывал в хорошем расположении духа. Он бурно зашпрехал по-немецки, обрушивая на Карла поток странно звучавших немецких фраз, к тому же смазывал окончание слов, непривычно интонировал конец предложения, безбожно картавил, заглатывал слова вместе с пищей в свою объемную утробу, и Карл с трудом вникал в смысл витиеватой речи экспансивного немца.

— Может, вам сподручнее беседовать по-английски?

— Что вы? Откуда?! Кто по-английски беседует в ауле? Удобнее мне по-русски или по-казахски.

— Казахиш? Вундербар! Говорят, казахский схож с турецким? Так ли?

— Не могу знать. Я же сказал — колхозбауэр. Тракторист.

— Хм-м... По-русски я знаю слов десять. — Матиас наморщил лысеющий лоб. — Привет. Как дияла? Хорошо. Спасибо. Так получилось. Не снайт. Не понимайт...

— Уже кое-что.

— Ха-ха-ха!.. Но — согласитесь — для беседы маловато. А по-турецки изъясняться могу. В Турции бываю часто. Но мы ведь немцы. Думаю, поймем друг друга. Нихьт вар?

К счастью Карла, словоохотливый немец говорил главным образом сам, спрашивал и, не дожидаясь ответа, болботал и болботал, как самодовольный гусак, довольствуясь краткими, однозначными репликами Карла, которого такая форма общения вполне устраивала: не надо было напрягать память, выуживая из ее темных глубин нужные немецкие слова и удобно было настраивать слух на диковинный немецкий речестрой. Это было утомительно, но отвлекало от тягостных мыслей, навеянных разлукой с родным краем.

А Матиас, управившись с завтраком, то и дело подзывал услужливую, поджарую стюардессу и заказывал то пиво, то коньячок, то виски со льдом, то «кровавую Мэри», то орешки, то парочку бананов, мельком смотрел на экран, определял, где и на какой высоте находится в данный момент «Люфтганза», какая температура за бортом, и при этом говорил, говорил, бубнил в бороду, обрушивая на голову Карла ушаты разнообразной информации.

— Знаете, Карл, я в последние годы часто бываю в Азии. Главным образом, в Кыргызстане и на юге Казахстана. А с чего все началось? О, вундербар! Германию часто навещает Чингиз Айтматов. Знаете его? Нет?! Ach, schade, schade! Он очень популярен. Прекрасный писатель, искусный дипломат и, кажется, и коммерции не чужд. Кстати, российские немцы в Германии его обожают. Как-то он проводил литературные лезунген с продажей своего романа «Kassandramal» по германским городам. Со своим переводчиком Фридрихом Хитцером. Там и познакомились. Разговорились. И он дал мне несколько адресов в Бишкеке, рекомен-

довал заняться там бизнесом. Ну, поехал, огляделся. Затеял несколько сыроварен, один колбасный цех. Сырье есть, рабочей силы навалом. Тогда еще и местных немцев было много, еще до войны обосновались. Вроде как пошло дело. Технология немецкая, мясо, молоко киргизское. Спрос на продукцию велик. Но... вскоре все обернулось крахом. Немцы уехали. Новые хозяева все быстро разворовали. И тоже драпанули кто куда. Пошли убытки. Главное: верить некому. Ты вкладываешь деньги, а они так и норовят тебя облапошить. Жулик на жулике. Зависть, злоба, рвачество. Какой тут, к чертям собачьим, бизнес?! Куш сорвал и в кусты. Шайзерай! Хундстрек! Власти никакой. Демократия — пшик. С кем иметь дело? Бизнес ведь любит стабильность. У вас, в Казахстане, кажется, спокойней. Ja?

Карл кивнул.

— Но тоже воруют?

Карл повел плечом.

— Воруют, наверное. Особенно на верху. А в ауле что́ воровать?

— Хотите сказать: все уже разворовано?

— Просто воровать нечего. Разве что козлушку или барашка. Или корову угонят. Земля продана и не поймешь, кто хозяин.

— Хм-м... Коррупция, слышал, свирепствует. Или процветает?

— Не знаю, — опять дернул плечом Карл. — Наверное есть. Но газеты до аула не доходят, телевизор не работает, нет света, по радио сплошной аляуляй...

— Was ist das — а-ляу-ляй?..

— А-а... дурные песни... трали-вали, lari-fari, ля-ля, а-ла-ла...

— Понятно. Информации никакой. Колхозбауэр, одним словом, — усмехнулся Матиас, глотнув из пузатого бокала пивка.

— Колхозбауэром был раньше. Теперь пенсионер.

— Значит, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю?! — съехидничал коммерсант.

— Не совсем так, — холодно возразил Карл. Скрытая спесь и самоуверенность соседа его начала раздражать. — И вижу, и слышу, и знаю. Но мало.

— Ja, ja... понимаю. Stimmt, — сразу согласился коммерсант — Конечно, конечно. Суверенность есть, а лада нет.

— Да, пока что чаще всего царит разлад.

— О, ja! Разлад ощущается и в мировом масштабе. Наступили времена сплошного разлада. Что уж говорить о молодом государстве, тем более об аиле.

— Ауле, — поправил Карл.

— Как? Киргизы говорят «аил».

— То киргизы. А мы говорим «аул».

— Интерессант! И вы всю жизнь прожили в ауле?

— Да, с 1941 года. Когда Усач-Шнауцер нас выселил.

— О, целых, считай шестьдесят лет! Столько я еще не прожил. И за шесть десятилетий аул изменился?

— Изменился. В худшую сторону. Аул забросили. Видно, он себя изжил. Все норовят переселиться в город.

— Ну, это понятно. Общий процесс, — заключил Матиас.

Самолет гудел монотонно, размеренно и, казалось, совсем не двигался, повис на месте. На экране под потолком то и дело показывали карту Азии и Европы и по континентам двигался крохотный серебристый самолетик, все стремительней приближавшийся к зеленой стране под названием «Дойчланд». Мелькали названия известных городов бывшего Советского Союза и восточной Европы. Пассажиры первого салона дремали, разложив кресла и укутавшись пледом. В конце лайнера, возле туалетов, курили и бесцеремонно колготали самоуверенные немцы. Между проходами резвились дети, щебетали на разных наречиях. Карл утомился, закрыл было глаза, всем видом показывая соседу, что ему сейчас совсем не до разговоров. Ах, с каким бы удовольствием полежал бы он сейчас на своем просторном топчане на веранде у себя дома, укрывшись овчинным тулупом и прислушиваясь сквозь дрему к утренней перекличке петухов! Он силился представить осиротевший без хозяина дом возле озера с одинокой турангой, подворье, озадаченного Рекса, дорожку, протоптанную им к могиле Марии, безмолвные поля, белесые тучи в бездонной синеве неба, но не мог сосредоточиться, отвлекали натужный гул, и назойливый свет, и мельтешение экрана под потолком, и разноголосые разговоры вокруг, и бесконечная беготня взад-вперед улыбчивых и услужливых стюардесс.

Карл определил: лететь осталось чуть больше часу, но оживление уже чувствовалось в салоне. Мужчины потянулись к туалетам бриться, переодеваться, женщины — причесаться, принарядиться. Только семейство Таубе продолжало сидеть неподвижно, в оцепенении. Внуки дремали в немыслимых позах, кто сжавшись в комок, кто раскинув руки-ноги, взрослые точно окаменели в безутешном горе. Суровое, грубое лицо Гельмута избороздили глубокие морщины, скулы обострились, взгляд ушел в себя. Он только перебирал пальцами тяжелых, крестьянских рук.

Карл вздохнул: как утешить соплеменника и земляка? Какое горе подстерегло его напоследок, когда весь клан находился уже рядом с многолетней, выстраданной мечтой!..

К Гельмуту направился бортпроводник, что-то прошептал ему на ухо, и Карл увидел, как старший Таубе весь встрепенулся, потом съежился, обмяк и обеими ладонями прикрыл лицо.

Карл тотчас подошел к Гельмуту. Дотронулся до его плеча.

— Есть вести, брат?

— Майн Готт, какие вести? Передали из Алматы: вылет Володи отложили на две недели. Этим же рейсом.

— Ну, так это хорошо!

Гельмут отнял руки от лица. По тяжелым складкам возле щек катились слезы.

— Да, хорошо... Но маму похоронят в Алматы. Якобы разрешили. Бедная мама!.. Ни до аула не добралась, ни до Германии. Надо же!.. В пути смерть настигла. Господи, ну, за что нам такое наказание? Даже мать родную схоронить не смог. Будто бросил...

— Не казни себя, брат. Внук-то при ней. Надежный парень. Он и предаст бабушку земле. Не на чужбине лежать матери, в земле Казахстана, где прожила шестьдесят лет. Опомнитесь — будете навещать. Значит, так распорядилась судьба.

Гельмут смахнул ладонью слезы. Молча оплакивал бабушку весь клан Таубе.

«Люфтганза» уже бороздила небо Германии.

Карл сел на свое место, пристегнул ремни, прислушался к биению своего сердца.

— Волнуетесь? — спросил сосед-коммерсант, допивая бокал «Кровавой Мэри».

— Сердце зачастило.

— Понимаю, понимаю... Земля предков. Фатерланд. Через полчаса вступите на землю, откуда когда-то уезжали неведомые предки.

— Двести тридцать лет назад.

— Девять-десять поколений. Представить только! Такой долгий-долгий путь домой. Потомок в десятом поколений достиг мечту.

— Признаться, я лично о том и не мечтал. И волнуюсь совсем не потому. А оттого, что увижу своих детей. И горько мне, что в этот момент нет рядом моей покойной жены.

— Ах, зоо?!..

Коммерсант со своими разговорами надоел Карлу, и он откинулся на кресло, закрыл глаза, предвкушая радость от встречи с детьми на неведомой земле. Ныло в затылке, учащенно билось сердце. Пришлось прибегнуть к валидолу.

«Люфтганза» плавно снижалась. В салоне воцарилась томительная тишина. У Карла заложило уши. Стюардессы разносили в ведерках распаренные салфетки, которым перед посадкой предстояло освежить лицо и руки. Ощущение было такое, будто Карла со всех сторон укутали плотной ватой. Слабая дрожь ударила в низ живота.

— Дети в одном городе живут? — словно сквозь толщу воды донесся голос Матиаса.

— Да, в Линце.

— Так это же в Австрии!

— Не знаю... Сказали недалеко от Бонна.

— Хм-м... Не слышал.

Воздушный лайнер, грузно колыхаясь, совершил посадку. Пассажиры дружно захлопали в ладоши, благодаря пилота и его команду. Семья Таубе, словно по команде, сорвалась с места и дружно ринулась к выходу, будто боясь опоздать. Сразу же несколько стюардесс бросились к ним наперерез.

— Куда?! Цурюк! Посидите! Вас пригласят к выходу.

Но Таубе, все нахмуренные, насупленные, как на штурм, рвались к выходу, плотно сомкнув ряды.

— Да куда же вы?! Еще трап не подали. Садитесь же!

Клан Таубе ничего не слышал, не соображал.

— Там... там... автобус... автобус... — как шальной, бормотал Гельмут. И у остальных были вытаращены глаза. Казалось, они шли на таран.

— Колхозбауэр, — усмехнулся Матиас-коммерсант. — Из тайги? Или из тундры?

— Из Казахстана, — буркнул Карл. — Аусзидлеры. В лагерь спешат.

Матиас достал из внутреннего кармана пачку долларов, перетянутую резинкой, аккуратно вытянул сотенную купюру.

— Прошу вас, Карл. Примите от меня маленький презент. В честь вашего возвращения на историческую родину. Внукам сувениры купите.

— Что вы?! С какой стати? — отшатнулся Карл. — Зачем?

— Возьмите, возьмите... прошу вас. Чисто символически. За удачу. Я ведь славно провернул одно дельце. Заключил договор на охоту в заповедниках Киргизии и Восточного Казахстана. Лицензии получил на отстрел горных козлов и сайгаков. Уже через месяц приеду с группой охотников. Хороший бизнес! Это тебе не сыроварня!

— Нет! Нет!

— Возьмите, чудак. Такая мелочь. И мне, и вам на удачу!

И запихнул зелененькую купюру Карлу в карман.

Над Франкфуртом-на-Майне низко плыли-кружились кудлатые облака. Пахло дождем. Бросались в глаза чистота, ухоженность, слаженность, порядок.

При входе из огромного автобуса с высокими, мягкими сиденьями Матиас по-медвежьи обнял Карла, вручил визитку и нырнул в толпу. Здесь же, держась друг за друга, исчезли куда-то и Таубе. Карл, очутившись в водовороте толпы, растерянно оглядывался, силился прочесть бесчисленные указатели на стенах, от которых рябило в глазах, оглушенный многоголосым гулом, вместе со всеми двинулся к таможенному контролю. Наконец, после долгих стояний, выжиданий, хождений, проверок, казенных улыбок, вежливых «Битте!» Карл выбрался на открытую площадь и тотчас услышал громкий зов Эдвина:

— Папа, папа! Мы здесь!

В колыхающейся толпе встречающих Карл увидел два плакатика с крупной надписью «Карл Деграф», выведен-

ной черным и зеленым фломастером. И тут же выхватил взглядом улыбающиеся лица дочерей. Рядом находились еще какие-то люди, радостно размахивающие руками. Долговязого молодого человека в яркой куртке сплошь в «молниях», с усами и рыжей бородкой, в темных очках он сразу и не признал.

— Эдвин! Ты, что ли?!

— Ну! — пробасил Эдвин, улыбаясь до ушей.

Вконец растерявшегося Карла обступили, окружили, облепили дети, внуки, еще кто-то и, говоря все вместе, наперебой обнимали его, целовали, затискали, потом повлекли к стоянке машин, тянувшихся на километр.

Карл опешил от сутолоки и восторга. И невпопад что-то отвечал на град обрушившихся вопросов.

Выяснилось, что встречать отца приехали на трех машинах.

— Почему же на трех? — недоумевал Карл. — Хватило бы и одной.

— Ай, всем хотелось похвастаться, что у каждого своя тачка, — оскалился Эдвин. — Есть такая слабость у русаков.

Карл никак не мог надивиться потешным обликом сына. По его представлениям, усы и жидковатая бородка совсем ему не шли.

Каждый из детей тянул отца в свою машину. Наконец, договорились: отец поедет с дочерьми и старшим внуком, учащимся реальной школы, чем родители-аусзидлеры очень гордились. «Представляешь? — сходу доложила Эльма. — В классе его из местных только двое, остальные все аусзидлеры — из Казахстана, России, Украины, Таджикистана, Эфиопии, Румынии». Эдвин и зять Петер решили поехать впереди и заглянуть по пути в кнайпу. А сосед и его кореш поедут в конце. Вот таким торжественным кортежом и заявятся на своей улице на зависть местных и приезжих жильцов: знай, мол, наших аусзидлеров из Казахстана. Как только отъехали от аэропорта балагур-весельчак Оскар-меннонит, муж Зельмы, сидевший за рулем, начал травить анекдоты. Видно, он был мастак забавлять публику. И дочки Карла начали хохотать, едва он открыл рот. А он у него почти не закрывался.

— Знаете, отец, какие бывают немцы? Они делятся на уехавших, уезжающих и желающих уехать и думающих, что они не желают уезжать.

И первым рассмеялся. Но Карл в этой шутке юмора не уловил. Он не жаловал говорливых. Ему нравилось молчать и смотреть. Особенно в пути.

Но Оскар-пустоболт был настроен на другую волну.

— У немца-русака спрашивают: «Почему вы уехали в Германию?» «Надоели праздники». «Какие праздники?» «Колбасу достал — праздник. Туалетную бумагу — праздник».

— Ха-ха-ха, — залились сестры.

«Видно, анекдот с бородой, — рассеянно подумал Карл, вглядываясь в мелькавшую мимо окрестность. — Ныне у нас, по крайней мере, ни то, ни другое, кажется, не дефицит».

— А вот случай на таможне. Таможенник спрашивает у советского немца: «Почему ты уезжаешь? Что, нет работы или квартиры?» Немец отвечает: «И работа, и хороший дом с хозяйством». Таможенник: «Так что ж ты тогда уезжаешь, фашистская морда!» Немец: «Вот потому и уезжаю».

— Хи-хи-хи, — раздалось дружно на заднем сидении.

— Злые какие-то у тебя анекдоты, Оскар, — проронил Карл.

— Ну тогда, отец, из другой серии. Называется: «Их хабе цвай бабе».

— Хи-хи-хи...

— Ха-ха-ха...

— Почему у мусульман много жен? Потому что они хотят иметь жену красивую, умную, добрую и богатую.

И Оскар самодовольно загоготал.

«И что они такие веселые? Радуются моему приезду? Или веселье от безделья бьет через край?..»

Карл во все глаза любовался незнакомым ландшафтом за окном. В Европу пришла ранняя весна. По правую сторону дороги возвышалась временами сплошная железобетонная стена, отделяющая автобан от близлежащих городков и приглушающая шум от машин, слева тянулись лесочки с хилыми деревцами, зазеленевшие поля, ровные, ухоженные лужайки. Все казалось игрушечным, крошечным, вылизанным до каждого кустика. Дорога, без ухабинки и рытвинки, точно отполированная доска, разматывалась под колесами машин. Стрелка спидометра дрожала на отметке 160. Ма-

шины неслись-летели по обе стороны сплошным потоком. Оскар уверенно держа руль, продолжал выдавать анекдот за анекдотом. Дочки на заднем сидении захлебывались от смеха.

Карл молчал. На голубом небе низко метались дождевые облака. Так же метались и мысли Карла Деграфа. Он отметил про себя, что там, в Казахстане, и дождь, и земля пахли по-иному. Карл силился увидеть хотя бы один трактор на ровном, без единого комочка поле, но тщетно. До самого Линца он трактора так и не увидел. Не было и ворон и грачей, тусовавших на обочине. «Вот они, другие берега», — подумал Карл.

Глава тринадцатая

Ночью старик не мог уснуть. Он томился на балконе, смотрел в сторону гор, плотно укутанных серым мраком, обшаривал небо, пытаясь тщетно разглядеть хотя бы одну звезду. На западном склоне обычно мерцали два-три искусственных спутника, но сегодня и они исчезли.

Видно, и город охватила бессонница. Всюду мелькали огни, снизу, с аллеи и бульвара, доносились голоса гуляк и полуночников, сновали машины, перекликались клаксоны, хлопали входные двери у подъездов. Вдалеке, над крышами домов, тускло сияла корона гостиницы «Казахстан».

«Так что же получается? — назойливо думалось старику. — Выходит, невестка уже без утайки пошла по скользкой дорожке. Ай, стыд-то какой! Бедный Бахытжан! Неужели ни о чем не догадывается, ничего не видит? Вся семья на виду и вдруг такое! И как мне теперь быть? Делать вид, что ничего не знаю? Да разве обо мне речь? Каково же Арыстанчику? Ах, горе-то...»

Больше всего старик жалел внука. И самое скверное: он не знал, как и о чем с ним теперь говорить, какими словами утешить. Ведь ясно: то, что он вчера невзначай увидел в бассейне, будет преследовать его всю жизнь. Эта зарубка в памяти не разгладится никогда. Лаура — другое дело. Та наверняка обо всем давно догадывается. Может, потому и взвинченная постоянно? Может, потому и фыркает на мать по всякому поводу? Черт знает что!..

Старик вернулся в свою комнату, плюхнулся в кресло, включил торшер, принялся за газеты. Их накапливалось столько, что он не успевал их просматривать. Газет издавалось в городе уйма, и все многостраничные, пухлые, и во всех непременно встречалось что-то любопытное. Раньше, еще в советское время, была благодать: развернешь, бывало, газеты, на первой странице, скользнешь взглядом по обрыдлым указам и постановлениям, так же пробежишься вскользь по некрологам на последней полосе и спокойно отбрасываешь. А теперь нет: обязательно за что-нибудь изрядное зацепишься.

Старик развернул издание, издавно знакомое. В нем обстоятельно, замусоленными словами писали о небывалых успехах экономики страны, о всемирном признании и славе Казахстана, о вождях Елбасы, о наградах государственным деятелям, о всеобщем ликовании трудящихся в канун грядущих перемен, расписанных на два-три десятилетия вперед, о добыче нефти и газа и сногсшибательных инвестициях, о росте пенсии и зарплаты.

«Апырай, как они видят то, что никто не видит? Или это я один ничего не вижу? Сказано ведь: слепой и верблюда не увидит. Неужто я слеп? И как им только не надоедает долдонить изо дня в день одно и тоже, бить в даулпазы и проводить за тоем той задуривая всем головы?!»

В других газетах писали сплошь о темных делишках, о коррупционных уфитах-суфитах, о ловкачах и юркачах, о финансовых махинациях, о повальном бесчинстве и беспреследовании оппозиции, о пределе, о чиновничьем разгуле, о тотальном бесправии, и писали так хлестко, так кричаще, так надсадно, с таким надрывом, что казалось, вот-вот обрушится небо и настанет конец света. И опять подумалось поневоле: «Как же так? Неужели все так ужасно? Неужели нигде ни в чем просвета нету? Разве странно правят одни прохиндеи и лиходеи? Так ведь не бывает! Жизнь не состоит из одних пакостей. И откуда такая покорность, такая безнадега? Как же жить дальше?! Не-ет... тут что-то не так!»

Старик шуршал газетами, скользил взглядом по строчкам, а перед глазами, как наваждение, стояла одна и та же картина: резвится белая упругая рыбка в бирюзовой воде,

а за ней, вспенивая волны, гонится полосатый, крупный окунь, встопорщив грозно плавники.

Старик отшвыривал газеты и вновь выходил на балкон, кутаясь в верблюжий чапан. Ай, позор! Ай, стыд!.. Кто бы мог подумать?

Взвизгнув тормозами, остановилось у подъезда такси и из него, не спеша выбралась Лаура. Постояла, оглянулась, как бы соображая, где находится. Потом увидела на балконе одинокую фигуру Мамбета Казиевича, сделала ручкой, дурашливо хохотнула и, пошатываясь, направилась к подъезду. Вид ее был помятый. Длинный красный шарф болтался сбоку до земли. С другого плеча небрежно свисала сумочка на ремешке. Короткая шубка распахнута. Космы выбились из-под берета. Старик догадался: из ночного клуба возвращается пташка на хорошем взводе. Часы показывали четвертый час ночи.

Старик, вздохнув, вернулся в комнату, включил транзистор, поймал «голоса». По одному каналу упоенно рассказывали о взрывах в Ираке, по другому — о пожарах и бесчинствах в Париже, по третьему — об очередном землетрясении в Пакистане, о наводнении в Румынии, о птичьем гриппе в азиатском регионе, о вылазках террористов, которым тоже почему-то неймется. Нет, поистине, мир сошел с ума. И люди ошалели, и природа взбунтовалась. Может, все это божья кара за неисчислимые человеческие прегрешения? Или в самом деле приближается ақыр заман — светопреставление? Куда все идет? Скверно начался XXI-й век, по всему, скверно и кончит.

В дверь постучали, показалась взлохмаченная Лаура в небрежно накинутом халатике, в тапочках на босу ногу. От нее шел густой дух табака, шампанского, шашлыка с острой приправой, разгоряченного женского тела.

— Х-хеллоу, Мамбет Казиевич... как... как настрой?

— Так себе... не спится.

— И мне не спится... Недоперебрала, как выражается один тип... Поговорим?.. Или выпьем?

Лаура по-свойски подмигнула старику, хохотнула, тяжело опустилась на край кровати, машинально натянула подол халатика на оголившиеся смуглые ноги.

— О чем говорить? Поздно уже... Или рано?.. Чай я давно попил.

— Ф-фи, чай... Какой скучный бабай! И дом будто вымер. И призраков нет.

Старик искоса смотрел на юнницу в изрядном подпитии. Надо же... красивая, в соку, а разболтанная. Или притворяется? Или от скуки умирает? Неужели и она пойдет по стопам матери?

— Мамбет Казиевич... вы вот жизнь прожили. Скажите, почему на свете так много подлецов и подонков?

— А разве их много?

— Пруд пруди! На каждом шагу. И все пытаются тебя охмурить. С виду шибзик, дрянь, вошь, а на уме одна пакость. Всем сексу подавай, козлы вонючие!

Старик поник головой. Он не был склонен поддерживать пьяный бред девицы.

— Чего смутились?.. Э-э.. да ну вас к фигам! Скажите, где были днем? Звонила раза три, никто трубку не берет.

— На дачу ездили.

— Да-а-а?! — изумилась Лаура и насторожилась. — С кем? Почему?

— С Арыстаном. Просто так. Воздухом подышать.

— Да-а-а?! — Лаура вскинула бровки, прищурилась, трезвея. — Ин-те-рес-нооо... Что-то проясняется...

И вдруг замолкла, нервно заерзала.

— Случайно, этот... ну, Серж... не там был?

— Кто? — опешил старик.

— Кто, кто! Конь в пальто!.. Хахаль этот хренов. Серж!

Старик замялся.

— Не видел никакого Сержа. Аслана видел...

— Я не об Аслане спрашиваю!.. — отрезала Лаура. — А... а... мадам нашу тоже не видели?

— Кого? — совсем растерялся старик.

— Маму!

— Н... не видел.

В глазах Лауры вспыхнули зеленые искорки. Пьяная одурь вмиг развеялась. Девица вскочила, запахнула халат, принялась ходить взад-вперед от порога до балконной двери, шлепая отопками.

— Ин-те-рес-нооо! Ох, интересно! Подлец! Скотина!

В голосе ее клокотали месть и злоба.

— Ладно, Мамбет Казиевич. Бай-бай! Я все поняла.

— Что поняла?

— Что надо, то и поняла... Снотворного у вас нет?

— Сроду не пользовался.

— Жаль... Боюсь, не усну. Слишком возбуждена.

Лаура тихо прикрыла за собой дверь.

Старик озадаченно задумался.

Глава четырнадцатая

Пенсионеры-вольнодумцы, облюбовавшие скверик у памятника Чокану, с некоторых пор обратили внимание на слегка согбенную фигуру явно аульного старика, одиноко и отрешенно бродившего за железной ажурной оградой импозантного элитного дома. В белом мешковатом костюме, с орденской планкой на груди, в старомодной соломенной шляпе, в спортивных кедах, в темных очках он бродил, чуть припадая на одну ногу, по тропинке вдоль ограды, пристально вглядываясь в прохожих по аллее. В одной руке он держал витиеватую трость с медным набалдашником в форме волчьей головы, правую руку в полусогнутом виде бережно прижимал к боку.

Чувствовалось, что старик здесь недавно, еще не освоился на новом месте и, казалось, тщетно высматривал в бредущих мимо знакомого. Ему, по всему, было неуютно и тоскливо за железным забором. Он чертил круг за кругом, все сильнее опираясь на трость, часто останавливался, отдыхал, прислонившись к ограде, прислушивался к обрывкам разговоров городских сверстников, ходивших гурьбой по аллее или беседовавших на ближайших скамейках.

— Е-е... откуда этот старик взялся? Что-то раньше не видать было.

— Видно, отец богача, коль в элитном доме обитает...

— Похоже из аула приехал. Видишь, всех чурается.

— А сын или дочь за ограду не пускают. Может, и сам робеет.

— Вот и ходит, как арестант.

— Бишара, бишара...

— Ну, какой же бишара, если в таком дворце живет?!

— Не нам чета. Пенсия, видать, его не волнует.

— Пенсия, может, и не волнует, а в глазах — тоска и растерянность.

— Какая тоска? Одет, обут, сыт, горя не знает.

— Насчет горя — еще неизвестно. Чужая душа — потемки.

И так продолжалось каждый день. Группа стариков собиралась дважды в одно и то же время, до обеда и ближе к вечеру, вела нескончаемые разговоры, обменивалась газетами, последними новостями, почерпнутыми из радийных и телевизионных передач, обсуждала городские сплетни и слухи, перемывала косточки государственным и политическим деятелям, решала, кого куда в ближайшее время задвинут, кому вручат орден, а кого отправят, куда подальше, выражалась хлестко, без утайки и оглядки, облегчала душу и ровно через час расходилась, будто у всех враз находились неотложные дела. Двое или трое из группы явно плохо слышали, без конца и невпопад переспрашивали, о чем речь, и потому все колготали во все горло, на всю округу, невольно обращая внимание случайных прохожих и детей, игравших с нянями под елями. А одинокий старик за оградой из элитного дома жадно ловил их слова и фразы, о каждом из завсегдатаев составлял примерное мнение и представлял, кто из них есть кто. Судя по всему, были они люди знатные, занимали в свое время солидные посты, каждый знал себе цену, был крупным специалистом в своей области, однако, старость сравняла их, никто ничем особенно не выделялся, держались между собой просто и дружелюбно, называя друг друга уважительно на «ака» и «еке». Старику за оградой очень хотелось присоединиться к ним, посильно участвовать в их беседе.

То, о чем они так живо беседовали, его тоже не оставляло равнодушным.

Как-то раз, когда прогуливавшаяся вдоль арыка группа поравнялась со стариком за оградой, тот учтиво поздоровался:

— Ассалаумагалейкум!

— Алейкум салем, — отозвался кто-то из группы. — Да будет благополучен ваш дом, аксакал. Чего ж вы прячетесь за оградой? Айдате к нам. Поговорим, потолкуем.

— Спасибо. Вижу, у вас своя стая...

— Ну, и вы не чужак... Примем в свои ряды. С испытательным сроком, понятно.

— Из аула, почтенный?

— Да... Сын недавно к себе забрал.

— Барекельде. Сын в этом доме живет?

— Да, на третьем этаже. Я вас каждый день вижу из окна.

— Выходит, сын — шишкарь?

Старик пожал плечом, улыбнулся, польщенный. Но при этом растерянно заозирался вокруг, будто с опаской поджидая кого-то.

Действительно, неожиданно подкатила к ограде «Тойота», из нее выпорхнула молодая дама в бежевом брючном костюме, в темных очках, покосилась на группу пожилых завсегдатаев аллеи и, упруго поднимаясь по крутым гранитным ступенькам, произнесла с нескрываемым укором:

— Мамбет Казиевич! Ну, что это еще такое?!

Старик за оградой мигом стушевался, заметнее ссутулился, сник и, сказав: «Извините, азаматы», послушно засеменил к подъезду.

— Видели? — переглянулись завсегдатаи аллеи — Беднягой помыкают, как собачкой. А вы говорите «Элитный дом», «ни забот, ни горя»...

— Апырай, неужели дочка? Я ее, кажется, видел по телевизору.

— Не-ет... Скорее, сноха.

— Это надо же! « Мамбет Казиевич!»

— Выходит, не по душе ей, что старик общается с такой шантрапой, как мы.

— Не позавидуешь Мамбету.

— Потому и томится за железным забором.

Однако через неделю-другую старик из элитного дома осмелел и присоединился к членам Клуба молодых дарований, как для смеха называли себя порой старожилы-чокановцы.

— Ну, вот... нашего полку прибыло.

Мамбет Казиевич охотно влился в круг завсегдатаев, пристроился сбоку, помахивая дорогой тростью, и поначалу чувствовал себя скованно, не зная, как попасть в тон их разговора. Завсегдатаи аллеи Чокана представились, и Мамбет Казиевич понял, что среди них случайных

встречных-поперечных нет, каждый что-то из себя значил и занимал в свое время заметное место в обществе. Вот тихий, поразительно скромный, незаметный старичок, оказалось, работал некогда аж в ЦК компартии Казахстана, в каком-то важном отделе и, надо полагать, не просто бумажки перебирал; другой шумный, глуховатый, кряжистый, крутонравый, выяснилось, прошел Крым и Рим, испытал все дрязги послевоенного времени и всю жизнь вращался в среде журналистов, писателей, артистов, художников, знавал и Хаджи-Мукана, и Джамбула, и Кенена, и всех знаменитостей казахского искусства, давно перекочевавших в мир иной; рослый, поджарый, с манерной походкой азамат, говоривший по-казахски сочно и образно, прибегая к пословицам, поговоркам, шутливым речениям, по всякому поводу цитировавший древних акынов и жырау, назвал себя рядовым скотоводом, а на деле оказался доктором наук, профессором и поныне работавшим в каком-то институте на полставки; а вот этот всегда аккуратный, подтянутый, явно помоложе других, держался степенно, солидно, выяснилось, что он карьерный дипломат, долгие годы работал в МИДе Союза, Казахстана и за рубежом; еще один, светлолицый, длинноносый, сильно припадавший на правую ногу, вообще оказался другого рода-племени, хотя и ловко изъяснялся по-казахски, и Мамбет Казиевич вспомнил, что не однажды слушал его по телевизору и читал по газетам; особенно любопытным показался некий Шаке, который держался немного особняком, уверенно рассуждал о властьпредержащих и с таким напором говорил о предстоящих политических реформах, так ловко рассовывал министров и служак из президентского окружения, что впору было подумать, что именно он ведает кадровой политикой страны; находились среди завсегдатаев «Чоканки» и трое русских: один длинноволосый, вежливый и улыбчивый, приятный в обхождении, внешне опрятный и собранный, мечтательный и погруженный в свои раздумья, был народным артистом, профессором консерватории, избегал досужих разговоров о политике, зато оживлялся, когда речь заходила об искусстве, музыке и женщинах; второй, явно болезненный, худой, регулярно слушал все русскоязычные «голоса» и был осведомлен обо всем на свете, много читал

и многословно, велеречиво толковал о политических событиях во всем мире, делая при этом экскурсы в далекое прошлое, когда-то он работал замминистром рыбной промышленности, и когда рассказывал о рыбах — можно было его слушать бесконечно; третий русский, уже в больших летах, был в свое время крупным партийным и советским работником, большим хозяйственником, говорил мало, но веско, мнения свои не навязывал, а воспоминания его уходили во времена сталинских наркомов, к Косыгину и Кунаеву. В числе активных членов Чокановского клуба находился еще один импульсивный, темпераментный технарь, хорошо, впрочем, знавший русскую классику, не жаловавший казахских национал-патриотов, которых к месту — не к месту разоблачал в хвост и гриву, неизменно ратуя за русскую культуру и глобализацию; он всегда ходил с ворохом оппозиционных газет под мышкой, переживал разлад в общественном сознании, но при этом оптимистично оправдывал власть, утверждая, что иначе поступать она просто не может, ибо вынуждена функционировать в заданном режиме. Было еще несколько почтенных «ака» и «еке», некоторые показывались лишь изредка, но все всё знали, судили-рядили обо всем и обо всех уверенно, иногда пускались в резкие споры и даже в стычки, выказывая былой норов, когда еще восседали в значительных креслах, яростно отстаивали свои замшелые воззрения, ибо некоторые ходили не просто в «бывших», но еще и работали, преподавали, консультировали, вращались в разных кругах — от светских до обывательских и прекрасно видели, что и как происходит в их довольно взбаламученное время, когда вдруг повсеместно низменные инстинкты, как грязная пена, всплывали наверх, ржой изъедая накопленные веками нравственные устои. Слушать их было интересно, любопытно и поучительно. Мамбет Казиевич не без удовольствия отмечал про себя, что многие их рассуждения созвучны его мыслям, что обо многом и он имеет примерно такое же представление, но не может выразить его так четко, лапидарно и уверенно, как его новые собеседники, искушенные в повседневных словесных прениях. Даже хворости были с ними примерно одинаковы — полный старческий набор: гипертония, ишемия, пиелонефрит, ате-

росклероз, быстрая утомляемость, одышка при ходьбе и прочие возрастные болячки. Но о хворостях своих члены Клуба Чокана предпочитали не распространяться, смирились, как с чем-то неизбежным, храбрились, бодрились, подначивая друг друга, случалось, заглядывали в ближайшую «Рюмочную», чтобы тяпнуть, дербалызнуть хотя бы граммов тридцать-пятьдесят благородного «акмаганбета». А в нескончаемых и неторопливых разговорах их занимали, в основном, политические, экономические, социальные проблемы в обществе, при этом, прожив жизнь, они видели не только то, о чем денно и нощно твердила официальная пропаганда и что, конечно же, имело место, но и тот очевидный и всеместный разлад, что происходил в сознании, в душах, в общественном укладе, в мире тотальной коррупции, лжи и распущенности, во времена необузданного шахерамахера и большого хапка. Они с упоением перебирали косточки живым и усопшим государственным деятелям, разным пройдохам, пронырам и прощелыгам, авантюристам и юркачам, рыцарям беспардонной демагогии, ловкачам, стригущим шерсть с куриных яиц, ненасытным хапугам в высоких креслах, высокопоставленным безнравственным торгашам, самозабвенно продававшим все, все, все, чем Творец на века облагодетельствовал исконных степняков, все, что было создано впрок на земле и под землей, все, что предки, щедро проливая кровь, отстояли в сокрушительных схватках с супостатами ради мира и благоденствия грядущих потомков.

Вольные рассуждения завсегдатаев аллеи Чокана были в большей степени понятны, доступны и созвучны сокровенным думам Мамбета Казиевича, о которых, однако, он привык не распространяться. В ауле не было принято рассуждать вслух. Там предпочитали хлопать ушами, кивать головой и держать язык за зубами. Говорили лишь то, что положено. А что положено, определяли бастыки — председатель аулсовета, повторявший мнение районного акима, а тот в свою очередь озвучивал лишь мысли акима области и его свиты. Те же носы держали по ветру, чутко улавливая дуновения сверху. Говорить то, что думаешь, считалось непозволительной роскошью, а то и крамолой. Если кто-то из аулчан случайно ронял: «По-моему, наш бастык немного

не того», как другой, оглядываясь, останавливал вольнодумца: «Ойбай, ты что? Оппозиционером, что ли, стал?! Смотри, бала, хоть мы и добились свободы, однако лучше хвост поджать. Мало ли что?..» И то верно: с аульного муталлима спрос особый. Ему след изрекать только правильные мысли...

Еще там, в ауле, читая газеты, сидя прилежно у транзистора, вслушиваясь в обличительные бормотания «голосов» (нередко и на казахском языке) и вглядываясь в то, что происходило в ауле, в округе, районе и области, радуясь, как все, вожделенной независимости, Мамбет Казиевич, однако, смутно догадывался о том, что существует все же заметный разлад между тем, что болботали господа новой жизни где-то там, в недоступных кругах и что творилось на самом деле на местах, в низах, где, как всегда, копошился смирный и измочаленный люд, который по неистребимой вековой привычке помалкивал, терпел, сносил все обиды и несправедливости, все бедствия и лишения, пахал, обихаживал скот, латал ветхое жилище, растил детей, уповал на Всевышнего, на извечный порядок скромного бытия, довольствуясь самым малым, не роптал, не возмущался ни судьбой, ни начальством, а покорно делал вид, что верит, искренне верит в то, что внушают ему день-деньской, из года в год бывшие партийные дельцы, странным образом перекрасившиеся в народолюбцев и рьяных радетелей священной веры, заповеданной славными предками. Слишком очевидны были ложь и фарисейство, творимые повсюду. Трудно верилось в многословные прожекты, в ненаучную фантастику, помпезные планы, амбициозные посулы, рассчитанные на долгие десятилетия, на то, что к тому далекому сроку либо хан умрет, либо ишак сдохнет. Народ-то хорошо помнил, как подобными же сказками про коммунистический рай долго и усердно потчевали еще фанатичные болшайбеки и айналайн советская власть, теперь этот же аляуляй заладили ухватистые новые благодетели, в одночасье ограбившие страну и пожертвовавшие самым наглым образом соплеменниками и соотечественниками ради своих шкурных, семейных и клановых интересов. Старая-престарая истина о том, что, де, «пусть говорит байский сынок, хоть и рот его кривой», вновь стало правилом

лживого бытия. Вновь кредо властьпредержащих становилась нехитрая мудрость, гласящая: «Чем сорок дней быть атаном — холощенным рабочим верблюдом, лучше быть один день бурой — самцом-производителем и побуйствовать всласть». Вот и буйствуют, пляшут ламбаду, хапают, хватают, пихают в себя в три горла, снабжают дерьмом богатства потомков до седьмого колена, терзают бедную страну, как хищник добычу, все, все кому не лень, кто вовремя подсуетился и изловчился, подкрался, пристроился к какой-нибудь — большой или малой — государственной кормушке. Казалось, всех охватило повсеместное безумство, обрушилось пандемия наживы, начался пир Вальтазара, сплошной той-думан с пылью до небес. Такой колоброд Степь доселе не знала. Что хочу, то и ворочу — стало девизом ретивых заступников и благодетелей народа. А то как же... чай, не зря боролись за независимость и суверенность. Кто смел, тот и успел. А кто опоздал — пусть пеняет на себя. Рынок не для растяп и пентюхов. Выживает сильнейший. Пора это зарубить на носу.

Обо всем этом назойливо думалось бессонными ночами аульному мугаллиму, бывшему участнику великой войны, искренне верившему в высокие идеалы, вдолбленные в сознание сызмальства разными вождями, и видевшему, как все вдруг в одночасье разладилось, расползлось по швам, точно ветхий, сопревший тулуп, и все побрели по кривым путям-дорожкам. Он только не в силах был провидеть, когда и как эта свистопляска, инициированная лже-пророками и умниками с повадками хапуги, кончится и что последует за всей этой вакханалией. Да, кашу сумели заварить крутую, но кто будет ее расхлебывать? Совершенно очевидно, что не кашевары. Они наверняка умоют руки и вовремя слиняют. А народ надорвался, слишком долго его насиловали и ему не под силу вынести все эти нескончаемые реформы, замешанные на откровенной лжи и подлости. «Видно, я многого не понимаю. Не представляю, куда двинулось кочевье времени. Одно ясно: жизнь стала другой. Неспроста предки утверждали, что в пятьдесят лет обновляется земля. И народ другой. И молодежь манят иные цели», — размышлял и успокаивал себя Мамбет Казиевич, отмахиваясь от изнуряющих мыслей. И теперь здесь, в городе, находясь

среди своих новых собеседников, он с радостью и удивлением замечал, что обо всем том, что его постоянно волновало, думали примерно так же, но более определенно и резко, и его искушенные во всех житейских делах городские замандасы.

— Ну, братья-агаины, выкладывайте новости-хабары, — затевал беседу глуховатый, язвительный Ес-ака. — Только свежие, свежие! То, что пишут в газетах, говорят по радио и телевидению, оставьте. Только свежие!

— Откуда их возьмем? Свежие хабары разве что в карманах и за пазухой нашего Шаке.

— А он молчит, как партизан.

— Что «Свобода» говорит, о чем «Азаттык» толкует?

— Е-е... у «Азаттык» жидкая пошла похлебка. Видно, у тамошних жигитов ничего нового в коржуне нет. Все старое полощут. То о гражданском браке, то о необходимости многоженства для казахов треплют. А тут еще и по-русски болботать надумали. Растянули свои передачи на два часа. Кто их будет слушать?

— А «Казправда» что пишет?

— О, алла, о чем она может писать? О благоденствии, о небывалом расцвете, о достижениях. Эта газета, как всегда, пишет о том, чего в жизни нет.

— Ну, да... «Осел осла усердно чешет, дурак возносит дурака».

— Шумим, шумим об успехах, а я что-то их не вижу. Как считал копейки, так и считаю.

— Плохое зрение, значит. А незрячий, как известно, и верблюда не замечает.

— Я одного не понимаю, Кареке. Денег у государства навалом. Нефть льется рекой. Газ рвется в небеса. О цветных металлах и речи нет. А почему пенсии не добавляют?

— Добавили же!

— А толку-то? Государство копейку добавит, базар рубль стянет.

— Е-е... иначе нельзя. Иначе — перегрев в экономике. Инфляция. Дефолт.

— И вообще нельзя, чтобы всем жилось хорошо. Всем хорошо будет, так люди работать перестанут. И Бога забудут, не только начальника.

— Зато тоев, шоу каждый божий день. И деньги швыряют на ветер.

— Ну, это смотря кто и чьи деньги. Вот пишут, один богатей-дуралей, самодур, каких свет не видывал, на именинах сына-малолетки пир закатил — чертям тошно. Девять иномарок на призы выставил, сто юрт поставил, всех акимов в округе созвал, тенге с вертолета на потеху зевак разбрасывал. Знай, мол, наших! А ты о пенсии говоришь...

— Каждая собака бесится по-своему.

— Почему таких к порядку не призывают?

— Кто? Кого?

— Жулик жулика, вор — вора? Смешно!

— Но не все же жулики?

— Не все! Но честных и порядочных все меньше. Ибо время, нравы, система, порядки жуликоватые. Герой нашего времени стал жулик, ворюга, хапуга, рвач, юркач, ловкач, обманщик. Если время — хитрый лис, будь гончей и настигни его. Не я это сказал — наши предки.

— Подлое время рождает подлецов и авантюристов.

— Это не время подлое, а режим, в котором живешь. Хан насаждает ханизм.

— И раньше так было. Еще Чехов жаловался: «В наш век лжет всё».

Кружатся-кружатся пенсионеры-старики вокруг памятника Чокану, полощут слухи-новости, почерпанные из газет и радио, перемалывают то, что узрели по телевизору, осмысливают на основе личного житейского опыта, просеивают через сито своего ума-разумения, вытряхивают торбу накопленных представлений, выбивают пыль былых знаний, сопоставляют, анализируют, прикидывают, ворчат, сетуют, изобличают, на ощупь добираются до истины, обращаются к прошлому, пытаются вглядываться в будущее, мусолят диковинные, недоступные их пониманию явления новой жизни, удивляются, поражаются, возмущаются, а потом по-стариковски сами себя утешают, призывают к разуму и терпению: «Ай, тауба, тауба! Не будем гневить Аллаха, не будем роптать и жаловаться. Благодарение тому, что есть. Слава Всевышнему, всемилосердному — не голодаем, одеты, обуты, повседневный шай-пай есть, и дети вроде как при деле, никто не пошел кривой дорожкой, ша-

стают, копошатся, шебуршат по мере сил и способностей, добывают на свой прокорм какую-никакую «напаку́», не висят на родительской шее, сами чего-то ищут-рыщут, иногда находят, не бомжуют, не кайфуют, пагубным соблазнам не поддаются, вон и внуки, как ковыль в степи, подрослиподтянулись. А кое-кто и правнуками обзавелись, открыв себе прямой путь в рай... тауба, тауба... над нами раскинулось синее небо, мирное, благодатное... живем в согласии... правители наши трудятся в поте лица во имя всеобщего благоденствия... вон посмотри на соседей, сплошной раздрай, разлад, распад, бишаринское прозябание... ссорятся, дерутся, отношения выясняют, злобствуют, на чужое зарятся... а у нас, құдайга шукір, мир, лад, курултай, ассамблея, той-думан, радость-ликование, ну, конечно, может, и не совсем благодать, понятно, жаворонок еще не свил гнезда в шерсти барана, ясно, нехватки-неполадки кое-где, тамсям, аздап-маздап имеют место, не без того, страна во-о-он какая громадная, ее в одночасье не обустроишь, будь наш правитель хоть семи пядей во лбу... да, и бедных многовато, и нищета плодится, кто-то прыгает от сытости, с жира бесится, кто-то дрожит от холода, зубами клацает, но каждый как может, на свой салтык изощряется, приспосабливается, приноравливается, добивается посильно своей божьей доли... Известно, ход кочевья выправится в пути, постепенно, понемногу все наладится, нельзя же не замечать, как возводятся новые города, как преобразовываются старые, как оживились торговля, быт, как улицы заполнили дорогие машины, от которых прямо-таки спасу не стало... всюду заторы, «пробки», по тротуару не пройдешь, у некоторых нуровишей уже по две-три иномарки, об остальном и говорить нечего, лет десять назад не каждый мог похвастаться холодильником, телевизором... А квартир у них тоже по две-три, в аренду сдают, доллары качают, виллы, коттеджи, дворцы строят... е-е-е... тауба, тауба, не надо рот обтирать сухой травой, не след все время прибедняться, бишару из себя разыгрывать, ныть-нудить... шукир-шукир... есть, есть добрые перемены, да, да, потери тоже есть... люди стали, пожалуй, черствее, расчетливей, подозрительней, недоверчивей, хитрей, забыли про иман, про великодушие, милосердие, взаимовыручку, про совесть, стыд, про обал-

сауап... неприветливые, хмурые, завистливые, злорадствующие, жадные, ненасытные, загребущие, склонные к пакостям, подлостям, интригам... и новое поколение подрастает странное, непонятное.... Настороженное, нечитающее, себе на уме, с дурными наклонностями, находящее усладу в насилии, убийстве, садизме, извращенном сексе, порочной пагубе, бандитской романтике, примитиве, вскормленное ложью, обманом, демагогией, взятками и круговой порукой, низменными клановыми, корпоративными отношениями, показухой, фрондой, наплевательством на доброту, сердечность, такт, деликатность, природную нравственность. Е-е-е... что тут говорить, разлад в жизни, в семье, в обществе, в душе, в сердце, в думах, в поступках чувствуется на каждом шагу, такой вдруг наступил заман, о котором предупреждали еще два века тому назад мудрые акыны и жырау. И все же не стоит отчаиваться... Тауба, тауба! Слава создателю, что дожили до этих дней, что вступили в новый век и сподобились своими глазами видеть, куда двинулось течение жизни и может приоткрыть завесу грядущего, хотя оно, как говорил Абай, окутано туманом. Тауба, тауба...»

И эта общая тональность всех разговоров и суждений новых знакомцев была созвучна нынешнему душевному состоянию Мамбета Казиевича. Он разделял эти мысли и настрой. Сознавал, что жизнь усложнилась, однозначная мерка к ней не подходит, слишком много в ней противоречий, время уплотнилось и еще более ускорилось, как никогда, все в ней причудливо сплелось-переплелось, возвышенное и низменное, прекрасное и уродливое, и нет таких весов, которые бы точно определили, в чем обретения, а где потери, и, видно, им, старикам, упоенно рассуждающим о современном житье-бытье, просто уже не под силу приноравливаться к новым веяниям, а потому и не стоит ворчать, сетовать, а лучшее и мудрое, что отпущено на их век, — постараться понять, осознать, осмыслить, постичь то, что происходит. В конце концов у каждого поколения свой жребий, своя доля, своя удача, свое назначение, отпущенные Судьбой, и с этой вековой мудростью, необходимо, пожалуй, смириться, а не лезть в чью-то душу и навязывать свои отжившие представления.

Вслушиваясь в разговоры своих новых собеседников, Мамбет Казиевич вспоминал родной аул у озера с одинокой

турангой, аулчан, с которыми рос и жил целый век, их скудное житье, повседневные докучливые заботы, вечную борьбу за выживание, заброшенные поля, покинутые хибары, тусклое прозябание, бесконечные нелады и несуразности, тоскливое безлюдье, сплошную запущенность и безверье, поселившееся в души земляков, сопоставлял ту зыбкую, иллюзорную жизнь с нынешним своим житьем у удачливого, обеспеченного сына в роскошной квартире в элитном доме, перебирал в обострившейся памяти все впечатления последнего года, свои походы в школу внука, в казахский драмтеатр, где пересмотрел весь репертуар, в музеи, о которых мечталось в ауле, в библиотеки, магазины, базары, пытаясь вникнуть в колоброд городской суеты, в водоворот событий, происходящих в стране, и ловил себя постоянно на том, что трудно, а, может, и немыслимо четко разобраться во всем, что творится, ибо все это плохо укладывалось в сознании пожилого человека, отягощенного грузом памяти, родившегося еще до коллективизации, в том далеком патриархальном укладе, пережившего столько общественно-социальных потрясений двадцатого века и теперь по воле Всевышнего вступившего в новое столетие, в неведомую жизнь, в незнакомую обстановку все убыстряющегося бытия. Мамбет Казиевич часто посещал разные мероприятия, бесчисленные презентации, мудреные конференции, где держали пространные речи именитые ученые, философы, писатели, историки, общественные деятели, мелькавшие также постоянно на экранах телевизора, регулярно наведывался в Дом ученых, благо он находился рядом с элитным домом, заглядывал в литературный салон «Номад», где тусовались юнцы с литературными амбициями, и, стараясь вникнуть в то, что они так убедительно вещали, все чаще думал о том, что и эти высоколобые умники находятся на распутии, что и им, несмотря на витиеватое многознайство и заемные модные словечки, которыми они самовлюбленно сыпали кстати и некстати, многое недоступно, неясно, а неминуемая глобализация, надвигавшаяся над всем миром, как неотвратимое цунами, их и манила, и страшила, ибо подрывала национальные корни, от которых спешили отречься разве одни законченные манкурты. Голова шла кругом от всех этих дум и впечатлений. И старику чудилось,

что жить становилось все труднее, все неуютнее в этом беспокойном, вздыбленном времени, несмотря на кажущееся благополучие и благоденствие. Может, лучше вообще ни о чем не думать, ничего не видеть и не слышать? Жить в своей скорлупе, отшельником, перетирая полуистлевшие воспоминания? Жить как живется, плыть по течению, ни на что не уповать, или уповать лишь на то, куда кривая вывезет. Будь что будет... все равно... ты ведь всего лишь песчинка в мироздании, к тому же песня твоя спета, осталось лишь подводить итоги, которые, кроме тебя, никому не нужны... было прахом — будет прахом. Да, все это так, завершается круг твоей жизни, но разлад в душе тяготил, удручал, томил, изнурял. Иногда старик твердил себе: нет что-то не так, не так. Все или, точнее, многое, что ныне происходит на его глазах, плохо согласуется с трезвым разумом, с совестью, с иманом, с нравственностью, все кажется временным, показушным, ложным, зыбким. Вселенская одурь добром не кончится. Все равно, рано или поздно, надо выбираться на путь истины, установленный и проторенный высшим порядком. Потом думалось: все так, так, так. Хаос, смятение неотвратимы, неизбежны перед вожделенной гармонией в человеческой душе и обществе. Все еще само собой уладится, утрясется, обретет свой желанный остов, смысл. И все спорное, сомнительное, подозрительное, несуразное, безумие и беспредел, охватившие общество, страну, людей и правителей, в конце концов придут к нечто разумному, определенному и целесообразному. Хаос, смута не могут тянуться вечно. Накипь, пена, все наносное и показушное, ложное, ненастоящее со временем схлынут. Ясно, что это произойдет нескоро. Скорей всего, понадобится смена двух-трех поколений, ибо нынешнее юное поколение, судя по всему, сбито с толку, с панталыку, развращено ложными идеалами, сомнительными ценностями, пагубными ориентирами, оно, можно сказать, загублено, а чтобы нравственно очиститься, облагородиться, опомниться, вытравить все наносное последующим поколениям, очевидно, нужны время, терпение, усилие, высокие цели и чистые помыслы. Душе человеческой необходимо обновиться, преодолеть меркантильность, пошлость, жадность к дерьму, именуемому богатством, которое ныне его тяжело поразило.

— Скажите, Абеке, не пора ли поменять правительство, а? Боюсь, наша стабильность оборачивается банальным застоем.

— Застой в понимании наших властей и есть стабильность. А правительство поменять какой смысл? Ну, уберут Мыржыкбая и поставят Тыржыкбая. Много ли проку? Один Мыркымбай уходит, другой Мыркымбай приходит. Ну и что?

— Финансиста поставят на здравоохранение. Не отличающего пшеницу от овса объявят министром сельского хозяйства. Гинеколог станет дипломатом. Гольфист — спикером. И что получится?

— Получится шило на мыло.

— Вот-вот... от перестановок пешек ничего не меняется. Нужны системные, режимные, кардинальные перемены. А разве на них пойдут?

— Это что, революция?!

— Ну, что вы! У нас это невозможно и не нужно. Миром и согласием надо дорожить. Но и реформы необходимы. До поры до времени, может, автократия и удобна, и даже целесообразна. Но мы ведь все-таки декларируем демократию. А кому-то выгодно, чтобы ровным счетом ничего не менялось.

— И что будет?

— Будут бедные беднеть, богатеи — богатеть, император процветать, а народы умирать.

— Кто это сказал?

— Да кто-то из поэтов. Неказахских, конечно.

Рядом чикилял, волоча раненную на войне ногу, самый старый из завсегдатаев — профессор-эндокринолог Буке.

Он приближался к девяноста годам, совсем плохо слышал, но бодрился, изо всех сил чикилял за компанией, носил за пазухой кипу газет. В разговор встревал редко, переспрашивать стеснялся и часто на вопросы отвечал невпопад, растерянно и при этом совершенно некстати, на всякий случай, улыбался или даже похохатывал, демонстрируя глубокие морщины и складки от шеи до лысины.

— Буке, вы в какой партии состоите?

— А? Ха-ха-ха...

— Не ха-ха! Членом какой партии являетесь?

— Я, что ли?

— Ну! Что вы были в компартии — знаем. Что состояли в Партии народного единства — тоже знаем. Потом мы вас видели в Народном конгрессе. А теперь в какой партии?

— А-а... в «Отане»... Нет, нет, кажется, в «Асаре».

— Разве не в «Ак жоле»?

— В «Ак жоле» моя байбише.

— А дети?

— Кто — где. Один у Гани, другой — у Алтыншаш, третий — у коммунистов.

— Каких?

— А?

— У каких коммунистов? Большевиков или меньшевиков?

— У Абдильдина.

— Неплохо устроился, Буке! Где-нибудь да что-нибудь обломится. Так, что ли?

— За семейным дастарханом, небось, сплошная ругачка, коли все вы в разных партиях?

— Жо-ок, что вы! Как начальник вздумает, туда нас и записывают. Нам что? Серая собака, пегая или черная — барибир.

— То же и в нашем институте. Всех подряд — и студентов и преподавателей вначале записали в партию «Аул». Никто не возражал. Все мы ведь из аула вышли. Потом нагрянул какой-то важный хмырь, говорил, шумел, грозил, стращал, и мы все оптом вступили в партию «Отан». Никто не пикнул. Вдруг заехала криворотая молодуха в красной майке, сказала: «Если не запишетесь в партию «Асар», всех лишаю стипендии». Куда денешься? Все, как один, стали асаровцами.

— Ойпырмай, а! Кто бы подумал, что будет такая партия с нелепым названием «Асар». Для меня это звучит, как хапать.

— А «Отан» как звучит? Для русских что «отан», что «атан», что «аттан» — один черт.

— Ну «Отан» — понятно. Партия власти. Должна же быть у власти партия. Всегда, во все времена так было.

— А сколько у нас вообще партий?

— Чертова дюжина наберется. И еще будут. Даешь каждому пройдохе по партии!

— Любопытно, что почти все парные. Две коммунистические партии, две — «Ак жол», две — «зеленых». Видно, и у «Асар» образуется дублер — «Басар».

— Еще Абай сетовал: «Разделились на партии и посеяли разброд».

— Оно и происходит. А говорят: единство, стабильность, мир и согласие.

Мамбет Казиевич вспомнил: многопартийный ажиотаж докатился и до аулов вокруг озера с одинокой турангой. Слышал: и в районном центре из-за партийной принадлежности возник поначалу сыр-бор, творился раздрай. Приезжали шустрые агитаторы, собирали народ, объявляли программы, иных сопровождала концертная бригада, уверяли-убеждали: только их партия способна вывести Казахстан на дорогу благоденствия. Народ покорно внимал их речам и дружно голосовал «за». Потом в аул заворачивали представители других партий, и тоже такие же прыткие и велеречивые, и вещали примерно то же. И так пели: « Мой Казахстан — страна моя, земля моя, для тебя я песню спою, за тебя я голову сложу». Люди совсем сбились с толку. Кто в какой партии и на каком основании, с какой целью — не поймешь. Надеялись: мешками сахар, муку, рис завезут, по барашку раздарят или хотя бы по тысячу тенге. Но ничего этого не случилось. Роптали: «Эй, зачем мы в эту партию вступали? Апырай, наверное прогадали...» Потом докатился слух: «Никаких! Наш бастык Сәке (Таке, Маке, Хаке, Каке) вступил в «Отан». Значит, и нам туда дорога. Хватит шарахаться туда-сюда!» И все сразу встало на свои места, и все мигом успокоились. Кто осмелился возразить Сәке (Таке, Маке, Хаке, Каке)? Да и священное слово «Отан» обязывает.

Мамбет Казиевич от всего этого переполоха держался подальше, утверждая, что достаточно того, что он пробыл в рядах компартии добрых полвека. Зачем ему нынешние партии, которые больше похожи на корпоративные кружки? К тому же пенсионерам можно наверняка прожить оставшийся век и будучи беспартийными. Но представитель районного акимата, пухлощекий, гладенький молодец из молодых да ранних, вертких да юрких, урезонил его: «Как же так, почтенный Маке? Заслуженный человек, при-

знанный мугаллим, ветеран войны, видный азамат, разве вам к лицу отставать от кочевья времени. Нельзя, нельзя! И народ и начальство не поймут!» И Мамбет Казиевич, поразмыслив, сдался. В самом деле, не след ему в таком солидном возрасте, будучи отцом славного сына, чикилять на обочине жизни. И он записался в «Отан».

А очутившись в городе, осмотревшись, наслушавшись всяких кривотолков, опять засомневался: в правильную ли партию вступил и надо ли вообще вступать в какую-либо партию. Можно ведь прожить и просто честным, порядочным человеком. Вот если бы была, скажем, партия «Иман» — партия чести и совести, благочестия и добродетели, он бы, пожалуй, с радостью вступил в ее ряды. По его разумению, стране не хватало как раз приверженцев такой партии.

— Ну, и как, Маке, живется в элитном доме?

— Шукир.

— Просторно? Светло? Тепло?

— Шукир.

— Богато?

— Шукир.

— Этих элитных домов расплодилось в городе, как поганых грибов. «Элитстрой» лезет в каждую щель. Всюду вклинивает свои стекляшки — и никто ему не указ.

— А еще многие элитные дома пустуют.

— Потому что дороги. Никакой приезжий казах туда не сунется. Вот и ютятся на задворках города, в халупах-хижинах.

— С них «Элитстрою» никакого навару.

Да, о бесчинстве «Элитстроя» и газеты писали, и на улицах шумели-ворчали. Время от времени в разных местах центра города то и дело возникали локальные митинги, составлялись протоколы, жалобы, коллективные письма, обращения, подписанные знатными жильцами домов, на крохотную детскую площадку которых покушался поразбойничьи «Элитстрой», уродуя облик старого города и стесняя жизненное пространство. Но это был возглас вопиющего в пустыне. Знающие люди говорили: «Да хоть в ООН обращайтесь, хоть в Гаагский международный суд» и

при этом тыкали пальцем в потолок или в небо, таинственно шепча: «Анау!» — «Он сам!» Ну, понятно, если за всем этим стоит «Анау», то лучше помалкивать. Тут уж никто не указ. Против лома нет приема.

— Интересно, когда Астану достроят?

— А что?

— Да все средства, думаю, туда уходят, как в болото.

— О, не скоро. Планов громадье. К 2030 году город обернется сказкой в степи.

— Е-е... к тому времени, кто есть, а кого нет...

— Чепуха! Каких-то двадцать с хвостиком лет. А там — заживем!

— О, да! «Грядущее скрыто в тумане сплошном».

— «С надеждою ждущих глаз много кругом».

— Хорошо сказано! А дальше помните?

— «Пыль дней поднимая, проносятся годы,
Не знаю ни рода, ни вида ни в чем».

— Гениален Абай! Как верно: «Пыль дней поднимая, проносятся годы»... Так и наша жизнь. Ходим-бродим, лишь пыль дней поднимаем.

— А грядущее скрыто в тумане сплошном.

— Не только грядущее, а вся наша жизнь, если подумать, прошла точно в сплошном тумане.

Мамбет Казиевич прислушивался к разговорам новых знакомцев, кивал головой, поддакивал, тянул: «ия», «ия», но не осмеливался вставить свои реплики, опасаясь, что может проронить что-либо невпопад. Но в душе он соглашался с суждениями собеседников, радовался, что его затаенные мысли прозвучали в чужих устах. Вернувшись домой, сидя в одиночестве в своей комнате или на балконе, он перебирал, точно четки, все услышанное во время прогулок у памятника Чокану и предавался своим нескончаемым стариковским раздумьям. Одно тяготило: дома делиться своими душевными тревогами было не с кем. Сыну, как всегда, было некогда, снохе — не интересно, Лауру волновали другие проблемы, а Арыстан отмахивался:

— Мне бы ваши заботы, уважаемый Мамбет Казиевич...

Старик из элитного дома с каждым днем чувствовал себя все более одиноко.

Глава пятнадцатая

Что-то разладилось в семье сына, и Мамбет Казиевич это чувствовал и видел. Бахыт дома почти не бывал, будто избегал встречи с домочадцами. Все чаще мотался по областям, по ближнему зарубежью, подолгу застревал в Астане, выезжал с друзьями на охоту, участвовал в каких-то высоких переговорах, а когда появлялся, просиживал до глубокой ночи в своем кабинете, и Вильма относила к нему ужин, а возвращаясь на цыпочках, доверительно сообщала Мамбету Казиевичу, что сын его что-то не в духе, перебирает какие-то бумаги, ведет нескончаемые телефонные разговоры, из которых ничего понять невозможно.

Чем-то взбудоражена была и келин Зухра. Металась вечерами по комнатам, взвинченно отдавала служанкам распоряжения, искала повод для придирок, то и дело врывалась в кухню, хлопала дверцами шкафов и холодильников, ела на ходу, с шумом швыряя посуду в раковину, а Мамбета Казиевича в упор не замечала. Только, случалось, колюче спрашивала:

— Лаура была?

— Не видел сегодня, — кротко отвечал Мамбет Казиевич.

— И где она только шляется, негодница?! — вскипала Зухра и в ярости отшвыривала чашку с недопитым кофе.

Лаура тоже по нескольку дней не показывалась дома. Наведывалась, точно украдкой, днем, складывала в полосатую сумку какие-то вещички, забирала продукты из холодильника, мимоходом бросала опешившему старику:

— Что, Мамбет Казиевич, маман, небось, бушует?

— Да, немного раздражена, кажется.

— Пусть, — ухмылялась Лаура. — Ей это на пользу. Спросит — скажите, что ночую у подружек в общежитии. К сессии готовлюсь.

И опять загадочно хмыкала.

— Ладно. Так и передам.

Мамбет Казиевич отметил про себя, что Лаура явно похорошела, ходила мягко, по-кошачьи, играла ягодицами, изгибала тонкий стан, напряженно выставляла грудки, вскидывала брови, и глаза ее при этом туманились, жмурились.

«Ай, в эту девку, кажется, вселился шайтан», — поневоле подумалось старику.

И опять исчезала Лаура на день, на два. Уверенная. Раскованная. Загадочная.

Зухра-келин металась по опустевшим хоромам тигрицей. Осунулась. Поблекла. Злые лучики трепыхали в ее запавших и сузившихся глазах. Мамбет Казиевич поневоле сжимался при ее виде, точно был виноват перед снохой.

— Айналайн, что случилось? Неприятность? — спросил как-то участливо.

— Не ваше дело, почтенный, — отрезала келин.

— Ну, да... ну, да... Извини, — пробормотал сконфуженный свёкор.

В просторной богатой квартире в элитном доме старик почувствовал себя лишним. Один-одинешенек просиживал он целыми днями в своей комнате, шуршал газетами, навевавшими тоску и тревогу, слушал радио с осточертевшими «ым-ба, ым-ба» и «а-ляу-ляй» и постылый, скудоумный айтыс по телевизору, отдававший заурядным торгашеским духом. «Апырай, и айтыс уже в бизнес превратили!» Днем старик оставался с самим собой, ночи коротал в бесконечных думах-воспоминаниях. И от такого опустошающего душу одиночества можно было свихнуться.

— Оляжан, скажи, айналайн, что происходит в доме, как думаешь? — спросил как-то на кухне у пригорюнившейся домработницы.

— А ничего и не происходит, — ответила раздумчиво Ольга. — Радость ушла из дома...

— Астафиралла! — испугался старик. — О чем ты?

— Просто хозяйка не в настроении.

— И чего ей не хватает? Ведь все есть?

— Что «все»?

— Ну, работа, достаток, муж, дети...

— Все есть, да ничего нет, — загадочно ответила Ольга. И добавила многозначительно. — Любви не хватает

— Чего-чего?! — поразился старик.

— Не хватает главного — любви. Вот и все, — заключила Ольга. — Нет любви, все остальное — трын-трава.

— А-а... солай ма?! — вырвалось у старика. — Вам, женщинам, виднее.

А потом у себя в комнате задумался. Оля, может, и ляпнула сгоряча, а высказала правду. В доме все есть, а любви, доброты, обыкновенной участливости, искренности, внимания, сочувствия явно не хватает. Все это куда-то ушло, испарилось. А, может, изначально не было? Каждый живет в своей скорлупе. И родных людей по сути ничего не связывает. Старик это ощутил едва ли не с первого дня своего приезда, но никак не мог так кратко и точно выразить свое ощущение. А Оля попала в самую точку. Зухре, молодой, самолюбивой, властной и страстной женщине, должно быть, и в самом деле не хватает любви. Той, настоящей, исступленной, безрассудной. Понять это можно. Оттого она порой и неистовствует, готовая в своей необузданности всех и вся испепелить. И тогда ей белый свет не мил, все ее раздражает: и дом, и вечно озабоченный муж, и строптивая Лаура, и он, свекор, болтающийся под ногами, как укор, как помеха, как ненужный свидетель ее душевного разлада. Неужели его сын, обремененный непонятными делами и заботами Бахыт, щуплый, преждевременно лысеющий, должно быть, недостаточно внимательный к своей видной из себя, сочной и, по всему, с детства избалованной, жадной до любви женушке, — главная причина семейного разлада? Конечно, шикарное жилье, обстановка, вилла в горах, достаток, внимание, признание для женщины совсем немало (аульной казашке такое благо и не снится, наши матери, бабушки, прабабушки прожили — и по-своему счастливо — ни о чем таком не ведая), но душа ее — так уж, видно, сотворил ее Всевышний — ненасытно и неодолимо стремится-тянется еще к чему-то, о чем так просто и ясно намекнула простушка и тихоня Ольга. Не хватает любви. Вот где собака зарыта! Необходим еще на худой конец Серж, ловелас, жуир, угодник, умеющий польстить долгополой, увлечь речами и безрассудством, пощекотать душу, возжечь огонь в жилах, затевать рисковые, любовные забавы, от которых сладко кружится голова и замирает плоть. Беда, если бабью суть разбудит однажды Азазель-искуситель! Оттого и полыхают жгучие искорки в темных очах Зухры-ханум. В такие минуты она становится невменяемой. И тогда, видно, только циник и хам Серж в состоянии погасить ее греховный огонь. Он, старик Мамбет Казиевич, понять это может, но помочь

чем-либо бессилен. Обуянной темной страстью бабе кто поможет? Необъезженную кобылку кто укротит? Да-а... а ведь, может, и Бахыту не хватает тоже этой самой любви, ласки и нежности? Очень даже может быть. И Лауре. И даже Арыстану, который и вовсе предоставлен самому себе. Растет без ласки, без внимания и находит утешение в юношеском максимализме, цинизме и ёрничестве. Внук Мамбета Казиевича иногда просто удивляет и пугает. Кажется, он вот-вот выкинет такой номер, от которого все придут в изумление, в оторопь.

Старик замечал: оживлялась и добрела, оттаивала и молодела его невеста лишь тогда, когда в доме или вблизи ее появлялся самоуверенный, самодовольный, холеный красавец-Серж. О, тогда вздорная Зухра-келин становилась покладистой, шелковой, ласковой, и в доме ненадолго воцарялся лад, и в такие дни, случалось, и Мамбету Казиевичу перепадала толика внимания. У келин даже голос менялся. И она не говорила, а ворковала, выстанывала, как удовольенная голубка. Но в последнее время Серж почему-то избегал появляться в элитном доме. И звонил редко. Поговаривали, что он подыскал себе непыльную работу в какой-то иностранной фирме и даже завел свой прибыльный бизнес, ушел из-под опеки своей прежней шефини Зухры-ханум. Мамбет Казиевич этой вести даже обрадовался. Он никак не жаловал этого самовлюбленного, с наглыми выходками хлыща и диву давался, с чего это женщины к нему льнут. Но, видимо, Зухра-келин придерживалась иного мнения.

Сидеть день-деньской дома, в четырех стенах, становилось в тягость. Из газет и из бесед со всезнающими завсегдатаями площади Чокана он обрел немного сведений о разных политических партиях в стране, об их лидерах, о разных движениях за национальное возрождение, за восстановление родного языка, за справедливость и свободу, посещал их мероприятия, слушал, мотал на ус, размышлял, стараясь вникнуть в то, что же хотят эти большей частью молодые и образованные люди, у которых мозги работали по-иному, и глаза видели то, что видеть вовсе не полагалось, а говорить и вовсе считалось предосудительным. Душой Мамбет Казиевич сознавал, что общество все заметнее расслаивается, что разрыв между властью и обществом

неуклонно углубляется, народ взбудоражен, возбужден, встревожен, ропщет, управлять им по старинке становится все труднее, былые лозунги-призывы не срабатывают, не убеждают, а наоборот, раздражают, а власть, не способная проявлять гибкость и понимание реальности, все более отдаляется от масс, не в состоянии уразуметь, что́ же на самом деле происходит в его глубях. Много и однообразно, упорно и ненавязчиво долдонят о стабильности, подразумевая под этим словом покой и застой, главным образом, для власть предержащих. О, Аллах, какой безумец против мира и согласия в обществе? Это ведь основа, на которой зиждется жизнь и благоденствие. Какой разговор! Верно и то, что все мы находимся в одной лодке и раскачивать ее в бушующем океане бытия опасно. Кто бы спорил? Но кто раскачивает эту лодку? Народ, который печется о своем выживании? Или те же прыткие башибузуки, которые окопались во власти, бесятся с жиру и никак не могут набить свое ненасытное брюхо-корджун? Бывая на митингах, на шумных тусовках, прислушиваясь к пылким словам разгоряченных ораторов, старый аульный мугаллим приходил поневоле к смутному выводу, что в стране, в обществе и в самом деле происходит что-то не так, намечается исподволь явный крен в сторону беспредела и безнаказанности, что богач становится богаче, крутые круче, а бедные — беднее, и ров между ними ширится, и властьпредержащие только на словах ратуют за демократию, пекутся о благе народа, а на самом деле заботятся прежде всего о своем личном благоденствии, хапают и хватают все подряд, едят и пьют в три горла, безумствуют, устраивают пиры-тои во время чумы и ведут себя, как оккупанты в собственной стране, как ошалевшие от крови волки, ворвавшиеся на рассвете в кошару. И нет этим рыцарям наживы, хапугам и рвачам дела до будущего народа, чудится им, что можно грабить свой послушный, покорный народ бесконечно, и нет на них управы. Совесть дремлет, честь и достоинство умертвили, абортировали, живут лишь сегодняшним днем. А там хоть трава не расти. Там хоть потоп, акырзаман.

Сомнения закрались в душу аульного мугаллима. Все перевернулось в его миропонимании. Рушился казалось бы незыблемый казахский остов.

Разлад, разлад... Везде. Во всем. И еще едва наметившаяся трещинки ныне обернулась в огромную вымоину, в глубокий ров, и власть и народ очутились на разных берегах. Возможно, неожиданно для них самих.

Стоя на балконе и уставясь на снежные вершины Алатау, Мамбет Казиевич погрузился в свои вязкие, как трясина, думы. Действительно, все вроде есть, все будто хорошо, грех жаловаться, и перспективы, кажется, радужные, а все равно по большому счету что-то не клеится, неотступная тревога витает в воздухе, и на душе у большинства смута. Почему так? В чем дело? Может, ошибочное представление? Ложное предчувствие? Старческие сомнения и подозрения? Может, муть в душе оттого, что в семье сына не все благополучно? И внуки мечутся, и сын со снохой чего-то суетятся, и разговоры вокруг тревожные, и газеты булгачат душу (может, прав Президент, посоветовавший в сердцах с экрана: «Читать надо меньше!»), и сам он, Мамбет Казиевич, на старости лет, обитая в тепле и сытости в элитном доме, лишился покоя. Бог знает что...

По утрам все чаще ныло сердце, немела левая рука, затруднялось дыхание, шумело в ушах, и незнакомые доселе хворости одолевали и угнетали его. Климат Алматы явно ему не в пользу. В ауле он чувствовал себя бодрее, а здесь, в многолюдном городе, приходил в себя малость лишь после посильной утренней зарядки, обтирания влажным полотенцем до обильного, до испарины чаепития. Угнетенное состояние не покидало его порой целыми днями. И спал сумбурно, ворочался, часто просыпался. Снились родители, давно истлевшие в земле, отчий дом, изнурительная лежка в слякотных окопах давно отгремевшей войны, грохот орудий, совершенно пустой класс, в котором он преподавал, напрочь забыв что, и прочая чепуха и муть, от которых просыпался весь разбитым, смурным, с учащенным сердцебиением и горьким комком в горле. Думалось поневоле: ай, видно, душа не на месте, не по мне городская жизнь, не зря казахская поговорка гласит: «Собаке сливочное масло не впрок», и зачем ему комфорт, сытость и блага элитного дома, когда душа взбаламучена?

Может, податься мне в аул? Может, там ко мне вернутся былые покой, умиротворенность, бодрость души и жизнен-

ные силы? Походить бы наедине с самим собой вдоль озера, дышать всей грудью, вдыхать аромат, настоенный на степных травах, вслушиваться в таинственный шорох камыша, в шелест листьев, в беспечное чириканье разномастных птах, ступать по плотному, пружинящему раковостою, наблюдать, как перед закатом, точно с праведной работы, возвращаются с выпаса стадо коров и отара овец, окутанные облаком степной пыли, просвечиваемой насквозь золотистыми солнечными лучами, любоваться причудливой игрой марева у горизонта далеко-далеко за березовыми колками.

Старик живо представлял себе привычные картины аульной жизни и те благословенные времена когда душа и память не были обременены сомнениями и тревогами, не знали изнурительной маеты. Ах, славное было время! И зря его ныне хают иные досужие борзописцы в угоду то ли идеологии, то ли своих временных хозяев-благодетелей.

Е-е... что и говорить, мимо чего-то светлого, доброго, нежного и достохвального мы невзначай, сами не ведая, как прошли, проехали, проскакали, гонясь за призрачной мечтой.

Старый мугаллим вздохнул. Кому о том теперь поведаешь, кому расскажешь, кому изольешь душу? Не поверят. Высмеют. Ностальгия, скажут, старческая тоска по прошлому, по невозвратному.

Странный гул, грохот, визг, барабанная дробь и собачий лай донеслись со стороны площади Чокана.

Что такое?

С балкона было видно, как толпы людей с транспарантами, флагами, портретами в черных рамках стекались со всех сторон к подножью памятника. Площадь перед бывшей Академией наук оказалась оцепленной полицейским патрулем, а по краям расставлены громоздкие тумбы, обтянутые синей материей, по углам импозантного здания сбились в группки омоновцы. Посередине площади с ревом неслись четыре полицейские «Жигули», выделывали головокружительные зигзаги, виражи, изрыгали клубы дыма. С одного боку сквера с высоченного пьедестала, ничего не понимая, напряженно всматривался в Восток Александр Пушкин, задрав подбородок и демонстрируя жилистую, крепкую шею. А на центральной площади, по соседству,

внимая дикой какофонии и глядя выше толпы, застыл в задумчивости и недоумении Чокан Валиханов. Усиленный динамиками жуткий рев все нарастал, ширился, толпа что-то кричала, колыхалась, двигалась под знаменами и транспарантами, надписи которых с балкона нельзя было различить.

Мамбета Казиевича осенило: накануне оппозиционные партии и движения оповестили горожан о своем намерении провести День памяти жертв политического террора. Злодейская казнь видного политического деятеля всколыхнула всю страну. И об этом подлом тройном убийстве с непосредственным участием специальных служб и высоких государственных чиновников писали все газеты, говорили известные люди, передавали по телевизионным каналам и распространялись разные слухи и домыслы. Передавали также, что акция эта не санкционирована властями, на площади Чокана проводить ее категорически запрещено и городским акиматом, и прокуратурой, собираться горожанам для поминовения убиенных дозволено только на краю города, в районе кинотеатра «Сары-Арка» в специально отведенном сквере согласно заявке о проведении митинга заблаговременно за десять дней с указанием фамилий, имен, адресов организаторов, количества участников, темы и содержания выступлений ораторов. Таков, мол, закон, и нарушать общественный порядок строго запрещено, и противоправные поступки рассматриваются стражами порядка как уголовное преступление.

Значит, оппозиционеры решили выказать характер, пошли на риск, вознамерившись твердо наперекор властям провести акцию скорбного поминовения. Однако, видно, и власть, несмотря на растерянность в последние дни, надумала показать, кто хозяин положения.

Мамбет Казиевич быстро оделся и спустился вниз. Помахивая тростью, влился в толпу и пошел к площади у памятника Чокану.

Дикая, оглушительная музыка в стиле techno, усиленная динамиками, докатывалась до ближайших кварталов. Народ все пребывал и пребывал. Полиция рассыпалась цепью, потом встала полукругом, плечом к плечу. Молодые ребята явно аульного вида чувствовали себя неловко,

отводили глаза. Возле автобусов, ставших по углам Академии, изнывали в нервном возбуждении омоновцы, одетые в черные формы типа «ночь». В толпе сновали озабоченные хмыри, переговаривались по мобильникам, кого-то спешно информировали. На площадке, огороженной тумбами, кучковались школьники-картингисты. Видно, их собрали второпях с моделями и картингами, и они растерянно жались к своей учительнице, которая, должно быть, быстро сообразила, с какой целью ее вызвали и вскоре увела своих подопечных от греха подальше. Тут же появились кружковцы-авиамоделисты. Ребята из ассоциации каскадеров начали разогревать моторы машин.

Митингуйте, братцы! Поминайте убиенных под этот гул, грохот, визг, скрежет.

А люди, несмотря ни на что, шли и шли, чтобы почтить память убитых сограждан.

Бравый полицейский в чине полковника, выпучив глаза и топорща усы, то и дело суетливо отбегал в сторону с телефонной трубкой, кому-то докладывал обстановку, покрикивал на своих подчиненных, заставлял их встать цепью. Полицейские подтягивались отовсюду, видно, плохо соображая, что от них требуется в этом людском водовороте. Толпа ширилась, росла, шевелилась, колыхалась, роилась. Мамбет Казиевич увидел многих знакомых с белой петличкой, перетянутой черной траурной ленточкой на лацканах. Там-сям кучковались известные журналисты, руководители разных движений, мелькали фотографы, операторы. Над головами собравшихся развернулись транспаранты: «КНБ — кому ты служишь?», «Позор кровавой демократии!», «Убийц к ответу!», «Президент, уйми своих псов!»

Нервное напряжение нарастало. Слышались возмущенные голоса:

— Какое кощунство! Бесстыдники!

— Устроили бардак!

— Обнаглели! Охамели!

— Совесть совсем потеряли! Что, теперь и покойников поминать нельзя?!

— Убивать закон есть, а поминать — незаконно?!

— Народ стравливают!

— Это разве акимата площадь? Это площадь народа. И он вправе собираться, где и когда хочет.

— Позор! Срам на весь мир!

— Демократия называется...

Разъяренная пожилая казашка прошлась вдоль полицейской цепи, вглядывалась, как полководец, в постные, сумрачные лица молодых полицейских-казахов, гневно выговаривала им:

— Что стоите, остолопы? Против своих единокровников пойдете? Меня дубинкой своей дубасить будешь? Совесть-стыд есть?! Или ты не от матери родился? У, ничтожества! Материнское молоко осквернившие! Как детям своим в глаза посмотрите?!

Полицейские молчали, отводили глаза, хмурились, переминались с ноги на ногу, прижимались друг к другу.

— Ничтожества! Уй, жаман неме! — все более распалялась бабка и трясла кулачком перед носами вконец смутившихся молодых стражников порядка. — Неужели не боитесь проклятия народа, божьей кары?!

— Апа, уймитесь... К чему все это?.. — пробубнил молоденький полицейский, косясь затравленно по сторонам.

— Это наша служба, апа... — заступился второй за однокашника. — Наш хлеб... Нам ведь родителей кормить надо...

— У, провались такая твоя служба! — не унималась бабка.

Вдруг выключили дурную музыку. Микрофон прохрипел:

— Говорит заместитель прокурора города. Граждане, расходитесь. Митинг ваш не санкционирован, незаконен. Вам отвели время с 12-ти до 13-ти часов в другом месте.

— Сам иди туда, законник! — закричал кто-то из толпы.

— По статье закона о митингах и массовых демонстрациях вы привлекаетесь к уголовной ответственности. Расходитесь немедленно!

— Как бы не так! — неистово загудела толпа. — Позор!

— По-зор! По-зор! По-зо-о-о-р!!

Тут же опять на всю мощь включили какофонию — визг, грохот, барабанный бой, вой, гул, лай собак.

В толпе люди не слышали друг друга.

— Вот сссобаки-и! Что делают, а?!

— Злят народ.

— Доиграются!

— Испугать думают. Черта с два!

— Привыкли нас за быдло считать.

Мамбет Казиевич потолкался в толпе, прислушался к нарастающему ропоту, к гневным репликам, всматривался во все более суровеющие лица собравшихся. Колонны со знаменами и транспарантами теснее сомкнулись возле памятника Чокану. Все ждали начало митинга. Но динамики, надрываясь, изрыгали поток гнусных звуков на толпу, точно собирались оглушить всех собравшихся. Полиция тоже продолжала стягиваться и мобилизовываться. Омоновцы в предвкушении стычки переминались с ноги на ногу, нервно сжимали резиновые дубинки. И опять на минуту воцарилась тишина. И опять прозвучал голос представителя акимата:

— Граждане! Митинг ваш не санкционирован, незаконен. Разойдитесь!

И вновь яростно взревела толпа, заскандировала дружно:

— По-зор! По-зор! Пааа-зооорр!!

И еще раз пять с небольшими паузами зампрокурора города тщетно уговаривал толпу немедленно разойтись, угрожал уголовными санкциями. Люди не расходились, наоборот, прибывали. Приехавшие из-за кинотеатра «Сары-Арка» доложили возбужденно, что власти перекрыли дорогу, сняли с рейса автобусы, отчаянные смельчаки с окраины города добрались до центра на такси.

Зачитали по микрофону разъяснение закона прокурора города Алматы:

— Признавая право граждан на организацию подобного мероприятия, акиматом города Алматы в соответствии с решением XVII сессии маслихата города...

— Позор! Пааа-зооор!!

— ... с предоставлением сквера за кинотеатром «Сары-Арка»... Разъясняю...

— Долой! Дооо-лоооой!!

— ... будет считаться незаконным... Расходитесь!

— Позор! Позор! Дооо-лоой!!

— Просим немедленно расходиться! — захлебывался микрофон.

— ... может повлечь для ее организаторов и участников административную ответственность по статье 373 Кодекса...

— Позор! Позор! Долой!

Толпа ярилась, почувствовав силу и единство. Грохот неистовствовал, заглушал голоса. Усатый полковник забегал, как ужаленный. Милицейские машины взревели длинным гудом.

— Я приехал из Кирова. Хотел помянуть убиенных. Мне до политики дела нет, — в который раз толковал собравшимся ветеран в распахнутой турецкой дубленке, позвякивая орденами и медалями. — Это же не по-людски. Не по-мусульмански. Разве так можно?!

— А я из Сары-Агача, — вторил ему пожилой казах в китайской куртке и киргизском аир-калпаке. — Я знал Сарсена. И отца его знаю. И вот...

Прошло минут сорок. Открывать траурный митинг не позволяли. Мамбет Казиевич видел, как собрались в кучу и советовались организаторы Дня памяти и руководители движений и партий. Лица их были знакомы по фотографиям в газетах, по выступлениям по телевизору. Должно быть, они приняли какое-то решение. Колонны медленно перестроились и двинулись на площадь. Полицейские насторожились, сомкнули теснее ряды, изготовились к стычке. Их команды оробело переговаривались по мобильникам.

Толпа молча и сурово выдвинулась на площадь и свернула направо. Послышалось:

— Не паникуйте! И не подавайтесь провокации!

По динамикам обрушились отчаянные крики, визг, грохот, рев, лай, барабанный бой, выстрелы, бьющие по нервам. Толпу провоцировали на срыв, на стачку. Омоновцы рвались в бой.

По толпе прошел ропот:

— Двинемся на площадь Республики.

— Не расходитесь!

— Не паникуйте, товарищи!

Полиция растерялась. Такой поворот не был предусмотрен. Омоновцы лихорадочно нырнули в автобусы, чтобы где-то впереди перехватить шествие. Опрокидывая по пути железные заслоны, шествие неторопливо продолжалось.

Осведомители-сексоты в штатском засуетились, забегали, ждали распоряжения. Мобильники уже не отнимали от ушей.

Толпа, грозная и решительная, возраставшая новыми участниками, особенно из числа молодежи, свернула с улицы Курмангазы на улицу Фурманова.

Полиция опомнилась, спохватилась, перестроилась в длинную цепь и тяжелой рысью побежала сбоку толпы. Бежали полицейские неуклюже, нехотя, устало, еле волоча сапоги, и толпа весело подбадривала их, улюлюкала:

— Эй, давай, давай! Шире шаг!

— Быстро! Шнель-шнель!

— Айда, айда! Штаны не потеряй!

Полиция пыталась было обогнать шествие, перегородить дорогу, встать заслоном, но, видно, растерялась или не решилась. И указания сверху не было. И настрой толпы ее явно смутил.

— Эй, салпанкулаки! Вислоухие!

— Ай, бишара! Сорлыбаюшки!

— Бедные, ради куска хлеба...

— В штаны, что ли, наложили?! — смеялась, ликовала толпа, опьяненная смелостью.

— Лучше бы баранов пасли, а не людей.

— Холуи!

— Отщепенцы!

— Дармоеды! Говнюки!

Старому муталлиму стало не по себе. Сердце зачастило, подкатывало к горлу. Ноги подкашивались. Он понял, что до площади Республики не дойдет. Отошел на обочину, опираясь на палку и глядя вслед удалявшейся толпы демонстрантов. Встречный поток машин загудел во все клаксоны, приветствуя возмутителей общественного порядка. Полицейские, не в силах остановить шествие, обреченно брели по обе стороны толпы. Видно, их руководство ждало указания сверху, а там, должно быть, не знали, как быть. Два автобуса с омоновцами, опережая шествие, рванули на площадь.

Мамбет Казиевич побрел назад к опустевшей площади Чокана. Несколько полицейских сидело на тумбах, скучающе глядя вдаль. На пространстве, огороженном тумбами, четыре милицейские машины устроили догонялки на бе-

шенной скорости, демонстрировали каскадерские штучки, угрожая перевернуться.

— Что это? — спросил Мамбет Казиевич у брюхастого полицая.

— Учение, — буркнул полицай.

— Чье?

— Наше!

— Именно сегодня?

— Именно сегодня, аксакал.

— Е-е... ладно. Не сердись. Я ведь просто так спрашиваю. Откуда родом?

— Вам зачем? Я при службе.

— А-а... ну, ладно, айналайн, служи, служи...

Уборщики в оранжевых жилетах выросли, как из-под земли, принялись сгребать мусор — затоптанные цветы, обрывки газет, клочки лент, лопнувшиеся воздушные шары, окурки. У подножья памятника Чокану среди букетов роз и гвоздик стояли прислоненные к пьедесталу портреты в черных рамках. Уборщики постояли возле них и оставили на месте.

Мамбет Казиевич посидел на тумбе рядом с хмурым и молчаливым полицейским, поглазел на круговерть полосатых машин и, унимая боль в сердце, попеременно бросая под язык валидол и нитроглицерин, медленно побрел домой.

Кому все это нужно было? Кому понадобилось именно в этот день демонстрировать силу? Зачем надо было раздражать людей? Они ведь собирались мирно помянуть убиенных. Выразить свои человеческие, гражданские, мусульманские чувства. Неужели власть увидела в этой мирной демонстрации опасность для себя. Ай, вряд ли, вряд ли... Просто хотелось припугнуть азаматов из оппозиции. А они, видно, оказались не из робкого десятка.

С поникшей головой брел старый мугаллим к элитному дому.

То, что он видел сегодня, потрясло его.

А вечером ожидало его еще одно потрясение.

Никогда Мамбет Казиевич не видел свою келин столь раздраженной и яростной. Приехав с работы раньше времени и еще не переодевшись, не облачившись в свой пыш-

ный халат, Зухра заметалась по дому и куда-то торопливо звонила, срывающимся, захлебывающимся от негодования голосом кричала:

— Ну, негодница! Ну, шлюшка! Какая стервешка, однако!

— А этот-то, а? Козел! Подлец! Казанова задрипанный! Как он посмел?! О-о-о!

Напуганные ее гневом, разбежались Ольга и Вильма. Мамбет Казиевич, прислушиваясь к воплям невестки, боялся выглянуть из своей комнаты. О, Аллах, что же могло случиться? Кто осмелился переступить дорогу его взбалмошной снохи? Зухра, взлохмаченная, вся взъерошенная, на мгновение выросла у двери, сверкнула черными глазищами, спросила хрипло:

— Где ваш сын-недотепа шляется, знаете?!

— Н-не знаю, — промямлил Мамбет Казиевич, задетый за живое «недотепой».

— Деятель! — презрительно процедила сквозь зубы тонкогубая Зухра и захлопнула дверь.

— Слышала, слышала, Карлыгашка? — тут же надрывалась Зухра по мобильнику. — Ну, конечно, слышала. Все уже давным-давно знают, кроме меня. Какой, однако, номер выкинул этот хам! Ну, и подонок! Мерзавец! Кобелина! Где это видано?!

— Алё! Алёу! Бигайша, это ты? Какое у меня горе, какое горе! Слышала, слышала, что отчебучила моя дочь, негодница! Соплячка!... На кого позарилась! С какой сволочью спуталась!

Старик обомлел. До него только теперь дошло, о чем речь. Он-то полагал, что между супругами что-то стряслось. Неужто, думал, Бахыт что-то накуролесил? Ему сейчас вроде не до левых похождений. Он и так вечно ходит, как потерянный, смурной. То ли непосильный груз взвалил на плечи, то ли нелады пошли на работе. Видно, нелегко тянуть два воза — службу и бизнес. Да и сидеть приходится одновременно на двух стульях. Похоже, там, наверху, не очень-то им довольны. Особенно с тех пор, как он близко сошелся с Авелем, Жаном, Сарсеном. Или какому-то серому кардиналу не угодил? Должно быть, и там, на вершине власти, все передрались и друг другу козни строят. Черт знает что!

Бахыт никогда ничего не говорит, но можно догадываться, что его постоянно что-то гнетет. Особенно в последнее время после злодейского убийства Сарсена и двух его товарищей сын ходит, как в воду опущенный. Мамбет Казиевич невзначай услышал утром на кухне, как Бахыт кому-то по мобильнику горько посетовал: «Нас поодиночке, как куропаток, перестреляют...» Эта фраза не выходила из головы Мамбета-мугаллима. Кто перестреляет? За что? Кого перестреляют? С какой стати? Во имя чего? Что все это значит? Кто кому мешает? Что не поделили славные азаматы? Видно, ему, Мамбету Казиевичу, это не понять.

Но с чего вдруг вскинулась сноха? У ней же вроде никаких проблем. Сплошное благополучие. И салон красоты, и все ее ателье мод для избранных вроде как процветают. И сама слывет светской львицей. И купается в достатке и славе, в везении и преклонении. И никаких напастей у ней просто быть не может.

Сидя в своей комнате и прислушиваясь к буйству невестки, к ее крикам и воплям, доносившимся то из коридора, то из кухни, Мамбет Казиевич вскоре смекнул, что причиной исступленной вспышки Зухры вовсе не Бахыт, а таинственное исчезновение строптивой Лауры.

Уже недели три Лаура редко показывалась дома, ночевала, по ее словам, то у подружек в общежитии, то у кого-то на квартирке готовилась к экзаменам, то участвовала в каком-то походе в горы с ночевкой, и никто в доме тому особого значения не придавал. Эка невидаль! Девке скоро двадцать, в самом соку, видная, дерзкая, самостоятельная. За себя постоит. За словом в карман не полезет. Захочет — любого ловеласа отбреет. Вправе распоряжаться собой, как хочет.

Но однажды Зухра-ханум заподозрила что-то неладное. Дошли до нее слухи, что ее взбалмошная красотка-дочь вовсе не в общежитие с подружками к экзаменам готовится, а сняла неподалеку от университета квартирку, где наверняка с кем-то крутит любовь. Потом Зухра сообразила — о, страшно подумать! — что любовь кокетка Лаура крутит не с каким-то сокурсником, не с преподавателем, что можно было еще понять, а с самим неисправимым бабником Сержем. Вот подлец! Матерью пресытился, а на дочь позарил-

ся! Вот почему он стал избегать в последнее время свою прелестную пэри. Неспроста, видно, и фирму сменил, исчез куда-то, не звонит, не показывается. И вот сегодня, похоже, ее худшие предположения подтвердились. Напала-таки на след. Убедилась в коварстве друга семьи и в шашнях негодной соплюхи-дочки. Это надо же! Нашла, дурочка, с кем шуры-муры водить. На что рассчитывает? На тугие грудки и твердую попку? Так этого кобелину этим долго ли удержишь? Уж коли она, искушенная в любви зрелая ханум, неотразимая чаровница, упустила его из цепких своих рук, то куда эта самонадеянная дуреха лезет?! А ведь знала негодница, давным-давно знала о романе матери с этим хлыщем-угодником, хмырем скользким, козлом самовлюбленным. Знала, знала, а подалась его льстивым, лживым словам, соблазнилась маминым хахалем. Какое унижение! Какой позор! Какое коварство! Наверняка слухи об их похождениях гуляют по всему городу. На каждом углу, Аллах свидетель, гу-гу, шу-шу, хи-хи, ха-ха. Вот уж возликуют завистницы! Всякие там карлыгашки и бигайши. Вот уж почешут зубки: бравая дочка ловко увела дружка у матери, заманила в постель. У-у-у!..

Зухра бушевала, неистовствовала весь вечер. Искала по телефону и подлую дочь, и коварного изменника Сержа, но тщетно. Ей не терпелось поделиться своим возмущением с Бахытом, будто он мог бы ей чем-то помочь. Но Бахыт вернулся домой лишь заполночь, хмурый, очень встревоженный и сразу заперся в своем кабинете.

Арыстан тоже запозднился. Пришел, бросился к холодильнику, звякал посудой, потом надолго укрылся в ванной комнате, плескался, громко фыркал, а выйдя оттуда довольным, сияющим, розовым, заглянул к Мамбету Казиевичу.

— Добрый вечер, сэр Песталоцци, Ушинский и Ибрай Алтынсарин в одном лице! Пламенный педагогический привет! Как поживаете?

Мамбет Казиевич привык к подобной манере внука, и ничему не удивился. А вот что за полтора-два года внук вытянулся, возмужал, превратился в развязного парнягу с пробивающимися усиками, заметил впервые.

— По-казахски шукур. А по-русски сказать — не очень.

— Что такое?

— Да сердце шалит, Арыстанчик... Давление подскочило.

— Нервы, почтенный, нервы! — снисходительно заключил внук. — Нехватка положительных эмоций. Нельзя все время заниматься самоедством и предаваться мировой скорби... А что, сэр, происходит в доме? Предки на месте? Отчего такая выморочная тишина? Офелия не объявлялась?

— Нет, — ответил Мамбет Казиевич, сообразив, о ком речь.

— И великого финансиста нет?

— Нет.

— Хм-м... Уж полночь близится, а Германа все нет... А королева Гертруда?

— Мама сегодня что-то не в духе...

— А-а, — скривился Арыстан. — Ущемленное женское самолюбие.

— Что-о?! — удивился Мамбет Казиевич. — Что это значит?

— Это значит, — посерьезнел Арыстан. — Это значит банальная интрижка: две красотки не поделили одного хахаля.

— Спаси Аллах! Что ты мелешь?!

— Не мелю, господин устаз, а подтверждаю то, что знают все. И не первый день. До Гертруды информация дошла явно запоздало.

Арыстан поморщил лоб, потер переносицу, направился к двери и, обернувшись, спросил:

— Может, врача вызвать? А то вид ваш, сэр, вызывает тревогу.

— Не надо... Пройдет...

— Тогда спокойной ночи! О ревуар!

Арыстан вышел. Выморочная тишина обрушилась на Мамбета Казиевича. Он промаялся всю ночь, глотал таблетки, измерял себе давление, щупал пульс, прислушивался к звукам.

К утру ему стало совсем худо. «Скорая» установила гипертонический криз и увезла его в больницу.

Глава шестнадцатая

О том, что в Германии нет зимы, Карл Деграф слышал и раньше. Теперь он убедился, что в Германии нет и лета. Хмурые, кудлатые тучи назойливо роились над головой, время от времени исходили дождями. Низко над землей стелились, зыбились, волоча набухшие шлейфы, сизые туманы. Заплаканное, нищенское солнце неприкаянно бродило среди слоистых облаков, лишь изредка одаривая людские толпы скудным теплом и блеклыми лучами. Высоко над грядами туч иногда ослепительно посверкивали молнии и ворчливо раскатывался гром. Местные привыкли, приспособились к причудам природы, не расставались с зонтами, легкими куртешками, прозрачными накидками, неуклюжей обувью на платформе.

Переменчивая погода изнуряла Карла Деграфа, привыкшему к яркому степному солнцу, к ровному, ласковому ветру Сары-Арки, к бескрайнему раздолью и высокому голубому небу. Волглый воздух и удушливая испарина набухшей земли затрудняли дыхание, а тучи ощутимым грузом давили на плечи, и порой голову стискивало, точно обручем.

Первое время Карл ловил себя на том, что ему неодолимо хочется раздвинуть горизонт, выбраться из теснины, разогнать постылые тучи, подняться выше-выше к солнцу.

Поначалу все было внове: и игрушечный, весь обклеенный разноцветными рекламами веселый трамвайчик, пробегавший по нескольку раз на дню мимо углового пятиэтажного дома, в котором жил Эдвин, и широкая мостовая с бесконечными кафешками и ресторанчиками, закрытыми и открытыми, выходящими на тротуар, под тентами, с крохотными столиками и массивными стульями, с длинным рядом подвальных магазинчиков, с толпами местных и приезжих, сновавших взад-вперед и галдевших бог весть на каких наречиях, и поражавшие степняка чистота и опрятность, царившие всюду и на каждом шагу, и улыбчивый, общительный, разномастный люд, и стайки патлатых, расхристанных юнцов и нечесаных, нарочито небрежно одетых в обвислые свитера и потертые, рваные джинсы девиц, постоянно что-то жующих и пьющих на ходу, и переливчатый

звон колокольчиков над ближней кирхой, и пожилые, но бодрящиеся туристы, высаживающиеся из расписанных вагончиков пригородных электричек.

В первые месяцы приезда в Германию Карла Деграфа особенно утомили бесконечные хождения и шатания по амтам-учреждениям. Боже, он даже не представлял, что немцы в такой степени неисправимые, дотошные, докучливые педанты и бюрократы. Немецкий бюрократ оказался всем бюрократам бюрократ. На все на свете нужны были бумажки, расписки, справки, отчеты, подтверждения, свидетельства. Казалось, этой волынке не будет конца. Вспоминался ходжа Насреддин: когда кончится мой «а-ляу-ляй», начинается еще «ха-ляу-ляй». Поток бумаг и циркуляров старательно заполняли и Эдвин, и Эльма, и Зельма, и дочки дядюшки Фридриха — Катенька и Лизанька (они уже стали степенными бабушками, но их продолжали по старой памяти называть так уменьшительно-ласково), которые давным-давно перебрались в Германию и больше всех знакомых онемечились. Пять человек усердно шкрябали пером, чтобы выправить и упорядочить по всем германским правилам и законам бумаги одного старого казахстанского немца.

За эти месяцы блуждания по амтам Карл Деграф возненавидел чиновников, рассевшихся по всем дырам и дотошно, пристрастно выяснявших, кто он, откуда, где родился, где жил и работал, в каких органах служил, в какой мере вписался, точнее, интегрировался в коммунистический режим, какими пользовался привилегиями, зачем приехал, на что надеется, на кого уповает, кто о нем позаботится, какой придерживается веры, свободно ли владеет языком, знает ли немецкие обряды и обычаи, празднует ли немецкие праздники, поет ли немецкие песни, и этот убийственно вежливый, унизительный, с подковырками, с ужимками и ухмылками садистско-изощренный допрос с письменными подтверждениями и заверениями длился неделями, месяцами и исподволь доводил Карла до белого каления. Однажды доведенный подобными расспросами до истерики костлявой, въедливой, чопорной и чванливой мадам из службы с длинным и несуразным названием, Карл сорвался на крик и помимо воли обрушился на нее по-казахски:

— Эй, сен, мыстан, неге мені тергейсің?! Ә?! Бұл не?! Әлде сенің әкенді өлтірген мен бе? Ә?![1]

Это получилось так неожиданно, что присутствующие в чистом, ухоженном закутке амта застыли в изумлении: с таким напором на таком языке здесь никто никогда не выражался. Остолбенел и Эдвин. А Карла колотило от ярости и обиды. Лишь потом спохватился, опомнился, что возмущается на казахском языке перед этой непроницаемой мадам-мыстан с крашенными жидкими кудряшками, растерялся, осекся и, побагровев, кинулся вон.

— О, майн Готт! — воскликнула вслед мадам-мыстан. — И вы утверждаете: он немец?! Это же дикарь необузданный! И таких должна принимать Германия?! С таким контингентом я должна работать?!

Дома Карл Деграф, чуть успокоившись, заявил Эдвину:

— Все! Мое терпение лопнуло. Отныне ни в какие амты! В гробу я всех видел с их законами! Или сами все оформляйте, или еду назад. Что это такое, в самом деле? Я что, христарадничать приехал! Я к детям своим приехал! И нечего из меня дурака делать!

Все его раздражало. И особенно дурацкие слова, которые он твердил и во сне: Арбайт, Воунунг, Фюрершайн, Айнглидерунгсгельд, Унтерхальтунсгельд, Социалхильфе, Арбайтсамт, Воунунгсамт, Социаламт, амт, амт, амт, гельд, гельд, гельд.

Провались все пропадом!

Дети приодели отца с ног до головы на германский лад: клетчатые брюки в обтяжку, просторные сорочки, свитера, плюшевую жилетку, ботинки на платформе, спортивные босоножки, галстуки-кашне, твидовый пиджак, широкополую шляпу. В таком прикиде Карл сам себя не узнавал. Ни дать ни взять — фрайер! Или артист из самодеятельного ансамбля «Видергебурт». Никак не похож на тракториста из степного аула у озера с одинокой турангой.

— Ну, вот, — восхищались Эльма и Зельма. — Теперь тебя от коренного германца не отличишь!

---

[1] Эй, ты, ведьма, чего меня допытываешь? А?! Что это такое?! Или я убил твоего отца? А?! (каз.)

В зеркале смотрел на Карла Деграфа старый чудак в обнове — с длинным, облупленным носом, усталым, изборожденным морщинами-складками лицом и темной от степного загара тонкой жилистой шеей.

— Обезьяна обезьяной, — ухмыльнулся Карл. — Дайте еще банан в лапу и сходство будет полное.

Чтобы ощутить себя доморощенным германцем, Карл Деграф в европейском наряде фланировал задумчиво и отрешенно по ближним улочкам, принимал беззаботное выражение, выпучивал глаза, будто только что накачался пивом, удивленно взирал, однако, на диковинные, красочные, аккуратные домики с черепичными крышами, посещал скверы, кнайпы, площади, бульвары, выдавливал из себя расхожие немецкие слова, но чувствовал по взглядам прохожих, что производит впечатление пришельца-чужака, неуклюжего и растерянного, что от него точно с опаской шарахаются, а стоило невзначай разинуть рот и о чем-то спросить, как тут же вежливо, то-ле-рант-но щерились: «Ах, аусзидлер?!» Тавро чудака, как каинова печать, бросалось издалека. А деревянная, скованная немецкая речь выдавала его с потрохами. Он понял: лучше вообще прикинуться глухонемым.

Карл облюбовал открытое, под тентами кафе на площади недалеко от железнодорожной станции. За столиками с утра до ночи сидел праздный люд, пил пиво, кофе, соки, лакомился мороженым, иногда поедал горы поджаренных свиных сосисок, отдыхал, глазел по сторонам, лениво перебрасывался пустопорожними фразами или просто молчал, блаженно взирая на божий мир. Было здесь просторно и уютно. На мостовой гуртились обжорливые, раскормленные, как утки, голуби. Дети бросали им зерно, хлебное крошево. И они клевали весь день, набивая безмерные зобы. Рядом с кафе играл мексиканский оркестрик. В бездонную, видавшую виды шляпу-сомбреро прохожие кидали мелочь. Музыканты старались вовсю, дергаясь и подпрыгивая под такт зажигательных, упругих ритмов. Разухабистая, размалеванная, жгучая дива в высоченных сапогах и кожаных шортах тряслась всеми пышными прелестями и изображала страсть-экстаз. Потный, гривастый ударник выбивал судорожную дробь. На отполированных, точно лаком покры-

тых брусчатках весело переливались солнечные блики. От всей площади, зажатой тесными островерхими домиками, веяло довольством и умиротворенностью. Народ толпился всюду, но многие скамейки и столики перед кафе пустовали. И Карл в первое свое посещение, недолго раздумывая, опустился на плетеный стульчик с краешка, чтобы дать отдохнуть гудевшим от ходьбы ногам.

Но не тут-то было.

Из кафе мигом подскочил, точно подкараулил, рыжий, конопатый официант в белой сорочке, белом колпаке и в кожаном, как у мясника, фартуке до самых щиколоток, осклабился, вытаращил бесцветные, рыбьи глаза и на странном наречии что-то спросил, изогнувшись укоризненным вопросительным знаком перед пожилым господином в шляпе.

Карл не понял его и на всякий случай вежливо поинтересовался:

— Wie bitte?

Официант был возбужден и досадливо повторил свой вопрос, и Карл опять не понял, но догадался, что у него выпытывают, что́ именно он намерен заказать.

— Nichts, — сказал Карл. — Данке. Просто так. Присел немного отдохнуть.

Ответ его официанту явно не понравился. Он вдруг побагровел, как кочет, нацелившийся на курочку, еще пуще выкатил глаза и начал размахивать руками:

— Weg! Weg! Weg! Прочь отсюда!

— Но... что случилось? Почему? — недоумевал Карл.

— Weg! Weg!! — заладил официант, все повышая голос, словно в его владение невзначай ворвался неприятель.

Карл растерялся, встал. А официант продолжал возмущенно болботать, привлекая внимание публики, тараторил, как заведенный, брызгал слюной, театрально гневался, и только тогда Карл смекнул, что стулья здесь поставлены не для бездельников и ротозеев, не для праздных гуляк и нищебродов, заполнивших страну, а для благочестивых бюргеров, которые не дурака валять сюда пришли, а отведать фирменные германские блюда и запить их отменным немецким пивом.

Ну, да... ну, да... какой разговор? Alles klar...

Но Карл ничего заказывать не желал, просто потребности в том не было, и даже никакого намерения, а потом, извинившись по-немецки и крепко выругавшись по-казахски, понуро поплелся восвояси.

Но людное местечко манило. И через несколько дней Карл вновь пришел сюда, робко занял местечко за столиками и, как только в проходе кафе показался рыжий, попетушиному задиристый официант все в том же кожаном фартуке, заранее вскинул руку и громко произнес:

— Bier!

Потом, полчаса спустя, заказал еще одну кружку и вдобавок пакетик соленых орешек. И Карл был доволен, и официант сменил гнев на милость.

Место было дивное. И приятно было часок-другой сидеть здесь, вслушиваясь в пестрый гул, вглядываясь в беззаботную кутерьму, человеческий водоворот на площади, наслаждаясь бодрящими, игривыми ритмами мексиканского оркестрика.

С любопытством наблюдал Карл, как немецкие «пивнюки» веселились в компании. Сдвинув несколько столиков и приняв кружку-другую на грудь, они встали в круг, закидывали руки друг другу на плечи, раскачиваясь мерно, горланили во всю мощь луженых глоток:

Bier her! Bier her!
oder ich fall um, juch-he!

И после задиристого, ликующего возгласа: «juch-he!» орали с пущей силой.

Bier her! Bier her!
oder ich fall um.

Потом выводили озорно:

Soll das Bier im Keller liegen,
und ich hier die Ohnmacht kriegen?

И заканчивали во всю хмельную одурь:

Bier her! Bier her!
oder ich fall um!

И никаких забот, никаких комплексов, никакого горя. Веселимся, братья! Подавай немедля пива! Даешь пива! Не то я рухну без сознания! И что, в самом деле?! Пиво должно в погребах лежать, а я тут от жажды умирать?! О, нет! Немедля подай сюда пиво! Bier her! Bier her!

И вся застольная песенка — немудреная, лукавая, озорная, бодрящая.

Карлу нравилось, как местные — как правило, плотные, упитанные — немцы лихо поют, весело пьют и при этом разум не теряют. И он, случалось, про себя мурлыкал: «Bier her! Bier her! oder ich fall um.»

Приходить сюда каждый день было, однако, накладно. Две кружки пива ежедневно оказались для аусзидлера — пенсионера слишком дорогим удовольствием, и Карл стал приходить сюда дважды в неделю и заказывать лишь по одной кружке любимого темного пива.

Вокруг говорили на всех наречиях мира, шутили, балагурили, однако ни одного казахского слова Карл так и не услышал.

И однажды — вот чудо! — мимо него, на расстоянии протянутой руки, прошла-проплыла группка добротно одетых смуглых мужчин, и их предводитель, степенный толстяк с добродушным лицом вдруг произнес:

— Кішкене аялдайық, жігіттер. Уақыт әлі бар ғой.[1]

Карл встрепенулся, вскочил, громко спросил:

— Оу, бауырлар, қайдан жүрсіңдер?[2]

Группа остановилась. Широколицый толстяк расплылся в улыбке.

— Барекельды! Кажется, наш земляк?

Все разулыбались, обнялись, будто братья. Быстро познакомились. Выяснилось: руководители казахстанской делегации, приехавшие на Дни казахской культуры в Германии. Остановились в Бонне. Перед турне в Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Потсдам решили заехать в Линц просто так, чтобы походить, проветриться, поразмять кости. Земляку обрадовались и тут же повели его в соседнее уютное кафе бразильской четы, заказали пиво, бифштекс, какое-то рыб-

---

[1] Немного передохнем, жигиты. Время-то еще есть. (каз.)

[2] Оу, братья, откуда вы взялись?! (каз.)

ное блюдо с экзотической приправой. Хозяева ликовали. Дастархан получился щедрый, разговор — дружный и громкий. У Карла от радости закружилась голова.

Земляки, как водится, и песни спели, и наговорились всласть, а на прощании всучили два пакета со всякими напитками и яствами — «саркыт» для детей и внуков от дастархана по случаю приятной встречи с земляками в захолустном германском городке. Да еще доставили Карла Деграфа домой на посольской машине.

Всю неделю ходил потом Карл Деграф помолодевший, гордый и счастливый. А от гостинцев казахской делегации домочадцы пришли в восторг.

— Такой щедрости от немцев не дождешься, — ликовал Карл. — На такое только казахи способны.

По воскресениям дети Карла, дочки дяди Фридриха, соседа по казахстанскому бараку, анекдотчик и балагур Оскар-меннонит, набив сумки всякой снедью, запасавшись вдосталь водкой и пивом, отправились на природу. Это была давняя, крепкая компания, и вылазки стали традиционными. Эдвин брал с собой аккордеон, дородная Катенька — гитару.

В черте городка раскинулась чудесная полянка, похожая на уютный парк, обрамленный липами и другими диковинными деревцами, подстриженными причудливо, экзотическими кустами. Вдоль дорожек, посыпанных песком, стояли деревянные, крашеные скамейки, вокруг простирались зеленые, ухоженные газоны, клумбы. (Карла удивляло, что скамеек никто не ломал, не исписывал непристойностями, газоны не загаживали, а клумбы не истоптали. И в России, и в Казахстане такую прелесть разворотили бы мигом). В глубине парка темнел старинный сумрачный замок XVII века, в котором — уверяли местные — обитали одни призраки. Замок был важной достопримечательностью городка. Недалеко от замка на постеленных поверх плотного травостоя подстилках и располагалась ватага беззаботных аусзидлеров и забавлялась-гудела на свой салтык, как на редких пикниках на полянках возле березового колка в Казахстане. Разложив снедь на полотенцах, выставив затейливой формы бутылки, компания медленно разогревалась. Приняв по одной в честь вольной жизни на земле предков, толстушка

Катенька начинала настраивать гитару и перебирать струны, пробовать голос, Эдвин доставал аккордеон, Оскар, по обыкновению похохатывая и остря, травил анекдоты. Карл Деграф встревоженно оглядывался по сторонам, осознавая, что они наверняка нарушают порядок, мнут траву не там, где положено, и вообще слишком вольно, раскованно, шумно себя ведут, удивляя и раздражая редких прохожих из местного населения. Пикники эти ему особенно не нравились с самого начала. Плоские шутки, дурацкие разговоры ни о чем, хвастливые, самодовольные реплики по поводу своего благополучия и несчастной, постылой жизни неудачников-соплеменников, вынужденных по своей глупости и нерасторопности прозябать в захолустьях Казахстана или Сибири, глумление над своим прошлым в ссылке, горластые песни, переходившие по степени опьянения в ор, а потом разухабистые частушки с визгом, с пляской, с надрывом, со слезами, со сквернословием и сочным русским матом — все это огорчало и раздражало Карла. Однако, он видел, что дети стараются для него, хотят взбодрить, развеселить его, угодить ему, но было в этом веселье что-то натужное, нарочное, вызывающее. С одной стороны неумное хвастовство своим показным благополучием, а с другой — вызов, месть, заурядный выпендреж за то, что все-таки не такие, как местные немцы, а с манерами, повадками и привычками чужаков, которых едва терпят по милости. И это двойственное чувство крепко сидело в душах земляков, это их постоянно грызло, тяготило, саднило и, сбившись в кампанию, гуляя на прежний лад, они ненадолго забывали про те комплексы, которые их все же одолевали изо дня в день. Старый Карл Деграф это смутно понимал.

— У аусзидлера спрашивают: «Как у тебя с немецким?», — балабонил по привычке Оскар. — «Как у собаки. Все понимаю, только сказать не могу». «О, а у меня все тип-топ. Я уже здороваюсь по-немецки»,

— Ха-ха-ха... — дружно поддержали анекдотчика.

— «Миллион, миллион, миллион алых роз», — слаженно выпевали под перебор гитары сестрицы Катенька и Лизанька.

— Русак говорит: «Немецкий язык такой бедный, половина слов, что я знаю, в их словаре нет».

— Хи-хи-хи...

— "Auf, auf, ihr Wandersleut,

zum Wandern kommt die Zeit...", — перешла Катенька на другую песню.

— О! Это что-то новое! Здесь выучила?

— Не-ет, — отмахнулась Катенька. — Старинная немецкая песня. С детства помню.

— "Tut auch nicht lang ver-wei-len,

in Gottes Nam'zu reisen", — вступила в такт вторым голосом Лизанька.

— Молодцы! Расширили репертуар.

Карлу песня понравилась. Он ее тоже слышал еще на Волге, но слов не помнил.

— На шпрахкурсе у аусзидлера спрашивают: «Почему диктант не пишешь?» Аусзидлер: «Да я буквы не знаю, как же мне писать?»

— Э-хе-хе-хе!..

— Иах, иах!..

— Откуда, бедняге, буквы знать, когда он всю жизнь в Котырколе быкам хвосты крутил?

— У русака спрашивают: «Как твой немецкий?» Русак отвечает: «Читаю по-немецки свободно. Только не понимаю ни хрена».

— Йо-хо-хо-хоо!...

Эдвин взял аккордеон, пробежал пальцами левой по басам, заиграл любимую песню отца. Все дружно подхватили:

— Du, du liegst mir im Herzen,

Du, du liegst mir im Sinn...

И, пропев первый куплет, слаженно, в два голоса, громко затянули:

— Ja, ja, ja, ja

Wei vsst nicht, wie gut ich dir bin...

Пока пели, не заметили, как за спиной вырос могутный, упитанный полицай. Он тактично дослушал песню, щелкнул каблуками, вытянулся, дружелюбно всем улыбнулся и произнес коротко и картаво:

— Verboten!

Потом вежливо добавил, что любезные дамы и господа нарушают порядок, здесь, на газоне, располагаться не положено, для этого существуют скамейки вдоль дорожек и

горланить во все горло тоже не рекомендуется. Ordnung есть Ordnung.

— Verstehen, — закивала головами компания.

— Энтшульдиген.

— Ja, ja, wir gehen weg.

— Сейчас, сейчас смоемся.

— Исчезнем, испаримся.

Полицай опять щелкнул каблуками, похлопал резиновой дубинкой по ноге, поправил ремень и откланялся.

— Топай, топай... к матери..!

— Балда!

— Да пошел он в ашлох! — проворчали ему вслед.

Наступившей паузой воспользовался неугомонный Оскар.

— «Шпрехен зи дойч?» — спрашивают у аусзидлера-русака. «Ja, ja... Отваливай!»

Улыбнулись анекдоту.

— «Ты говоришь уже по-немецки?» «Только со словарем. С людьми пока стесняюсь».

Рассмеялись, приходя немного в себя после визита полицая.

Тяпнули. Крякнули. Закусили.

Катенька задумчиво перебирала струны гитары, нащупывала новую мелодию. Набрела на «Надежду». Проникновенно, негромко запела:

— Светит незнакомая звезда,
Снова мы оторваны от дома...

Песня брала за душу. Все ее помнили по исполнению соплеменницы Анны Герман.

— На-дежда — мой компас земной...

У женщин повлажнели глаза. У мужчин перехлестнуло горло. «Снова мы оторваны от дома», — шептал про себя Карл Деграф.

Он молча посасывал пиво, и веселье компании ему никак не передавалось.

А Оскар продолжал травить анекдоты.

— В Казахстане один мужчина пытался без очереди взять вино. Продавец кричит: «Ты что, умнее других, что ли?» «Да, — отвечает мужчина, — я три языка знаю!» «Тогда скажи что-нибудь?» «Варум вермут жок?»

— А-ха-ха!..

— Йо-хо-ххо-о!... — оживилась компания.

Еще раз сдвинули пластмассовые бокальчики. Вздрогнули. Опять крякнули. Заели ананасом. Опорожненные бутылки из-под пива валялись на газоне, точно поверженные солдатики.

— Спрашивают у аусзидлера из Казахстана: «Как переводится город Алма-Ата?» «Отец яблок!» «А как по-казахски Дед Мороз и Снегурочка?» «Колотун-ата и шалава-кыз!» «А как будет Баба Яга?» «Кошмар-Апа».

— Иа-ххха-хааа!..

— Ие-ххе-хее!..

— Хихи-хи-хи!..

— Господи, что тут смешного? — скривился Карл. — Глупости! Чушь!

— Ну, кому как... — осклабился, обидевшись, Оскар.

Катенька набрела вдруг на плясовую. Лизонька, уже в багровых пятнах, разлохмаченная, поправляя съехавшую на бок юбку, пустилась в пляс, взвизгнув на всю округу:

— Как за нашим, за прудом
Громко утки, крякают.
Меня миленький е....т,
Только серьги звякают.

— Уа-ха-хх-ааа! — залились, зарделись женщины.

Скосившись на дядю Карла и громче ударив по струнам, выдала частушку и Катенька.

— Не любите, девки, море,
А любите моряков.
Моряки е...тся стоя,
У скалистых берегов.

— Ие-ххе-хеее! И-хи-хи!..

Эдвин, должно быть, догадался, что подвыпившие женщины сейчас и вообще ударятся в похабство, и тогда с

ними сладу не будет, пока не исчерпают весь российско-казахстанский репертуар.

— Ладно, уймитесь. — Он растянул меха аккордеона, кинул пальцы по клавишам. — Давайте нашу... разудалую.

И запел:

— Lustig ist das Zigeunerleben

И все подхватили во всю мощь.

— Faria, faria-a!

Подключился Оскар:

— Brauch'n den Kaiser kein Zins zu geben

И снова все дружно гаркнули:

— Faria, faria-a!

И опять, как из-под земли, вырос полицай. Серьезный, строгий, но неизменно вежливый.

— Meine Damen und Herren! Хорошо поете, слов нет. Wunderbar!.. Aber... Но место, должен сказать, выбрали неправильно. Здесь не положено. Verboten! Verstehen sie?!

— Ферштейн, ферштейн... милостивый Херр! — начал было кривляться Оскар, но полицай его игривого настроения не поддержал.

— Полагаю также, что вы не цыганский табор, хотя и прелестно воспеваете цыганскую жизнь.

— Сор-ри, айм сор-ри, mein Херр! — продолжал ваньку валять Оскар.

— Я предупредил. Ordnung muss sein!

— Но... мы ведь ничего не нарушаем, герр полицай. Мирно отдыхаем...

— Не положено! Verboten! Здесь не казахская степь и не туркменская пустыня!

— А где же ваша хваленая свобода? Где права человека? Что, уже и петь нельзя?

— Здесь общественное место.

Полицай изобразил предел возмущения. Ему было досадно, что он обязан этим пришельцам, этим бестолковым аусзидлерам с востока, не умеющим вести себя, как подобает цивилизованному человеку, этим горластым русским с дикими манерами, не знающим меры в гульбе... о, майн Готт!.. напоминать простые вещи и взывать к человеческой совести и порядочности.

Полицай опять ушел, нервно похлопывая себя по ноге резиновой дубинкой и что-то бормоча про себя. Изрядно разогретые, почти готовые к неведомым подвигам аусзидлеры из Казахстана, вошли в кураж, вспомнили вдруг про ущемление своих гражданских прав.

— Да п-п-пошел ты в... в... вагину!

— Фашист недобитый!

— Будет еще нас порядкам учить.

— Чистоплюй! Дармоед!

— Мы тебе, блин, такой орднунг устроим, мало не покажется.

— Холуй засранной Германии!

Карлу Деграфу стало неловко. Укоризненный взгляд вежливого полицая точно прожег ему нутро. Он встал, отряхнулся.

— Я пошел... Вы хоть приберите за собой. Устроили свинарник!

Пикник разладился. Не хотелось уже ни есть, ни пить, ни петь.

— Цум Тойфель! Нашему брату и в Европе ходу нет.

Все стали спешно собираться по домам. Эдвин зачехлил аккордеон. Женщины собирали пустую посуду в сумки. Газон был истоптан, искорежен.

— Двое покупателей стукаются тележками в магазине, — начал Оскар очередной анекдот. — Один говорит: «Ух, блядь! Энтшульдиген!» Другой отвечает: «Ни хрена! Махт нихтц!»

— Уймись! Оставь свои остроты на следующий раз.

Ночью Карлу приснилось — уже не впервой — тягостный сон. Будто он задержался где-то в гостинице. Командировка кончилась. Срок вышел. Он должен освободить номер. И служащие отеля смотрят на него косо. Ни в столовую,

ни в туалет не пускают. Он должен уехать, уехать, уехать. И вещички уложены. Но у него нет билета. И никак не сообразит, как ему добраться до аэропорта. А самое скверное: он не знает, куда лететь. Вокруг него суетятся вроде как все знакомые. Но его почему-то в упор не замечают. Он никому не нужен. Не нужен! Он растерян, потерян. Задержался в чужой гостинице, куда неизвестно, как попал. А время от времени перед ним вырастает грозный немецкий полицай, упитанный, рослый, в новенькой униформе и, тыча в него пальцем, рычит: «Verboten!»

Сон длился долго. Вновь и вновь.

И, просыпаясь от мучительного сна, Карл Деграф ошалело спрашивал себя:

— О, кудай-ай, где я?!

Глава семнадцатая

Из больницы, именуемой в просторечии «совминовской», Мамбет Казиевич вышел через полмесяца заметно ослабевшим и измочаленным. Лечили его усердно, с подчеркнутым пристрастием, и он догадался, что все врачебные услуги щедро оплачивались сыном. Вокруг Мамбета Казиевича белые халаты роем роились, благоговейно шептались: «Отец Адилова», «Какого?» «Того самого!» И врачи улыбались, высказывали учтивость и внимание, шутили: «Оу, Маке, разве жильцы элитного дома хворают?», «Это у вас, должно быть, аксакальские капризы». Сестры, санитарки увивались у его койки стайками. Мамбет Казиевич смущался, неловко было перед сопалатником, бровастым, желчным и ворчливым профессором, сходу внушавшим соседу экономическую несостоятельность независимого государства, строящего свое будущее исключительно на продаже сырья. «Эдак лет через двадцать-тридцать все кончится, и мы сядем в галоши. Правда, нам с вами уже ничего не грозит». Это профессор говорил всем и при этом устрашающе-сурово хлопал своими густыми, как усы, бурыми бровями. Своими экономическими лекциями он навевал тревогу и тоску, и Мамбет Казиевич обрадовался, когда по распоряжению главного врача его вскоре переве-

ли в отдельную палату-люкс на четвертом этаже с телефоном, телевизором, холодильником, коврами, диванчиками-креслами, сервантом с дорогой посудой, с письменным столом. «И зачем больному такая роскошь?!» — недоумевал Мамбет Казиевич. «О, здесь обычно располагается писатель Абди Джамилев, — с придыханием объяснили ему. — Здесь он переписывает свой старый роман». В этой палате Мамбет Казиевич и проводил все больничные дни, как в заточении. Здесь же он сдавал всякие анализы, принимал процедуры, горстями глотал таблетки, уставясь в телеящик, подолгу пил чай и листал разные глянцевые журналы, которыми исправно снабжал его насмешливый внук. Сюда же доставляли еду.

Раза три наведывался Бахыт, окруженный медицинскими светилами. Занес пухлую любопытную книгу иностранного автора «48 законов власти». Книга читалась как остросюжетный роман.

Арыстан заглядывал по пятницам, приходил с большой сумкой, набитой всякой вкуснятиной, распихивал все по холодильнику, по шкафам.

— Куда это все, айналайн? — поражался Мамбет Казиевич.

— Ешьте, сэр Песталоцци. Поправляйтесь, — ерничал по привычке внук. — Что останется — саулешкам отдайте. Еще крепче любить будут.

Всех симпатичных казашек внук именовал «саулешками» и «гулечками».

— Клево, однако, устроились Алтынсарин мырза! Так болеть можно. В туалет-то хоть сами ходите или?..

— Сам, сам, — улыбнулся Мамбет Казиевич, восхищаясь расторопностью и уверенностью не по дням мужающего внука.

— Я бы на вашем месте, сэр, и в туалет не ходил. Пусть саулешки обслуживают, коли им платят.

— Е, нет, брат! Сам пророк, сказывают, в таких случаях уединялся.

— То пророк. У него не было такого комфорта. А письменный стол зачем?

— Говорят, здесь Абди Джамилев свой роман переписывает.

— А кто он?

— Абди Джамилев — писатель известный.

— Первый раз слышу. Олжаса Сулейменова знаю, Есенберлина знаю. Еще... еще Магауин есть. А Абди Джамилева не слышал

— Ну, как же, Арыстанчик? — удивился Мамбет Казиевич. — Ты что? Это большой писатель. Лауреат.

— Лауреатов тьма, а Арыстан Адилов — один, — рассеянно отпарировал внук и бросился к телефону. — Ал-лё... Это ты, Дездемона? Я — Владимир Познер. Как? Соскучилась? Сейчас нарисуюсь. Готовься. Целую. Чао!

— Что за Дездемона? — полюбопытствовал Мамбет Казиевич. — Казашка?

— Смазливая кызымка. А у кызымок, господин Ушинский, национальности не бывает. Бывает только пол. Ну, я двинулся. Наслаждайтесь жизнью и не тужите, великий педагог всех времен и народов. Хуп!

В больнице Мамбета Казиевича так «загружали» всевозможными медикаментами, что уже на третьи сутки все у него выправилось — и давление, и сердце, и сахар. Ежедневно по часу-два он смиренно лежал под капельницей. Чего только в него не вливали! Поначалу он каждый раз спрашивал у сестричек:

— Это что? А для чего? Куда все идет?

Потом и спрашивать перестал, решив: ай, ладно, все, что ни делают, на благо. Любая таблетка свою хворь найдет.

Плохо только то, что в палате-люксе не с кем общаться. В соседней палате изнывал от творческих мук известный обезноживший поэт, который целыми днями вымучивал афоризмы. Иногда получалось складно, иногда — курам на смех. Некоторые афоризмы казались Мамбету Казиевичу чересчур плоскими и банальными: «Если проголодался — ешь казы, а мучит жажда — пей пиво», «Фосфор в рыбе, мудрость — у народа», «Если жена умна, твой ум останется при тебе», «Предков уважай и сам не плошай», «Труд — добро, воровство — грех». От подобных афоризмов Мамбету Казиевичу становилось тошно, и он поспешно удалялся в свою палату и читал остроумные и ехидные сентенции о законах власти. Особенно восхищала его вычитанная в этой книге китайская поговорка: «Когда дерево падает, обезья-

ны разбегаются». Он, Мамбет Казиевич, свидетель этой истины: сколько раз в его жизни рушились мощные дубы. И как врассыпную разбегались обезьяны, удобно устроившиеся на нем. Похоже, это правило на века.

Вечерами со скуки Мамбет Казиевич звонил домой, и каждый раз трубку поднимала Вильма.

— О, ата! Как себя чувствуете? Когда выпишитесь? В чем нуждаетесь? — по-казахски мило щебетала немка.

— Шукур, шукур, айналайн, — отвечал он. — Дома-то все благополучно? Все аман-сау?

— Аманбыз, ата. Бахыт Мамбетович срочно выехал в командировку. Лаура живет в другом месте. Зухра Ганиевна приезжает поздно. Арыстан пропадает у своей девушки. Любовь крутит.

— Какая девушка? Дездемона, что ли?

— Не-ет... — замешкалась Вильма. — ее зовут Камилла.

— Не дейды?! — поразился Мамбет Казиевич — Так ты, айналайн, одна в квартире?

— До обеда — Ольга, после обеда — я.

— Е-е... Солай де...

— А вам, ата, письмо.

— Из аула?

— Нет, из Германии. От какого-то Карла Деграфа.

— Что ты говоришь! Вот это радость!

Дома в первые дни Мамбету Казиевичу стало хуже. Жуткая вялость, плохой аппетит, быстрая утомляемость, боли в желудке, потливость преследовали его. И давление, нормализовавшееся в больнице, опять начало прыгать. Происходила настоящая ломка после интенсивного лечения в стационарных условиях. Врачи выписали ему тринадцать разных лекарств, и он исправно их глотал в разное время и последовательности. Это надоедало и удручало. После больницы он чувствовал себя опустошенным.

Тут-то его позабавил Арыстан.

Придя однажды после прогулки домой, Мамбет Казиевич испугался, увидев в прихожей огромного, мордастого пса палевой окраски. Пес сразу насторожился, привстал, огромный, как теленок, выставился на старика, вывалил от изумления язык, потом дважды зевнул, глухо рыкнул, как бы приветствуя пришельца. Пес был крупноголов, с притупленной мордой, грузен, ухожен, раскормлен.

Из кухни показался торжествующий Арыстан.

— Ну, как мой сюрприз?!

— Ой, аллай, откуда это чудище?

— Он не чудище, он — Майкл. Добрый, мудрый дог. Высота в холке 105 см. Вес 110 кг.

— Астафиралла! И зачем он?

— Он будет вашим верным другом, поводырем, охранником, великий устаз. Он скрасит ваше одиночество. Будете вести с ним педагогические и философские беседы. Он ведь все понимает и никогда не спорит. А прохожим внушает уважение и ужас. С ним тоже никто спорить не станет. Его аргументы — клыки. Здорово, правда?!

— Может, айналайн, и здорово, но неужели ты хочешь, чтобы я на старости лет собачником заделался? Смешно и стыдно!

— Вот-те раз! Для кого же я старался? Вы только посмотрите на Майкла. Он ведь готов вам служить верой и правдой.

Выяснилось, что закадычный дружок Арыстана, вундеркинд из школы особо одаренных, укатил с отцом-дипломатом за рубеж. Ну, и доверил любимца Арыстану. А что? Квартира большая, кормежка — не проблема, дедушке-пенсионеру опять-таки забава.

Майкл вытянулся во весь рост, встряхнул себя, подошел к Мамбету Казиевичу, тыкнулся в него мордой и степенно отошел в угол.

— Во! Знакомство состоялось! Встреча на Эльбе! — ликовал Арыстан. — Сократ! Платон!

— И где он, твой Майкл, поселится?

— Да у вас и поселится. Будет лежать у ваших ног и сторожить, как короля. Надежно!

— Нет, уволь, милый. Комната моя не псарня. Вот придумал!

С Майклом вышла морока. Никто в доме, кроме Арыстана, ему не обрадовался. Даже прогуливаться с ним никто не желал. И Ольга, и Вильма отказалась наотрез иметь с ним дело. «Не было такого уговора — за псиной ухаживать!»

Пришлось с Майклом возиться самому Арыстану. Несколько дней он гулял с ним по улице, ведя его торжественно на поводу. Прохожие шарахались от них, дети испуганно

таращили глазенки. Огромный, раскормленный дог со свирепой мордой чудился им страшным зверем из сказки.

Однажды озорства ради Арыстан повел Майкла в школу, провел в класс, привязал к задней парте и приказал: «Сидеть!» Классная руководительница, увидев в классе дога с вываленным языком, едва не лишилась сознания. Директор сказал:

— Это, дорогой Адилов, уж чересчур оригинально!

Майкл чувствовал, что он пришелся не ко двору. Смотрел на всех сурово и укоризненно. В слезящихся глазах его застыла скорбь: «Эх, вы-и, люди! Вы хуже собак!»

От скуки и чувства своей ненужности Майкл неприкаянно слонялся по большой квартире, оставлял там-сям большие лужи и оглашал дом зычным рыком и воем.

Мамбет Казиевич пожалел Майкла, но не представлял себе, как он ходил бы с ним по аллее на смех завсегдатаев.

Кончилось тем, что Рихард отвез удрученного Майкла на виллу в горах, передав его на попечение бородатому Аслану.

А Мамбет Казиевич снова стал встречаться с завсегдатаями площади Чокана. Особенно сблизился с историком Есенаманом. Историк был человек бывалый, тертый, начитанный, лично знавал почти всех казахских знаменитостей 40-80-ых годов прошлого века. Умел увлеченно и красочно рассказывать любопытные случаи из их жизни. Слушать его было интересно. Когда он предавался воспоминаниям о своих славных собутыльниках, светлое, мясистое, сонное его лицо одухотворялось, мышиные глазки лучились, голос обретал живые оттенки, речь становилась цветистой, перемешанной поговорками, неожиданными сравнениями, незатертыми цитатами из Абая и Ауэзова. Но по причине тугоухости беседовать с ним было сложно. Каждое слово приходилось прокрикивать по нескольку раз на пределе голосовых связок, пугая прохожих, детей и скворцов на елях. Даже собаки за железной оградой возле Института химии настороженно озирались и поджимали хвосты. У собеседника Есенамана уже через десять минут поднималось давление. Жил историк бедно, байбише свою похоронил, а с новой женой отношения складывались не лучшим образом. Современность не воспринимал, жил прошлым, когда

и люди были добрее, крупнее, и водка слаще, и отношения высокими и благородными, не чета нынешним.

— Я человек XX века. Там и остался. XXI-й мне чужд. Он скверно начался и скверно кончится. Прогресс, конечно, будет, но люди выродятся, деградируют. Уже сейчас видно. Все стали черствые, агрессивные, завистливые, жадные, все помешаны на деньгах, на наживе. К добру это не приведет, нет, нет, — утверждал он громким, ворчливым голосом. — Все вздор, все мишура. Суета сует. Ежегодные послания Большого человека кому нужны? Планы, прожекты — сплошной обман. Речи чиновников — сплошной треп. Книги кому нужны? Никто ничего не читает. Вот хотел задарма отдать школе двести томов казахских книг — не будут! Зачем? Все это мусор. У всех сейчас на уме только деньги. Каждый норовит схапать что-нибудь. Ой-бай-ау, все хорошее, что было, — в прошлом. Все сказал Абай. И Абая больше не будет. Семьсот членов Союза писателей Казахстана не стоят одного Мухтара Ауэзова. Поэты пишут вздор, дребедень. Особенно возмущают меня поэтесски. Сколько их расплодилось! Ей бы детей рожать, а она стишки кропает. Срам! Науки нет. Просвещение курам на смех. Кругом взятки, поборы, лихоимство. Ложь и фарисейство!

Щекастое, серое лицо Есенамана пошло пятнами. Мамбет Казиевич не возражал, слушал, изредка кивал головой, однако не соглашался в душе со столь категорическим суждением.

— Тогда что же делать, Есеке? — спрашивал старый мугаллим осторожно.

— А ничего! — еще более распалялся историк, и седые бровки его ощетинились. — Ни-че-го! Все бессмысленно, все бесполезно. Такой заман! Остались лишь шкурнические интересы. Бедняк хочет стать баем, бай — кудаем. Но бедняку ничего не светит. Его доля — банальное выживание.

— Оу, Есеке, да вы черное небо обрушили на наши головы. Для чего-то, наверное, люди живут?

— Напрасно все. Обман. Туман. Мишура. Все прошло, минуло. Еще Абай сказал: грядущее скрыто туманом от нас.

— Ай, Есеке, столько вы видели, столько знаете. И тюрьму познали, и ссылку. Вам бы все это предать бумаге. Потомки благодарили бы вас.

— О, Аллах, о чем вы говорите, Маке?! Кому это нужно? И так ныне все, кому не лень, воспоминания пишут. Врут напропалую — читать тошно. Все писатели, историки, философы, политологи. Хотите и меня к ним толкнуть? Спасибо! Увольте! Все вздор, глупости. Боже упаси! Было время — писал. Хватит! Довольно!

— Ойпырмай, Есеке-ау, так ведь нельзя — мутовкой печаль-тоску взбивать, как кумыс. Вы уж чересчур пессимист.

— Что-о?! — вскинулся Есенаман, и лицо его вздулось, побагровело. — А вы — оптимист?.. Ну, да, конечно, я влачу жалкое пенсионерское существование. Половина пенсии уходит на коммунальные услуги, еще половина — на лекарство. Базар горит. От детей проку нет, сами копейки считают. Так, понятно, я пессимист. А вы в элитном доме обитаете. Сын — крутой. Дом — полная чаша. В горах вилла. О том, что есть, что пить, голова не болит. Больница — пожалуйста. Курорт — пожалуйста. Куда надо — машина у подъезда. Вот вы и оптимист. А я неудачник, недотепа, нищеброд. Я — пессимист! И вы хотите, чтобы я тоже плясал? С какой такой стати? «Пес-си-мист»! Будешь тут пессимистом, когда бродишь на обочине бытия еле-еле душа в теле...

— Я не то хотел сказать, Есеке, — примирительно заметил Мамбет Казиевич, досадуя на себя. «И зачем надо было заводить этот разговор?»

— Ладно. Знаю, что вы хотите сказать. Уж коли вам выпала удача жить в элитном доме, то и помалкивайте. Оптимист нашелся. От таких оптимистов и все беды на наши головы...

— Ну, Есеке, зачем так? Согласитесь: жизнь ведь не из одного черного цвета состоит. Не так ли? Вон возьмите Карпеке, Даке, Исеке, Гереке, Куатеке... они же не так рассуждают.

— А что им? Они ловко устроились, приспособились к этой жизни. Своего не упустили. Дети их — шустряки. Байбише при них. Внуки тоже судьбу оседлали. Везунчики! Оптимисты! А я, пессимист, с чего бы это ликовал, свой засаленный борик в небо закидывал?! А?..

Разговор не клеился. После беседы с Есенаманом Мамбет Казиевич еще больше расстраивался и избегал встречи

с ним. И желчный историк это почувствовал и еще издалека, бывало, задирал его.

— А-а... салем, оптимист-старик из элитного дома! Благоденствуете? Процветаете?

И завсегдатаи площади Чокана при этом деликатно улыбались, и эти смешки задевали Мамбета Казиевича за живое: действительно, из всей этой компании в элитном доме обитал он один.

Что и говорить-то? Конечно, люди живут очень поразному. Новая жизнь четко определила водораздел между разными слоями общества. Это и слепому видно. У каждого свой удел. Но если лично у тебя жизнь не сложилась, то другие, наверное, в том не виноваты. И вообще кого винить? И разве справедливо набрасываться на всех подряд и отрицать все?

Отражение бесед с незадачливым историком Есенаманом Мамбет Казиевич находил и в газетах. Одни писали только о плохом, изображали сплошь уродство. Не замечали ни одного лучика надежды. Казалось, вот-вот обрушится небо, разверзнется земля и погаснет солнце. Можно было подумать, что эти газеты выпускались для одних ипихондриков и анахоретов. В других газетах сплошь восторг, ликование, успех, планов грамадье. Получается, что мы самые-самые, не только в СНГ, но и на двух континентах, и не сегодня-завтра ворвемся в число пятидесяти богатейших, продвинутых государств, а Астана, считай, вот-вот окажется среди тридцати красивейших столиц мира. Ах-ах, ох-ох, пай-пай, такие темпы развития ни одной стране еще не снились. Ну, разве что Китай маячит на горизонте. И то еще как посмотреть. Потому что наши приоритеты всем приоритетам приоритет. Читаешь и диву даешься: господи, к чему нам еще стремиться, когда уже сегодня достаем макушкой до неба. Аульному мугаллиму Мамбету Казиевичу кажется, что для хвальбы-спеси особого резона нет. Достаточно вспомнить положение аулов, походить по базару, посмотреть на казахов, сбитых с толку, изнуренных поисками пропитания, на бездомных, неприкаянных, угодивших в одночасье в рыночную кутерьму. А если учесть тех, кто промышляет проституцией, воровством, рэкетом, разбоем, копеечной торговлей, прибавить сюда больных и сирых,

искалеченных, потерявших кров, осужденных, лишенных мало-мальских надежд, пенсионеров, ждущих кормешки, одиноких матерей, вдов, прозябавших без кормильцев... ой-бой-бой... душа содрогнется. Выходит, ворчливый историк Есенаман не так уж и неправ. Раньше все это не так бросалось в глаза, ибо было равенство бедных, теперь же все обнажилось, воспалилось.

Есенаман изо дня в день варьировал одни и те же идеи, и его бесконечный «а-ляу-ляй» вскоре наскучил. Все существо Мамбета Казиевича воспротивилось его унылым проповедям. Интереснее было внимать рассуждениям Гереке, немца-литератора, с детства выросшего среди казахов аула. Он активно печатался в газетах, налево-направо давал интервью, и то, что он говорил и писал, как-то ложилось на душу. Он вещал простые истины, но они убеждали. При этом он их не навязывал, никого не хватал за глотку, а только их излагал: хочешь — соглашайся, не хочешь — дело твое, оставайся при своем мнении.

— Ай, Маке, согласитесь, все зависит от властей. Да, да. Точнее, от ее компетенции. Случайный человек во власти — сущая беда. Недоумение. Дилетант в политике — нонсенс. Дров наломает — целому поколению пурхаться.

— Спору нет, — соглашались с ним собеседники. — Уж больно сложное дело — руководить народом.

— Да. Непростое. Всем не угодишь. Но есть одно основополагающее правило — не врать. И не считать, что народ — быдло, что если ты во власти, то ты уже умнее всех, что можешь ляпать что попало, что любая ложь — пройдет. На этом заблуждении свернули себе шеи многие горе-владыки.

— На словах это просто, а на деле: где власть, там и ложь. Они сестры-двойняшки.

— Не врать власть просто не может. Тогда она не власть.

— Неужели можно построить общество без лжи? — возражали старики-собеседники.

— Кто его знает? — не спорил Гереке. — И все же стремиться к этому надо. Ведь за последние годы мы слишком привыкли к тотальной лжи. Вот в чем беда-то. Выросло целое поколение, убежденное, что ложь — это и есть правда.

— Дело в том, — вклинился в беседу Алексей Григорьевич, по прозвищу «Рыбак», — что у всякого Павла своя правда.

— Верно. Правда Мыркымбая для Ивана — кривда.

— И кто определит, где правда, где ложь?

— Кудай!

— Кудай — да. Но ведь по каждому поводу к нему не обратишься.

— Но существует же иман. И он должен быть у каждого в сердце.

— Иман, говоришь? Вон спросим у ребят, что такое иман.

Длинную скамейку под елью облепила стайка подростков. Один терзал расстроенную гитару и невпопад пел какую-то нескладицу про утку «кря». Подростки подтягивали дурными голосами и поминутно дурашливо похохатывали. Двое курили и обильно плевали под ноги. Двое тискали разлохмаченных, раскрасневшихся девчонок, усадив их себе на колени. Все подростки, как на подбор, были черноглазые, скуластенькие, сытые и ухоженные. Должно быть, сиганули с уроков и предавались кайфу под весенним солнцем. Басили и щебетали все по-русски.

— Эй, балалар-балапандар, — обратился к ним Мамбет Казиевич. — Чем занимаетесь?

— Сижу — куру, — хохотнул один остряк.

И все за ним расхохотались.

— Отдыхаем, балдеем.

И опять всей ватагой дружно гоготнули.

— Вы учитесь в казахской школе?

— Кто урусча, кто — казахча.

— Скажите: у вас иман есть?

— Что-что? Иман? Баксы, что ли? Ахчи?

— Иван — есть, иман — нет, — ответил хохмач. — Да и Иван — черный.

— Ха-ха-ха... — взгоготала-взорвалась веселая ватага.

— Эх, аташки... Не Иман, а Имангали.

— Какой Имангали? — не понял юмора Мамбет Казиевич.

— Мэр города, аташка. Мы его называем «Тас». Вó парень, между прочим. На гитаре тренькает и поет клево.

— А-а-а... Нет, айналайн балалар. Я не про то. Я про иман в душе.

Ватага озадаченно задумалась.

— Нет у нас имана, аташки, — опять первым отозвался хохмач, щекоча обнаженный пупок осоловелой девчонки.

— Был, да сплыл.

— Ха-ха-ха! — взревели все разом.

— Ну, ладно... Продолжайте ваш кайф... без имана.

— Чао, аташки! Не кашляйте!

Старики пошли восвояси чертить круг за кругом вокруг памятника Чокану.

— Откуда ж им, детям асфальта, знать про иман. Они и слова такого не слышали. Почитали бы Абая — знали бы.

— Для них и Абай — всего лишь бабай.

— Коли мы строим правовое государство, — продолжал Гереке, — надо прежде всего научиться не врать. Говорить всегда народу правду. Чего бы это ни стоило. Декларировать демократию, а править по-хански — вещи несовместимые.

Дома, наедине, Мамбет Казиевич проигрывал в уме все «скверные» беседы завсегдатаев сквер Чокана, соизмерял их высказывания по тому или иному поводу с броскими сентенциями и притчами из книги «48 законов власти» и предавался долгим раздумьям. Они восторгались своей обнаженной откровенностью, пронзительной мудростью и усугубляли его тоску и одиночество.

«Заставьте ваших начальников казаться более блистательными, чем они есть, — и вы достигнете вершин власти».

«Держите людей в потемках, в состоянии неустойчивого равновесия, никогда не раскрывая подоплеку своих действий. Пребывая в неведении относительно того, что вы хотите предпринять, они не смогут обеспечить себе защиту. Заведите их подальше по ложному следу, напустите тумана, и к тому времени, как они осознают ваши намерения, будет уже слишком поздно».

«Всегда говори меньше, чем кажется необходимым».

«Любой минутный успех, которого, как вам кажется, вы добились в споре, оборачивается пирровой победой. Куда эффективнее можно заставить других согласиться с вами, если действовать, не произнося ни слова. Показывайте, а не объясняйте».

«Старайся, чтобы люди зависели от тебя».

Автор-англичанин, умный циник, давал власть предержащим советы, которые поразительно обнажали суть ее, власти, первоначальной природы...

Огромная квартира в элитном доме неожиданно обезлюдела. Бахыт все чаще пропадал в Астане и поговаривал, что — по всему — предстоит ему года два-три поработать в правительстве. Отцу он признался:

— Не нравится это мне. Чем ближе к власти, тем опаснее. Я ведь, сам знаешь, в казахских интрижках не силен. Но не могу не уважить просьбу Большого человека. Говорит: реформы плохо идут.

— Надеюсь, балам, найдешь способ смыться оттуда вовремя.

— Хотелось бы...

Лаура завершила учебу и устроилась в какой-то фирме юристом и переводчиком. Через год-другой намеревалась податься в Америку на поиски счастья. Домой она приходила редко, и Вильма доверительно сообщала, что ее кратковременный роман с Сержом-проходимцем сам по себе закончился, иссяк, истаял, и это, мол, была глупость, случайный эпизод, от которого, кроме досады, ничего не осталось. Наваждение какое-то. Кому и что она хотела доказать, пустившись на связь с законченным прощелыгой? Может, матери хотела открыть глаза такой ценой?..

Зухра Ганиевна вскоре взяла себя в руки и нашла себе другое увлечение: посещала какие-то экзотические кабинеты здоровья, вошла в клуб деловых женщин, не пропускала шоу-тусовок для избранных, затеяла глянцевый журнал для элитных дам, небезуспешно играла роль светской львицы, чем, кажется, очень гордилась. Часто звонил ей хриплый бас с явственным иностранным акцентом. Мамбет Казиевич с раздражением отвечал неизменно: «Нет ее!», на что бас, глотая «р», рокотал: «Пардон».

Арыстан грезил об одном: скорее бы закончить постылую школу и укатить в Швейцарию на платные и дорогущие американские курсы в дивном горном ущелье, где учатся отпрыски важных особ. После двух лет учебы и речевой практики ему, дескать, откроется путь в американский университет и тогда он в гробу видел провинциальный Алматы с его сексуально озабоченными саулешками и гульками.

А пока похаживал к своей Дездемоне в крайнем подъезде, успешно освоил премудрости любви и по всему — такое времяпрепровождение ему было по душе. Парень откровенно сибаритствовал, ни в чьих советах-назиданиях не нуждался, раскатывал на новенькой «Тойоте», был в курсе всех городских сплетен, вращался в кругу таких же пресыщенных шалопаев, но учился, кажется, легко, играючи, все хватал на лету.

Мамбет Казиевич уверял знакомых: при мало-мальской усидчивости у малого есть все шансы взлететь высоко. Он явно из тех, кто своего не упустит.

Выяснилось, что и Вильма надумала уехать в Германию к брату. И Ольга, было видно, неинтересно стало копошиться в большой, опустевшей квартире. Рихард возил кого-то другого. А виллу в горах арендовало германское посольство.

И слонялся день-деньской по несуразно просторной квартире один Мамбет Казиевич, и одинокие шаги его отзывались гулким эхом, пугавшим его. Он был предоставлен самому себе, в сущности никому не нужный.

И это угнетало его больше всего. Он чувствовал себя сторожем покинутого стойбища. Очаг почти потух, и одинокий старик ворошит пепел былого и слезящимися глазами вглядывается в зыбкую даль.

У каждого из домочадцев была своя жизнь, свои заботы и забавы. И только у Мамбета Казиевича не оставалось ничего.

Он понимал: жизнь на исходе, а надо бы прожить ее остаток достойно. Нет ничего страшнее и позорнее гнусной старости.

Он все более тосковал по аулу, который упорно мерещился манящим зеленым причалом его долгой жизни.

Глава восемнадцатая

Письмо Карла Деграфа из немецкого городка вблизи Бонна было написано по-казахски, незатейливым разговорно-бытовым языком, как Бог на душу положил, с жуткими орфографическими и синтаксическими ляпами. Карл был мастак по тракторам всевозможных марок

и борозды тянул по казахским просторам ровненько, как по линейке, а с пером и бумагой, сразу бросалось в глаза, был явно не в ладу. Строки ложились вкось и вкривь, нагромождались друг на дружку, буквы торчали там-сям, как пучки блеклых волос на голове, изъеденной паршой. А слова дробил-переносил, будто сухостой ломал через колено. «Ассалаумагалейкум» едва поместилось на трех строчках. И плотный лист германской бумаги был истерзан, измят, искорежен, весь в сальных пятнах, словно Карл прошелся по нему сначала трактором, потом старательно отгладил катком. Адрес на конверте аккуратно вывел кто-то другой, явно ученическим почерком, и кириллица перемежалась с латиницей.

«Ассалаумагалейкум, бауырым, старший брат мой Маке! — торжественно начал свое письмо Карл Деграф. — Благополучны ли скот и душа? Надеюсь, в тепле и уюте, в полном здравии поживаете среди детей и внуков в благословенном Алматы. Адрес прислала мугаллимка айналайн Куляш из аула. Шлю свой салем из далекой Германии, с которой вы когда-то воевали .Шукур Кудаю, мы здесь все аман-сау. Живем все близко. И я гощу то у Эдвина, то у дочерей. У всех своя квартира. Только работы нет. Все живут на социалке, я — на пенсии. Ничего, жить можно. Эдвин еще на русских свадьбах на аккордеоне играет. Наших немцев здесь много...»

Мамбет Казиевич представил Карла, рослого, костлявого, непоседливого, в уютной германской квартире, в чистой рубахе, в черном жилете с блестящими пуговицами, за столом, покрытом накрахмаленной праздничной скатертью, с вазочками, с цветами... благодушный, умиротворенный, гладко выбритый, надушенный, благополучный, самодовольный немецкий бюргер. Наверняка не похож на того аульного Карла с неистребимыми мазутными пятнами на раздавленных работой руках. Рядом дебелые, расфуфыренные дочки Эльма и Зельма, длинноносый вертлявый Эдвин с неразлучным аккордеоном, внуки, разодетые, как ангелочки. Едят бананы, пьют соки, беседуют, смеются. Такая вот немецкая идиллия. Мамбет Казиевич вздохнул.

«Все хорошо, — писал Карл дальше. — Германия — страна богатая, обихоженная. Но, честно, все не по мне. Трава здесь не пахнет, ветер без степного духа, и тесно, сыро, бесконечные дожди, а я тоскую по простору, по солнцу. И хлеб не такой, как у нас, и мясо без вкуса, колбаса — сплошь крахмал, бумага, соя и добавки. Никакой силы нет. Как силос. Не то, что казы или карта. Кружочек съел и целый день сыт. А здесь только и делают, что бананы жрут, как обезьяны.»

Бедный тракторист Карл! Всю жизнь пропадал в поле, в степи. Дышал всей грудью. Прожарился степным солнцем. Прокалился вольными ветрами. Привык к немудреной и здоровой казахской пище, которая бодрит, плоть силой наливает. Он, помнится, не был охотником до фруктов-овощей. Говорил в шутку: «Траву пусть казахи едят. А мне мясо давай». Там, в Германии, действительно, булочки, кофе, соки, бутерброды, йогурт, бананы. Чашечки, розеточки, тюбики, тарелочки, соусы-моусы, салфеточки, обезжиренная жвачка. Тьфу!

«Все чужое. Красиво, но не радует, — продолжал изливать свою душу Карл. — Поначалу все удивляло. Думал: рай. Потом приглянулся и затосковал. Для кого-то, может, и рай. Дети, внуки довольны. Привыкли, приспособились. А мне все не так. Не по-нашенски. Скучно. Здесь никто никому не нужен. В гости по-людски не сходишь. Каждый сам по себе. Такая вот свобода...

Что я делаю? Ни-че-го! Дурака валяю. Хожу, брожу, как неприкаянный, сплю, пиво пью. На рыбалку — нельзя. В лес — нельзя. Такой порядок. Плюнуть — и то негде. Местные нас за немцев не считают. Русскими называют. А меня и вовсе в казахи записали. Дети смеются: папа, мол, привык жить в ссылке. Зачем, дескать, ему Европа».

Мамбет Казиевич расчувствовался, снял очки, протер глаза. Если немец Карл по аулу тоскует, то каково ему казаху-степняку?.. Выходит, Карлу Германия чужда, а он, мугаллим Мамбет, в алматинском элитном доме не находит себе места. Карлу тесно в Германии, а мне — в просторной,

как аэродром, пустующей квартире. Ай, Кудай-ай, старческие капризы и причуды. Все продолжаем жить воспоминаниями о старом ауле, а нынче ведь все не то, не то, не то. Никак не можем смириться с тем, что и тот аул, и то время ушли-прошли невозвратно.

«А я действительно тоскую. Снятся мне аул, озеро, одинокая туранга, поле, лесочки, простор, запах полыни, могила Марии, дом. Потом хожу сам не свой. Эдвин говорит: ностальгия, пройдет. Не знаю. Дети живут как бы без корней. Летом решил посетить аул. Поживу, осмотрюсь. Сколько жить-то осталось? Хоть душу успокою. Может, и вы, Маке, завернете в аул? Славно было бы! Надумаете — дайте знать.

Детям, внукам вашим от всех нас салем. Будьте здоровы!

Ваш аулчанин Карл»

Письмо Карла Деграфа Мамбет Казиевич прочел с волнением, со слезами на глазах десятки раз. Прочитал его и завсегдатаям аллеи Чокана. И всех оно тронуло.

— Ай, бишара! Сердце до донышка раскрыл. Как на духу.

— Мы-то, находясь здесь, все не так обостренно воспринимаем. А на чужбине, конечно, душу саднит.

— Понятно: родное тянет, манит.

— Напишите вашему Карлу, Маке. И сами проведайте аул. Поразвеетесь. Хватит вам в элитном доме прозябать, как в тюрьме.

Мамбет Казиевич вздрогнул от этих советов, пришел в смятение. Он сам не однажды подумывал об этом. И давно тяготился своим одиночеством в постылой квартире. Мысль о том, что он обречен доживать свой век в элитном доме, постоянно ощущая свою ненужность, неизбывно грызла, подтачивала его душу.

Однажды, когда Бахыт на один день завернул из Астаны домой, Мамбет Казиевич после долгих колебаний зашел к сыну в кабинет. Тот, по обыкновению углубившись в бумаги, висел на телефоне, вел нескончаемые переговоры. На отца сын посмотрел отчужденно, поверх очков, будто не узнал его. Отец заметил, что сын поблек, осунулся, а курчавые некогда волосы поредели, лоб все более обнажился.

— Что, коке, есть дело? — спросил рассеянно, на миг отстранив от себя трубку телефона.

— Да, балам, надо бы поговорить.

Бахыт, не скрывая досады, наморщил лоб, бросил кому-то: «Извини... потом, потом.... Сам звякну».

— Слушаю, коке.

— Видишь ли, балам, какое дело. Вижу: тебе все недосуг. А тут и я еще не вовремя...

Затренькал телефон.

— Потом, потом, — ответил Бахыт. — Извините... — И кивнул отцу. — Давайте, коке, без лирических предисловий. Сразу быка за рога!

— Видишь ли, — сконфузился Мамбет Казиевич. — Как-то все шиворот-навыворот пошло в твоем... е-е... нашем доме. Тебя мы совсем редко видим. Лаура ушла. Зухрекелин я давно в тягость...

— Н-но-о...

— Нет, нет, не возражай. Я-то знаю, чувствую. Глаза видят, уши слышат, да и умом еще не тронулся. Арыстан сам по себе. За границу вот собрался. Теперь и Вильма, и Ольга уходят. И что получается? Получается, в огромной квартире я маюсь один.

— И тебе плохо? — побледнел Бахыт, с досадой приподняв и опустив тут же трубку на рычажок. — Одет, обут, сыт...

— Все это так, родной. Спасибо! Но для пожилого человека и это, оказывается, мало. Пойми: я всю жизнь был кому-то нужен. А теперь как пятое колесо в телеге. Пространство мое сузилось: комната, балкон да кухня.

— Этого недостаточно, коке?

— Недостаточно. Старому человеку дорого внимание, участие, ласка. Чувствовать себя обузой изо дня в день — тяжко.

Бахыт склонил тяжелую, лысеющую голову, пошуршал бумагами, вздохнул. Щуплый, тонкошеий, узкоплечий, усталый. Подросток с большой, мудрой головой. Мамбет Казиевич, глядя на сына, на миг почувствовал пронзительную жалость. Подумалось: и зачем я только затеваю этот разговор? Ведь то, что я сейчас сказал, знакомо и сыну: и ему, в его-то годы, не хватает того же внимания, душевного

участия, обыкновенной ласки. Не задалась семейная жизнь, не задалась. Нет у жигита надежной опоры, уютного очага. Как говорили предки: дурная баба, тупой кинжал и ленивая лошадь жигита утомляют раньше срока. И он, старый отец, ничем помочь сыну не в силах. И каково ему там, в столице? Один ли живет? Или нашел себе кого? Ай, вряд ли? Пурхается, небось, днем и ночью под неподсильным бременем государственных дел, в тенетах инвестиций и инноваций, экономических и политических реформ, которые идут туго, со скрипом, а то и вовсе буксуют? Много ли сладости в карьере, если человек лишен простого счастья и уюта? А тут еще он, древний пенсионер, со своими горестями. И то верно: иной старик довольствовался бы тем, что есть. Вот историк-бедолага Есенаман только мечтает о такой участи.

— Думаешь, коке, я не понимаю? — глухо, с трудом произнес Бахыт, подняв голову. В серых глазах его плескалась печаль — Думаете, душа моя не болит? Сам видишь, чего скрывать, жизнь с Зухрой не сложилась. И кого винить? Видно, я не смог дать ей, что надо. По всему, ничего уже не склеишь. Арыстан вот закончит школу, уедет учиться, у парня есть задатки, хоть и с ленцой. Буду ему помогать. Остальные обойдутся без меня. О себе пока не думаю. А о тебе голова болит. Знаю, вижу, чувствую — ты выбит из колеи. И душа не на месте. А что делать — не представляю.

— Вот об этом, балам, я и хотел поговорить. Знаешь, что я надумал?

Мамбет Казиевич сделал паузу, собрался с духом, с усилием выпалил:

— Пристрой меня в Дом престарелых...

— Что-о?! — аж подпрыгнул Бахыт. Лоб его покрылся испариной. — Что ты говоришь? В своем ли уме?!

Бахыт побледнел, глаза выпучились, и у Мамбета Казиевича внутри что-то оборвалось, холодок пронзил поясницу.

— А что? — сказал поникшим голосом. — Там неплохо. Был, узнавал. Опять-таки и люди кругом, условия...

— Выкинь, коке, эту глупость из головы! Как ты мог до такого додуматься?!.. Вздор! Чушь! При живом-то сыне, будучи казахом, в Дом престарелых?! Бог ты мой!

— Просто не хочу быть обузой. Вижу ведь: всем не до меня. Я как дог Майкл. Помнишь?

— Брось, коке! Ты не говорил, а я не слышал. Какая обуза? Кому ты помеха? Живи — не тужи.

Слезы обиды блеснули в глазах сына, и у Мамбета Казиевича замерло сердце.

— Ну, да... согласен, — продолжал Бахыт. —Внимания тебе мало уделяем. Но... образуется все. Вот получу квартиру в Астане, возьму тебя к себе... если жизнь здесь тебе в тягость. О Доме престарелых забудь! Всему нашему роду-племени позор. Скажут: сын-бизнесмен, государственный муж отца родного содержать не в состоянии, в Дом престарелых сплавил. Ты о том подумал, коке?

— Хотел, как лучше, балам, — пробормотал обессилено Мамбет Казиевич.

Наступила долгая пауза. Огромные настенные часы над дверью четко отбивали секунды. Бахыт молча склонился к бумагам, ничего, однако, не видя. Телефон на столе заливался-тренькал на все лады. И мобильник ежеминутно выпевал вкрадчивую мелодию.

— Успокойся, коке. Не рви свою душу. И меня не терзай. Для отчаяния повода не вижу.

— Может... может, мне в аул вернуться?

Бледная тень сошла с запавших щек Бахыта. Живой огонек блеснул в погасших было глазах.

— Другой разговор, коке. Только не вернуться, а проведать земляков... погостить... проветриться. Даже немного пожить. А вернуться надо домой... ко мне... к себе.

Бахыт порывисто встал, подошел к отцу, неуклюже обнял его.

— Не обижайся, коке. Поверь: и мне трудно. После злодейского убийства Сарсена никак не могу успокоиться. Потерпи. А в аул, если надумаешь, поезжай. Скажи только: все организую.

Мамбет Казиевич прослезился и, скрывая слабость, поспешно зашаркал к себе. Ему было жаль и сына, и себя.

...Прошло два-три месяца. С мыслью о жизни в Доме престарелых Мамбет Казиевич решительно расстался. Действительно, дурь, блажь. Должно быть, тронулся умом. Едва ли не опозорил сына. А дума об ауле его постоянно грела, манила, радовала. И Карлу Деграфу он написал простран-

ное письмо, намекнув, что нынешним летом они, пожалуй, могут встретиться, пожить у Куляш или в доме Карла, походить по гостям, поздравить новорожденных, выразить соболезнование семье умерших, погулять вокруг озера с одинокой турангой, повспоминать былое, прошлое, прочитать поминальную молитву на могилах Зуры и Марии. А там видно будет. Дети ведь на произвол судьбы их, стариков, не оставят.

Жильцов элитного дома удивил-потряс Арыстан. Кто бы мог о таком подумать?

Ранняя весна неожиданно обрушилась на Алматы. За несколько дней в городе растаял грязный снег, прилавки гор обнажились, потемнели. Солнце повеселело, синь раздвинулась. Вороны базарили во все горло. Скворцы затенькали еще до рассвета. В квартирах стало душно. Ранним утром по пустынным улицам гудели поливальные машины. Пожилой люд еще не успел стянуть с себя тяжелые дубленки, а молодежь уже бравировала в пиджачках и легких куртешках. Девчонки по моде обнажили синюшные пупки. Обтянули попки. Воздух загустел, кружил голову. Ноздри щекотал сладковатый запах набухших почек и пробивающейся зелени. Вечерами с гор медленно наползала сутемень.

В один из таких вечеров в комнату Мамбета Казиевича тихо пробрался Арыстан. Был он растерян и явно смущен. Несвойственная ему озабоченность застыла на его пухлом юношеском лице.

— Ата, — сказал он вдруг. — Ата... Есть дело...

— Е-е, не болып қалды?! — вырвалось у Мамбета Казиевича от изумления. Он уже привык к тому, что внук-балабол называл его Песталоцци, Ушинским, Ибраем Алтынсариным, великим педагогом, устазом-наставником, и вдруг — «Ата». Что такое произошло с парнем?

— Поговорить надо... — мямлил Арыстан. — Случилось, да... Это верно, ата, что доживший до правнука, непременно попадет сразу в рай?

— Ну, есть такое поверье.

— Тогда... тогда вам, ата, место в раю обеспечено.

— Что-о?!.. Как это? Лаура родила?

— О Лауре не скажу, а вот я, представьте, родил.

У Мамбета Казиевича едва не отвалилась челюсть.

— Что за шутки! Что мелешь?

— Ну, понятно, не я родил, а Дездемона. По моей, так сказать, инициативе.

Мамбет Казиевич на миг лишился дара речи. Внук по привычке молол языком, ерничал, однако, глаза выдавали растерянность и напряжение.

— Серьезно, что ли? Камиллочка? От тебя? И ты — папа?! О, Кудай, у тебя же губы еще не обсохли!

Дед не верил своим ушам. Внук сглотнул, поиграл желваками.

— Прошу без оскорблений. Мне, к вашему сведению, семнадцать лет. И я, по-вашему, не в состоянии ... это... ну... заделать ребеночка?! Плохо, однако, обо мне думаете!

— Кудай-ай! Как же это получилось, Арыстанчик мой?

— Можно подумать, ата, что вы не знаете, как это получается!

— Ну, даешь! Лихо! А Камилла что думала? Она ведь старше тебя.

— Дело в том, что она совсем не думала. А когда спохватилась, было поздно.

— С ума сойти! Кого же... сообразили?

— Сына! — горделиво выпалил Арыстан. — На меня похож. Как две капли воды.

Мамбет Казиевич обомлел. Он даже не знал, радоваться или огорчаться. Как всегда, при волнении озноб подкатил к пояснице, слабость ударила в колени. Вот, значит, где пропадал внук глухими вечерами. Пока родители-музыканты гастролировали за рубежом, дочь их ненаглядная время зря не теряла, охмурила шалопая. Вот куда завела его ранняя самостоятельность. Другие в его возрасте футбол гоняют во дворе, а он по девкам шастает. Тоже мне отец! Черт знает что!

Мамбет Казиевич лихорадочно соображал, как же быть, что же внуку посоветовать.

— Между прочим, Абай стал отцом в шестнадцать лет, — напомнил Арыстан. — Так что прецедент есть.

— Нашел чем и на кого равняться! — буркнул Мамбет Казиевич.

Ну, учудил! Выкинул номер внук! Как же о том сообщить Бахыту и Зухре, что скажут соседи и в какое русло направить это из ряда вон выходящее событие?

— Вот потому-то я к вам и пришел. Надеюсь, найдете способ деликатно доложить о том предкам. Без всяких ахов, охов, вздохов и нотаций.

— Легко сказать! Маму наверняка удар хватит. И отец вряд ли придет в восторг.

— Вот и проявите свою аксакальскую мудрость и педагогический дар. Как-никак путевку в рай я вам обеспечил.

— Еще и шутишь!..

Бахыт был в Астане, и Мамбет Казиевич поздно вечером решился-таки поделиться семейным секретом с Зухрой-келин.

— Келинжан, — заискивающе начал старик. — Я должен... вынужден... потревожить твой покой и сообщить нечто такое, что может тебя огорчить, а, возможно, и обрадовать.

— Что такое? — насторожилась Зухра.

— Наш Арыстанчик незаметно повзрослел и... и...

— Господи, что случилось?! — вскинулась Зухра Ганиевна, и краешек нижней губы ее мелко-мелко задрожал. — Неприятность?

Старик заметил: красотка-келин в последнее время поблекла. Мелкие паутинки обозначились возле глаз и на верхней губе. Взгляд стал настороженней, колючей. Да и новый окрас волос и причудливая стрижка совсем не молодили ее и не к лучшему изменили ее привычный облик. «Апырай, неужели из-за Сержа-трепача переживает?»

— Не знаю, как и сказать... Арыстанчик... Арыстанчик... такую шутку сморозил.

— Да говорите же... что натворил?

— Е-е... келинжан, натворил... сотворил... Это... ну, нежданно-негаданно... словом, отцом стал... а тебя бабушкой сделал.

— Что-о-о?!.. Ка-ак?!..

Зухру бросило в жар. Холеное лицо пошло пятнами. Она обессилено упала на кровать. Полы цветочного атласного халата на миг распахнулись, обнажив белые тугие ноги. Мамбет Казиевич смущенно отвел глаза.

— Солай, келинжан. Камилла родила от него сына.

Зухра точно окаменела. Щеки побагровели. Подбородок дрожал. Мамбет Казиевич растерялся, бормотал невпопад:

— Солай болды, келинжан-ау... Так, видно, рассудил Создатель.

— Создатель? Какой Создатель? Ах, Создатель! Но он-то при чем?! — машинально отозвалась Зухра. — Господи, убить меня, что ли, хотят? Что за беды на мою голову?!

Зухра долго бушевала. Вскакивала. Ходила из угла в угол. Пила минералку. Глотала валерианку. Вновь опускалась на кровать. Заламывала руки. Нервно запахивала халат на груди. Произносила что-то нечленораздельное. Возмущалась. Не могла успокоиться.

— А может, ребенок совсем не его? Мало ли что! Эта тихоня Камилла — птичка еще та. Соблазнила мальца. Ума не хватило предохраняться? Их ведь еще в школе учат. А дальше что? Отец! Только-только школу заканчивает.

— Келинжан, возьми себя в руки. Дело молодое. Все образуется. Ребенок-то не виноват. Обмозгуйте все с Бахытом. Нельзя травмировать Арыстанчика. Он и так нос повесил.

— Сопляк! Обалдуй! Насмотрелся, начитался всякой дряни. Любовник задрипанный! Куда эта скрипачка Анжела смотрела? За дочкой не уследила. Гастролерша! Голову потеряла с молодым мужем. Где Арыстан? Я с него три шкуры спущу. Мигом забудет про всяких девок!

Зухра дождалась-таки сына, заперлась с ним в спальне и, видно, долго снимала с него стружку. Арыстан вышел от нее поникший, взмыленный, тише воды, ниже травы.

Наутро, еле переждав ночь, Зухра приоделась и помчалась в роддом посмотреть на новорожденного.

Вернулась взволнованная, возбужденная. И потрясенно оповещала подруг по телефону:

— Ну надо же! Надо же! Ребенок — копия Арыстана. Точно изо рта его выпал. Такой же лопоухий, скуластенький, черноглазый. Крепыш! Подумать только! А Камилла — дуреха. С косметичкой не расстается, в зеркальце поминутно себя разглядывает, марафет наводит. «Молоко есть?» — спрашиваю. А она глазищами луп-луп. «Какое молоко?» — говорит. Мамаша!..

Но голос Зухры Ганиевны явно потеплел. Душа, видно, оттаяла, смягчилась. Первоначальный шок прошел, уступив место чему-то неосознанному, нежному и великодушному, чему еще не было определения.

О том, что он произвел наследника, Арыстан потом сообщил — по настоянию матери — отцу в Астану по телефону. Бахыт опешил, не сразу врубился в новость.

— Тебе сколько лет? — спросил строго.

— Семнадцать... будет.

— В каком классе?

— Ну... в десятом.

— И знаешь, как это по-казахски называется?

— Как? — насторожился Арыстан.

— По-казахски это называется: еще юрту не поставил, а сучок свой уже вздрючил. Это о тебе!

— Но... — тут же возразил Арыстан. — Те же казахи говорят: в тринадцать лет — хозяин юрты.

— Ладно, хозяин. Приеду — толком все объяснишь.

— Чего объяснять? Что случилось — то случилось, — пробурчал напоследок Арыстан. — Результат налицо.

Вся жизнь в доме вдруг переключилась на новорожденного. Зухра не только смирилась со случившимся, но все свое внимание, всю нежность обратила на внука, пеленала его, кормила из бутылочки, купала, тетешкала, возила на консультацию, решив, что Камилла ничего не умеет и в ней, дескать, еще не проснулся материнский инстинкт.

— Ну как назовем твоего наследника? — спросила у сына.

— Тигр! То есть, Жолбарыс.

— И получится ты — Лев, сын — Тигр. Тигр Львович, что ли? Зверинец! Людей испугаешь.

— А как?

— Ну, скажем, Нурсултан, Олжас...

— Боже упаси! Их и так, как нерезаных собак!..

Несколько дней придумывали имя новорожденному. Перебрали не одну сотню имен славных батыров, ханов, беков, биев, акынов. Раз отец Арыстан, то и сын должен обладать звучным и благородным именем.

— Аблай!

— Ханболат!

— Каскыр!

— Жихангир!

— Зангир!

Решение вынес Арыстан.

— Сыновей у меня будет много. Оллахи-беллахи! — заявил он. — Ну не столько, как у хана Аблая, но полдюжины наверняка. Пусть этот будет Ерик. Второй — Серик. Третий — Берик. Потом — Шерик.

— Потом — Херик, — съязвил Бахыт.

— Дальше видно будет, — не поддержал шутку отца Арыстан.

Через неделю торжественно зарегистрировали новорожденного — Ерик Арыстанович Адилов.

— Эрик Арыстан — звучит! — согласились все.

— Эрик — вольный, свободный.

— Сына воспитывать буду, но жениться на Камилле — нет, — тут же заявил Арыстан. — Сразу предупреждаю. Связывать свою судьбу с Камиллой не намерен.

— Вот шалопай! — ахнули вокруг. — Это как же так?!

— Вот так! — отрубил Арыстан. — В выполнении государственного демографического плана посильно участвовать буду, а жениться — ни-ни.

— Так ты весь город арыстанчиками наводнишь, — уколол сына Бахыт.

— Дает мой внук! — заметил Мамбет Казиевич. — Обалдел от счастья. Сам не знает, что говорит.

Внук, однако, был серьезен, и Камилла, присутствовавшая при этом разговоре, ничуть не удивилась и не опечалилась. Видно, разговор на эту тему у них уже происходил. И Камилла, кажется, уяснила для себя за эти дни, что хорохорившийся на публике пацан вряд ли ей сгодится в мужья. С него достаточно и того, что он признал отцовство, а благородные родители его не отрекаются от мальца.

Жизнь в доме Адиловых покатилась по другой колее. И места себе в ней Мамбет Казиевич не находил.

Глава девятнадцатая

Обрушился на степь знойный месяц шильде. Неистовое солнце выбелило небо. Травы пожухли. Пахло перекаленной пылью. Ковыль от жажды поседел, сник. Аул точно скукожился, опустел. Скот жался к тени. Под иссушающим ровным суховеем чуть шелестели камыш и осока возле озера. Поскучнела и старая туранга.

Облегчение приносило только короткая ночь. Но от духоты тяжело вздыхали коровы, фыркали лошади, перхали овцы. При встрече люди говорили лишь об одном: «Апырай, когда только кончится шильде?!» Хотя все знали, что шильде тянется ровно сорок дней, и жара, как правило, сломается в первой декаде августа.

Аул затих в ожидании вожделенной прохлады. Перед закатом багряно полыхало солнце. А над березовыми колками с другого края неба уже всплывала нетерпеливая луна.

Старики-тамыры встретились в предзакатный час у озера на знакомой, полузаглохшей тропинке. Один гостил в бывшем своем доме, у бобылки Маруар, уже третий день. Другого только сегодня доставил из райцентра юркий племянник, служащий в акимате.

— Оу, Маке, вы ли это? Да вас не узнать! — воскликнул Карл, с веселым любопытством разглядывая приземистого старичка с белой ухоженной бородкой, в бархатистой фреске, в темной жилетке поверх белой рубахи, в роговых очках, с витиеватой, арабской вязью изрисованной тростью в руке. — Ассалаумагалейкум!

— Уагалайкумсалам! — ответствовал, улыбаясь двумя рядами золотых зубов, ухоженный, чистенький и благообразный Мамбет Казиевич. — И ты, Кареке, что-то не очень похож на аульного тракториста.

— Е-е, обо мне что говорить? Турист как турист. А вы, похоже, только что совершили хадж в Мекку.

Тамыры обнялись чинно, грудь в грудь по степному обычаю, охлопали друг друга по спине, по плечам, радуясь встрече.

Долговязый, жилистый, по-прежнему прямой Карл Деграф, ныне гражданин Германии, с аккуратно подстриженными, колючими усиками, тщательно выбритым крепким

подбородком, длинным носом на сухом лице, в шляпе, полосатых брюках, в легком дорожном пыльнике, брошенном через руку, действительно, больше смахивал на иностранного туриста, нежели на давнего аульчанина в засаленной телогрейке.

— Три года, выходит, не виделись... — Мамбет Казиевич снял очки, начал протирать толстые стекла платком. — Три года...

— Почти три года, — уточнил Карл.

— Ия, ия... Целая вечность. Будто с другой планеты свалился.

— И я себя так чувствую. И, представьте, безмерно рад. И аул на месте, и мы с вами здоровы, и жизнь продолжается.

— Ия, ия... Шукур. Тауба.

— Не каждому выпадает такой жребий.

Удоволенные, утихомиренные старики до глубокой ночи не могли наговориться, вспомнили живых и мертвых, детей и внуков, обменялись впечатлениями о жизни в Германии и Алматы, о новых нравах и порядках, посетовали на скоротечность жизни и перемены, к которым душа почему-то не лежит.

— Мне чудится всюду разлад, нескладица, нелепица, отчуждение, — признался Мамбет Казиевич. — Все будто сбилось с панталыку. Людишки суетятся, шарахаются, словно живут временно, сегодняшним днем...

— Будто на вокзале в ожидании поезда...

— Ждут, нервничают, волнуются, а поезд уже ушел...

— Ушел, ушел, и только издали доносится перестук колес.

— А, может, это как раз наш поезд ушел?

— Ну, и хорошо! Будем просто жить.

— Ничего... Вернется — заберет. Куда нам спешить?

— Ха-ха-ха! И то верно!

Уже заполночь пили чай на веранде из помятого медного самовара Маруар. Похваливали:

— Ах, чай Маруар — что вода зям-зям.

— Ширкин, самоварный чай — всем чаям чай!

— Уах, уах! Когда пьешь чай — на душе твоей жай! Услада!

Обмахивались полотенцами, втирали испарину, ловили ночную прохладу, струящуюся в открытые настежь окна.

Маруар усердно потчевала стариков-тамыров темно-коричневым чаем со сливками, подливала кипятка в пузатый заварник.

— Ну, и на сколько приехал? — полюбопытствовал Мамбет Казиевич у распаренного тамыра.

— Е-е, құдай біледі. Бог знает, — отшучивался Карл. — Пока Маруар не выгонит.

Пухлое, как баурсак, лицо Маруар запунцовело.

— Ой, Кареке! Дом-то ваш.

— Был мой, теперь — твой. А я лишь гость. — Карл вытянул длинные костлявые ноги, откинулся на спинку стула, щелкнул подтяжками. Потом как-то странно вытянул губы и издал непроизвольный звук, похожий на выдох — «пффф». Видно, там, в Германии, усвоил этот жест.

— И все же... — настаивал Мамбет Казиевич.

— Ну-у... — Карл опять неожиданно сделал губами неопределенный «пффф»... — Ну, виза у меня на три месяца. Понравится — продлю. У меня ведь есть кое-какие планы.

— Да-а-а?!

— А как же!

Выяснилось, что у бывшего аулчанина есть серьезные намерения, задумки, созревшие еще ночами в Линце. Оказывается, в ауле у озера с одинокой турангой Карл Деграф приехал не лясы точить. Ну, конечно, некоторое время походит по окрестностям, по аулу, проведает знакомых, выразит соболезнование родственникам усопших, посидит у могилки Марии, подладит оградку, надышится степного воздуху, завернет в лесочек, прожарится на знойном ветру, всласть наестся бесбармаку, покалякает вдоволь по-казахски, насладится кумысом, если он не перевелся совсем в ауле, искупается в озере, поохотится в камышах. Да, да... все это само собой. А потом... а потом разберет по кирпичику старую баньку, сложит новую, просторную, с раздевалкой, с парилкой, с разными полками-скамейками, с котлом, с баками, каменным полом для всех аулчан, для взрослых и малых, для мужчин и женщин, как же, баня — первое дело, главная радость, основа здоровья. Для осуществления давнего своего замысла он накопил и насобирал у бывших аул-

чан, ныне обустроившихся в Германии, три тысчонки ойро, вот их он и пустит на благое дело.

А если будут время и силы, то, может, ближе к осени заменит засохшие деревца возле школы, поставит забор, чтобы спасти саженцы от прожорливых аульных коз. Должен же он что-то сделать для аула...

— Барекельды! — воскликнул, слушая тамыра, Мамбет Казиевич. — Молодец, тамыр!

И Мамбет Казиевич с горечью сознался, что он о подобном как-то и не подумал, что об ауле он вспоминал всегда, тосковал по нему, снились ему знакомые, давние картины аульной жизни, сознавал его плачевное состояние, понимал, что в трудный для государства час власть предала и продала аул, обескровила, бросила на произвол судьбы, полагая, что он выдюжит, как бывало раньше, выкарабкается, выправится сам собой, возродится, как весенняя трава. Но не тут-то было, аул хирел и чах из года в год на глазах и было особенно обидно, что умирал он в годы вожделенной независимости страны. Аулом сознательно пожертвовали бог весть во имя чего. Правда, для отвода глаз были объявлены грандиозные планы возрождения аула, все на бумаге рассчитано и предусмотрено, многие миллионы или миллиарды выделены государством на его реанимацию, но все эти средства в очередной раз прилипли к рукам юркачей и пройдох, мошенников и жуликов, расплодившихся, как саранча, и были растащены еще на дальних подступах к заброшенному, измытаренному аулу. И, может, действительно, осталось лишь уповать на посильную помощь его приверженцев-доброхотов, бескорыстных дон кихотов? И, видно, немыс-тамыр, Карл Деграф, это понял первым и старается отодвинуть агонию аула.

— Маладес, Карл! — еще раз сказал Мамбет Казиевич, одобрительно хлопнув тамыра по плечу. — И я, иншалла, что-нибудь придумаю. Неужели сын в Астане, и племянник в районном акимате мне не подсобят? Ну, хотя бы школу отремонтирую и свет заново проведу, а?

— Вот и нашли мы дело! — воскликнул Карл. — В конце концов не гостевать же приехали. Должна же быть и от стариков какая-то польза. Глядишь — и нашему почину кто-то последует. Все азаматы ведь из аулов вышли.

— Небось, еще остались чудаки. Или сумасброды, как мы.

— Да-а... чудаки, может, и найдутся, но не они нынче хозяева жизни. Чудаков ныне сменили волки, шакалы и гиены. А от них добра не жди.

— Слушай, Кареке, о Казахстане в Германии что-нибудь говорят или пишут?

Карл вытянул губы трубочкой и опять сделал «пффф...»

— Редко, но показывают и пишут. И больше всего отрицательно. О коррупции, воровстве, беспорядке. Об отсутствии демократии и прав человека. По-моему, они там путают Казахстан с Афганистаном. Дети хохочут, а мне стыдно.

— Так бывает: кто не хочет видеть, тот и верблюда не увидит. А если собрать все плохое в кучу, немудрено и свихнуться.

На следующий день старики-тамыры обошли аул. Многие дома пустовали: хозяева перебрались в «Верхнюю турангу» или в райцентр. Кто-то подался даже в область. Умерла старуха Фарида, и в ее полуразваленном доме обосновались многодетная семья оралманов из Китая. Скончался и сапожник Мухан. Единственный урус в ауле — Егор Тимошин — уехал-таки в Россию. Из немцев вообще никто не остался. Немецкий барак давно развалился. Без жильцов дома, оказывается, быстро разрушаются. Верный Рекс год тосковал, все искал и ждал своего хозяина, как-то сразу одряхлел, целыми днями лежал возле могилы Марии, видно, посчитав, что здесь упокоился и Карл. И однажды исчез со двора, покинул незаметно аул, и никто ничего о нем так и не узнал. Поле вокруг аула пустовало. Рассказывали, что землю бывшего колхоза, потом совхозного отделения купил какой-то хмырь из областного акимата, а у него, мол, надежная «крыша» в самом мажилисе. И пастбища кто-то прибрал к загребущим рукам. Аулчане пасли свой скот на вытоптанных лугах возле озера, которое тоже заметно обомлело, все больше заболачиваясь по берегам. А в одинокую турангу ударила молния, и одна половина дерева почернела, обуглилась, только в ветвях с южной стороны еще теплилась жизнь. Многие тропы вокруг аула заросли травой.

Старики-тамыры посетили кладбище на холме, благоговейно произносили молитвы, огладили на мусульманский лад сложенными ладонями лица.

— Кудай один, — сказал Мамбет Казиевич.

— И он одинаково внимает и казахским, и немецким молитвам, — согласился Карл.

Потом молча направились к озеру. Прибрежный камыш приветливо закивал им коричневыми метелками. Солнце клонилось к закату, просвечивая багряными лучами камышовые заросли. В заводи под пышно разросшимся тальником резвилась стайка чебачков.

— Маке, как по-вашему, что на свете самое страшное?

— Я же не би-мудрец, чтобы ответить на такие вопросы. Но, думаю, самое страшное, когда ты никому не нужен.

— Ия, ия... пожалуй. А еще?

— Одиночество. Когда становишься одиноким путником у погасшего костра. Когда выпадаешь из времени.

— Из какого времени?

— Из своего. У каждого ведь свое время.

— Ну, так это и есть одиночество.

— Да.

Карл вспомнил грустную песню, которую часто пели под гитару Лизонька и Катенька. Две строчки из той песни особенно запали в душу.

Как же боль-тоску превозмочь?
Как пройти-прожить еще ночь?

Да-а... Одиночество преследует многих российских немцев в Германии. Днем многие крепятся, хорохорятся, суетятся, корчат из себя продвинутых, успешных, удачливых европейцев, живущих без особых забот и тревог, а на самом деле маются одиночеством, от которого нигде, нигде нет спасения. Ибо в сущности никто никому не нужен, все друг к другу равнодушны и каждый умирает в свой час в одиночку. Jeder stirbt für sich allein.

— Выходит, мы вернулись в аул, спасаясь от одиночества?

— Да, — ответил Мамбет Казиевич. — Мы ищем выход из состояния своей ненужности.

— И выход есть?

— Есть. Даже два. Один в деянии, другой — в смирении и покорности. Сапожник Мухан выход уже нашел.

Помолчали. Каждый думал о своем. Тишина царила на озере. Камыш кивал метелками, ронял пух. Неподалеку устало квакали лягушки. С верховья надвигались легкие тени.

— Знаешь, Кареке, хороший пес, сказывают, предчувствуя неизбежное, удаляется в укромное место, подальше от людей и тихо околевает. Он не желает, чтобы люди видели его труп. Такой деликатный и благородный. Да-а... Мы с тобой, думаю, приличные псы, старые тобеты. И аул — наша последняя обитель.

— Скажешь тоже, Маке...

Смеркалось. Угасли последние багряные лучи у горизонта. Повеяло прохладой и нежитью. С верховья донеслось монотонное уханье удода.

Старики-тамыры молча брели по полузаглохшей, едва посеребренной луной тропинке, которая все сужалась, сужалась и, казалось, вот-вот оборвется.

— Куда ведет эта тропинка? — спросил Карл.

Мамбет Казиевич еле слышно откликнулся:

— А никуда...

Октябрь 2005 г. — апрель 2006 г.
Алматы.

СУДЬБА-ВЕЛИКАН

Поразительное смещение времени происходит в сознании, когда вспоминаешь его звучное, гулкое имя — Джамбул.

Вот Абай, к примеру, — все-таки явление прошлого века. А до Джамбула, кажется, рукой подать, он где-то совсем рядом, его нетрудно вообразить верхом на лошаденке, или на ишаке в чапане и малахае, с домброй в руках. А между тем они, можно сказать, ровесники — курдасы: год разницы в их почтенном возрасте не в счет.

Когда Абай умер, Джамбул был еще в силе, разъезжал по аулам, складывал дастаны, состязался с молодым задором с прославленными акынами-импровизаторами, язвительными стихами разоблачал местных богатеев, был дерзок на язык, не знал усталости, поглядывал на молодок. Слава его гремела в Краю семи рек.

Но Джамбул, которого силком вколачивали в сознание людей советской — главным образом сталинской эпохи, был еще впереди.

По натуре он был — как истинный поэт, обладающий божьим даром, — независим, крутонрав, дерзок, волен, непредсказуем, и стоило немало трудов, чтобы его, уже пожилого, немощного, опутать идеологическими арканами, обложить секретарями-стихотворцами, переводчиками-цензорами, лакировщиками, казенными советниками, втиснуть его в прокрустово ложе текущей политики, сделать рупором, алилуйщиком режима, народно-сказовым иллюстратором большевистских лозунгов.

Ну, он и лихо, мастерски вгонял на потребу дня в семивосьмислоговое терме или одиннадцатисложный традиционный размер разные славословия в честь Клима-батыра (Ворошилова), Чапая-батыра, Ежова-наркома, храбро расстрелявшего «бешеных собак» — «врагов народа»; Кирова, Калинина и Жданова, «бесстрашного Буденного», «пламенного Куйбышева», пел длиннющие, как караванная дорога, гимны Октябрю, Ленину, его мавзолею, «мудрому Моссовету — штабу «Москвы», съезду «балшайбеков» (большевиков), советскому воину, батырам эпохи, комсомольцам Ленинграда, правнукам Ильича, большевистской «Правде», ну и, разумеется, великому из великих, которого он, акын Джамбул, бессилен был с чем-то достойным сравнить, ибо вождь всех времен и народов, конечно же, был выше Солнца и Луны... Вообще, по количеству «датских стихов» Джамбул был недосягаемым и непревзойденным лидером.

Властям был нужен такой Джамбул. Именно такого власти усиленно культивировали.

❁ ❁ ❁

Мы нынче чествуем другого Джамбула — истинного, подлинного: акына-импровизатора, сказителя-жырши, певца своего обездоленного народа, кладезя мудрости и народной поэзии, самородка, выразителя великой судьбы, совершенно уникальное явление, исполина поэтического духа, живую бессмертную легенду.

Мы чествуем того Джамбула, который имел право о себе сказать: «Джамбул — это имя простое мое. Народ — настоящее имя мое».

Мы чествуем патриота своей родины, воспевшего ее широты, красоты, дух и торжество.

Мы чествуем автора поэм «Земля героев», «Утеген-батыр», «Моя жизнь», «Суранши-батыр», искрометного, находчивого мастера поэтических состязаний.

Именно такому Джамбулу, всенародному любимцу, гордости и чести народа, воздаем мы славу.

❂ ❂ ❂

В мою жизнь Джамбул вошел рано.

В казахском ауле учеником третьего класса я раздобыл случайно пухлый том его стихов, изданных еще до войны латинским шрифтом. Первые страницы были вырваны: их употребили, наверняка, на вытирание рук после жирного бесбармака. Уже несколько лет как казахи перешли на кириллицу, а потому латиница была не в чести, к тому же шла война с фашистами, которые тоже пользовались латинским шрифтом. Многие в ауле и не догадывались, что я читаю Джамбула, полагая, что это какая-то немецкая книга. Помню, смутило меня название одного стихотворения. Я с трудом его прочел — «Остепкеде». Вроде по-казахски, а непонятно. Спрашиваю у аульчан, никто не знает. Лишь в старших классах догадался, что это искаженное слово означает: «На выставке». Джамбул в этом стихотворении воспел ВДНХ.

❂ ❂ ❂

В ушах моих сверстников и поныне звучат чеканные джамбулские строки в переложении Павла Кузнецова:

Песня моя, ты лети по аулам,
Слушайте, степи, акына Джамбула.
Слушай Кастек, Каскелен, Каракол,
Я славлю великий советский закон.
Закон, по которому радость приходит,
Закон, по которому степь плодородит,
Закон, по которому вольным джигитам
К подвигам смелым дороги открыты...

Читать эти строки полагалось на пределах голосовых связок, в экстазе, взахлеб, с патриотическим надрывом.

Кстати, в оригинале они звучат проще, со значительно меньшим пафосом, приглушенно. Русские переводчики Джамбула тех лет сотворяли поразительные фейерверки из строк казахского акына. Им, видно, чудилось, что старый акын день и ночь изрекает лозунги или строчит газетные передовицы в стихах.

В те годы Джамбула охотнее цитировали на русском. При цитировании обнаруживались заметные расхождения

между оригиналом и выспренным переводом. Джамбула редактировали сначала его секретари, заполняя пропуски при записи на свой салтык, потом еще раз основательно, под казенный пафос — ловкие интерпретаторы-переводчики. Джамбул, к примеру, напевал, перебирая струны домбры.

— Жамбыл деген атым бар,

Көпті көрген басым бар (т. е. «зовут меня Джамбулом, многое повидал за свою жизнь»), а переводчики бойко переделали:

— Мне, Джамбулу, девяносто лет,

Я сижу крепко на коне...

Была у переводчиков надежная рифма: «Джамбул-аул-гул-караул». И на эти созвучия натягивали стих, как шашлычник — мясо на шампуры.

❁ ❁ ❁

О Джамбуле написано много: диссертации, монографии, воспоминания, статьи. Проникновенный очерк о нем написал много лет тому назад народный писатель Казахстана Абдижамил Нурпеисов. Очерк называется «Все в нем пело» и опубликован десятки раз. Автору удалось подойти к личности Джамбула и его многогранному творчеству совершенно с новой стороны, раскрыв его как незаурядное общественно-культурное явление. Все, к чему прикасался Джамбул, все, что он говорил, становилось фактом поэзии. В нем действительно все пело. В нем генетически сконцентрировался многовековой заряд устной поэзии номадов. К великому сожалению, у нас плохо культивировался ранний, дореволюционный Джамбул — Джамбул-странник, Джамбул-печальник, Джамбул-борец, Джамбул-бунтарь. Такой Джамбул русскому читателю был совершенно неизвестен. По просьбе А. Нурпеисова, я подстрочно перевел около двух тысяч строк малоизвестной поэзии Джамбула. На их основе московский поэт Юрий Кузнецов сделал добротный художественный перевод. Они вошли в книгу, составленную и отредактированную А. Нурпеисовым. Она увидела свет в издательстве «Художественная литература», кажется, в 1987 г. На мой взгляд, это был серьезный вклад

в джамбуловедение, но книгу эту странным образом не заметили ни ученые, ни критики, ни переводоведы (лингвисты). А жаль...

❁ ❁ ❁

Джамбул очень рано осознал свое призвание, свое предназначение. Сохранилось стихотворение тринадцатилетнего Джамбула, обращенное к отцу Джабаю. Известно, что Джабай и его братья не брезговали лихим занятием — конокрадством.

Юный Джамбул решительно отвергает такую степную удаль, убежденно говорит: «В руки взяв домбру, запою, будни в праздник превращу, ведь торжество, пиры, отец, множат добро между людьми». Он знал силу слова. Он знал себе цену.

Силой победишь одного, словом — тысячу. Он оставался верен своему призванию всю свою долгую творческую жизнь.

❁ ❁ ❁

С ранних лет до глубокой старости акын был убежден: в его груди обитает бесстрашный тигр. И пока его тигр с ним, он не ведает страха, никакие беды-напасти, вражеские происки ему не страшны. И он действительно не боялся никого и ничего. Незадолго до кончины к хворому Джамбулу пришла группа поэтов. Начали утешать: «Ничего, Жаке, не волнуйтесь. Выздоровеете, поправитесь». — «Нет, — печально ответил акын. — Дни мои сочтены. Сегодня я видел сон. Мой тигр меня покинул, ушел, махнув хвостом, через перевал. Я позвал его: «Эй, вернись!» Не вернулся. Все... Жизнь кончилась...» Покинул акына его верный спутник — тигр, его вдохновение, его поэзия, мощь его духа. Вскоре акын умер...

❁ ❁ ❁

Джамбул, сын Джабая, восславил свой край, свою родину, свой народ. Титан устной народной поэзии, он обрел бессмертную, неувядающую славу в памяти потомков.

1996 г.

СЛОВО БИЯ АЙТЕКЕ

Считаю целесообразным предпослать моему переводу «Благословение Айтеке би» короткое напутственное слово.

Время — понятие условное и субъективное. Прославленные казахские бии — Толе, Казыбек и Айтеке, — жившие триста (или чуть более) лет назад, кажутся нам бесконечно далекими, затерявшимися в сумерках истории загадочной и вечно манящей Степи, а, скажем, Александр Сергеевич Пушкин, к 200-летнему юбилею которого мы ныне готовимся, воспринимается едва ли не как наш живой современник. Таково уж свойство человеческой памяти и духоустройства.

Смею думать, что в многосложный мир казахов я в определенной степени все же проник: как-никак более полувека — житейски и творчески — бытую в этой сфере. Однако, признаюсь, есть вещи, которые мне совершенно не под силу: в данном случае я имею в виду казахскую родовую летопись — шежире.

Казахское шежире напоминает мне заячьи следы на свежей пороше. Следов много, то явных, то смутных, но попробуй прочти, разгадай их, разберись, где начало и конец. История кочевников — затейливый, умопомрачительный лабиринт, в котором часто и безнадежно плутают толпы историков, особенно чужеземных. Тут нужна не только спасительная нить Ариадны, но и особый склад ума, душевная наклонность и расположенность, некая отличительная черта исторической духовности и сознания, немеркнущая свеча души, рассеивающая густой мрак, тьму-темь века.

До сих пор бытует расхожее мнение, будто кочевники — аморфная, инертная масса, которая без смысла и толка металась столетиями из края в край «киргиз-кайсацкой степи», сталкиваясь и перемешиваясь с другими племенами, диковинными гогами-магогами, плодясь и умирая под

синим куполом небес, на огромном пространстве, не оставляя после себя ни памяти, ни следов. Увы, так нас учили. Для советской историографии это было так удобно: до Октябрьской революции вообще ничего не было на окраинах империи, всюду царил мрак, большевики зажгли солнце, а уж самая удревленная история зачиналась, быть может, Петром Великим, Анной Иоанновной и Екатериной Второй.

Я приходил в восторг, и во мне зарождалась белая зависть еще в далеком моем детстве, когда мои аульные сверстники-казахи без запинки называли своих предков до седьмого колена. Знакомые мне немцы и русские похвастаться этим не могли.

Этой исторической памятливости казахов я поражаюсь и поныне. Мой друг, чингизид Шот-Аман Уалиханов, к примеру, запросто перечислит свой славный род вплоть до «потрясателя Вселенной» Чингисхана — двадцать три поколения! Покойный журналист, литератор Балгабек Кыдырбекулы называл своих предков до тридцать второго колена. Каково?! Нечто подобное можно встретить в Библии.

Или вспомним труд академика Степана Борисовича Веселовского «Род и предки А. С. Пушкина в истории», где прослежен род великого русского поэта с XIII века от полулегендарного Ратши: «Из Немец пришел Ратша, у Ратши сын Якун, у Якуна сын Алекса, у Алексы сын Гаврила Аликсич, у Гаврилы дети: Иван Морхиня да Акинф Великой, у Ивана Морхини один сын Александр, у Акинфа Иван да бездетный Федор, у Александра Морхинина пять сыновей: Григорий Пушка, Владимир Холопище, Давид Казарин, Александр да Федор Неведомица» и т. д.

Я говорю об этом несколько пространно, чтобы проиллюстрировать одно наблюдение: то, что, скажем, для европейца, скорее, исключение, экзотика, второстепенная материя, для кочевника, в т. ч. для казаха — строгое, неукоснительное правило. Лишенный в течение веков письменности, зафиксированной печатно истории, архива, надежной научной документации, кочевник придавал исключительное значение родовой памяти, родословному древу по отцовской и материнской линиям, знанию

семейных и родственных уз, устной шежире-летописи, закрепленной, запечатленной в преданиях, легендах, притчах, фольклоре — батырских дастанах-поэмах и религиозных киссах-сказах и т. д. Именно в них заключены история, душа, ментальность народа, и пренебрежительное, высокомерное отношение к этому кладезю культуры по меньшей мере неразумно или кощунственно.

И еще одно попутное замечание, о чем, собственно, уже много сказано весьма авторитетными в науке людьми разных времен и национальностей. Это особенное, культовое отношение номадов к Слову — отточенному, ассоциативному, яркому, афористичному, ритмизованному, хлесткому, метафоричному, организованному по канонам высокой риторики. Казах воспитан на культивированном, поэтическом слове, оно вошло в его кровь и плоть, он знает цену ему, неизменно восторгается словом самобытным, незатертым, с подтекстом и намеками, уместным, попадающим точно в цель, сражающим наповал, вдохновляющим на подвиги, запоминающимся, как наскальная надпись.

Об этом следует постоянно помнить, когда речь заходит о славных златоустах-биях.

В народном сознании их упоминают вместе, в неразрывном единстве, в четкой последовательности — именно так, канонически — Толе би, сын Алибека, Казыбек би (Гусиноголосый), сын Келдибека и Айтеке би, сын Байбека. Это, однако, вовсе не значит, что кто-то из них, представляя определенный жуз — Большой, Средний и Малый, — имел более высокий «статус», играл более значительную роль, обладал более весомым «рейтингом». Они жили примерно в одно время, придерживались одних высоких помыслов и воззрений, жили и творили во имя одной великой идеи и цели и исповедали одну религию в самом объемном и священном понимании этого слова.

Более того, представитель и духовник Младшего жуза Айтеке би, как известно, был по возрасту старше двух своих сподвижников. Но народная память расставила их именно в таком порядке.

При всей общности взглядов и политических устремлений каждый из них отличался характером и пристрастиями, темпераментом, деяниями, судьбой. Это лишь самодеятельный неумеха-мазила, исходя из своих скудных позна-

ний и представлений, намалевал уже в наши дни трех заурядных, безликих, пустоглазых, белобородых, без каких-либо живых черт аульных старцев в надуманных, произвольных нарядах, назвав эти манекены именами великих исторических деятелей.

В беседах с разными людьми об этих знаменательных биях мне не раз приходилось сталкиваться с явным нигилизмом. Дескать, что мы знаем о событиях и личностях трехсотлетней давности, тут много наносного, приблизительного, надуманного, кто теперь может подтвердить, что именно сказал по тому или иному поводу Толе, Казыбек би, Айтеке. Биев, мол, в казахской степи было много, все они отличались умом и велеречивостью, искусно плели «красные словеса», и кто знает, что доподлинная правда, а что просто-напросто вымысел, молва.

Доля правды в этом есть, но это далеко не вся правда. Бий бию рознь. Разные бывали бии-шешены, так сказать, честного масштаба, племенного калибра, доморощенные краснобаи, хотя просто так, по желанию и прихоти аульски аксакалов, никого бием не звали. Шокан Уалиханов свидетельствует: «Чтобы приобрести имя бия, нужно было киргизу не раз показать перед народом свои юридические знания и свою ораторскую способность».

Человек, искушенный в неохватном казахском фольклоре, истории и шежире, вполне в состоянии отличить истинное зерно от плевел.

Ну, а эти трое, духовные гиганты, о которых ведется речь, всем биям — бии. Они были признанными верховными биями трех огромных жузов, сумевших сплотить разрозненный народ в самый трагичный, ответственный период судьбоносной истории и четко определить — говоря нынешним языком — стратегический путь народа на грядущие века. В этом их Заслуга. В этом исторический пафос их деяний. И именно поэтому живет поныне благодарная память потомков.

Да, действительно, на извилистом, тернистом пути истории зашоренные подлой идеологией потомки на десятилетия оказались как бы отлученными от своих великих предков, и потому многое из их титанических деяний и жизни запамятовано, растеряно, многое придется по крупицам с огромным тщанием восстанавливать, собирать по крохам

из сохранившихся устных и письменных источников. Что, к счастью, ныне и делается доброхотами-культуртрегерами.

Сведения об Айтеке би еще совсем недавно были край не скудны. Знали только, что он из рода алтын, из ветви алим, из колена торткара, предок — Карашы, потом — Сейткул. Дед — знаменитый Акша-хан, отец Байбек. Не стану более перечислять, ибо рискую ошибиться. И все предки Айтеке в истории степи известны, прославлены, все сплошь бии, батыры, воины-ратоборцы, приближенные к ханским дворам, советники знатных правителей, видных деятелей. Усилиями ряда исследователей за последние годы многое прояснилось. Однако годы жизни Айтеке би до сих пор являются предметом спора. Большинство на основе косвенных свидетельств, сопоставлений склоняется к году рождения его — 1644. А вот дата смерти трактуется по-разному. Одни называют год смерти 1700-й, отводя, таким образом, Айтеке всего 56 лет жизни. Другие называют 1709-й, 1710-й и даже 1730-й год, приводя при этом серьезные аргументы. Я не столь компетентен, чтобы вмешиваться в этот спор. И в данном случае это и не столь важно.

Известно также, что он не был доморощенным мудрецом-самоучкой, который сыпал афоризмами, изрекал истины, на каждое слово находил сотни пословиц и поговорок, исходя, так сказать, из умозрительного опыта. Он получил прекрасное для своего времени образование. Пяти лет от роду он овладел начальной грамотой у аульного муллы. Заметив его незаурядные способности и сметливость, дед Акша опекал внука, отдал его на учебу в Самаркандское медресе Улугбека. В медресе он учился арабскому и фарси, изучал религию, математику, географию, духовное право. Здесь же, в медресе, он ознакомился с трудами историков, астрономов, путешественников эпохи Амира Тимура. Не чуждо было ему и военное искусство. Он имел полное основание впоследствии говорить: «У просвещенного человека — о чудо — и глаз, и ушей по четыре. Лучше с образованным очутиться в аду, чем с невеждами томиться в раю».

Он рано сформировался нравственно, обрел известность в своей среде, популярность среди народа, непререкаемый авторитет среди правителей. В нем сказывались отменные гены, его предок в пятом колене Ораз был главным совет-

ником у основателя Туранского государства Амира Тимура. Мудростью, рассудительностью, прозорливостью, красноречием Айтеке выделялся с юных лет, о чем свидетельствуют многочисленные устные предания.

Став верховным бием своего жуза, он посвятил свою жизнь заветной мечте — объединить казахов, потомков Алаша, под одним небесным куполом-шанраком, под единым священным стягом. Он страстно желал видеть свою Казахию мощным, свободным, независимым государством. Независимым от российского льва, от китайского тигра, от волчьей стаи Джунгарии и кокандских, хивинских шакалов. На этом пути его ждало немало разочарований. Трудно было объединять самонадеянных султанов, мелких правителишек, мнивших себя столпами государства, великими ханами. С горечью он изрек: «В стране процветающей много поэтов-акынов, в стране угасающей много правителей-акимов».

Он был не только бием, мудрецом, златоустом-шешеном, но и ратоборцем, предводителем войска. Но уповал он не на копье и меч, а на разум и мудрое слово.

Он был сыном своего времени и утверждал: «Вырваться из своей среды редко кому дано». Но он-то вырвался из своего времени и обрел славу и признание среди своих далеких потомков.

Три бия, три пророка — Толе, Казыбек и Айтеке в историческом сознании казахов воспринимаются как святыня, как неразрывное единство народного Духа, как воплощение духовной субстанции Казахии. Они жили и творили в конце XVII и в начале XVIII веков. Их мудрые назидания народ сберег в своей памяти как сокровище.

По просьбе Абдижамила Нурпеисова я попытался воспроизвести орнаментальный речестрой, типичный для казахских биев-златоустов прошлого. Это непросто. Иногда немыслимо. Иная ментальность. Иное мироощущение и духоустройство.

Слова бия Айтеке, сказанные триста лет тому назад, звучат современно и актуально, если только вникнуть в их глубинный смысл.

1998 г.

СЛЕД СЛОВА

Мне он всегда казался замкнутым и суровым. Сдержанный, ровный, неизменно аккуратно одетый, корректный и неразговорчивый — таким он мне запомнился на разных литературных встречах и собраниях. Я замечал: при нем даже самые «раскованные» литераторы мгновенно, как выражаются казахи, «подбирали руки-ноги». Чувствовалась в нем напряженная работа мысли, сосредоточенность и какая-то особая внутренняя опрятность. Усталые глаза смотрели пристально и спокойно. Казалось, он видел что-то такое, о чем никто и не ведал. Улыбался скупо, лишь краешком губ. В кулуарах Союза писателей Казахстана, на многочисленных совещаниях он чаще всего молчал, но слушал внимательно, сидя прямо и неприступно. Вообще я не видел его участвующим в праздной, беспечной беседе. Знал: судьба уготовила ему тяжкое испытание, которое он вынес достойно и мужественно; был он на многие годы отлучен от литературы и потому в последнее время, наверстывая упущенное, работал особенно напряженно.

Мое представление о нем разделяли и другие. Критик и прозаик Аскар Сулейменов, одним из первых написавший о нем большую, интересную статью, увидел его точно так же: «С первого взгляда он необщителен, не склонен к непритязательной беседе — сивоголовый, серолицый человек. Говорит тихо, медленно. Улыбается редко. Улыбка означает согласие. Не распрямляя сутуловатую спину, смеется коротко, выказывая крупные изжелта-белые зубы. Смех сдержанный. А усмешка холодная. Усмешка означает несогласие».

Заканчивалась та статья («Жулдыз», 1964, № 1) коротким описанием алматинской зимы и замечанием как бы вскользь: «После иной улыбки, бывает, и зимняя стынь почудится мягкой».

Таким бывало первое впечатление. Неизменное. Устойчивое. И не совсем верное. Ибо бывал он и приветливым, и

общительным. Живо рассказывал. Убежденно и чуть-чуть снисходительно спорил. Бывало, увлекался, светлел лицом, шутил. Становился совсем не похожим на того строгого, сурового, чопорного Хамзеке, каким казался с первого взгляда. Но в том я мог убедиться лишь со временем.

О главной черте его характера неоднократно говорил и писал академик М. К. Каратаев: «Он правду воспринимал прямо и честно и говорил ее открыто. И в жизни не отворачивался, не отходил от нее. Я бы сказал, что именно правдивость и прямота — одни из многих его достоинств, поднявших его до уровня крупного реалиста широкого дыхания».

Таким он был всюду: и в жизни, и в своем творчестве.

Однажды после какого-то собрания в Союзе писателей он подошел ко мне, заговорил вдруг очень просто, по-казахски, как со старым знакомым, спросил, не очень ли я занят, предложил перевести его роман «Крутое время» — третью часть трилогии «Яик — светлая река» — и повел меня к себе домой.

Мы шли и почему-то молчали. Было отчего-то неуютно, тягостно. Я мысленно ругал себя за то, что согласился пойти к писателю, не прочитав только что вышедший его новый роман «Много лет спустя». А об этой книге как раз много говорили.

Софья-апа, жена писателя, сразу же принялась расспрашивать меня, кто, что и откуда я, весело засуетилась, захлопотала, одаривая меня поминутно доброй улыбкой и развеивая мою неловкость, а узнав, что я вырос в ауле, в Северном Казахстане, вдруг изумленно развела руками:

«Айналайын! Так я ведь работала в годы войны с твоим отцом! Помню: такой высокий, поджарый, стремительный...»

Встреча получилась неожиданной и приятной. Слушая наши беспорядочные воспоминания — для меня легкие, зыбкие, детские, для Софьи-апа, в то лихолетье врача районной больницы Софии Тастемировой, — горькие, женские, Хамзеке печально молчал, и взгляд его стал отрешенным, а складка между бровями разгладилась...

В течение десяти лет я часто бывал в этом доме, подолгу слушал Хамзеке, вместе с И. П. Щеголихиным перевел «Крутое время», потом выполнил подстрочный пе-

ревод «Много лет спустя», перевел два-три рассказа, играл с автором в шахматы, узнал от него много интересного и поучительного.

Он относился к тому поколению, судьба которого была необъемно щедра на события, крутые повороты и испытания. Короткая человеческая жизнь поразительным образом вобрала в себя бурные водовороты истории. «Яик — светлая река» — это ведь высокий смысл, высокий символ. Символ жизни, полной страстей и дерзаний, потерь и обретений, горя и радостей. Жизни, которую можно уподоблять светлой, светоносной реке.

Светлая река крутого времени вынесла любознательного аульного мальчишку с берегов Анхаты на гребень национальной культуры.

Мухтар Ауэзов в письме к Т. Ахтанову, написанном перед самой своей кончиной, назвал Хамзу Есенжанова в ряду тех, кто «пришел к творчеству с неуемной жадностью». В скобках М. Ауэзов отметил — «в хорошем смысле». Вот эта неуемная жадность (в хорошем смысле) к жизни, в работе, в творчестве, к знаниям руководила Хамзой Есенжановым всегда.

Он был хорошо и разносторонне образованным, культурным, передовым человеком. Еще студентом Казахского педагогического института имени Абая он начал писать стихи, рецензии, литературно-критические статьи, рассказы. В 1930 году в журнале «Жана адебиет» («Новая литература») при содействии и под редакцией Беимбета Майлина, классика казахской советской литературы, он опубликовал рассказ «На берегах Уленты». Рассказ этот, основанный на непосредственных впечатлениях времени гражданской войны, был одним из глубинных родников будущего монументального «Яика». Было очевидно, что молодой литератор верно нащупывает свою главную тему и что именно в этом реалистически-повествовательном ключе, должно быть, разовьется в будущем его эпический дар.

Жажда фундаментальных знаний привела его в Ленинград, в аспирантуру, где он усиленно занимается литературой, философией, историей, искусствоведением. Республика нуждается в образованных, инициативных людях. Молодого Хамзу отзывают в Алма-Ату, и он, как

многие его друзья и сверстники, с головой уходит в заботы культурного строительства; работает директором Казахской филармонии и Оперного театра, заведует Сектором литературы Казахского филиала Академии наук СССР, читает в педагогическом институте лекции по русской литературе XVIII—XIX веков, занимается переводами («Слуга двух господ» Гольдони, «Рудин» Тургенева), пишет учебники для начальных и средних школ.

В эти годы подспудно созревал в нем замысел цикла историко-революционных романов. Он сознавал, что обязан поведать о преобразованиях родного края на фоне глобальных событий своей яростной эпохи.

Однако до осуществления замысла было еще далеко... Расцвет его творческой деятельности начался после долгого, вынужденного перерыва, с 1954 года он переводит на казахский язык один из томов (IV) «Тихого Дона», рассказы И. Тургенева, пишет трилогию «Яик — светлая река», дилогию «Много лет спустя» и «Братья Жунусовы», составляющие единый историко-революционный цикл, драму «Трагедия посла», принимает активное участие в общественной жизни, много ездит по Казахстану и посещает ряд зарубежных стран — Америку, Англию, Данию, Францию, Грецию, Турцию, Египет. Результат этих поездок — путевые очерки, известные читателю до сих пор лишь частично.

Собрание сочинений в шести томах, завершенное недавно издательством «Жазушы», — плод напряженной работы писателя за последние двадцать лет жизни. В замысле была еще одна трилогия. О том он говорил не однажды. Своему другу М. Каратаеву признавался: «Чтобы осуществить этот замысел, достаточно было бы лет пять-десять».

Этих лет жизнь ему не отвела. Он умер неожиданно для многих его друзей и близких мглистым декабрьским днем 1974 года.

Таковы — в сухом изложении — основные вехи творческой биографии Хамзы Ихсановича Есенжанова.

Главное в писателе, однако, — его творческая биография. Она была у Хамзы Есенжанова сложной и трудной.

В чем своеобычие, неповторимость его творческих исканий? Имел ли он свою тему? Нашел ли свое место в литературе?

Он шел в «большую» литературу сознательно, убежденно, по зову своего эпического дара. Он обратился к узловому моменту в судьбе своего края, своего народа, стремясь воссоздать художественную правду, художественную летопись недавней истории народа, свидетелем и очевидцем которой он был сам. Оно, это прошлое, не было для него безразличным. И привлекала его не «ультрамодная» литературная вышивка по канве былых реальных событий и человеческих судеб. Он стремился написать широкоохватный, многопластовый реалистический роман, или даже серию, цикл романов, в которых отразилась бы жизнь во всей ее масштабности и сложности, в динамическом и диалектическом единстве, в многогранных противоречиях, в обстоятельном описании действия энергичных и целеустремленных деятелей, как большевик Петр Дмитриев, или, скажем, расторопного мальчишки Сями Гадильшина, расклеивающего в городе большевистские воззвания. Писатель был склонен к эпическому повествованию, к созданию широких социальных полотен со множеством действующих лиц разных общественно-социальных слоев и групп, лиц реальных, исторических и вымышленных, с приобщением огромного количества исторических фактов и документов, с широкоохватным действием, со сложной, причудливо разветвленной сетью эпизодов.

Замысел прозаика блестяще реализовался в трилогии «Яик — светлая река». Книге предпослан эпиграф — слова Сакена Сейфуллина «Вот они, быстротечные Едиль да Яик, не раз в верховья их устремляли герои свои челны».

В словах этих — суть и пафос трилогии.

В ней художественно воссоздана картина классового расслоения, гражданской войны и строительства советской власти; это эпопея о революционном движении в Уральских степях, о трудном пробуждении и росте самосознания кочевников, батраков, бедняков, о вздыбленном времени, когда повсеместно рушился старый уклад жизни, отмирали былые нравственные и общественные отношения людей.

Временная протяженность трилогии предельно конкретна. Можно абсолютно точно определить время событий, описываемых в первой книге. Вот начало второй главы:

«В только что организованном Совдепе разгорались бур-

ные прения, и враги в это время тайно готовили заговоры. Заседания Совдепа проходили почти каждый день — один за другим назревали неотложные вопросы, и их надо было решать. Члены Совдепа выступали активно... «

Время действительно тревожное. Большевики Уральска сколачивают силы против лютеющих врагов молодой советской власти. Революционер Петр Дмитриев, прибывший в Уральск по направлению В. И. Ленина, в спешном порядке организует на заводах боевые дружины, способные противостоять контрреволюционному мятежу белоказаков во главе с Войсковым правительством. Не исключено, что большевикам Уральска снова придется уйти в подполье. Казаки свирепствуют. Город точно скован страхом.

Стынь. Холод. Ветер леденит душу.

Читаем:

«Широкий Яик, крепко скованный льдом, казался большим полем. Трудно было отличить, где кончается река и начинаются пойменные луга. За лугами, почти до самого устья Барбашевки, черной кромкой тянулся лес. На середине реки снег казался кремово-желтым, а по краям, где в полдень лед уже начинал подтаивать, виднелись синевато-прозрачные полоски. Реку разрезали многочисленные проторенные в снегу узкие тропинки... «

Очень неуютно в стылом этом мире. Все будто замерло в предчувствии беды. «Быть крови, Макар, непременно быть!» — сокрушается простодушный сторож Мартыныч. И даже далекий пока от всякой политики Хаким, ученик реального училища, переживающий свою первую, по-юношески пылкую любовь, чувствует «будто вдруг попал в какую-то щемящую душу пустоту, на минуту показалось, что не только река и поле безжизненны и мертвы, но недвижим и мертв город и все в нем убого и неуютно, а лица прохожих угрюмы и злы; ото всего веет холодом... «

Это вторая половина марта 1918 года. С событий этого времени начинает свой неторопливый, обстоятельный, гордый и трагический сказ автор «Яика».

А завершается трилогия сценой страшного кровавого побоища, когда уильские юнкера зверски перестреляли и перебили спавших безмятежным сном дружинников. На другой день на митинге перед горожанами выступал «рослый, крупный, в шубе, старик, и ветер лохматил густые с

сединой волосы его и длинную бороду». Это почтенный Баке, бывший султан, ставший поборником прав простого трудящегося люда, народным заступником. Он говорил «Времена отчаяния позади. Только сейчас открылись ворота свободы. Народ вырвался из душной темницы на вольный простор. Однако настоящий поход за свободу только начинается». И Хаким, центральный герой всех пяти романов Х. Есенжанова, уже обретший к концу трилогии опыт суровой классовой борьбы, вспоминает погибших друзей и товарищей и шепчет про себя: «Путь свободы долог и труден».

Известно, что сцена, завершающая третью книгу «Яика», относится к февралю 1919 года. Следовательно, трилогия охватывает драматические события установления советской власти в Уральской области, происходившие в течение одиннадцати месяцев. Но эти одиннадцать месяцев борьбы, отчаяния и надежд вмещают в себя не только один из самых драматических периодов истории, но и человеческие судьбы, ибо в водоворот этих событий вольно или невольно вовлечены все слои населения — профессиональные революционеры, стихийные повстанцы, бунтари-одиночки, батраки, ремесленники, рабочие, купцы, торгаши, ученые, студенты, городской и аульный люд, русские, казахи, татары, местные и пришлые. Происходят стычки и кровавые сечи, совершаются убийства, замышляются коварные интриги и неблаговидные дела-делишки против народа разными отщепенцами и врагами; люди ищут, теряют, обретают, заблуждаются, прозревают, влюбляются, женятся, расходятся, погибают за высокие идеалы и по чьей-то злой воле,-словом, вся многоликая, пестрая жизнь крутого времени крушения и созидания проходит перед глазами читателя трилогии.

Это честная и добросовестная книга, наполненная живым дыханием истории, неизменно стала нам дорогой и близкой. На мой взгляд, трилогия «Яик — светлая река» стоит в ряду лучших произведений советской литературы о гражданской войне. В ней очень много трагических сцен и судеб, но она пронизана оптимизмом, ощущением светлой радости бытия, уверенностью в лучшей доле человечества. И в 1968 году трилогия была по достоинству отмечена Государственной премией Казахской ССР.

Путь свободы долог и труден...

Глубинный смысл и конкретную истинность этих слов сполна познал и писатель, и любимый его герой Хаким Жунусов. Хамзеке не раз подчеркивал и устно, и печатно, что большинство его героев имело реальных прототипов в жизни. Хаким — особенно близок прозаику. В нем, уверяет вдова писателя, отражены некоторые черты его старшего брата. Мне чудится, что в этого героя вложено и немало личностного, автобиографического. По крайней мере, в мыслях и рассуждениях трезвого, степенного, внешне и внутренне всегда собранного и опрятного, верного идеям и идеалам коммунизма Хакима много кровно близкого, созвучного самому писателю.

Хотя роман и называется «Много лет спустя», однако со времени событий, описанных в «Крутом времени», прошло не так уж и много. Возмужал, вырос в ответственного работника Хаким Жунусов, подросли и обретают все большую самостоятельность его младшие братья Алибек и Адильбек. Отгремела гражданская война, но еще слышны ее отголоски. Пришли заметные перемены в казахскую степь, но классовая борьба не прекратилась. Недавние бесправные кедеи и батраки, разбуженные советской властью, все активней и решительней включаются в борьбу за советизацию аула, за социализм. Происходит коренная ломка в сознании бедноты, но и враги всего нового — явные и скрытые — еще не сложили оружия.

Нет, не проскакала на взмыленном коне революция мимо казахского аула, как склонны были утверждать иные. И теперь, в канун коллективизации, отнюдь не тишь и благодать царили в казахской степи.

Вот об этом и роман «Много лет спустя» — логическое продолжение эпопеи «Яик — светлая река».

Впрочем, о теме и содержании романа точно и емко сказано в нем самим автором:

«Наступала пора больших новостей... Отпустил лютый холод войны. Отсвистали пули, снова гулял по степи лишь вольный ветер.

Забылись плач и стоны голодного ребенка, тянувшего слабые руки к жидкой похлебке. Замело и следы банд, черной бурей опустошавших казахскую землю. Степь возрождалась, вставала, будто человек после тяжкого недуга, постепенно наливаясь цветом жизни. Тучнели поля, на пастбищах множился скот.

Забитый люд, веками метавшийся, словно перекати-поле, из края в край своей необъятной широкой степи, воспрянул. Схватив свободу за поводья, двинулся огромным кочевьем к новой жизни...

Огромная степь ждала больших и решительных перемен...»

В этом отрывке определена тема романа, его ч т о. А как — в самом произведении, в том, что не передается пересказу.

В «Много лет спустя» немало традиционного, знакомого, близкого и известного из других источников — из литературы, из истории, из воспоминаний очевидцев, из семейных преданий. Читатель, полагаю, узнает много знакомых черт в галерее бедняков и батраков, истинных, преданных делу партийно-советских работников и так называемых «бельсенды» — горе-активистов; в молодой, обаятельной Шолпан, жадно тянущейся к знаниям, к подлинной женской свободе и любви, в бесстрашном борце и силаче Жолмухане, в нечистом на руку уездном нарследователе Айтане, в верной, доброй, женственной Мендыкыз, в мятущемся Алибеке и т. д. Все они — «знакомые незнакомцы». Крупным же успехом писателя я считаю создание трех новых для казахской литературы образов-типов: очень колоритного матерого степного волка Коныскерея, стихийного бунтаря, верящего по-своему в справедливость, но разуверившегося в людях и тщетно ищущего смысл нового уклада жизни; еще более колоритного, сложного, своеобразного, величественно-трагического осколка прошлого, «степного философа-эстета», обладателя шестидесяти двух породистых красных дромадеров, «бледноликого, со льдом в груди» Ахметше Мухаметшина; юного, сильного, отравленного ненавистью, жестокого Каршиги, «в душе которого яд копился годами, а тайные замыслы прятались в глубине шершавого сердца»; Каршиги, мечтавшего стать сильным и решительным, как Коныскерей, и хватким и властным, как Ахметше. Именно эти образы наиболее ярко характеризуют умение писателя лепить нешаблонные, крупные, сильные характеры.

Из нередких бесед с Хамзеке я понял, что он задумал написать цикл романов, охватывающих промежуток от предреволюционных лет до начала шестидесятых годов. Он часто говорил о примере крупных романистов прошлого и

современности, которые в своих произведениях отражали большой этап истории и смело ставили глобальные проблемы человеческой жизни. Если не ошибаюсь, этот цикл был задуман Х. Есенжановым из шести романов. Писатель почти успел осуществить свою давнюю мечту. В трилогии «Яик — светлая река» масштабно отражены события гражданской войны в западных областях Казахстана; в романе «Много лет спустя» воссозданы картины 20—30-х годов — время становления советской власти, борьбы с разномастными внутренними врагами периода коллективизации; роман «Братья Жунусовы» охватывает сложные социально-общественные события в республике конца 30-х годов. Со страниц этих романов веет подлинная, трудная, в муках выстраданная народом правда. Правда истории. Правда нашей жизни. Правда наших побед и поражений. Правда, осмысленная и честно воссозданная большим художником, гражданином, коммунистом. Правда, гарантирующая этим книгам долгую и полезную жизнь.

В моих дневниковых записях в промежутке между 1964 и 1974 годами имя писателя встречается часто. Скупо, в нескольких словах зафиксированы суть наших бесед, какие-то мысли и замечания Хамзеке: рассказ об одной реальной исторической личности, султане, юристе-адвокате, члене Государственной Думы; писатель хранил в шкафу его рукопись о колониализме (3. X. 64); рассказ о личных творческих планах — должен написать несколько новеллок, «лезет прямо, не могу, все уже обдумано», пьеса лежит, готовая вчерне, надо сократить до 70—75 страниц, еще одна трагедия задумана, «не знаю, осуществится ли это», две статьи заказаны, за роман засесть надо (22. IV. 65); рассуждение о писательстве— хороший язык, ювелирная отделка, изящная фраза — еще не все, важны философия, мировоззрение, отношение к жизни. «Тихая заводь», которую облюбовали иные «эстеты» от литературы, в писательском деле бесплодна, вредна и отвратительна (19. III. 65) и т. д.

У Хамзеке было несколько излюбленных тем, к которым он особенно охотно и часто прибегал в беседах. Его возмущали разговоры о «новом романе», о «гибели» романного жанра, о том, что традиционный «семейный» роман якобы изжил себя. Это совершенно праздный разговор,

утверждал он, не имеющий ни исторической основы, ни литературной перспективы, и жаль, что его подхватывают некоторые наши молодые критики и литературоведы. Большие романы-эпопеи есть художественное отражение истории народов, а потребность в таких панорамных, всеохватных отражениях жизни была и остается всегда, и это никак не противоречит марксистско-ленинской эстетике. Никак! И писатель вспоминал циклы романов и эпопеи Бальзака, Золя, Манна, Голсуорси, Драйзера, Толстого, Гончарова, Достоевского, Арагона, Шолохова. Что? Эти бессмертные творения разве уже выполнили свою историческую, литературную и эстетическую миссию? Художественный метод этих гигантов устарел? Вздор! Казахская литература, например, только начинает осваивать традиции этих великих эпиков. Нам необходимо учиться у Мухтара Ауэзова. Наша национальная история, наше прошлое — давнее и близкое — еще не осмыслены, не отражены в больших художественных полотнах широкого эпического дыхания. И если мы начнем следовать утверждениям радетелей «нового романа», равняться на их несостоятельные концепции, то кроме вреда ничего для литературы, в том числе для казахской, не сделаем. Не писатель выбирает жанр, а судьба народа, глобальные события, в которых живет художник.

Так рассуждал, изменяя нередко, к моему удивлению, своему спокойствию и невозмутимости, Хамза Есенжанов. И эту свою стержневую точку зрения он убедительно отстаивал и в своем творчестве.

Особенно убежденно ратовал Хамзеке за четкую, гражданскую, партийную позицию писателя. В этом вопросе он бывал резок, категоричен, даже нетерпим. Вот, говаривал он, все твердят о художественности, как о чем-то божественном. Дескать, такой-то — истинный художник, мастер-ювелир, чеканщик, и слова его поблескивают, сверкают, а каждая фраза — будто яркий узор на кошме. Накрутил предложение, длинное, как тонкая кишка, сплел, точно камчу в восемь струн, да еще конским салом смазал, ошеломил каким-то вычурным сравнением, перемешал слова так, что ничего не поймешь, или истолок их в ступе, будто просо для похлебки, и выдает это за подлинную художественность. А иные критики и ахают, восторгаются,

читателей с толку сбивают. Э-э, милые, несерьезно это. Несерьезно. Слишком прямолинейно понимают бунинские слова: «Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать... « Бунин это сказал в запальчивости, в споре. Он, конечно, блестящий художник, но разве общественно-социальное было ему чуждо? Взывать исключительно к описательности, к «художественности», к словесному блеску-сверку— значит, проповедовать «тихую заводь» (выражение это Хамзеке всегда употреблял по-русски), а это, как позиция, не годится для писателя. Не годится! Нужно прежде всего твердо знать, что ты хочешь сказать, к чему и куда зовешь. Если нет твердой точки опоры, нет своего взгляда на все, то никакая «художественность» не спасет. Простая, банальная истина, а все время, бог весть с каких времен, приходится ее повторять и отстаивать...

«Писатель должен писать всегда, в любых условиях, — любил еще повторять Хамзеке. — Его не должно страшить то, что рукопись его не может по каким-либо причинам увидеть свет при его жизни. Труд никогда не пропадает. В этом я абсолютно убежден. Помнишь: «Рукописи не горят?» Это сказано верно и точно».

И писатель показывал мне папку с узкими полосками, клочками, обрывками пожелтевших бумаг, исписанных еще в те годы, в условиях, отнюдь не располагавших к творчеству. Он уже тогда вынашивал свои будущие романы, обдумывал их композицию, лепил характеры, а отдельные сцены, не надеясь на память, записывал на первый попавшийся клочок бумаги.

Пользовался он арабским шрифтом, утверждал, что лист, исписанный арабской вязью, воспринимается цельней, компактней, и к тому же он значительно удобней для правки. Причудливые знаки, нанизанные на ровную строку, казались заманчивыми, таинственными. «Точно» муравьиный след», — заметил я как-то. Хамзеке в ответ усмехнулся. «Это след слова. Самый верный, надежный след. След слова — след дела твоего». И писатель развил свою мысль: слово прочувствованное и честное — это и есть настоящее слово. В таком слове и боль, и совесть, и гражданская страсть. Это писательское слово. Оно не может остаться бесследным. Его непременно услышат. Да, да... след слова — это след нашего дела.

Я еще подумал тогда: если напишу когда-нибудь о Хамзеке, то так и назову свои записки —»След слова».

Его никогда не покидала вера в справедливость. И он был мужествен. Мужеству учил и других. Чувство гражданства, чувство ответственности, долга перед народом, перед литературой были сильно развиты в нем. Это доказал он всей своей жизнью. Это доказывают его романы. Это он постоянно внушал и мне. Я иногда доверительно рассказывал ему о трудном становлении и развитии послевоенной советской немецкой литературы, о ее замкнутости, о том, что широкий читатель представления о ней не имеет. Тогда, двадцать лет назад, это было действительно так. Хамзеке горячо советовал: «Слушай, это же твой первый долг! Почему не пишешь об этом? Почему мы об этом ничего не знаем?!» И именно тогда я написал на казахском языке две-три робкие статейки о советской немецкой литературе, организовал подборку стихов, и эти материалы увидели свет в «Казах адебиеты». Эта тема — советская немецкая литература — стала потом одной из главных в моих критических писаниях. Конечно, не обошлось без влияния и поддержки Хамзеке.

Постепенно я перестал замечать его суровость и замкнутость. В дружеской беседе он оживлялся, чаще улыбался, правда, по-прежнему одними губами, а иногда и смеялся — коротко, резковато. Я понял, что за его внешней суровостью, необщительностью кроется просто строгость к себе и к другим и еще — большая творческая дисциплина. Работал он много и постоянно, по твердому распорядку дня.

Когда я вступал в Союз писателей, он дал рекомендацию. Я и сейчас ее, написанную его рукой, храню. Он возлагал на меня, как на переводчика, серьезные надежды и верил мне. Его вниманием я дорожу поныне.

Он любил свою родную Уральскую область, знал, как мне кажется, каждую речушку, каждый овражек. С какой-то нежностью и теплотой произносил их названия. В самом начале трилогии «Яик — светлая река» Хаким говорит: «Я же не словесник, чтобы знать значение каждого слова. В нашем языке много подобных слов: Анхаты, Шидерты, Бульдурты, Уленты, Калдыгайты, Кокпекты... « Разные эти места красочно описаны и встречаются часто во всех романах Хамзека. Возвращаясь из очередной поездки в Запад-

ный Казахстан, писатель подолгу рассказывал о людях, о преобразованиях родного края, показывал фотографии, вырезки из газет. В том краю он познал необъятность мира. Там мальчишкой впервые увидел смелых и стойких «балшабаев» (от слова «большевик»): так называли в аулах красных бойцов. Они были в длинных серых шинелях, в островерхих буденовках, а под ними шли резвые, куцехвостые кони. Появление отряда «балшабаев» возле реки Анхаты стало самым ярким впечатлением детства. Всем аульным мальчишкам сразу захотелось стать «балшабаями».

Бурные события гражданской войны, борьбы за советскую власть глубоко врезались в память будущего писателя. Он многое видел, пережил, осмыслил. Родную землю знал как историк и краевед. Увлекаясь, он подолгу рассказывал, бывало, о том, что в Уральских степях запечатлено немало эпизодов русской и казахской истории: здесь бывали Пушкин, Толстой, Даль, Жуковский, здесь сколько угодно мест, связанных с именами Пугачева, Суворова, Чапаева, в этом краю творили Махамбет, Курмангазы, Дина, отсюда вышли такие известные казахские литераторы, как Х. Джумалиев, Дж. Мулдагалиев, Т. Жароков, С. Сеитов, Ж. Тлеков, К. Мурзалиев. Много любопытного рассказывал мне писатель о том крае. В этих рассказах то и дело упоминались известные события, мелькали знакомые названия: Саратов, Энгельс, Пугачев, Марксштадт, Урбах. Неудивительно: родина моих ближайших предков граничит с Уральской областью, а мой отец и Хамзеке — ровесники. Одно поколение — схожая судьба...

Получилось так, что весь 1974 год — последний год жизни писателя — я с ним не встречался. Почти полгода — после операции — я пролежал в больнице, потом долгие месяцы изнывал-маялся дома, в маленькой квартирке на краю города, закованный в постылый гипс, в тутор. Знал: публикуются «Братья Жунусовы», Хамзеке, по-прежнему верный своему распорядку дня, работает, а совсем недавно, осенью 1974 года, съездил в Кустанайскую область, побывал на Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном комбинате, на заводах, в совхозах, любовался ширью степей, которые не видел более сорока лет...

И вдруг скорбное извещение в газетах: «... 5 декабря 1974 года на 66 году жизни после тяжелой болезни скон-

чался видный казахский советский писатель, лауреат Государственной премии Казахской ССР Хамза Есенжанов».

За окном стыли чахлые деревца. Непробиваемые свинцовые облака затянули небо.

Было сиротливо, горько...

О Хамзе Есенжанове, писателе и человеке, написано немало. Многое о нем еще будет написано. Своим творчеством он оставил в казахской литературе значительный след. Память о нем хранят и его друзья, и его современники. Его романы отражают большой этап нашей истории. И значение их непреходяще. Свидетельство тому — многократные переиздания трилогии «Яик — светлая река».

Я рад, что знавал его. И в жизни моей он был одним из светлых мгновений. И пусть эти мои беглые, сумбурные заметки станут скромной данью его памяти.

1983 г

МИР МУСРЕПОВА

Эти строки были написаны к 80-летию Габита Махмудовича Мусрепова. Один из основоположников казахской советской литературы, яркий представитель той «могучей кучки», он тогда еще был полон сил и продолжал активно трудиться в литературе. А три года спустя, в 1985 году, его не стало.

Не хочется переделывать, переписывать ту свою статью, нет желания употреблять глаголы в прошедшем времени. Думаю, читатель меня поймет...

Прожить долгую жизнь, вероятно, непросто. Далеко не каждому это дано. Но это лишь полдела. Важнее прожить свою жизнь осмысленно и полезно. Долгая и полезная жизнь — это уже достоинство и мужество. Пример тому — жизненный и творческий путь Габита Махмудовича Мусрепова, Героя Социалистического Труда, выдающегося казахского писателя-академика.

Более полувека активно трудится в литературе Габит Мусрепов, благотворное влияние его изящного таланта и обаяния испытали на себе едва ли не все виды национального искусства, и не одно поколение казахских литераторов воспитано на его книгах.

Однако плодовитым его не назовешь. Иные из его литературных «внуков» успели «накатать» шесть-семь томов сочинений, оставив по количественному показателю заметно позади признанного, маститого мастера. К счастью, литература измеряется не количеством. Нон мульта, сед мультум /«не много, но многое»/ — это латинское изречение может служить эпиграфом ко всему творчеству Габита Мусрепова. Однажды при мне он подарил Абдижамилу Нурпеисову свой только что изданный трехтомник на казахском языке, сказав при этом: «Все главное, что я написал — в этих трех томах. Остальное можете не искать». Поразительно высокая и трезвая самооценка!

Библиография о творчестве этого писателя значительно превышает написанное им. И говорить о Мусрепове трудно

не только потому, что поневоле начнешь пересказывать, перелопачивать чьи-то мысли, а потому что необычайно сложно выразить, оконтурить идейно-художественное своеобразие и тематический круг, которые позволительно называть МИРОМ крупного художника.

Внешняя биография писателя, его жизненный путь и перечень его произведений займут, пожалуй, десятка два строк, и читатель легко найдет эти данные в любом энциклопедическом или литературном справочнике. Большинству читателей это и ни к чему: каждое произведение Г. Мусрепова жадно читается, обсуждается, дискутируется, переиздается и переводится на многие языки страны и мира.

Габит Мусрепов — не только личность, не только крупный художник, а ЯВЛЕНИЕ в истории и жизни народа, живая нить, связующая Время в его многоплановом и многопластовом выражении. Начиная с конца 20-х годов, когда вышел его сборник «В пучине», он в центре внимания всех этапов развития казахской художественной литературы, и имя его неизменно фигурирует в ряду известных зачинателей казахской советской литературы и с любовью и восхищением упоминается и поныне на самых последних по времени литературных совещаниях. Так, к примеру, на прошедшем в феврале 1982 года в Союзе писателей Казахстана традиционном обсуждении итогов литературного года немало говорилось о новых произведениях Г. Мусрепова, которые он опубликовал за один лишь 1981 год. Огромная дистанция и поразительная активность духа!

Для меня Мусрепов и литература — неразъемные понятия, ибо в моем сознании эти два слова закрепились в одно время, еще в то, далекое теперь, детство, когда мы, ученики аульной школы, изучали его знаменитый рассказ «Талпак танау» — «Тупорылая». Годы спустя я получил возможность узнать писателя лично. Перевел несколько его вещей на русский язык. Нередко встречался с ним, беседовал. А совсем недавно перевел его большой, проблемный очерк «В пути» и читал свой перевод автору в его квартире.

Габе (так его почтительно называют на казахский лад) внешне медлителен, степенен, величав, вальяжен. У него скупые жесты, неторопливые, полные достоинства движения. Я бы сказал: он артистичен во всем. Даже в самой обычной беседе не сорит словом, а пользуется им бережно,

обдуманно. В творчестве же он эту бережливость возвел в принцип. Он подгоняет слово к слову, как бы нанизывает жемчуг, подбивает строку к строке плотно, пробует слово на ощупь, на вкус, достигая максимальной выразительности и прозрачности. Недаром все критки называют его ювелиром слова. Увы, — это я должен сказать сразу, — «русский» Мусрепов сильно уступает Мусрепову-стилисту в оригинале. И в этом виноват прежде всего он сам, ибо с каким-то странным, необъяснимым безразличием относится к переводу своих вещей. Нет у него в этом вопросе нурпеисовской скрупулезности и дотошности.

Пока я читаю свой перевод, Габит Махмудович внимательно следит по второму экземпляру и время от времени говорит глухо, врастяжку: «Да-а... «, или: «Минуточку... « Я уже знаю: «да-а...» — значит, хорошо, верно, пойдет; «минуточку» — значит что-то не в порядке.

При этом мы не сверяемся с оригиналом: Габе совершенно точно помнит каждое слово, каждую фразу своего текста.

Часто отвлекают нас телефонные звонки. Многим есть дело до восьмидесятилетнего писателя, и ему есть до всего дело. И пока хозяин небольшого, но опрятного, аккуратного кабинета расспрашивает одного собеседника о делах в области, о зиме, о снеге, о подготовке к весеннему севу, о семенах, со вторым обговаривает время встречи, третьему решительно отказывает в чем-то, сетуя на нехватку времени, я незаметно наблюдаю за ним, стараясь определить для себя, осмыслить большую жизнь и самобытный талант крупного художника, каким является Габит Мусрепов. Помимо природного таланта писателя делает выдающимся его чувство своего времени и места, чувство современности. Это редкий дар — ощущать пульс эпохи, и Г. Мусрепов обладает им.

В 20-30-е годы, когда в казахской степи повсеместно рушился старый патриархальный уклад, когда новая жизнь, новые людские отношения, новые представления властно внедрялись в сознание степняков, Г. Мусрепов пишет повести и рассказы, живо схватывающие и художественно достоверно, ярко отражающие глубинные процессы, огромные социальные перемены, происшедшие в Казахстане в XX веке. Вспомним его произведения той поры: «В пучине», «Кос-Шалкар», «Соседи из зеленого дома», «Тупорылая», цикл новелл «Сказание о матери»,

оригинально продолжающий горьковские традиции в литературе.

Многие жанры казахской литературы находились в то время еще в зачаточной стадии. Особенно отставала драматургия. И Г. Мусрепов создает одну за другой пьесы, которые и поныне не сходят с национальной сцены: «Кыз-Жибек», «Козы-Корпеш и Баян-слу», «Ахан-серэ и Актокты», «Амангельды» и другие.

Казахские литераторы всегда видели одну из важных задач своего творчества в пропаганде лучших образцов русской и мировой литературы. Не оставался в стороне от этого благородного дела и Г. Мусрепов. Он мастерски переводит на казахский язык публицистические статьи русских авторов.

Разумеется, не могла не затронуть чуткого художника и тема Великой Отечественной войны. Он переводит на казахский язык отрывки из романа М. Шолохова «Они сражались за Родину», пьесу К. Симонова «Русские люди» и создает свой знаменитый роман «Солдат из Казахстана», сразу же по выходу переведенный на многие языки. Талант социальной типизации в полной мере сказался в этом произведении. Сирота-пастушонок из аула Кайракты, «маленький колхозный активист» Кайруш Сарталеев, пройдя суровые «университеты» жизни, познав подлинные ее ценности, в годы великого испытания становится Солдатом из Казахстана, беззаветно храбрым защитником своей многонациональной Отчизны. Реальную жизнь реального человека — Героя Советского Союза Константина Исмагулова, ставшего прототипом героя романа, — автор сумел «поднять» до высокого уровня художественного обобщения и создать запоминающийся колоритный образ того поколения, которое, сполна познав пафос новой жизни, с честью выполнило свой долг в жестокой битве с фашизмом.

Следующее крупное произведение Г. Мусрепова, вышедшее в 1953 году, — многоплановый роман «Пробужденный край». Автор обратился к трудоемкой, в те годы еще весьма слабо освоенной казахской литературой теме: зарождение и формирование казахского рабочего класса, жизнь рабочих дореволюционной Караганды. Живые, психологически тонко и четко очерченные образы разных слоев казахского населения в канун революционных бурь

вереницей проходят перед глазами читателя этого романа — широчайшей панорамы жизни казахской степи. Многие годы писатель работает над продолжением этой книги — романом «В чужих руках», отрывки из которого недавно публиковались в центральной республиканской газете «Социалистик Казакстан».

Академик, депутат Верховного Совета Казахской ССР, секретарь правления Союза писателей, член многочисленных Комитетов, Советов, Комиссий и редакций, Г. Мусрепов активно участвует в общественной жизни, много разъезжает по стране и за рубежом, вникает во все сферы общественной и духовной жизни, напряженно размышляет о прошлом и настоящем, ратует за крутой взлет национальной культуры, внимательно следит за всем новым, чутко реагируя и тонко подмечая все болевые точки нашей бурной действительности. Думы, тревоги, радости и волнения, восхищение и негодование воплотились в его художественных произведениях, созданных за последнее десятилетие: в повести «Однажды и на всю жизнь», в романе «Улпан ее имя», в рассказах: «В двадцать четыре часа», «Разговор в небе о земных делах», «Би-ага», «Буранная ночь», «Знаменитая певица Майра» и многочисленных очерках, статьях, публицистических выступлениях.

Взгляд его по-прежнему зорок, мысль ясна, слова точны и метки. В прошлом году Г. Мусрепов опубликовал в «Қазақ әдебиеті» очерк «В пути», о котором говорилось и писалось много. Автор запечатлел свои путевые наблюдения, впечатления, раздумья. Сколько актуальных проблем затронуто в этом очерке! Автор тонко высмеивает и разоблачает беспорядки на железной дороге, иронизирует по поводу языковых нелепостей и погрешностей молодых прозаиков и журналистов, достается от него и известным певцам, бездумно искажающим слова народных песен, с болью говорит об усыхающем Аральском море, об исчезнувших камышовых озерах в Кызылординской области, о хищническом отношении к природе, спорит с незадачливым литературоведом, выдающим мнимое за подлинное, предлагает любопытную, истинно научную проблему абаеведам, тревожится о том, что земляки-казахи забывают добрые старые традиции, что ныне в аулах сплошь и рядом довольствуются молоком лишь для забеливания чая, что исчезли со стола казахской семьи

многочисленные исконно казахские молочные продукты, что степняки забывают вкус кумыса и т. д. И обо всем этом написано емко, мудро, по-мусреповски изящно, со множеством метких деталей, с добрым, умным юмором.

Все эти эскизные характеристики долгого и плодотворного творческого пути писателя я привожу здесь для доказательства очевидной истины: Г. Мусрепов — художник своего Времени.

Давно замечено: истинный талант всегда молод. Он неподвластен возрасту. Гражданская зоркость и активность, тонкий художественный вкус, глубокий интеллект и легкая, умная усмешка, ювелирно отточенный стиль по-прежнему отличают творческую манеру маститого писателя. Нельзя не восторгаться и завидным трудолюбием — при внешней неторопливости — восьмидесятилетнего аксакала. За прошлый, 1981 год, к примеру, он опубликовал историческую драму «Завещание потомкам» /о народном заступнике и вожаке повстанцев Срыме Датове/, одухотворенный рассказ «Знаменитая певица Майра» (о трагической судьбе певицы и композитора Майры, которую писатель лично видел и знал в молодости — в 20-х годах), названный выше многопроблемный очерк «В пути», несколько статей, затрагивающих весьма актуальные вопросы современного казахского искусства и истории.

А самое главное — нынче Габит Махмудович передал журналу «Жулдыз» двести страниц новой рукописи — вторую книгу давно задуманной трилогии. «Выйдет — прочтите, пожалуйста, — говорит мне писатель и задумчиво добавляет, — По-моему, там есть кое-что... забавное». Я понимаю: «забавное» — сказано просто так, от скромности. «Забавное» — значит достойное, нечто значительное, существенное, как во всех произведениях Г. Мусрепова.

Мир Мусрепова огромен. Он выходит за рамки чисто литературного значения. Всей своей сущностью, всем своим творчеством он помогает нам серьезнее смотреть на жизнь. На литературу. На истинную значимость писательского слова

1982 г.

СТАРОСТЬ
(эскиз)

В том, что старость не радость, а иногда и расплата, возмездие за грехи молодости, я убедился на примере жизни писателя-стилиста Габита Махмудовича Мусрепова. Я его знавал в течении не одного десятилетия. Видел, слушал, общался с ним, беседовал, переводил кое-какие его вещи. Читал же его произведения со школьных лет.

Что и говорить, яркая, колоритная была фигура. Обладал характером. Дорожил честью и достоинством. Умел себя подавать. Не чуждо было ему и актерство. В молодости, сказывают, изрядно гусарил. Аккуратный, степенный, горделивый, всегда с иголочки одетый, отутюженный, благоухающий, куривший дорогие иностранные сигареты, важно цедящий, будто взвешивал на невидимых весах, слова, едкий и колкий, читающий и знающий, величественный, вальяжный, денди — таким он представлялся публике, таким он воспринимался окружением, таков, как сейчас говорят, был его имидж. Сабит Муканов по сравнении с ним был аульный простак. А Габит Мусрепов цену себе знал.

Все эти определения я мог бы развернуть, раскрыть подробно, конкретно на основе фактов и наблюдений, ссылаясь на дневниковые записи и память об этой незаурядной личности.

Характеристику эту могут подтвердить многие. Хотя годы идут, читают его все меньше и меньше, эпоха его ушла далеко, и быстротекущая жизнь стирает многое из памяти его современников. Да и современников остается все меньше. Уходит целый пласт культурной жизни, чему я, к примеру, был свидетелем.

Яркая жизнь художника, любимца, баловня сменилась тусклой, обидной, беспомощной старостью (Лев Толстой называл ее гадкой). Вот об этом грустном этапе художника на закате жизни я и хочу привести один эпизод.

Накануне своего восьмидесятилетия Габит Мусрепов пригласил меня к себе. А до этого позвонил мне рано умерший, даровитый критик Сагат Ашимбаев и передал просьбу классика-писателя: перевести на русский язык его опубликованный незадолго до этого случая в «Қазақ әдебиеті» путевой очерк «Жол-жөнекей». Я эту просьбу исполнил. И теперь предстояло мой перевод представить на суд самому автору.

К назначенному часу я отправился на его квартиру. В просторной квартире он был один. И я увидел совсем другого Мусрепова. От него исходило глубокое, безнадежное одиночество. Необычно маленький, осевший, весь как-то поникший, подслеповатый, глуховатый, в помятых, жеваных брючишках и свитере, в разношенных отопках, растерянный, озабоченный — таким предстал передо мной еще недавно бодрый и ироничный писатель-биллиардист.

Называя меня «Бэлгэром», растягивая гласные, перемежая казахские фразы с русскими словечками, провел меня в свой кабинет, усадил в старое, продавленное кресло напротив письменного стола. В квартире не чувствовалось живого духа, все показалось мне старым, ветхим и в кабинете: и мебель, и полупустые книжные полки (в печати было сообщение, что писатель передал землякам тысячу томов в дар из своей личной библиотеки), с краю которых возвышалась разноцветная стопка папок с приветственными, догадался я, адресами к былым юбилеям, и кипа пожелтевших рукописей, и разная мелочь на столе: карандаши, резинка, лупа, очки с толстенными стеклами, ручка. В углу было прислонено несколько вычурных тросточек. Я знал: писатель любил строгать перочинным ножичком.

Я в те годы бывал в домах многих маститых казахских литераторов. От их жилья веяло, как правило, благоустроенностью, ухоженностью, довольством, уютом, из кухонь струились дразнящие запахи бесбармака, казы, вяленого мяса, курта, свежих баурсаков, чая со сливками, айрана и прочие соблазнительные ароматы. Звучала многоголосая речь. Резвились дети, внуки. Хлопотала хозяйка.

Здесь же из всех углов несло нежитью. Ни шума, ни хлопот, ни сытых запахов. Неуютно. Тоскливо. Замок одинокого вдовца. Одинокая старость. Пусто вокруг. И мне стало жаль маленького старичка за старым, обшарпанным письменным столом, стоящим поперек комнаты у окна.

— Читайте, Бэлгэр... Я послушаю. Только чуть громче и не торопясь.

Он откинул крупную голову с поредевшими, жидкими волосами на спинку кресла, выпятил тщедушную старческую грудь, уставился невидящими глазами в потолок.

Он внимательно слушал, иногда одобрительно мычал врастяжку «да-а-а...», порою останавливал: «Не торопитесь», «Еще раз», «Медленнее», задумчиво произносил: «Здесь надо усилить», «Здесь нужно сказать по-другому».

Очерк, если не ошибаюсь, «тянул» страниц на 15-18 машинописи. За полчаса одолели половину.

Тут позвонили в дверь. Габит Махмудович не слышит.

— Ғабе, — говорю ему по-казахски. — В дверь стучат.

— Э, солай ма? — встрепенулся он.

Он поднялся с кресла, плотнее сунул ноги в спадающие отопки и семенящей, суетливой, неверной походкой направился в коридор. Я перевел дыхание. Никак не могу привыкнуть к домашнему, неофициальному Мусрепову. Во мне устойчиво сложился совсем иной его образ. Я помню его молодящимся, бравым серэ в пору увлечения его совсем молоденькой актрисой Райхан Мухамедьяровой. Он прогуливался тогда победно с ней под ручку в холле Союза писателей Казахстана, и джигиты-литконсультанты, радостно и ревниво возбужденные, выбирались из своих кабинетов и перемигивались: «Лейла и Меджнун», «Ромео и Джульетта».

Прошло всего несколько лет, и Меджнун состарился, поблек, одряхлел. Ай, заман-ай!..

Признаться, до того я несколько раз встречал стареющего и одинокого Мусрепова в Алматинском Доме творчества писателей. Меня неприятно поразили тогда увивающиеся вокруг него окололитературные пошляки, которые пользовались его немощью и уговаривали подписывать хвалебные предисловия к своим сомнительным изделиям. Были и такие, кто глумливо потешался над дряхлеющим львом, руководствуясь малопочтенной казахской поговоркой: «Если смеяться, то смейся над старостью».

— Я еду на базар, — донесся нарочито громкий женский голос. — Могу прикупить мясо. Сколько надо?

— Рахмет. Сейчас, сейчас... — с явной угодливой ноткой в голосе ответствовал Мусрепов и присеменил-пришаркал

в кабинет, открыл ящичек стола, порылся в уголочке, достал какую-то купюру. И снова — шарк-шарк, тюк-тюк — направился к выходной двери.

— Что это?! — возмутился пожилой женский голос -Этого же ни на что не хватит!

— Да-а?. . А сколько надо? — виновато спросил Мусрепов.

— Ну, хотя бы еще столько же! Женщина была явно раздражена.

— Сейчас, сейчас...

Хозяин снова притопал в кабинет, опять порылся в ящике стола, достал еще пару купюр, отнес грозной посетительнице.

Дверь захлопнулась, хозяин тяжело дыша и заметно смущенный, вновь устроился в своем кресле. Посмотрел внимательно сквозь толстенные стекла очков.

— Знаете, Бэлгэр... я сейчас один. Жена в больнице. И вот...

Я начал читать дальше. Иные предложения по два-три раза. Дошли до конца. В общем, чувствую, автор переводом доволен.

— Жаман емес, Бэлгэр, — медленно роняет слова Габе. -Я попрошу вас, отнесите материал Мацкевичу. «Известия» просят к юбилею.

— Может, Габе, лучше вам? Со мной кто будет считаться? А вы позвоните — мигом прискачут.

— Не-эт... Вы переводчик. А по телефону все обговорено. Надо еще сегодня передать.

Я тотчас отправился к собственному корреспонденту «Известий» в Казахстане Эдуарду Мацкевичу. Он, не читая, спросил:

— Очерк? О чем?. . Многовато. Надо сократить!

— Сократить?! Классика казахской литературы?! — опешил я.

Долгие годы работая с Абдижамилом Нурпеисовым, я убедился, как он ценил свой текст и не позволял никому сокращать его ни на слово. Не терпел редакторского своеволия и смог из-за одной фразы насмерть перерутаться с московскими корифеями. А тут речь идет об одном из основоположников казахской советской литературы. Такого я представить себе не мог.

— Сократить! — упорствовал Эдуард. — До шести страниц!

— Да как можно?! — возмутился я. — Цельный очерк. Что от него останется?

У меня на такое рука не поднялась. Сокращать на две трети мусреповский материал?! Да никогда. Это кощунство. Он сам стилист. Лапидарен. Точен. Шлифовальщик! Гравюр!

— Газета всесоюзная. Шесть страниц для старика -пусть спасибо скажет.

У Эдуарда русское воспитание, у меня — казахское, аульное. Я привык почитать старших. Тем более живых классиков.

Переживая за признанного мэтра литературы, я вновь отправился к Габиту Махмудовичу.

Он снова провел меня в кабинет, внимательно выслушал мой сбивчивый рассказ. Я ожидал бурную реакцию с его стороны, живо представляя, как в таком случае на его месте поступил бы Нурпеисов. Да он бы рвал и метал, не пощадил бы ни Чуковского, ни Баруздина. Снял бы с них стружку. Затолкал бы обе ноги в один сапог. Доказал бы свою правоту. Настоял бы на своем. Думал: сейчас классик казахской литературы возмутится наглостью какого-то корреспондентишки, кинется к телефону, выдаст на полную катушку сначала Эдуарду, потом позвонит в Москву, обрушит на тамошнее начальство весь безмерный свой гнев, покажет всем, где раки зимуют и почем фунт лиха, после чего опубликуют с извинениями перед аксакалом весь его очерк без единой купюры. И правильно сделают! Нельзя давать себя в обиду. Особенно если ты классик, академик, депутат и все такое...

И вдруг слышу размеренный, глухой, смиренный голос.

— Бэлгэр, бұлардың айтқанына көну керек қой деймін. Да, да, думаю, с ними надо согласиться. Газета общесоюзная, популярная, солидная. Шесть страниц не так уж и мало.

— Но я, Габе, так сокращать Вас не могу. Сделайте это уж сами.

Пауза. Хозяин долго думает, что-то прикидывает.

— Не-эт, Бэлгэр. Вы это сделаете лучше. Завтра жена выписывается из больницы. В тяжелом состоянии. Я должен за ней ухаживать. Чай готовить. Мне будет некогда.

Я остолбенел. Растерялся. Такого оборота никак не ожидал.

— Да, да... Сделайте сами. И отнесите к Мацкевичу.

Вконец пораженный такой смиренностью классика, я вновь потащился к Мацкевичу. Говорю:

— Габит Махмудович согласен на сокращения. Поручил это мне. Но я это сделать не могу. Сделай уж сам.

— Ах, так?! — Мацкевич, бегло просматривая страницы, начал лихо, даже, казалось, с веселым озорством вырубать целые абзацы. Вот тебе, стилист-классик! Вот тебе, прилежный переводчик. Раз-раз! Расправился с лирико-саркастическим путевым очерком, как повар с картошкой. Остались от перевода рожки да ножки.

Мне стало дурно. И я забрал очерк, решив, что дома попытаюсь из пятнадцати страниц сделать шесть.

Но я это сделать так и не смог.

И Мацкевич больше не звонил.

И Габиту Махмудовичу вскоре стало не до очерка и юбилея.

Так и лежит у меня тот очерк по сей день в шкафу.

А года через два не стало и самого писателя.

И, многие годы спустя, когда я думаю о большом писателе и крупной личности Габита Мусрепова, мне вспоминаются встречи и беседы с ним в разную пору — в пору славы и всеобщего признания, любви и почитания, и тот благополучный Мусрепов фигурирует в моих дневниках не однажды. Но помню и тот печальный период, когда,согласно казахской мудрости, «Аяғы дүниенің ырыңжырың» — «Жизни конец — что изодранная шкурка», все былое величие и внешний лоск, весь шарм куда-то улетучились и, как тяжкая плата за все это, осталась старость, (одна старость, только старость со своими скорбными и гадкими спутниками — одиночеством, хворостями, не уютом, неприкаянностью, ненужностью.

Незадолго до кончины он издал трехтомник избранных своих сочинений на казахском языке. Вручая один комплект на память Абдижамилу Нурпеисову, Габе сказал, что в этих трех томах все лучшее, что он за свою долгую жизнь написал. Все остальное, мол, не в счет.

Иногда я думаю: что останется от Мусрепова в XXI веке? На мой взгляд, останутся несколько отменных его рассказов и пара пьес. Останется его духовная аура. Благодарная память соплеменников.

Для художника совсем немало.

2001

ЭТЮДЫ ОБ АБДИЖАМИЛЕ НУРПЕИСОВЕ

Внешне его биография не богата событиями. Детство в крохотном ауле на пустынном берегу Аральского моря, школа, фронт, учеба уже после войны, творчество — вот и все основные вехи жизненного пути.

Спешка не в его натуре. В жизни он, пожалуй, чаще всего запаздывает. Должно быть, от природы настроен на длинные дистанции. Сказываются гены несуетливых предков, убежденных, что торопливость тешит дьявола и гневит Бога.

Нетерпелив он только в шахматной игре. И в этом чудится мне некое противоречие личности. Может, нелогичность, свойственная незаурядным людям.

Гете в разговоре с Эккерманом как-то сказал: «Есть такие основательные люди, которые ничего не умеют делать с ходу, сама их природа требует спокойного, глубокого проникновения в каждый очередной предмет. Такие таланты, случается, раздражают нас, ибо из них редко можно вытянуть то, что мы хотим иметь сию минуту, но все же к наивысшему приходят именно таким путем».

Слова эти вполне приложимы к творческому облику прозаика, о котором пишу.

Он из племени медлительных, но настойчивых и целеустремленных. Упорство его особенное: я в состоянии его определить лишь вычитанным где-то выражением — «буйволо образное». И в этом нет отрицательного оттенка. Это как раз то свойство, о котором у Джека Лондона сказано: «Упорство — вот тайна писательского мастерства, как и всего остального».

Так же трудно определить его основательность. Над текстом обычной поздравительной телеграммы он может просидеть два дня. И вовсе не потому, что не знает, что и как писать, а по той причине, что даже в интимном тексте, обращенном к одному человеку, стремится сказать что-то

важное, сокровенное и — не банально, не шаблонно.

И невольно удивляешься, каким образом при таких темпах работы он умудрился написать несколько книг, которые ныне многократно переиздаются и переводятся на многие языки мира. Книги, снискавшие автору трудную, но заслуженную и прочную славу.

О них написано немало. Они достойно оценены крупнейшими литературными авторитетами. Удостоены высоких премий.

Так уж сложились обстоятельства, что автор этих строк вот уже четыре десятка лет, можно сказать, изо дня в день находится не вблизи казахского прозаика, о ком речь, а рядом, бок о бок, плечом к плечу, как в творческой, так и в личной его жизни, и потому, полагаю, желание поделиться своим пониманием писателя и его творчества — естественно и понятно.

ШАГ К ПРИЗВАНИЮ

... за пределами книги обычно остается еще много такого, что живет в нас в ожидании своей формы, своего обратного выражения.

Чингиз Айтматов.

Так что же было в начале?..

Извечный вопрос: где они, корни?...

... Мерклый осенний день.

Дождь. Стынь.

По мокрому асфальту приглушенно шуршат шины машин.

Все вокруг поглотили мгла и морось. Лишь изредка то впереди, то сбоку выплывают из-за мглистой завесы крутосклонные бурые холмы.

Мы молчим.

Вспоминаются начальные строки «Долгожданного дня»: «Стояла темень. Нудный, весь день без передышки моросивший дождь сейчас прекратился. Потянуло вдруг засвежевшим осенним воздухом. Стылое его дыхание временами обдавало лицо... «

Должно быть, и тогда, в том далеком военном году, в такую же вот непогодь под сумрачным предзимним небом Балтики, по земле Курземе шла-тянулась группа разведчиков под командованием Есея Бержанова...

Я искоса гляжу на своего собеседника, озабоченно прильнувшего к рулю. Пытаюсь представить, каким он был сорок лет тому назад. Там, на передовой фронта.

Сложно.

Строки из автобиографии: «Восемнадцатилетним пошел на фронт. Находился поначалу в резервном пехотном полку. Учился на краткосрочных курсах политработников. С весны 1944 г. до окончания Отечественной войны участвовал в боях по освобождению Прибалтики — в Эстонии и

Латвии, в уничтожении Курляндской группировки, последних остатков немецких войск на нашей земле».

Машина упорно бежит по сужающейся ближе к горам дороге. Из низко стелющихся, цепляющихся за вершины сопок слоистых туч просыпалась дробь колючего снега. Яростно простучала в смотровое стекло.

Навязчивое ощущение: сейчас лейтенант Есей Бержанов войдет в подвал соснового дома с обгоревшей крышей, где обосновался дедушка Пий, увидит своего разведчика, обсушивающегося у раскаленной железной печки, и скажет насмешливо: «Тоже мне, вояка!».

С этого эпизода начинается «Долгожданный день»...

— Абе, когда вы начали писать «Курляндию» — помните?

Он светлеет лицом, улыбается.

— Совершенно точно: первое января 1947 года

— А что было до этого?

— До этого было двенадцать страничек школьной тетради, исписанных карандашом. Их я показал Габидену Мустафину...

Да, помню... об этом он однажды рассказывал. Пришел недавно демобилизовавшийся молодой офицер к известному уже в то время прозаику и протянул двенадцать страничек, исписанных мелким, аккуратным почерком. «И это все?» — спросил, не скрывая недоумения, писатель. «Все», — сокрушенно признался безусый офицер. «Так что же я могу сказать?»—»А, скажите... скажите, агай, так ли пишут романы?»

Мустафин улыбнулся и поведал о том, как он работал над романом «Чиганак», как до того написал рассказ «Под небом божьим просторно» и что если имеются какие-либо зарисовки, заготовки, мелкие рассказы, то все это можно использовать в романе.

Безусый офицер вздохнул: не было у него ни заготовок, ни зарисовок. Всего-то и было двенадцать страничек школьной тетради, исписанных карандашом.

Не было ни образования, ни даже читательского опыта: прочитано на русском языке лишь три книги — «Спартак» Джованьоли (ничего не понял), первая книга «Войны и мира» (мало что понял), «Разгром» Золя (кое-что понял).

Была за плечами аульная десятилетка.

И главные университеты — война.

Потом, многие годы спустя, Абдижамил напишет:

«Война была самым большим потрясением для всех нас. И многие из нас сразу взялись за перо».

И еще:

«Что заставило меня, вчерашнего фронтовика, взять в руки перо? Конечно, война».

Было неуемное желание поведать о пережитом.

Была необоримая потребность писать. Смутное ощущение своего призвания, к которому предстояло сделать решающий шаг.

Была вера, что писать он будет. Вера, основанная на полном неведении, незнании литературы и литературного труда, та «екі дүние бір қадам», что по смыслу означает: «Одним махом одолею оба света» и соответствует русскому: «Пьяному море по колено».

Так убежденно считал сам автор «Курляндии».

Ныне такой уверенности у маститого писателя уже нет. Ныне он испытывает страх и робость перед «белой немотой» листа. Даже небольшая заметка, выступление или газетный очерк доставляют ему муки, и он решительно не понимает тех, кто лихо совершает набеги на все литературные жанры, не испытывая при этом трепетной боязни или сомнения. С горечью и досадой рассказывает он об одном почтенном литераторе, сказавшем как-то вполне серьезно: «Э, знаем мы этих классиков! Назначь-ка меня редактором, да дай мне в руки ножницы, я в два счета оттяпаю две трети «Войны и мира».

Невежество для писателя — самый тяжкий, непростительный порок.

Так считает ныне автор трилогии «Кровь и пот».

А тогда...

Началась истовая (сам прозаик называет это состояние тотальной мобилизацией всех душевных и физических сил) работа над романом. Все пережитое, передуманное, увиденное и прочувствованное двадцатитрехлетним демобилизовавшимся офицером показалось интересным и значительным, и все это лезло в довольно пухлый роман.

Летом 1949 года автор принес рукопись в издательство.

А до этого Мухтар Ауэзов попросил однажды начинающего прозаика зайти к нему с тремя — на свой выбор — отрывками из своего произведения. В назначенный час Абе пришел и прочитал. Мухтар Ауэзов слушал молча, сосредоточенно и сказал всего лишь одну фразу: «Октың тілі шолақ тіл. Сен біраз түс тапқан екенсің». Я затрудняюсь перевести это так же емко и лапидарно. Но звучат эти слова примерно так: «Язык пули куц. Но ты нашел немало красок».

Неопытность молодого прозаика была, однако, слишком очевидна.

Приведу здесь еще один случай, записанный мною в дневнике 22 августа 1978 года.

«Я часто думаю, что за роман я взялся все-таки по невежеству», — заметил Абе и уже в который раз рассказал мне о том, как в 1949 году Мухтар Ауэзов повел его в Оперный театр на просмотр концерта, подготовленного к Декаде казахского искусства в Москве. Сидел он, волнуясь и робея, рядом с Ауэзовым. На сцену вышли оркестранты в национальных костюмах. Многие инструменты Абе видел впервые.

Сухой, поджарый, кучерявый Ахмет Жубанов взмахнул дирижерской палочкой, и оркестр заиграл кюй «Адай». Абе весь подался вперед. Ауэзов покосился на него и спросил: «Ты что, впервые, что ли, слушаешь оркестр?!» И на честное признание начинающего писателя сказал, поморщившись, посерев лицом, с глубоким неодобрением: «Вот те раз! Тоже мне, пишет роман, а сам еще нетронутый мальчишка!» «И тогда я понял, — продолжал Абе, — что пропал. Знаний не было, образования не было, культуры не было, а я писал роман. Смешно! Все это от невежества».

Я заметил, что невежество тут, возможно, ни при чем. Такова была, очевидно, природа дара, таков был зов таланта. И еще я сказал, что писателем его, Абдижамила, сделали именно природный талант и терпение. А не образование, не книжная культура. Он возражать не стал».

Рукопись проходила трудно. Назначили одного редактора — не сработались. Назначили второго — не поладили. Назначили третьего — опять не то. Каждый редактор, едва прочитав первый абзац, начинал с ходу править на свой лад, но правка эта автора не устраивала. Он горячо отста-

ивал каждое свое слово, не соглашался ни на какие переконструирования предложений. В отчаянии он обратился к секретарю ЦК Компартии Казахстана Ильясу Омарову. Многомудрый Ильяс Омаров, тонкий знаток литературы и психологии творчества, затребовал рукопись и редактированный текст, сравнил и посоветовал выпустить роман без редакции, сказав, что идейных ошибок в нем нет. Так «Курляндия» и увидела свет: техредактор есть, корректор есть, а редактора нет. Единственный уникальный случай в полиграфии Казахстана.

Было это в 1949 году.

О романе заговорили. «Курляндия» удостоилась республиканской премии им. Джамбула. Добродушный, непосредственный Сабит Муканов еще до выхода романа даже заявил во всеуслышание: «Такого писателя я жду уже двадцать лет», чем вызвал недоумение и недовольство некоторых именитых прозаиков. Тахави Ахтанов опубликовал статью «Большая надежда», в которой, воздав должное творению своего друга и собрата по перу, с глубоким знанием подверг убедительной и доброжелательной критике его недостатки.

После полученного в КазГУ и в Литературном институте им. Горького филологического образования, теоретически подготовленный, зрелый писатель Нурпеисов, учитывая все критические замечания, несколько лет сокращал, дописывал, переделывал, улучшал, шлифовал свой роман, и в 1957 году выпустил его вновь «похудевшим» на десять (!) авторских листов под названием «Долгожданный день»...

Говорю об этом, может, излишне подробно для того, чтобы подчеркнуть самую суть, самую характерную черту творческого облика Абдижамила Нурпеисова. Он не только работает мучительно трудно, кропотливо, галерно. Но с такими же неизменными сложностями и трудностями выходит каждая его книга, преодолевая бесчисленные преграды и препятствия. Потом, правда, приходят успех и слава, но это потом, и, по моему убеждению, они лишь слабая плата и награда за то огромное напряжение человеческих сил, за тот поистине адов труд, о котором многие не имеют ни малейшего представления.

Нет, его никак не назовешь баловнем судьбы.

И сам он никогда легкой судьбы не искал и не ищет.

Подверженный, как всякий смертный, разным человеческим слабостям, он в своем творчестве исповедует максимализм и принципиальность.

Противоречивый в житейских делах, он в писательстве целен.

Непоследовательный в иных своих поступках, он в литературе придерживается твердого убеждения, выраженного им так: «Чем кропотливее и труднее будет писаться книга, тем с большим интересом она будет читаться. А написать такую книгу очень трудно! Каждая хорошая книга, подаренная писателем человечеству, равносильна подвигу».

Работая над своим первым романом, Нурпеисов как бы инстинктивно руководствовался известными словами Хемингуэя: «Нет на свете дела труднее, чем писать простую, честную прозу о человеке. Сначала надо изучить то, о чем пишешь, потом надо научиться писать. На то и другое уходит вся жизнь».

Действительно, как это просто и верно сказано!

Нурпеисов, только что переживший самое страшное испытание — войну, задался целью написать простую и честную книгу о своем поколении, о тех аульных мальчишках, попавших прямо со школьной скамьи в пекло бойни, о своих сверстниках разных национальностей, о всенародном горе и лишениях, выпавших на долю мирных тружеников, о мужестве и стойкости людей, о человечности, не истребимой никакой, самой жестокой и свирепой, человеконенавистнической идеологией.

Это было, так сказать, «сверхзадачей» романа бременем поиска которому подчинялись многочисленные художественные компоненты и средства. И если исходить из того, что основа основ художественного произведения — позиция, мысль, образ, эмоции, язык, то читатель «Курляндии» может убедиться: все это есть в романе.

Русскому читателю «Долгожданный день» неизвестен. Имеется подстрочный перевод, осуществленный Маканом Джумагуловым. Подстрочник первой части романа был представлен автором в качестве дипломной работы при окончании Литературного института им. М. Горького. Неплохо отозвался о романе Всеволод Иванов, отметив, что

казахскому прозаику в отличие от его предшественников хорошо удалась психологическая характеристика русских. Критик Л. Теракопян, ознакомившись с романом по подстрочнику, также высказался о том, что надо бы его перевести на русский язык.

На казахском же языке «Долгожданный день» выдержал пока пять изданий. И совсем недавно я внимательно прочитал его еще раз и должен сказать, что, несмотря на то, что с момента его написания прошло более трех десятков лет, и за это время усилиями крупнейших писателей советская военная проза необычайно выросла и разнообразилась, абдижамиловское произведение отнюдь не оставляет впечатления безнадежной устарелости. Многие страницы его и поныне звучат свежо и убедительно; есть в романе немало подлинно динамических и драматических сцен, ярких описаний, колоритных образов, живых диалогов. Внимательный читатель, знающий и любящий творчество Нурпеисова, найдет в «Долгожданном дне» ряд рассуждений, сюжетных ходов, образов и художественно-изобразительных средств, наиболее характерных для его творческого облика и получивших развитие, обретших более «мускулистое» выражение в поздних его произведениях. И «Долгожданный день», и три романа, составивших «Кровь и пот», и «Долг» написаны в разное время, в разном ключе, отображают разные этапы и закономерности народной судьбы и истории, но все они нацелены на выражение самых главных тенденций времени и помечены индивидуальной метой художника — его самобытным творческим «я». В них отчетливо прослеживается цельное видение мира, проглядывает неделимое ядро недюжинного таланта.

Нелепо и неуместно пересказывать содержание большого романа. События в нем разворачиваются на Курляндском полуострове, где закрепилась мощная фашистская группировка — более тридцати дивизий — и где обе стороны преследовали определенные стратегические цели, проводя изнурительные, затяжные тактические сражения.

На войне как на войне. Рвутся снаряды, проливается кровь, гибнут люди. В орбиту безжалостной битвы двух систем, двух идеологий вовлечены и суровые воины, и безвинные дети, и женщины, и старики. По этой стержне-

вой канве выстроены в романе многочисленные фронтовые события, эпизоды мирной жизни, столкновения разных характеров и судеб.

Роман многопластовый, многослойный. Сцены баталий перемежаются с картинами мирной жизни. В сиюминутные события вплетаются безмятежные воспоминания о прошлом. Вместе с героями романа читатель оказывается то в сырых блиндажах, то в промерзлых окопах, то в штабах, то в логове врага, то в глубоком тылу, в аулах Приаралья, то в недалеком тылу, в ухоженных, аккуратных прибалтийских хуторах и городках. Десятки причудливых судеб проходят перед глазами читателя. Любовь, смерть, радость, горе, благородство и подлость, храбрость и трусость, достоинство и низость — все эти неизменные спутники человека нашли отражение и образное выражение в «Долгожданном дне».

Как в жизни. Как в романах.

В «Долгожданном дне» я нахожу немало примет, характеров, явлений, точек зрения, ситуаций, обстоятельств, образов (разумеется, зачастую лишь в зародышевом состоянии, приглушенном обличье), которые позднее найдут более обстоятельную, глубокую и всестороннюю разработку, мотивировку и аргументацию, более реалистическое, психологическое и философское воплощение в известных произведениях К. Симонова, Г. Бакланова, Ю. Бондарева, В. Быкова, Б. Васильева, Б. Момыш-улы, В. Кондратьева, Т. Ахтанова, И. Стаднюка. И в этом мне видится значимость и достоверность первого романа Нурпеисова, его честность и проникновенность, его жизненность. Можно только сожалеть, что роман в свое время не стал достоянием всесоюзного читателя. «Долгожданный день», естественно, вписался бы в прекрасную нашу военную прозу, не оставаясь лишь в рамках национальной литературы.

Роман можно бы было издать в переводе на русский язык и теперь, и иной литератор наверняка так бы и поступил,но, зная совестливость и требовательность к своему творчеству его автора, думаю, что этого уже не произойдет. Жаль... Неотъемлемые черты человеческой и творческой натуры Нурпеисова — медлительность и основательность — четко отразились уже в первом его романе. Он склонен к обстоятельному, тщательному выписыванию деталей, к скрупу-

лезному описыванию. Над этой своей слабостью он сам иногда потешается. Абе до сих пор помнит наизусть первое предложение «Курляндии». По-русски в дословном переводе оно звучит так: «Со свистом и воем, надрывающими душу, летевший снаряд по мере приближения к месту падения вспарывал ночную тишь, заставляя судорожно выть воздух». Перевод, повторяю, буквален, потому и коряв Однако уже по этому предложению видно, как автор старался описать, «оживить», «окартинить» рассекающий ночную тишину снаряд. «Надо же! Мгновенное, почти неулавливаемое действие, а я его вон как растянул», — улыбается теперь писатель. Позже, он, конечно, это предложение переделал.

Даже в самой, казалось бы, драматической ситуации, в сцене бурной стычки фон Рубинштейна и Шернера, писатель не преминул описать, как «два стакана на краю стола, испуганно подпрыгнув, со звяканьем попадали на пол и разбились».

Да, рисовать Абе любит: «Пороховой дым, словно зола, подбрасываемая с земли горстями, вспыхивал, медленно оседал, таял, рассеивался».

Или вот такая сцена — Есей просыпается от взрыва снаряда. Подробно описывается, как у него затекла правая рука, оказавшаяся под спиной Скорикова; тут же описывается портрет самого Скорикова, говорится о его тяжелом физическом и моральном состоянии в последнее время; потом Скориков поворачивается на другой бок, и Есей высвобождает руку, видит Кожака — дневального; потом Есей выходит на улицу, описывается предрассветное небо, звезды, описывается степь... все красочно, ярко, точно, скрупулезно; в душе нарастает тревога: ведь идет война, рвутся снаряды, а автор все выписывает, вышивает, расцвечивает, расшивает, украшает, нанизывает детали — степь, рассвет, след танков, трава, дым...

Я вовсе не даю оценки этому свойству, я просто констатирую: страсть к описательству присуща творческой манере Нурпеисова, она особенно заметно проявилась в первом его романе, отмечены ею и другие, поздние его романы, хотя, разумеется, там она более строго подчинена идейно-художественным задачам, и сами картины более точны, упруги и колоритны.

Известно, что писатель мастерски создает портреты своих героев. Еламан и Акбала, Танирберген и его благочестивый брат Алдаберген, Кален и Мунке, Судр-Ахмет и Каракатын из трилогии «Кровь и пот», Жадигер и Бакизат, упрямец Кошен и Сары-Шая, Ягнячье Брюшко и Азим из романа «Долг» — эти и другие герои Нурпеисова запечатлелись в сознании читателя не только благодаря своим поступкам и действиям, но и своим портретным данным. Тут писатель следует классическим традициям: если у его героев, скажем, тонкие губы, лохматые брови, маленькие змеиные глазки, волчий загривок, плоский пятнистый череп, покрытый жиденькими, будто выпаренными, волосинками-щетинками и т. д. , то это отнюдь не случайные внешние данные, а яркие черточки, определяющие характер, работающие на образ того или иного индивидуума. Умение создавать портреты своих персонажей писатель продемонстрировал еще в «Курляндии». Внешние данные его героев удивительно гармонируют с их внутренним миром.

Психологизм, на мой взгляд, отнюдь не был отличительным свойством казахской прозы сороковых-пятидесятых годов. Она в ту пору еще в заметной степени грешила описательностью, дидактичностью, декларативностью, фольклорными излишествами, издержками черно-белого письма. Понятно, речь идет не об отдельных выдающихся произведениях, весьма популярных тогда и ставших гордостью национальной литературы, а об общем уровне тогдашней прозы. Поступки героев психологически мотивировались скудно. И тем примечательней, что, являясь учеником Мухтара Ауэзова и продолжая его традиции, именно этой стороне художественного письма молодой прозаик уделил немало внимания. Он стремился вникнуть в духовный мир своих героев, найти психологическую аргументацию их действиям и порывам, уловить движение и характер души, раскрыть глубинную суть образа. По этой части у автора «Долгожданного дня» немало удач. Размышления Есея Бержанова, порывы честной и чистой Баян, простодушного увальня Нуржана, манеры и выходки самовлюбленного Долгушева, душевная сумятица красавицы Зинаиды Яковлевны, сложные взаимоотношения офицеров, отягощенные личными симпатиями

и антипатиями, внешняя непритязательность приаральских рыбаков обрели в романе серьезное, убедительное психологическое обоснование. В художественной литературе тех лет фашисты, например, чаще всего изображались достаточно однозначно и одномерно. И у Нурпеисова немецкие генералы Беге, фюн Рубинштейн выписаны, скорее, ходульно и трафаретно. Однако любопытно, что и в изображении фашистского офицерства автор «Курляндии» делает попытку проникнуть в психологическую суть образа. Фельдмаршал Шернер, к примеру, довольно интересно рассуждает в романе, силясь понять, осмыслить то, что творится вокруг, дойти до первопричин поражений, казалось бы, несокрушимой рейховской военной машины и уяснить для себя, в чем, собственно, кроется сила советского народа.

Легко заметить в лепке художественного образа Нурпеисовым благотворное влияние Льва Толстого. Абдижамил, по его же словам, читал первую книгу «Войны и мира» во фронтовые годы, и оставила она в его душе, хотя скорее и смутно-интуитивный, но неизгладимый след. В Аральске, в доме родственника писателя, я как-то наткнулся в громоздком старом шкафу на изрядно потрепанный том «Войны и мира», вдоль и поперек испещренный карандашными пометками и замечаниями Абе на казахском языке. Некоторые из этих записей показались мне по-детски наивными, но они свидетельствовали о внимательном, вдумчивом чтении и усердной учебе начинающего прозаика. И хотя спустя многие годы в какой-то, кажется, анкете он хотя и не утверждает, что именно «Война и мир» дала ему толчок к написанию романа о войне, но открыто признается: «Лев Толстой был тогда моим любимым писателем».

Психологическая обрисовка образа у Нурпеисова, на мой взгляд, в значительной мере идет от Толстого.

Языку художественного произведения Нурпеисов всегда придает первостепенное значение. Он неустанно переписывает и шлифует каждое предложение, переставляет и заменяет слова, как бы проверяет их на ощупь, на слух, на вкус, подгоняет, подбивает их ладно и складно.

И в «Долгожданном дне» чувствуется большая, юве-

лирная работа. Каждое предложение продумано, отделано и отточено. А «чисто» языковых проблем стояло перед автором «Курляндии» немало. В романе действуют десятки лиц разных национальностей, описываются военные операции, нуждающиеся в своей специфической лексике, действие происходит в непривычной для казаха обстановке и среде — все это ставило перед казахским прозаиком серьезные языковые задачи, вынуждало искать эквиваленты и аналоги чуждым казахам понятиям и представлениям. Конечно, придирчивый читатель может найти в романе примеры, когда русские, немцы, латыши выражаются явно по-казахски, однако подобные огрехи не искажают впечатления о добротном, богатом, образном языке прозаика. Вероятно, именно это имел в виду чуткий Мухтар Ауэзов, когда заметил, что язык пули для казахов куц и скуден и что как раз по этой части Абдижамил нашел немало красок. «Немало» в устах Ауэзова, должно быть, совсем немало.

Как всегда, выразительны у Нурпеисова диалоги, особенно сочная, богатая интонациями и оттенками речь аульных стариков и старух.

Читатель романов Нурпеисова, несомненно, обратит внимание на их внутреннюю взаимосвязь, своеобразную преемственность, перекличку излюбленных мотивов и идей, а также на явную и явственную родственность некоторых его героев. Так, например, лейтенант Есей Бержанов, мыслящий, чуткий к людям, совестливый, участливый, человечный, из «Долгожданного дня» — духовный брат Еламана из трилогии «Кровь и пот» и Жадигера из «Долга». От Баян — открытой, ясной, душевной девушки из первого романа Нурпеисова — тянется зримая нить к Акбале и Айганше из трилогии и к Бакизат из последней книги писателя. Резкая, крутонравая, острая на язык старая рыбачка из «Долгожданного дня» стоит в одном ряду с Черной старухой в романе «Кровь и пот» и матерью Жадигера в «Долге». Величественный Бел-Аран и кормилец-Арал вдохновенно воспеты, опоэтизированы во всех романах Абдижамила. Можно найти немало подобных созвучий и перекличек, параллелей и точек соприкосновения.

Первое произведение Нурпеисова стало своеобразным камертоном ко всему его творчеству, оно задало верный

тон его раздумьям о времени, о судьбе народа, предопределило весь творческий путь, оконтурило грани таланта и сферу духовных поисков художника.

Примечательно, что все этапные произведения Нурпеисова объединяет схожая, единая судьба. Автор каждую из своих книг долго вынашивает, долго пишет, с трудностями и сложностями издает, потом еще многие годы не расстается с нею, переделывает, переписывает, доводит до того, когда он может сам себе со спокойной совестью сказать: «Все! Лучше, пожалуй, не могу», и лишь потом приступает к осуществлению нового замысла, точь-в-точь повторяя словно предначертанный судьбой весь этот тяжкий писательский круг.

Так было с «Долгожданным днем».

Так было с трилогией «Кровь и пот».

Так было с романом «Долг».

Казахи говорят: «Скотина становится похожей на своего хозяина». Книги похожи на своего автора. Они разделяют единую судьбу, единый жребий. Не это ли имел в виду Кайсын Кулиев, когда писал:

— Мул похож на своего хозяина,
Лошадь — на владельца своего.
И слова похожи на того,
Кто сказал их, вольно иль нечаянно.

С высоты нынешних лет слабости «Долгожданного дня» особенно очевидны, схематичность иных героев и коллизии, излишества в описаниях, наивность иных мотивировок, карикатурность врагов, заданность отдельных эпизодов, размягченность повествования, неопытность в письме.

Все это так.

Очевидно, однако, и другое. Первым же романом Нурпеисов заявил о себе крупно, емко. Было ясно, что в литературу пришел талант сложный, яркий, многообещающий, с немалыми потенциальными задатками. Художник, чей талант отмечен сочувствием и сопереживанием.

К человеку.

К человеческим бедам и болям.

Шли годы. И кое-кто уже решил, что Нурпеисов так и останется автором одной книги. Иные из нетерпеливых, посчитав, что обманулись в своих надеждах, даже перестали здороваться с незадачливым — на их взгляд — писателем. И

он, автор «Курляндии», чувствовал это, с болью переживал неверие в него и упорно твердил себе и самым близким: «Нет. Я докажу. Я должен написать стоящую книгу».

Он знал, что упорен и терпелив.

Знал, что долго и трудно зреет в нем, пожалуй, главная его книга — «Кровь и пот».

Мы возвращаемся с гор. Осенний день насупился. Дорога дымится испариной. Крутобокие холмы, омытые спорым дождем, грустно глядят вслед. Мой собеседник, прильнув к рулю, сосредоточенно думает. О чем? Может, о второй книге «Долга»? Или о других неосуществленных замыслах, которых у настоящего писателя всегда немало?..

1983 г.

КТО ИДЕТ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ТРОПОЙ...

Ведь талант — вещь совсем не легкая, это не просто мастерство. В корне своем — это потребность, это критическое представление об идеале, это неудовлетворенность, которая только через муку родит и совершенствует свое мастерство.

Томас Манн.

Книга казахского писателя Абдижамила Нурпеисова — трилогия «Кровь и пот»—давно уже завершена и теперь, переведенная и переводимая на многие языки страны и мира, обретя также экранную жизнь, совершает свое шествие по земле, завоевывая любовь и признание миллионов читателей.

Не один десяток статей — больших и малых, академически сдержанных и восторженных, исследований и диссертаций написан о трилогии литераторами и критиками за последние годы. И критики единодушны: трилогия «Кровь и пот» — крупный успех писателя, заметное явление казахской и всей советской литературы. О ней высоко отзываются известные художники слова.

Итак, книга давно закончена, она живет своей славной жизнью, независимой от воли ее творца, ведь окончание книги — это всегда разрыв с героями, и, вероятно, это правда, но правда относительная. Да, книга закончена, но автор все еще — спустя десятилетия — в ее власти, он по-прежнему шлифует ее. Десятки экземпляров на русском и казахском языках, находящиеся постоянно на столе, под рукой, густо испещрены его замечаниями и стилистической правкой, и я, многолетний свидетель этой бесконечной, неуемной скрупулезной редакции, невольно вспоминаю слова Э. М. Ремарка: «Писатель, по-моему, вообще не заканчивает книгу. В один прекрасный день он просто

расстается с ней». Очевидно, Нурпеисов принадлежит именно к этой категории писателей, которые «вообще не заканчивают книгу». Совсем недавно, во время его увлеченной работы над новым романом, я как-то зашел к нему и застал лежащим в постели с последним — казахским — изданием книги «Кровь и пот». Он самозабвенно чиркал карандашом на полях книги, ставил какие-то бесконечные знаки-закорючки, в которых порой и сам разбирается с трудом, и на мой недоуменный молчаливый вопрос заметил, задумчиво улыбаясь: «Теперь-то я вижу, что из этой штуки можно б сделать прекрасную книгу». Выходит, и сейчас, когда трилогия разошлась миллионными тиражами на многих языках мира, автор еще не расстался со своими любимыми героями.

Да, труд, терпение, мужество писателя вознаграждены: большая слава и признание пришли к нему. Слава и признание пришли теперь, в пору зрелости и мудрости, а тогда-тогда, летом 1964 года, всего этого еще не было, а было...

... было море, лениво накатывавшее на пустынный песчаный берег синие волны, был уютный, весь звенящий от тишины Тущи-бас, был крохотный аул рыбаков, за которым простиралось безбрежное — от Арала до Каспия — бурое плато Устюрт. Мы наслаждались первозданной дикой свободой, зарывшись в мягкий, струящийся, источающий дневной жар песок, и молча смотрели на пылающий в лучах заходящего солнца хребет хмуро насупившегося увала Бел-Аран. Над ним по выцветшему от зноя небу невесомо плыли розовые облака. Во мне как бы оживали строки из «Сумерек», строки, наполненные огромной художественной силой и обобщенно философской мудростью: «Солнце стояло низко. Диск его, большой и дрожащий в холодных струях ветра, уже почти касался дальних бурых гребней увала. Весь запад горел в огне, и красный свет снизу освещал грозно и мрачно резкие крупные облака, туго сбитые ветром. Облака эти, как раскаленные угли, казались живыми существами, отчаянно сопротивлявшимися наступлению тьмы. А тьма неотвратимо наступала и брала в плен весь мир. Ведь свет и мрак — это как смерть и жизнь. Как над каждой жизнью царит неотвратимый рок, так и над светом, когда пробьет его час, нависает мрак, он входит в свет, пронзает и гонит

его, и, окутанная черным саваном земля, покорная и печальная, уходит в ночь».

Мы прибыли сюда, в аул из восьми глинобитных домиков на берегу залива, несколько дней назад. Нас доставили из города Аральска на большом почтовом катере, дурманяще пахнущем морским ветром, рыбой и свежескошенным сеном, и плыли мы долго, весь день, часть ночи и еще дня, плыли берегом и открытым морем, мимо Кокарала в бугристых оранжевых барханах, мимо мрачных и молчаливых громадин — скал Каратупа, памятных мне по описанию в «Сумерках», и я был, в буквальном смысле, ошеломлен, очарован невиданным доселе могучим синим морем, дремучими скалистыми берегами, жгучим солнцем, необъяснимым чувством, ощущением необъятности и величия земного бытия.

На другой же день мы приступили к работе, расположившись в прохладной, заброшенной лачуге-какра, в которой гнездились ласточки. Работа предстояла большая; мы наметили за два месяца основательно — слово за словом, фраза за фразой, абзац за абзацем, сличая с оригиналом — отредактировать (уже в который раз!) недавно законченный мною подстрочный перевод первых двух книг трилогии. Здесь не было ни радио, ни газет, ни электричества, ни других атрибутов современной цивилизации, и мы вставали с восходом солнца, под гвалт прожорливых чаек и ложились, когда угасали последние лучи на макушке Бел-Арана. Все остальное время мы работали, радуясь удачам и огорчаясь, когда наперекор всем нашим потугам и терпению что-то упорно не получалось. Во время нечастых передышек мы спешили к морю: оно постанывало, рокотало, ворочалось рядом, сразу же за рыжей дюной — рукой подать...

... Зимой 1963 года, вприпрыжку поднимаясь по крутым лестницам общежития КазПИ, Аскар Сулейменов обернулся, спросил:

— Хотите перевести «Кровь и пот»?

Я согласился, представления не имея о художественном переводе и, естественно, не предполагая, что с этого мгновения перевод казахской прозы станет моим многолетним занятием. Несколько дней я бился над небольшим отрывком, выбранным Аскаром Сулейменовым — сценой ночно-

го свидания Танирбергена и Акбалы в рыбачьем ауле. Прочитав мой перевод, чуть более странички, автор (в то время главный редактор журнала «Жулдыз») приехал ко мне, повез куда-то в горы, в Дом отдыха, и после долгих и — как мне показалось — необязательных разговоров вдруг спросил:

— Сколько времени ты переводил этот отрывок?

В то время я считал, что переводить с ходу, быстро и легко — главное достоинство переводчика. И потому ответил:

— Часа два...

Автор чуть улыбнулся.

— А переписывал сколько?

— Один раз...

Автор помолчал, поскучнел.

— А мне кажется, ты переписывал много раз. И это — хорошо.

Тогда я впервые — еще смутно — понял, что автор смотрит на творчество значительно серьезней, чем это мне представлялось, что для него хорошо и поистине достойно, ценно только то, что достается трудом, терпением, упорством и, может быть, болью. Сколько раз (и отнюдь не отвлеченно) приходилось мне потом — за два десятилетия постоянной близости и совместной работы — убеждаться в этом.

... Море, утомленное, глухо урчало. Волны ластились к нашим ногам.

— Что же послужило толчком для написания трилогии? Вы помните, Абе?

Он посмотрел вдаль, задумался. Мне вспомнились две фотографии из его альбома. На одной запечатлен 18-летний юноша перед уходом на фронт. Угловатый, худой, в больших круглых очках. Привлекают глаза: пристальные, внимательные, очень печальные. На коленях лежат тяжелые, широкие в кистях руки. Во всем облике чувствуется нелегкая, несладкая юность. Видно, что уже в этом возрасте немало обид, тоски, печали, навеянных сиротством, бытовыми неурядицами, не очень сытой интернатской жизнью, накопилось в нем. Вторая фотография запечатлела его в канун работы над трилогией. Материал собран, все

обдумано. 1958-й год. Он приехал в Челкар, чтобы писать «Сумерки». Сидит за дастарханом в кругу радостных, веселых родичей. Смотрит с мягкой улыбкой. Глаза за очками спокойно-сосредоточенные. Взгляд ушел в себя. Он уже живет среди своих героев.

И еще мне вспоминается, как мы, старшеклассники аульной школы, были удивлены, когда узнали, что в казахской литературе появился новый писатель — Нурпеисов. Удивляло то, что он пришел в литературу не со стихами или рассказом, как это обычно бывало у всех известных нам писателей, а сразу, с ходу... с романом. Необычно было имя писателя — Абдижамил, непривычно звучало и название его романа — «Курляндия». Об этом романе много говорили и писали, он был удостоен литературной премии имени Джамбула, учрежденной в честь тридцатилетия республики, но молодой автор — уже тогда не по возрасту требовательный к себе — переписывал его вновь и вновь и издал впоследствии по существу новое произведение под названием «Долгожданный день». Роман был написан по следам непосредственных впечатлений и раздумий о войне, куда будущий писатель попал прямо со школьной скамьи. А «Кровь и пот»...

«Это было в нелегком сорок седьмом году, — медленно заговорил Абдижамил. — Ехал я, недавно демобилизованный, в районный центр. Возница был стар и угрюм. Телега тарахтела, тряслась по неровной, в кочках и ямах, пыльной дороге. Ехали молча час, другой, третий. Всюду простиралась безмолвная, побуревшая от зноя полынная степь. Я думал: как стара и многострадальна она! По этой дороге прошли неведомые караваны человеческих поколений. Сколько кровопролитных войн, сокрушительных набегов самых свирепых полчищ — калмыков, монголов, джунгаров, даже железных легионов Македонского перевидела и пережила она на своем веку. Сколько слез матерей и вдов пролито на этой вот выжженной солнцем земле с момента сотворения мира. Сколько пота и крови пролито здесь нашими храбрыми предками. «Кровь и пот», — подумал я, невольно повторяя потрескавшимися губами эти обжегшие вдруг душу слова. Вот тут-то впервые и пришла в голову мысль, что я должен

когда-нибудь, если смогу, написать книгу о пролитой крови и поте моих предков».

О чем поведал мне писатель тогда, знойным летом на берегу древнего Арала, он потом впервые публично расскажет осенью 1971 года в своем выступлении на Симпозиуме советских и немецких писателей в Эрфурте, позднее опубликованном в журнале «Нойе Дойче Литератур». Затем он повторит этот рассказ в статье «Караваны памяти», и теперь редко кто из критиков проходит мимо этой исповеди об истоках будущей знаменитой эпопеи.

Почти четверть века спустя писатель осуществил свою заветную мечту.

То, что написано о трилогии «Кровь и пот», наверняка уже сейчас превышает ее объем. Несомненно, еще больше будет написано о ней в будущем. Но если быть предельно кратким, то можно сказать, что роман А. Нурпеисова — многоплановое, широкоохватное повествование о трудной судьбе казахского народа, о пробуждении самосознания в канун революции, о больших людских горестях и слишком скудных радостях на стыке поворотного момента истории, о крушении феодально-патриархального уклада, кочевого быта, о крахе родовых, племенных связей и морали. Это книга о пробуждении степи.

Да, на мой взгляд, едва ли не основной мотив трилогии — прозрение. Прозрение тяжкое и мучительное. Прозрение, которое стоило каждому герою в отдельности и всему народу вместе много крови и пота. Прозрение, за которое каждый герой в отдельности и народ в совокупности заплатили дорогой, слишком дорогой ценой — утратой, лишениями, потрясением.

Во всех трех книгах объемистого романа мытарствует неуемная душа рыбака Еламана... Ему пришлось изведать горести сиротства и нищеты, быть козопасом в богатом ауле, табунщиком у свирепого бая, стать рыбаком, убить русского купца-живодера, сполна познать тюрьму, Сибирь, всю подлость и мерзость разлагающейся царской армии, окунуться в бурное море жизни, постоянно терять и обретать, терзаться сомнениями, сносить бесчисленные удары судьбы, почувствовать всю дерзость человеческого духа, чтобы открылась перед ним, наконец, казалось бы, столь простая и понятная истина человеческой жизни

— жизни активной, созидательной, целеустремленной, справедливой.

Бесстрашный, яростный Кален, дерзкий и отчаянный конокрад, бунтарь-одиночка с доброй и нежной душой, до поры до времени смирившийся с волчьими законами феодальной степи, привыкший к тому, что «в степи каждый жил сам по себе, каждый одиноко пас свой скот или байский», лишь после того, как его избили впервые, избили свои же хозяева, на которых многие годы гнул спину, в первый раз в жизни остро почувствовал свое одиночество и пришел к выводу, что «на море одному было нельзя». Да, на море одному было нельзя, «потому что не каждый день идет рыба, и не каждому она попадается, и там надо делиться всем, а то пропадешь». Так же и в жизни одному уже нельзя, невозможно, будь ты хоть как силен, смел и отчаян. Подлинная сила — в единстве и стойкости многих таких, как ты, бесправных и обездоленных, когда, как говорится, у народа единый рукав и единый воротник. Долгое время Кален это будет понимать смутно, но и он, свирепый бунтарь, воитель стоит на пороге прозрения.

Это можно сказать о всех главных героях трилогии. Их жизненный путь тернист, он лежит через мрак и унижения, но они упорно идут по этому пути к Истине, к Прозрению. «Кровь и пот» — в сущности яркая и правдивейшая книга о тяжком пути духовного пробуждения человека, о Прозрении в самом широком и философском смысле этого слова.

... Еще один мотив — важнейший — пронизывает все три книги эпопеи. Это мотив света и мрака. Он — зримо или незримо — присутствует всюду: и в описании степи или моря, судьбы каждого человека в отдельности и всего народа «Кровь и пот» — суровая и беспощадно правдивая книга. Правдивая, как сама Жизнь. Автор описывает край, познавший много крови и пота Описывает его в самый переломный момент его истории, как бы на стыке жизни и смерти, на меже умирающего и рождающегося миров. Трилогия полифонична, в ней много судеб, много событий, и потому так закономерен мотив извечной, неустанной диалектической борьбы двух взаимоисключающих начал — света и мрака, добра и зла.

Зловещая тьма неотвратимым роком нависает над героями с первых страниц романа. Облака в предзакатный

час чудятся Еламану живыми существами, отчаянно сопротивляющимися наступлению тьмы. Тьма — физическая и духовная — преследует героев. И не случайно, видно, первая книга называется «Сумерки». В книге много горя. Смерть, убийство, драки, унижения, голод, бесправие, умыкание девушек, угон скота, опустошительные набеги, семейные неурядицы, произвол и насилие во всех видах и проявлениях чередой проходят перед глазами читателя. О горе — личном и народном — часто говорят почти все герои трилогии. С горестных сцен начинается каждая книга. И каждая книга кончается на пронзительно печальной ноте. Слово «счастье» не часто звучит в устах героев. А если оно и звучит, то в горестном подтексте, как нечто зыбкое и далекое, едва ли доступное. «Эх, Мунке-ага! — спрашивает уже в конце первой книги молодой Рай. — Скажи мне, есть ли на свете счастливые люди? Есть ли люди, не испытавшие горя?»

Сбежав из тюрьмы и вернувшись к разбитому, холодному очагу, Еламан живо вспоминает свою крошечную землянку с единственным полуслепым окошком, затянутым бараньей брюшиной прямо в потолке, с низенькой скрипучей дверью, в шутку прозванной «плаксой», вспоминает, как он жил в этой землянке с красивой молодой женой Акбалой, которая, однако, сердцем любила не его, а его соперника, врага Танирбергена, но, вспоминая былое, пишет автор, «он усиленно начинал перебирать скупое свое счастье тех дней». Да, оно действительно было скупым, но даже оно, это скупое счастье, было в прошлом. Счастье прихотливо, оно всегда радужное, яркое, нарядное, а горе вездесуще и многолико.

«У беды семеро братьев», — гласит поговорка. В романе «Кровь и пот» их значительно больше. Тесно рыбакам на круче, на голых скалах. Душно и смрадно в приземистых землянках. Вырваться бы на волю, на простор. Да только степь принадлежит баям, а море — купцам. И всюду горе. Должно быть, потому некоторые критики упрекали автора в нагнетании «свинцовых мерзостей жизни», в ущербности героев, в пристрастии к разным ужасам и кошмарам, в излишнем внимании к мраку. Однако А. Нурпеисов — суровый и последовательный реалист. Зоя Кедрина писала

«Как истинный реалист, ничего и никого не украшает Абдижамил Нурпеисов, никого не учит, ничего не навязывает. Но, зорко различая исторические перспективы развития общества и личности в нем, дает естественную картину народной жизни, как потока, устремленного в будущее» («Правда», 20. 3. 1967). Это верно: писатель менее всего склонен к поэтизации прошлого, к восхвалению мнимых прелестей патриархальной старины и феодальных отношений. Ни восторженных описаний лихих скачек по степи, озорного удальства и забав, ни безмятежных идиллий кочевой жизни, ни пышных красок ханских ставок, ни велеречивых биев, состязавшихся в мудрословии, ни многодневных поминок, на которых дымятся горы мяса и рекой льется пенистый кумыс, ни многого другого из непременного антуража славного прошлого «священных предков» на страницах трилогии читатель не встретит.

Да не подумает, однако, многоопытный читатель, что автор этих строк кого-то осуждает за пристрастия к описаниям подобного рода или возражает против красочных воссозданий конных скачек, поэтических состязаний, обильных трапез и других картин из жизни кочевников. Отнюдь. Я просто говорю о том, чего нет в романе Нурпеисова.

Счастье и радость действительно не желают ютиться в смрадных, сырых землянках на круче, продуваемой всеми ветрами, в сумрачном, рыбой пропахшем лабазе, в дырявой юртчонке, одиноко стоящей на вытоптанном джайляу, в лачужках городской окраины, в грязных окопах на чужбине, на шаткой льдине, уносимой бурей в открытое море.

Писатель твердо следовал логике правды. Он понимал, что безнравственно наводить литературный глянец на то крутое время в истории своего народа, о котором следовало говорить предельно честно. Не соблазнился художник и досужими советами и расхожими схемами. А их — советов и схем — было предостаточно. Кому-то не терпелось вывести Еламана на проторенную в беллетристике дорогу профессионального революционера, кто-то ратовал за более динамичные и решительные действия героев, за скорейшую пролетаризацию аральских рыбаков, кого-то удручали тягостные семейные сцены, в которых

матривался едва ли не урон старым добрым обычаям и рядам; иным казалось, что надобно приподнять «падшую» балу, довести ее до руководителя хотя бы уездного нотдела, а изворотливого коварного Танирбергена, оборот, несколько снизить, окарикатурить, а рецензент ного столичного издательства, ничтоже сумняшеся стаивал, чтобы в романе обязательно было изображено... ациональное освободительное движение 1916 года под едводительством Амангельды Иманова.

Надо было обладать незаурядным мужеством и великим рпением, чтобы не поддаться этим соблазнам и искуше-ям, отстоять свою точку зрения, следовать той — глав-й, единственной — правде, которая вытекала не из тературных реминисценций, а из основного реального точника — Жизни. Нужно ли говорить о том, что отста-ать себя, свое художественное видение, свое кредо тоже ило немалого мужества.

Да, в книге много горя. Да, каждая книга трилогии кон-ется подлинной трагедией. Но в трагедии этой упорно учит мотив света, непременно рассеивающего тьму, учит неколебимая убежденность в том, что «солнце м еще посветит!». Так именно думает упрямец, бунтарь лен, схваченный приспешниками молодого мурзы. шибли, гады! Всех сшибают, кто против них. Ну ничего, годите! И нам посветит солнце! Раньше смерти и я не ру. На край света загоните — все равно вернусь. Все вам ипомним, рыбаков припомним, всю нужду, наших жен етей припомним! Эх, сшибли меня, плохо, плохо!. . А нце нам еще посветит!»

Горестно кончается и вторая книга, названная «Мы-рства». Черные, тоскливые думы обрушиваются на Ела-на. Думы о судьбе народа. О тяжком прошлом. О бес-ивенности многих идеалов, выдуманных предками в шение. О необходимости повернуть к новой жизни.

Последняя фраза второй книги: «И как тучи в небе, стоянно изменяясь, подбиваемые ветром, мчались все в ну сторону, так и душа Еламана мытарствовала, ища свой рный путь».

И все эти картины горести, мытарств Еламана только репляют веру в то, что верный этот путь будет непре-нно найден.

Крушение Танирбергена и танирбергенов есть диалектически закономерное и философски и художественно аргументированное крушение старого мира, есть утверждение нового, к которому такой тернистой, извилистой дорогой, чаще всего наощупь, впотьмах сквозь густой мрак, сознательно и бессознательно, долго и мучительно, ценой неизмеримых потерь и потрясений шли герои романа.

В книге много горьких страниц, горестных судеб. Но она пронизана горячей любовью к человеку. К ней как нельзя лучше относятся слова Кайсына Кулиева.

Никогда не бойтесь горьких книг,
Книг неравнодушных и негладких,
Горькие слова правдивей сладких...

До ликующей радости, однако, еще далеко. Далеко и до всеобщего упоения победой. Никто из героев «Крови и пота» не теряет головы, не шалеет от взлелеянного в душе будущего счастья. Пройдя все круги земного ада, сполна изведав мытарства жизни, выбравшись на верный путь и обретя ясную цель, Еламан не потерял способности сомневаться и терзаться думами. Слишком много крови и пота, слишком много человеческих жизней стоили Истина и Цель, к которым стремился угнетенный, обездоленный люд.

Еще предстоит на обломках глобального крушения построить новую жизнь. Но она непременно восторжествует. Несмотря на колоритные картины мрака, трилогию венчает жизнеутверждающее мировосприятие. В книге Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот» бьется сердце большого художника, волнующегося за человека на земле...

Банальная истина: исторический романист опирается на факты прошлого, и подспорьем ему служат и исторические исследования, и мемуары, и философские, и этнографические труды, и музейные экспонаты, и произведения искусства, и предметы домашнего обихода. И часто случается, что это обилие разноликих фактов подавляет самостоятельность писателя: из художника он превращается в заурядного беллетриста. И то — в лучшем случае.

Когда читаешь «Кровь и пот», не покидает ощущение, что «факты» робеют перед художником, они не выпирают, не лезут назойливо в глаза, не размахивают педантично выверенными ссылками. Может, автор руководствовался сентенцией Сомерсета Моэма, говорившего: «... если факты не соответствуют логике характера, не следует бояться выкинуть факты за борт»? Кажется, автор писал свой роман, совершенно не сверяясь с разного рода историческими материалами, полагаясь всецело — или главным образом — непосредственно на свои богатейшие впечатления и знание жизни. Это и так и не совсем так. Многие годы назад, когда я заговорил с Абе на эту тему, он молча показал мне старую истрепанную и испещренную карандашными пометками карту Аральского моря времен гражданской войны, пожелтевшие записные книжки с конспектами и извлечениями из военных книг, мемуаров и дневников белогвардейцев и каких-то баронов и множество сведений о сражениях, военных действиях.

И все-таки автор прежде всего художественно воспроизвел картину жизни, которая находилась от него не слишком отдаленно во времени и дыхание которой он еще живо помнил. Он, родившийся в 1924 году, жадным детским взором и чутким и любопытным мальчишеским сердцем успел увидеть, запомнить многое — очень многое! — из той реальной жизни и того житейского уклада, из тех человеческих отношений, которые он впоследствии воссоздал на страницах своей эпопеи. Большинство героев имело своих реальных прототипов. Их судьбы были автору знакомы, были прочувствованы и осмыслены, он так глубоко в них вжился, что они стали неотделимы от автора, они стали как бы его собственной судьбой. И потому автор не вышивал беллетристические узоры на исторической — документально аргументированной — основе, он проник в самую суть истории, познал ее сердцем, художественным чутьем ощутил живой облик истории и проникся ее логикой.

Память — поразительная вещь. Иногда только диву даешься, сколько вмещает в себя одна лишь человеческая жизнь. Особенно в наше бурное, стремительное время в жизни одного поколения случается и случалось столько, сколько с избытком хватило бы на несколько жизней. Од-

нажды Абе с искренним удивлением говорил мне, что у него порой такое ощущение, будто он живет бесконечно долго. Родившись на берегу пустынного Аральского моря, в беспредельной полынной степи, далеко в стороне от больших дорог и многолюдных городов, от цивилизации, в краю, где расстояние между аулами измеряли не верстами, а дневными переходами, автор еще застал, можно сказать, облик старого казахского аула, сполна изведал немудреный быт вековой жизни, весь тот уклад, который еще только-только рушился, видел зримые черты старых нравственно-бытовых отношений едва ли не на стыке двух эпох. Он еще видел осколки того мира, который нынешнее поколение привычно называет патриархальным.

Как давно все это было!..

В детской памяти будущего автора трилогии «Кровь и пот» запечатлелись и рассказы бывалых караванщиков, возивших хлеб из далекого Кунграда, и повседневные будни рыбаков, и утробный стон моря, тяжко маявшегося перед бурей, и скудность домашнего очага, и вечное соперничество двух женщин, вынужденных жить под одной крышей и делить любовь одного мужчины (помните: «две бабы при одном мужике — как две собаки, лакающие из одной лоханки»), и неутешный плач матери, у которой умирал последний — десятый! — ребенок, и многое, многое другое, что ожило на страницах книги и потрясло читателей. А потом были годы коллективизации, годы общего подъема, гордого пробуждения, созидания, были большие перемены в степи. И это крутое время прошло на глазах будущего писателя. Была война, опалившая жизни и души миллионов. И будущий писатель был не только ее свидетелем, а и непосредственным участником. На той войне полегли на поле брани его отец и два брата отца. Демобилизовавшись,молодой офицер увидел человеческое горе, разруху, подавленных стариков, неутешных вдов, голодных осиротевших детей. Увидел родной край — море, то спокойное и ласковое, мирно подставлявшее могучую грудь под ослепительные лучи знойного южного солнца, то грозное, неукротимое, ревущее, простирающееся от горизонта до горизонта. Увидел родную приаральскую степь, обездолевшую, как бы приунывшую, по которой

струился терпкий полынный аромат, как, должно быть, столетия назад, и мчались, озоруя, вперегонки пыльные смерчи...

Жизнь продолжалась, и будущий автор «Крови и пота» жил, работал, учился, обогащаясь разнообразными впечатлениями. А потом были годы пятидесятые, шестидесятые, семидесятые. Неповторимое время, эпохальные события. И однажды в светлый час откровения Абе, вспоминая вроде бы давным-давно прошедшее, на мгновение взглянул на прожитое как бы со стороны, отстраненно и в изумлении воскликнул: «Как все-таки долго живет человек! Ведь я еще помню... « И он, перечислив какие-то события, которые и впрямь будто могли быть только в ином мире, в иное время и уже потому вызывали невольную улыбку, еще раз поразился: «Надо же... а я все живу!» И это действительно поразительно, если иметь в виду, что автор знаменитой трилогии совсем не глубокий старец. Но это вполне понятно. Такое, вероятно, случается со многими. Ибо эти прожитые годы были столь насыщены событиями и потрясениями, были столь плотны по динамизму и нервной, душевной энергии, что художнику, действительно может почудиться, что он прожил долгую-долгую жизнь, которая зачастую и не воспринимается вовсе как прошедшее, настоящее, будущее, а кажется нерасторжимой, неразрывной цепью Времени, единого, неделимого, без начала и конца.

Я говорю обо всем этом так подробно потому, что пытаюсь как-то выявить корни и объяснить реалистическую достоверность и огромный эмоциональный заряд исторической трилогии «Кровь и пот», «историзм» которой зиждется не столько на книжных и документальных источниках, а прежде всего на живых впечатлениях, художнически прочувствованных и осмысленных, на той реальной, живой жизни, вошедшей в плоть и кровь автора за — как ему кажется — бесконечно долгие-долгие годы бытия.

«Монблан фактов» (Маркс) и эрудиция, гармонически сливаясь, срастаясь с художественным вымыслом, с фантазией, достигли в этой трилогии вершины подлинного историзма. В. Г. Белинскому принадлежат слова «Исторические факты, содержащиеся в источниках, не более как камни и кирпичи: только художник может воздвигнуть из этого материала изящное здание».

Камни и кирпичи фактов не выпирают в здании романа своей шершавой первозданностью, а достигают органической цельности, и потому книга не воспринимается как беллетризованное чтиво на определенную историческую тему, на тот или иной факт истории. Она несравненно больше, чем художественное воспроизведение прошедшей жизни, она сама жизнь, и ее герои и их судьбы, и страсти, и дерзость человеческого духа, о которой упоминается в эпиграфе к трилогии, столь близки и понятны всем племенам и народам на земле, что не надо быть пророком, чтобы утверждать, что книге Абдижамила уготована долгая жизнь. Она — его главная книга. Книга, запечатлевшая облик времени. И мировоззрение художника.

Как круги от камня, брошенного в воду, все шире и шире разворачиваются события в романе. Горизонт видения и действия неумолимо раздвигается, расширяется. Вот так — кругообразно — развивается все в трилогии — все шире и все глубже. Таков метод познания мира. Таков композиционный принцип эпопеи.

Вспомним: действие начинается куда как локально — в тесной, темной, захламленной землянке Доса, куда, задыхаясь, вбегает сухопарая, возбужденная Каракатын. Потом мы уже видим другие землянки, весь рабочий аул на круче, на самом ветру, потом — залив Бел-Аран, степь, открытое море, далекие города.

И думы рыбаков вначале немудреные, узкие — об очаге, о котле, о сетях, о рыбе. Это уже потом, пройдя через мытарства, Еламан задумывается о прошлой и настоящей судьбе народа «Ни одним делом своих предков он не был доволен. Немногочисленный народ захватил огромные земли, но что он выгадал? Широки были земли, но широки ли были думы и дела народа? Тяжбы, споры о земле за многие века подточили силы, породили междоусобицу, и теперь презирают и угнетают этот народ все, кому не лень».

И представление о мире было у рыбаков вначале скудным, ограниченным, расплывчатым. Большая жизнь проходила стороной от аула на круче. Однако и в эту забытую Богом глушь начинают со временем просачиваться неведомыми путями вести о больших событиях. И здесь со временем начинают ждать перемен. Сквозь стоны ревущего моря докатывается гул приближающихся социальных бурь.

И к простой истине, что одному нельзя, одному худо, что нужно жить сообща и бороться сообща, вместе, герои романа приходят через немалые лишения и испытания.

Даже петь хором предстояло еще научиться. В «Мытарствах» есть выразительная деталь: черная старуха, пригласившая к себе рыбаков, впервые услышала, как поют хором. «В ее краю не было такого обычая. Сколько бы народу ни собралось на пир, на поминки или на рождение ребенка, пели всегда в одиночку, редко когда вдвоем или втроем. А эти рыбаки пели все сразу, и хорошо пели». Петь хором в данном случае оказалось одним из путей к единству, к сообщности.

Так открывался мир перед забитыми, обездоленными рыбаками. «В маленьких душных домах кипели маленькие страсти». От маленького стихийного протеста рождался протест большой. Рождалось народное восстание, слившееся с Революцией.

Таков был путь откровения. От убогого мирка землянок до беспредельного мира страны. От дум о крохотном очаге до забот обо всем народа. От одинокой песни до могучего хора. От слабого протеста до очистительной революции.

Так развиваются события. Так построена трилогия. И благодаря этому композиционному приему автор достиг вершины художественной правды, добился убедительности и огромного эмоционального заряда.

Пятнадцать лет трудился писатель над трилогией «Кровь и пот». И как трудился! Самозабвенно, неистово, пренебрегая житейскими соблазнами, не щадя сил и здоровья, мужественно борясь с болезнями, которые в период работы над второй и третьей книгами преследовали его с какой-то особой лютостью. Третья книга была им вообще написана на каких-то клочках и листах малого формата по той простой причине, что на обычного размера бумаге несподручно писать в постели. Сколько раз тогда, устало откидываясь на подушку и растирая онемевшее плечо, автор с горечью говорил: «Надо же... и здоровья Бог не дал».

Его упорство в работе той поры меня иногда поражало. Нетерпение и творческая страсть поглощали его целиком. Помню, как по его настоянию я пришел к нему в госпиталь. Абе только что привезли с операционного стола. Он лежал бледный, осунувшийся, с запавшими глазами, стонал, кор-

чился от боли, но и в таком положении мы поработали вместе полтора часа, сличали подстрочный перевод с оригиналом, пока не вошел хирург, прощупал больному пульс и, укоризненно покосившись на меня, потребовал прекратить работу. Тот день описан в моем дневнике — 5 марта 1970 года.

Помню, как при мне писал он своей французской переводчице Лили Дени о том, что он был на войне, но не совершил геройства и до сих пор не представлял, что это такое. Но теперь, когда он, больной, почти прикованный к постели, закончил все-таки третью книгу, он может без ложной скромности сказать, что совершил нечто похожее на геройство. Сейчас, вспоминая во всех деталях всю обстановку, в которой писалась третья книга, и физическое состояние автора тех лет, я прекрасно понимаю весь глубинный смысл этого простого человеческого признания и цену слов про «нечто похожее на геройство».

Его работа над трилогией почти с самого начала прошла на моих глазах, и я могу засвидетельствовать, что нет главы, абзаца, предложения, которых Абдижамил не переписывал бы десятки раз. Даже когда трилогия разошлась уже многомиллионным тиражом да еще на разных языках, он все еще всерьез работал над ней, дописывал новые сцены и целые главы, отрабатывал детали. Он абсолютно убежден, что искусство слова беспредельно и что любую фразу всегда можно сделать лучше, выразительней, точней. Кем-то замечено, что искусство писать — это искусство вычеркивать. Если это так, то Абдижамил в полной мере обладает этим даром. Порою кажется, что ему доставляет большее удовольствие зачеркивать и переделывать, нежели писать. Его не покидают сомнения, что что-то он сказал не так, или не совсем так. И в этом своем стремлении к совершенству он упорен и упрям. Приблизительность в языке, небрежность его всегда раздражают. У него нет склонности к эффектной игре слов, к рифмам внутри предложения, столь свойственным устной казахской речи, что, вероятно, идет от фольклора, к искусственным словообразованиям, к обветшалым архаическим выражениям, к холодному эстетству, к ярким, броским украшениям, к изысканной цветистости. Он нетерпим к показной красивости фразы и безжалостно разрушает ее, даже,

кажется, нарочито огрубляет ради естественности и доступности, ради реалистической простоты. Он не расцвечивает, не раскрашивает, не занимается лакировкой. С годами это становится все явственней. Выражения типа «призма души», еще встречавшиеся в «Курляндии», у «позднего» Нурпеисова совершенно исключены.

Работал Абе над книгой исступленно и все эти годы жил как бы в двух измерениях — с героями своей трилогии и в повседневной своей, реальной жизни. Приведу несколько записей из моих дневников разных лет.

«У меня тайна, никому не говори. Хочу к первой книге добавить страниц пятьдесят о восстании 1916 года».

«У меня идея: разработать сцену встречи Акбалы и Кенжекей. Но сейчас нет времени; потом, когда кончу книгу, придумаю что-нибудь, странички две, или одну, но насыщенную. Ты тоже думай. Если что-нибудь дельное придет в голову — скажи».

«Объяснив, что «таға» — это «өкше» (каблук), Абе прочел все предложение: «Кезінде бір қара беріп кигізген етіктің биік тағасы басқызбай келеді», задумался, вслух прочел еще раз и судорожно схватился за ручку. Зачеркнув «етіктің», написал «мына адыра қалғырдың» и еще раз прочел, явно довольный. Потом поговорили о том о сем, а когда он вышел и подошел почти к машине, вдруг обернулся и крикнул мне, стоявшему на балконе:

— Поставь-ка перед «эти проклятые», пожалуйста, «и». Мелочь? Ну да, наверное. Что значит для предложения одна усилительная частица? Но память подсказывает фразу из письма Горького А. В. Луначарскому: «Вы, дорогой товарищ, извините меня за придирчивость и не думайте, что это мелочи — язык никогда не мелочь».

«Пьем чай, беседуем о каких-то литературных новостях и вдруг посреди разговора — ни с того ни с сего — Абе спрашивает:

— Слушай, а понятно, что жена ушла от молодого Рошаля? Я его успокаиваю, конечно, мол, все вполне ясно. Однако вечером, перед сном, он подходит к моей постели и смущенно говорит:

— Знаешь, что? Давай-ка добавим в письме матери одну фразу: «... удрала с одним пройдохой», а?

Утром, проснувшись, первым долгом спрашивает.

— Слушай, а как получился Танирберген? Убедительно ли?»

«Абе болен. Лежит в постели, обложенный листками, что-то пишет. В кабинете на кушетке, на столе, на стульях, на полу кипы и вороха каких-то желтых, полуистлевших бумажек — заготовки, записи, материалы для третьей книги. Черты характера студента-сокурсника пригодятся для образа Благонравова. Выписка из дневника какого-то царского генерала — пригодится для образа Рошаля. Описание внешности старого, изможденного человека, встреченного на улице, — пожалуй, подойдет для Дьякова... Чувствуется: Абе живет жизнью своих героев... «

«Еще раз пришлось мне убедиться в том, как постоянно живет Абе своей книгой. Вот задумал он — три года назад — добавить солидный кусок к первой книге. Этот кусок должен ярче выделить Калена, еще с одной стороны показать Мунке и Каракатын. Урывками, спеша (ибо как раз некстати обрушилась уйма житейских забот), измученный усталостью и обострением застарелой болезни, он пишет эти страницы, привозит их мне по 4, по 5—6 страничек в клетку, исчерканных вдоль и поперек, вкось и вкривь, и все время нетерпеливо спрашивает: как получилось, верно ли, нужно ли? Мне тоже еще не все ясно и потому отвечаю нехотя, вяло, и это его волнует, еще больше наполняет сомнениями, тревожит. Он просит, чтобы я постарался, перевел получше, подумал, вдруг придут в голову более точные детали. Он говорит об этом дома, и в машине, и на даче, и на улице, в беседке, и постоянные сомнения не покидают его. Ведь — шутка ли? — книга разошлась уже трехмиллионным тиражом, его и так ругают за то, что он без конца переделывает.

Потом, после того, как мы по обыкновению вместе просматриваем подстрочный перевод, он вроде успокаивается, говорит еще о двух эпизодах, которые он непременно перепишет, переделает, и тогда уже все, да, да, не улыбайся, все, пусть судят, пусть казнят, он сделал все, что в его силах, он иссяк, и, стоя на балконе, он все повторяет известную поговорку: «істеп тастадым бір істі, Алла оңғарсын бұл ісімді» («Дело мною сделано, да благословит его Аллах»). Совесть его чиста, и он не будет торопиться, пусть издание трилогии отодвигается на год, он издательству все объяснит,

зато заново напишет сцену с ружьем, а заодно и то место, где байбише выгоняет Акбалу».

«Еще два дня совместно работали над главой о Калене. Многие страницы моего перевода он переписал заново. До этого над этими же страничками он работал два дня с С. Санбаевым. Теперь, снова тщательно сверяя с оригиналом, перебирая варианты, пережевывая каждое слово, выцеживали из моего, Санбаева и Абе переводов лучшее, вернее, «то, что ложится на душу». Таким образом, над трижды переведенными и трижды отредактированными двадцатью страницами просидели еще два дня. А ведь потом над этим же текстом будет еще работать Юрий Казаков — художественный переводчик!

— Интересно, — заметил я. — Сколько энергии затрачено Вами за все эти годы на «Кровь и пот»? Пожалуй, будет маленькая электростанция, а?

Он засмеялся:

— Ой, айтпа! (Ой, не говори)».

«Зашел на днях к Абе. Он был в подавленном, удрученном состоянии. С утра прочел написанные куски нового романа и вдруг понял: так писать нельзя. Вяло. Утомительно. Нечитабельно. Всю часть — более ста страниц — надо писать заново, по-другому. Но как? Как?! Невероятно трудно стало писать прозу. Вот принялся за «Сто лет одиночества» Габриэля Маркеса. Здорово, конечно. Но его это не вдохновляет. Другая природа, другой, так сказать, психологический и творческий склад. Потом он показал свои бесчисленные исправления к последнему изданию «Кровь и пот». Говорил о том, что непременно сократит батальные сцены, углубит, расширит линию Танирбергена, добавит какие-то штрихи к образам Акбалы и Еламана...

Сегодня я вновь зашел к нему. Он лежал в постели и вносил на поля романа правку. Серьезный. Сосредоточенный. Увлеченный. Рядом, на полу, лежала рукопись нового романа «Ночь на льдине».

«Абе показал мне толстый том трилогии (издания 1976 года), весь испещренный переделками и редакциями. Особенно много поправок в конце. «Об Еламане я все сказал. А к Танирбергену и Акбале кое-что добавлю. Углублю. Некоторые мелкие главки вообще уберу, заменю

кое-чем другим. Но... все это я сделаю потом. Для этого мне нужно сначала закончить «Льдину»...

Рядом лежал «Долгожданный день», третье издание. И здесь в начале много правки».

«Как-то раз я позвонил Абе, чтобы поделиться своей радостью по поводу одного грузинского фильма. И почувствовал, что у него взволнованный голос. «Что стряслось?» — «А, знаешь, по-моему, Упрямый Кошен, который вечно пятится назад, — это я и есть. Вместо того, чтобы писать новое, я только и делаю, что правлю старое. Помнишь сцену, где говорится о землянках Калена, Еламана, Судр-Ахмета? Неплохо вроде написано. А я сегодня это место переписал, углубил. Кажется, здорово получилось! Сколько у человека возможностей, а?!»

... Было бы, вероятно, любопытно проследить, как рождается и постепенно оживает, совершенствуется фраза под пером Абдижамила. Между первоначальным наброском и окончательным вариантом ее почти всегда — дистанция огромного размера. В бумагах Абе, однако, немного черновиков. Чаще всего, переписав, он их тут же уничтожает. «Мне становится как-то не по себе, когда на столе слишком много клочков», — не раз говорил он мне. В процессе работы над трилогией было уничтожено и немало эпизодов, сцен, отрывков, художественно законченных и тщательно отредактированных. Сколько было выброшено уже переведенных на русский язык кусков, над которыми мы вдвоем корпели по нескольку дней! Моя рациональная душа каждый раз, бывало, ныла при виде загубленного труда. Но таков Абе. Такова его творческая манера. В творчестве он безжалостен и к себе, и к другим.

Здесь, пожалуй, уместно рассказать о требовательности Нурпеисова к переводу. Я полностью разделяю все его основные принципы в этом сложном деле, более того, мои представления о природе художественного перевода сложились под его непосредственным влиянием, хотя в конкретных частностях не всегда с ним согласен, не разделяю его подозрительного, нетерпимого прямо-таки отношения к отдельным русским словам и выражениям, не убежден и в том, что каждое предложение, переведенное мною или другими, именно он, достопочтенный Абе, самолично должен

по многу раз переписывать, перекраивать на свой лад и вкус. Убежден: нет более страшного испытания, чем работать с Абе. Своим упорством, своей непостижимой требовательностью и умением часами сидеть над одним словом он может привести в ярость, в бешенство, в исступление самого тихого, кроткого, покладистого человека. Я знаю: с ним пытался работать с добрый десяток людей, многие спасались бегством на второй, третий, пятый день совместной работы, и уже через годы вспоминают о том, как об ужасе, о пытке. За несколько дней работы с ним чувствуешь себя измочаленным, истерзанным, раздавленным. При этом он и себя не щадит. Сколько раз, истязая друг друга в бесплодных спорах и поисках каких-то упорно ускользающих от нас эквивалентов, мы, доведенные до крайнего предела раздражения, наговаривали друг другу кучу дерзостей и обидных слов, расходились по комнатам, по домам, кляня наше бессилие и удел мученического труда, именуемого переводом, чтобы на другой день снова сесть рядом, врубаясь в неподатливый текст оригинала, продвигаясь слово за словом, предложение за предложением вперед.

К чему стремится автор? К уважительному отношению к оригиналу, к максимальному воспроизведению всех его тонкостей и нюансов.

О, как это непросто!

Приведу несколько записей из моего дневника, характеризующих нашу совместную работу над переводом.

«Абе долго смотрит в русский текст, жует губами, хмурится, ерзает, и я застываю, думая про себя, что же он такое там нашел. Наконец после длительного раздумья он спрашивает.

— Этот «ты» нужен?

— Ой, алла-а-ай! — говорю. — Если свет клином сошелся на этом несчастном «ты» — возьмите и вычеркните.

— Да, — облегченно, словно приняв важное решение, замечает Абе и яростно вычеркивает «ты».

Потом раза два очень медленно читает все предложение, надувает губы, думает, думает, зевает, снова читает, смотрит, смотрит, смотрит, смотрит и говорит:

— Нет. «Ты», оказывается, нужно!

И пишет на полях «ты».

Потом он спотыкается на слове «хлеборобы», и, подумав минут двадцать, заменяет его на «рисоводы». У меня начинают гореть уши. Еще полчаса каждый в отдельности и совместно мы читаем предложение, в котором говорится, что «нескладная, длинная от заходящего солнца тень, передразнивая все твои движения, переломившись, тоже сиганула вместе с тобой через яму».

— Давай заглянем в оригинал, — предлагает Абе. Он выразительно, плавно, испытывая явное удовольствие и радость, читает казахский текст и вдруг испуганно говорит, бледнея:

— Ой, так ты же вот это слово пропустил!!!

Слово, на мой взгляд, так себе, да еще в русское предложение никак не лезет. Но автору выбросить его жалко. Мы начинаем любой ценой впихивать его в перевод.

После этого Абе читает русский текст, читает нудно, врастяжку, спотыкливо, с ужасными ударениями, с жуткой интонацией, мучительно позевывая, и при этом морщится, будто то, что он сейчас читает, по сравнению с оригиналом — сущий кошмар».

«Абе долго думает, и вид у него несчастный. И я молчу. И вдруг он спрашивает:

— Ну, так как напишем? «Все же» или «все-таки»?

— А-а... мне все равно, — отвечаю, сдерживаясь.

— Да-а. . «Все же»... «Все-таки»... А? Что лучше?»

«Абе долго смотрит в бумагу и читает:

— С тех пор, как начальство... э-э-з-э-э-э...

Пауза.

— С тех пор, как начальство... а-а-аааа. .

Пауза.

— С тех пор, как начальство... и-и-ииии...

Пауза. Я начинаю ерзать.

— С тех пор, как начальство... хм-мммм...

Пауза. Я невольно поднимаюсь. «Боже, над чем он думает?»

— С тех пор, как начальство... о-о-оооо... Пауза.

— Слушай! А что, если мы поставим впереди «и»?!

— И? Ну, пусть будет «и»... Если вам так угодно... — голос мой отчего-то дрожит.

— Да! Вот слушай! «И с тех пор, как начальство... « Другое дело!»

«Иногда я Абе не понимаю. Порой ему мерещится пластика там, где, на мой взгляд, ее и в помине нет. Я охотно соглашусь с тем, что по части пластики сильно хромаю, но не могу согласиться и с тем, что если вместо «Что?» — спросил он», написать: «А?»—спросил он», то мы и будем иметь эту самую пластику.

Абе думает иначе.

Сегодня мы напрочь застряли на предложении со словом «самбырлап». Так и не нашли эквивалента».

«Уткнувшись в страницу перевода, Абе без конца бормочет:

«Одно лишь... Только лишь.., Лишь одно... Лишь только... Только только... только...»

Известный казахский писатель, член-корреспондент АН Казахской ССР Зейнолла Кабдолов как-то заметил, что Нурпеисов уже не довольствуется смысловым значением и зрительным образом слова, а проверяет его на слух, подгоняя, подбивая слова по созвучию. В шутливом образном представлении З. Кабдолова совместная работа Нурпеисова и автора этих строк над переводом протекает так: переводчик подает романисту русское слово; тот берет его кончиками пальцев за хвостик, подносит к уху, встряхивает его, прислушивается к звуку и, морщась, отбрасывает в сторону. Переводчик тут же выдает другое слово. Автор, опять схватив его за кончик, подносит к уху, вслушивается в звон, и снова отшвыривает. Переводчик подает третье, и автор вновь вслушивается. «Нет, не пойдет»... «Не то!», «Не годится!»

И так без конца.

Разумеется, это шутка, образная картинка, но есть в ней большая доля истины.

Читателю это может показаться смешным. Но переводчику и автору при такой работе не до смеха. Может, это имеют в виду, когда говорят о муках слова... Не знаю... Но очень обидно, когда результат не соответствует этим мукам. А это ведь случается чаще всего. Повторяю: трудно мне назвать хотя бы одно предложение из произведений

Нурпеисова, которое зазвучало бы по-русски без личного участия или вмешательства самого автора. Такое активное вмешательство автора в перевод в состоянии вывести из равновесия не только переводчика, но самого кроткого ангела. Не стану утверждать, что это всегда благо. Более того, склонен считать, что излишняя активность и усердие автора в переводческом деле в иных случаях сыграли медвежью услугу и дали обратный эффект. Вопрос щепетильный. Вот мнение на сей счет Р. Уинстона (США): «Исходя из собственного опыта», могу сказать, что, если писатель знает тот язык, на который его переводят, он вряд ли может оказать помощь, скорее вредит, вмешиваясь в работу переводчика... то же самое и в переводах на английский. Прекрасный писатель, автор талантливого произведения, тонкий стилист, знающий английский, в таком содружестве превращается в сущего маньяка». («Иностранная литература», 1979, № 4). Ну, насчет маньяка сказано, положим, излишне сильно и категорично, но в мысли этой некая истина все же заключена.

В трилогии «Кровь и пот» есть несколько человеческих типов, которые являются открытием в казахской литературе. И у Еламана, прошедшего через все пути мытарства в своем духовном становлении, и у неукротимого, бесшабашного Калена, и у Акбалы с ее неудавшейся женской судьбой, и у по-своему самобытных, колоритных фигур рыбаков Доса, Мунке, Рая, и у многих других героев трилогии есть, пожалуй, немало духовно родственных собратьев в нашей многонациональной литературе. Эти образы при всей своей индивидуальности, своеобразии, несхожести судьбы и жизненного пути все же вызывают у читателя определенные ассоциации с другими известными литературными персонажами и предоставляют возможность для сравнения, сопоставления, широких обобщений. Но такие нурпеисовские герои, как Судр-Ахмет, Каракатын, старик Суйеу — психологические и социальные типы огромной обобщающей силы, зорко подмеченные и выхваченные из жизни, вылепленные художественно ярко и убедительно, не имеют на мой взгляд, аналогов в казахской литературе. Думаю, что их также трудно сопоставлять с какими-нибудь образцами мировой литературы. У них глубокие

социальные корни; они — порождение специфической среды и особого уклада жизни.

Иные критики охотно сопоставляют нурпеисовского Судр-Ахмета с шолоховским дедом Щукарем. Очевидно: это поверхностное сопоставление, основанное на каких-то схожих внешних приметах, на балагурстве, зубоскальстве, уместном и неуместном комиковании. Смею, однако, думать, что его, Судр-Ахмета, комичность вредна и опасна. Конечно, поступки и слова их вызывают у читателя смех, но смех этот разный, у него иные истоки, иная природа. Над проделками деда Щукаря можно безобидно посмеяться, весь его облик вызывает добродушную улыбку, и по натуре своей этот дед-балагур совершенно безвредный, незлой, по-своему даже добрый, верный, преданный.

Судр-Ахмет — не просто тунеядец, баламут, трепач и хвастун. По своему психологическому генезису он — отвратительное порождение социального зла, которое пустило глубокие и крепкие корни в прогнившем патриархально-феодальном обществе. У него даже внешность отталкивающая. «Во всем его облике не было ни одной правильной черты, весь он был несоразмерен. Везде, во всех чертах его лица или чего-нибудь недоставало, или что-то было лишнее. Бритая до синевы голова его была заострена кверху и походила на воробьиное яйцо. Огромные, прозрачные, как рыбий пузырь, уши оттопыривались. И еще странность была в этих ушах — они двигались! Они настораживались на звук, даже слегка поворачивались в ту сторону, откуда был звук, или обвисали, совсем как у зверя».

Портрет отнюдь не располагает к смеху, не правда ли? Есть что-то нелепое в его худом, извивающемся хорьковом теле, что-то зловещее во всем его облике. Где бы он ни был, что бы ни делал, он всюду мелко пакостит. Угодничает, суетится, лжет, стравливает людей, двурушничает, наговаривает и при этом мнит из себя почтенного человека, аульного аксакала, кичится своими мнимыми достоинствами и заслугами, хорохорится, измывается над женой, детьми, источает бесконечный словесный гной.

Из его мелких пакостей образуется большое зло. Все его откровенно презирают, однако, с ним приходится ми-

риться. Он сам похож на болезненный гнойник, который поневоле приковывает к себе внимание. Убежденный паразит, живущий лишь сегодняшним днем, привыкший ублажать лишь свою мелкую поганую душонку, он обладает незаурядным хамелеонским даром приспосабливаться к любой среде ради своей корысти и ухитряется при этом, точно накипь, всегда быть на виду.

Метко его прозвали Судр-Ахметом, Судыраком. И хотя по смыслу эта кличка означает болтун, трепач, словоблуд, по своему лексическому значению и фонетическому звучанию она значительно шире. В этом «С-с-судыр, «С-с-судыр-р-рак» слышится шелест иссохшей сорной травы, журчание сточной воды, шипение и свист гадюки и еще — людское презрение.

При всей своей ничтожности и никчемности Судр-Ахмет поразительно живуч. Он больше чем определенный человеческий тип. Он, пожалуй, нравственно-психологическое, общественно-социальное явление. Явление уродливое, вредное и одновременно многоликое. Явление, которое правомерно называть судр-ахметизмом. Явственные и искусственно завуалированные черты этого явления едва ли не повсюду сопровождают прогресс. Автор трилогии «Кровь и пот» сумел его увидеть и выразить в образе Судр-Ахмета, однако, сам Абе считает это явление столь сложным и многоликим, что уже многие годы всерьез размышляет о нем, лелея в душе трагикомическую драму под возможным названием «Судр-Ахмет».

... Из беседы с Абе:

«Судр-Ахмет — вовсе не продукт одной формации. Он паразит. А паразитизм был и есть во всех общественных формациях. Та или иная форма паразитизма будет существовать всегда».

Таким же порождением прогнившего патриархально-феодального уклада является и Каракатын. «С Каракатын что взять, — думает Мунке. — Глупая, вздорная баба». Вздорная? Конечно. Но это слишком мягко сказано. Ни одна сплетня не проходит мимо нее. Более того, она сама их искусно рождает, раздувает, распространяет. Она вся пышет и исходит злобой. Всё и все ей постылы. По натуре она деятельна, неуемна, обладает взрывным, неуправляемым характером. Но вся ее деятельность и неуемность всецело

подчинены злу. Она вобрала в себя все отвратительные черты патриархального уклада, изуродовавшего и ожесточившего женскую душу, подавившего, вытравившего доброе человеческое начало в ней. Она — будучи порождением зла — теперь сама везде и всюду творит зло. Дело вовсе не в ее гнусной и сварливой бабьей сути. В ней воплотилось уродство жизни. Беспросветная жизнь, одуряющая нищета, бездуховность и убогость домашнего очага превратили ее в нравственного и физического урода, и теперь полная мести, злобы, глухой ярости, она сама уродует все вокруг, не жалея ни близких, ни свекровь, ни дочь, ни мужа, ни его друзей, ни себя. В ней бурлит злая, разрушительная сила. Она не только Каракатын — Черная баба, у ней и душа, и все помыслы черные. Она — само исчадие мрака.

Над этими двумя низменными и гадкими человеческими существами гордо возвышается неприступный, непреклонный образ старика Суйеу. Здесь уместно вспомнить, что в казахской литературе создана огромная и богатая галерея колоритных стариков — мудрых, степенных, щедрых душой и сердцем, благочестивых, благородных и многоопытных, являющихся надежной опорой и защитой нравственной силы народа, воплотивших в себе лучшие черты национального духовного облика и самосознания. Но абдижамиловский Суйеу, красноглазый, с козлиной бородкой, с белыми ресницами, упрямый старик, восседающий прямо, как кол, и время от времени фыкающий гневно и яростно, заметно выделяется в ряду этой галереи литературных образов.

У Суйеу нет ни власти, ни богатства. Он обладает лишь щедрой душой, суровым нравом, строптивым характером. В суждениях и поступках он прям и беспощаден. Бедняки его побаиваются, но глубоко почитают. Богачи его боятся и откровенно ненавидят. Язык его как жало. В сухом, тщедушном теле старика обитает могучий, непокорный дух. Он весь сотворен из горячей крови, обнаженных нервов и неуемной ярости. Он непримиримый враг чванства и высокомерия, лицемерия и фальши, корыстолюбия и всего показного, неискреннего, суетливого. И в этом его сила. В этом его человеческое достоинство. Клокочущая ярость выражa-

ется в нем в частом ядовитом хмыкании, в пронизывающем, всевидящем взгляде.

Старец Есбол, единственный, которого «вредный старикашка» Суйеу почитает в родном краю, с горечью размышляет: «Что за человек! У этого дьявола, видать, и души совсем нет!» Но душа-то как раз у него есть. Душа большая, израненная,— нежная. По-отечески любит он Еламана, души не чает в своем несчастном внуке. Однако с диким упрямством скрывает и свою нежность и свою любовь.

У Суйеу обостренное чувство справедливости. Ради этого чувства он не идет ни на какие компромиссы, отвергает все посулы богатеев, совершает дерзкие, безумные с точки зрения житейского благоразумия поступки, прекрасно сознавая, что они принесут и ему, и его единственной любимой дочери много горя.

Речь его — под стать крутому нраву — резка, отрывиста, напориста. Он говорит, будто камчой хлещет. Вспомним, к примеру, сцену, где Суйеу узнал о том, что Акбала пошла второй женой за Танирбергена «Кровяные глаза его стали вылезать, кадык на худой шее дергался, пальцы бегали по рубашке, будто ему было душно.

— Что это такое, а? Нет, что она мне говорит? А ты разве видала, чтоб за гулящей сучкой не бегали кобели? К чему это ты мне говоришь? А? Что это? Дожив до возраста пророка, я с палкой должен бегать за кобелями? А? Отгонять их от своей гулящей сучки? Эй, эй, хрычовка, что это за издевательство? А? А?».

В хилой, старческой груди Суйеу бьется большое, болью истерзанное сердце.

Я вовсе не хочу сказать, что образы Судр-Ахмета, Каракатын, старика Суйеу — лучшие в романе. Отнюдь. Есть в трилогии десятки образов не менее колоритных, искусно, ярко выписанных и несравненно более значительных по идейно-смысловой нагрузке и художественной и философской насыщенности. Однако — повторяю — и Еламан, и Акбала, и Кален, и Мунке, и Кудайменде, и даже Танирберген имеют своих близких и далеких «родственников» и в казахской и в мировой литературе. А эти трое, о которых я говорил выше, кажутся мне принципиально новым типологическим явлением, зорко выхваченным писателем из гущи народной жизни и достоверно отраженным в художественной литературе.

Из дневника:

«Говорил Абе и о том, что Судр-Ахмет и Суйеу в русском переводе все-таки проигрывают, что многие тонкости их поведения и речи не переданы, не получились...»

Сейчас мне вдруг подумалось: а может, я слишком пристрастен и к Абе, и к его творчеству, и к его героям? Но что делать? Нелегко быть беспристрастным (да я и не хочу этого), когда два десятилетия находишься почти всегда рядом с писателем, просидел с ним бок о бок бесчисленное количество дней и ночей за одним столом, знаешь его окружение, близких и родных, его друзей, слабости и привычки, и многое-многое другое и мог бы рассказать значительно больше, чем сказано в этих нескладных записях, знаешь и видел многих прототипов, успел узнать и полюбить его край, его родной Арал, когда он еще был во всей красе и могуществе, и бурые приаральские степи...

Да-а... те дивные два месяца, летом 1964 года, на берегу древнего Арала, у тихого залива Туши-бас, навсегда остались в памяти. Мы славно поработали, славно отдохнули, а самое главное — я воочию увидел и почувствовал тот удивительный край, так ярко, так любовно описанный и воспетый писателем в трилогии. Возвращались мы в город Аральск уже сушей, на двух бойких «газиках», одолев по фантастическому бездорожью, по выжженной степи, изрезанной оврагами и буераками, более четырехсот километров пути, и я увидел знакомые по описаниям в книге места, где герои Абдижамила ловят рыбу, пасут скот, любят, женятся, умирают, сражаются за лучшую долю на своей благословенной, щедро политой кровью и потом предков земле. Позже то, что я там увидел и перечувствовал, я описал в двух рассказах — «У залива Туши-бас» и «За шестью перевалами».

... Много глубоких мыслей высказано, много прекрасных слов сказано о трилогии «Кровь и пот» в предисловиях, послесловиях, статьях Луи Арагона, Ч. Айтматова, С. Баруздина, Ю. Казакова, Л. Теракопяна, К Оскоцкого, З. Кедриной, В. Владимирова, А. Устинова, И. Омарова, М Каратаева, Ш. Елеукенова, С. Кирабаева, З. Кабдолова, А Кекилбаева и еще нескольких десятков именитых литераторов.

Статьи, исследования, отзывы о творчестве Абдижамила

Нурпеисова, собранные вместе, составили бы наверняка, не один том. И, вероятно, для полноты творческого портрета писателя нелишним был бы и такой библиографический обзор. Однако, учитывая, что я все же пишу этюд, а не научную монографию, ограничусь здесь лишь тремя цитатами, принадлежащими выдающимся писателям.

Луи Арагон (Франция):

«Таких увлекательных книг, как роман «Сумерки», в последнее время было мало; «Сумерки» Нурпеисова можно сравнить с самыми большими произведениями современной литературы, будь то американская, французская или же другая».

Аугуст Видаль (Испания):

«Трилогия написана в классических традициях русской прозы — эпический размах, глубина изображаемых событий, вереница разнообразных персонажей и художественное мастерство — заставляет вспомнить «Тихий Дон». Вероятно, можно сказать, что Нурпеисов в определенном смысле — Шолохов казахской литературы».

Чингиз Айтматов (СССР):

«Давно уже читаю я книги Нурпеисова, давно влюблен в его талантливую, добротную прозу, многому у него научился, много раз говорил с ним, но всякий раз, встречаясь с ним, как бы заново открываю его для себя. Как человек, как собеседник, он всегда глубок, мудр и сдержан. Таков он и в своем творчестве».

А сколько было читательских писем и откликов! И они составили бы интересную главу большого исследования.

Мог бы, пожалуй, и я еще немало рассказать об этой славной книге и ее авторе.

Ну, к примеру, о том, как — между прочим — когда-то это произведение было задумано как тетралогия, и действие романа доводилось в задумках автора до времен коллективизации, и Еламан мыслился в качестве председателя колхоза («Шолақ қол басқарма» — «Однорукий баскарма»), и автор, задумчиво глядя на могуче возвышавшийся напротив залива Бел-Аран, рассказывал мне любопытные эпизоды из этой так и несостоявшейся книги.

Был задуман, помнится, такой эпизод. Уже в тридцатые годы, отбыв ссылку, возвращается в родные места заметно состарившийся Танирберген. И вместе с одноруким председателем колхоза Еламаном они отправляются на охоту. Между ними происходит знаменательный разговор — осмысление прожитого, пережитого...

Еще я мог бы рассказать о том, как роман А. Нурпеисова любим в ГДР, где его великолепно перевел на немецкий язык Вильгельм Плакмайер, как восторженно писали о трилогии известные критики Лео Кошут, Ральф Шредер, Герлинд Кёниг, Петер Кирхнер, какие были отклики в журнале «Нойе Дойче Литератур» и газетах «Нойе Цайт», «Нейер Таг», «Остзее-Цайтунг», «Дер Гайстфаден», о необыкновенно теплой, доверительной зарисовке Иоахима Новотного, озаглавленной «Если я однажды окажусь в Алма-Ате... « и опубликованной в газете «Нойес Дойчланд» (12 апреля 1973).

И еще я мог бы многое поведать о литературных эссе, статьях и очерках Абдижамила, которые составили солидные книги «Раздумья», «Все в нем пело», четвертый том собрания сочинений; о том, какое он придает им значение, как трудно они писались, сколько раз переписывались и переделывались, о том, как в них блестяще раскрылась еще одна сторона его художественного дарования.

Мог бы рассказать еще и о том, как сам автор относится к своим удачам и неудачам, о его сомнениях и терзаниях, о его отношении к славе, к популярности, о его оригинальных взглядах на многие проблемы современного литературного движения.

Мог бы поведать об отношении Нурпеисова к личности и творчеству Ауэзова — эта тема для особого разговора. Об этом он всегда говорит с благоговением, с гордостью и, я бы сказал, с затаенной робостью. Ауэзов для него как для всех казахских литераторов, — святыня. Говорить об Ауэзове неизменно трудно, почетно и ответственно. Лишь небольшую долю своих мыслей и чувств об этом Человеке-глыбе Абе высказал в своем эссе «Слово об учителе» и ряде других выступлений. Он убежден: осмысление этой личности — дело времени, дело будущего. Я же знаю, как во время работы над трилогией «Кровь и пот» ауэзовская эпопея незримо присутствовала всегда, на всех этапах, поддерживая и вдохновляя писателя всем своим величавым

духом. Не раз заставал я Абдижамила с томом «Пути Абая» в руках и помню, как еще в начале нашего знакомства он внушал мне: «Все мы должны время от времени перечитывать Ауэзова».

Мог бы, мог бы... если бы не удерживала меня опасность, что мои записки, с некоторой, быть может, претензией названные мною этюдами, превратятся в нечто рыхлое, аморфное.

Впрочем, — кто знает — может, когда-нибудь и напишу обо всем этом...

А пока еще несколько штрихов к портрету Абдижамила Нурпеисова.

В чем его художественная сила? На мой взгляд, в предметных деталях и психологизме.

Основной философский лейтмотив? Серьезное, глубоко уважительное отношение к человеку, к жизни. К жизни, которая далеко не всегда праздник, а чаще всего — вовсе не праздник; в ней немало горя и печали и тем не менее она прекрасна.

Он строг к человеку, но и добр, сострадателен, даже снисходителен. Людское горе воспринимает как свое личное. Он знает, что человек не всегда всесилен и всемогущ. Иногда человек просто слаб и беспомощен. И тогда он нуждается в сочувствии, в утешении, в дружеской помощи, в прощении. Только подлость и двурушничество писателем не поощряются. Ни в его книгах, ни в жизни. Беспощаден он и к самодовольной тупости, к толстокожести. Вспомните Абейсына, Калау, Тулеу, Сары-Шая...

Любимые герои? Люди трудной судьбы. Труженики. Внешне сильные, грубоватые, неуклюжие, неразговорчивые, упрямые, замкнутые. Верные в дружбе и любви, легко ранимые, очень нуждающиеся в тепле домашнего очага, в ласке, заботе и внимании. Чуть-чуть сентиментальные. Вспомните Еламана, Мунке, Жадигера, героев многих очерков.

И еще: Нурпеисов убежденный противник разных схем, выдуманных правил, незыблемых постулатов, прямолинейностей и раз и навсегда установленных канонов. Душа его жаждет раскованности. Его удручают и приводят в уныние даже правила грамматики. Вся его натура противится категорическим понятиям: хороший — плохой, черный — белый, большой — маленький, можно — нельзя. У него все значительно сложней.

Основной стилевой принцип: образность, изобразительность, ясность слова, просвеченность фразы, пластика, доступность. Строя предложение, многократно переписывая его, он стремится именно к этим качествам, не прибегая к эффекту, искусственной орнаментальности, блеску, заумным периодам, нарочито усложненному синтаксису, формалистическому изыску. Он — можно сказать — максимально натурален.

В художественном мышлении он тяготеет, пожалуй, больше к эпике. Еще школьником он всерьез задумывал написать произведение об акыне-бунтаре Сары Батакове. И не случайно замыслил это произведение как роман, наверняка имея весьма смутное представление о том, что это такое. Роман так и не был написан. Но первым произведением, написанным молодым, неопытным писателем, был все-таки роман. Роман, принесший автору заслуженный успех и славу. Роман, который по единственной причине — суровой требовательности к себе — до сих пор не переведен на русский язык.

Жизненное кредо? Ничего не чураться, стойко и спокойно относиться ко всему, что уготовано судьбой, ошибаться, терзаться, сомневаться и все-таки двигаться вперед, неторопливо, без суеты, но уверенно. Любимая шутка — слова, сказанные однажды каким-то земляком:

«Не торопись. Как бы ни торопился, все равно опоздаешь». И — трудиться, трудиться, помня, что дар художника — прежде всего, долг и обязанность. Перед собой, перед читателем. Без громких слов, публичных заверений и деклараций.

Так я понимаю Абдижамила Нурпеисова. Как художника и человека. И так я его вижу.

Свое широко известное эссе о Мухтаре Ауэзове Абдижамил заканчивает словами: «Когда писатель идет трудной дорогой, выбирает себе трудную судьбу, он должен быть сильным и мужественным. И он непременно добьется победы. Этому учил нас Мухтар Ауэзов, учил тех, кто избрал судьбу писателя и идет писательской тропой, взвалив на плечи всю боль, гнев, радость, страсть, порыв, дерзания и мечту человечества».

В полной мере эти слова относятся и к большому советскому писателю Абдижамилу Нурпеисову.

1978, 1983 гг.

ВЫСОТА СОВЕРШЕНСТВА

(К 75-летию Абдижамила Нурпеисова)

Юбилей и все, что связано с этим щепетильным хлопотным действом, ему как-то не идут.

Он стоит особняком.

Он вне юбилеев.

В чужих юбилеях, случается, он еще участвует. Свои же не жалует.

На моем веку ему исполнялось сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят лет, но юбилеев, на удивление близких и друзей, не проводил. То уезжал куда-нибудь подальше, то укладывался в больницу.

Теперь ему стукнуло семьдесят пять, шутка ли — три четверти века! — но я еще (пока пишу эти строки) не знаю, намерен ли он придать этой солидной возрастной меже некую общественную значимость.

Вряд ли.

Вообще-то написано о нем порядочно. Собрать все вместе — получится не один том. Но — доподлинно знаю! — многое из того, что о нем написано, он всерьез не принимает. Может, помнит мудрый завет Абая: «Не верь хвале людской»? А может, иные дифирамбы коллег кажутся ему излишне елейными, слащавыми, фальшивыми, расчетливыми, поверхностными, докучливыми?

Не исключаю.

В казахской литературе он давно и прочно занимает лидирующее положение. Но среди пишущих (а преимущественно непишущих) коллег далеко не все признают его мэтром. Известно: в своем Отечестве нет пророка. У Абе никогда не было дефицита недоброжелателей. Особенно среди соплеменников. Некоторые из-за нелюбви к нему пытаются унижать и его творчество. А это — уже несправедливо. Можно, конечно, не любить Абе. Его иногда и

родная жена не любит. Случается — я знаю — и сам себя он не особенно жалует. Но чернить, к примеру, «Кровь и пот» — ограниченность, нонсенс. Это — великое произведение. А лягают его некоторые почем зря. И последняя его дилогия — достойное творение. Какая творческая мощь! Какой полет в анализе нашего общества! Только я слишком близко стою и к автору, и к его созданию, потому мне трудно быть абсолютно объективным. Абе станут возвеличивать после его кончины. Это так по-казахски! Впрочем, о том же и Белинский еще писал: «Только тогда можно произнести суд человеку, когда он совсем окончит свое поприще».

Как личность он сложно и противоречиво замешан. У него непростая художественная и психофизическая структура. Я бы не сказал, что он лишен честолюбия. Отнюдь. Скорее, он — тщеславен. Но умеет это скрывать. Иногда валяет Ваньку. Но это именно игра. Показное. В любом поступке он, пожалуй, расчетлив, рационален. Держит себя под контролем. Порой сентиментален. В дружбе верен. Легко раним, но хорошо держит удары. В обиду себя не даст. Добро помнит. Замкнут. Все держит в себе. В незнакомой среде чаще всего производит о себе неблагоприятное впечатление. Раскусить его не всем дано. Внимателен. Памятлив. Чуток. Проницателен. При всем этом, случается, наивен. Сдержан, но бывает и азартным, увлекающимся. Моментами занудлив, дотошен, скучен, вял, даже несносен. Но в экстремальных случаях проявляет носорожью энергию, действует напористо, решительно, навязывая свою волю. Не позволяет обвести себя вокруг пальца. Доверчив, тоже изредка. Много в нем разного и путаного.

Я не раз ему говорил: если собрать все дурные его свойства, можно создать довольно неприглядный тип. И, наоборот, если собрать воедино все его положительные качества, получится почти ангел в аральском варианте. Но он ни то и ни другое. Просто — большой художник и грешный человек. О его монументальной трилогии «Кровь и пот» и дилогии «Последний долг», о его публицистике и эссеистике я уже не раз печатно рассуждал. Статьи мои о том опубликованы на русском, казахском, немецком, английском языках. Аллах даст, опубликую когда-нибудь свои дневниковые записи о нем. За почти сорок лет нашего тесного общения эти записи наверняка составят объемистый

том. Думаю, это будет и интересно, и поучительно. А пока благодарен судьбе, что в течение этих долгих лет был с ним неизменно рядом и посильно переводил его сочинения на русский язык. Это ой как непросто!

Он прочно скроен. Аральское море его основательно просолило, аральский зной его прокалил, а ветер обтесал. Так же прочно сработано, отлажено и его творчество. Я бы сказал так: Нурпеисов как писатель — это, прежде всего, художественная прочность. В книгах его есть тенденция жизни. И это, пожалуй, главное.

Он — художник. Кто пишет художественно, тот пишет правду. Известная сентенция Гете: «Надо чем-то быть, чтобы что-то сделать» вполне приложима к Абе. Книги его составляют прочную древесину казахской литературы.

Зрелый Абе беспощадно борется с жиром в литературе. Он безжалостно сокращает свои романы, выбрасывает целые главы, стилистически филигранно отделанные, щадит читателя, радуется, когда удается ужать прозу до минимального объема за счет выразительности и плотности письма. Его романы не отличаются тучностью. Две книги социального романа «Последний долг», выходящего в пространство и время, составляют по объему 26 листов. Многие его коллеги предпочитают в литературе казы и карта вместо живого духа и упругой плоти.

Поразительно: он никогда не спешит. То ли знает, что спешка — шайтаново дело, что, где спех, там и смех, то ли изначально настроен на вечность. Вообще с физическим временем он не в ладу. Иногда кажется, что живет он вне времени. Всей своей писательской практикой он повторяет завет Сальвадора Дали: «Не бойся совершенства, тебе не достичь его никогда!». Потому он и переписывает каждый абзац, каждую страничку своего текста многажды раз. Он из тех, кто срочную телеграмму сочиняет по три дня.

Обитает и творит он не в башне из слоновой кости. Он хорошо видит и понимает, что творится в стране, но, верный своей привычке, не спешит с выводами. И к властям внимательно приглядывается, и за народ искренне болеет.

Отмечу еще, что его Акбала, Танирберген, Еламан, Каракатын, старик Суйеу, бунтарь Кален, болтун Ахмет, Жадигер, Бакизат, академик Азим, интриган Сары-Шая — образы-открытия в казахской литературе, и эти колорит-

ные типы-характеры прочно вошли в бессмертную галерею образов мировой литературы. Впрочем, о том выразительно сказали выдающиеся авторитеты из многих стран мира.

В последние годы, как и раньше, Абдижамил много разъезжает по республике и странам, участвует во всех крупных событиях, руководит казахским ПЕН-клубом, находится в гуще жизни и, случается, иногда вздыхает: «Устал». Думаю, счастливец тот, кто в 75 лет иногда устает. «Не уставайте, Абе», — говорю я ему. Надо ведь не просто жить и творить, но и уметь беречь себя.

Как Гете.

Этот величайший немец, как известно, и жил активно, и сочинений оставил 143 тома, и сумел достичь (когда еще!) 82-летнего возраста. Вот пример для подражания всему «чернильному племени». Желаю Абе славной и плодотворной осени жизни.

1999 г.

БАУКЕ, КАКИМ Я ЕГО ВИДЕЛ

Грозно хмурясь, мрачно оглядываясь вокруг, топорща колючие жесткие усы, медленно и неотвратимо поднимается по крутым ступенькам Союза писателей Казахстана прославленный воин и писатель, гвардии полковник в отставке Баурджан Момышулы.

Шумный вестибюль на втором этаже, место сбора литературного люда, мгновенно затихает. Человек десять именитых писателей, среди них Ахтанов, Нурпеисов, Бакбергенов, несколько сотрудников «Жұлдыза» и «Қазақ әдебиеті», все явно моложе сурового гостя, учтиво бросаются ему навстречу, протягивают руки, вразнобой приветствуют его:

— Ассалаумағалейкум, Бауке!

— Амансыз ба, Бауке!

— Қалайсыз, Бауке?

Точно медведь в берлоге, рокоча басом, шевеля усами, играя желваками, он милостиво принимает приветствия, вяло пожимает всем руки и устремляет колючий, пронзительный взгляд на худощавого, сероглазого, неказахского обличья молодого человека, напряженно сидящего за круглым столом посредине вестибюля. Этот молодой человек появился в Союзе писателей лишь недавно, большинство писателей он знает только понаслышке, а потому в их шумной толпе чувствует себя скованно, не решаясь ко многим даже подходить. А тут -шутка ли? — сам легендарный Бауке! Кто он такой, этот молодой пришелец, чтобы руку ему тянуть? И молодой человек остается сидеть за столом, чувствуя, однако, что это не по-казахски.

Выламываясь из толпы, сделав три-четыре решительных шага, сухой, поджарый воин нависает грозной скалой над молодым человеком, словно гипнотизируя его, буравит искрящимися зрачками. Все вокруг на мгновение затихают, предчувствуя потеху, очередную выходку отставного гвардии полковника.

— Кто таков?!

Молодой человек не успевает ответить, как толпа писателей начинает спешно объяснять, как бы улещивая гвардии полковника, усмиряя его нарождающийся гнев.

— Он переводчик.

— Наш бала.

— Казахскую школу закончил.

— В «Жулдызе» работает.

— Немыс.

Тут Бауке чуть замешкался, пошевелил усами, резко выставил обкуренный длинный указательный палец, будто направил дуло пистолета на молодого человека.

— Спик ю инглиш? — пророкотал.

Молодой человек от растерянности не нашелся что сказать. Пару-сотню английских слов он, пожалуй, знал, но сказать что «спикает», естественно, не мог. По произношению Бауке, однако, смекнул, что и он отнюдь не мастак по части английского.

В наступившей паузе оглушил его следующий вопрос:

— Парле ву франсэ?

Ну, по франсэ молодой человек и вовсе ни в зуб ногой. Про себя же сообразил, что и вопрошающий вряд ли еще что-либо знал, кроме этой расхожей фразы.

Но гвардии полковник углядел, что вокруг внимают ему с благоговением.

— Шпрехен зи дойч? — хлестнул будто камчой-доиром. Молодой человек лихорадочно задумался. Сказать, что он «шпрехает» — глупо. Сказать, что и по «дойч» ни бум-бум — ложь. Глупая какая-то ситуация, молодой человек точно аршин проглотил.

— Встать! — рявкнул прославленный воин. Молодой человек, заметно побледнев, встал. Чувствовалось, что всем стало как-то неловко.

— Бауке, Бауке, — всполошились писатели.

— Са-а-дисссь! — прозвучала команда.

Молодой человек сел. Вокруг затихли, не зная, как все это воспринять. Опять обрушилась пауза.

Бауке круто повернулся, пыхнул затухающей сигаретой и ворвался в кабинет первого секретаря. Толпа медленно разбрелась.

Молодой человек вконец смутился, и после этого случая долгое время старался не попадать на глаза сурового воина и писателя.

Тем молодым человеком был я. А случай этот имел место в 1964 году.

... Следующий эпизод с Бауке произошел на моих глазах в том же вестибюле Союза писателей на втором этаже.

Так же неожиданно появился Бауке. И так же бросились к нему навстречу завсегдатаи писательской организации. В те годы в Союзе писателей бывало многолюдно. И живая жизнь бурлила едва ли не только там.

Гудя, как в бочку и попыхивая сигаретой, Бауке со всеми поздоровался, цепко осмотрелся. Поймав его магнетически-суровый взгляд, тотчас послушно подкатился к нему Морис Симашко, щелкнул каблуками, полусерьезно, полушутливо отдал честь.

— Здравия желаю, Бауке!

— Вольно! — пробасил Бауке.

Морис Симашко, довольный, что так просто отделался, повернулся и строевым шагом отошел в сторонку.

— Си-маш-коо! — гаркнул на весь вестибюль Бауке — Сю-да!

И, согнув крючком указательный палец, гвардии полковник сделал резкое движение к себе.

Вокруг насторожились в ожидании потехи.

Морис Давидович круто повернулся, едва удержав равновесие, строевым шагом — раз-раз-раз! — подошел к Бауке, подобрался, вытянулся, лихо козырнул:

— Слушаюсь, Бауке.

— Си-маш-коо! Ты — еврей?

— Так точно, Бауке, еврей.

— Карл Маркс тоже был еврей. И-ди!

Морис повернулся и опять отошел, решив, что на этом спектакль окончился. Но не тут-то было. Выдержав паузу, Бауке снова рявкнул:

— Си-маш-коо?. . Сю-да!

И опять дернул к себе крючком указательного пальца. С озабоченностью и досадой на лице, мелкими шажками — тук — тут — тук! — подсеменил Морис Давидович.

— Слушаюсь, Бауке.

— Между прочим, — прогудел Бауке и сделал паузу. Наступила тишина. — Лев Троцкий тоже был еврей И-ди!!

Симашко отошел. Довольный произведенным эффектом, Бауке пошел восвояси. Толпа писателей загудела, гадая: что бы это значило, что хотел сказать неординарный воин, что скрывалось за намеками о Марксе и Троцком, возвеличил он Симашко или, наоборот, унизил.

Так ничего и не поняли.

... Потом был съезд писателей Казахстана. И мне довелось выступить с сообщением о литературе немцев республики. В перерыве во дворике Верховного Совета я столкнулся с Бауке. Он курил в одиночестве. Увидев меня, спросил:

— Полагаю, вы говорите по-казахски?

— Ия, Бауке.

Взгляд его смягчился, густая щетка усов раздвинулась, голос потеплел.

— Я о том догадался по тому, как ты, выступая, произносил: «қазақ», «Қазақ әдебиеті» на казахский лад, без акцента.

— Енді... — ответил я польщенный, — қазақ мектебінде оқыдық қой...

Он улыбнулся чуть-чуть, дотронулся ладонью до моего плеча, как бы одобряя. Мы разговорились так просто, обыденно, будто знакомы давно. Его интересовало, где я родился, когда и как прибыл в Казахстан, где рос и учился, есть ли родители. И с того дня я перестал робеть перед этим суровым, неподступным на вид, строптивым, как необъезженный конь, человеком. И замечал: когда я попадался ему на глаза, зрачки-буравчики его лишались обычной колючести. Потом из романа его сына, Бахытжана, я узнал, что он, Бауке, говорил обо мне лестные для меня слова.

На том же писательском съезде выступил в конце и Бауке. Выяснилось, что ему не хотели давать слова, опасались, что он отчебучит что-нибудь такое, что будет властям против шерсти. Но он добился своего, вышел на трибуну и произнес образную, мудрую, короткую, энергичную речь. Он то и дело недобро косился в сторону президиума, который под его взглядом и от длинного, как шпага, указательного

пальца оратора поневоле съеживался и вжимался в стулья. Особенно заерзал, явно встревожившийся, дородный секретарь ЦК по идеологии, прозванный Олжасом за толщину «Дон Жуаном» («Жуан» по-казахски толстяк, но Олжас мог вкладывать в это прозвище и иной смысл). Целясь указательным пальцем в секретаря ЦК КПК, Бауке произнес казахскую поговорку: «Бұзылған бұқа бұзаумен ойнайды». Секретарь ЦК подобострастно и обреченно втянул голову в толстые плечи, растянул губы в деланной улыбке, зажмурил маленькие глазки на необъятном лице. Зал радостно всколыхнулся: о блудливых быках власти тогда редко кто осмеливался сказать нечто нехвалебное.

Закончив речь, Бауке спустился с трибуны и медленно пошел через весь длинный зал Верховного Совета к выходу. Писатели стоя сопровождали его овацией. Нехотя поднялся и президиум. Дойдя до импозантной выходной резной двери, Бауке что-то вспомнив, круто повернулся и той же медленной, но твердой, уверенной поступью вновь направился к трибуне. Делегаты съезда, продолжая аплодировать, ждали продолжения демарша опального гвардии полковника. Он дошел до трибуны, взял забытые очки и снова проделал по залу длинный путь триумфатора. Это было, пожалуй, самым ярким впечатлением того писательского съезда.

И позже, до самой его кончины, видел я славного Баурджана Момышулы в разных ситуациях, и всегда испытывал восхищение им: он был не как все, очень своеобразен, нестандартен в том тесном унифицированном мире, неожидан, оригинален во всем, мудр и противоречив, щедр и неуживчив, честен и резок, суров и нежен. В нем причудливо сплелось многое из того, что составляет истинную казахскую ментальность.

«Парасат»,
№ 12/2000 г.

О МАЛИКЕ ГАБДУЛЛИНЕ
МОЙ БЛАГОДАРНЫЙ СКАЗ

... Сентябрь 1954 года.

Батыр Малик появился в обшарпанной, пустой и убогой комнате общежития КазПИ по ул. Советской, 32 неожиданно и, заметив меня за разбором шахматной партии из старого учебника Э. Ласкера, сходу заявил:

— Ал, қане, Керей, бір ойнап жіберейік.

Я обомлел.

О нем я много читал еще в школе: в пухлом сборнике о казахстанцах — Героях Советского Союза, в поэме «Батыр Малик», в каких-то статьях, описывавших его ратный подвиг на минувшей войне.

В понимании аульных парней он был легендарной личностью, почти мифическим героем. К тому же ученый-фольклорист, кандидат филологических наук, доцент, директор института. Льстило и то, что он родом из Кокшетау, почти земляк.

И вдруг Малик Габдуллин — приятный, осанистый мужчина, в жгуче-черных, назад зачесанных, чуть волнистых волосах, в ладном костюме, при галстуке, в шляпе, в больших роговых очках, гладко выбритый — запросто ворвался в опустевшее общежитие и заговорил со мной, будто с давним знакомым. А видел он меня до этого только раз, во время заседания приемной комиссии, когда мне, беспаспорточному спецпереселенцу, отказали в приеме, и Малик Габдуллин, бессильный мне чем-либо помочь, только и посоветовал искать мне справедливость в Министерстве образования. Я тогда крепко на него, Героя, обиделся, подумав: тоже мне Батыр Советского Союза, не смог отстоять своего абитуриента, набравшего 24 балла из 25-ти возможных. Видно, он был храбр там, на поле брани, а в мирной жизни такой же, как все.

— Ал, Керей, жүр! Бас, бас!

Мы быстро расставили фигуры, я почтительно уступил

ему белые, лихорадочно размышляя: как же мне играть — в полную силу, всерьез, или «понарошку», в поддавки? Темп он взял стремительный, молниеносный, наступательный. Играл явно не по теории, а по наитию, атакуя фланговыми пешками. Однако с выдумкой, расставляя привычные, немудренные ловушки.

— Давай, Керей, смелее! Жур, жур! Әзер болса қасқа сиыр кетер!

Последняя фраза — «в худшем случае, лишишься коровенки с белой отметиной во лбу» — было его любимым присловьем, в чем я убедился впоследствии.

«Кереем» он меня звал, видно, по созвучию с моим именем — Гера. Звучало вполне по-казахски. А в Северном Казахстане, откуда я прибыл, есть такой род — керей.

Мгновенно добрались до миттельшпиля.

— Материться по-казахски умеешь?

Ничего себе вопросик. И это спрашивает батыр, ученый, педагог-наставник?!

— Ой, агай... — смутился я. — Немного умею.

— А как матерятся в твоем ауле? По отцу, по матери, по дочери? Ты играй, играй! Чего задумался, будто корову проигрываешь!

— Не могу, агай.

— Чего не можешь?

— Вслух сквернословить при Вас.

— Ой, ынжык! Трус! Слабак! Какой же ты, Керей, казах?!

— При вас не смогу, агай... Стыдно, неудобно.

— Ту-у... это сказывается твоя немецкая натура. Отец у тебя есть?

— Есть.

— Кто?

— Фельдшер. Завмедпунктом. Акушер.

— О, насмотрелся, значит, голых казашек. Выходит, ты не Бельгер, а Балгер. Керей Балгер.

Я возражать не стал. Балгер — по-казахски лекарь. Соответствует профессии моего отца, а для меня ничего оскорбительного.

— Ну, ходи же! Твой король уже приближается к аулу мата. Замордую его шахами... Шах! Еще шах! Двойной шах! Давай, давай!

Играл он напористо, лихо, азартно. За какой-нибудь час

сгоняли пять-шесть партий. Я осмелел и выиграл на партию-другую больше. Ничьих Маке не признавал.

Поблагодарив и похлопав меня по плечу, он удалился так же неожиданно, как и появился. Видный, опрятный, элегантный, бодрый.

Меня же не покидала тревога. В институт я был принят после больших мытарств: немцев в те годы старались в вуз не пущать. Строго было по этой части. Правило это распространялось не только на отечественных немцев -на чеченцев, ингушей, греков, поляков и прочий репрессированный, «неблагонадежный» люд. У меня же не было ни паспорта, ни разрешения спецкомендатуры, а прибыв в Алма-Ату, я по строптивости даже не встал на учет. А по Указу 1948 года такое своеволие каралось строго: до двадцати лет каторги.

В институт меня зачислили по ходатайству Центрального Комитета комсомола Казахстана (лично его второго секретаря Анатолия Федоровича Шалова — нашего земляка). Однако без права проживания в общежитии. Но тут как раз началась «хлопковая страда», студентов отправили в Пахта-Арал, а я втихомолку перебрался в общежитие охранять жалкий скарб и казенную постель моих однокашников. И тут меня «застукал» сам директор института. И я подумал: теперь-то меня наверняка вытурят из общежитского рая с треском.

Вышло все наоборот.

Через две недели после визита директора института меня вызвали в деканат и сообщили, что мне представлено место в общежитии на законных основаниях. И я догадался: не обошлось наверняка без активного вмешательства моего высокопоставленного напарника по шахматам.

С того дня Маке зачастил ко мне. В свободное время он заходил в общежитие (благо оно находилось в трех шагах от главного учебного корпуса), чтобы сыграть пару-другую блиц-партий.

И я постепенно привык к его манерам, соленым шуткам, рискованным и раскованным фразам, остротам, балагурству. Имел он манеру цитировать во время игры фольклорные строчки, при этом переиначивая их. Он говорил: «Қу тақтай екі шекті әкел бері, и «қу тақтай» звучало в его устах совсем уж фривольно. Иногда он брал

меня на короткие прогулки поблизости, заходил со мной в магазинчики, двусмысленными вопросами смущая молоденьких продавщиц («қарағым қарындасым, галошыңыз нешінші размер» и при этом заговорщически подмигивал мне. «Жетінші» — простодушно отвечала хорошенькая қарындас. Маке делал озабоченное лицо: «Ойбой, тым үлкен екен ғой!»), вел себя поразительно просто, естественно, будто старший брат, интересовался здоровьем, вызнавал, с какими девицами я дружу. «Екі кеңірдегіңе сақ бол, Балгер», — предостерегал он меня, и я понимал его намеки: «Будь осторожен по части двух горловин». Но я был робкий аульный парень, опасность по этой части мне не угрожала: для одного «кеңірдека» не было денег, для другого — опыта и сил.

Много шуток и разных крутых словечек, его фраз того периода я запомнил. И в шахматы мы регулярно «резались» все четыре года моей учебы в институте, а потом, значительно реже, когда я пришел в аспирантуру. Он неизменно называл меня Кереем и Балгером, вел себя как с юным другом, но я никогда не пользовался его расположением ко мне, держался учтиво, никогда ни о чем не просил, ни на что не жаловался, и он, кажется, это ценил.

Впрочем одна просьба все-таки была.

На первом курсе мы, четырнадцать парней из двух отделений литфака, ютились в одной неотапливаемой, промозглой, затхлой комнате, спали на двухъярусных койках, испытывая жуткие неудобства. И вот однажды мы решили пожаловаться самому директору института. Написали пространную петицию, пошли всей гурьбой, решительно ввалились в кабинет Маке. У него сидели вездесущий замдиректора по научной части Ц. Л. Фридман, замдиректора по хозяйственной части и партсекретарь. При них мы и зачитали свою слезницу. Фридман потупился, почесывая свою левую щеку, остальные уставились в окна. Было ясно, что помочь нам нечем.

Маке заговорил по-казахски, чтобы его остальным коллегам было непонятно.

— Эй, джигиты, — сказал он. — Посмотрите на себя. Да вы одним ударом можете атана (одногорбого верблюда) свалить. Одним пинком железный кол переломить. И у

каждого из вас пониже пупка болтается внушительная колотушка. А одиноких баб в Алма-Ате — пруд пруди. Имея богом данную колотушку, не стыдно вам обращаться ко мне по такому пустяшному делу?! Да присоседились бы на время к одиноким бабам. Они бы вас еще как обогрели. Да и накормили бы впридачу. Какой еще может быть выход для жигита?! Ай, позор! Ай, стыд! Идите! Не срамите меня!

Мы, четырнадцать обладателей «колотушек», смущенно переглянулись и, не проронив ни слова, побрели восвояси. «И пошли они солнцем палимы», — мрачно пошутил уже за дверью наш сконфуженный староста, главный инициатор нашего похода. А я добавил: «Кажется, трудно отрадней картину нарисовать, генерал?» Мы только и могли, что цитировать классиков.

... А вот еще запомнившийся случай.

Приемные экзамены в аспирантуру складывались для меня неудачно. Выяснилось, что в том году (1960-й) по тюркологии не было набора ни в КазПИ, ни в КазГУ, ни в Академии наук. А я едва ли не с первого курса грезил именно тюркологией. Радетели из родного института посоветовали мне подавать документы на кафедру методики преподавания, которой именно с этого года заведовал профессор Евгений Исаакович Ривлин, незадолго до этого реабилитированный и вернувшийся из ссылки как раз в той области, где учительствовал я. «Но методика ведь не наука», — упорствовал я. Но все же согласился и подал документы на конкурс: мне надо было любой ценой вырваться из глухомани Байкадама, где жить молодой семье становилось невыносимо.

Шансы на поступление были, однако, невелики. За два года преподавания в дневной и вечерней школах Байкадама мои знания заметно поблекли, улетучились. От жизни вроде как отстал. Правда, у меня был козырь: две печатные работы по сопоставительной грамматике. И еще: ко мне по старой памяти благоволили институтские педагоги. Но...

Первый же экзамен — теоретический курс русской грамматики — принес мне разочарование. А на одно место в аспирантуру претендовали четверо. По марксизму-ленинизму я чуть поправил свои баллы. И все должен был решить экзамен по иностранному языку.

Пишу об этом подробно, чтобы дать представление о

ситуации, в которой Малик Габдуллин сыграл решающую роль.

По немецкому на «пятерку» я не рассчитывал, ибо безнадежно плавал в грамматике. «Четверка» же нужна была позарез. Утешал себя тем, что по-немецкому «шпрехаю» во всяком случае лучше остальных моих конкурентов -русской, казашки и еврейки.

Принимали трое: Цезарь Львович Фридман, доцент Ефраим Мессерле и доцент, чья фамилия кончалась на «ская». Я прочел заданный мне текст, перевел все на русский, пересказал по-немецки содержание, ответил на разные вопросы при произвольной беседе. И хоть я и сбивался то и дело на волжский (гессенский) диалект, чувствовал, что все идет неплохо. Но тут дотошный Е. Мессерле завел вдруг разговор о сильных, смешанных и претерито-презентных глаголах, о инфинитиве, индикативе презенс, коньюнктиве, императиве, партиципе цвай и прочих премудростях, в которых я ни в зуб ногой. Откуда бы мне все это знать, если я немецкой школы и не нюхал, а депортирован с Волги был еще шестилетним? И чем заметнее я путался в этих глаголах, тем все более выходил из себя доцент Мессерле. Возмущал его, кажется, и мой поволжский выговор. Фридман смотрел в потолок, «... ская» уставилась в пол, а Мессерле все сильнее багровел, пучил глаза, шевелил усами, отдувал пухлые щеки, выколачивал из меня пыль. Я подумал: должно быть, так терзают на том свете грешников.

И тут неожиданно резко распахнулась дверь, и в аудиторию вошел директор института (в то время говорили директор, а не ректор) Малик Габдуллин.

Возникла пауза. Экзаменаторы чинно поздоровались с директором за руку. Я перевел дыхание. Маке скользнул взглядом из-за очков по мне, видно, догадался о моем состоянии, усмехнулся.

— По какому языку сдает Балгер экзамен?

— По немецкому, — буркнул Фридман.

— И как?

— По грамматике скверно, — мрачно доложил Мессерле. В глазах Маке запрыгали лукавые чертики.

— То есть, он сдает экзамен по иностранному языку?

— Да, — откликнулся Фридман.

— А разве немецкий для Балгера иностранный? — неожиданно спросил директор.

— Как же? Иностранным у нас считается либо немецкий, либо французский, либо английский. Сдавать можно по выбору.

— Верно. Но для Балгера немецкий ведь родной. Значит, он должен сдавать другой язык.

Экзаменаторы, явно озадаченные, переглянулись. Я помертвел. О, Аллах!. . Вдруг заставят меня сдавать английский или французский. По одному я ни бе ни ме, по другому — ни кукареку. Я с отчаянием воззрился на Маке. Что вы, мой благодетель, наделали?!

Пауза затягивалась. Никто, кажется, не понимал, куда клонит директор института.

— Для Балгера иностранный язык — казахский! — заявил батыр Малик. — Следовательно, он должен сдавать экзамен по казахскому.

— Но... — Цезарь Львович наморщил свой заметно оголившийся лоб. — В инструкции казахский язык не упоминается в числе иностранных.

— Инструкция все предусмотреть не может, — резонно заметил Маке. — Ситуация нештатная. Балгер должен сдавать в качестве иностранного казахский язык. Ия, солай!

Я встрепенулся. Для меня это было идеальным вариантом. Меня Мессерле душил немецкими глаголами, а я бы его задавил казахскими салалас, сабактас, аралас предложениями и семью падежами в ответ на четыре немецких. Я бы запросто загнал в пот и Мессерле, и Фридмана, и «... скую» заодно.

Пока экзаменаторы недоумевали, как быть, Маке завел со мной пространный разговор на казахском языке: как и где живу, женился ли, каких родов казахи живут в Байкадаме и говорят ли они, как северные казахи или немного по-другому. Все три члена экзаменационной комиссии по-казахски не понимали ни бельмеса и чувствовали себя неуютно.

— Как же быть? — глухо спросил Фридман. И по лбу его прокатились волнистые складки.

— Создать новую комиссию. А этот экзамен аннулировать.

— Отдельную комиссию для Бельгера? — спросил Фридман.

— Но он же уже почти все сдал, — робко подала голос «... ская».

— А грамматику не знает, — упорствовал Мессерле.

— Что ж... — спокойно возразил директор. — Случай особый.

— Может, может... — пролепетала «... ская».

— Что «может»? — выкатил на нее глаза Мессерле.

— Может, выучит грамматику, раз читает, рассказывает, переводит? Грамматика — дело наживное.

— Конечно, — согласился Фридман. — Многие владеют языком, не зная грамматики.

— Не выучит! — отрезал Мессерле. — И знать язык без грамматики невозможно.

— Пусть сдает казахский, — настаивал Маке.

— Товарищ Бельгер, выйдите, пожалуйста, на минутку, — предложил Фридман.

Я послушно вышел в коридор. «Минутка» продлилась добрых полчаса. Наконец меня пригласили в аудиторию. Все сидели разгоряченные, возбужденные. Левая щека Фридмана пошла пятнами. Лицо Мессерле вздулось от натуги. Кустистые брови его дергались. «Ская» смотрела на меня ободряюще. Спокойным казался один Маке.

— Итак, комиссия решила поставить вам по иностранному языку «четыре», — объявил Фридман.

— Спасибо, — промямлил я.

Меня подмывало спросить, по какому иностранному мне поставили «хорошо», но перехватив наигранно строгий взгляд Маке, я решил благоразумно ретироваться восвояси.

Но Мессерле оказался все же прав: немецкую грамматику я так и не одолел. Думаю, займусь теперь уж ею на том свете... . Еще один эпизод, связанный с незабвенным Маке.

На четвертом курсе, накануне госэкзаменов, у меня нежданно-негаданно возникли недоразумения с одной печально известной организацией из трех букв — Комитет Глубокого Бурения. Повод выведенного яйца не стоил, но... меня начали дергать. И я тотчас заметил холодок и отчужденность со стороны своих педагогов. Ощущение было гадкое. Умный следователь по-доброму посоветовал мне года на два-три удалиться подальше. И я очутился

в Байкадаме Джамбулской области. Жил в заботах и суматохе, терпя бытовые неурядицы. Там же меня приняли кандидатом в члены партии. Едва меня зачислили в аспирантуру, кончился мой кандидатский срок. В партбюро института мне было велено написать заявление и собрать три рекомендации. Я первым делом обратился к доценту Ландау. Он двумя годами раньше руководил моей курсовой работой по литературе, поддерживал меня и вроде как ко мне благоволил. «Извините, — сказал Ефим Иосифович, выслушав мою просьбу. — Вы были блестящим студентом, но последние два года я вас не знаю. Поэтому вынужден отказаться». Его отказ меня озадачил и насторожил. Зная, что отношения Ефима Иосифовича с организацией-страшилкой отнюдь не безоблачные (через несколько лет это послужит причиной его самоубийства), я подумал, что мои былые «грехи», вероятно, там не забыты, и моя попытка вступить в партию КПСС может обернуться очередной пакостью. Я обратился за рекомедацией к М. А. Глазман, декану факультета. Мира Александровна никакого энтузиазма не проявила. «Подумаю. Завтра дам ответ». А на другой день, поджав губы, холодно обронила: «Извините. Не могу».

Я решил: дела мои швах. Разумно, пожалуй, отступить. Не искушать судьбу. И я настрочил заявление в партком: прошу, мол, на шесть месяцев продлить мой испытательный срок. По уставу такое допускалось. Меня даже похвалили: молодец, скромный человек, чувствует свою ответственность.

Оставалось утвердить мое заявление на общем партсобрании.

Членов партии в институте было тогда более двухсот человек. Дошел черед до моего заявления. Секретарь парткома поставил вопрос на голосование. И тут вдруг вскинулся Малик Габдуллин, восседавший, как положено, в президиуме.

— Эй, как это так? — недоуменно спросил он. — Почему нужно продлевать ему испытательный срок?

— Он сам просит об этом, — ответил секретарь.

— Мало ли что... — парировал директор института. -Он же наш бывший студент. Отличник! Все мы его хорошо

знаем. Он, если хотите, наш, казах! Окончил казахскую школу. Активный общественник!

— Это так, — согласился секретарь. — Но его заявление рассмотрено и утверждено на бюро.

— Мало ли что?! — опять воскликнул Маке. Он, надо полагать, ничего не знал о всех подспудных моих мытарствах. Или, наоборот, очень хорошо знал. — Я считаю, он достойный коммунист. К тому же он сын коммуниста. Его надо принять в партию сегодня же! Зачем откладывать? Не надо откладывать! Я лично «за». — И Маке решительно поднял руку. — Ставлю на голосование. Кто «за», поднимите руки.

Кто стал бы возражать директору: самая большая аудитория старого корпуса проголосовала единодушно.

— Но... — растерялся секретарь парткома. — У него нет даже рекомендаций.

— Чепуха! Будут! — заверил Маке. — Керею любой даст рекомендацию. Уверен!

Секретарь пожал плечом и последним, не очень уверенно, поднял руку.

— Е, басе! То-то же! — удовлетворенно произнес Маке. Так я стал членом партии КПСС.

На другой день десяток остепененных педагогов проявили готовность дать мне рекомендации, но тут уже я встал в позу и принял рекомендации от самых незаметных: у заведующего кафедрой спорта, у знакомого аспиранта, у одного студента-партийца.

Вот так еще раз на помощь пришел мне Герой Советского Союза Малик Габдуллин.

... Незадолго до его безвременной кончины я встретился с Маке возле гостиницы «Алма-Ата». Он шел по улице Калинина, погруженный в раздумье, никого вокруг не замечая. Был он чем-то озабочен. И походка была тяжела, и весь он как-то погрузнел. Я шел навстречу, но меня он не замечал. Поровнявшись, я громко поздоровался. Он рассеянно, автоматически произнес: «Сәлеметсіз бе?», продолжая свой путь. Я не решился отвлекать его. Но пройдя шагов пять-шесть, он остановился, круто обернулся, будто вспомнив что-то.

— Эй, Керей! Ты, что ли? Қалайсың? Қайдасың? Слушая

меня, он покосился куда-то вбок, и глаза его за толстыми стеклами очков озорно блеснули.

— Вон того чернявого балашку видишь?

И кивнул подбородком в сторону гостиницы. У парадного входа стояла стройная, смазливая молодая блондинка, а рядом с ней застыл, держа ее за руку, тоненький, как стебелек, рослый, губастенький, курчавый негритенок лет десяти.

— Видишь? Ай, тастап кеткен ғой қаскалар! Действительно, мальчик был яркой копией бравого негра. Красивый, гибкий, осанистый. Но от всей его фигурки веяло одиночеством, а в больших, белесых глазах его плескалась грусть, тоска.

— Жақсы, Балгер. Аман бол!

И мы разошлись каждый своей дорогой. А вскоре я узнал из газет, что, не дожив до своего 60-летия, литературовед-фольклорист, доктор филологических наук, профессор, Герой Советского Союза Малик Габдуллин скончался.

В мою судьбу он вошел крупно и благотворно, о чем я всегда помню.

«Таң-Шолпан»,
№ 3/2002 г.

АХА – АХМЕТ, СЫН КУАНА

Время стирает многое из памяти.

Но все свои встречи и беседы с композитором Ахметом Куановичем Жубановым я помню и поныне во всех подробных деталях, хотя с того времени прошло без малого сорок лет. Сохранились и все дневниковые записи той поры. Начинающий переводчик, только что пришедший в литературу, я жил тогда трудно: болел и бедствовал.

Зато был молод, полон надежд и был обласкан выдающимися людьми.

Многие из них уже покинули этот мир, но память о них для меня свята.

Имя его было у всех на слуху, когда я еще учился в аульной школе. А к тому времени, о котором пойдет речь, он был в зените славы.

Крупный ученый. Известный композитор. Один из авторов знаменитой оперы «Абай». Доктор искусствоведения. Профессор. Академик. Народный артист Казахстана. Лауреат многочисленных премий. Автор популярных книг «Кюи Курмангазы», «Кюи Даулеткерея», «Казахские народные композиторы», «Струны столетий», «Соловьи столетий». Руководитель оркестра. Педагог-наставник. Кавалер множества высоких правительственных наград. Признанный лидер могучего и талантливого клана Жубановых. Великолепный рассказчик. Интеллигент. Незаурядная личность.

Таким знал и почитал его народ.

И вот осенью 1965 года мой благодетель и наставник, приведший меня в литературу и уже тогда трогательно заботившийся обо мне Абдижамил Нурпеисов, желая облегчить мои финансовые трудности, сообщил мне, что совсем не за горами шестидесятилетие почтенного Аха и было бы желательно к этой дате успеть перевести на русский язык его последний труд о казахских народных ком-

позиторах-певцах «Соловьи столетий». Книга эта была мне известна. Имел я представление и о народных композиторах Биржан-сале, Ахане-серэ, Мухите, Балуан-Шолаке, Жаяу-Мусе, Мади, Естае и других, знавал большинство их песен еще по аулу, исполнял их некогда в школьной самодеятельности на аккордеоне и мандолине. Но меня не привлекал, во-первых, откровенно очерковый стиль повествования (я был настроен на художественный слог прозы Нурпеисова), а во-вторых, плохо владел музыкальной терминологией и чувствовал, что при переводе будут серьезные трудности в описании мелодической структуры популярных казахских народных песен.

Но Нурпеисов, как всегда, был настойчив, вел, видно, какие-то переговоры, и на исходе ноября 1965 года повел меня в Консерваторию знакомиться и предварительно поговорить с Ахметом Куановичем Жубановым.

В шумной многолюдной аудитории нас встретил среднего роста, коренастый, опрятной наружности, приветливый и обаятельный человек с деликатными, изысканными манерами, с мягким, располагающим к себе голосом. Густая, волнистая копна волос с легкой проседью. Чуть прищуренный левый глаз. Беглая казахская речь с едва заметной насмешливостью. Живой, деловой, энергичный.

Таким он представился с первого же мгновения. Меня он, как и многие старшие друзья-казахи, называл уменьшительным именем «Ге́рой», но говорил на «вы». «Видите ли, — сказал он доверительно-добродушным тоном, — у меня в следующем году, Аллах даст, в некотором роде юбилей, в мае месяце, осталось немного, а хотелось бы к этому времени увидеть свою книгу на русском; вы, говорят, можете это сделать быстро, оперативно, без посредника, и я хотел бы, чтобы вы этим делом занялись неотложно. Книга стоит в перспективном плане издательства, и можно, если вы согласитесь, заключить договор».

Аха́ (так я стал с этого момента называть его на казахский манер) был очень занят, спешил то ли на лекцию, то ли на прослушивание, пригласил меня при первой же возможности к себе домой, чтобы спокойно обговорить все детали предстоящей работы.

Из дневника:

«1 декабря 1965 г.

Был у Жубанова на квартире. Обсуждали предстоящий перевод. Говорим исключительно по-казахски, без вкрапления русских фраз и слов. Все деловито и четко. Мне это по душе. На другой день продолжили переговоры уже в издательстве. Я сразу сказал, что в «Соловьях» много стихов, а стихи переводить я не умею. Жубанов удивился. Как так? Он этого не ожидал. В «Струнах столетий» Кедрина переводила и стихи и прозу. Увы, у меня нет такого дара. Выход нашел заведующий редакцией перевода Нузет Гумеров. Меня от перевода стихов освобождают. Буду переводить только прозаический текст. Он составит примерно 22 печатных листа. До юбилея остается полгода. Нужно спешить. Я тотчас предложил поделить текст между двумя переводчиками. Тогда успеем наверняка. Нузет -«за», Жубанов — «против». Будет, мол, разный стиль. Но, если это для дела необходимо, он может согласиться. Неужели, Гера, вы не одолеете за полгода пятьсот страниц? «Я человек обеспеченный, могу дать взаймы, чтобы вы могли работать не отвлекаясь». А издательство заплатит по 125 рублей за лист. Что ж... в принципе согласен. Дело за договором».

Я увлеченно принялся за работу и уже к концу декабря перевел три очерка из «Соловьев столетий».

С этого момента мы встречались с Аха все чаще. Очерк «Балуан-Шолак» я отвез ему на прочтение. Он через день прочел и сказал, что такой уровень его удовлетворяет и о втором переводчике-обработчике не может быть и речи. Меня это окрылило.

Но, как я и предполагал, трудности подстерегали меня при словесном описании музыкальных произведений. Важно было не грешить музыкальной терминологией, а дать доступное представление о мелодии и манере исполнения певца в более-менее точном словесном изображении. У меня это выходило больно скованно. На помощь пришел Аха, с величайшей осторожностью и явно неохотно передав мне ветхий раритет «1000 песен казахского народа» Александра Затаевича, и я три дня и три ночи изучал этот уникальный сборник, сделав для себя много-

страничные выписки, которыми и пользовался по мере необходимости. Это стало большим подспорьем в моей переводческой работе.

Я перебивался тогда с копейки на копейку и время от времени был вынужден отвлекаться на банальную и постылую поденщину. Зная это, Аха решил мне помочь.

Вот запись из дневника:

«23 января 1966 г.

Аха привез мне деньги (200 рублей). Очень вежливый, чуткий, внимательный человек. Я обещал заехать к нему еще в пятницу, но не смог: гололед, да и нога совсем отказала. И вот через два дня Аха разыскал Нурпеисова, чтобы тот указал дорогу, и специально заехал, чтобы вручить мне эти деньги. Растрогался. Побыли они недолго.

— Мен аударып болған соң оқып шығасыз ғой? — спросил я.

— Окитын шығармын.

— Мен қазақ өлеңдерінің бәрін біле бермеймін. Әннің әуендеу құрылысын сипаттауда өтірік айтып қоюым мүмкін.

— Иә, ол солай, — усмехнулся Аха. — Жазушы адамдардың кей-кейде өтірік қосып жіберуі әбден мүмкін-ақ[1].

Я проводил гостей до лестничной площадки.

— Ал, сау бол. Үйге кір, суық, тиіп қалар[2], — сказал Жубанов.

Я, как мог, поблагодарил.

Выжимаю ежедневно по 6-7 страниц. Иначе могу не уложиться в срок».

Работал одержимо. Весь окунулся в стихию казахского народного песенного творчества, горевал вместе с Биржансалом и Естаем, ликовал вместе с Балуаном-Шолаком и Пешим Мусой, оплакивал трагедию Хусни-Хорлан. И сам исподволь душевно обогащался. И жалел, что подобный редчайший пласт культуры остается недоступным русской

---

[1] Переведу для русского читателя наш разговор: «Когда закончу перевод, прочтете?» — «Наверное». «Мне не все казахские песни знакомы, при описании мелодии могу и наврать». — «Да, это так. У писателей есть такая склонность. Могут и присочинить».

[2] «Ну, будь здоров. Зайди в дом, простудишься».

аудитории. Все более убеждался, что перевод «Соловьев столетий» нужен и актуален.

Я все чаще и чаще наведывался к дорогому Аха. Для меня это было праздником. Он неизменно принимал меня радушно в своем просторном кабинете с фортепиано в левом углу и с книжными, набитыми до отказа, шкафами напротив, у двери. Дивный, душевный старик (а я тогда именно так его воспринимал, ибо он был старше меня в два раза) оживлялся, увлекался и, похихикивая, задумчиво щуря левый глаз, рассказывал мне о разных забавных случаях из своей жизни, о проделках своего друга и коллеги Латифа Хамиди, о некоторых странностях знаменитых людей, порою вспоминал страшные и скорбные 37-38-е годы, своего расстрелянного брата, филолога-тюрколога Кудайбергена Жубанова, то и дело повторяя, как заклинание, фразу: «Қашанға дейін қорқа береміз?! Шындықты айтатын кез келді емес пе?!» (До каких пор мы будем дрожать от страха? Разве не наступила пора говорить, наконец, правду?!), о неизбежных, к сожалению, дрязгах в Академии наук и Союзе композиторов, порою веселил меня смешными байками и анекдотами. Жалею, что не записывал тогда по горячим следам его яркие монологи. Он рылся в бумагах, что-то находил, комментировал, я выписывал из редких источников необходимые цитаты, одновременно он работал с какой-нибудь из своих аспиранток, и вся эта непринужденная обстановка располагала к работе, к общению, к свету и добру.

Из дневника:

«16 марта 1966 г.

Дважды был у Жубанова. В последний раз сидел у него часа четыре. Милый, приятный, общительный старик. Мне было очень светло у него. Он копался в книгах, рукописях, каких-то ветхих фолиантах, газетных вырезках, подыскивал-подбирал нужные для меня материалы, одновременно рассказывал и, увлекшись, прочел две-три странички своего перевода романа А. Виноградова «Осуждение Паганини». Я слушал, переписывал текст источников, поддерживал беседу. В углу его кабинета сидела за фортепиано его ученица, молодая расфуфыренная особа, явно недовольная моим присутствием, и, рассеянно играя,

записывала в нотный лист романс Аха для скрипки (си-минор). Уютно, приятно, хорошо было у него. Современно, прогрессивно мыслящий старик. С юмором. В соседней комнате громко судачили женщины. Лишь через час они, наконец, угомонились. «Слава богу, — усмехнулся Аха. — Выговорились». И рассказал байку. «Казахи говорят, две бабы — базар, три бабы — ярмарка. Знаете, в одной тюрьме, в одной камере три года сидели две бабы. А когда их выпустили, то, выйдя за ворота тюрьмы, они оживленно мели языками еще полтора часа».

И, рассказав это, Аха звонко расхохотался.

Заговорили о Сабите Муканове, о том, что он пожаловался в органы на молодых ребят из «Жас тұлпара», проявил, так сказать, революционно-большевистскую бдительность. «Қайтесің? — грустно заметил Аха. — Алжыған шал. Жетпіске келіп, жиырмадағы баламен ұстасады. НКВД-ға арыз жазыпты. «Жас тұлпар» — саяси теріс үйірме депті. Әуезовтің өзі өлгенмен «Әуезовщина» қалмапты депті арызында. Ол шал талайдың түбіне жетеді әлі»[3].

Много интересного и любопытного поведал мне Аха. Рад, что Газизу, дочь его, накануне избрали членом ЦК».

Должен пояснить один момент из тех лапидарных дневниковых записей. Аха, доверительно сообщая мне о своем переводе на казахский язык романа А. Виноградова о Паганини, пояснил, что сделал он это исключительно в воспитательных целях, главным образом для студентов консерватории и молодых музыкантов. «Наши казахи, — заметил он, — уповают только на природный талант, на божий дар, часто забывая о необходимости повседневного титанического труда. Вот Паганини. Бог дал ему все. Феномен. Уникум. Гений! А играл на скрипке изо дня в день по 12-14 часов всю жизнь. Представляете?! Вот источник его феноменального искусства». Аха показал мне довольно объемистую рукопись в пожелтевшей папке, подосадовав на то, что нет времени закончить перевод, и осталось-то всего страниц 27, ему советуют доверить оставшийся

---

[3] «Что поделаешь? Выжил из ума старик. В семьдесят лет схватился с двадцатилетним молодцом. Пожаловался в НКВД. Написал, что «Жас тулпар» — политический кружок. Этот старик еще многих подобьет».

перевод кому-нибудь другому, но он не соглашается, хочет сам довести все до конца и издать роман. «Двадцать семь страниц? Всего-то! — невольно вырвалось у меня. — Так это ведь всего пять-шесть дней работы». «Солайы солай. Так-то оно так! — согласился, вздохнув, Аха. — Но где я возьму эти пять-шесть дней?».

Судьба этого незаконченного труда осталась мне неизвестной. Несколько лет спустя при мимолетной встрече на каком-то мероприятии я рассказал об этом Газизе Ахметовне Жубановой, и она удивилась, признавшись, что слышит об этом впервые. И я был обескуражен. Неужели рукопись затерялась? Неужели Аха о том никому не говорил? Где она осталась? Мне-то он рукопись показывал, читал из нее отрывок, и оставалось переводить именно двадцать семь страниц.

В апреле 1966 года Аха с радостью сообщил мне, что будут, наконец, печатать оперу «Абай». Не знаю, осуществилось ли это...

Перевод «Соловьев» я успел закончить в срок. И готовую рукопись с одобрения и благословения автора сдал заблаговременно в издательство. И все же книга к 60-летию А. К. Жубанова не вышла. Сначала явно затянули редактор и художник, потом — типография. В марте 1967 года вышел долгожданный «сигнал», а в апреле — сама книга тиражом в 8 тысяч экземпляров, объемом в 25 печатных листов. Встречена книга была тепло и разошлась быстро. Впоследствии я хлопотал было о ее переиздании в связи с новыми юбилейными датами, но — увы! — все тщетно. А жаль... В ней заключены уникальные сведения о песенной культуре казахского народа, обобщен редкий и серьезный научный материал о казахских народных композиторах-певцах, и переиздание этой книги было бы, уверен, весьма целесообразно в наше время, в пору независимости государства, в пору особо пристального внимания к истокам культуры казахов, однако современные рыночные отношения, к сожалению, гасят многие светлые порывы и надежды.

Запомнился мне Пленум Союза писателей Казахстана в апреле 1967 года, посвященный проблемам художественного перевода. В работе Пленума участвовал и Ахмет

Куанович, мило беседовал со мной в перерывах, улыбался, одобрял, благодарил за перевод книги, представил меня своим давним знакомым — Зое Кедриной и Алексею Пантиелеву, подшучивал над своим курдасом-ровесником Сайдилом Талжановым, приглашал меня к себе, предупредив, что в первую половину дня он всегда дома.

Еще одна запись из дневника:

«22 апреля 1967 г.

Был у Жубанова. Он меня увидел еще на улице возле его дома, окликнул, быстро пошел навстречу. Выяснилось, что он заказал такси и ждал на углу. Я вернул ему свой давний долг — 200 рублей, благо, на днях получил гонорар за перевод «Соловьев». Он обрадовался, простодушно заявив, что это весьма кстати, ибо он заказал костюм в ателье и нужно рассчитываться. Потом поинтересовался, сколько я заплатил машинистке и, узнав сумму, нахмурился. «Онда жүз сомын бер де, қалғанын алып қал. Обал ғой. Өзі азғандай гонорар»[4]. «Что вы, Аха! Қарыздың аты қарыз. Екі жүз алдым, екі жүз қайтарамын»[5]. И при этом извинился за задержку. «Ол не дегенің?!» — отмахнулся Аха. Пришло между тем такси, и мы поехали вместе. «Менің «Құрманғазымды» аударып берсең, уақытың болса. Көлемі 13 баспа табақ»[6]. «Жоспарда бар ма еді?». «Жоспарға кіргізем ғой, аудармашы болса». «Онда аударуға болады». «Ендеше 68-ге жоспарға ендірем». «Құп болады!»[7]. У дома Хамзы Есенжанова я вышел. Аха поехал дальше. Еще мы говорили о рассказе Абиша».

Кажется, это была наша последняя встреча. Вскоре я услышал, что Аха болен «жаман ауру». Жил я в то время на отшибе, без телефона, много работал и почти обезножил. Потом на три с половиной месяца слег в больницу. И

---

[4] «Тогда сто рублей верни, а остальные оставь себе. Неловко ведь. И так такой ничтожный гонорар».

[5] «Долг есть долг. Сколько взял, столько и верну».

[6] «Перевел бы моего «Курмангазы». Объем 13 печатных листов».

[7] «В плане издательства стоит?» «Попрошу включить, если найдется переводчик». «Тогда можно перевести». «Значит, попрошу включить в план 68-го года». «Договорились».

в это время — 30 мая 1968 года — после тяжелой болезни Ахмет Куанович скончался. Оплакивал я его кончину на больничной койке, читая некрологи в газетах.

С той поры прошло четыре десятка лет. Судьба была щедра и милостива ко мне. Я имел счастье в пору своего становления общаться с прекрасными казахскими интеллигентами, выдающимися людьми, оставившими яркий след в национальной культуре: с Маликом Габдуллиным, Хамзой Есенжановым, Габиденом Мустафиным, Габитом Мусреповым, Абу Сарсенбаевым, Ахметом Жубановым, и благодарная память о них будет жить во мне до конца моих дней. Думая о них, всегда вспоминаешь бессмертную строку поэта: «Да, были люди в наше время»...

Таң-Шолпан»,
№ 2/2002 г.

ОТ НЕГО ИСХОДИЛ ДОБРЫЙ СВЕТ

В сознании моего поколения прочно отложилась эта литературная обойма — Ауэзов, Муканов, Мусрепов, Мустафин.

Именно в такой последовательности, в таком неизменном порядке. Четыре столпа казахской литературы.

Позже, уже на исходе студенческих лет, расширился наш горизонт: Сейфуллин, Майлин, Джансугуров.

Еще позже дошли до нас: Шакарим, Байтурсунов, Жумабаев, Аймаутов, Дулатов.

Вехи казахской словесности. Этапы казахского национального сознания...

Приятно, что в этой когорте гигантов скромный, благородный Габиден Мустафин достойно сохраняет свое место.

❁ ❁ ❁

Учеником восьмого класса аульной казахской школы я впервые прочитал его роман «Миллионер». Книга эта была в те послевоенные года весьма популярна. Не случайно ее перевели на десятки языков народов СССР и мира. Колхозная жизнь, судьба казахов на переломе времени, социальные и общественные проблемы прозвучали в этом произведении неожиданно, свежо, актуально, романтично приподнято. Меня же, помнится, подкупал язык — народный, сочный, доступный, ритмичный, иногда в рифму («... жортып барады, жортып барады, ... ой өрнегін тоқып барады, тоқып барады», «баяғы таң атады, баяғы күн батады»). Словом, «Миллионером» зачитывался весь аул. Неординарный, увлекающийся наш преподаватель казахской литературы Жылгельды Муканов организовал конференцию по «Миллионеру». Добрый десяток учащихся-старшеклассников делали пространные доклады. В числе докладчиков находился и я.

И с того времени имя писателя прочно запомнилось.

❁ ❁ ❁

В октябре 1963 года я закончил аспирантуру КазПИ им. Абая. Что дальше? По ходатайству Абдижамила Нурпеисова, тогдашнего главного редактора журнала «Жулдыз», меня перевели литсотрудником в его распоряжение.

Все было мне внове. И редакция, и журналистская работа, и писательская атмосфера. Я чувствовал себя неуверенно, не в своей тарелке. Абе (Нурпеисов) подбадривал меня, утешал. Но я был растерян.

❁ ❁ ❁

Запись из дневника.

15 января 1964 г.

Разыскал меня Абе. «Тебя просит Мустафин». Ну, я и пошел. Было волнительно, вспомнил, как в восьмом классе я делал пространный доклад о романе «Миллионер». Разве думал я тогда, что живой классик казахской литературы пригласит когда-нибудь меня на беседу?!

Разговор один на один. Мягкая, спокойная, старчески-назидательная беседа. Где родился? Где вырос? Жив ли отец? Где работает? Где учился? Сколько тебе лет? Женат ли? Где работает жена? Есть ли дети? И т. д.

А началась беседа с конфуза. На вопрос: «Халың қалай?» («Как дела?») я автоматически — по-аскаровски — ответил: «Э, тірімін ғой» («Э, пока живой»). Старику это не понравилось. '«Тірі екендігің көріп отырмын» («Вижу, что живой»). «Извините, — спохватился я. — Дурацкая манера. Постоянно так отвечаю, вот и вырвалось. Глупость, конечно».

Первый секретарь СПК снисходительно улыбнулся. Поговорили неторопливо о том, о сем. Потом старик сказал: «Хочу тебе на правах старшего дать один совет. Послушай меня». И он обстоятельно поведал мне о жалком положении переводческого дела с казахского на русский. Нет переводчиков. Прямо беда! Вот надо бы настроиться тебе на это. Кто знает, может, из тебя выйдет переводчик. «Ну, сам подумай. Языковедов у нас пруд пруди. Ну, положим, станешь кандидатом наук. Будешь одним из мно-

гих. А станешь переводчиком — саган конкурент жок. Ты единственный! Понимаешь? И всем будешь нужен!» Старик одобрительно, довольно рассмеялся. И от смеха стал еще более рыжим. Весь засветился. «И тебе хорошо, и нам хорошо». По молодости человек чем только не увлекается? И того хочется, и этого. Ты все это брось. Займись переводом. Бей в одну точку. Лучше и дороже профессии у тебя не будет. Пойми! Подстрочники разных встречных-поперечных вконец унизили нашу литературу. Сделали нашу литературу посмешищем. Так ведь нельзя. Нам нужно подготовить своих переводчиков с языка на язык. И я думаю, что у тебя получится. Только не разбрасывайся».

В этом духе старик говорил еще минут пять и заключил разговор: «Вот это я посчитал нужным тебе сказать. К тебе я с некоторых пор приглядываюсь. И Абдижамил постоянно о тебе говорит. Знаю, что он тебя на работу взял. Давно намеревался с тобой поговорить. Да все как-то не получалось. И вот сегодня, наконец, поговорили. Жақсы, сау бол, қарағым...»

Беседа как беседа. Я поблагодарил, вышел. И мне было приятно.

Разговор тот шел всецело на казахском языке. Я и записал его по-казахски. Кстати, Сабит Муканов при разговоре со мной все время переходил на русский язык. Видно, мое обличье и казахский язык в его представлении плохо сочетались. Габит Мусрепов по обыкновению говорил со мной то по-русски, то по-казахски. Габиден Мустафин же всегда общался со мной исключительно по-казахски.

Спокойный, добродушный, доброжелательный, открытый светлолицый старик (тогда я его именно так воспринимал) мне понравился. Он напомнил мне аульных стариков, которыми я был обласкан с детства. От него исходил добрый свет. По душе пришлись и его искренние наставления. Он как бы благословил меня. Точно определил мой путь: как переводчик казахской литературы я могу быть полезен.

Меня это окрылило. Вселило надежду.

Я и поныне испытываю к его памяти благодарное чувство.

❁ ❁ ❁

1 декабря 1965 г.

... И отправились мы с Абе к Габидену Мустафину. Он открыл нам дверь, провел через огромный коридор в кабинет. В углу на журнальном столике горела лампа. Уселись в кресла. Хозяин был в черных бархатных штанах, в огромном стеганом халате. Скрестив ноги, внимательно выслушал Абдижамила о поездке в Гурьев на юбилей Абу Сарсенбаева. Был уютный вечер. И мы пробыли часа полтора. Спрашивал Габиден-ага и про мои дела. Посоветовал подать документы в приемную комиссию СП К. «Ты нам очень нужный человек. Мы должны тебя принять». Провожая нас, еще раз сказал: «Қағаздарыңды тапсыр. Сүйреп көрейік» («Подай документы. Постараемся протащить»).

❁ ❁ ❁

По совету Сарышала (так его почтительно называли писатели между собой), я подготовил и сдал документы в Приемную комиссию Союза писателей. Было это в 1966 г. Горячо поддерживали меня Мустафин, Нурпеисов, Ахтанов. Другие, однако, воздержались, решив, что ничем пока я себя в литературе не проявил. Подумаешь, переводчик... переводчик — не творец, к тому же больше промышляет подстрочниками. Пусть подождет...

Приняли меня пять лет спустя. Но заступничеством и верой Габидена Мустафина всегда дорожил и всегда о том помнил.

❁ ❁ ❁

Однажды мы, группа молодых литераторов, отправились к почтенному аксакалу в Каргалинку, где он обосновался после инфаркта. Мы повосхищались местностью, воздухом, панорамой вокруг, уютным домом маститого писателя. Хозяин, только что вернувшийся с пешей прогулки, встретил нас радушно, а за дастарханом обстоятельно и трогательно поведал о скорбной, тяжкой жизни

своего отца-хаджи — сколько он претерпел от советской власти, как безотказно работал на шахте и на железной дороге, как стойко перенес все мытарства и лишения, несправедливости и унижения, и рассказывал Габиден-ага так проникновенно, с такой любовью и печалью, что мы все поневоле расчувствовались и прослезились.

Я тогда и подумал: какой благородный, милый, славный человек, сколько накопилось в его душе, что — в тех условиях — и на бумагу не перенесешь, и встречному-поперечному не расскажешь...

С таким человеком хочется быть чистым и откровенным. Он излучает такой добрый свет, что рядом с ним и тебе хочется быть лучше, чище.

❁ ❁ ❁

В Союз писателей он наведывался все реже. На пленумах, ответственных собраниях спокойно и просто восседал в президиуме, в темных очках, рыжеватый, строгий, порою хмурый, рядом со своим ровесником Мусреповым, говорил редко и коротко, но значительно, весомо, ратовал за национальную литературу, за родной язык, выражался энергично, четко, мудро, убежденно, и слово его доходило до ума, до сердец слушателей.

Давно замечено: непростое это искусство — стареть. Габиден-ага старился достойно, солидно, благородно, верный однажды и на всю жизнь избранной стезе.

Таким он мне запомнился.

Таким я его воспринимаю и поныне.

«Таң-Шолпан»,
№ 6/2002 г.

ЧУТКОЕ СЕРДЦЕ ХУДОЖНИКА

Теперь и его нет среди нас. А кажется, еще вчера он степенно прогуливался возле памятника Чокану — колоритный, белогривый, белобородый, чуть огрузневший после инсультов, но по-прежнему шумный, увлекающийся, неистовый. Его любили и ровесники, и младшие коллеги, и женщины за открытость, искренность, душевную щедрость, широту и размашистость, за бескорыстие, за шумный нрав, за доброту. Он был красив во всем. И в творчестве, и в общении с людьми, и в пирушках. Что-то чистое, рыцарское, порой бесшабашное сквозило во всем его облике. Обаятельная была личность! Я знавал его лет тридцать, много общался с ним. Случалось, писал о нем — и при жизни, и после. Воспроизведу те строки, написанные тогда, к его 60-летию, по-русски, и недавно, навеянные памятью о нем, по-казахски...

Вспоминается: еще совсем недавно я впервые встретил его у Абдижамила Нурпеисова и откровенно любовался им: его импульсивностью, смелыми, подчас резкими и дерзкими суждениями, юношеской увлеченностью и задором, азартностью, кровной заинтересованностью заботами родной литературы. Располагали к себе и его раскованные манеры, непосредственность, открытость, поразительная простота, броская внешность: большеголовый, с богатой, вьющейся шевелюрой, крутогрудый, шумный, весь какой-то крепкий, прочно сбитый. «Джигит!» — невольно думалось при взгляде на него.

То было в 1963 году.

Но сорокалетний тогда Тахави Ахтанов имел уже немалый житейский опыт за плечами, прошел войну, в которую вступил добровольцем со второго курса педагогического института, успел после демобилизации несколько лет побывать на руководящих должностях в редакциях республиканских издательств и журналов, а — главное — уже зани-

мал прочное, видное место в казахской литературе, проявив многогранность своего таланта как прозаик, критик, драматург и переводчик.

Еще до личного знакомства с писателем Тахави Ахтановым я имел о нем вполне определенное представление, а за последовавшие два десятилетия прочитал все, что выходило из-под его пера, отнюдь не бойкого. Более того, подстрочные переводы двух его драм, «Индийских тетрадей» и нескольких глав романа «Буран» были в свое время выполнены мной.

В тот далекий, но памятный день первой встречи, слушая по обыкновению горячо и увлеченно рассказывавшего о своих последних поездках Ахтанова, я невольно вспоминал слова из письма великого Мухтара Ауэзова, написанного за шесть дней до его роковой операции. Письмо это как завещание. И отнюдь не случайно было оно адресовано Тахави Ахтанову. 21 июня 1961 года, находясь в Москве на больничной койке в ожидании операции, Мухтар Ауэзов счел нужным поделиться с молодым коллегой своими думами о будущем родной литературы, о своих надеждах, о непомерной ответственности, которая ложится на молодых литераторов. Много теплых, проникновенных слов сказано в том письме и о самом Ахтанове. Мухтар Омарханович отметил многогранность, масштабность его творчества, лиричность, искренность, исповедальность, честность его художнической натуры, его умение писать без фальши, без пышнословия и нивелировки. И еще М. Ауэзов доверительно сообщил в том письме, что с радостью увидел и услышал в творчестве Ахтанова созвучные себе ноты — созвучие в мышлении, во взглядах, в творческих поисках и манерах. «Но твой огонь жарче моего, тебя — хочется мне верить — осенила ранняя мудрость», — заметил М. Ауэзов.

В письме другому литератору (Зеину Шашкину), написанному за день до смерти, М. Ауэзов, перечисляя нескольких писателей, которых считал надеждой казахской литературы, снова упоминает Тахави Ахтанова. Щедрая, ко многому обязывающая оценка! Ауэзов точно и прозорливо уловил в Ахтанове его художническую чуткость, гражданскую смелость и высокую духовность. И Ахтанов всей своей жизнью, всем своим дальнейшим творчеством стре-

мился оправдать это высокое доверие, эту искреннюю надежду своего маститого Учителя.

В небольшой — по торжественному случаю — статье нет возможности для обстоятельного анализа творческого пути столь крупного и колоритного писателя, каким является Тахави Ахтанов. Постараюсь отметить лишь некоторые — как я понимаю — наиболее характерные черты этого своеобычного таланта.

Ахтанов — литератор широкого масштаба. Как подавляющее большинство казахских писателей, он начал со стихов, однако известный поэт Касым Аманжолов предрек ему стезю критика и прозаика, что впоследствии полностью подтвердилось. Активной, действенной критике Ахтанов уделил немало сил и времени, результатом чего явились его монография «Габит Мусрепов» и два сборника критических статей: «Караван» и «Мысли вслух». Критические выступления Ахтанова всегда отличались актуальностью, нелицеприятностью, глубоким знанием материала, боевитостью и эмоциональностью. Он всегда темпераментно, даже яростно выступает против всесокрушающего потока «серой беллетристики» и всеразмывающего водопада мутного рифмоплетства. Он требователен и к себе, и к другим, и нерадивость, конъюнктурность, гладкопись и халтуру неизменно называет своими именами.

Перейдя к художественной прозе, он серьезно учился у русских классиков. С этой целью перевел на казахский язык трилогию А. Толстого «Хождение по мукам» и рассказы М. Горького.

Снискал Ахтанов себе имя и как серьезный драматург, написав такие широко известные пьесы — от трагедий до комедий — как «Голос матери», «Клятва», «Сауле», «Печаль любви», «Неожиданная встреча», «Буран», «Отец и сын», «Покорный зятек». Для драматурга Ахтанова характерны злободневность, проблемность, динамизм человеческих судеб и характеров.

Эти же качества свойственны и его прозе — романам «Грозные дни» /в ГДР этот роман был издан в 1960 году под названием «Ибо за нами Москва»/, «Буран» /в ГДР увидел свет в 1968 г. под названием «Исповедь степи»/, «Да не угаснет твоя свеча», повестям и рассказам из сборников

«Печаль любви» и «Исповедь степи», а также книге очерков «Индийские тетради».

Чем привлекателен Ахтанов-прозаик? На мой взгляд, он чутко улавливает процессы, происходящие в общественном сознании, тонко чувствует дыхание Времени, его глубокие подспудные явления, кардинальные нравственные проблемы современности и, живо откликаясь на них, с подлинно гражданской смелостью выражает их через свое художническое видение. В этом смысле я бы назвал Ахтанова разведчиком в литературе. Ведь не случайно его честный и правдивый роман о войне был написан в то время, когда широкому читателю еще не были известны ныне популярные произведения К. Симонова, Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Быкова, И. Стаднюка и других. Ведь не случайно именно Ахтанов одним из первых в литературе обратил внимание на интеграцию национальностей, на новь, происходящие на осваиваемой целине — вспомним рассказ «Серый аист». Ведь не случайно в начале 60-х годов, когда в нашей литературе все отчетливей зазвучала тема ответственности каждого простого человека, который еще недавно считался всего-навсего безымянным «винтиком» общества, за чистоту и принципиальность человеческих отношений, тема необходимости нравственного выпрямления и духовного возрождения гражданина, Ахтанов пишет свой полный драматизма и высокого идейно-художественного накала роман «Буран», за который он был удостоен республиканской премии имени Абая. Ведь не случайно еще до появления романов А. Кекилбаева, М. Магауина, И. Есенберлина, А. Сергеева и ряда других произведений, посвященных знаменательному событию — 250-летию присоединения Казахстана к России, Ахтанов создал свою драматическую поэму «Клятва», в которой четко обозначены основные перипетии того крутого, переломного момента в истории казахов и раскрыты характеры и мотивы поступков главных действующих лиц того исторического акта. Ведь не случайно, когда появилась потребность говорить о прошлой войне как бы «изнутри», более психологически углубленно, через восприятия души не под грохотом канонад, а через личностную судьбу «тихого», «незаметного» человека, Ахтанов

создает роман «Да не угаснет твоя свеча», в котором через видение простой аульной казашки Назиры, юной жены советского командира, с потрясающей правдивостью и убедительностью раскрывает всю антигуманную суть войны.

Это можно сказать о каждом произведении Т. Ахтанова. В его груди действительно бьется чуткое сердце художника. И в творчестве своем он неизменно исповедует духовный максимализм.

Пишет Ахтанов круто, мускулисто. Он убежденный противник пышного славословия, крикливой аляповатости, унылой описательности, нудного нанизывания бесконечных деталей, не работающих на суть произведения. Это свойство его писательства выгодно выделяет его на фоне многоверстовых пухлых романов, которыми в последнее время явно грешат казахские прозаики. Это о них как-то в шутку заметил драматург Калтай Мухамеджанов: «Сейчас у нас немало романов, где из каждого можно выжать по два ведра воды». В многословии не обвинишь Ахтанова: для этого он обладает слишком строгим и требовательным талантом.

Отметил бы я еще простоту и доступность прозы Ахтанова. Это не та простота, которая является преодоленной сложностью. Она признак зрелости и мудрости, когда словесные побрякушки уже не прельщают.

Пятитомное собрание сочинений Тахави Ахтанова тому убедительное свидетельство.

1993 г.

АЗАМАТ-АМАНАТ

Теперь уже и не упомню, когда и как мы познакомились. В памяти зафиксировался один случай, когда на давнем-давнем писательском съезде счетная комиссия объявила результат голосования то ли в члены Правления СП Казахстана, то ли в ревизионную комиссию, и я из длинного списка оказался единственным, за кого было отдано триста с чем-то голосов делегатов и ни одного «против». Невысокого роста, смуглый, очень подвижный, с внимательным, цепким взглядом человек, важная персона из партийного органа (я тогда в чинах и должностях плохо разбирался), весь из себя аккуратный, собранный и отутюженный, в перерыве в кругу знакомых литераторов, добродушно рассмеявшись, хлопнув меня по плечу, сказал скороговоркой: «Апырай, у Геры ни одного голоса «против». Значит, еще не обзавелся недругами. Редкий случай!»

Слова запомнились. И то, что в писательской среде вдруг все проголосовали «за», свидетельствовало, скорее, о равнодушии к незаметной личности молодого литератора, который находился вне каких-либо группировок или родовых пристрастий.

Вокруг посмеивались надо мной, безобидно — на казахский манер зубоскалили, а живоглазого смуглого крепыша, всего лишь на пяток лет старше меня, все почтительно называли почему-то Михаилом Ивановичем.

С малых лет вращаюсь в казахской среде, но казаха с таким именем встречать не приходилось.

Потом в течение двадцати-двадцати пяти лет было много встреч и бесед: в ЦК, в Союзе писателей, на улицах, на собраниях-заседаниях, в Министерстве иностранных дел, за дастарханом, в кругу моих старших товарищей, и во мне незаметно, исподволь сложилось прочное ощущение, что этот смуглый крепыш создает вокруг себя ауру радостного

общения, доброжелательности, духовности, искренности и открытости, какого-то особого магнетизма — качество людей недюжинных, талантливых и порядочных.

Это ощущение о личности Михаила Ивановича Исиналиева живет во мне и поныне.

Мы находились на разных общественных ступенях, что не особенно располагало к большим, тесным и постоянным контактам. Но Михаилом Ивановичем я втайне восторгался всегда: он заметно выделялся из заскорузлого, заштампованного партийного чиновничества. В нем всегда трепетал живой огонек, притягивавший к себе людей. Он умел овладевать вниманием разношерстной аудитории, умел зажигать даже скептиков и циников из более самовольной, раскованной писательской (или, точнее, художественной) среды своей напористой скороговоркой, логикой, аргументами, смелыми суждениями. Я тому свидетель: слушал речи на Пленумах ЦК КПК по самым острым, ключевым вопросам, когда его выступления обретали такой гражданственный накал, такую высокую страсть, что становилось страшно за оратора. Я не знаю партийцев того времени, которые отваживались бы на такое. Понятно, что такие публичные, программные выступления давались ему нелегко, и уже тогда думалось мне: этого неистового глашатая истины когда-нибудь хватит удар прямо на трибуне. Он не таился, не прятался, не отсиживался в сторонке, не выжидал, как многие его напарники по службе, а бросался в опасный бой с открытым забралом, убежденно отстаивая свою выношенную правду, очень часто не вписывавшуюся в конъюнктуру времени.

Он никогда не был и не мог быть перевертышем, каковых среди нашей так называемой интеллигенции пруд пруди.

Он никогда не был тихим и робким приспособленцем. Даже находясь на высоких комсомольских и партийных постах, он мужественно и яростно взламывал несокрушимые, казалось бы, каноны, замешанные на лжи и фальши. Знаю: многие тогда думали примерно, как он, разделяли вполне его суждения, но не обладали его дерзновенностью и мужеством, а потому предпочитали не высовываться, не

нарушать заведенного порядка и тихо дудеть в общую дуду. Так искони было удобней и по-подлому благоразумней.

Один из нравственных постулатов Канта гласит: «Жить согласно со своей совестью». Это было так характерно и для Михаила Ивановича! Он жил, работал, горел согласно со своей совестью. По крайней мере не лгал перед собой. И люди — в том числе и недруги — уважали его за это.

Он руководствовался высокой честью и достоинством, что особенно почитается казахами («кан», «тек») и всеми народами.

Украшением жизни и двигателем прогресса являются все-таки деятельные, активные натуры, а не премудрые пескари и раки-отшельники. Михаил Иванович был рыцарем первой когорты. И это было его органической сущностью.

В той среде, в которой долгие годы вращался Михаил Иванович, — хорошо знаю — водились в немалом количестве весьма посредственные, самодовольные, невзрачные серые людишки, мастера низменных интриг и кратковременных хитросплетений, что по-казахски называется ілікшілік, уфит-суфит, ахалай-махалай. Именно из этой категории юркачей возникали серые кардиналы — уродливое порождение больного общества. Роль их мнимая. И кончают они, как правило, поражением. Ибо не может быть крепким и здоровым то, что замешано на «сасық қулық» — на подлости и пакости. Так вот, у Михаила Ивановича хватило таланта и культуры не замарать себя этой плесенью и гнилью и сохранить, сберечь живую душу Человека и Гражданина. И в этом я вижу один из главных его уроков, его заветов живущим.

Сблизились мы более тесно в последние десять-двенадцать лет. В обществе назревали новые веяния, крутые повороты, явная либерализация затянувшегося застоя волновала душу, кружила голову. Свежие идеи витали в духовных сферах. Все чаще произносились вожделенные слова: «Свобода», «Независимость», «Демократия». Михаил Иванович, будучи министром иностранных дел республики, часто выезжал за рубеж, налаживал контакты, строил светлые проекты, выступал с высоких международных трибун.

Очень хотелось ему и меня вовлечь в международные журналистские круги. Приведу две записи из дневника.

30.06. 87. Позвонил министр иностранных дел Исиналиев: ты должен лететь завтра в Москву на встречу с западногерманскими журналистами. Час от часу не легче. И так и сяк отнекивался, но министр непреклонен: надо, надо, надо. Всюду уже обговорено, в программе стоит. Завтра утром 9. 30 поговорим в Министерстве.

01. 07. 87. Вдрызг больной, измученный высоким артериальным давлением, дотащился-таки до Министерства иностранных дел, объяснил свое состояние М. И. и решительно отказался лететь. Ужасно досадно, что своим отказом я его расстроил. Но поговорили хорошо. Удивительно тактичный, доброжелательный, внимательный человек. Полон обаяния.

Мы встречались все чаще и чаще. На митингах, на разных учредительных собраниях, общественных движениях, у знакомых, на прогулках, возле газетных киосков, обменивались последними новостями и публикациями, делились творческими планами, жаловались на общие недуги. Он настаивал, чтобы я издал свои публицистические статьи отдельной книжкой и при возможности на казахском языке. По тихой улочке Красина (ныне Ш. Уалиханова) в сторону Академии наук он нередко прогуливался с ухоженной, симпатичной остромордой собакой неизвестной мне породы на коротком поводке и с увесистой дубинкой в руке. Потом собака исчезла. И дубинка запропастилась. У него была красивая походка: туловище оставалось неподвижным, а шагал широко, пружинисто, упруго. От всей его небольшой, но плотной, крепко сбитой фигуры веяло уверенностью и затаенной энергией. Чуть тронутые сединой усы украшали его смуглое, гладкое азиатское лицо. Молодые раскосые глаза смотрели открыто, приветливо вокруг и зорко все подмечали издалека.

В шутку я его называл дважды земляком: мы оба уроженцы Саратовской области и оба казахстанцы. Он называл меня «Ге́рой», как Нурпеисов, Ахтанов и другие старшие мои товарищи. Когда он называл меня «Герольдом», я чувствовал, что что-то в очередной моей статье ему не

совсем пришлось по душе. Но был он неизменно деликатен и дипломатичен.

Основные темы наших бесед: что происходит в обществе, что творится в верхушке власти, какой стратегии придерживается молодое независимое государство, куда мы идем, что приемлемо, а что настораживает, как вылезать из криминальной ямы, как одолеть коррупцию, как избежать социально опасный предел разрыва между богатством и нищетой, какие формы обретает в нашей стране вожделенная демократия. Мне было приятно, что во многом мы думаем в унисон или очень схоже. К мнению М. И. , как к более опытному, бывалому, искушенному, знающему старшему товарищу, я по-прежнему прислушивался.

В последний раз мы оказались рядом в КИСИ на Международной конференции по линии ООН. На Форуме присутствовали представители Пакистана, Индии, Греции, Франции, Израиля, Палестины, России, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана. Михаил Иванович иронически заметил: «Увидел в программе, что выступаешь ты, вот и пришел послушать». Я ответил тем же: «И я пришел сюда, главным образом, чтобы послушать Вас». Он удивился: «А я разве выступаю?» «Не знаю, но в повестке дня Вы заявлены». И я ткнул в соответствующую строку в программе Форума. Он расхохотался по обыкновению звонко, искренне. Выяснилось, что он и не знал, что выступает. Мне удалось выступить в тот день (27 июля 1999) еще до обеда, вслед за мной выступил хоть и спонтанно, импровизированно, но толково, содержательно и убедительно и Михаил Иванович. Речь его произвела на участников Форума яркое впечатление.

На третий день конференции состоялся банкет в гостинице «Казахстан». Вчетвером мы очутились за одним столиком — Михаил Иванович, ленинградка Татьяна Виноградова, переводчица с английского, алматинка Гульсум Сулейменова и я. Бразды застолья взял в свои руки М. И. Был он весел, галантен, приятно возбужден. Когда Таня Виноградова с юной непосредственностью назвала его «казахстанским Примаковым», М. И. от неожиданности расхохотался: «Ну, Таня! Ну, Таня! Шутница!» М. И.

то и дело наполнял наши бокалы вином, произносил живописные тосты, рассказывал байки, блистал остроумием, украсил наше застолье.

Домой мы пошли вместе. По пути обсуждали его статьи, опубликованные накануне в «XXI веке». Говорили о власть предержащих, слишком увлекшихся накопительством и крохоборством. На углу улиц Уалиханова и Кабанбай-батыра он вдруг остановился и неожиданно сказал: «Слушай, Гера. Сол дүниені жинағаннан не пайда? Жаңағыларың, отыз-елу жылға жинаған байлықтарын не істейді? Кімге ол бақыт әкеледі?!» (По-русски; какой толк от этих накоплений? Что они сделают с богатством, собранным впрок на тридцать-пятьдесят лет? Кому оно принесет счастье?!).

Здесь мы и расстались. Помню, говорили еще о неизданных рукописях, и тут М. И. проронил фразу: «Среди моих друзей нет богатых, а среди спонсоров — нет друзей». Было это 23 июля 1999 г. Конечно, мы не догадывались, что это была наша последняя встреча.

20 августа я прилетел из Ташкента в прединсультном состоянии. Развернул «Казахстанскую правду» и обомлел: днем раньше скончался Михаил Иванович Исиналиев. Тут же, пересиливая себя, отправился с Абдижамилом Нурпеисовым в скорбный дом выразить соболезнование убитой горем Майе Ивановне, верной, обаятельной супруге М. И. и их сыну — Тимуру.

А через два дня после похорон М. И. меня сразил-таки инсульт. Когда навестил меня один из давних друзей М.И. — Гибат Мурзагалиев, я сказал ему, что непременно напишу о покойном нашем товарище и назову свои воспоминания «Азамат-аманат» — в смысле завет, завещание, наказ Гражданина, доблестного Мужа, надежной Опоры, достойного и честного Человека — именно эти понятия входят в звучное казахское слово «АЗАМАТ».

Он горячо ратовал за казахскую культуру, за казахский Дух, за казахское прошлое и будущее, за казахские честь к достоинство. Он БЫЛ, а не КАЗАЛСЯ. А потому был дорог и доступен всем, кто сердцем и душой тяготел к

всечеловеческому. М. И. совестью не торговал. Убеждения не менял. Принципами не поступался. Истину не предавал.

Он был не «крутой», не «новый» казах, не обладал ни волчьими, ни лисьими повадками. Он был подлинный КАЗАХ, представитель славной нации в семье цивилизованного человечества. Он жил высоко и красиво. И из жизни ушел красиво. На волне всенародной любви. Успев написать добротные книги и острые, актуальные, мудрые, честные статьи. Статьи как исповедь. Как завещание.

Таким мы его и запомним.

И когда я мысленно перебираю в памяти достойные имена подлинных казахских интеллигентов, которых мне посчастливилось знать в моей жизни, я с душевной радостью, с трепетом вспоминаю в их рядах незабвенного Михаила Ивановича Исиналиева.

«Eurazia», приложение к «Ана тілі»,
№ 19/2000 г.

ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

«Letum non omnie finit». Так гласит мудрое латинское изречение. И означает оно по-русски «Смерть — еще не конец».

Совсем уж неожиданно ушел Калтай Мухамеджанов, Кал-ага, Калеке, неугомонный весельчак, острослов и балагур, мастер-златоуст казахского разящего слова, мудрец и добрый собеседник, живая душа и украшение вольных сборищ и щедрых застолий.

Калеке — уникальное явление в казахской истории и культуре, «самородок — сары алтын», если воспользоваться выражением Абая.

Добродушный, улыбчивый увалень, с первого взгляда располагавший к себе своей открытостью, радушием, простецкими манерами, неистощимым юмором, метким, неожиданным словцом, он пользовался уважением и любовью большинства казахстанцев. Знали и ценили его и за пределами страны. У него было много верных, искренних друзей как на Востоке, так и на Западе, как в мусульманском, так и христианском мире.

Он был великий книгочий. Книг поглощал бесконечно. «Мое единственное хобби — чтение книг», — говаривал он. Квартира его смахивала больше на гигантское книгохранилище. Понимал толк в древних книгах, рукописях, редких фолиантах, раритетах, успевал читать и современную периодику, держал в голове колоссальные сведения в области истории, философии, литературы, фольклора, культурологии и религии. Редко кто с ним отваживался спорить, его можно было только слушать.

Встряхивая кудлатой, массивной головой, поблескивая живыми глазами, он обрушивал на слушателей поток древних, мудреных, сложных для запоминания имен мудрецов, философов, путешественников и названия книг, о которых большинство и не слыхивало, цитировал по памяти целые

страницы по-русски, по-казахски, по-арабски, делая на ходу поразительные сопоставления и аналогии.

В искусстве философской, полемической беседы с ним мог посоперничать, посостязаться на равных, пожалуй, один Морис Симашко. Они и общались, и дружили по-братски почти полвека, считая себя родственниками по духу и по происхождению. «Единственный мой родственник в Алматы — Морис, сын Давида», — говорил Калеке в шутку, намекая на то, что древние корни иудея и ходжи, потомка пророка Мухаммеда, в глубинах истории сходятся. Они, Калеке и Морис, все выясняли своего единого предка, кажется, в тридцать каком-то колене.

Он успешно работал в труднейшем жанре литературы — драматургии. Он был, пожалуй, главным комедиографом страны. Он умел смешить людей, и этот его редкий дар прозорливо разглядел, провидел и первым публично отметил великий Мухтар Ауэзов.

Его пьесы «Сноха приехала», «Жаркое готово», «На чужбине», «Так мне и надо», «Восхождение на Фудзияму» (в соавторстве с Ч. Айтматовым), «Мы не ангелы» долго не сходили со сцен многих театров страны и мира. Перу Калеке принадлежат и киносценарии «Степная Мадонна» и «Айман-Шолпан». Снискал он доброе имя и как опытный переводчик. В его переводе заговорили по-казахски романы С. Айни и Айбека, пьесы М. Горького, А. Каххара, Ч. Айтматова, а также восемь томов «Тысячи и одной ночи».

Стоит отметить и его острые публицистические статьи, редакторскую работу («я с пятого класса был главным редактором») и нестандартные выступления на разных форумах, конференциях, «круглых столах» — отечественных и международных. Он неизменно и горячо ратовал за духовность, культуру, знание истории, подлинную национальную ментальность, отстаивал единство тюркской культуры, непреходящие ценности. В любом вопросе почитал широту взглядов, обстоятельность, дотошность и не терпел верхоглядства, курьерской скорописи, банального дилетантства.

Будучи сыном репрессированного отца, он с юных лет сполна познал лишения, социальную несправедливость, унижения, но был стоек и целеустремлен, умудрился по-

лучить образование в Ташкенте и Москве и утвердить себя в творчестве.

О том, как социальные ущемления особенно в юношескую пору уродуют чуткую душу художника, как трудно выдавливать из себя духовного раба и конформистские прегрешения, помнится, мы проговорили в вагонном купе всю ночь по пути на Ордабасы. Мне запомнились исповедальные признания Калеке, всю жизнь боровшегося с комплексом страха и сомнения, посеянного в хрупком детском возрасте.

Как мне это было знакомо!

Он не был расхожим шутником и балагуром, которому, в сущности, все на свете «барибир» или «до лампочки», он не был баловнем судьбы, счастливым удачником, преуспевающим ловкачом, как это иным чудится; его смех, его шутки, его колкости, афоризмы, пародии, «шпильки» были озарены умом, мудростью, печалью.

Порой он играл роль шута в философском, драматическом, шекспировском понимании. Это, как я понимаю, самая сложная роль в жизни, и под силу она только мудрецам, ведающим ценой и смыслом человеческого бытия. Ведь он жил и творил в сложное время, когда бывало не до шуток или их очень плохо понимали. Потому-то он так искренне и радостно воспринял нашу независимость, стараясь разглядеть в непростой драме нашей действительности исключительно светлые, благотворные черты.

О Калеке напишут еще многие. Вспомнят его шутки, крылатые выражения, оригинальные выходки. Глубоко проанализируют его творчество. По достоинству определят и оценят его место в истории литературы и культуры. Он был заслуженно народным писателем Казахстана. Он воплощал честь и достоинство тюркской культуры.

Убежденно считал, что тюркский пласт в мировой цивилизации не вскрыт, не поднят, не изучен в достаточной степени. Истоки древней цивилизации неизменно находил в казахском устном народном творчестве. Полушутя, полусерьезно утверждал, что суть трехтомного «Капитала» Маркса-аксакала казахи выразили в трех пословицах еще задолго до появления бородатого радетеля пролетариата. Вообще Калеке обладал парадоксальным мышлением. Презирал пройдох и юркачей, способных,

по его словам,настричь килограмм шерсти с каждого куриного яйца. И постоянно убеждал, что речь хороша короткая, а колбаса -длинная. Высмеивал борзописцев, из романов которых можно выжать по несколько ведер воды. Пародировал авторов благоглупых афоризмов: «Если проголодался, поешь мяса», «Если мучит жажда — пей кумыс», «Мудрость у народа, фосфор — в рыбе».

А еще скажу я, как он бывал чуток и внимателен ко мне. Всегда. Еще в 60-70-х годах я перевел две его пьесы и два киносценария на русский язык. Встречались мы нередко и в Союзе писателей, и в редакциях, и в Министерстве культуры, и в совместных командировках в Москву, Ташкент, Костанай, Чимкент, и во время вечерних прогулок по улице Шокана Уалиханова. Он умел слушать, расспрашивать, разговорить собеседника. Не опускался до досужих слухов и «ветром беременных» сплетен.

Меня он всегда поддерживал, подбадривал, одобрял. Прочитав мои очередные опусы, непременно звонил домой, чтобы поделиться, как он выражался, «пехчатлением» и «емением». Находил в моих писаниях даже то, чего я и не предполагал. Его мнением и суждением я дорожил, вниманию его радовался. И вся его семья была ласкова ко мне.

На вечере по поводу моего 60-летия он, верный своей шутливой манере, сказал: «Спасибо Сталину за то, что он депортировал немцев в Казахстан». Присутствовавший на торжестве мой 85-летний отец не уловил шутки и строго спросил: «За что Сталину спасибо?» — «А если бы Сталин не выслал немцев в Казахстан, у нас не было бы вашего сына», — сказал он моему отцу с улыбкой. Отец, поняв, рассиял.

Утешаем мы себя древней латинской мудростью: «Смерть — еще не конец».

Да, это так.

А все же старших друзей все меньше и меньше...

НП, № 24,
15.06.2001 г.

ОН ЧУТКО ВСЛУШИВАЛСЯ В ТРЕВОЖНЫЙ ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Лет двадцать, думаю, назад, вернувшись с какого-то конгресса из Софии, Ануар поведал мне о своей встрече с Фридрихом Хитцером, известным германским критиком, публицистом, переводчиком и общественным деятелем и передал листок бумаги с немецким текстом, попросив перевести его на русский язык.

Я выполнил его просьбу.

Фридрих Хитцер сообщал: «Дорогой Ануар! Я написал стихи, которые были немыслимы без нашего знакомства. Спасибо за ваши прекрасные, жизненно важные рассказы». А далее шли белые стихи, которые в моем переводе звучали так:

Казах пересказывает
Человеку с Запада,
Задавшему тысячу
мнимых вопросов,
давнее изречение
Ануара — Абу Насра:
«Не бойся врага —
в крайнем случае
он убьет тебя.
Не бойся друга —
в худшем случае
он предаст тебя.
Остерегайся равнодушного».
Это как смерть! —
подумалось мне, —
пока человек с Запада
утверждается во мнении,
И спор
о тысяче одном слове

длится без конца...
Прочь равнодушие,
Да здравствует борьба!

В этой притче, поведанной Ануаром Алимжановым германскому коллеге, выражена квинтэссенция души его: прочь равнодушие. Он и не был равнодушным. Ни в жизни, ни в своем творчестве.

С ним было интересно общаться. Я знавал его без малого сорок лет, но особенно сблизился с ним в последние годы его жизни. Я сейчас перелистал свои дневники 80-х годов, в них имя Ануара встречается очень часто: «Два часа гулял с Ануаром», «играли с Ануаром в шахматы», «звонил Ануар», «делились последними новостями», «зашел Ануар» и т. д. гласит лапидарная запись.

Кроме того, мы с ним часто выступали на конференциях, «круглых столах», по ТВ, на разных диспутах, чаще всего с общих или близких эстетических и мировоззренческих позиций. Жаль, что мне было недосуг записывать наши вольные беседы по горячим следам. А время — 1986—1993 гг. — было крутое. Происходила ломка общественного сознания. Ануар был как сейсмограф: в нем аккумулировались все потрясения эпохи. И, как всегда, он не был равнодушным. Все принимал близко к сердцу. До всего было ему дело. На все события откликался проникновенным публицистическим словом. А словом публициста и очеркиста он владел, как редко кто из современников. Конечно, иногда ошибался, порой его заносило, случались неверные или спорные оценки тех или иных личностей и событий — это видно теперь, с колокольни нынешних времен. Но руководствовался Ануар всегда высокой, честной, принципиальной позицией Гражданина-Азамата /в изначально широком смысле его казахского значения/, патриота пробуждающегося Казахстана и нации. И в этом надо отдать ему должное.

Из казахских писателей он был, несомненно, самым мобильным. Он объездил, можно сказать, почти весь белый свет. Он даже, помнится, не знал точно, во скольких странах побывал. «Некоторых уже и на географической карте нет», — говорил он, бывало, с удивлением. Бурные

события на Афро-Азиатском континенте прошли не только на его глазах, но он их ощущал самым непосредственным образом, ибо умудрялся находиться в самом котле общественного движения на этих материках. Словосочетание «национально-освободительное движение» он произносил с особенным восторгом, интонируя оба его компонента — «национальное» и «освободительное».

Он очень любил дивную легенду о волшебной чаше персидского царя Джамшида. Вглядываясь в зеркальное дно чаши, тот падишах мог узнавать тайны жизни близких и далеких царств и стран.

Мне иногда думалось, что та легендарная чаша перешла в руки моего неугомонного казахского друга, о котором я пишу сейчас эти беглые строки.

И еще он любил повторять слова уроженца казахской степи Абу-Насра Мухаммеда аль-Фараби, которого все ученые Востока, начиная с Авиценны, называли своим Учителем, его знаменитые слова-предупреждения — «Остерегайся равнодушного!» — которые я привел выше в переложении Фридриха Хитцера.

Собеседник, повторяю, он был интересный, хотя слушать его было непросто: у него была плохая дикция, говорил быстро, увлеченно, иногда сумбурно, невнятно, переходил с русского на казахский и наоборот, мысли мешались, сбивались, захлебывались, логическая связь нередко прерывалась, нить рассуждений обрывалась, события планетарного масштаба вдруг ввергались в бытовую литературную свару. Рассуждал он своеобразно, нестандартно. И знал много.

В нем причудливо переплетались разные эпохи, разные пласты культуры. Он с одинаковой страстью и увлечением рассказывал о засыпанных песками древних городах казахов — Сауране и Таразе, Яссе и Дженде, Саганаке и Отраре; или — о национально-освободительном движении в Африке; или — о тысячелетней культуре горячо любимой им Индии, об империи Великих Моголов; или — о Сирийской пустыне, о древней, легендарной Пальмире; или — о палестинских беженцах в Кувейте; или — о развалинах древнего города Эль-хатра в Северном Ираке.

Он живо вспоминал Назыма Хикмета, Фаиза Ахмада Фаиза, Алекса Ла Гума, Мулька Раджа Аманду, Мухтара

Ауэзова — для людей моего поколения эти имена звучали высоко и гордо, они были знаковыми фигурами той эпохи.

В его мировосприятии спрессовались столетия. И потому Фирдоуси и Саади, Рудаки и Хайям, Руми и Хафиз казались его современниками.

Он не делил общий, единый поток человеческой культуры на прошлое, настоящее, будущее. Он от самой природы был наделен редким даром видеть и ощущать многогранный мир в единстве, в целостности, в духовном взаимопритяжении и взаимосвязи.

Личность определяется истоками. Где его истоки? «Я горец. Родился в горах Казахстана. Мой прадед Момын был смелым и благородным воином, удачливым охотником, а дед Алимжан — кузнецом и садоводом, известным в аулах нашего горного края... Отец мой был самоучка. Не только знал тайны кузнечного и сапожного ремесел, но и отлично рисовал. Он был среди тех, кто устанавливал Советскую власть в Жетысу», — писал он в очерке «Испей из родника, сынок... «

Парадокс нашей крутой истории. Отец устанавливал советскую власть, потом был ею репрессирован, а сын, взметнувшись в высокие сферы, собственноручно в конституционном документе фиксировал, то есть законно закрепил крушение ее. Так получилось. И мы, его друзья, бывало, подтрунивали над ним: «Наш Анеке свалил советскую власть». Он как живой очевидец красочно рассказывал во всех подробностях все драматические перипетии падения власти Михаила Горбачева.

Литературная и общественная его деятельность проистекала в последние годы жизни на крутых виражах.

Он рано изведал сиротство, лишения, нужду, непосильный труд. Поразительно, как он только не сломался еще в хрупком юношеском возрасте.

Кто-то из мудрых сказал: «Писателем делает несчастливое детство». Наверное, это так.

Он рано познал высокое благородство, истинную дружбу и веру в идеал. И обрел много друзей на всех континентах Земли. Потому что не был равнодушным.

Он стал выдающимся очеркистом, публицистом, крупным прозаиком. Он создал ряд достойных, познавательных

романов — «Стрела Махамбета», «Гонец», «Возвращение Учителя», «Дорога людей».

Ему принадлежали широко известные повести, рассказы, очерки, статьи. Все его произведения переведены на многие языки ближнего и дальнего зарубежья.

Познав мир во всех его красках, неустанно постигая вечную и бесконечную Дорогу людей, он никогда не забывал свой родной аул с ласковым именем Карлыгаш — Ласточка. Он с гордостью говорил и писал о своей земле, о своем народе, о его культуре и истории.

Он признавался: «Я побывал во многих странах — и на Востоке, и на Запада. Видел разные лики земли — и сказочные, и легендарные. Но нигде я не видел зеленых долин и голубых гор, подобных нашим. Описать их красоту невозможно».

Он не был обделен славой и высокими титулами: лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана, Государственной премии имени Абая, Международной премии имени Дж. Неру, награжден правительственными наградами. Занимал высокие посты. Был известным общественным деятелем, Председателем Казахского республиканского комитета защиты мира, членом Правления Советского Фонда мира, народным депутатом Казахской ССР, долгие годы руководил Союзом писателей республики, — всего и не упомню.

Он был и в зрелом возрасте по-юношески легок, порывист, строен, поджар, подвижен. Густая, вьющаяся, с проседью шевелюра украшала его сухое, смуглое, обветренное лицо. У него была располагающая добрая, открытая улыбка. Он много путешествовал, многое видел и знал, чутко вслушивался в тревожный пульс планеты. Это была колоритная личность в культуре нашей страны.

И тут я, пожалуй, позволю себе затронуть одну деликатную тему, о которой во время длительных прогулок мы с Ануаром говорили не однажды то с насмешкой, то с горькой досадой. Ануар учился в русской школе, окончил русский факультет университета, я, наоборот, окончил казахскую аульную школу, вырос в казахской среде, общался преимущественно в казахской сфере, знаю казахскую ментальность и высокого мнения и представления обо всем подлинно казахском, но оба мы хорошо чувствовали

одну казахскую слабость — склонность к подспудным интригам, мелкой возне, к тому, что сами казахи называют объемным и абстрактным словом «Ілік-шілік», что я по-русски передаю словосочетанием «дела-делишки». Так вот, в те годы, в 60—80-е, мне кажется, в Союзе писателей Казахстана и вообще в писательской среде этой возни, этого «Ілік-шілік» было всегда с избытком. Вечно бурлили какие-то страсти, возникали некие группы и группки, которые бурно, нудно, тягомотно, открыто и потаенно то жестко, в лоб, то тонко, с подковырками и изящным коварством выясняли Бог весть какие отношения. В эти склоки встревали и ЦК партии, и вездесущие органы, и другие разные организации, и разные встречные-поперечные (по-казахски это называется «көлденең көк атты»). Эти бесплодные баталии занимали умы и сердца многих. Ануар и как руководитель и как активная, темпераментная натура, естественно, не стоял в стороне от этих изнурительных бурь. Я старался быть объективным, избегал, как мог, группового настроя, памятуя добрый совет аксакалов: «қазақтың ісіне араласпа, қайтесің?» (то есть, «не вмешивайся в казахские дела, зачем тебе?!»). Некоторые давние мои друзья открыто не жаловали Ануара, чернили его почем зря, сводили счеты, строили каверзы. У него было много друзей, но и недоброжелателей был избыток. Иногда эти пристрастия, эта грызня принимали явно вздорный, никчемный оттенок, но что было, то было. Ануар, по натуре мягкий, деликатный, общительный, самолюбивый, как истый детдомовец, испытавший все тяготы сиротства, защищался, огрызался, как мог, и обид не прощал. И временами ему было трудно, очень трудно. Немцы-литераторы /в те годы они составляли солидную группу, это было еще до исхода в Германию/ Ануара любили, поддерживали его. Одна немка-поэтесса, прошедшая через тюрьмы и лагеря, помню, особенно сочувствовала ему, полагая, что все его почему-то клюют и обижают. Действительно, внешне Ануар иногда производил впечатление человека затравленного, загнанного, испуганного, боязливого, ждущего коварных ударов исподтишка, из-за угла Но это было ошибочное представление. В действительности он был цепкий, собранный, стойкий, выносливый и обладал незаурядным бойцовским характером.

И обрушился тот скорбный час. Рухнул остов его земной жизни.

Запись из дневника.

«9. X1. 93.

Черная весть: скончался Әнеке — Ануар Алимжанов. Прекрасный литератор, активный, деятельный человек. Один из хороших моих товарищей. В последние годы мы были весьма близки. Часто встречались, беседовали, гуляли по Красина. В августе он разыскал для моей жены книжку Макатаева на русском языке. Потом я уехал в Ташкент, он с женой — отдыхать в Грецию. Вернувшись оттуда, занемог. Несколько раз беседовали по телефону. Были на совместном заседании Национального Совета при Президенте; он радовался, что вот-вот выйдет «его» газета; рассказывал о «своей» партии. Были у него замыслы — деловые, творческие. Интересовался ПЕН-клубом. В мае было ему 63... Горько, тоскливо».

«10. X1. 93.

Были в доме Ануара. Посидели за скорбным дастарханом. Поговорили с его женой. 2-го он должен был лететь на операцию в Германию в какую-то университетскую клинику. Аллаху это было не угодно ... «

«11. XI. 93.

Хоронили Ануара. Народу было много. Сотни знакомых. Был я и на кладбище. На траурном митинге выступили Абиш, Симашко, Дулат, земляк и брат Ануара. Потом были поминки в ресторане «Алматы». День был теплый, солнечный, ясный. Погода благоволила. Ануар все время перед глазами. Жаль. Грустно. Тоскливо».

С тех пор прошло шесть лет. Я после больницы, больной пишу эти строки, а за окном плачет еще одна осень скоротечной нашей жизни. И я повторяю про себя те дневниковые записи. Жаль. Грустно. Тоскливо.

Но были те времена и был беспокойный, неугомонный, талантливый Человек со звучным именем Ануар Алимжанов, которого помним.

26. X. 99 г.

АСКАР
(Памяти друга)

«Личность человеческая более таинственна, чем мир.
Она и есть целый мир»

Н. Бердяев.

«Болатын бөлек жүрісі,
Өзі де еді от бөлек.
Көңіліне қонбай бір ісі,
Өмірге кетті ол өкпелеп...»

С. Асанов.

Студентом третьего курса КазПИ им. Абая — а это был 1957 год — я обратил внимание на одного первокурсника казахского отделения литературного факультета. Пожалуй, ничем он не отличался от своих сверстников — выходцев из аула. Смуглый, круглолицый, щуплый. Но внимание мое он привлек тем, что ночами напролет сидел в холле общежития, рядом с дежурной, рыхлой, доброй бабушкой Ульяной, уткнувшись кривым носом в толстенные книги.

В те годы в общежитии по ул. Советской, 32 царил порядок: после одиннадцати ночи было положено спать. Свет горел лишь в закутке холла, и здесь неизменно бодрствовали двое: бабушка Ульяна на боевом посту нравственности и этот щуплый, смуглый юнец за каким-нибудь фолиантом. Его ночные бдения почему-то многих старшекурсников раздражали. Ишь, книгочей нашелся! Не спится ему! Дня ему мало... И кого он читает? Не казахских, не русских классиков, как все нормальные литфаковцы пединститута, а сплошь иностранцев. Бальзака, Гюго, Генриха Манна. А то и вовсе Бог весть каких философов. Откуда он взялся, грамотей?

«С юга, — ответил его сокурсник, мой земляк и однокашник Ермек Конарбаев. — Учится хорошо, но по русской части не силен».

Вскоре мы познакомились. Я узнал, что зовут его Аскаром Сулейменовым. Жили мы, однако, в разных сферах. И интересы были разные.

Таково начало.

А вот конец:

15 мая 1992 года после какого-то заседания я бродил возле Верховного Совета в ожидании Абе (Нурпеисова), застрявшего по обыкновению у очередного высокого начальства. День был солнечный, уютный.

Вдруг из здания — явно озабоченные, хмурые — вышли Абиш Кекилбаев и Нурлан Оразалин. «Мне только что позвонили: умер Аскар», — глухо сообщил Абиш. — «Какой Аскар?» — «Сулейменов». — «Ка-ак?!»

Это было непостижимо, немыслимо. Абиш и Нурлан куда-то умчались, а я еще долго кружился на площадке у входа, ожидая Нурпеисова, чтобы поделиться моим страшным, внезапным горем.

Нурпеисов посерел лицом, долго молчал. Потом обескураженно выдохнул: «Апырай, а?! ... «

Мы тотчас отправились к матери Аскара выразить соболезнование.

И между этими двумя событиями пролегла тридцатипятилетняя жизнь, наполненная Аскаром: учеба в аспирантуре КазПИ, работа в журнале «Жулдыз», частые встречи, взаимные посещения, долгие разговоры, беседы по телефону, все то, что рождает между людьми взаимную приязнь, духовное родство, дружбу, искренность, привязанность, нежность.

Я это неизменно чувствовал, а теперь и понимаю: ему всегда было трудно жить. Неуютно. Я не вкладываю в это житейский смысл, хотя и в сугубо житейском плане жизнь его никак не баловала. Он был не такой, как все. Дух его отчаянно рвался к свободе. А свободы не было. Только к концу его жизни она слегка забрезжила. И потому Дух его был постоянно — или большей частью — подавлен, омрачен. Он лишался естественности, непринужденности. Грациозности мысли. Изысканности мудрствования. Взыскуемой гармонии формы и содержания. И это в свой черед приводило к хроническому одиночеству. К внутренней эмиграции. Он жил не в свое время. Вероятно,

он вписался бы органичней в арабский мир X—XI веков. Или в европейский Ренессанс.

Опор было мало. Порой их вообще не было. Временами оставались только Музыка, которую он боготворил, и Лошадь /жылкы/, которая обретала для него некий магический символ вожделенной свободы.

Непохожесть его на большинство из двуногого племени, нестандартность поведения, нешаблонность мышления многих раздражали. Оригинальность его для обыкновенных божьих созданий казалась иногда оригинальничаньем, фрондерством, затянувшейся бравадой, игрой. Им просто не хотелось признать, что он, Аскар, другого поля ягода, по-другому скроен, иначе создан.

Н. А. Бердяев в «Самопознании» пишет. «Свобода, личность, творчество лежат в основании моего мироощущения и миросозерцания». Я думаю, то же мог сказать о себе и Аскар. Общие каноны, самодовлеющий порядок были ему противопоказаны.

В мире духовности он еще мог дышать. Но в мире реальном, практическом, грубом, банальном, где надо подлаживаться, приспосабливаться, лавировать или смиряться, он просто задыхался.

В таких случаях, бывало, он становился трудным в общении, невыносимым, дерзким, задиристым, выставлял напоказ отнюдь не лучшие свои качества, словно находил мазохистскую усладу в том, что настраивал окружающих против себя. Конформизм был ему противопоказан.

Помню, как огромным усилием друзей была подготовлена почва для получения трехкомнатной квартиры, в которой очень нуждалась его семья. Высокий чиновник, сидевший в высоком кресле в ЦК КП Казахстана, пригласил его на беседу, которая должна была как бы вершить долгожданную удачу. И что же? Аскар «через не могу» пошел, затеял спор, произвел на чиновника нарочито отвратное впечатление, эпатировал его диссидентскими штучками, раздразнил его, напоследок высмеял его беспощадно и едко, потеряв тем самым всякую надежду на улучшение бытовых условий и сведя на нет все старания друзей. Ему было тяжко жить в коллективе, по законам коллектива. Всякие надуманные законы, каноны, регламентации, корпоратив-

ные интересы были ему в тягость. От этого он и сам страдал и другим доставлял уйму неприятностей.

Приведу несколько записей из дневников разных лет, которые, возможно, дадут более колоритное представление об Аскаре как о самобытной, неординарной личности.

21. 09. 1961.

В прошлую пятницу был у меня Аскар. Пили вино, посидели, поговорили. Аскар, кажется, остался доволен. Хороший парень. Люблю я его. Из него выйдет толк, если только нужда не засосет. Хочет забрать из аула мать, сестру. А квартиры нет и денег нет. Беда. .

10. 10. 1961.

Встретил Аскара. Оброс. Говорит: «Хотел бы запереться, чтобы не видеть никого. Надоело все!»

5. 11. 1961.

Вчера Аскар сдал кандидатский минимум по английскому языку. Как сдал — ума не приложу. Английский он знает столько же, сколько я — фарси. Но — обмыли. Аскар, Костюхин и я. Выпили три бутылки сухого. Закусывали сигаретами. Говорили о XXII съезде КПСС, о Китае, о выступлениях Шолохова и фанатике Кочетове. Кочетова ругали все вместе.

11. 02. 1962.

Иду мимо общежития КазПИ. Слышу необыкновенное трагическое пение. Застыл, прислушался. Видимо, это Аскар что-то новое приобрел. Он все свои гроши тратит на пластинки. Сам же питается одними сигаретами. Курит и слушает музыку. Зашел к нему. Понял: «Реквием» Моцарта. Аскар мрачный, насупленный, стоит у окна, слушает. В комнате тарарам. На столе, кровати, на полу книги, вестники, журналы, газеты, пластинки, пепел.

— Вы знаете, как меня обругали? — спрашивает по-русски

— Где? Кто?

— Вот...

И он небрежно, с отвращением подбрасывает мне «Соц.

Қазақстан». Статья некоего Рахимжанова. Остроумно, резко и в чем-то, думаю, справедливо критикует две статьи Аскара. Читаю вслух. Аскар громко и сардонически хохочет. Зашел разговор о слове «кексе». По Аскару «кексе» означает «зрелость». «Таланттың кекселігі» означает по нему «зрелость таланта». Я сказал, что для меня «кексе» ассоциируется с понятием «пожилой», «старый». Он усмехнулся и перестал спорить. Аскар немножко не такой, как все. И для меня он неожиданный. И все же мне с ним интересно. И у него я отдыхаю.

13. 04. 1962.

Был у Аскара. Беседовали. Слушали музыку. Говорили о Горьком. Я сказал, что он мудрец, Аскар скривился: «Обыкновенный Иван». Аскар поставил на проигрыватель «Сары жайлау» Таттимбета. Говорил мне: «Это великий композитор. Күніренеді де отырады. Он философ в музыке. Он никогда не улыбается. Он казахский Бах. Он антипод Курмангазы».

Я невпопад улыбнулся, ему не понравилось.

— Вы читали Манна? Томаса?

— Ничего, кроме «Будденброков».

— Ну-у... Как же так?! Когда его читаешь, все время чувствуешь себя ничтожеством. Я это чувствую. И это чувство никогда тебя не покидает. Вот это писатель!

— Читая, чувствовать себя ничтожеством, — разве хорошо? Я, читая, хочу чувствовать себя человеком.

Аскар передернулся. Так раздосадовало его мое мнение.

15. 01. 1963.

Аскар прочел мне первую главу своей повести. Написано неплохо. Глубокий психологизм. Смесь Хемингуэя, Белля, Борхерта, Стейнбека. Но своеобразно. Для казахской литературы даже свежо. Вообще он способный парень. Молодец! Но диссертацию пишет туго. Не хочется. Не нравится тема.

14. 09. 1964.

В среду был у Аскара. Он медленно, но верно встает на ноги. Работа хорошая. 180 рублей зарплата. Заключил

договор с Министерством культуры на перевод пьесы Бертольда Брехта. Так что у него кое-какие шансы появились.

4. 12. 1966.

Приходил Аскар, но нас дома не было. Он написал на уголке газеты: «Геке, бластенкелерімді арқалап келіп едім, бірак, бәтеңкем тесік болған себепті екі сағаттан артық күте алмадым. Қатын-балаларыңызға сәлем айтыңыз. Ас. 6-20».

10. 12. 1966.

Вечером пришел Аскар. Прослушали раз пять Девятую симфонию «Бетекен» — так Аскар называет Бетховена. Аскар прочел свой рассказ — хороший, может, несколько тяжеловатый, мрачноватый, болезненный. Поговорили о том, о сем, в двенадцатом часу ночи он взял один «жамау» для Абдижамила и поехал домой.

8. 02. 1967.

Вчера вечером был Аскар. Хочет написать пьесу. Замысел интересный. 1916-й год. Судьба казахов. Судьба отвернулась от казахов. Безразлична судьба к казахам. Начали строить юрту, да так и не достроили. Начал старик ремонтировать свой разбитый кобыз, но не суждено было кобызу сыграть скорбный кюй... Написал заявку в Минкульт. Над диссертацией тоже намерен работать.

26. 02. 1967.

Были у нас Аскар и Алтыншаш. Было хорошо. Они остались ночевать. Легли в третьем часу ночи. Всю ночь слушали Моцарта и Баха. Аскар принес старку. Приятно пьется, но крепкая.

22. 05. 1967.

Были вчера у меня Абиш и Аскар. Хорошо покалякали. Много интересного поведали они мне. Об Аллилуевой, об обсуждении романа Солженицына. Абиш читал стенограмму. Абиш и Аскар собираются в Ялту в Дом творчества.

23. 09. 1977.

Прочел Абдижамилу по телефону — отрывками, но почти всю — статью Аскара «Болмыспен бетпе-бет».

Рассказал Абе, что статью эту мне передали с усмешкой, и я начал читать ее с предубеждением, опасаясь, что там будут сплошные выкрутасы, до которых Аскар большой охотник, но прочел раз, половину не понял, однако почувствовал — вещица дельная и глубокая; прочел второй раз — нравится больше; в третий раз читая, я ощутил потребность произносить текст вслух, живо слыша при этом интонации Аскара. А утром читал по телефону в четвертый раз. И окончательно понял: об Ауззове нужно только так писать. И такая статья стоит многих серых и убогих статеек-исследований и подленьких воспоминаний, где каждая муха — по Горькому — силится оставить свой след в жизни большого человека.

Абе выслушал, сказал, что ему нравится, что он тут же позвонит Сейдахмету Бердикулову, дабы развеять его сомнения, заговорил о Шкловском, о стиле, о своеобразии. «Асқар адамның ойлау қабілетін өнерге айналдырады. Өспейтін әдебиет разнообразияны сүймейді. Біздің миымызға сіңген пайымдар ғана керек. Түсі өзгеріп келгенде біз қабылдамаймыз. Мұның барлығы өреміздің, тарлығы».

(По-русски:

«Способность человека мыслить Аскар превращает в высокое искусство. Неразвивающаяся литература не терпит разнообразия. Наш мозг воспринимает лишь привычные понятия. Если они меняют свой блик, мы их отвергаем. Все это идет от узости нашего восприятия».)

17. 03. 1978.

Поздно ночью, по обыкновению, позвонил Аскар. Он только что прочел повесть Н., и она ему очень не понравилась. «Стильді ой жасау керек. Мұнда ой жоқ. Кілең потуги ғана. Тіл арқылы қиындатам дейді, бірақ не ол?.. Со-о-ондай скучный нәрсе. Ой жоқ, материал жоқ, қазақтың психологиясы жоқ. Материал должен диктовать стиль и язык. Сіз бірақ ештеңе айтпаңыз. Мен оган Прусттан кейінгі ең үлкен шаруа жасап жатыр екенсіз деп айтайын. Көлемі қанша дейсіз? 350 бет?! Пәлі ... Бұл да енді Фолкнер, Пруст, Джойс дегендерден бірдеме естіген ғой ...»

(По-русски:

«Стиль определяется мыслью. Здесь же нет мысли. Сплошные потуги. Он старается усложнять все посредством языка, но что из этого? Та-а-кая скучная вещь. Нет мысли,

нет материала, нет психологии казахов. Материал должен диктовать стиль и язык. Но вы ему ничего не говорите. А я ему скажу, что он занялся самым крупным после Пруста делом. Каков, говорите, объем? 350 страниц?! Вот те раз! Конечно, он тоже ведь что-то слышал про Фолкнера, Пруста, Джойса»).

17. 01. 1981.

Долго и восторженно говорили с Аскаром по телефону о романе Чингиза Айтматова. По мнению Аскара, Чингиз и Кара Караев — два титана современной тюркской культуры, и смешны те, кто тщится соперничать с ними. Далее Аскар сказал, что Айтматов из тех, кто сейчас пишет, и тех, кто только намеревается писать, «алдын орап алды», ибо после этого романа, как бы они ни писали, все будет вторичным. Я заметил, что в таком духе выразился однажды Куприн, сказав, что «этот старик» (Лев Толстой) общипал нас всех на сто лет вперед. (У Куприна, помнится, другой глагол, я не могу его сейчас вспомнить, но смысл примерно такой). Аскар рассмеялся: «Но Толстой все же кое-где оставлял волосинки, а Чингиз бреет подчистую лезвиями жиллет, не оставляя другим ничего». Я сказал, что кажутся лишними первые страницы публицистики от себя, на что Аскар заметил, что это просто литературный ход автора, что это намек, ложный след для критиков, дескать, дает направление, мол, «осы жерімді ғана қасисындар». По Аскару, Чингиз оставил наверняка страниц 8—9 про запас — наиболее острые, щепетильные страницы — для отдельного издания. Еще Аскар сказал, что Чингиз охватил все, что зарубежной критике есть о чем говорить, что даже фантастика, все эти «Паритеты», «Конвенция», «Лесная Грудь» и прочие — тщательно продуманы и выбраны с большим смыслом. Говорили мы и о том, что есть писатели, которые сразу набирали большую высоту и не снижались /Ауэзов, Хемингуэй/. Писателей, которые снижаются с каждым новым произведением, — много. А вот писателей, которые растут от произведения к произведению, — очень мало. И один из них Айтматов. Написал он ведь не так и много. К плодовитым его не отнесешь, а ощущение такое, что написал он много, и это потому, что каждое его

произведение — этапное, выше предыдущего. А как он далеко ушел от первых своих повестей!..

❁ ❁ ❁

Боже, сколько было у нас телефонных разговоров! Он мог позвонить неожиданно глубокой ночью и сказать: «Геке! Послушайте Таттимбета. Потрясающе!»

Он у себя ставил на проигрыватель незнакомый мне кюй, а я, полусонный, слушал его по телефону в ночной тиши. Через некоторое время он спрашивал: «Ну, как? Гениально! А теперь послушайте Малера. Потрясающе!» Таким образом он заставлял меня слушать Бетховена, Моцарта, Баха, Гайдна, Стравинского, Рахманинова. Иногда подолгу читал — опять-таки по телефону — выписки из книг, пространно комментируя те или иные цитаты.

Вообще была у нас любимая игра — обыгрывать цитаты, прибегать к литературным реминисценциям.

— Ал-еу-еу... это маршал брезидент Прежнев Юрий Андропович, — говорил врастяжку, хрипловато Аскар, и я догадывался, что он цитирует Юза Алешковского, о котором накануне была где-то статья, и отвечал также его фразой:

— Да, да. , головокружение будет за нами!. . Или так:

— Ал-еу-еу... Это қырт Жуман... — И Аскар начинал цитировать начало третьей книги «Пути Абая»: «Күз аспаны күңгірт, бұлыңғыр. Ауада дымқыл сыз бар».

— Ия, солай, — отвечал я ему в тон. — «Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан».

— Да-а... Оңып тұрған дүние жоқ. «Күз болып дымқыл тұман жерді басқан»...

— Нешауа. . «Кар жауса да тоңбайды бай баласы»...

— Ха-ха!... «Карл баласы» деңіз.

— Согласен. «Қар жауса да тоңбайды Карл баласы».

— Әрине... Өйткені: «Үй жылы, киіз тұткан айналасы».

Так мы подолгу устраивали перекличку цитат из Абая и Ауэзова. Звоня, он каждый раз представлялся по-разному, в зависимости от актуальной политической конъюнктуры.

— Это Алкснис... Это Умалатов, муж Сажи... Это Эгон Кренц... Это Василий Иванович Казаков...

❁ ❁ ❁

Есть у меня «лошадиный словарик», составленный мной для переводческих нужд. «Лошадиная» лексика у казахов чрезвычайно богата и русский эквивалент находится не всегда.

Аскар как-то внимательно проштудировал этот мой словарик и сделал карандашом пометы.

«Выстойка» — рядом он написал «таң асыру».

«Трот» — текірек.

«Храп» — парыл.

«Холка» — шоқтық.

«Саяқ жылқы» — мерины, выделенные в отдельный косяк. (В скобках Аскар написал — «диссидент». Получилось образно: «Саяқ» — «мерин-диссидент»).

«Тұлпар» — Аскар пояснил: «вне конкурса».

❁ ❁ ❁

Однажды он мне объяснил: от любви осла с кобылицей рождается мул. Если отец жеребец, а мамочка — ослица, то сын — лошак.

И добавил: в казахской литературе больше всего лошаков и мулов.

❁ ❁ ❁

Язвителен он бывал часто. Как-то заметил: «Миы жоқ, халықтың бәрі сталинист. («Все безмозглые народы — сталинисты»). Не жаловал пышнословие, пустобайство, трюизмы.

Говорил, кривя тонкие губы: «кыртианство», «кумбульдизм».

К современной казахской литературе у него было сложное отношение. Для него было мукой читать примитив, безъязыкое «ботқа» (тюря), нудное описательство. Иногда он говорил: я уже десять лет казахов не читаю. Я, однако, знал, что это бравада. Читал, хотя и избирательно. По душе ему были Абиш, Дулат, Сатимжан, Иранбек, Марат, Баккожа, Фариза, Мукагали. Высоко почитал Ахтанова — и как прозаика, и как человека.

Сам он писал филологическую прозу с сильным уклоном в психологизм, экспериментальную прозу — совершенно не культивируемую в казахской литературе, а потому чуждую, недоступную массовому читателю. В этом смысле постижение Аскара-прозаика еще впереди. То же самое я сказал бы и о его многоплановых, многослойных диалогах — и в прозе, и в драмах. Они многомерны, многозначны, объемны именно своим подтекстом. Казахского же читателя слишком долго приучали к однозначной, одномерной плоской повествовательной интонации. Эстетический критерий Аскара был высок и многоцветен. В утверждении своего эстетического идеала ему приходилось идти против течения. Тут не мудрено было надорваться.

❁ ❁ ❁

Одно время мы затеяли с ним игру: подражая японской поэтической форме, сочиняли трехстишия. При этом одну строку придумывал я, две — Аскар. Иногда — наоборот. Это была забава. Для смеха. Для внутреннего пользования. Но и в этих трехстишиях-пустышках отразились аскаровские черты, манеры, пристрастия. Приведу некоторые, почти всецело аскаровские:

Аспанда бұлт —
Ауып жүрген ала қар.
Көз аласын қан жапты.

Көше толы азбан шал,
Мөлиеді қыздарға —
Келгені ғой көктемнің.

Ұйыған түн.
Сұр дауысы сұм байғыздың —
Гайдн.

Қараағаштың бұтағы
Топшысы сынған қарғадай,
Қар қалың.
Ала қарға с-с-собака,

Қарқылдайды аспанда.
Қараша келді значит.

Шындық — жабы,
Ақиқат — күлік.
Ағаштар жалаңбұт қалды.

В этих шутливых, незатейливых строках запечатлены образность, метафоричность, ассоциативность аскаровского речестроя.

Все эти строки фактически непереводимы. При буквальном переводе на русский язык теряется весь шарм, «изюминка», игра слов и заветный смысл. Поэтому автор их приводит только в оригинале.

Слово «күлік» он любил. В цикле рассказов о Биржане сказано: «жабыға жарасар көнтерілік — күлікке мін». Этим философским кредо он, по-моему, руководствовался и в человеческой жизни. Терпеливость, покладистость рабочей клячи отнюдь не достоинство для вдохновенного призового скакуна. Таков — примерно — смысл этой сентенции.

❂ ❂ ❂

Месяца за три до своей кончины он заказал мне эссе для журнала «Парасат». Эссе должно было быть обо мне. Аскар даже придумал название — «Зар» — то есть «Горький плач», «Вопль души». О горьком горе репрессированного в детстве. О тяжкой зарубке на сердце. Психика подбитого в раннем, хрупком возрасте. Состояние человека, вынужденно оказавшегося на стыке разных культур, живущего в иной языковой среде. Исповедь израненной души. Плач современного Маугли в свихнувшемся мире. Вопль души, отлученной, отторженной от своей естественной субстанции.

Я поразился этому заказу. Аскар задел самые потаенные мои струны. Это трагическая, неизбывная боль, о которой не каждому расскажешь. Или вообще не расскажешь. Ибо не всем, далеко не всем дано это понять. А душу раскрывать перед толстокожим — какой смысл? У Аскара, однако, было чувство чужой боли. И мое настроение он улавливал точнее

других моих друзей и сочувствовал по-человечески глубже. «Зар», «зар», «зар» — встрепенулась моя душа.

Я согласился. Договорились: страниц 12—13. На разворот. Написать к маю...

А в мае Аскар покинул нас навсегда. И вряд ли я в оставшейся своей жизни решусь на такую исповедь. Так этот «Зар» и останется со мной.

Приходил он, бывало, неожиданно. «Как вы?» Он произносил эту форму приветствия — кальку с казахского «Қалайсыз?» — своеобразно: сказав «как», делал паузу, потом врастяжку говорил «Вы-и?». И я неизменно отвечал: «Э, живой пока. . ». Он на миг задерживался у порога. Тонкий, худой, одетый в обтяжку. Ноги ставил как-то странно, носками вовнутрь. Серолицый. Сутуловатый. Крючконосый. В шляпе. Пришелец с другой планеты. Или представитель диковинной южной страны.

Раздевшись, проходил в кабинет, бросал на стол пачку сигарет, зажигалку, требовал пепельницу, закуривал, ставил на проигрыватель пластинку, начинал листать книги, просматривать журналы, пить чай или кофе, коньяк или вино, говорил, расспрашивал, через десять-пятнадцать минут устраивал в доме настоящий тарарам, т. е. классический творческий беспорядок. Это ему поразительно удавалось. И это ему шло. Никто у меня так раскованно, так вольно себя не вел, как Аскар — этот артист Духа, избранник интеллекта.

Так же неожиданно исчезал, прихватив пару-другую книг или журналов. Чаще всего с концом. Такая уж была у него слабость. От этих встреч оставалось ощущение творческой легкости, духовности, изящества, удавалось ненадолго отринуть суету и мишуру серого бытия.

❁ ❁ ❁

Идей, задумок, замыслов было у него уйма. Он их раздавал налево-направо, щедро, походя. Он продуцировал идеи, но реализовать, осуществлять их чаще всего не мог. Не хватало сил, воли, усидчивости.

Незадолго до своей кончины он поделился своей идеей

составить книгу для издательства «Ахмет Яссауи». Условное название книги: «Ұлттар, ұлыстар өздерінің көзімен», то есть «Народы и нации своими глазами». Он намеревался составить эту книгу за девять месяцев в объеме десяти печатных листов. В книгу должны были войти высказывания Чаадаева, Герцена, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Лермонтова, Чернышевского, Ленина, Соловьева, Флоренского, Шестова, Гершензона («Вехи»), Бердяева.

Да-а.. замысел был прекрасный...

❁ ❁ ❁

Когда его тело опускали в землю у крутого склона «Кенсая», мне стало не по себе. Я отошел в сторону и сел на жесткую, пыльную прошлогоднюю траву. Было тихо. Внизу простирался в дымке громадный город, в котором уже не было и отныне никогда уже не будет Аскара — этого ни на кого не похожего, одинокого в душе, неприкаянного путника «Иә, Гер-аға.. досыңыздан айырылдыңыз...», — заметил, проходя мимо, Кулбек Ергобеков. Я только кивнул. Слов не было. Да и не хотелось слов...

А видел я его в последний раз в Доме печати возле «Кок-базара». Я спускался по ступенькам, а он поднимался стремительно вверх — в черной шляпе, черной куртке, серолицый, скрученный, озабоченный. В холодных, суровых зрачках стыли отрешенность, сосредоточенность. «Оу, Аскар!» — вырвалось у меня. Он на миг остановился, погасил муть в глазах, спросил по своему обыкновению с только ему свойственной интонацией: «Как... вы-и?» И, выслушав короткий традиционный мой ответ, ринулся ввысь, через ступеньки — легкий, стремительный, сумрачный, погруженный в неведомые мне мысли.

Я не знал тогда, что жить ему оставалось несколько дней.

Но знал ли он?..

Таким он и запомнился мне напоследок — Аскар, летящий вверх по крутым ступенькам...

20 марта 19[illegible] г.

Post Sckriptum

На поминках после похорон, помню, хорошо говорил об Аскаре академик Зейнолла Кабдолов. Он сказал: «Аскар не умер. Аскар только начинается». Как в воду глядел! Именно после земной жизни воссияла его литературная слава. Усилиями и стараниями прежде всего недолгой спутницы Аскара, скромной и талантливой Алии Бупежановой («Жақсы бала», — сказал он как-то мне о ней, когда я восхищенно отозвался об их совместном диалоге в «Қазақ әдебиеті»), а также его детей и друзей была собрана и переиздана его проза, дневниковые записи и максимы, на сцене Казахского академического драматического театра поставлены все его пьесы, о нем написано немало воспоминаний, его упоминают и цитируют в бесчисленных статьях, он стал кумиром молодых, дерзких, раскованных литераторов, он посмертно стал лауреатом Государственной премии им. Абая, о чем при жизни и не мечтал. Он оставил заметный, благородный след не только в казахской литературе, но — самое важное — в национальном самосознании. Поистине, Аскар пережил свое время — высшая награда для творца. Мир тени его!

Сентябрь, 1998 г.

С ЧУВСТВОМ БРАТСТВА

Непреложную истину о том, что Мориса Симашко и читать, и слушать интересно, я постиг давным-давно. Он обладает удивительным даром ассоциативного мышления, чувством историзма.

Он сначала жил земной, активной жизнью, познал ее во всех ипостасях: мотался по диковинным просторам восточного региона страны, прошел, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Словом, прежде чем писать, он жил. И имена типа Гияс-ад-Дин Абу-л-фатх Омар ибн Ибрахим звучат в его устах отнюдь не экзотично.

Он вообще неравнодушен к языковой стихии, музыке восточных языков, они звучат в его устах и писаниях причудливой мелодией. Не случайно герой его романа «Маздак» рассуждает: «Языки, как и книги, пахнут по-разному. Одни — травой, другие — теплым молоком или морем. И цвет у каждого свой: синий, красный, золотой. Даже привкус от слов различный остается во рту.

Спокойные и неспокойные бывают они... «.

Это замечено верно и глубоко. И писатель Симашко познал эту истину из житейского опыта.

И еще Экзюпери сказал: «Слова не имеют ценности, если они не родились из долгого пути под звездами».

Творческий путь М. Симашко вполне соотносим и с этой максимой.

Можно, как Гойя, пройти тяжкий путь познания и прочувствовать жизнь со всеми ее звездными часами и свинцовыми мерзостями, однако оставаться при этом приземленным бытописателем, который только и делает, что сгребает в кучу пыль бытия.

Морис Симашко не из этого племени. Слова его, проза его имеют ценность, ибо родились из долгого пути под звездами. Говоря о пути под звездами, я вовсе не имею в виду то, что Симашко был когда-то военным летчиком, а его духовную окрыленность. Во всех писаниях Симашко

пристальное внимание уделяет человеку духовному, человеку высоких стремлений, идей и страстей. Вспомним повести «Емшан», «Искушение Фраги», «Хадж Хайяма», блистательный роман «Маздак», «Искупление дабира». Герои Симашко постоянно задаются вопросом: «Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим? В чем нашей жизни смысл?..»

Французский критик Ален Боске в газете «Фигаро» писал по поводу выхода во Франции романа «Семирамида»: «Морис Симашко — русский писатель, который ни на кого не похож».

Полагаю, в этих словах есть рациональное зерно.

И еще. В прозе Симашко четко прослеживается яростное презрение к тем лже-маздакам, которые, как сказано в «Намэ и Тансар», не украшены достоинством таланта и дела, без наследственного занятия, без профессии и искусства, готовы к клевете и ложному свидетельствованию и измышлению. И в этом своем пафосе писатель исторических произведений М. Симашко современен и актуален. Не гуманистическим ли пафосом, общечеловеческой значимостью затрагиваемых Симашко проблем объясняется тот факт, что книги его издаются не только почти во всех странах СНГ, но и во Франции, Германии, Японии, Индии, Пакистане, Бангладеш, Португалии, Бразилии, Тунисе, Польше, Венгрии, Болгарии?

Знаток Востока, М Симашко много внимания в своем творчестве уделяет Казахстану. Вспомним романы «Комиссар Джангильдин», «Колокол», пьесу «Чрезвычайный комиссар». Или его переводческую деятельность, оцененную по справедливости Государственной премией им. Абая.

М. Симашко — разносторонний литератор. Он романист, сценарист, драматург, переводчик, критик, публицист, мемуарист. Могу, к примеру, напомнить о его добротной статье, посвященной анализу степных баллад Абиша Кекилбаева. Или цикл мемуарных зарисовок о Лавреневе, Твардовском, Парфенове, Мусрепове, Домбровском. Или актуальнейший, едкий, пронзительно-сатирический роман «Падение Ханабада», в котором беспощадно разоблачается весь смердящий дух эры всеобщего ханабадства — нашего недавнего прошлого.

Благополучно одолев «возраст пророка», взобравшись на вершину своего семидесятилетия, Морис Давидович по-прежнему неутомим. Отправив по белому свету свой новый исторический роман «Семирамида», он пишет пьесу, сценарий, колесит по Средней Азии — спешит то в Ашгабат, то в Бухару, то в Самарканд, то в Нукус, а то и по дальнему зарубежью. И голова его полна планов и замыслов: то он заседает в Национальном совете по государственной политике при Президенте, то мечется по делам Казахского ПЕН-центра, будучи его вице-президентом. И вечно ему недосуг, и говорит бурно, шумно, увлеченно. Этим он и интересен.

В мемуарах одной француженки я встретил фразу: «Он приходился мне полубратом». Меня умилило это — «полубрат», калька с немецкого «хальб-брудер». Означает это «сводный брат», но немцы Поволжья употребляют это слово в смысле «двоюродный брат».

Я пишу о Морисе Давидовиче с чувством братства. Это не дань вежливости. Дело в том, что мать Мориса Давидовича — в девичестве Шмидт — из поволжских немок, уроженка Катариненштадта. И история, культура, трагическая судьба российских немцев Симашко не чужды, о чем свидетельствуют его историко-публицистические эссе. И потому мы с ним являемся как бы «хальб-брудер» — двоюродными братьями. Связывает нас еще и общая восточная ориентация в литературе. А главное — человеческие контакты и симпатии.

1994 г.

В ОЖИДАНИИ ПЕРЕВОДЧИКА

Под эгидой ЮНЕСКО просвещенный мир чествует ныне столетие Габита Мусрепова. Особенно высоко и торжественно, широко и душевно отмечают юбилей классика казахской литературы в Казахстане.

Я знавал его. Имел счастье изредка общаться с ним. Беседы наши вертелись главным образом вокруг художественного перевода его произведений.

Я и поныне считаю, что с переводами своих произведений на русский язык Габиту Махмудовичу фатально не везло и по большому счету русского Мусрепова у нас нет.

То, что есть, — лишь бледная тень, эрзац, суррогат казахского оригинала. Поэтика, стилистика, речестрой, все художественное своеобразие крупного прозаика не обрели по-русски своего достойного адеквата.

Конечно, главная вина падает на переводчиков — точнее, на обработчиков подстрочников. Не слыша оригинала, каждый из них обрабатывал безымянный подстрочник на свой салтык, нередко досочинял, присочинял, интерпретировал автора по своему разумению, не в силах передавать нюансы, из которых и состоит художник такого масштаба, как Мусрепов. Сила Мусрепова-художника в его слове, в стиле, в ювелирной обработке фразы. При переводе все это безнадежно терялось.

Отчасти виноват в том и сам автор: был излишне терпим к переводческому бессилию, болтливости, приблизительности, недостаточно требователен, как-то заранее смирялся с тем, что перевод — прежде всего искажение. Или не верил в то, что он может достойно прозвучать по-русски.

Я постараюсь в своих беглых записях проиллюстрировать сказанное выше конкретными примерами, перемежая их выписками из дневников, дабы быть максимально конкретней и правдивей.

❁❁❁

Кто переводил Габита Мусрепова на русский язык?

Назову несколько имен: С. Злобин, Л. Соболев, И. Саввин, В. Мироглов, Н. Гордеева и В. Дудинцев, М. Симашко, А. Белянинов, В. Новиков (все по подстрочникам), С. Куспанов, М. Хамраев, Г. Бельгер (с оригинала).

Особенно много переводил Мусрепова Алексей Белянинов. И меня это всегда поражало, ибо по духу, по мировосприятию, по отношению к слову, по стилистике, по пониманию литературы они — автор и переводчик были абсолютными антиподами. Их сотрудничество, полагаю, было необъяснимым недоразумением. Мусрепов, чудилось мне порою, перед своим переводчиком робел, шел на его поводу, соглашался с его доводами. А Алексей Семенович был человеком бывалым, работал в Якутии, Туве, Туркмении, потому, видно, считал себя знатоком востока, писал книжки для детей, умел спорить и аргументировать. И, видно, академик Мусрепов пасовал, тушевался перед его напором. Белянинов считал, что переводчик не должен особенно доверять национальному автору, должен его постоянно перепроверять, позволял себе активно вмешиваться в стиль, синтаксис оригинала, корректировать его, что-то сокращать, а что-то, наоборот, расписать, расцветить, перекраивать композицию, начальную главу поставить в конец, а заключительную главу передвинуть на начало, пролог сделать эпилогом, а эпилог вообще выкинуть, то есть, многое переписывать и переделывать на свой лад и склад. Он доказывал: «Так надо. Иначе русский читатель не поймет». Несколько рассказов и поэму в прозе «Однажды и на всю жизнь» Белянинов перевел по моим подстрочникам. И обходился с ними так вольно, так бесцеремонно, что я только диву давался и всякий раз недоумевал, когда автор покорно соглашался с таким произволом.

Я же не позволял себе при переводе никаких отсебятин, считал за честь посильно передать лишь то, что есть в оригинале, убежденный, что уж кто-кто, а Мусрепов не нуждается в доноре или в чьих-то подпорках. Да и Мусрепов в общем-то знал себе цену, однако к напористым и излише вольным переводчикам своего творчества прояв-

лял неизъяснимую слабость и смирение. (В отличии от, скажем, А. Нурпеисова, который к переводу своих вещей относится предельно ответственно, буквально пробуя каждое слово на вкус, не щадя при этом ни себя, ни тем более переводчика, подбирая переводчиков близких по духу, стилистике, пластике, фразеологии и синтаксису).

Отсюда печальный результат. Подлинного Мусрепова на русском языке нет. И — боюсь — долго не будет, ибо переводить его необходимо полностью заново, стараясь чутко передать все оттенки его прозы — юмор, усмешку, игру слов и фраз, мускулистость и образность языка, динамизм исконно народного речестроя.

❁ ❁ ❁

Запись из дневника. 14 ноября 1963 г.

Работаю в журнале «Жулдыз». Привыкаю к редакции. Отличные ребята Кадыр (Мырзалиев), Зейнолла (Сериккалиев), Саги (Жиенбаев), Сабырхан (Асанов). Очень внимательны ко мне. Аскар (Сулейменов) прямо-таки меня опекает на правах давней дружбы.

Сегодня в редакцию зашел Мусрепов. Вальяжный, степенный, подчеркнуто изысканный. Все вокруг забегали, засуетились, как послушные шакирды перед наставником-муллой. И я, робея, прочел ему свой перевод рассказа «Зов жизни». К моей радости и удивлению, перевод он одобрил. Сказал, что никакого другого переводчика не надо, теперь, мол, нужен только редактор. Читал я в кабинете Нурпеисова. Габе сидел в кресле редактора. Я -напротив. Аскар (С.) стоял рядом с ним. Я читал. Габе следил по тексту оригинала. Одобрительно мычал после каждого предложения. Изредка делал замечания: «Здесь, пожалуй, так надо. Здесь нужно подыскать другое слово». На мой вопросительный взгляд он поспешно ответил: «Вы найдете, найдете». Были и отступления. Габе говорил о жизни рыб. Пока он говорил, мы с Аскаром выкурили полпачки хороших сигарет, положенной Мусреповым на стол. Чтение, беседа длились два часа. В конце к нашей компании присоединился Абдижамил. Габе попросил меня отдать перевод машинистке и представить ему экземпляр.

Сам он собрался ехать в Южный Казахстан. Он был против названия «Серый-Ярый», которое я предложил. («У Ауэзова есть же «Серый Лютый»). Аскар, Абдижамил, я убеждали его, что это хорошо, особенно рьяно отстаивал это Абе. Габе спокойно выслушал, вроде даже как соглашался, но потом снова отклонял. Он предлагал оставить Коккаска. Я был против, Коккаска хорошо для казахов, для русских — пустой звук. Тогда Габе предложил: Голубой Меч. Аскар сказал, что «Голубой» — невыразительно, громоздко, не мужественно. Габе согласился. Крутили, крутили и так и сяк. Наконец Мусрепов предложил «Ярый-Кок». Все отметили, что это неплохо. Коротко, энергично. «Хорошо-то хорошо, заметил Аскар, окутываясь сизым дымом. — Но не лучше Серого-Ярого». Пусть переводчик еще подумает, — решил Габе. Я все-таки оставил «Серый-Ярый».

Оставил Мусрепов исключительно приятное впечатление.

❁ ❁ ❁

Запись в дневнике датирована 29 октября 1963 года. На казахском языке рассказ был написан в 1958 году. Выходит, столько лет его никто не переводил?

Судьбой перевода я не интересовался. Знаю, что рассказ вышел под названием «Зов жизни». Под переводами стояли разные фамилии. Но Серый-Ярый остался. В этом я убедился, заглянув сейчас в сборник «Однажды и на всю жизнь» («Жазушы», 1968). В содержании указано: перевод В. Мироглова.

❁ ❁ ❁

Переводить Мусрепова мне было интересно. Текст его сопротивлялся переводу. И редкие находки радовали. Однако все мои переводы оценивались главным образом как подстрочники, которые, на мой взгляд, безбожно уродовались обработчиками. И то, что Габит Махмудович не вмешивался в этот процесс, не отстаивал мой скромный труд, довольствовался мною, как «подстрочникистом», охладило мой пыл переводить его вообще.

А «перетолмачил» я следующие его произведения: «Зов жизни», четыре миниатюры из цикла «С натуры» (они не раз печатались в моем и В. Новикова сопереводе), «Первый фонтан», «Буранной ночью», «Би-ага», «Однажды и на всю жизнь» («Кездеспей кеткен б1р бейне»), «В пути».

Перевод «В пути» затерялся среди бумаг (перевод был одобрен автором в канун его 80-летия); в цикле «С натуры» я выступил сопереводчиком, в остальных переводах я оставался в роли безымянного «подстрочникиста». Позже предложены мне были для подстрочного перевода «Улпан» и «Пробужденный край». Но то по разным причинам не суждено было.

❁ ❁ ❁

Когда речь заходит о языке Мусрепова, мне тотчас приходят на память строки из его «Ахан Серы — Актокты», которые я, девятиклассник аульной школы, впервые услышал из уст своего учителя Жылгельды Муканова:

Бір қарамас,
Бір караса —
Қыз да көзін ала алмас.
Отпен ойнап,
Күйсе өшбес,
Іші күлсе —
Көзі жылап,
Қуанышын бір білдірмес
Қыздар-ай!

Попробуйте передать это по-русски так же упруго, игриво, мускулисто, лапидарно, ритмично, энергично. Сохраните ритм, архитектонику, созвучие, пластику, мелодику, и вы получите русского Мусрепова.

Сложно? Конечно. Может, даже невозможно? О том-то и речь.

❁ ❁ ❁

А иначе получится вот что:

«Зытып келемін, зытып келемін. Артыма қарай-қарай зытам... Зытып келе жатқаным — кашып келемін, артыма қарай беретінім — қорқып келемін».

Так начинается повесть «Қазақ солдаты». Для казаха это целая картина, динамичная, яркая, образная. Фраза передает состояние героя повествования в самый сложный, ответственный период его жизни, фраза определяет «дыхание», настрой, тональность всего произведения.

В русском переводе, многократно переизданном, эта фраза передана так:

«Я бегу и бегу... « (Пер. С. Злобина). И лишь через абзац, приблизительно к оригиналу, читаем:

«Я бегу, боязливо озираясь. Бегу потому, что решил удрать в город. А озираюсь потому, что страшусь погони и кары».

«Зыту» — не «жүгіру». «Зыту» — бежать без оглядки, опрометью, без задних ног, из последних сил, стремительно, быстро, «улепетывать», сверкая пятками. Словом, очень выразительный, эмоционально окрашенный глагол, и он повторяется трижды, усугубляя боязнь, страх десятилетнего пастушонка. «Мчусь, потому что удираю. А озираюсь, потому что боюсь». Таков смысл в корявом, буквальном изложении.

«Я бегу и бегу» — лишь нейтральная констатация. А то, что сказано через абзац с описанием природы, является лишь пояснением того, что случилось: «решил удирать в город», «страшусь погони и кары».

То есть, динамичной картины нет. Ритмомелодики нет. А потому и Мусрепова нет.

Или вот памятное предложение, которым начинается роман «Пробужденный край»:

«Тағы да таласып келіп, тағы да тақасып келіп қонып жатқан екі бай ауыл ақ үйлерін әлі тіккен жок, еді.»

О чем речь?

О том, что два богатых аула, вечно враждовавшие, вечно соперничавшие между собой, вновь сошлись бок о бок, стремя в стремя на тесном осеннем стойбище после раздольной летовки.

Сразу, в первом же предложении крупного художественного полотна, определен затяжной конфликт между двумя баями.

Это содержание. Вглядимся же в форму:

Тағы да таласып келіп,

Тағы да тақасып келіп...

Повтор «тағы да» («и вот вновь»), созвучие глаголов «таласып-тақасып» (примерно: «и вот вновь схлестнулись, и вот вновь сцепились»; «и вот вновь сошлись, и вот вновь столкнулись»), четкий ритм придают фразе упругость динамизм, напряжение.

В переводе Н. Гордеевой и В. Дудинцева читаем:

«И вот опять сошлись и теснят друг друга яростные соперники — два богатых аула: располагаются у ручьи Майкудук на очередную стоянку по пути к осенним пастбищам. Белые юрты пока не поставлены».

Формально близко. Однако многословно, вяло, расслабленно. Есть пересказ. Констатация. Сообщение. Динамизма, упругости, лаконичности оригинала нет.

Вообще, я заметил, в переводе на русский язык Мусрепова все время поясняют, «разжевывают», комментируют, дополняют. Для тонкого стилиста, экономного в словах прозаика это большой изъян.

Еще примеры:

«Сары атан ойлай қалса, әрине, атанша ойланар еді...»

(«Талпақ танау»)

«Если бы верблюд захотел подумать о жизни, то, разумеется, его верблюжья мысль не пошла бы дальше его верблюжьих понятий».

(«Тупорылые», пер. Л. Саввина)

Неуклюже, многословно, коряво.

«Ұсақ сықаққа қазекең қандай шебер... »

«Казахи исстари отличались умением посмеяться».

Между тем у автора: «До чего же наш казах — мастак позубоскалить!»

«Мария тура келді де:

— Мен-ақ бағайын, бірақ мен егінде екі кісінің жұмысын істеп жүрмін», — деді.

«Мария, *спокойная и гордая,* встала со своего места.

— Хорошо. Я так я! *Не отказываюсь, ничего позорного в этом нет.* Но предупреждаю: в полеводческой бригаде у меня и так две нагрузки».

Что тут скажешь? Многословно, вяло, инертно. Подчеркнутое отсутствует в оригинале.

Когда-то, лет тридцать назад, я довольно обстоятельно сравнивал русские переводы Мусрепова с оригиналом, делал немало выписок, и я мог бы на множестве примеров доказать наглядно, что переводы эти в большинстве приблизительные, корявые, неуклюжие и не дают подлинного представления о прозаике, мастере слова Мусрепове.

❁ ❁ ❁

Приведу несколько дневниковых записей разных лет, свидетельствующих о наших с Мусреповым контактах на переводческой стезе.

6 ноября 1965 г.

... После собрания ко мне подошел Мусрепов. Речь зашла о его рассказах в моем переводе.

— Вы бы прочли мой рассказ «Первый фонтан».

— Я читал.

— «Казправда» просит. Вы не будете переводить?

Я сказал, что не переводил «Фонтан», потому что он не относится к циклу «Қаз-қалпында».

— Может быть, вы посмотрите перевод Хамраева? Он перевел, но я не знаю, насколько художественно.

— Можно и так.

Договорились.

❁ ❁ ❁

24 ноября 1965 г.

Вчера утром Мусрепов прислал за мной машину. Меня доставили в Союз писателей. Поговорили о его рассказах. Г. М. дал мне перевод «Первого фонтана», сделанный Хамраевым. Сегодня внимательно просмотрел: перевод ужасный. Тяп-ляп. Придется мне не столько редактиро-

вать, сколько переводить заново... Щеголихин сообщил, что в «Иртышской правде» напечатан рассказ «Тимка» Мусрепова в моем и Новикова переводе.

❁ ❁ ❁

1 декабря 1965 г.

Закончил перевод «Первого фонтана». Перевел все заново... Все четыре рассказа Мусрепова из цикла «Қазқалпында» выйдут в первом номере «Простора». «Первый фонтан» отдал машинистке. Завтра вручу Мусрепову. Он хочет послать в «Известия».

❁ ❁ ❁

14 января 1967 г.

Вечером, около 9-ти, почтальон принес телеграмму: «Просьба Габита Мусрепова нам надо связаться вопросу перевода его прозаической поэмы позвоните мне либо простор либо домой. Белянинов».

Это даже приятно. Переводить Мусрепова очень трудно, но радостно.

❁ ❁ ❁

22 января 1967 г.

Начал работу над поэмой Г. М. «Кездеспей кеткен бір бейне». Не знаю, какое название придумать по-русски. С удовольствием перевел пятую главку. Вообще Г. М. переводить трудно.

❁ ❁ ❁

11 февраля 1967 г.

Все еще работаю над поэмой Г. М. После обеда неожиданно нагрянули Аскар (С.) с Зеке (К.). Нужно срочно перевести его пьесу. Придется Габе отложить. Жаль: осталась одна главка — два-три дня работы.

❁ ❁ ❁

19 апреля 1967 г.

17-го начался Пленум СП К... В перерыве позвали меня Мусрепов и Шарипов. Адеке попросил, чтобы я перевел заново «Оянған өлке», а после Пленума обязательно за шел к нему. Потом вместе с Габе походили взад-вперед по холлу на втором этаже, говорили о том, о сем. Похвалил он мой перевод поэмы. «Оңай аударыпсың ғой... Келістік деп есептеуге бола ма?» «Жоқ, он-он бес күннен кейін жауабын берейін». «Жарайды». «Аударатын болсам, ең кемі төрт ай отырамын». «Әрине, әрине. Ол ең кемі».

Адеке сказал: «Осы жігітке көптен бері көзім шауып жүр. Осыны жұмысқа алу керек». Габе согласно закивал головой. В таком духе продолжался разговор.

❁ ❁ ❁

17 мая 1967 г.

С Мусреповым был разговор на тему заключения договора на подстрочный перевод «Оянған өлке».

❁ ❁ ❁

Разговоров о переводе «Оянған өлке» было много, однако все упиралось в оплату. Союз писателей в то время платил «подстрочникистам» максимум 40 рублей за печатный лист, когда «обработчикам» ставка полагалась от 200 до 250 рублей. Делать подстрочные переводы Мусрепова за подобную мизерную сумму?! Обал гой, обал! И Мусрепов понимал, что обал («стыдно», «кощунственно», «несправедливо»), но дополнительной платы найти не мог.

— Ведь переводить вас адски трудно, Габе, — напоминал я.

Он усмехался, задумчиво кивал, соглашался.

— К тому же в вашем романе немало просто непереводимых мест.

— Тастап кетерсің (пропустишь), — смиренно говорил Габе.

Словом, до «Оянған өлке» руки мои не дошли. Кто сделал новый подстрочник и поныне не знаю. Наши переводческие контакты с Габе на долгие годы прекратились.

Мои современники

❁ ❁ ❁

Сделаю отступление. На переводы казахской прозы я извел немалую часть своей жизни. Находился в дружеских и творческих контактах со многими достойными прозаиками. И должен с сожалением признаться, что далеко не все из них относились ответственно к переводам своих творений. Для иных было важно издаваться по-русски, а как — барибир.

Долгие годы в Казахстане (да и везде на территории СССР) прибегали к так называемому двухстадийному методу перевода. Кто-то из неприметных-незаметных осуществлял по своему умению-разумению буквальный суррогат, подстрочник (чаще всего корявый, неумелый, шершавый, суконный), т. е. заготавливал «глину», потом какой-нибудь «мастер-ухарь», не имевший представления ни о писателе, ни о его республике, ни об истории, нравах-обычаях, ментальное его народа, редактировал, обрабатывал, переписывал на свой лад, т. е. лепил нечто из сырой глины, как Бог на душу положил.

В результате нередко рождались такие уродцы, что сам автор узнавал себя с трудом. А то и не узнавал.

Исключения случались лишь тогда, когда сам автор активно вмешивался в переводческий процесс, сам сверял подстрочник, вносил коррективы, работал бок о бок с «подстрочникистом», мучился вместе с ним в поисках адеквата, потом так же работал с художественным переводчиком.

Увы, на это не хватало ни сил, ни времени, ни терпения, ни характера, ни чутья, ни знаний.

Так складывалось искаженное представление у широкого читателя о национальных литературах.

Большое внимание к переводам своих произведений уделял Мухтар Ауэзов. Очень ответственно, щепетильно, скрупулезно, придирчиво до назойливости, до самоистязания относится к переводу своих произведений Абдижамил Нурпеисов.

У большинства же казахских прозаиков и поныне в переводческом деле несколько ослабленное, недостаточно строгое и ответственное отношение.

И сейчас не вижу особых сдвигов в этом вопросе.

❁ ❁ ❁

Потом, уже в начале 80-х, обратился как-то ко мне Сагат Ашимбаев: мол, старик очень хотел бы, чтобы вы перевели его очерк «Жол-жөнекей».

Сагата я любил. Мусрепова уважал. Принялся за перевод с удовольствием, вскоре завершил работу, а ни от Сагата, ни от Габе ни звука, ни слуха. Недели две спустя решился позвонить. Мусрепову...

❁ ❁ ❁

7 января 1982 г.

Набираю номер. Отвечает глухой старческий голос. Я его узнал, но на всякий случай спрашиваю по-русски:

— Могу я говорить с Габитом Махмудовичем?

— Я-я... слуш-шаю-ю-ю...

— Сәлеметсіз бе, Ғабеке, — перехожу на казахский. — Бұл Бельгер ғой.

— Кім?

— Бельгер...

— А-а-а... Бэлгер...

— Мен «Жол-жөнекей» аударып едім. Ең соңы сізге қалай көрсетсем екен?

Пауза. Слышу дыхание на том конце провода.

— Әлде өзім-ақ, газетке берейін бе?

Пауза, Мусрепов не только говорит врастяжку, с паузами, но и думает с паузами.

— Әрине, көруім керек еді. Бірақ мен бұл күнде журуге мықты қазақ болмай қалдым ғой. Сіз де, мен білсем, аяққа мықты емессіз ғой.

— Солайы солай, Ғабеке. Бірақ ...

— Бірақ, таяғыңыз бар ғой.

— Ия, аяғым да бар, таяғым да бар. Габе дребезгливо смеется: хе-хе-хе...

— Онда ертең сағат 11-де келе аласыз ба?

— Кел десеңіз — келемін.

— Әрине, кел деймін.

— Құп болады. Тек үйіңіздің...

— А-а-а... Үй былай. Төлебаев жақтан 130. Виноградовадан 49. Үшінші подъезд, пәтер — жиырма бес.

— Түсінікті. Дәл он бірде жетіп келемін.

❂ ❂ ❂

То, что было на другой день, я обстоятельно описал в эссе «Старость», опубликованном ныне в журналах «Парасат» и «Нива». Я прочел Габиту Махмудовичу перевод — предложение за предложением, абзац за абзацем, выслушал кое-какие замечания, получил одобрение. Я привык долгие годы видеть Г. М. подтянутым, бодрым, вальяжным, щеголеватым, эдаким джентльменом со степенно-важными манерами, знающим себе цену, а в тот день передо мной сидел очень одинокий, растерянный, полуслепой, полуглухой, заброшенный, озабоченный, неуверенный маленький старик. Помню, меня это ошарашило, поразило. Ой-хой, дүние! Вспомнилось! «Аяғы дүниенің ырың-жырың»...

Трагедия национального писателя в том, что, если его творчество не переведено достойно на русский язык, он обречен на локальное бытование. Еще хуже, если национальный писатель звучит по-русски ниже своего уровня. Тогда он предстает в искаженном виде и на других языках мира.

В литературе, в культуре своего народа Габит Мусрепов оставил глубокий, благородный след. О том свидетельствует его 100-летний юбилей. Творчество его живет в сознании потомков, писатель вступил в новый век. И он все еще в ожидании своего переводчика.

Таң-Шолпан «, № 5/2002 г.

ВОЗДУХ ЭПОХИ

(Памяти Мориса Симашко)

Голос, любимые словечки, интонации его до сих пор живо звучат в ушах.

В последние годы он звонил мне каждый вечер, часов в семь, после того, как заканчивал работу и прослушивал новости по «Свободе».

— Герольд?! — вопросительно-утвердительно спрашивал он и, убедившись, что я у телефона, произносил фразу из азербайджанского анекдота: «Ну, как живешь?»

— С удовольствием, — отвечал я, согласно тому же анекдоту, после чего Морис Давидович, вздохнув, пространно говорил о тревожных событиях в нашем взбаламученном мире, делился своими суждениями, забирался в дебри истории, перемежая свою вдохновенную импровизацию анекдотами, частушками, сочными, острыми, солеными русскими словечками, по части которых был виртуоз. Выражался он вообще красочно и энергично. Рассказывая, часто прибегал к своим любимым фразам-оговоркам: «Но дело не в этом» или «вот ведь в чем дело».

А заканчивал телефонный разговор традиционно:

— Ну, ладно. Ну, пока. Ну, давай.

Мы были знакомы без малого сорок лет. Особенно близко — в последние лет десять. Бывали вместе в командировках, заседали на многочисленных собраниях, активно участвовали в несметных конференциях, «круглых столах», регулярно общались в ПЕН-клубе.

Теперь я вынужден писать о моем старшем друге в прошедшем времени: он не дожил до нового XXI века ровно неделю, скончавшись в Бата-Яме (Тель-Авиве).

На смерть его откликнулись все казахстанские газеты, скорбная весть облетела всю Среднюю Азию, которую он

знал глубоко, описывал проникновенно, воспевал щедро и ярко, и где у него было много друзей и почитателей.

Уезжать из Алматы он не хотел. Уезжал мучительно — вынужденно, по семейным обстоятельствам. Всех уверял: «Вернусь. Устрою семью и вернусь. Куплю однокомнатную квартирку и буду писать. Работать могу только здесь. Здесь мои герои, история, тема, жизнь, судьба. Напишу еще два романа. Там, в Израиле, я не нужен. Никому. Ни я сам, ни мое творчество».

О том он написал искренне и президенту нашей страны. Не суждено было...

Прожил Морис Давидович в Израиле всего год и, судя по отдельным звонкам и признаниям, душевно неуютно.

Разные думы неотступно терзали его душу.

О том он исповедально написал в последней своей книге «Четвертый Рим». Заключительная фраза этой книги: «Может быть, и вправду бродят во мне какие-то дрожжи, не дают покоя... «

Да, такие дрожжи бродили в нем всегда, даже, казалось, в безмятежные минуты. И Дух его покоя не знал.

Слушать его было маняще интересно. Рассказчик был отменный, память — поразительная (помню, в гостинице «Семипалатинск» он ночь напролет читал мне на память Багрицкого и Шевченко, пел одесские частушки эпохи НЭПа), жизненных впечатлений — уйма, юмор — искрометный.

Он обладал удивительным даром ассоциативного мышления, чувством историзма и умел как-то ловко, я бы сказал, грациозно, а то и парадоксально сопоставлять и осмысливать разрозненные факты и явления бытия, подмечать потаенную суть, определять ее истоки, корни, выявлять главные звенья развития и видеть современность остро, неожиданно, сквозь призму давно прошедших событий.

О том ярко свидетельствуют его книги: «Повести Черных песков», «Хроника царя Кавада», «Повести Красных песков», «Маздак», «Искупление дабира», «Семирамида» «Падение Ха-набада», «Колокол», «Комиссар Джангильдин», «Путешествие в Карфаген», «Дорога на Святую землю», многочисленные статьи, киносценарии, пьесы, очерки, фельетоны.

Его произведения переведены на сорок языков мира.

Как определить жанр последней его книги, названной им «Четвертый Рим»? Это своеобразная литературная биография художника, в которой перемешались и исповедальная проза, и острая, злободневная публицистика, и мудрый анализ политических катаклизмов, и признание в любви к жизни и сотоварищам, и тревога за будущее, и завещание. Автор прибег к словосочетанию ВОЗДУХ ЭПОХИ. Этим воздухом эпохи и пропитано, пронизано, просвечено его последнее сказание. Он прислал рукопись, набранную на компьютере, своему другу и ровеснику — президенту казахского ПЕН-клуба Абдижамилу Нурпеисову. Я успел ее прочесть как раз в канун кончины автора. Вместе с двумя знакомыми отправил ему через Посольство Израиля поздравительную открытку. Убежден: и казахский, и русский, и инонациональный читатель прочтет последнюю книгу-аманат Мориса Давидовича Симашко с удовольствием и пользой.

След этого необычного писателя в литературе нетленен. Он неустанно думал о закономерностях движения Духа.

2001 г.

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ, НУЖНО ЖИТЬ»

Эта мудрая сентенция Антуана де Сент-Экзюпери в полной мере соотносима с судьбой и биографией прозаика, публициста, переводчика Алексея Борисовича Дебольского (он же, кстати, Шмелев, Стражевский, Шольц, Гуммельс и т. д.), которому в Новый год по старому стилю исполнилось восемьдесят лет. Своеобычная, неординарная личность. Маститый художник. Живой, со зрячей душой человек. Солидная, почтенная дата. Есть, как говорится, повод для разговора.

В конце 1965 года А. Дебольский приехал из Москвы в Казахстан в целях организации немецкоязычной газеты «Фройндшафт», первым главным редактором которой он пробыл более одиннадцати лет. С этого времени жизнь его неразрывно связана с Казахстаном. И эти три десятилетия стали для него в творческом плане, несомненно, наиболее существенными и продуктивными.

Много лет тому назад в интервью корреспонденту АПН для журнала «Зовьетунион хойте» Алексей Борисович сказал о себе так: «Я родился в 1916 году в Харькове. Это я знаю совершенно точно, хотя с тех пор и прошло так много лет. Мой отец происходил из семьи немцев-ремесленников, мать была дочерью русского интеллигента. Моя бабушка Паулине Шольц первой привила мне любовь к немецкой речи, к немецким народным песням и сказкам».

Известно, что все начинается с детства. И личность определяет ранняя среда. Так вот, немецкие сказки, украинские песни, русская речь — таковы три источника, три духовно-нравственные опоры, определившие судьбу будущего писателя. Этим и объясняется своеобразие литературной биографии Алексея Дебольского. Он двуязычный писатель в 200 конкретном, классическом смысле. Часть своих произведений (романы «Туман», «Свершение», повесть «Такое долгое лето!», пьесу «Великое испытание», ряд

рассказов, очерков, статей) он написал по-немецки и сам перевел на русский язык, другая часть (романы «Истина стоит жизни», «Простые смертные», книга рассказов «Огненная грива», серия путевых очерков и др.) написана им по-русски. Кроме того, он перевел с французского языка на русский роман М. Лафайет «Принцесса Клевская», с немецкого — роман Г. Нахбара «Дурная примета», с английского — объемистый том очерков об Индии. Перевел без подстрочника, непосредственно с языка на язык, как и подобает настоящему переводчику.

Прежде чем прийти в литературу, Алеке (так почтительно, на казахский лад, я его называю уже четверть века) просто жил — активно, полнокровно, не сторонним наблюдателем, не умозрительно, не созерцательно, не боясь набить себе шишек, раскованно, а порой и рискованно. Такова была сама жизнь, само время — с крутыми поворотами, колдобинами, бесконечными политическими кампаниями и общественно-социальными встрясками. Попробуй усиди в сторонке, когда вся страна вздыблена преобразовательными вихрями и глобальными катаклизмами. Ни одно из тех событий — классовая борьба, советизация, коллективизация, индустриализация, репрессии, война, восстановление народного хозяйства, беспощадные идеологические ристалища, разные оттепели, заморозки, застои и перестройки — не миновало активного, деятельного, по-интеллигентски либерального сына своей эпохи. По сути гражданская биография А. Дебольского вобрала в себя все «этапы большого пути» истекающего кровью XX века.

Рабочий-металлист, строитель, выпускник географического факультета Московского государственного педагогического института, педагог-воспитатель, потом газетчик в Магадане, участник второй мировой войны в качестве военного журналиста, сотрудник газеты «Тэглихе Рундшау» в Берлине, свободный литератор, организатор и главный редактор республиканской газеты на немецком языке «Фройндшафт» в Акмоле, персональный пенсионер, и, наконец, творческая работа — таковы основные вехи его жизненного пути. Он многое перевидел на своем веку, побывал в нескольких странах и бывший Советский Союз исколесил изрядно, недаром одна из его очерковых книг называется «От Белого моря до Черного».

Казахстанский период жизни А. Дебольского (а были «московский», «магаданский», «берлинский») связан с консолидацией немецких творческих сил вокруг газеты «Фройндшафт». Он проявил себя отменным организатором, привлек к работе в газете именитых (и не очень) немецких литераторов старшего поколения — Р. Жакмьена, Э. Кончак, К. Вельца, Д. Вагнера, Л. Маркса, А. Гассельбаха, Р. Претцера оставивших заметный след в истории национальной культуры. (К большому горю, ни одного из названных лиц в живых уже не осталось). То был славный период немецкой литературы в Казахстане, согретый розовыми надеждами. У меня сохранились сотни и тысячи писем немецких литераторов того памятного времени как знак тех надежд, как документы человеческих судеб. С деятельностью А. Дебольского связано и становление популярной литературной страницы газеты «Фройндшафт», на которой увидели свет многие произведения немецких литераторов всего бывшего Советского Союза.

В те годы, работая в основном в русле немецкой культуры, Дебольский занимал в литературе российских немцев (тогда, впрочем, говорили «советских») все же особое место. У него была иная биография, особенная судьба, более широкий и затейливый диапазон жизненных впечатлений и творческих интересов, более искушенная техника письма, более богатая и разнообразная художественная палитра, поэтому ни по тематике, ни по читательскому адресу, ни по бытовому колориту в его произведениях не доминировали локально характерные черты, свойственные большинству российских немецких литераторов, особенно старшего поколения.

Любой писатель, претендующий на свой голос, на собственное лицо в литературе, должен, конечно же, обладать чувством времени. Все произведения А. Дебольского — какого художественного уровня они ни были — свидетельствуют, на мой взгляд, о том, что писатель обладает этим основополагающим качеством. Всему его творчеству свойственны широта охвата и глубина художественного осмысления явлений и тем во времени и пространстве. Примером тому служат все его этапные произведения: первый роман «Истина стоит жизни» (1960) о национально-

освободительном движении, пробуждении «черного» континента; роман «Туман» (1971), воскресивший эпизоды сложной жизни на Украине в двадцатых годах; повесть «Такое долгое лето!» (1975), запечатлевшая в своеобразном юмористическом ключе жизнь и быт многонационального целинного совхоза в Центральном Казахстане; пьеса «Великое испытание» (1981), достоверно воссоздавшая картины активной борьбы советских немцев на Украине с гитлеровским фашизмом; роман «Свершение» (1987), совмещающий разновременные пласты жизни нашего соотечественника, участника великой войны, осмысляющего прошлое и настоящее на фоне громадных потрясений и перемен в двух странах — Советском Союзе и Германии; и наконец, многоплановый, широкоохватный роман в трех частях «Простые смертные», увидевший свет пока лишь в журнальном варианте («Простор», 1993—1995 гг.). Об этом романе А. Дебольского, думаю, разговор еще впереди. На мой взгляд, это честное, правдивое повествование, своеобразная исповедь о судьбе нашего народа, его старшего поколения, ввергнутого в драматический водоворот событий тотально трагической эпохи. Роман колоритно, обнаженно, прочувствованно воссоздает живую атмосферу той, казалось, на наших глазах (я имею в виду мое поколение) прошедшей эпохи, глубокое, всестороннее художественное осмысление трагизма которой, видно, удел не одного мастера пера. В моем понимании, роман «Простые смертные» А. Дебольского — крупный успех автора, заметное явление в нашей казахстанской литературе.

Сквозной герой этого многопластового «повествования от третьего лица» уже в глубоком возрасте, в горькой раздумчивости говорит: «Сколько добра недоделано в жизни! Все хотят коренных превращений. У немцев есть прелестное выражение: «Weltverbesserer» — улучшатели мира. Сколько шишек они наставили себе и людям! А надо — делать добро ближнему. Ведь только за этим мы и родились на свет».

Просто и мудро. Знаю: таков жизненный штандпункт и А. Дебольского. О том свидетельствуют и его жизнь, и его творчество.

1996 г.

In memoriam Alexej DEBOLSKI

Звонок был ранний и неуверенный, а голос на том конце провода — робкий, тихий, незнакомый. «Кирилл Дебольский», — едва расслышал я. «Из Германии?» — невольно вырвалось у меня, удивленного плохой слышимостью. «Нет... из Акмолы...», — с запинкой произнес уже не совсем русский голос, с едва уловимой «иностранщинкой». И я сразу догадался о случившемся.

Теперь о моем дорогом Алеке — так я его звал в течение десятилетий на казахский лад — я вынужден писать в прошедшем времени.

Это трудно. Не только душа — перо сопротивляется выводить на бумаге короткое слово — был.

Мы были знакомы с 1971 года. Знакомы — не то слово. Точнее, пожалуй, будет сказать — дружили, несмотря на заметную разницу в возрасте и жизненном опыте.

Мы часто встречались в Москве, Истре, Акмоле, Алма-Ате, долго и обстоятельно беседовали, четверть века играли «в шахи» по переписке — это стимулировало и упорядочивало регулярность нашего общения. Каждый ход — письмо, и таким образом мы написали друг другу несколько сот — а, может, и тысячу писем (я их почти все сохранил), делясь всем, что нас волновало, впечатляло, происходило с нами и вокруг нас, делились планами — житейскими и творческими. Связь никогда не терялась, даже если я находился, скажем, в Ташкенте, а он в Германии, и потому впечатление было такое, будто с начала 70-х годов до роковой субботы 19 июля 1997 года мы никогда не расставались. Все его основные произведения — романы «Туман», «Свершение», «Простые смертные», юмористическая повесть «Такое долгое лето!», пьесы «Большое испытание», «Министр районного масштаба», сборник рассказов «Когда мы были молоды», многочисленные стихи, очерки, статьи, написанные им по-русски или по-немецки или переведенные им с языка на язык, — создавались, так сказать, на моих глазах, и мне известны все перипетии их творческого вынашивания и выхода в свет в издательствах Москвы и Алма-Аты.

А до нашего знакомства — напомню читателю — А. Дебольский опубликовал роман «Истина стоит жизни», очер-

ковые книги «Как дела на деревне», «От Белого моря до Черного», сборник рассказов «Огненная грива», а также несколько переводных книг с немецкого, английского, французского языков на русский.

Он был основоположником республиканской немецкой газеты «Фройндшафт», главным редактором которой пробыл одиннадцать лет. И неотъемлемой его заслугой является то, что он сумел консолидировать вокруг газеты основной костяк российских немецких литераторов послевоенного периода. Уверен: это ему зачтется и на том свете!

Он был незаурядным литератором, самобытным журналистом, прекрасным организатором, обаятельным, высокой культуры интеллигентом, светским, мобильным и увлеченным человеком масштабного мышления и кругозора. В истории литературы российских немцев он оставил заметный след, жил в контакте с большинством немецких литераторов, активно переписывался с ними, будучи редактором, способствовал их творчеству, пропагандировал его, сам работал в русле этой литературы, достойно представлял ее, ратовал за нее, где только это было возможно — в России и Германии.

Он был очень общительным, легко сходился с людьми. Его уважали и любили. Он был в числе учредителей Казахского ПЕН-центра, часто навещал Алматы, имел здесь много искренних друзей. Несмотря на почтенный возраст, увлекался всеми новшествами и оригинальными идеями.

Весной, в апреле, он последний раз навестил Алматы, красотой которого неизменно восхищался. Жил в ПЕН-клубе, побыл в Союзе писателей, редакциях «ДАЦ» и «Простора», в Немецком доме, издательствах, встречался с А. Нурпеисовым, М. Симашко, А. Кекилбаевым, В. Владимировым, каждый вечер бывал у меня. Был полон творческих задумок. Искал спонсоров для издания своего главного романа — «Простые смертные» — отдельной книгой.

Последнее письмо его было датировано 4 июля 1997 г. Он прислал мне публицистическую статью для «Феникса». В письме было несколько горьких фраз: «Все плохо. Никто не помогает, никому я оказался не нужен... боюсь, что затормозится производственный процесс и неизвестно, когда осуществится издание», «... то и дело наведывается

доктор Депрессарио... «. «Выяснилось, что слишком долгое пребывание в одиночестве все же и такому аляйнгенгеру, как Ваш покорный слуга, противопоказано».

В письме он сообщал также об успехах сына-врача в Германии.

«В будущем году, если доживу, съезжу понаслаждаться настоящей жизнью...» Не суждено было...

Бог даст, я еще напишу о нем более подробно, как о писателе, гражданине, человеке. «Озвучу» его письма, в которых отразился дух его времени и многогранная его личность. Но это будет потом, а сейчас я пишу эти спотыкливые строки, когда Алеке еще не предан земле, еще до похорон в Акмоле, где он прожил 32 года. И эти мои беглые заметы — мой поминальный венок на его могилу, да будет земля ему пухом.

21 июля 1997 г.

ПРИЯТНАЯ ВЕСТЬ ИЗ БЕРЛИНА

(О книге «Фольк унд Вельт» и ее авторе)

Из Берлина пришла бандероль. В ней объемистая -в 380 с. — книга. В переводе с немецкого называется «Фольк унд Вельт. Автобиографические свидетельства об одном легендарном издательстве». Автор книги — Леонгард Кошут. Большинство литераторов бывшего СССР называют его просто Лео. «Дорогой Лео», — так обращаюсь я к нему в письмах уже тридцать лет.

Не знаю, говорит ли нынешнему поколению казахстанцев о чем-то само название книги и имя автора. А для литераторов моего поколения (и не только казахстанцев, а всех, без исключения, республик бывшего СССР) и само издательство «Фольк унд Вельт», и его многолетний заведующий отделом советской литературы — общительный, элегантный, обаятельный, добрый человек и признанный литературный критик, литературовед, эссеист, переводчик, составитель книг и редактор Лео Кошут стали поистине легендарными.

Верный друг многих выдающихся советских и постсоветских писателей многонационального СССР Лео Кошут пользовался в течение десятилетий заслуженным авторитетом и любовью и у казахстанских литераторов. Кстати, то же можно сказать и о его супруге, известной переводчице с русского языка Шарлотте Кошут.

О штандпункте

В письме от 13 сентября 1998 года автору этих строк Лео Кошут пишет:

«... Все мне жаль, что не удалось больше сделать — и во времена ГДР и после, когда мне мерещилась целая библиотека «ex orient!», начиная с уже намеченной книги

Абиша, а вышли только первые две книжки библиотеки — издательство целиком провалилось. Но все тридцать лет, которые я проработал в издательстве «Культур унд Фортщритт» («Фольк унд Вельт») оно потом так и называлось просто «Фольк унд Вельт») я отстаивал убеждение, что мы издаем не просто советскую литературу, а определенные национальные литературы со своими традициями и особенностями. Это, во-первых, многие не понимали (бывали и идеологические страхи), а во-вторых, это сталкивалось с интересами других редакций.

А что касается самого моего занятия отдельными национальными литературами, в том числе казахской (и казахстанскими), то я сам был бы намного беднее без него, был бы просто другим (во взглядах на мир менее богатым) человеком. В этом отношении меня обогатило даже то, что я прочитал, но чего я не смог пробить в планы издательства...»

Немного подробнее о самом авторе книги «Фольк унд Вельт»

Заслуги Лео Кошута (Leonhard Kossuth, Берлин, род. 25. 07. 1923 г. в Киеве) в популяризации литературы нынешних стран СНГ, в том числе и казахской литературы, бесспорно, огромны. Более тридцати лет (1958-1989) работая последовательно заместителем главного редактора, а потом главным редактором, заведующим отделом советской литературы в издательстве «Культура и прогресс. Народ и мир» («Kultur und Fortschritt. Volk und Welt», Берлин), он все свои силы, знания, талант и незаурядные организаторские способности по велению сердца интернационалиста и гуманиста посвятил пропаганде лучших образцов русской и многонациональной литературы экс-СССР на немецком языке (А. Блок, В. Маяковский, М. Булгаков, А. Платонов, К. Симонов, В. Тендряков, Ю. Трифонов, Д. Гранин, О. Сулейменов, М. Слуцкис, Ч. Айтматов, Б. Окуджава, С. Чиладзе, А. Кекилбаев, Ю. Рытхеу и многие-многие другие).

Лео Кошут и сам успешно переводит на немецкий язык многих выдающихся русских и национальных писателей, составляет книги, пишет предисловия и послесловия к ним, статьи о них в немецких периодических изданиях, организовывает радиопередачи, состоит в постоянном

творческом контакте с крупнейшими писателями бывшего Советского Союза.

Особенно следует подчеркнуть его давние и плодотворные контакты с казахской литературой. В течение 60-80 годов он неоднократно приезжал с группой редакторов и переводчиков в Казахстан, налаживал живую творческую связь с казахскими литераторами, знакомился с их творчеством, отбирал наиболее достойные произведения для перевода на немецкий язык и с любовью и тщанием профессионально издавал их в издательствах Берлина «Фольк унд Вельт» и «Ауфбау» (в последнем издательстве долгие годы работала его жена Шарлотта Кошут, переводчица и литературовед, также много сделавшая в деле пропаганды литературы народов СССР).

Вот перечень книг казахстанских писателей, увидевших свет в Германии (бывшей ГДР) благодаря непосредственному участию Леонгарда Кошута:

1. Тахави Ахтанов. Грозные годы. 1960.
2. Мухтар Ауэзов. Путь Абая. 1961.
3. Мухтар Ауэзов. Серый лютый. 1962.
4. Мухтар Ауэзов. Выстрел на перевале. 1964.
5. Ануар Алимжанов. Стрела Махамбета. 1971.
6. Абиш Кекилбаев. Баллады забытых лет. 1972.
7. Мухтар Ауэзов. Лихая година. 1974.
8. Дукенбай Досжанов. Полынь и цветы. 1975.
9. Абиш Кекилбаев. Хатынгольская баллада. 1975.
10. Сатимжан Санбаев. Когда жаждут мифа. 1976.
11. Морис Симашко. Маздак. 1976.
12. Белая аруана. Рассказы казахских писателей. (Предисловие З. Клейнмихель, послесловие Мурата Ауэзова) 1979.
13. Оралхан Бокеев. Когда уходят Плеяды. 1980.
14. Морис Симашко. Емшан. 1980.
15. Абиш Кекилбаев. Конец легенды. 1980.
16. Олжас Сулейменов. По азимуту кочевых народов. 1981.
17. Морис Симашко. Искупление Дабира. 1981.
18. Антология «Десять советских немецких писателей» (Послесловие Герольда Бельгера). 1982.
19. Абиш Кекилбаев. Степной колодец. 1982.
20. Абиш Кекилбаев. Соломинка удачи. 1985.
21. Дукенбай Досжанов. Шелковый путь. 1987.

Примечательно, что под непосредственным руководством жены Л. Кошута — Шарлотты в издательстве «Ауфбау» были красочно изданы романы Абдижамила Нурпеисова «Сумерки», «Мытарства», «Крушение», который в 1973 году пригласил супругов Кошут в Алматы, где они в юрте зоотехника Турсунбая Биримкулова (в Узун-Агаче) нарекли именем Шарлотта его новорожденную дочь, ставшую, таким образом, их названной дочерью.

Лео Кошут по-прежнему не теряет связей с Казахстаном, переписывается со многими, пишет и составляет книги, с радостью встречается со всеми казахстанцами, бывающими в Берлине.

О чем книга?

Ныне принято ругать или — по крайней мере — снисходительно-скептически говорить о том, что и как было в социалистической ГДР. Впрочем, такая же тональность нередко звучит в досужих измышлениях иных бойких перерожденцев, когда речь заходит и о СССР. Я прожил большую часть своей жизни в той эпохе, видел и испытал на себе все ее прелести в кавычках и без, да и личных обид полный мешок, однако и поныне вся моя душа противится тому, чтобы однозначно, одномерно охаивать все прошлое. Что было, то было... В социальном, культурном отношении, несомненно, был и позитив, о котором ныне можно вспоминать только с сожалением и тоской. В данном случае я имею в виду культурные, творческие, книгоиздательские контакты между разными республиками и странами. Были благие явления, которые капиталистической эпохе и не снятся. Которые воспринимаются в век золотого тельца как легенда.

Вот об одном из таких ярких и светлых явлений той эпохи — о легендарном издательстве «Фольк унд Вельт» в ГДР — обстоятельно, с конкретными фактами, выверенными ссылками повествует берлинец Леонгард Кошут,более тридцати лет плодотворно служивший духовным контактам двух ныне не существующих стран — СССР и ГДР.

На долю Лео Кошута выпал счастливый жребии, высокая духовная миссия быть верным другом, деятельным издателем, блестящим переводчиком, пропагандистом, благо-

желательным критиком и знатоком русской (классической и современной) и многонациональной, так называемой советской литературы. За долгие годы работы в издательствах «Культур унд Фортшритт» и «Фольк унд Вельт» (впоследствии объединившихся) он ежегодно по два-три раза приезжал в Москву (как правило с группой редакторов — специалистов по той или иной литературе), объездил все республики, завел личные творческие контакты с общественными организациями, издательствами, редакциями журналов, а также с подавляющим большинством известных писателей необъятного СССР.

Организация, структура, направление, творческие поиски, талантливый коллектив издательства, сложные перипетии по изданию той или иной книги, серий, переводческие проблемы, непростые деловые отношения с властью (известно, что по части бюрократии немцы, пожалуй, впереди планеты всей), многочисленные встречи с писателями, читательские конференции, комические, трагические, щепетильные ситуации, интриги (как же без них в творческой жизни?), дружба и благородство и многое, многое другое все — вместе являются объектом книги, ее содержанием и пафосом.

Книга читается с неослабевающим интересом. Лично мне в ней многое знакомо. Знакомы имена и судьбы немецких писателей, издателей, редакторов, литературоведов, в т. ч. и тех, кто в годы фашизма жил в СССР, а позднее работал в московской газете «Нойес Лебен» и других изданиях Москвы; знакомы русские и национальные литераторы (особенно азиатских республик); в курсе я также многих поездок Кощута и его коллег по городам и весям нашей страны. С 1973 года нахожусь в переписке и с Кошутом, и со многими его сотрудниками, десятилетиями был как бы внештатным информатором этого издательства по казахской и российско-немецкой литературам, встречался с Лео в Алма-Ате, Москве, Берлине в официальной обстановке и в домашнем кругу, и потому все, о чем повествует автор в своей книге, я воспринимаю с сердечным трепетом, как нечто родное и близкое. Да и многое из того, что Лео Кошут написал и издал, он считал нужным мне регулярно присылать. И все его письма я бережно храню как документ эпохи.

Все вскользь перечисленные мною выше темы нашли отражение в книге Лео Кошута в подробном изложении с вкраплениями в виде статей, фрагментов, интервью, бесед, фотографий, справочной литературы, живо свидетельствующих о времени и людских (писательских) судьбах.

Как построена книга?

Книга построена по принципу линейного повествования, т. е. строго хронологически от образования издательства до потери его статуса в связи с распадом ГДР. Время и место повествования распределены по 37 главам, подчиненным определенной теме. Вот некоторые названия глав: «Эпилог в качестве пролога» (речь здесь идет об истоках издательства, его основателях, предшественниках и политической атмосфере того времени), «Приход к «Культур унд Фортшритт» (процесс взаимодействия и постепенного слияния двух издательств), «Битва в пути» (трудный путь становления издательства), «13 августа 1961 года» (сложные идеологические перипетии в литературном и издательском деле), «Путь к национальным литературам» («Фольк унд Вельт» издало литературу 23 народностей ; СССР), «В поисках идеальной структуры» и т. д.

В эти главы вкраплены статьи, вставные новеллы типа «Абай в Берлине», «Маяковский в Германии», «Из Дома дружбы», «Алма-Ата — культурный центр российских немцев», «Наш партнер — журнал «Советская литература», «Есенин и его переводы на немецком», «Трифонов — Айтматов — Быков — Чиладзе», а также ряд бесед, интервью с Айтматовым, Граниным, Анаром, Окуджавой, Марцинкявичюсом, Слуцкисом, Рытхеу и др.

Национальным литературам бывшего СССР в книге Л. Кошута уделено много внимания. Скажем, литовской, латышской и эстонской литературам посвящена отдельная глава (13-ая); молдавской — отдельная (16-ая); в другой главе речь идет исключительно о литературе Казахстана и российских немцев (17-ая). По отдельной главе выделено в книге русской, украинской и белорусской; киргизской, узбекской, таджикской, туркменской; грузинской, армянской, азербайджанской литературам. Кошут увлекательно расска-

зывает о своих поездках в эти республики, о многочисленных встречах с местными литераторами, о творческих контактах, об отборе рукописей, о переводе и издании книг. Эти главы, уверен, вызовут ностальгию у многих писателей советской эпохи. Ведь тех контактов, встреч, декад, бесед в многочисленных Домах творчества, взаимопереводов, взаимопроникновений, взаимовлияний ныне и в помине нет, все национальные литературы варятся в собственном соку и что творится в культурной и духовной жизни соседей, также никто не знает. И это одна из самых больших потерь, бед, которые принес «парад независимостей». И своей книгой Л. Кошут напоминает нам о том благодатном времени, называя поименно всех друзей «большой» литературы большой страны, которые честно и достойно представляли и свой народ, свою национальную литературу, и ту страну, выпавшую ныне из истории. Братство и дружба национальных литератур явились той прекрасной реальностью, о которой следует помнить. Книга Кошута -яркое и живое свидетельство той неизбывной поры.

Одна глава книги Кошута посвящена переводчикам советской литературы на немецкий язык. В ГДР их выросла целая плеяда. Наиболее известными переводчиками были Г. Гупперт, Г. Ангарова, Т. Решке, Е. Пацунг, Э. Тиле, О. Арндт, К. Лихтенфельд, В. Элерт, Ш. Кошут, Х. Бурк, Р. Ланда, И. Чертнер, Х. Хербот, В. Арндт, И. Шредер, Г. Кюбарт, А. Франк и многие, многие другие. С некоторыми из них я был знаком, с иными переписывался, переводы многих я сравнивал-сопоставлял с оригиналами и должен сказать, что это были прекрасные мастера, знатоки языков, относившиеся к своему делу ответственно и творчески. Они, как правило, переводили с русского. Но в «Фольк унд Вельт» группировались знатоки и национальных языков, переводившие на немецкий язык непосредственно с латышского, эстонского, литовского, грузинского, украинского языков. Я знаю, Зигрид Клейнмихель делала попытки переводить непосредственно с казахского. Сейчас я с тревогой и тоской думаю: что стало с этими кадрами, оказались ли они востребованными в нынешнем ФРГ? Прекрасным переводчиком зарекомендовал себя и сам Лео Кошут. В его книге там и сям воспроизведены его стихо-

творные переводы из Лермонтова, Окуджавы, Казаковой, Абая. Они отмечены глубоким проникновением в стихию оригинала.

Любопытны встречающиеся в каждой главке своеобразные короткие вставки под названием: «Рассказать вам про один случай?» Эти лапидарные зарисовки, картинки являют собой какой-нибудь интересный факт или забавный случай из встреч и путешествий автора, отражающие дух эпохи или определенную ситуацию. Эти вставки весьма колоритно оживляют повествование.

Выгодно и эффектно дополняет книгу ее справочный материал. Тут и библиография всех изданий, увидивших свет в издательстве «Фольк унд Вельт» в промежуток между 1987-2001 годами, я насчитал 162 названия книг, не считая вошедших в отдельные самостоятельные серии. Впечатляющая, наглядная картина широкомасштабной деятельности.

Отдельной главой воспроизведена в книге персональная библиография автора: его издания, предисловия и послесловия к книгам, переводы, интервью, очерки, эссе, выступления по радио, публикации в газетах и журналах. Они составляют также солидный творческий багаж. И свидетельствуют о том, что Лео Кошут никогда не сидел сложа руки.

В конце книги дан список имен, встречающихся в книге в порядке немецкого алфавита от Абая до Цветаевой — несколько сот имен. Наиболее часто упоминаются в книге Гранин, Окуджава, Айтматов, Трифонов, Эренбург, Маяковский, Есенин, Евтушенко, Шредер. Из казахстанских литераторов в книге упоминаются Абай, Ауэзов, Мустафин, Ахтанов, Алимжанов, Нурпеисов, Кекилбаев, Бельгер, Курманов, Исабаев... С особенной любовью пишет Лео Кошут о Казахстане, о казахских писателях, о том, как в 1973 году его с женой пригласил в Казахстан Абдижамил Нурпеисов, как щедро и радушно их принимали в городе, в степи, как жили в юрте, сколько было радостных встреч и незабываемых впечатлений. В книге представлены 66 фотографий, три из них отражают казахстанскую тематику. Увидела книга свет в Берлине в издательстве «Нора».

❁ ❁ ❁

Лео Кошут должен (обязан) был написать эту книгу (кто, если не он?!), и он ее написал. Честь ему и слава!

О ярких страницах наших недавних духовных и культурных контактов мы должны были знать, и мы о том узнали. Важнее, понятно, чтобы о том знали и помнили грядущие поколения. Наш германский коллега и собрат написал книгу полезную, поучительную, правдивую, убедительно поведал о том, что сам видел, пережил, перечувствовал, положив в фундамент духовного единения культур и народов, по-абаевски выражаясь, крепкий кирпич. Мы, его казахстанские друзья, приветствуем выход его книги и благодарим за добрую, неизбывную память, за совершенные им в нужное, непростое время благородные деяния.

«Тан-Шолпан»,
№ 3/2002 г

СЫН ОТЕЧЕСТВА

Создатель явно благоволит к нему: щедро одарил его всем — многогранным талантом, яркой внешностью, звучным голосом, общественным темпераментом, обаянием и артистизмом.

Он, можно сказать, баловень судьбы.

Избранник земли, если воспользоваться емкой формулой Гете.

Его знают во всем мире главным образом как Поэта и общественного деятеля.

Но он еще блистательный лингвист, тюрколог, историк, культуролог. И во всех этих ипостасях он выступает броско, масштабно, оригинально.

Абай говорил: не будь сыном отца, будь сыном Отечества.

Олжас из этого славного племени.

Он неустанно утверждает великие истины: мир един, культура едина, каждый народ внес достойный вклад в мировую цивилизацию, все мы — Земляне.

Нет Востока
И Запада нет —
Два сына есть у отца!

Олжасу шестьдесят. Он полон сил, энергии, идей, любви. И он по-прежнему красив. «Поэт красивым должен быть, как Бог!» Его слова. Искренне поздравляю его со славным юбилеем!

8 мая 1996 г.

ОН БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПИСАТЕЛЬ, И ШИРЕ, ЧЕМ ПОЛИТИК

(К 60-летию Абиша Кекилбаева)

В последние годы мы встречаемся и общаемся все реже. И вращаемся в разных сферах. Он, маститый художник и видный государственный чиновник, обитает на Олимпе власти. Я, пролетарий пера, все больше тяготею к ропщущим низам. Да и живем мы с некоторых пор в разных городах: он — в стольном граде, я — в провинции, все более обретающей облик покинутой жены. Но нить духовного братства и дружбы, благодарной памяти и родства судеб, скрепленная взаимными творческими интересами, слава Аллаху, не ослабела, не оборвалась...

А встретились мы впервые без малого сорок лет назад на квартире Абдижамила Нурпеисова, которого молодая литературная поросль уже тогда почтительно называла «шал» — «стариком». Чернявый, худощавый, кудрявый, живоглазый юноша с неведомого мне тогда диковинного полуострова Мангышлак обаял меня сразу же. В скромном кабинете Абе мы пробеседовали с вечера до утра «Умный парень», — записал я потом в дневнике. Будучи старше на пять лет, я тем не менее явственно ощутил его интеллектуальное, духовное превосходство.

За свою жизнь Абиш успел написать немало: романы, повести, рассказы, очерки, публицистические статьи, исследования, драмы, переводы, стихи, либретто. Все вместе составит, полагаю, томов десять. Это добротные художественные творения, отмеченные талантом и высоким философским накалом. Об этом свидетельствует и тот факт, что большинство его произведений переведены на многие языки мира, включены в авторитетные антологии, вошли в оборот научной и художественной мысли, приковали внимание многих издательств и крити-

ков. Особенно популярен он был в бывшей ГДР, где неоднократно издавались наиболее значимые его книги и где особенно активно писали о нем критики. И при этом он умудрялся всегда служить государству, занимая ответственные посты и уделяя этой работе — зачастую невидимой, рутинной, изнуряющей и далеко не всегда благодарной — уйму времени, сил, здоровья, страсти. То, что ему удавалось сочетать творчество с высокой службой, достойно изумления и восхищения.

Но сколько осталось неосуществленных замыслов — страшно подумать! Об этом знают лишь он да кое-кто из близких друзей. Разумеется, каждый сам распоряжается своим Божьим даром. Однако жертва, принесенная им во имя государственной службы, слишком огромна и, может, неоправданна, несопоставима с неродившимися гипотетическими творениями. Государство поступило опрометчиво, неразумно, использовав его реднайший талант не по назначению. Декоративные регалии, ирреальная, показушная жизнь власти, если и не губительны, то во всяком случае абсолютно бесплодны, обременительны, ничтожны для истинного художника. Конечно, он не просто протирал штаны в высоких креслах: давал в полном смысле ценные указания, формулировал некоторые истины, создавал политически-интеллектуальный фон. И не знаю, кто бы смог сделать это лучше, чем он.

Абиш Кекилбай — фигура заметная, колоритная, быть может, даже знаковая в когорте шестидесятников на казахстанском небосклоне. История, которой он верно, по-рыцарски служит, в благодарность отвела ему почетное место на литературном и политическом торе. В формировании национального самосознания соотечественников, в подготовке духовной ауры независимости в сложный переходный период он, несомненно, сыграл видную роль. В казахстанском общественном сознании он больше, чем писатель, и шире, чем политик. Я не очень уверен, применимо ли к нему древнее слово дееписатель в его первоначальном, библейском значении. Как мне чудится, и это определение снижает духовное реноме Абиша, ибо одна из граней этого понятия — высокопоставленный чиновник, советник царя, — а это, уверен, явно ограничивает, сужает суть

его субстанции. Всей своей внутренней сутью, мощным интеллектом вкупе с примечательным, сановным внешним обликом, дородной статью, крупной головой, шишковатым лбом, цепким, внимательным взглядом — он гармонично вписывается в свою почтенную веху жизни, называемую казахами «ата жасы», возрастом зрелого мужа.

Вполне понятно, что в эти дни в желающих «пролить пузырек хвалебного елея», если воспользоваться выражением Л.Леонова, недостатка не будет. И на правах давнего сотоварища-друга я также позволю порассуждать о нем вольно, не впадая, поелику возможно, в «любилейный» панегирик.

Итак, что означает в моем понимании явление по имени Абиш Кекилбай? Попробую определить это хотя бы пунктирно. Его постигли ранняя мудрость и проницательность, чему способствовали его истоки. А истоки эти своеобразны и даже уникальны. Я имею в виду его отчий край, диковинный, полный чудес Мангышлак с его Устюртом, с каньонами и меловыми горами, пещерами и склепами, древними тропами и погостами-мазарами, мифическими святыми и калейдоскопическим сплетением исторических судеб. Любознательный большелобый малец с влажными верблюжьими глазами вырос в этой среде, впитал дух, речь, музыку этой фантастической земли, и эхо древности, баллады забытых лет разбудили его душу, облагородили сердце. К священным истокам его я отношу и мать, которая и поныне, на десятом десятке лет, продолжает поражать нас добрым сердцем, зорким умом, живой памятью, высоким благородством и сочной казахской речью.

Все остальное — дух и зов далеких предков, острое чувство национального, тяга к истории, кругозор, философичность, аналитизм и склонность к широким обобщениям, выявление общих корней истории и культуры, тоска по утраченным идеалам, патриотизм и гуманизм, ответственность перед Временем — производное истоков — матери Земли, матери Истории, Матери, давшей жизнь.

Поражает широта и глубина его познаний. То, что он сведущ и искушен в литературных, искусствоведческих, исторических, философских, культурологических, религиоведческих, этнокультурных, политологических, языковед-

ческих премудростях для гуманитария широкого профиля понятно и объяснимо. Однако помимо этого многие из нас являются свидетелями того, как он, работая в высших представительных органах, вникал в тончайшие нюансы множества других наук и разговаривал на равных с юристами, экономистами, аграриями, демографами, свободно пользуясь их терминологией и делая бесчисленные ссылки на капитальные труды ученых всех мастей. При этом его нельзя упрекнуть в легковесности любознательного всезнайки. Любую тему он склонен разворачивать основательно, широко, дотошно, обрушивая на голову собеседника столько информации, что приходится зачастую молить о пощаде: не всякий мозг в состоянии выдержать подобный груз сведений. Я в этом не раз убеждался, бывая с ним в поездках по Казахстану, в Москве, в Германии, на представительных научно-практических «посиделках» и на других встречах.

Не стану вдаваться в расшифровку тем и мотивов, характерных для творчества Абиша, но считаю необходимым напомнить основные книги писателя, в которых наиболее мощно и выпукло отразились грани его могучего дарования: мифологические «Баллады забытых лет», психологическая проза в книге «Мартовский снег», философский роман «Конец легенды», историко-философские публицистические романы «Плеяды — созвездие надежды» и «Всполохи», народная драма «Хан Аблай». Разумеется, это далеко не все, что он написал, но это то, без чего немыслимо представить ни Абиша, ни современную казахскую литературу.

Полагаю, что самые главные юбилеи Абиша впереди, и они отнюдь не в прямой связи с его физическим долголетием. Гарантия тому — его литературные деяния. Именно художественно-творческие. Политические его заслуги, какими бы значительными они ни были, все же явление временное и преходящее, как туман и самообман, а то, что вышло из-подего пера, насыщено духовностью, соком жизни и национального самосознания, а потому не подвержено тлению. Было бы прискорбно сознавать, что современное поколение читателей знает только политическую деятельность госсекретаря Абиша, а не художника, не автора прекрасных книг, которые снискали ему славу десятилетия

назад. Не знаю, кому как, но лично для меня тот факт, что Абиш является государственным мужем, — нечто случайное, третьестепенное, что-то наподобие шутовского колпака, все равно как, скажем, Державин — сенатор или Гете — тайный советник. Пушкин — камер-юнкер или посольские ранги Чингиза и Олжаса. Как личность Абиш намного выше этой мишуры. Он и сам публично признавался, не очень, правда, убедительно утверждая, что «литература — верная жена», она, мол, никуда не денется и подождет, пока он занят ветреной особой политикой. Ой ли!? Для потомков все эти титулы ровным счетом ничего не значат. Да и верные почитатели таланта Абиша вряд ли всерьез относятся к его высоким политическим креслам, на которых он благополучно восседал в разные годы, и вряд ли будут когда-либо перечитывать официальные выступления.

К счастью, значимость Абиша — романиста, Абиша — историка, философа и духовного наставника этим не исчерпывается.

Любая власть ограничивает личность, сковывает ее, одурманивает и оболванивает. Иногда заставляет петь с чужого голоса. И то ли он благовествует? В своих глубоких литературных творениях, без сомнения, — высокую философию, благородный дух, историческое сознание и гуманизм. За это благодать ему и мир! Но тем ли идеалам служит он в политике? Или мимовольно ступил на ложную стезю? Рассудит история.

Возможно, не всё, чего я коснулся в беглых заметках, по душе юбиляру. Но так я воспринимаю его неординарную личность и посчитал нужным правдиво (со своей колокольни) поведать о Художнике. Человеке и Гражданине.

Долгих лет ему жизни и творческого дерзания. Здоровья и благополучия. Щедродушия и мудрости.

1999 г.

СБЕРЕЧЬ НРАВСТВЕННУЮ ПАМЯТЬ

Дукенбай Досжан — наиболее трудолюбивый и плодовитый современный казахский прозаик. Он является автором более четырех десятков книг — романов, повестей, рассказов, очерков, изданных двухмиллионным тиражом на восемнадцати языках мира. Даже в нынешнее смутное время, когда подлинная литература вдруг оказалась не в чести, когда многие из его сверстников-литераторов ушли кто в политику, кто в бизнес, он все пишет и пишет, одержимо и целенаправленно, наперекор всем сомнениям и соблазнам, ибо, как он сам признается, нет у него другого занятия, кроме письма, и надежными спутниками его остаются на всю жизнь бумага и перо.

Признаться, было у меня одно время сомнение, что микроб борзописания закрался-таки в душу неуемного трудоголика Дукенбая, что подхлестывает его жажда писательской славы, что он достиг пика своей творческой потенции и отныне — к большому сожалению — будет главным образом заниматься переписыванием и перепевом собственных сочинений.

Думаю, у меня были основания для подобных опасений. И теперь мне особенно приятно сознавать, что был неправ, что Дукенбай нашел в себе силы для нового творческого взлета.

О том свидетельствуют его книги, увидевшие свет в последние годы, — психологический роман-раздумье «Мухтар жолы» (1988; в выходных данных по-русски он назван «На вершине судьбы»), документальные остропублицистические романы «Тюрьма» (1992) и «Площадь» (1993), роман-исповедь, роман-метафора, трагедийно-философское полотно «Весы» (1992), своеобразный труд, жизнеописание-эссе, художественное исследование «Зеркало Абая» (1994) и недавно увидевший свет сборник повестей и рассказов «Книга Песков» (1995).

Каждая из этих книг достойна обстоятельного разговора. Новый этап в творчестве Дукенбая Досжана начинается с «Мухтар жолы». Главный герой романа — великий казахский писатель Мухтар Ауэзов. Точнее, психологическое, философское, нравственное состояние Художника на вершине судьбы. Судьбы неимоверно сложной, трудной, трагической, мучительной. И возвышенно прекрасной. Ибо речь идет о судьбе Духа, о судьбе избранника Земли, если прибегнуть к формуле Гете. Внешняя канва романа — арест и тюремное заключение Мухтара Ауэзова в 1930—1932 годах, драматические перипетии 1952 года, когда после очередной зубодробительной, зловеще памятной статьи «За марксистско-ленинское освещение вопросов истории Казахстана» были арестованы известные ученые Е. Бекмаханов, К Жумалиев, Е. Исмаилов, когда уже в который раз обрушились гонения и идеологическая травля на Мухтара Ауэзова.

Помимо своей нравственной, этико-эстетической значимости роман «Мухтар жолы» и весьма познавателен, ибо в нем реалистически отражена сложная литературная жизнь в Казахстане, а также за ее пределами, воскрешающая духовную ауру тех лет. Роман воссоздает нравственный образ того крутого времени.

Всегда казалось, что «чистый» беллетрист, приверженец высокого художественного слога Дукенбай Досжан как бы чурается «голой» политики, стоит в стороне, особняком от хаоса современного бытия, и политические, идеологические, национальные страсти его совершенно не занимают. Имидж художника над схваткой прельщал Дукенбая.

Романы «Площадь» и «Тюрьма» решительно опровергают такое представление о писателе. Оказалось, он внимательно следит за политическими бурями, бушующими в последние годы над новыми суверенными странами-государствами, неплохо разбирается в раскладке политических сил и, обладая художническим чутьем, четко и небеспристрастно выражает свою точку зрения, свои симпатии и антипатии к тем или иным глобальным или локальным событиям и явлениям.

И тут открылась еще одна грань дукенбаевского дарования.

Его усидчивость и терпение вкупе с настойчивостью и упорством при внешне тихом и покладистом характере помогли ему в скрупулезной работе в архивах, при этом в труднодоступных, как, скажем, в таинственных залежах органов государственной (или национальной) безопасности. Он докопался до редчайших документов трагических тридцатых годов, до сведений о таких крупнейших, колоритнейших личностях, как Ахмет Байтурсынов, Магжан Жумабаев, Жусупбек Аймаутов, Мухтар Ауэзов, глубоко проник в атмосферу того времени, когда жестокому испытанию подверглись нравственные человеческие категории — мужество, честь, достоинство, порядочность, сострадание.

«Тюрьма» Дукенбая Досжана — это малоизвестный казахстанский ГУЛАГ, перемоловший немало гордых и высоких судеб и жизней во имя ложных идей и гнусной идеологии.

Писатель мыслит широко, масштабно. Описывая в романе «Площадь» известные декабрьские события 1986 года в Алматы, он обращается к политическим и идеологическим истокам тех трагических дней, рассуждает о русском диссидентстве, вовлекает в повествование Андрея Сахарова, Юлия Даниэля, Ларису Богораз, крупных политических и общественных деятелей, прибегает к широким литературным и религиозным реминисценциям, к философским обобщениям, раскрывает подспудный механизм чудовищных хитросплетений, неизбежно приведших к тяжелейшим последствиям на стылой декабрьской площади. Площадь в романе Дукенбая не просто определенное, конкретное пространство, место; она обретает символическую значимость, как арена вечной борьбы добра и зла, истины и лжи, достоинства и подлости. На этой площади разыгрывается и страшная драма боговдохновенного поэта Магжана Жумабаева, расстрелянного 19 марта 1938 года; на этой же площади отшумело и Сузакское восстание 1930 года, жестоко подавленное войсками ОПТУ; по этой площади прошла вся многотрудная история казахского народа.

Этими двумя книгами Дукенбай Досжан высветил немало темных пятен национальной истории. В этом их пафос и истинное значение. И хотя в этих книгах речь идет

о прошлом казахского народа, произведения эти весьма актуальны, современны. Сам Дукенбай в одном интервью говорит об этом так: «Печали нашего прошлого ждут воздаяния. Не мести — соболезнования. Историческая же справедливость много значит для духовного здоровья».

Роман «Весы» — широкоохватное, многоплановое произведение. Прошлое и настоящее родного края предстают в этом романе в тесном неразрывном переплетении. Многоликая, многоцветная жизнь кзылординского края, степи; трагедия Арала; наступление кзылкумских песков; экологическая катастрофа; тотальное духовное обнищание; тупое, бессмысленное, бездумное существование; нравственное вырождение региона — вот те тревожные темы, на которых зиждется стержневая сюжетная канва этого объемистого романа. Об оскудении души человеческой как следствии тяжких экологических потрясений Дукенбай пишет не впервые, но в романе «Весы» эта тема обрела мощное социальное, философское звучание. Локальные, казалось бы, явления обобщены до глобальных, общечеловеческих масштабов. Тональность романа — скорбная, печальная. И это понятно и естественно. Художник в тревоге, в страхе от того, что происходит на его глазах на его родной земле. Иногда он впадает в растерянность и тогда откровенно тоскует по прошлому, только там, в прошлом, далеком и романтизированном, в нравственном здоровье и силе славных предков он находит утешение, точку опоры, в седой батырской старине мерещатся ему высокие идеи, ныне преступно преданные забвению. Дукенбай признается: «... анафему современникам не пою, а человеком становлюсь не очень веселым. Ностальгия по прошлому меня посещает».

Весы — образ, метафора. Название взято из Корана: «Каждый, кто уходит из земной жизни, перед концом света предстанет перед судом Всевышнего, и на весах, как в зеркале, все станет очевидно: кто есть кто».

В этом ключ романа. Кто есть кто? Чем отмечено твое существование на земле? Какой оставил след? Творил ли добро или служил злу? Вот вопросы, которые ставятся на каждой странице романа. Писатель настойчиво внушает простую, казалось бы, мысль: оскудение природы и экология

души — понятия взаимообусловленные и взаимосвязанные; нравственность может быть культивирована только большой, постоянной духовной работой над собой. Спасение только в этом.

Приятно удивил Дукенбай своей книгой «Зеркало Абая», вышедшей в канун 150-летия великого казахского поэта, мыслителя. Удивил своим исследовательским талантом, дотошностью, свежей, оригинальной постановкой темы, кругозором, масштабностью мысли, своеобразным подходом к поэтическому и философскому миру Абая. Пятнадцать глав этой книги — пятнадцать блистательных эссе, органический сплав научных исследований и свободного беллетристического живописания. Я знаю: Дукенбай задумал эту книгу как жизнеописание в стиле Андре Моруа, Стефана Цвейга. Думаю, он достиг своей цели.

Все эти книги, о которых шла речь выше, написаны Дукенбаем Досжаном в последние восемь-десять лет, и — повторюсь — знаменуют собой качественно новый этап его творческого пути. У писателя свой почерк, свой, ритм, свой слог. Он обожает слово «кесте», что в буквальном смысле означает «вышивка». Он неустанно ткет свой словесный узор. Он прилежно и творчески учится у великих мастеров прозы и со священным трепетом относится к писательскому ремеслу и к художественному слову в частности. Он не избегает эксперимента в языке. И язык его богат.

В прошлом году Дукенбай Досжан издал сборник повестей и рассказов под названием «Книга Песков» («Жазушы»). Эта своеобразная сага о людях, живущих в пустыне, в песках, является как бы продолжением его книг «Города под песком» (1967), «След тигра» (1984), «Корабли в песках» (1986). «Книга Песков» — сказ о большой тревоге нашего бытия, о распаде духа. Писатель утверждает: смерть наступает сначала на уровне духа, потом — на уровне физической плоти. Чем ущербнее наш дух сегодня, тем ущербнее во всех смыслах окажутся наши потомки завтра.

Задача творца состоит в том, чтобы сберечь нравственную память народа.

1996 г.

ТАМЫР ТАМЫРОВ

(К 60-летию Мурата Ауэзова)

Мне посчастливилось видеть и слушать его отца — Мухтара Омаровича Ауэзова. Рад, что десятилетиями знаю его самого — Мурата Мухтаровича Ауэзова, который, смею вас заверить, с годами и внешне, и внутренне, и физически, и духовно становится все более похожим на своего гениального отца. Имел удовольствие одно время находиться в одной организации и не однажды беседовать в пути-дороге с дочерью Мурата Мухтаровича — блистательным филологом, обаятельной Зифой Муратовной Ауэзовой.

Имею честь знать многих отпрысков славного Поэта Ильяса Джансугурова, в опальной семье которого рос, воспитывался и формировался Мурат Ауэзов.

Все это, как мне кажется, дает основание сказать о юбиляре то, что о нем думаю и как его воспринимаю. А думаю о нем почти сорок лет хорошо и воспринимаю его высоко, благородно и благодарно.

Я не намерен здесь разбирать его труды — философские, литературоведческие, культурологические, критические, общественные, политические. Нет и не может быть у меня претензии охватить и охарактеризовать его многогранную личность. Я очень люблю немецкое слово «культуртрегер» — носитель культуры. Так вот, Мурат Мухтарович — культуртрегер, носитель знания и просвещения, духовности, гуманности в высшем проявлении.

И еще он — «хоффнунгстрегер» — носитель надежды. Жизнелюб, оптимист, он всегда настроен на волну надежды даже в самых тягостных моментах жизни.

Конечно, я знаю, что любое сравнение хромает, но ведь без каких-либо сопоставлений ничего толком и представить невозможно. Мурат Мухтарович — фигура в обще-

ственном сознании не рядовая, неординарная, и мне хочется как-то обозначить, оконтурить его место, занимаемое им заслуженно и с блеском. И если обратиться к истории русской мысли, скажем, первой половины XIX века, то мне на память приходят такие знаковые личности, как Чаадаев, Грановский, Станкевич. Где-то в этом ряду по степени значимости, интеллектуальной мощи, роли и влиянию на общество я вижу Мурата Мухтаровича. Как и те великие личности, оставившие неизгладимый след в истории российского духа, так и Мурат Мухтарович, наш современник, коллега и собрат, обладает редкой харизмой, магнетизмом интеллекта и обаяния, особенной аурой, притягательной силой светлого разума, к которому искони сознательно или бессознательно, тянется любой Homo Sapiens, если Создатель только даровал ему пару-другую извилин.

Совсем юным он организовал из талантливой казахской молодежи движение «Жас тұлпар», что было в ту суровую пору сродни «безумству храбрых», т. е. осознанным мужественным поступком уже не мальчика. Дерзновенный национально-интеллектуальный вызов Времени и режиму власти «Жас тұлпара» осмысливается и поныне. Невозможно переоценить значение этого движения в становлении и росте национального самосознания. Наслышан о том я был тогда. Помню, как неистовствовал по этому поводу один из ярых классовых борцов казахской литературы. Помню и сочувственное отношение к «Жас тұлпару» и другого аксакала, композитора-академика. Однако молодой, задиристый, норовистый тулпар проскакал тогда мимо меня. Но многие годы спустя, когда уже закаленный в политических, идеологических и житейских бурях Мурат Ауэзов затеял новый кружок под названием «Тамыр», я был удостоен участия на этом пиру интеллектуалов разных национальностей, т. е. я был принят в высокое тамырство убежденных казахстанцев.

Точное слово было найдено Муратом Мухтаровичем. Тамыр — корень, основа. Тамыр — верный друг, побратим. Тамыр — братья среди братьев. Тамыр — сообщество единомышленников, объединенных высоким порывом, благородной целью.

Таковым и был у нас кружок, или союз, как хотите. Под предводительством Мурата мы, человек двадцать неравнодушных к тому, что происходит в нашем обществе, собирались регулярно дважды в месяц в течение нескольких лет и убежденно, искренне и открыто обсуждали злободневные политические, исторические, этнографические, государственно-гражданские проблемы и ситуации, осмысливая по всем параметрам все, что творилось вокруг или только-только намечалось или проклевывалось. Со стороны, наше тамырство, наши жаркие дебаты могли, возможно, показаться чудачеством, сборищем романтиковвельтфербессеров (по-немецки: «улучшателей мира»), забавой интеллектуалов, но к нам шли-текли люди, журналисты, писатели, философы, политологи, обществоведы, наши суждения, установки, выводы понемногу распространялись, внедрялись в общество, замелькали в печати, незаметно расширяя круг единомышленников. Тамыры знали, что их беседы не исчезнут бесследно, что семена рано или поздно дадут всходы. А наш идейный предводитель, тамыр тамыров был абсолютно убежден — о чем он потом скажет в одном из интервью: «А мы жили своей параллельной жизнью. И это не есть пассивное состояние. Потому что наше параллельное бытие рождает особую энергию. Оно готовит отдельные сознания способных людей, которые принуждают все то, что зарождается в наших разговорах... и в конце концов получается какая-то энергия, которая ломает ту самую параллельную химерическую реальность».

Он прав, Мурат Ауэзов! Тихие беседы интеллектуалов, преисполненных любви к своему народу и отечеству, понемногу расшатывают твердыню режима, замешанного на опаре временщиков, на шкурническом интересе рыцарей наживы, не желающих и не способных видеть дальше своего носа.

Сколько произносится речей власть предержащими, речей, вымученных записными, ангажированными «мудрецами»; блудливых текстов этих народ вообще не читает, не слушает или забывает в тот же день. А о беседах Сократа мир говорит и поныне. Об идеях, высказанных в кружках Чаадаева, Грановского, Станкевича, Герцена,

Петрашевского рассуждают столетиями. Идеи, сформулированные в «Жас тулпаре», в «Тамыре», живут и развиваются в сознании казахов и казахстанцев. Ибо мудрое, искреннее, благородное слово рождает энергию. Мысль будит мысль. Волна следует за волной. И Мурат Ауэзов это понял давно, и именно это роднит его прогрессивно-созидательный дух с нетленным духом его разноязычных тамыров разных эпох и стран. Его многочисленные выступления, интервью, доклады, реплики, мимолетные суждения обладают огромным зарядом энергии, внушения и убеждения. И в этом сила и пафос его общественного подвижничества.

Радостно и тепло была встречена интеллектуальной средой Казахстана публикация дневника Мурата Ауэзова 1978-1979 годов в альманахе «Тамыр». Это было неожиданно. Я живо вспомнил тот отрезок времени, очень знакомый мне по писательским интригам и кляузам, когда писатели занимались не столько литературой, сколько взаимоуничтожением и самоистреблением. Каждый из наших доморощенных классиков демонстрировал в то время высший пилотаж в искусстве подсиживания. Поистине, тогда у каждого Ермишки были свои интрижки.

И вот, как выяснилось сравнительно недавно, и тогда был человек, который оказался выше всех этих дрязг, думал и видел происходящее вокруг иначе, терзался совсем иными проблемами и обитал саяком в иной духовной сфере, максималистски размышляя о времени и о себе.

И этот человек был Мурат Ауэзов.

И он тогда уже знал: «В борьбе против тоталитарно-колонизаторского режима система национального мышления вызревает как средство борьбы и как ее бесспорно положительный результат».

Он тогда уже знал: «Сфера, более или менее обозримая для прояснения национальной проблематики — культура».

Он тогда уже отдавал отчет: «Я — эволюционист, другие цели, другой путь».

Какие цели и какой путь — мы теперь знаем.

А он этот путь определил так: «После славного взлета отца мы (в нескольких поколениях по моей линии) вновь пойдем по миру, как ходили поколения предков-кожа, на-

бирая силу для очередной яркой вспышки. Так нужно истории».

Он и идет по этому пути — твердо, убежденно, сея доброе, разумное, вечное, утверждая высокие истины и цели, верно служа просвещению, познанию, мудрости, чести и достоинству своего народа.

И в этом его сила, слава и миссия.

По словам аксакала Абеке Жаймурзина, многие годы знавшего Ауэзова, Мухтар Омарханович говорил о своем сыне: «Я возлагаю на него большие надежды. Оның қаны бар! В нем бьется горячая кровь». Надежда гениального отца оправдалась. К нашему счастью. Во имя нашего блага.

«Эпоха», 20.12.02 г

НЕЗАГЛОХШАЯ ТРОПИНКА ИЗ АУЛА КОКТЕРЕК

Говори о достойном: пусть слава его воссияет.

Народная мудрость.

Странности бытия и судьбы: наши жизненные пути-дорожки, несмотря на разницу в возрасте и различные сферы деятельности, причудливым образом неизменно перемежались во времени и пространстве.

О русской семье Шаловых из казахского аула Коктерек на берегу Есиля я впервые услышал от отца горькой осенью 41-го года. Впрочем, для меня, мальчика с Волги, все здесь, в северном краю Казахстана, было внове: и кизячий стойкий дух, и ковыльный простор, и березовые колки вокруг, и тугайные заросли вдоль реки, и скуластое, темно-смуглое обличье местных жителей, и их громкая, гортанная речь. Мне, однако, довольно быстро запомнились названия казахских аулов, входивших в радиус медицинского обслуживания отца: Коктерек, Жана-Жол, Жана-Талап, Каратал, Алка-Агаш, Мектеп. Запомнилась сразу и простая, «сингармоническая» фамилия Шалов: я уяснил для себя, что Шаловы бывают не только среди казахов, но и среди русских.

Примечательным было и то, что в казахском Коктереке Шаловы были единственной русской семьей, а в соседнем, в семи верстах, ауле Ленино мы также были единственной немецкой семьей. Известно: все единственные испытывают подспудно взаимную тягу.

Выезжая по фельдшерско-акушерским надобностям в Коктерек, отец нередко останавливался у Шаловых, которые жили рядом со школой, а они по пути в районный центр Марьевку или в Ленинский аулсовет зачастую заглядывали к нам. Я знавал всех членов этой скромной,

трудолюбивой семьи — Федора Николаевича, Наталью Фроловну, их сыновей — Анатолия, Николая, Василия. Меня, изъяснявшегося в то время в семье главным образом на гессенском диалекте, больше всего поражало то,что все Шаловы бойко говорили по-казахски. Мне это тогда казалось непостижимым.

Старший из братьев, Анатолий, еще до войны учился в Ленинской казахской средней школе, которую позже окончил и я. Там же потом учились и его братья, и мои сестры.

Демобилизовавшись из армии, Анатолий Федорович Шалов, бывший преподаватель казахского языка и недавний командир стрелкового батальона, пошел по тернистой комсомольской, партийно-советской стезе и одно время довольно близко сошелся с моим отцом. В селах Приишимья заинтересованно следили за служебным продвижением русского парня из казахского аула и гордились его успехами. Аульным отрокам он служил образцом для подражания.

В 1954 году Анатолий Федорович сыграл определяющую роль в моей жизни. Это было время, когда спецпереселенцы находились еще под надзором комендатуры и учебе их в вузах ставились жесткие заслоны. В 1953 году я в составе абитуриентов из числа «неблагонадежных» был исключен из Карагандинского горно-металлургического института, а через год, после успешной сдачи вступительных экзаменов в КазПИ им. Абая, повторилась та же история. «Не могу тебя зачислить, — удрученно сказал директор института Герой Советского Союза Малик Габдуллин. И, пряча глаза, добавил по-казахски: — Таково указание сверху».

В сопровождении друзей, сочувствовавших моей беде, я отправился было на поиски справедливости в приемные комиссии КазГУ, иняза, но безрезультатно. Замминистра просвещения оказался мудрецом. «Айналайын, возвращайся в свой аул, — посоветовал он. — Похоже, вскоре наступят новые времена. Изменятся и законы. Тогда и приедешь».

Мне, однако, ждать новые времена было не с руки. Никаких свежих веяний, к тому же, я не чувствовал. Я лихорадочно написал несколько писем в Верховный Совет СССР и Казахской ССР, в прокуратуру, заодно маршалу

Ворошилову и министру МВД страны. Я пребывал в отчаянии. Положение мое усугублялось еще тем, что я, будучи комсомольцем и свято веря в Конституцию СССР, принципиально не встал на учет в спецкомендатуру по приезде в Алматы, как это строжайше предписывалось по закону. И тут кто-то из земляков посоветовал мне обратиться ко второму секретарю ЦК ВЛКСМ Казахстана Шалову. Помню: была суббота. Я разыскал его квартиру где-то на окраине города, долго ждал его возвращения с работы, дождался, изложил суть моего нежданного визита. Он попросил зайти в ЦК комсомола в понедельник. Более суток меня колотило от нервного напряжения. В понедельник утром, сидящий за огромным, уставленным полдюжиной телефонов столом, рослый, светлолицый здоровяк с добрыми, внимательными глазами спокойно поговорил со мной по-казахски, тотчас позвонил в Министерство просвещения, уверенно, убежденно изложил самому министру мои обстоятельства, и я с трепетом и надеждой понял, что авторитет второго секретаря ЦК комсомола Казахстана высок и слово его стоит многого. Я также догадался, что в моем деле он идет на определенный риск. Ведь ни я, ни, думаю, он не знали тогда, что вскорости, через год с небольшим, в высоких сферах власти отменят-таки режим спецпоселения, а там совсем уж не за горами и благовестный XX съезд всемогущей партии.

Так, благодаря решительному заступничеству Анатолия Федоровича, я со второй попытки попал в вуз, а еще через некоторое время был одним из первых среди своих соплеменников снят с унизительного учета спецкомендатуры и получил свой первый полноценный «серпастый, молоткастый» без каких-либо «особых» — как каинова печать — отметок.

Говорю об этом так подробно, чтобы подчеркнуть человеческий фактор доброты и великодушия в самый тяжкий час судьбы. И именно такие мгновения высвечивают суть истинного благородства и человеколюбия.

Потом получилось так, что мы долгие годы не встречались, хотя и находились пространственно близко — то в Джамбулской области, то в Алматы, где по-прежнему трудились в разных сферах. Но я был в курсе его деяний, и он, в общем-то, знал, чем живу и дышу я.

А жизнь его была соткана сплошь из долга, ответственности, забот и дерзаний. Заслуженно проклиная тоталитарную систему, иные горячие головы ныне упоенно сокрушают всех и вся, обрушивая увесистые березовые соилы на головы бывших партийных работников всех рангов, обвиняя их во всевозможных грехах системы. Между тем совершенно очевидно, что из двадцати миллионов членов той партии далеко не все были чинушами, бюрократами, жуликами и подлецами. Большинство из них честно тянули непосильный воз долга и ответственности перед народом, а по степени человеческой порядочности и бескорыстия были не чета современным «демократам», не говоря уже о хапужном племени «революционеров-коррупционеров» и не в меру крутых дереформаторов. У большинства партийных деятелей той эпохи нравственный принцип поведения был все же иной. Анатолий Федорович Шалов всем своим существом принадлежит к этой категории. Вот некоторые вехи его биографии.

Преподавателем Новопокровской семилетней школы Северо-Казахстанской области он был призван в ряды Советской Армии и направлен в военное училище. Затем в звании лейтенанта направлен на фронт. Участвовал в боях на Южном и Первом Украинском фронтах. Освобождал города Ростов-на-Дону, Донбасс, участвовал в боях за города Житомир, Тернополь. За образцовое выполнение заданий командования в боях за освобождение г. Львова награжден орденом Александра Невского. На фронте А. Шалову пришлось командовать взводом, пулеметной ротой и стрелковым батальоном. В боях в районе Львов-Перемышель был тяжело ранен.

С 1945 г. он на партийной работе, а работа в начале пятидесятых годов в должности секретаря, второго секретаря ЦК комсомола Казахстана совпала с целинной эпопеей. Какую роль сыграл комсомол во всенародном деле, хорошо известно. Орденом Трудового Красного Знамени была тогда отмечена огромная организаторская деятельность Анатолия Федоровича.

После ЦК комсомола его перевели на партийную работу первым секретарем Костанайского горкома Компартии Казахстана. В те годы под его руководством в городе была

создана мощная база стройиндустрии, широко развернулось строительство жилья, объектов торговли, большая работа велась по благоустройству и озеленению.

В 1960 году в связи с образованием Целинного крайкома партии Шалов утверждается заведующим оргпартотделом, затем секретарем, зампредседателя крайкома, председателем Краевого комитета партийно-государственного контроля. На эти годы приходится рост сельскохозяйственного производства, промышленности, увеличение производства зерна, животноводческой продукции. В больших объемах велось капитальное строительство, укреплялась инфраструктура целинного края. Серьезное внимание уделялось развитию культуры и аграрной науки.

В ноябре 1966 года А. Ф. Шалов был избран секретарем, а в 1975 году — вторым секретарем Джамбулского обкома компартии Казахстана. В эти годы в области создавалась база по добыче и производству минеральных удобрений. Были построены предприятия на объединении «Химпром», Новоджамбулский фосфорный завод. Введена в строй Джамбулская ГРЭС. В течение десяти лет секретарь обкома партии Шалов курировал развитие аграрного сектора. Основное внимание уделялось производству зерна и сахарной свеклы. Область занимала тогда одно из ведущих мест в республике по развитию овцеводства. Поголовье овец составляло 2 млн. 600 тысяч голов.

В 1980 году А. Ф. Шалов был переведен на работу в ЦК компартии Казахстана и утвержден заведующим административным отделом, который курировал деятельность правоохранительных органов, осуществлял связь с воинскими частями округа и погранвойсками. Отдел вел особенно активную работу по искоренению правонарушений среди подростков, организовывал для них лагеря труда и отдыха. В те годы в республике проводились большие строительные работы на погранзаставах. За всей этой работой контроль осуществлял административный отдел ЦК. Отдел находился в тесном и постоянном контакте с космонавтикой страны, с Байконуром, А Ф. Шалов часто присутствовал на запусках международных экипажей, имел личные связи с рядом космонавтов.

И поныне мы часто встречаемся с Анатолием Федоровичем то в каких-то комиссиях, на общественных мероп-

риятиях, случается, в больнице, на прогулке. Бегут, бегут чередою дни, годы. Жизнь уходит, растворяясь в мареве времени. Как говорит наш земляк — поэт Еслям Зикибаев:

Все стареет:
И люди, и камни,
и для времени нету царей.

Годы располагают к неспешным раздумьям. Да-а... активно прожитые три четверти века — долгий путь. И груз этих лет нелегок. Думы стариковские — что степь казахская без конца и края. Что Есиль в пору половодья. С годами видишь только крупное, думаешь о высоком. Мелочи бытия — что тень суетного дня. Мед жизни горек, а честно исполненный долг — сладок. Чистая совесть — отрада. Благодарность людская — награда. Обиды на прошлое бесплодны. Уповать на будущее — благо.

Нет, не заглохла тропинка из маленького аула Коктерек на берегу Есиля в большую жизнь. Сколько знатных людей вышло из этого аула! Среди них — педагоги, ученые, писатели, генерал, общественные деятели. Анатолий Федорович задумчиво говорит: «Надеюсь, не заросла и моя тропинка из аула Коктерек. Палат каменных не нажил. Все отдал людям. Трудился на созидание. Всей своей работой, своим поведением я стремился оставить добрый след в жизни. Главным для меня было и остается забота о людях, их благополучии. И наградила меня судьба хорошими детьми и внуками. Это ли не счастье, не утешение души?..»

Верно. Старшая дочь — врач, младшая — экономист, начальник отдела таможни, сын — капитан второго ранга. Подводник. Внуки заканчивают учебу в вузах Москвы, Новгорода, Алматы, младший, Толяшка, пока в седьмом классе. Есть и четырехгодовалый правнук. Таубе, таубе, как говорят казахи, благодарение Всевышнему.

Но разве у живого человека заботы кончаются? В настоящее время, находясь на пенсии, Анатолий Федорович продолжает участвовать в общественно-политической жизни, является председателем комиссии по делам ветеранов Великой Отечественной войны Центрального совета Организации ветеранов Республики Казахстан. В связи с 50-й го-

довщиной Победы над фашизмом за активное участие в ветеранском движении он награжден орденом «Құрмет». Он по-прежнему много читает, отдавая предпочтение мемуарно-исторической литературе, не пропускает информационные программы по телевидению.

Ну а что беспокоит ветерана? Есть озабоченность будущим. С годами все более глубокая. Вызывают тревогу социальная сфера, нынешнее положение старшего поколения, первым долгом — участников войны. Крутые перемены жизни они ощущают особенно болезненно. И еще «новые» русские и казахи, разбогатев, не хотят делиться с другими. «А ведь уже пора, пора. Толстосумов в Казахстане немало. Но что-то не видно, чтобы они горели желанием помочь хотя бы нам с тобой, Гера, — усмехается мой собеседник. — Не так ли?..»

«Казахстанская правда»,
14. 08. 1998 г.

О КАРЛЕ БЕЛЬГЕРЕ, ОТЦЕ МОЕМ

Внешним поводом для написания этой статьи послужило 90-летие моего здравствующего отца — Карла Федоровича Бельгера. Повод незначительный? Или нескромно писать о родном отце? Как сказать! Речь пойдет, может, не столько о нем, хотя отец, убежден, того заслуживает, сколько о его поколении. А если учесть, что Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 1999 год объявлен Международным годом пожилых людей, а у нас, в Казахстане, он объявлен годом единства и преемственности поколений, то, полагаю, самый резон поговорить об этом во всеуслышание.

Мой отец относится к тому поколению, для которого общественное было всегда выше личного. Нормально это или не совсем — вопрос другой. Но это факт. И факт примечательный, может, основополагающий.

Девяносто лет его неизменно активной жизни вместили все общественные катаклизмы, крутые повороты, социальные потрясения и житейские бури всего истекающего ныне, полного трагизма двадцатого столетия. Отцу было восемь лет, когда раскаты потрясшего мир большевистского переворота (как теперь предпочитают говорить) докатились и до тихих немецких деревень на Волге, и, конечно, цепкая детская память зафиксировала все, что и тогда происходило вокруг, и что за этим событием последовало потом. Нищета в многолюдной и малоземельной семье бауэра-колониста, голодомор 21-го года в Поволжье, комбед, советизация, коллективизация, индустриализация, судорожные пятилетки, кровавое зарево перманентной классовой борьбы, война с фашизмом, депортация, гибель родных и близких в трудармии, восстановление разрушенного хозяйства после войны, целина, годы волюнтаризма и субъективизма, годы застоя, перестройка, распад Союза, суверенитеты — таковы этапы большого

пути отцовского поколения. В ожесточенной борьбе за так называемое светлое будущее оно, это поколение, открыло глаза, в борьбе за утверждение смутных идеалов и банальное выживание оно завершает свой земной путь.
И между этими этапами — собственно жизнь, которая дается каждому лишь раз. И если ты не изживал эту жизнь раком-отшельником, то она сродни увлекательному, драматическому роману-эпопее и полна, естественно, высокого смысла, накала, мудрости, скупой радости к сакрушительной печали, из чего она и соткана причудливо и странно.

И что бы сейчас не говорили и не писали нынешние умники, крепкие задним умом, нагромождая, наворачивая надолбы гнусностей и пошлостей, в жизни этого поколения было много достохвального, дерзкого, трагического, благородного, героического, чему их потомки могут и должны позавидовать.

Каждому предназначены свое место в жизни, своя участь и своя судьба, И мудрость в том, чтобы соответствовать своему месту, пусть самому скромному, быть честным и достойным своей судьбы, с душевной ответственностью исполнить свой долг на земле за отведенный тебе отрезок земного срока.

Мой отец, как я понимаю и вижу с высоты своих уже солидных лет, всегда придерживался этого простого и трудного правила. Мой школьный учитель по казахской литературе, Жылгельды Муканов, ныне покойный, говаривал: «Карл—агай построил свою жизнь правильно, и этому мы все должны у него учиться».

В аулах на берегу Есиля, где мой депортированный отец тридцать лет заведовал фельдшерско-акушерским пунктом (одних только родов он принял более тысячи!), и поныне вспоминают его с теплотой, добром и благодарностью. На мое 60-летие он приехал из Ташкента, в Русском драмтеатре собралось тогда много наших аулчан, земляков, моих друзей, известных, знаменитых, и мое чествование плавно и естественно перешло в чествование моего отца, который всем понравился своей импульсивностью, непосредственностью, открытостью и легкостью, и знакомые писатели в шутку говорили мне: «Оу, твой отец, оказывается, моложе тебя!» Я был счастлив и горд.

Отец всегда относился к той категории людей, о которых принято говорить «простой», «скромный», «рядовой»,»винтик», «труженик», но без которых жизнь теряет свою привлекательность и смысл. Образование — среднее; специальность — военфельдшер; наград — негусто: семь медалей; званий — тоже: «Отличник здравоохранения СССР», «Отличник просвещения Каз. ССР». Трудовая книжка свидетельствует о том, что с 12-летнего возраста работал в сельском хозяйстве села Мангейм, потом — колхозником, слушателем курсов по подготовке в рабфак, далее — красноармеец I Татарского стрелкового полка, курсант окружной школы санинструкторов, санинструктор Поволжского военного округа; курсант школы военных лекпомов в Ленинградском военном округе, фельдшер 14-ой военной школы летчиков в г. Энгельсе, завкантонздравом в Республике немцев Поволжья, зав. фельдшерско-акушерским пунктом в Северном Казахстане, потом — в течение двадцати лет — член Партийной комиссии при Хамзинском РК КП Узбекистана; окончательно ушел на пенсию в возрасте 82 лет. Типовая трудовая книжка не вместила все его поощрения и благодарности за многолетний честный труд, пришлось прибегнуть к вкладышу. Общественником он был всегда — депутатом сельского и районного советов, партсекретарем в селе, в школе возглавлял неизменно родительский комитет и руководил струнным оркестром; там, где он жил, — будь то на Волге, в Казахстане или в Ташкенте — всегда находился в гуще общественной жизни, добрых начинаний, новаторских затей. Неизменно устремлен на новизну, на поиск, на активное деяние. Многие годы находился на доске почета «Нойес Лебен», как общественный распространитель немецких газет. Свое окружение заражает и поныне оптимизмом, жаждой деятельности, дерзанием, стремлением украшать, облагораживать жизнь. Сколько я помню, он не только лечил людей, но и вечно хлопотал об общественном благе: чистил колодцы, обрыбливал водоемы, сажал деревья, тушил пожары, спасал утопающих, учил детей музыке, ратовал за здоровый образ жизни, пропагандировал спорт. До сих пор — в 90 лет — хлопочет в саду, ходит в магазины и на базары, что-то мастерит, играет на скрипке, сочиняет

вальсы и польки, пишет стихи на русском и немецком языках для домашнего потребления, ведет дневник, руководит партийным отделением махалли в Ташкенте, переписывается с родственниками в России и Германии, помогает дочерям, учит уму-разуму внуков.

Несколько лет назад под давлением близких и родственников, подавшись уговорам сестры и племянников, отец оформил документы на выезд в Германию, но когда пришел вызов, наотрез отказался эмигрировать, заявив: «У меня есть дом. И мой дом здесь. Нечего мне искать счастья на чужбине».

А жизнь нелегка. Все больше потерь. Уходят близкие, родные. Из сверстников никого не осталось. Быт усложнился. Верная спутница жизни, с которой прожито более 60 лет, моя мать, покоится вот уже пять лет на ташкентском кладбище. Одиночество — тяжкое испытание. Но отец не унывает, зная, что он нужен детям, внукам, правнукам, что нужно крепиться, бодриться, жить деятельно и честно, с пользой, и радоваться тому, что есть. В последние годы он усердно снабжает меня образчиками фольклора российских немцев — песнями, шуточными «шнеркелями», деревенскими частушками, дразнилками, поговорками, речениями 20-30-х годов — остатками умирающего пласта культуры, зная, что мне это может пригодиться в моих писаниях.

Мой отец — достойный представитель своего славного поколения, о котором потомки должны вспоминать с благодарностью и гордостью.

«Дойче Альгемайне Цайтунг»,
15. 09. 1999 г.

САЛЕМ, САЛИМ!

Осенью 1941 года неполных семи лет я очутился не по своей воле в небольшом казахском ауле на берегу Есиля. Все мне внове. И сам тщедушный аул, и разбросанные там-сям невзрачные, большей частью плоскокрышие домики с неизменными конусообразными шошалами, и незнакомые запахи, устойчиво витающие над аулом, и гортанная речь смуглых, скуластых, узкоглазых жителей, и дивные березовые колки вокруг аула, и непролазный, непроходимый тугай вдоль степной голубой реки, и темные, сонные, ряской заросшие, рыбой кишащие старицы.

Дети, известно, — народ коммуникабельный. Несмотря на языковой барьер, я вскоре обзавелся новыми друзьями. Их звали Аскер, Сайран, Мекеш, Темеш, Океш, Кеккоз, Галым. Поначалу я их отличал друг от друга с трудом. Для меня, мальчишки с немецкого Поволжья, все они показались на одно лицо: бритоголовые, низкорослые, смуглые, чумазые, босоногие, в застиранных рубашонках, нелепых штанишках.

Выделялся и запомнился среди них один: рослый, гибкий, светлолицый, более опрятный, более ловкий в детских играх, иногда держащийся особняком, порою несколько важничающий среди своих сверстников.

«Баскарманың баласы» — «сын председателя колхоза» — говорили о нем.

А звали его Салим. Коротко и звучно.

В годы войны (да и в послевоенные годы) баскарма был ключевой фигурой в ауле. Колхозы были захудалые, вокруг в основном бедствовали, но баскарма на общем скудном фоне чувствовал себя полупадишахом. Нам, аульной шантрапе, так по крайней мере представлялось.

А отец Салима — Альмаганбет Курмангужин — был настоящим баскармой. Крупноголовый, грузный, суровый, немногословный, степенный, с тяжелым взглядом из-

под опухших век. Перед ним трепетали, его побаивались. Баскарма Алеке держал колхоз в крепкой узде. Авторитетом пользовался и в районе, и в области. Зимой восседал, еле вмещаясь, в санях-кошевке, летом — в легком тарантасе разъезжал по бригадам. Ездил, бывало, и верхом на выносливом, длиннокорпусном темной масти жеребце. Не слезая с него, подъезжал к конторе, к сельсовету, к медпункту, отдавал распоряжения, размахивая короткой, восьмигранной камчой и слова ронял, точно булыжники. Дело свое знал. И людей знал. До старости проработал баскармой, то в нашем колхозе, то в соседнем. Очень строг, как мне думается, был он и в семье. Сыновей воспитывал в крутости и послушании. Ни Салим, ни его брат Болат не пользовались такой свободой, как большинство их аульных сверстников. Шалопайства суровый баскарма не терпел, разгильдяйства не прощал. В пору уборки урожая, когда в колхозе не хватало рабочих рук, баскарма подъезжал на знакомом жеребце к школе, к интернату, говорил: «Ребятки, помогите, подсобите». И его просьба воспринималась как неукоснительный закон. Школьники тотчас отправлялись на колхозное поле, зная, что за труды набьют карманы хотя бы подсолнухом. Такое было время.

Статью, обличьем, манерами, характером Салим пошел в мать Жанкумис. Это была добрая, сердечная, чуткая женщина. Меня она иногда одаривала иримчиком, куртом, баурсаком, говорила ласковые слова, хотя в доме баскармы я показывался крайне редко.

Многие годы спустя, когда уже студентом я сломал ногу и лежал, одинокий, грустный, в убогом общежитии, тетушка Жанкумис неожиданно проведала меня, привезла аульный салем, приободрила, приласкала. Я был тронут до слез ее любезностью и вниманием.

Учились мы с Салимом в одной школе (очень хорошей, должен сказать), у одних учителей (весьма толковых!), и хотя шел он на два класса впереди меня, сталкивались мы с ним ежедневно то в школьной самодеятельности, то в комсомольских мероприятиях, то в интернатовских затеях. Он вырос, окреп, занимался всеми видами спорта (особенно блистал в гиревом виде и волейболе), играл на гармошке, увлекался рисованием, обзавелся

фотоаппаратом, внешне заметно выделялся среди сокласс-сников-сверстников. Вообще он был склонен ко всякой новизне, был любознателен, хватал на лету то, что другим было недоступно. Катался на велосипеде (редкость в тогдашнем ауле), освоил мотоцикл «Урал» (единственный во всей округе), у районных русских девчонок, сдававших в нашей школе экзамены, учился танцевать, одевался прилично, аккуратно, один из первых в ауле нацепил на себя галстук, подражал городским, для нас чуждым и диковинным манерам. Старик Абильмажин, мудрый и прозорливый, бывало, говаривал нам: «Вот увидите, Салим всех вас, отличников, обскачет, далеко пойдет, всем носы утрет». «Ну, конечно, — нехотя соглашались мы. — У него другие возможности. Он ведь баскармовский сын». «Это да, — теребил бородку Абильмажин-ата. — Но не это главное. Он самолюбив, честолюбив. Его ведет намыс. Он любит быть лидером. Такие своей цели добьются».

Прав оказался старик Абильмажин.

Потом мы узнали: Салим учится в институте иностранных языков на факультете английского языка. В те годы в ауле о том никто и не подумывал.

Летом, когда Салим на каникулах показался в ауле, я его не узнал: рослый, стройный, светлолицый джигит в отутюженном костюме, в белой сорочке, при галстуке, в шляпе. Смотрит немного свысока, лениво роняет слова:

— Что, в вашем ауле и танцев нет?!

Ай, да Салим! Какие в ауле тех лет танцы? Разве что бригадир Садвокас с подслеповатым сторожем Тайшиком на току сбацают...

Потом и я стал студентом в Алма-Ате. Целыми днями пропадал в Публичной библиотеке неподалеку от института. Однажды, занимаясь на втором этаже, услышал внизу, у входа, шум, оживленные возгласы молодых библиотекарш и знакомый, с этакой ленцой, барственными интонациями голос. Глянул, свесившись с перил: Ба! Салим! В тесном окружении девиц. Высокий, элегантный, вежливо-деликатный, с новехоньким портфельчиком, точно с обложки модного журнала. Помню, я даже смутился: ну, как я подойду к такому денди, джентльмену? Кто поверил бы, глядя на меня, скверно одетого замухрышку, что мы с

ним земляки, из одной школы, из одного аула. Только осрамишься...

И все же изредка встречались, обменивались новостями, вспоминали аул, детство, школьные годы. Салим был собран, целеустремлен, настойчив, уверен. Он выбрал верную стезю в жизни и продвигался с завидным упорством.

Годы шли-текли, мелькали. Виделись мы все реже. По слухам, все у Салима складывалось отменно: и женился удачно, жена умница и красавица, под стать ему, энергична, хорошо образована, воспитана, из доброй семьи, да и сам Салим, где бы ни был, проявляет себя достойно, и уже двое сыновей подрастают в ладно-складной семье. Земляки искренне радовались.

Я знал, что Салим после успешного окончания института работал недолго в Петропавловском пединституте преподавателем английского языка. Потом я встретил его в Алма-Ате в МИДе, потом слышал, что учится в Высшей дипломатической школе МИД СССР.

Потом как-то след его затерялся.

Спрашиваю у аульчан:

— Где Салим?

— Какой Салим?

— Курмангужин.

— Где-то, сказывают, за рубежом. Кажется, в Каире. Через несколько лет интересуюсь у знакомых:

— Где Салим?

— В Москве. В МИДе работает.

— Кем?

— То ли третьим, то ли вторым секретарем.

— Салем Салиму! Еще через пару лет:

— Где Салим?

— Ойбай, он консул в Стамбуле.

— Да лет пять, кажется.

— Салем Салиму!

Годы идут и идут.

— Где Салим?

— О! Он Советник Генерального секретариата МИДа СССР.

— Советник Посольства СССР в Эфиопии.

— Эксперт-консультант МИД СССР.

— Пәлі! Молодец! Салем Салиму! На каком-то всесоюзном мероприятии советских времен мы ненадолго встретились в Москве в Большом театре. И опять на несколько лет я потерял своего друга из виду.

И вдруг звонок. Знакомый голос.

— Салем Салиму! — тотчас отозвался я, — Где ты?

— В Алма-Ате.

— Где? Кем?

— Первый заместитель Министра иностранных дел РК.

— Ойдойт! Поздравляю!

Встретились. Салим — серьезный, сдержанный, немногословный, деловой джентльмен, вышколенный дипломат, видный, степенный, держится достойно, величаво. Но со мной — прост, открыт, сердечен. Конечно, я горд, что у меня такой земляк.

И тут опять Салим исчез.

— Где Салим?

— В Венгрии. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан.

Потом узнаю из газет: Салим награжден высоким Орденом Венгрии «Средний крест со звездой Венгерской Республики». Этим орденом награждаются немногие.

А потом Салим Курмангужин вновь приехал в Алматы. Теперь мы встречаемся все чаще: и дома друг у друга, и у общих знакомых, и на разных тоях-юбилеях. И хотя оба подкрадываемся к семидесятилетнему крутому перевалу, однако при встрече чувствуем себя мальчишками того далекого и невозвратного родного аула.

— Ия, Салим, кто ты сейчас?

_ Советник министра МИД РК.

_ Руководитель группы советников МИД РК.

— Начальник Управления контроля МИД РК, член коллегии МИД РК.

— Начальник отделения повышения квалификации.

— Не устаешь? — спрашиваю.

Салим (теперь я его все чаще называю уважительно Саке, помня, что он на десять месяцев старше меня) только улыбается. Он по-прежнему прямой, импозантный, видный. Рядом неизменно жена Ляйла Кадыровна, подтянутая, моложавая, активная, все примечающая, острая на язык. Идеальная пара!

Еще учась в Высшей дипломатической школе в Москве, Салим защитил дипломную работу на тему: «Английская колониальная политика в Кении и борьба кенийского народа за национальную независимость (1956-1966 гг.)». Защитил успешно, и оппонент дипломной работы доктор исторических наук В. Д. Щетинин предложил Салиму сдать кандидатский минимум и представить работу на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Но тогда это было не суждено. Салима захватила практическая работа: он уехал в Каир, столицу Объединенной Арабской Республики (тогда в ОАР входили Египет и Сирия).

Десятилетия спустя, на исходе дипломатической карьеры, он, однако, вновь обратился к науке и в марте 1999 года защитил диссертацию на степень кандидата политических наук и стал читать лекции на английском языке в Казахском Национальном университете им. аль-Фараби, получив вскорости звание доцента. Одновременно он читает лекции и в Казахско-Американском университете. Курсы лекций его называются: «Дипломатическая и консульская службы» и «Дипломатический протокол и документация». Как это важно для молодой независимой страны.

Сыновья — Рустем и Жасулан — пошли по отцовской стезе, давно обрели себя в жизни, обзавелись семьями. Уже и старшая внучка получила в Москве высшее образование.

Словом, жизнь состоялась. Салим Альмаганбетович и Ляйла Кадыровна прочно обосновались в Алматы, ведут активную, осмысленную жизнь, являясь примером и для сверстников, и для молодых. В том я убедился, нередко встречаясь с ними и в их удивительно опрятной квартире, и на просторной, ухоженной даче.

Недавно Салим меня вновь приятно удивил. Оказывается, он пишет автобиографическую книгу под условным названием «Сорок пять лет на дипломатической службе». Я обрадовался. Как же?! Такую богатую, полную разнообразных впечатлений жизнь прожил, в скольких странах на ответственных участках работал, завел удивительные знакомства с неординарными личностями разных народов, столько видел, пережил, перечувствовал, ему, как говорится, и карты в руки. Одну из глав будущей книги («Первые шаги на дипломатическом попри-

ще») Салим показал мне, и я ее прочел на одном дыхании, восхитившись и этой гранью достоинств моего друга. Столько общественных и социальных коллизий, столько судеб, столько мировых страстей (чего стоят одни драматические картины Египетско-Израильской войны), столько высоких человеческих контактов, переплетений и столкновений я обнаружил в записках профессионального дипломата, что я тут же бросился к телефону и горячо убеждал автора: молодец, пиши, непременно все, опиши, это твой гражданский долг, ибо откровенная, искренняя повесть твоей жизни выходит за рамки сугубой конкретной индивидуальности, она обретает общественный, исторический, воспитательный пафос, и ты, дорогой Салим, должен довести свой труд до конца. Пусть это будет «тарту» к твоему семидесятилетию, которое уже не за горами.

Для меня слово «аул» звучит как песня. Аул на берегу Есиля в котором я вырос, чудится мне благодатным островом, началом начал, откуда столько достойных, славных азаматов вышло в большую жизнь.

Один из них — Салим.

Салим Альмаганбетович Курмангужин.

Я горжусь им. И неизменно с воодушевлением говорю ему при встрече и по телефону:

— Салем, Салим!

ОГНЕМ СОТВОРЕННЫЙ

... И хотя бытую я вдалеке от пышного аула Поэзии, случается иногда и мне бывать за дастарханом сладкозвучных и мудрых акынов. Так я однажды в счастливый миг судьбы познакомился с Поэтом Абеке — Абдильдой Тажибаевым. Я всегда робею перед Поэтами и Поэзией, однако в отношениях с Абеке я как-то эту робость переборол и, расхрабрившись, много уж лет назад составил его русский сборник «Былое» /»Жазушы», 1979/ и подстрочно перевел более шести тысяч его поэтических строк. И мне мнится, что я проникся духом его творческой сути и в состоянии сказать о том несколько слов.

Великий Джамбул был убежден, что в его груди поселился, что в его душе изначально живет бесстрашный тигр — вдохновитель его дерзких поэтических подвигов. Это был его Божий дар, его талант, его призвание, его вера, его предназначение.

Поэт Абеке — Абдильда Тажибаев — всегда был убежден, что он сотворен огнем, что он вышел из огня, что огонь течет в его жилах, что он вырвался, ярко пылая, из мрака-крепости и не погаснет, никогда не погаснет, даже если его накроют, захлестнут сель и потоп.

Огнем сотворенный, он верил, неколебимо верил в вечность бытия, в бессмертие священного поэтического дара, в свое бессмертие, ибо где и когда и какой поэт угас, исчез бесследно, и чей и какой Бог был свидетелем того, чтоб умирала песня?!

Вот этот образ Огня — вечного, неугасимого, созидательного, дарующего людям-землянам тепло и свет — есть стержневой, основополагающий символ всего его творчества, всей его жизни.

Другой — родственный Огню — знак-символ его поэзии — Солнце.

Оно присутствует в его стихах везде и всюду. «Какое дивное солнце!» — не переставал удивляться поэт. Его вол-

новало солнце на рассвете. Его восхищало солнце, уходящее в закат. Он верил, что солнце взойдет завтра снова и внушал эту веру-надежду вновь и вновь всем людям.

Он радовался теплому, ласковому ветерку, родившемуся от весеннего солнца, теплому дуновению, исходящему от солнечных лучей. Он знал, что соками этого дуновения питаются и его стихи. И еще он знал, что озябшую душу врачует, вылечит только благодатное солнечнее тепло. Он утверждал: «У всех у нас в крови — одно лишь солнце!» И еще: «О, солнце неугасимое, лишь ты моя надежда!» Он помнил завет матери: «Да будет душа твоя, как солнце». Он признавался: «Всю жизнь я неизменно славлю солнце. Жизнь сама мне чудится в облике солнца». И он гордо говорил: «Мое солнце!», «Мое небо!», «Мои звезды!», «Моя земля!».

А там, где огонь, там, где солнце, — благоухает мир. И поэт Абдильда семь десятилетий воспевал этот мир — огромный и величественный, лучезарный и прекрасный, таинственный и ясный, могущественный и хрупкий. Он, точно ребенок, словно влюбленный юноша, неизменно удивлялся: «До чего велик, огромен белый свет!» И с радостью ощущал, чувствовал, как «из дальней дали светлый луч струится».

Какой же Поэт не воспевал, не боготворил, не славил Любовь? Абеке — не исключение. Сколько проникновенных слов, строк, стихов, поэм о любви было создано поэтом! Он певец любви одухотворяющей, облагораживающей, возвышающей, гармонизирующей. Он говорил: «И я, друзья, родился влюбленным Меджнуном...» Он просил у судьбы лишь одно: чтобы его уста могли постоянно говорить — «люблю» и «поцелуй».

И еще один мотив постоянно звучит в поэзии почтенного Мэтра: это сознание своего долга на земле, долга человека, поэта, гражданина, это вера в человека, вера в Добро. Он хотел «пламенем возжечь бездушные слова». Он гордился тем, что «не прятался в затишье, в закуток, и в бурю жил, не вбирая в плечи голову». Он жил всегда в согласье с солнцем и землей. Он был честным сыном своей Отчизны, своего Времени, своего народа. В свою чудо-повозку по имени Судьба он впряг пару — радость и горе, и эта нераз-

лучная пара мчала его по матери-земле, мчала без малого девяносто лет, и поэт Абеке торопил-погонял этих двух лошадок — радость и горе, полный надежды и печали навстречу неведомым далям, навстречу Грядущему, щедро отдавая людям на этом своем долгом пути жар своей души, тепло своего сердца, богатство своего таланта. Таким я вижу, таким я ощущаю и понимаю выдающегося казахского поэта, тарлана-акына Абдильду Тажибаева.

Он умер в четыре часа утра. И мне пришли на память строки Сырбая Мауленова: «Поэты умирают на рассвете».

Ушел Поэт на рассвете 23 сентября 1998 года.

Последними словами Абеке — почти девяностолетнего — были: «Елім аман болсын!» — «Да пребудет мой народ в здравии и благополучии!»...

Мир тени его!

1998 г

УРОКИ БОРИСА РАУШЕНБАХА

А где-то в нашей Галактике
мечтательно скажут:
«Вон вспыхнула новая звезда».

Б.Раушенбах

Заметки мои навеяны прилежным, внимательным чтением книги академика Бориса Викторовича Раушенбаха (1915-2001) «Постскриптум» , написанной в канун нового века и увидевшей свет в московском издательстве «Аграф» в 2002 году. Книга попалась мне в руки лишь недавно, хотя какие-то главы и мотивы ее мне знакомы по периодической печати на русском и немецком языках, а многие мысли и суждения академика я услышал из его уст на коллективных встречах и частных беседах по линии немецкого движения СССР в бытности Бориса Викторовича руководителем Международного Союза российских немцев.

Тематика книги очерчена в аннотации: «От массы событий уходящего XX века — житейских, бытовых впечатлений, биографических событий, включивших в себя и любовь, и «суму», и тюрьму, и работу на космос, и создание книг о Троице и теории художественной перспективы, - до философских обобщений, размышлений о нашем обществе и мироустройстве, о Петре I и его реформах, о Востоке древнем и современном, о проблемах образования в России и за ее пределами, о национализме и нацизме — таков диапазон книги, в какой-то мере отвечающей жизни Б.В.Раушенбаха».

Человек был интересный, можно сказать, уникальный, поразительно многогранный. И собеседник отменный. Он был интеллектуально раскрепощен, свободен, самодостаточен и по любому поводу, даже в высоких инстанциях, был максимально открыт, честен, смел и обезоруживающе логичен. Иные его высказывания, бывало, шокировали

своей новизной и раскованностью. И ему это шло. Он мог себе подобные вещи позволить. Еще бы: академик Российской Академии наук, Лауреат Ленинской и Демидовской премий, один из основателей космонавтики (долгие годы, кстати, засекреченный), действительный член международной Академии астронавтики, Герой Социалистического Труда, тонкий ценитель искусств, крупнейший специалист по иконам и богословию, органично сочетавший в себе логическое и духовное познания мира, философ, блестящий ученый, энергичная, активная, боговдохновенная личность ренессанского толка, энциклопедист, охвативший своим умом многие грани бытия.

Время летит быстро. И стремительно меняются его цвета. Подрастает поколение, которое о Раушенбахе толком ничего не знает. Забывают его, как это ни досадно и горько, и соплеменники, а он свою немецкость никогда не скрывал, а наоборот, подчеркивал ее и гордился ею: Да, по просьбе М.С.Горбачева он одно время возглавлял Союз российских немцев в борьбе за восстановление поруганной и распущенной автономии Поволжья (его отец был родом оттуда, а мать — немка из Эстонии), однако, как мне и тогда казалось, в осуществлении этой идеи не верил, более того, не особенно этого хотел, так как был убежден, что поезд ушел, народ на распутье, веры нет, судьба целого этноса растоптана, измолота, российские немцы лишены своих национальных корней и восстанавливать, собственно, нечего. Я помню его замечательную реплику, высказанную на приеме у Первого и Последнего Президента СССР в мае 1991 года, когда академик с некоторой запалчивостью и резвостью оборвал неуемных краснобаев из тогдашнего ЦК КПСС: « Хватит болтать! Дураков здесь нема. Это не немецкий вопрос. Немцы свой вопрос решили. Это русский вопрос. Вот и решайте!»

Эти слова прозвучали с таким напором, что М.С.Горбачев онемел, покрылся пятнами и поспешно объявил перерыв в обсуждении наболевшего вопроса, дабы улеглись страсти. А мы, двенадцать членов делегации, удостоенных высокой аудиенции, испытывали шок радости и гордости за своего именитого соплеменника.

О Борисе Раушенбахе какие-то подробности я впер-

вые услышал в ноябре 1971 года, когда навестил известного российско-немецкого поэта и драматурга Александра Реймгена в г. Джетысае в Голодной степи. Оказалось, в 1952 году в трудармии они очутились в одном лагере в Нижнем Тагиле.

В «Постскриптуме» Раушенбах это время вспоминает так: «В Нижнем Тагиле нас высадили, на грузовике привезли в зону и — все. Ничего не объявили, зачем объявлять и объяснять! Статьи-то никакой не было, по которой нас сажали. Статьи нет, ничего нет. Немцы».

Из рассказа Александра Георгиевича Реймгена я запомнил поразивший меня тогда эпизод. Трудармейцы работали на износ, «умирали каждый второй» (Раушенбах); придя в бараки, валились на нары, как убитые, не раздеваясь, не разуваясь. Мор царил повальный. А интеллектуалы — Б.Раушенбах, профессор Московского университета археолог Отто Николаевич Бадер, директор Днепропетровского завода Лой , профессор-химик Стромберг, берлинец Пауль Эмильевич Риккерт, защитивший докторскую диссертацию в Берлинском университете, инженер-турбинщик Вольдемар Фридрихович Рис... Еще Реймген назвал несколько немцев из Украины, Крыма и Волги, но я их не запомнил. Эти интеллектуалы резко выделялись на фоне безотказных поволжских трудяг-крестьян-колхохбауэр тем, что в свободное время не валялись на нарах, а собирались в кружок, читали лекции и просвещали друг друга. То есть, в них преобладал творческий дух. И они все выжили. И что это был за кружок? Читаем в книге Б.В.Раушенбаха:

«Мы организовали «Академию кирпичного завода», шуточное, конечно, название. Идея была общей: в свободное время собираться и читать друг другу доклады, делать сообщения, по своей специальности. Помню, кто-то рассказывал о тонкостях французской литературы конца XVIII века, причем с блеском, эрудированно, изящно. На кой черт, спрашивается, нам были эти тонкости в тех условиях? Но я, например, сидел и слушал, открыв рот. Интересно! Сам я рассказывал о будущем космической эры, хотя до запусков было невероятно далеко, больше двадцати лет, но я говорил обо всем серьезно, как профессионал профессионалам. Бадер поведал нам о самых интересных археологи-

ческих раскопках на Урале, Пауль — о его минералогических богатствах, о своей уникальной коллекции минералов, уже собранной, которую он пополнял и во время отсидки. Каждый старался, кто во что горазд, мы веселили друг друга всяческими дискуссиями, упражняли ум. Конечно, при всех наших беседах постоянно присутствовал оперуполномоченный, который тоже слушал, уж не знаю, что он в этом понимал. Ему приходилось слушать по службе: а вдруг мы ведем антисовествкую пропаганду? Если немцы собираются и долго о чем-то говорят, значит, теоретически, они ведут антисоветскую пропаганду. И он должен был убедиться и доложить начальству, что ничего крамольного сказано не было».

О том же — уже в 80-х годах в Москве - поведал мне историк и философ, добрейшей души человек, земляк по Волге, активный участник движения за восстановление немецкой автономии в Поволжье, доцент Иван Иванович Кроневальд. Он тоже был в том лагере и до конца жизни оставался в Нижнем Тагиле. Факт этот отражен также в очерках Александра Фитца, Роберта Корна, Е.Альбац и других.

Человек образованный, человек интеллекта, как правило, более устойчив к жизненным передрягам и не так сильно теряется в экстремальных условиях. Такова, видно, сила духа. Таков извечный закон бытия. Талантливые люди — так кажется — ходят под сенью Абсолюта. Жизнь — как считает сам академик Раушенбах — счастливая и удачная является подтверждением этого, быть может, спорного постулата.

Раушенбах в своей открытой, исповедальной книге не раз упоминает о том, что «меня ведет по жизни некая Высшая сила, благожелательно ко мне настроенная, и в моей судьбе не было ни одного события, менявшего жизнь к худшему. Даже самые неприятные вещи, которые со мной приключались, вели к удаче».

Кто-то подумает: счастливчик, баловень судьбы, свойство характера, сила интеллекта, вера в себя, в свою звезду, самовнушение.

Я лично так не думаю. Склонен верить: действительно некая Высшая сила водила его неизменно по жизни. Столь

богатую, напористую личность могла (и должна была!) протежировать только Высшая сила, ибо такие, как Борис Викторович, относятся к категории избранников Земли (по Гете: Erdesöhne). И их воля вполне, каким-то мистическим образом, гармонирует с волей Высшего Разума.

Я охотно верю — на основе собственного опыта — что такая Высшая сила, благосклонна направляющая человека, существует в реальности, хотя я, во-первых, в отличии от Бориса Викторовича атеист (правда, не воинствующий), а, во-вторых, масштабы сравнения абсолютно несоотносимы.

Раушенбах признается: «Мой XX век мне ничем не досадил. Мне вообще трудно досадить, я ведь всегда всем доволен искренне. Даже когда сидел в лагере, не притворялся, что стоически переношу жизненные испытания, а на самом деле страдал. Я всегда принимал и принимаю жизнь как праздник. Не стремлюсь в ней что-то сломать или кардинально переделать, принимаю ее такой, какая она у меня получается. И она получается всегда хорошей».

Очень существенное мироощущение. Выверенное кредо. Важные нравственный урок.

Борис Викторович был старше меня на 19 лет, он, скорее, относился к поколению моих родителей. Моя мать, чуткая, добрая женщина, несмотря на свое малое образование, дочь сельского капельмейстера, исповедовала примерно тот же штандпункт: она принимала жизнь, как есть, как божий дар и искренне радовалась незначительным житейским радостям. Отец, сын сельских батраков, всем сердцем и душой воспринимавший революционные деяния «новой» жизни, уповал на коренные преобразования во всем, вечно старался что-то переделать-перестроить и никогда не довольствовался тем, что есть, яростно грезил светлым будущим. В этих вопросах между родителями постоянно тлел нескончаемый спор до конца их жизни. Классовые воззрения их не совпадали, несмотря на взаимную привязанность и уважение. Я же, безмерно любя отца, все же инстинктивно духовно тянулся больше к матери. А уроки Раушенбаха еще больше укрепили меня именно в таком восприятии мира.

Помню так же постоянные сетования на время, в котором мы жили. Сталинское время считалось подлым (все

его потрясения-катаклизмы прошли через судьбы моих сородичей), потом наступили еще более подлые времена, а дальше и вовсе все хуже и хуже. На разных этапах жизни мне приходилось слышать из разных уст: «Ах, в какое подлое время мы живем!» Я не восторгался своим временем, однако всегда считал, что не Время подлое, а, скорее, сами люди, проживающие в нем. Теперь читаю у Раушенбаха: «Нет плохого и нет хорошего времени, есть время, в котором мы живем, и в этом отведенном нам времени надо жить «на полную катушку». Только полнота жизни заключается не в набивании карманов и желудка, а в том, чтобы жить достойно».

Вот на этот постулат горячо отзывается и моя душа.

Однако я отклонился от сути разговора. Речь ведь не обо мне, не о моих родителях, не о моих жизненных ощущениях, хотя и пребываю ныне в солидном аксакальском возрасте. Речь о Раушенбахе, о его книге-исповеди и его конкретных воззрениях о глубоких проблемах бытия и нравственных уроках. Не стану далее обстоятельно останавливаться на всех этих вопросах, поднимаемых славным академиком в своем «Постскриптуме» (иначе придется пересказать и процитировать всю книгу), а выделю лишь несколько ударных моментов, которые, на мой взгляд, не могут оставить равнодушным широкого читателя. При этом я постараюсь представить слово самому автору, прибегая к обильному цитированию, лишь изредка разбавляя повествованием своими посильными соображениями по тому или иному поводу, то есть, примеряя каким-то образом уроки выдающегося человека к своей Wenigkeit.

№ 1 «Я гугенот...»

«Я гугенот, поститься мне не надо было, но теперь я стал православным. Недавно окрестился в новую веру, потому что помри я — меня по гугенотскому обряду никто не похоронит, у нас же и церкви никакой нет, а по православному меня отпоют, как полагается».

Вспомнил: проблемой вероисповедания всю жизнь мучался, к примеру, и всемирно известный композитор Альфред Шнитке. По отцу он был иудей — австрийский

журналист Гарри Шнитке. Мать, Мария Фогель, волжанка-немка, лютеранка. Сам Альфред вырос, скорее, в православной среде, в православной духовной культуре, тяготел с малолетства ко всему немецкому. С Альфредом (мой ровесник и земляк по г. Энгельсу Саратовской области) я знаком не был, но знавал его брата-поэта и переводчика Виктора Шнитке. Мать его работала в московской «Neues Leben», активно сотрудничала с российско-немецкими автономистами. В редакции «Neues Leben» я встречал и ее дочь (имя запамятовал). Мои предки были лютеране. Бабушка, Мария-Элизабет, прямо-таки неистовая. Отец прожил жизнь атеистом (даже являлся членом «Союза безбожников»). И я поныне атеист (умеренный). Когда Алексий, митрополит Алма-Атинский и Семипалатинский, во время какой-то трапезы полюбопытствовал у меня, какой я веры, я ответил: «Лютерманин». Он задумался и озадаченно сказал: «Да вроде нет такой веры...». Тогда я расшифровал: «Лютеранин-мусульманин». Митрополит долго хохотал.

Такой вот факт напрашивается после признания академика Раушенбаха.

Бобка, Пушка, и невозмутимый ариец.

Если долго меня называл Бобкой, то в школе приятели звали Пушкой. Почему Пушка? Потому что естественная транскрипция фамилии: Раушенбах — Раушен — пушка — Пушка. До сих пор я Пушка, когда встречаюсь с одноклассниками, Пушкой буду для них до конца, потому что так меня «окрестили», говоря современным языком, в третьем классе и до окончания школы иначе не звали. Хотя буквальный перевод моей фамилии на русский язык — «журчащий ручей».

Замечу, кстати, что «Раушенбах» звучит красиво, поэтично и возвышенно. Правда, бах (ручей) к конкретному носителю этой фамилии плохо подходит, он, скорее, был «морем», «океаном», нежели ручьем.

Были и другие прозвища: «Бахус» и «Невозмутимый ариец». Невозмутимый, сдержанный, спокойный — черты характера, а «ариец» - потому, что немец. Тут намек ясень.

«Примерная схема жизни...»

«...меня что-то само несет по жизни, и я не сопротивляюсь. Но из Ленинграда я уехал совершенно сознательно. Была цель — по своей профессии. Даже не цель, а просто всегда знал, что закончу школу, пойду в институт, институт будет иметь отношение к авиации, потому начну работать в каком-нибудь конструкторском бюро. Примерная схема жизни у меня была, и частично она состоялась. Но жизнь много сложнее, чем мы ее представляем. Считая, что после института я буду работать в КБ, строить самолеты и так далее, я не учитывал многих ответвлений. Получилось по-другому, и я думаю, даже лучше получилось. Интереснее, скажем так, а не лучше. Я - редкий человек, который осуществил свою детскую мечту — заниматься Космосом, воплотил ее в жизнь. И действительно занимался Космосом и продолжаю им заниматься. Это у меня идет изначально. ... Меня волочит по жизни некий призрак, сам я не рыпаюсь...»

Мне, автору этой статьи, такое психологическое состояние очень знакомо. Я — малоинициативный человек. Давно заметил: сижу на берегу жизни и спокойно, с истинно женским терпением, жду некого сигнала, толчка, голоса извне. Мое кредо: что должно быть, то и будет, а что будет — уже было. Бывает, чувствую, знаю: сегодня ничего предпринимать не стоит — рано, вопрос не созрел, а если и возьмусь за дело — толку не будет, перо не побежит по бумаге, мысль буксует, а завтра или послезавтра — о, самое время, сосредоточься, ощетинься, работа пойдет, как по маслу. Излишняя инициативность — не всегда благо. Иногда насилие над волей. А волю насиловать не следует. Лучше чутко улавливать Волю загадочную, внешнюю. Может, это называется интуицией? Раушенбах убеждает меня в своих субъективных качествах. Одно ясно: должна быть примерная схема жизни. И ей целесообразно настойчиво следовать.

«Я говорю на языке восточных немцев»

«В Германии говорят на немецком языке, которого в стране по сути нет. Потому что в германских землях — в Саксонии, в Баварии и других — имеются свои наречия,

варианты языка. А общенемецкий язык — это язык Лютеровской Библии, язык немецкой литературы, которая свидетельствует, что общенемецкий язык существует, но ни один народ в стране на нем не говорит, говорят на наречиях, есть и писатели, пишущие на народных языках. Мне очень странно их читать, потому что я половины не понимаю, столько всего введено в литературную ткань из языкового наречия.

Я говорю на языке восточных немцев, с их произношением, и это многих сбивает с толку.

В моем языке есть балтийский заряд, которого сейчас в немецком нет, а раньше этот язык жил, его преподавали в школах, я еще застал те времена, времена буржуазной Эстонии, когда люди говорили по-немецки, но в балтийском варианте. Он полностью совпадает с классическим немецким, отличаясь только произношением».

Я пристально прислушивался к немецкой речи академика Раушенбаха на открытии съездов российских немцев, в беседе с представителями немецких властей из Германии. Действительно, немецкая речь Бориса Викторовича отличалась от общепринятых фонетических норм современного немецкого языка, но он чувствовал себя уверенно и его отлично понимали. Я ловил себя при этом на мысли, что у меня, например, такой уверенности нет. Отсутствие постоянной языковой практики сильно чувствуется.

В лагере

«Перечитываю сейчас страницы, написанные мною о лагере, и понимаю, что непосвященный человек может подумать: да у них там было вполне благополучное существование. Тепло, научная работа, вечерние прогулки, совершенствование немецкого языка... Радужные впечатления, одним словом. Но вот один хотя бы маленький штрих, информация к размышлению: приехала как-то Вера Михайловна с очередной порцией хлеба и книг, стоим мы с ней у окна барака, и она вдруг меня спрашивает: «Что это за бревна там грузят?» Я ей торопливо объясняю: «Ничего особенного, ты не смотри, не надо», надеясь, что ее близорукость не дала рассмотреть, что происходит на самом деле — в гру-

зовик швыряют еженедельную «порцию» замерзших трупов... Мы-то уже как бы привыкли к этой процедуре, знали, что умерших отвозят в яму недалеко от лагеря — зачем возить далеко, когда сразу за зоной начиналось поле (мы находились на крою города), там копали ямы, сбрасывали в них трупы, присыпали песочком, потом снова бросали трупы, опять присыпали и через несколько слоев закапывали яму окончательно. Такие вот были похороны.

Люди умирали от непосильной работы при очень скудной еде, есть давали чудовищно мало. Поэтому-то я позже равнодушно смотрел на ужасающие фотографии в Бухенвальде — у нас в лагере происходило тоже самое, такие же иссохшие скелеты бродили и падали замертво.

Я был настолько худой, что под сильным порывом ветра валился наземь, как былинка. Но поскольку все были неимоверно тощие, это как-то не бросалось в глаза. Конечно, главной мыслью всегда оставалась мысль о еде. Пауль Риккерт любил говорить, что когда все кончится и он окажется на свободе, то попросит жену сварить таз макарон или лапши и съест их с сахаром! Такая вот мечта условная, потому что все мы понимаем, что можем и не выжить, ведь солагерники мерли на наших глазах, как мухи, мы это видели, но что могли поделать? Что могли этому ужасу противопоставить? Только духовность, только интеллектуальное свое существование, жизнь своей души».

А ведь и я жил в это время. И вспоминаю все «прелести» тех лет. И мы отбывали бессрочную ссылку в казахском ауле на берегу Есиля. Жили бедно, скудно, наравне с аулчанами. Поначалу у нас даже не было ни коровы, ни огорода. Мать выменивала свои скромные городские одежки на молоко, масло, яйца, пшено. Отец достал ручную мельницу и выпрашивал у председателей бедных колхозов по несколько килограммов ячменя, овса, ржи, пшеницы. Как-то перебивались, обходились. Великое счастье, что отца не забирали в трудармию. Семь раз его призывали через райвоенкомат и семь раз его отстояли местные казахи: во всей округе не было ни одного медика. Так что лагерную жизнь будущего академика вполне представляю, тем более большинство моих дядьев, двоюродных братьев и сестер именно в эти годы и сгинули в лагерях.

О Королеве

«Считаю, что главным у Королева было не то, что он что-то придумывал или изобретал. Я в свое время долго размышлял о Королеве, фон Брауне и всех тех людях, которые действительно совершили крупные открытия, я бы сказал, открытия общемирового значения, и думал, как их назвать одним словом: великий ученый, великий инженер? Все это ерунда. Великих ученых много, много и великих инженеров, а эти люди были явлениями уникальными. И я не придумал лучшего слова, чем полководец. Если я, человек совершенно другого склада, могу представить себя начальником штаба, но никак не полководцем, то Сергей Павлович был именно полководцем в освоении космической техники, по-моему, это самое точное определение, я могу, например, представить себе Королева в маршальском мундире, командующим фронтом. И мечтал он, конечно, о большем, нежели запуск в космос человека, он мечтал о покорении Космоса в широком смысле слова. Не одного человека отправить, а много людей, создать на Луне несколько баз, слетать пилотируемым полетом на Марс... Мало ли что можно придумать. Все это его очень интересовало, он старался сделать как можно больше и быстрее, поэтому и говорил мне: нам с тобой осталось немного. То есть нельзя ничего откладывать на столетие. Не чувствовал смерти, но понимал, что нужно все сделать очень быстро, по сравнению с задачами времени отпущено не так уж много.»

К сказанному, собственно, добавить нечего. Одно очевидно: великие люди тянутся друг к другу и находят друг друга. И в этом проявляется некая глобальная закономерность, общая формула. Это уже уроки Судьбы, Рока, Фатума, как хотите.

Любовь к истории

«Любовь к истории я чувствовал всегда, особенно к древней. Много ездил, в основном по древним русским городам. Но ездил по-своему, потому что наши так называемые экскурсии — это все что угодно, только не то, что надо».

«Первая моя книга «Пространственные построения

в древнерусской живописи» вышла в 1975 году, вторая, включающая уже примеры из мировой живописи, - в 1980-м. Строгий математический анализ выявил, что никогда не существовала и не была разработана научная система перспективы, адекватно передающая геометрические характеристики изображаемого пространства на плоскости картины без каких-либо условностей и искажений. Это получило окончательное математическое обоснование в третьей книге, 1986 года издания, где дана общая теория перспективы. Четвертая, «Геометрия картины и зрительное восприятие», в которой я счел возможным и целесообразным изложить вопросы, не имеющие прямого отношения к учению о перспективе, но без которых понять историю изобразительного искусства не возможно, вышла в 1994 году».

«Я занялся богословием»

«Иконы, да и классическую живопись, во многом основанную на евангельских сюжетах, нельзя понять, не занимаясь богословием, - это вполне естественно. И я занимался богословием.»

«В младенчестве я не выбирал религию, какая она ни есть — она моя. Сейчас же я принимал религию не как ребенок, а сознательно. Перешел в православие не только потому, что в России нет гугенотских храмов, но и потому, что считаю православие ближе к истине, то есть ближе к древней Церкви, которая создавалась апостолами».

«Во все времена моей жизни мне была весьма неприятна антирелигиозная пропаганда, я всегда считал ее чушью и болел за религию».

«Никакого архива у меня нет и не было»

«В общей сложности у меня вышло книг тридцать, да еще дополненные и переработанные издания, закрытые, само собой. И больше ста статейных работ. Сразу оговорюсь: никакого архива у меня нет и не было. Сработало то, что я был в ГУЛАГе: ничего нельзя оставлять, никаких документов, писем, записей, потом их обязательно кто-нибудь истолкует не так, как надо.

... У меня выработалась четкая гулаговская привычка все уничтожать, ничего не оставлять следователю. Понимаю, что никто меня сейчас арестовывать не будет, но ничего не могу поделать — привык, так сложилось, себя не переделаешь, да и незачем».

Пушкин, Толстой, Достоевский, Библия.

«В русской классической литературе я считаю себя необразованным человеком из-за случайности чтения. У меня получилось нечто пестрое, склеенное из разных кусочков и с большими дырами в разных мечтах. Сознательно в какой-то период моей жизни — конечно, не в детстве — я искал и покупал Достоевского, он мне очень нравится, выражаясь современным языком, он меня «достает». Когда я читаю Достоевского, мне интересно, я переживаю. Это можно сказать и о Пушкине. А вообще художественную литературу я читаю как что-то постороннее, не касающееся меня, не влезаю туда, если говорить о многих других книгах. Меня редко забирает. Вот, помню, у льва Николаевича Толстого я читал куски, не вошедшие в основной текст, его черновики — поразительные вещи!

... А Священное Писание, например, - это чтение на всю жизнь. Если человек прочел Библию от начала до конца, то ему открылись такие глубины! Можно ли это сравнивать с деловой литературой, живущей, по сравнению с Великой Книгой, один миг?»

«Большой домашней библиотеки у меня никогда не было»

«... жизнь складывалась так, что библиотеку не на что было заводить. То, что я собрал, уже будучи студентом, погибло в войну в Ленинграде. Когда я переехал в Москву, у меня не было денег, чтобы купить новые брюки, какая уж тут библиотека! А потом — лагерь и так далее...»

«Читающий человек – существо особого порядка»

«Вообще читающий человек — существо особого порядка, но все зависит от того, что он читает. Если только американские детективы, то для меня он не человек читающий».

«Власть делает человека глупее»

«Из этого я сделал вывод, - пишет Моэм, - возможно, опрометчивый, что для управления страной не требуется большого ума...»

Да, власть делает человека глупее.»

«Присваивать всегда легче, чем производить.»

«Присваивать всегда легче, чем производить, поэтому у нас больше миллиардеров, больше «Мерседесов», чем, скажем, в Германии, наши весьма изобретательны по части прикарманивания. Я просто-напросто не знаю, как это сейчас делается, но посмотрите: они деньги гребут, а страна ничего не производит и ничего не получает, кроме займов».

Раушенбах имеет в виду Россию, но кто скажет, что в Казахстане иная картина?

«У меня нет будущего»

«У меня нет будущего. Звучит парадоксально, и я даже шокировал таким высказыванием одну собеседницу, но это факт. Разумеется, я не достиг своего потолка, но могу твердо сказать, что президентом России уже не стану. У меня все в прошлом — академик, профессор, лауреат, - я все прошел и сейчас могу двигать только «вбок» - влево, вправо, растекаться мыслью по дереву, «ответвляться».»Вбок» - тоже движение, и в этом смысле я могу устремляться довольно далеко, но вверх, вперед, ура-ура — этого уже нет».

Горькое признание, но трезвое, и нечто похожее о себе может, подводя итоги, сказать едва ли не каждый мыслящий человек. Если, понятно, хватит мужества.

О китайской литературе

Раушенбах имел много увлечений. Но дилетантством не грешил. Все занимался, как подлинный ученый, основательно. Поэтому любопытны его рассуждения, например, о китайской литературе.

«Отмечу в скобках, что китайские средневековые романы для европейца нестерпимо скучны, он начинает получать от них удовольствие, прочтя примерно тысячу страниц, если, конечно, не бросит на полдороге. И только тогда он вживется в этот мир, и этот мир начинает ему нравиться, захватывает, вбирает в себя: китайская культура имеет свою внутреннюю логику. Но первую тысячу страниц можно преодолеть только усилием воли и нудной настырностью: плюешься, но читаешь. Не потому, что литература плохая, она другая, не европейская. Совершенно по-иному построена, должен признаться, кое в чем вначале омерзительна, но зато потом... Недаром говорится, что сначала надо узнать, потом — полюбить».

О «всеобщей» культуре

«Сейчас полным ходом идет всеобщее переваривание, перелопачивание, нивелировка отдельных национальных культур, их слияние в некую мировую культуру. Не хочу утверждать, что это плохо, не хочу утверждать, что хорошо. Но нивелировка идет, и очень четкая. Утрачиваются нюансы, которые до сих пор сохранялись в национальных культурах, они теряются в большой «всеобщей» культуре, там берет верх вселенское начало. Может быть, это и правильно. Если человечество не вымрет к тому времени, оно будет единым, все постепенно сольется, но на этом этапе пока еще ничего не слилось».

Древний Египет и Космос

«В детстве у меня было две мечты, очень меня увлекавшие: Древний Египет и Космос. Я выбрал Космос, потому что это было реально, а Древний Египет — нереально. Ну кто бы меня пустил в Египет, в особенности в советское время?

...Мне очень нравится манера древнеегипетских художников, скажем точнее, рисовальщиков, изображать предметы. Я даже написал об этом статью в журнал «Геттингенские заметки», посвященный только Древнему Египту. Мне хотелось показать в этой статье, что вся искусствоведческая литература по Древнему Египту в известной мере ахинея».

Эпоха Петра I

«К эпохе Петра I и к нему самому я отношусь с величайшем почтением, внушенным мне с детства... Если говорить о самом Петре, основателе не только редкостного города, но и редкостного государства, то мое мнение будет мнением рядового гражданина, а не специалиста. Все началось с него, Петра Романова, в котором не было, собственно говоря, немецкой крови, но который испытывал необъяснимое тяготение к Европе, к немецко-голландскому образу жизни, к реформам.

И, не разбираясь в эпохах как специалист, я все-таки рискну утверждать, что Петр сделал для России главное. Екатерина сделала, может быть, больше него, но у нее и времени было больше. Кроме того она ничего бы не добилась, не будь до нее Петра».

Мы американизируемся

«Сейчас, когда все перепутано, мы тянемся не к интеллигентности, а сознательно и бессознательно американизируемся, это происходит как бы само по себе, постепенно, но неуклонно, и лично мне не нравится. Мне неприятно, что образцом для подражания теперь является Америка, ее порядки, нравы, ее представления о жизни... Идет переориентация на силу и деньги, мир становится все более прагматичным и жестким, а французская галантность и обходительность, английская щепетильность и честь теперь никому не нужны.»

«Мы привыкли жить плохо»

«Я никогда не жил в достатке, как это ни печально, я всю жизнь чувствовал свою бедность, ощущал ее укусы. И смешно сравнивать мое материально положение с положением академика, профессора на Западе. Когда меня спрашивали за границей, сколько я получаю, всегда приходилось прибегать к неким хитростям: да, я получаю чудовищно мало по сравнению с моими коллегами на Западе, но зато у нас бесплатное образование, бесплатное медицин-

ское обслуживание, бесплатное то, бесплатное сё... Теперь даже этого сказать нельзя — у нас ничего бесплатного нет, и по сравнению, скажем, с профессором в Германии я живу очень скудно. Но никакой моей вины в этом нет, я отдавал и отдаю своему государству, своему Отечеству все, на что способен. А мое государство и мое Отечество нынче не считает себя обязанным обеспечивать население, нацию даже самым необходимым. Мы привыкли жить плохо.

Об умном национализме

«Нацизм отличается от национализма тем, что национализм утверждает: мы — хорошая нация, а нацизм утверждает: другие нации плохие, и тем самым как бы отказывает им в праве на существование. Неагрессивный, положительный национализм свидетельствует о гордости человека тем, что он принадлежит к своей нации; даже у Ленина — уж на что интернационалист был! — есть статья «О национальной гордости великороссов». А вот отрицательный, агрессивный национализм, уничтожающий другие нации, конечно, надо отметать, это явная глупость. Потому что другие нации ничуть не хуже, просто они другие, но такие же достойные».

О целостном понимании мира

«Для целостного же восприятия мира следует, что наука и религия не противоречат, а дополняют друг друга, точно так же, как искусство не противоречит науке, а дополняет человеческое восприятие мира. Наука изучает законы материального мира, что не является целью религии. Поэтому здесь не может возникнуть никаких конфликтов или недоразумений.»

«Логически нельзя доказать...»

«...логически нельзя доказать ни бытия Бога, ни его отсутствия во Вселенной».

В Москве в перерыве между заседаниями комиссии по восстановлению автономной республики немцев Поволжья я спросил у Бориса Викторовича: «Как сочетаются Кос-

мос и вера в некий Абсолют?» И он тотчас ответил: «Математическим путем я не смог доказать сотворение мира вне воли Абсолюта».Вот эта же мысль прозвучала и в его «Постскриптуме».

«Система образования в России выше...»

«Должен отметить, что система образования XIX века сохранилась у нас то ли по недосмотру наших начальников, то ли еще по некой причине, но, к счастью, сохранилась! И не дай Бог, какой-нибудь начальник очнется и примется перестраивать ее на американский лад, тем более что в начальники, что в начальники, как уже неоднократно говорилось, идут в основном пустозвоны.

...Все пошло со времен Петра I, мы сохранили старую школу, а немцы в начале XX века у себя все переделали. В этом они бестолочь хуже нас, значительно хуже. Мы все это, образно говоря, посыпали солью, заквасили на традиционный русский манер, а немцы стали переделывать в соответствии с новыми веяньями. Ну и допрыгались. Образовательный уровень немецких школьников и студентов несравненно ниже, чем у российских, даже в столь тяжелое для нас время. Тяжелое, разумеется, и для системы образования. Уровень образования у нас и, условно говоря, в Германии, но я могу назвать и Америку, и другие страны, несмотря ни на что, сильно отличается в нашу пользу. Больше всего на свете боюсь, что какой-нибудь безмозглый, функционер — а таких в правительстве пруд пруди! — решит провести реформу, чтобы было у нас, как в Германии, в Англии или в Америке. Хуже ничего не придумаешь».

Здесь, пожалуй, уместно кое-что добавить от себя. Тема образования и меня занимает давно. Проблемами образования, можно сказать, занимаюсь всю жизнь. По базовому образованию я ведь педагог. Работал в школе и до, и после института, потом учился в аспирантуре по кафедре методики преподавания русского языка и литературы в казахских школах. Скрупулезно изучал программы и учебники дореволюционных школ, гимназий, медресе и русско-киргизских (казахских) мектебов. Вывод моих исследований оказался никак не в пользу нынешней системы

обучения. Деградация школьной системы явно бросается в глаза и в России, и в Казахстане. На мой взгляд, в этой области потерей с каждым годом больше, нежели обретений. В Казахстане это видно невооруженным глазом: скверные учебники, слабые учителя, безграмотные ученики, зыбкая методика, сомнительные эксперименты, надуманные реформы — показушные, для отвода глаз, мыльные пузыри. За последние 18 лет в Казахстане сменились 12(!) министров образования и науки. И каждый из этих министров рьяно принимался за какие-то преобразования, чаще всего ни уму, ни сердцу, бросая свои сомнительные затеи на полпути. Деньги вообще-то выделялись немалые, но они уходили на ветер или оседали в чьих-то карманах. Благие лозунги (вроде как «сто школ, сто больниц!») оказались пустым потрясением воздуха. За годы независимости даже трехсменку одолеть не удалось. Многие школы обветшали донельзя. Но я тут говорю не о материальной стороне вопроса. Сам процесс обучения регрессирует. Это видно потому, как учителя учат, как ученики учатся, что и как читают, какие интересы их влекут. То есть, педагогика сдает свои позиции по всем параметрам. Академик Раушенбах сравнивает, сопоставляет процесс обучения в школах России и Германии и приходит к выводу, что в благополучной Дойчланд обучение не выдерживает никакой критики. Об этом и мне приходилось много раз слышать. Знаю, что ученики российских школ значительно опережают своих германских сверстников по уровню знания физики, математики, географии, истории, литературы. Уступают они им только по языку, что заметно сковывает и ограничивает их потенциальные возможности. Нелли Ваккер, российская немецкая поэтесса и многоопытный педагог, перебравшись в Германию, часто посещала тамошние школы и приходила в ужас от уровня преподавания, методики, программ и дисциплины на уроках. Особенно ее поражало, что учащиеся на уроках ведут себя разнузданно, как им заблагорассудится, абсолютно вольно, переговариваются, грызут орешки, едят бананы, взбираются на парты, жуют жвачки, пьют колу, рассаживаются по подоконникам, а учитель не делает им никаких замечаний. Ибо это считается нарушением человеческих прав. Нелли Рейнгольдовна красочно описы-

вала мне все увиденное и пережитое на уроках германских школ.

Об этом пишет в своей книге и академик Раушенбах. У него внучка училась в школах Германии, и он знал, о чем писал.

Особенно сатирически высмеивает ученый современные «кошачьи академии».

«Ведь сейчас не престижно быть профессором университета, даже академиком — я имею в виду действительных членов Российской Академии наук, как теперь ее называют, РАН, а не всяких «кошачьих академий», вот и я завел дома такую — коты у меня академики, а я у них президент.

Если углубиться в историю, то когорта «бессмертных», то есть академиков, появилась во Франции во времена Ришелье, и входили в нее в то время сорок человек. Наша Академия наук — бывшая Императорская, бывшая СССР - была создана по желанию Петра I, правда, после его смерти. Надо сказать, в российской Академии во все времена, всегда старались выдерживать достойный уровень, чтобы там, по возможности, хотя бы не дураки собирались. Но дуракам-то тоже хочется стать академиками, поэтому, пользуясь нашей нынешней неразберихой они стали образовывать свои академии на уровне ПТУ, которые я называю «кошачьими».

...Им самим неудобно всерьез называться академиками, но между собой они с удовольствием так друг друга величают, просто сотрясая воздух своим так называемым званием, и даже платят за то, чтобы быть «академиками».

В Казахстане этих «кошачьих академий» тоже пруд пруди. Я даже не рискну их перечислить: от «Академии искусственного осеменения» до «академий мод, красоты, собак, тараканов и секса». И все члены этих с позволения сказать «академий» гордо именуют себя академиками. Подавляющее большинство моих знакомых, как правило, «академики» - социологии, экологии, журналистики, информатики, общественных наук, гуманитарных дисциплин, телевидения, радиовещания, внешних связей, внутренних интриг, биллиардистов, ветеринаров и т.д. и т.п. Дикость какая-то! Уродство! Нонсенс! Но мы это безобразие попутно ликвидировав Казахскую Академию наук, выдаем как небывалый расцвет отечественной науки и интеллектуального развития. Смешно: почти все наши депутаты, акимы, члены

правительства и президентской администрации — доктора наук и академики. Я знаю семьи, где муж, жена, дети, зятья, внуки, сваты, свахи — сплошь остепенены. Вот каких вершин достигли мы в науке! Когда-то Мухтар Ауэзов выдал лапидарную фразу: «Степь любит брюхо». Было время, когда степенная знать, начальство должны были выделяться мощным брюхом, как символом социальной значимости и важности. Ныне начальство непременно должно обладать громкими учеными степенями и званиями. Таков прогресс... Академик Раушенбах это подметил точно.

Я прочитал и перечитал «Постскриптум» Бориса Раушенбаха не только с интересом — с восторгом (столько глубоких и верных, мудрых мыслей о жизни, о своем Времени, и о себе») и с сожалением (жаль, что сокровенная повесть-исповедь закончилась).

«Засел за книгу, чтобы вспомнить всю свою жизнь. Написать о ней, как и полагается на склоне лет каждому грамотному человеку».

Очень правильно поступил милейший Борис Викторович. Ему было о чем нам поведать.

«Некоторые читатели могут подумать, что ее название «Постскриптум», говорит о моем прощании с жизнью, все в прошлом, завершаю свой путь...

Ничего подобного!»

И это верно: «Ничего подобного!»

Со смертью жизнь не кончается. «Смерть — еще не конец», - говорили древние греки. А в любом «Постскриптуме», как правило, сообщается всегда самое главное, самое актуальное. И академик Раушенбах преподал нам прекрасный и достохвальный урок своей жизнью, своими деяниями, своими нравственными критериями и принципами, своими сокровенными раздумьями и духовными взлетами. И мы, конечно, испытываем глубокую благодарность его памяти.

Я счастлив, что видел, слышал и немного знал эту уникальную личность — Бориса Викторовича Раушенбаха.

Я рад, что изучил его исповедальную книгу «Постскриптум».

Для меня жизнь и деяния академика Раушенбаха — ориентир и опора в моем земном бытовании.

07.10.10

НАРОДНАЯ САГА РОЛЛАНА

«Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она мстит. Каждая из этих побед, правда, имеет в первую очередь те последствия, на которые мы рассчитывали, но во вторую и третью очередь совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают значение первых».

Фридрих Энгельс

О ком речь? О Роллане Сейсенбаеве, выдающемся казахстанском прозаике, драматурге, переводчике, эссеисте, издателе, общественном деятеле, творце уникального журнала «Аманат», президенте Международного клуба Абая.

О чем речь? О его многоплановом, многослойном сказе о трагедии казахов, о подлинно народной саге, об объемной эпопее-романе «Мертвые бродят в песках».

Знаю: это творение Роллана началось в Аральске, Балхаше, Алма-Ате, Зайсане в 1983-1988, потом — в Москве в 1989, увидело свет еще на исходе восьмидесятых годов — на пике Аральско-Балхашской экологической трагедии и смутных политических, социальных, общественных катаклизмов. Потом роман вышел в 1991 году в Московском издательстве «Советский писатель» под названием «Отчаяние или мертвые бродят в песках». Фрагменты из романа я встретил в разрозненных номерах журнала «Аманат». А сподобился читать это масштабное произведение, каюсь, только недавно по изданию «TAFA» 2006 года. Читал долго, внимательно, с карандашом в руке. То, о чем поведал Роллан в этом романе, мне в немалой степени знакомо, ибо казахов, их историю, культуру, быт, обычаи, нравы, трагическую судьбу и ментальность я знаю не понаслышке: с 1941 года я, этнический немец с

Поволжья, варюсь без малого семь десятков лет в огромном казахском казане, и казахская боль, казахское отчаяние вкупе с бесконечным терпением в историческом временном промежутке клокочут во мне, я весь напитан и пропитан этой болью, даже казалось бы локальная аральская трагедия живет во мне десятилетиями, с того самого времени, когда я с писателем Абдижамилем Нурпеисовым имел возможность два летних месяца жить в далеком 1964 году на берегу еще могучего тогда синего моря, в рыбачьем поселке у залива Тушы-бас, тесно узнать людей того края, скотоводов и рыбаков, и проникся духом народа по многим его параметрам. И потому могу со своей колокольни удостоверить, подтвердить всю многоликую, многогранную правду, о которой так глубоко и проникновенно, так доверительно и исповедально поведал читателю чуткий сердцем и душой художник.

Пожалуй, ограничусь здесь лишь несколькими словами о самом Роллане Сейсенбаеве. Во-первых, о нем написано немало, особенно в связи с его недавним шестидесятилетием, во-вторых, в данных своих заметках намерен главным образом сосредоточиться на одном его романе.

В литературу он пришел, если не ошибаюсь, в семидесятые годы прошлого столетия. С той поры я его и знаю, будучи на один мушель (двенадцатилетний «животный» цикл) старше его. Заявил он о себе сразу интересно, нестандартно. Родом из абаевских краев, проникнутый той знаменательной духовной аурой, он держался несколько особняком, весьма независимо, как отбившийся от табуна строптивый, вольный стригунок, и, помнится, меня лично это обстоятельство в его личности больше всего привлекало. У него был свой круг интеллектуального общения. Его тянуло к личностям особого склада и полета. Говорил и мыслил не так, как многие его единокровные сверстники или старшие коллеги. Он избегал привычные «казакбайские» интриги, многословные тусовки, писал свободно по-казахски и по-русски, выделялся и повседневным поведением, вкусами, пристрастиями, стремлениями, амбицией, был не одним из многих, а подчеркнуто индивидуален, своеобычен, самодостаточен. Разумеется, эта его особливость не всем пришлась по душе. С трибуны Союза писателей Казахстана кое-кто его иногда пощипывал к

месту и не к месту. Мне же сразу стало ясно: этот щеголеватый молодой человек, обладающий своим шармом, пойдет своей тропинкой, у него своя стезя, где-то на стыке национальной, русской и зарубежной культур. Он до поры до времени сидит не на привычном тугуре-подставке и скоро взлетит высоко, полетит далеко, и горизонты его видения широки. Встречаясь с ним в Алма-Ате, в Москве, в Риге, общаясь накоротке, я все более убеждался, что ему уготованы прекрасная литературная судьба и крутой гражданский жребий во славу казахстанского общества и грядущих позитивных перемен.

Теперь я рад, что в представлениях-ощущениях своих в Роллане Сейсенбаеве и его художническом даре я не ошибся. Литературные и гражданские, просветительские, культуртрегерские деяния Роллана ныне вызывают бесспорное восхищение.

Пытаюсь оконтурить тематический круг романа. Перелистываю объемное — в 700 книжных страниц — произведение, вникая в свои карандашные пометки. Поражаюсь, как можно было такую махину композиционно выстроить, психологически описать не одну сотню героев, не заблудиться в лабиринте событий и сюжетов, в Монблане фактов, удерживать в памяти нить многовекторного повествования, не повторяться в изображении природных катаклизмов, душевного катарсиса героев, распределить необъятный материал во времени и пространстве по четырем громадным частям, а каждую часть по главам, обрамленным прелюдией («1968») и эпилогом, названным латинским изречением «Non bene pro toto libertas vendita auro», что означает: «Свободу не следует продавать ни за какие деньги», подобрать к каждой части по нескольку эффектных афоризмов, а к главкам — подобающие цитаты из газет и радиосообщений, характеризующие конкретное время, в котором пребывают, проживают свою земную жизнь герои, мучительно размышляющие о локальных и глобальных событиях на земле. Колоссальная работа! Умопомрачительное напряжение таланта!

Обертоном роллановского творения служит авторское посвящение: «Со скорбью в душе посвящаю эту книгу

рыбакам Арала, жителям Семипалатинска, жертвам ядерного безумия и экологических катастроф XX века — чьи голоса бьют набатом, чьи души стонут над планетой и взывают к разуму живых».

Здесь каждое слово весомо, как пушечное ядро, и набатом отзывается в взбаламученной душе читателя.

Такова идея, таков живой, взыскующий пафос народной саги Роллана Сейсенбаева. И эта тревога человеческой совести понятна и доступна любому обитателю на всех континентах земного шара.

Один из сквозных героев книги Кахарман говорит:

«Да, недуг, который случается в одном конце Земли, обязательно даст знать о себе совсем в другом. Таковы закономерности природы. Вот бы так было и в человеческом обществе! Увы, нет этого».

Всей идейной и художественной фактурой романа автор на самом деле утверждает, что этот постулат в полной силе распространяется и на человеческое общество. Недуг одного народа непременно отзывается болью и скорбью на другом конце света. Аральская экологическая трагедия — трагедия не одних казахов, узбеков или каракалпаков.

Ловлю себя на мысли, что тематический круг саги довольно сжато, лапидарно, но объемно очертил литературовед-философ Георгий Гачев в своем развернутом, в форме уникальной записи, предисловии. Приведу из него цитату:

«24.IX.93. Вчера дочитал книгу Сейсенбаева «Отчаяние» и могу оценить, какая это крупная вещь. Народный эпос. Сначала меня раздражала его куча мала: вали и то, и се — и родные места Казахстана: Арал, Алма-Ата, Балхаш, Семипалатинск, еще и Москва, а через газеты — весь мир: и Америка, и Индия, и Румыния... Еще и эпохи разные — через стили повествования: нынешние рассудочные споры ученых и предания прежних времен, выдержки из газет — и стихи. Пестрота персонажей и профессий: рыбак, мулла, поэт, секретарь обкома, ученый, наркоман, пьяница, безумная пророчица, жена-хозяйка, а главное — стихии природы: пески, песчаные бури, ливень и засуха, капризы небес, ледников, рек, птиц, рыб — их, мирных, хищное

остервенение, когда в бешенство от безводья и солончаков приходят (как души людей в невыносимых условиях...).

О, это универсум — это роман. Еще и политика, и разные ее контрадикторные устремления, и ее буффонные персонажи-лицедеи на арене масс-медиа. Роман — панорама бытия. И главный персонаж тут не личность, а народ в лицах разнообразных — в теснине между Природой и Историей, между этими Симплетадами: как между Сциллой и Харибдой пройти каравану народа и не быть размолоту и проглочену?»

Все верно и точно схвачено известным критиком-мыслителем. Все так. Ни убавить, как говорится, ни прибавить. Хотя прибавить, пожалуй, резон: в огромном романе немало места отведено мифологическим, фантасмагорическим мотивам, легендам, преданиям, развернутым на многие страницы метафорам, выразительным экскурсам в далекое и недавнее прошлое казахов, событиям, прошедшим на глазах моего поколения, конкретным реалиям, иногда даже незакомуфлированным, а названным, открыто, как есть, как было, казахским песням и сказам, казахской народной философии, обычаям, речевым фигурам, лирическим отступлениям, однозначным публицистическим всплескам, многочисленным ссылкам на мудрые источники от Хайяма до Абая и Шакарима... и все это и многое другое на фоне мировых, глобальных проблем в напряженных поисках вселенской гармонии и высшей точки соприкосновения-сопричастности человеческих судеб. О, это действительно универсум, широкоохватная летопись — сага, в художественном, философском, описательном, размышленческом спектре, в которой сошлись все грани-углы-узлы безумно сложного бытия.

Вычленить и сформулировать суть роллановской саги — непросто. Мне же кажется, что роман-эпопея зиждется на двух посылах-фундаментах — Народ и Память. Именно Народ и Память цементируют неохватное повествование, не позволяя ему рассыпаться, развалиться на отдельные куски, фрагменты, эпизоды и т.д. Народ в романе одно из названий Судьбы казахов, которые веками стремились к свободе, независимости и благоденствию, которые, по словам поэта, тысячу раз умирали и воскресали, кото-

рые из века в век в борьбе и лишениях отстаивали-оберегали-охраняли свою священную землю, целостность своей территории, заповеданной славными предками, под гнетом исторических, географических, природных, междоусобных потрясений и мытарств. Увы, не все зависело от воли и стойкости самих казахов. Слишком много у них оказалось врагов — внутренних и внешних. И бесконечные потрясения, мытарства и лишения, жуткие природные и социально-политические катаклизмы, умело сфокусированные в романе Роллана, привели народ в отчаяние, его на каждом шагу, в любом уголке необъятного атамекена, родины отцов, неотступно преследует легендарная «коркутова могила», ненасытный, всепожирающий сом в пучине моря готов заглотить все в свое неуемное брюхо, и автор воссоздал картины трагедии своего народа в момент отчаяния. Умирает море — погибает животный и растительный мир — пески и соль застилают живой покров степи — все вокруг дичает — мертвые неприкаянно бродят в песках — аулы обернулись пепелищем — из уст обезумевших людей вырываются проклятия в адрес самого Всевышнего. Примечательна заключительная сцена романа:

«Старый рыбак встал, прислонился спиной к прохладной стене и сказал самое свое сокровенное, то, что долго вынашивал в мыслях последние несчастные годы своей жизни:

- Уа, Аллах! Моря нет, оно умерло. Пусть это будет твоей волей — не ропщу. Но меня-то почему ты до сих пор держишь в живых? Когда же будет мой последний час? Молю тебя, покажись мне на глаза, дай мне ответ.

Белое облако, отдаленно напоминавшее человеческий образ, встало перед Насыром. Он снова упал на колени.

- Я десять долгих лет молился на тебя, о Создатель!

- Это твое дело, человек. Разве от молитв тебе стало хуже?

- Нет...

Разве я плохо относился к тебе?

Насыр задумался, а потом тихо сказал:

- О Всевышний, я не знаю, как ты ко мне относился.

- Я сотворил мироздание и человека, сотворил и тебя,

старый рыбак. Я предначертал человеку продолжать человеческий род. Разве я лгу?

- Нет. Всевышний, нет!

- Я дал вам силы, чтобы трудиться и жить в достатке, чтобы вы могли мыслить, усваивать науки... Неблагодарные! На что вы потратили силу и разум, дарованные вам? Презренные, вы направили силу и разум на осквернение того, что было создано мной! Вы забыли, что есть бог, что наступит час, когда я за это зло отплачу вам беспощадно и жестоко!

Всевышний! Человека губит стремление к сытости, богатству, к собственному благополучию. Создав богатство и бедность, ты отрубил пути к себе, Аллах!

Не я виновен в том, что люди разделились на богатых и бедных. Человек! Это не я заставляю страдать тебя от напастей и болезней...

Всевышний! Кто, если не ты, послал эти несчастья на землю? Кто еще так могуч, как ты, чтобы обрушивать на человека день за днем так много зла?

Туман стал рассеиваться, голос теперь слышался из-под самого купола:

— Умерь гнев, старик! Это бесится Сатана! Я один борюсь за добро. А вы, презренные, отвернулись от меня. Без вашей веры мне трудно бороться с ним. Ты продал ему свою душу, человек! И вот — кара! А теперь прощай, старик!

— Мне не страшны ни смерть, ни адово пламя, Всевышний! Помог бы ты несчастному моему народу, а?.. Умерло наше море. Умирает Балхаш. Завтра погибнет земля и сам человек. Разве ты этого хочешь? — воскликнул Насыр.

Но ответа уже не было».

Я привел столь длинную выдержку из роллановского текста потому, что в этой сцене, в эти сентенциях заключена квинтэссенция всего сказа. Очевидно, не только грешные люди на грешной земле в отчаянии от сотворенного ими или неведомой волей, но и сам Творец в растерянности от содеянного ему подобными, а потому «ответа уже не было». Да и какой может быть ответ, когда неразумные его творения сбились «с панталыку», предали Его наставления, погрязли в неблагочестии и искривили праведные божьи дорожки-пути?

Люди в романе Роллана цепляются из последних сил за соломинку надежды, обращаются к Богу, тянутся к Аллаху, к Корану, к национальным святыням — Абаю, Шакариму, к народным песням, легендам, преданиям, инстинктивно ощущая в этом спасительное противоядие тотальному отчаянию. Прежде чем погибнуть в огне, любимец своих соплеменников Кахарман обращается к сыну: «Что ж, надо проститься, надо сказать последние слова, пока есть время. Сколько у него — минуты три? — Сынок! Хочу тебе сказать об одном: не смей уставать! Не будет пути — иди по бездорожью! Из последних сил — но иди!»

Таков аманат погибающего народного заступника. Таков аманат вобравшего в себя все народные горести и чаяния автора саги. Таков наказ мудрости земной: «Иди по бездорожью! Из последних сил — но иди!»

Существует много толкований понятия Родины. «Родина там, где мне хорошо», — убежденно утверждают одни. «Родина там, где мой пуп резан», — считают другие. Знакомая российская немка, эмигрировавшая в Германию, уверяла меня, что Родина там, где счастливы ее дети. Дескать. Германия для нее никак не историческая родина (ведь десять поколений ее родичей связаны с Россией), но дети ее обретут, наконец, постоянную родину. На эту тему постоянно размышляю и я по образу жизни, по судьбе, по складу. Мне по душе казахская мудрость: «Собака тянется к месту сытости, джигит к месту рождения». Ну что, казалось бы. стоит казаху бросить гибельные насиженные места и податься туда, где жизнь более благоустроена? Некоторые герои романа Роллана так и поступают. Но не все. Настоящие казахи не в силах бросать родные места, могилы предков. Они готовы терпеть любые лишения, лишь бы остаться верным заветам и нравственным идеалам отцов. Вот как о том говорит старый Насыр своей верной спутнице жизни Корлан:

«- Знаю, о чем ты грустишь, Корлан, знаю... Да только скажу вот что: чтобы человеку жить по-человечески, нельзя ему отрываться от родной земли — никак нельзя. Где же ему найти радость, как не в родном краю? Конечно, работа есть везде — лишь бы не лениться, а прокормиться

можно всегда. А вот если душа начнет голодать в разлуке — что тогда? Вот чего я боюсь...»

Для Насыра и подобных ему жизнь у умирающего моря — сплошное страдание. По этому поводу Гегель мыслил так: «...Страдание составляет привилегию высоких натур: чем выше натура, тем больше несчастий испытывает она».

Лучшие люди из романа Роллана — из этой категории

И все же, все же: откуда идет эта тотальная гибель? Почему гибнут Арал, Балхаш, Семипалатинские степи? Почему опустынивается Земля и души людские? Неужто власти неспособны противостоять этим всесокрушающим бедствиям? Откуда столь катастрофическое равнодушие к собственной стране?

Кахарману вспоминаются слова собеседника Камбара, и он не в силах разобраться, то ли это он сам говорил, то ли Камбар в гостиничном застолье: «Синеморье гибнет, земля оскудела и стонет от боли, а большие люди где-то там не могут прийти к согласию — разве это не ужасно? Полно — не заботами о нас живут те люди. Их спорами правит честолюбие, они терзаются черной завистью друг к другу, алчностью терзаются, забыв о том, что все мы смертны, забыв о милосердии и Боге. А наши судьбы для них, наше Синеморье для них — лишь повод, всего лишь повод. Никому нет до нас дела! Но если счастье изменило даже Синеморью, то что такое вообще человеческое счастье? Мыльная пена, которую смывает грязный поток. И неужели даже горе неспособно сплотить людей?»

Ай, неспособно, неспособно... Сплотить людей вообще очень сложно. Такова индивидуалистическая природа человека. В романс Р.Сейсенбаева много, очень много смертей. И мне вспоминается заглавие романа одного немецкого писателя: «Jeder stirbt für sich allein» — «Каждый умирает в одиночку».

Роллан — жесткий, суровый реалист. Он не скрывает, что беда обрушилась на весь Казахстан. В дни атомных взрывов на Семипалатинском полигоне люди по всей округе испытывают физическое страдание.

«Вообще-то в такие дни все в ауле как сонные мухи, а старики вообще не могут с постели подняться... Наши люди похожи на космических лаек — всякие экспери-

менты проводят на них! Уехать бы отсюда — да на чужбине не лучше, наверное... Весь Казахстан теперь, как какая-то адова помойка. Синеморье усохло, а от Зайсана в двух шагах атомные бомбы взрывают». О, да, это писалось в 80-е годы прошлого века.

С тех пор, мы знаем, кое-что изменилось, по крайней мере атомные бомбы уже не взрываются, но экологические проблемы продолжают стоять так же остро.

«Если человек не сможет спасти сам себя, ему никто не поможет» — таков один из ключевых постулатов саги Роллана. Излюбленная эта мысль автора сквозит в разных главах, в разных эпизодах. Беспощадные слова о власть предержащих, о лжеученых, о самодовольных высоких чиновниках, о беспределе военщины в Казахстане, ставшем сплошным полигоном опустошительных испытаний, то и дело слетают с уст отчаявшихся героев народной саги. Я в своих беглых заметках пунктиром обозначил лишь часть этих скорбных мотивов.

И еще такая мысль пришла мне в голову: об этом романе стоило бы говорить-порассуждать очень обстоятельно, раскрыв его достоинства по всем идейно-художественным параметрам. Он того стоит. Он заслуживает всестороннего критического, философского, художественного осмысления. В 1957 году, будучи третьекурсником литфака КазПИ им. Абая, я имел счастье два дня присутствовать на республиканской конференции Академии наук КазССР, посвященной первой казахской эпопее «Путь Абая». Два дня я слушал обстоятельные доклады крупнейших тогда ученых — филологов, философов, историков, разбиравших «Путь Абая», что называется, по косточкам. А заключительное слово вдохновенно произнес сам автор — Мухтар Омарханович Ауэзов. Помнится, его риторско-шешенская речь меня тогда поразила — и по форме, и по содержанию.

И сейчас мне подумалось: роман — народная сага Роллана Сейсенбаева также достойна самого дотошного анализа. И тематически, и по своему художественному исполнению сага дает пищу для глубокого обсуждения на уровне серьезной филологической конференции, а также для написания ряда курсовых работ, магистерских и

кандидатских диссертаций. Ну, а то, что роман следовало бы переводить на многие языки (частично это, вроде, делается), у меня сомнения не вызывает: он в силах достойно представлять казахскую литературу на мировой арене.

Многие проблемы, столь остро обозначенные в художественной панораме Роллана, актуальны и ныне. И, чувствуется, не скоро разрешатся, не сегодня-завтра будут сняты с повестки дня. Образуется ли все — мудрено сказать. Правильным ли путем мы идем, каковы последствия наших очевидных и мнимых реформ в политической, социальной, экономической, культурной сфере — ни мне, ни Роллану не провидеть. То рассудит история. О том будут знать наши внуки и правнуки. И они, надеюсь, будут признательны и благодарны эпику Сейсенбаеву хотя бы за то, что он вовремя ударил мощно в колокол тревоги, обнажил всю боль народа, обеспокоился его трагической судьбой и завещал свой наказ-аманат: не предайте забвению великих далеких предков, заботьтесь повседневно о колыбели своей — Матери-Природе, ибо оторванные от нее, предавшие ее, безумно расхитившие ее блага, вы непременно погибнете, оставив за собой выжженную степь, топи болот, бескрайние пески-барханы, по которым бредут мертвые.

«Литературная газета Казахстана»
№ 12, 11 сентября 2007

ШЕСТЬ ПИСЕМ ЮРИЯ ДОМБРОВСКОГО

Обойдусь без обстоятельного комментария, но несколько предваряющих публикацию слов, пожалуй, скажу. В начале 70-х гг. прошлого века в московских издательствах зашел разговор об издании на русском языке однотомника повестей и рассказов реабилитированного казахского прозаика Беимбета Майлина (1894-1938). Нужен был опрятный подстрочник и художественный переводчик (точнее, стилистический правщик). В переписку со мной вступила Алатырцева, редактор или завредакцией «Художественной литературы». Я приступил к подстрочному переводу, а «правщиком» определили прозаика Антонова. Но что-то не сработало, и вскоре Алатырцева сообщила, что моим сопереводчиком будет Юрий Осипович Домбровский.

О нем я имел тогда скудное представление. Разговоров слышал много, но лично с ним знаком не был, хотя и видел его в СПК часто. Поджарый, долговязый, лохматый, неряшливо одетый, напористо-дерзкий, весьма независимый, он метался по этажам и коридорам Союза писателей и бесцеремонно спрашивал: «Где здесь Есенберлин болтается?!» От такой непочтительной интонации мои сверстники-казахи шарахались. А то врывался в кабинет, где чинно обсуждалось творчество русскоязычных казахов, и безапелляционно заявлял: «Может, казахской литературе они и нужны, а русская литература без них вполне обойдется».

Я видел: Снегина он избегает, в упор не видит, с Косенко снисходительно беседует, а с Симашко водой не разольешь. Женщины к нему льнут, и ведет он себя с ними весьма вольно, раскованно, что, к моему удивлению, им нравилось.

Мне чудилось: Беимбет Майлин должен быть ему чужд. Однако решением издательства нас «спарили»,

и я отправил ему подстрочник. В 1977 г. «Рыжая полосатая шуба» в нашем переводе вышла в московском издательстве «Художественная литература», а в 1981 г. — в республиканском издательстве «Жазушы».

Письма Ю. Домбровского относятся к периоду нашей совместной работы.

Почему-то я полагал, что писем было два. Я их куда-то сунул, а почти три десятилетия спустя, совсем недавно, обнаружил их в папке «Письма из Германии». Обрадовался. К тому же писем оказалось шесть. Письма сугубо деловые, но они характеризуют и время, и автора. Может, и для читателя представляют интерес...

19.12.74 г.

«Уважаемый товарищ Бельгер (извините, но не знаю ваше имя-отчество).

Почта у меня пропадает самым безобразным образом, в том числе и бандероли из А/ы (так пропал недавно Раевский), но я думаю, если вы вышлите заказным рукопись — то она дойдет. Но, может быть, для простоты я подождал бы конца всей Вашей работы и тогда получил бы в январе от Вас всю рукопись целиком? Ведь разница в несколько дней ничего не значит, кстати — когда должна выйти эта книга? (В плане какого года.) Когда срок сдачи рукописи? Кто ее сдает и имеет дело с этой И.А.А. — Я или Вы? Как будут исправляться замечания редакции по тексту, если я не имею подлинника, а Вы находитесь так далеко от издательства? Будет ли книга посылаться на апробацию в А/у? Не сможете ли Вы попросить (хотя бы от нашего общего друга Т.А.) что-нибудь вроде такой надписи: «перевод» (или подстрочник как уж угодно) мной прочитан. Удостоверяю, что он идентичен подлиннику, иначе наши редакторы и рецензенты, очень гораздые показать, что они не зря едят хлеб, могут начать придираться не к стилю (тут уж я в ответе), а к смыслу (и тут уж я ничего не смогу им сказать)? Хотел бы получить от Вас ответы на эти вопросы.

С приветом, Домбровский»

23.01.75 г.

«Уважаемый Герольд, я послал письмо (авиа) Вам давно. Но так как в Вашем письме адреса Вашего не было, а был он на конверте, а конверты я не храню, то я по горькой необходимости послал письмо Вам на секретариат СП Каз. с надписью на конверте «Срочно!» и нужное там я Вам написал все. Вероятно, на сей день оно уже у Вас, поэтому коротко, четко и вполне определенно повторяю основные положения:

Рукопись получил, до этого получил три рассказа из Гослита, так что все посланное Вами у меня есть.

С К. говорил. Дал, все что Вы рекомендуете. Он сам ко мне подошел, говорил, мы договорились.

Высылайте. В июле сдал рассказы, а К. сдал 2 рассказа в феврале. Очень прошу, подтвердите получение этого письма...»

«Дорогой Герольд, извините, что задержал ответ — уезжал из Москвы. Как я понимаю, все с М. в полном порядке. Последние поправки (объяснение терминов — иных претензий не было) мы с редактрисой внесли в рукопись накануне ее отпуска, то есть в августе. С тех пор все мои сношения с редакцией прекратились. Знаю только, что рассказ «Пестрая шуба» (23 стр.) и, кажется, еще один рассказ взяты в сборник «Казахские рассказы» редактором Крамовым — говорил с ним недавно. Вот и все, что я на сегодня знаю. Думаю, что беспокоиться ни Вам, ни мне оснований нет — мне даже дали гарантийное письмо в ЛФ на 300 рублей — это уже довольно солидное ручательство за реальность выхода книги до лета 1976 года.

Жму Вашу руку. Всего хорошего.
Ваш Домбровский.

24.11.75 г.»

«Дорогой Герольд Карлович!

Простите, что несколько задержался с ответом, и отвечаю Вам не на Ваш адрес, а на Союз. В письме Вы его не написали, а конверт мои домашние выбросили. Рукопись получил, значит, все ольрайт! У меня на руках три вещи

Б. М.: «Начало раздора», «80 руб.» «Рыжая шуба», всего 30 стр. Говорил по телефону с новой начальницей отдела. Она весьма благожелательна. Один рассказ (или два на 1-1,5 п.л.) я сдам в феврале некоему Крамову, который составляет сборник «Казахские рассказы». Будьте добры, известите о получении этого письма, ибо я не вполне уверен, что оно до Вас дойдет — адрес же не Ваш, а промежуточный.

Всего хорошего. Ваш Домбровский

P.S. Итого у меня 206 стр.»

«Дорогой Герольд, во-первых, поздравляю Вас с Новым 76-м и желаю всего-всего — о делах в Гослите Вы, очевидно, все уже знаете. На всякий случай я попросил редактрису проверить, переведены ли Вам положенные 60% — я свою долю получил давно и поэтому думаю, что и у Вас все в порядке. Говорят, сигнал будет к весне. В сборнике идет «Пестрая шуба» (1л.), теперь вот к Вам просьба. Ко мне обратился, явно превышая мои возможности, писатель Юрий Владимирович Давыдов. Может, Вы знаете его романы «Печальная пора листопада», «Март», «Завещаю Вам, братья...» и т.д. — он хотел бы получить перевод. Это крупный, талантливый человек, блестящий стилист, а вдобавок еще такой человек, с которым легко и даже приятно иметь дело. В случае чего он может и проконсультировать, и сверить тексты (он историк), и помочь в редакционных делах. Вес у него есть. Я что-то достать в Москве для него бессилен, но, может, среди известных Вам казахских авторов найдется желающий приобрести такого переводчика? Тогда вот адрес: 125422, Москва, ул. Вишневского, 10, кв. 7. Тел. 2-11-90-32.

Простите за беспокойство. Желаю всего наилучшего!»

«Уважаемый Герольд!

Вы написали мне так, как-будто я в чем-то перед Вами виноват. А между тем:

«Белую аруану» я и в глаза не видел, и даже то, что этот сборник наконец вышел в свет, узнал только от Вас. Мне как раз только сегодня прислали Майлина.

С И. Крамовым я говорил только по телефону, никогда с ним не виделся и никаких переводов не давал. О Вас вообще же речи не было. Рукопись ему предоставила Л. Осипова. Ни в отборе рассказов, ни в передаче их я не участвовал.

На заглавном листе книги Б. Майлина стоит «Перевод с казахского Г. Бельгера и Ю. Домбровского», так что Ваши опасения о «вне игры» совершенно необоснованны и направлены совсем не по тому адресу.

Как могло так случиться, что под рассказом «Шуба» исчезла Ваша фамилия, а моя осталась, я не знаю, ибо, повторяю, слышу об этом впервые. По просьбе Осиповой я перевел Олень-Кербугу. Под ним должна стоять моя подпись, может быть, если этот рассказ вошел в сборник, путаница идет именно отсюда?

Знает это И. Крамов — к нему бы по существу и следовало бы Вам обратиться с самого начала.

Деньги за «Шубу» я переведу Вам телеграфно, как только рассчитаются со мной за сборник «Б.А.». Пока я за него еще ничего не получил.

С Осиповой я говорил о Вас только тогда, когда Вы мне поручили выяснить вопрос о Вашем гонораре за сборник Майлина. Только об этом — когда же будет наконец сделан перевод — и шла речь.

Вот и все, что я могу Вам объяснить по этому невеселому поводу. И опять-таки мой совет: обратитесь к И. Крамову. Он знает, как и что. Меня же, могу Вас уверить, вопрос об авторстве перевода никак не интересует.

С приветом, Ваш Домбровский»

«Начнем с понедельника»,
№ 42, 28.10.-3.11.2005

АБИШ
(Эссе-портрет)

> «Далеко за горизонтом неотвратимо надвигалсяновый день — еще неясный, призрачный, но уже сулившийизвечную надежду.Плыли-зыбились над степью предутренние сумерки»

(А.Кекилбаев. «Всполохи»)

Всякий серьезный научный разговор начинается с тщательно разработанной библиографии. Не знаю, существует ли такая библиография жизни и творчества Абиша Кекилбаева. Может, доморощенные умники, специализирующиеся на юбилейных панегириках, спохватятся и наспех, с бухты-барахты что-то сварганят к его семидесятилетию. Но библиография — не юбилейная статья, в которой взбалтываются, как кумыс в бурдюке, «красные словеса». По части дастарханного трепа мы большие мастера. А с подлинной библиографией у нас явная напряженка.

Абиш Кекилбаев, романист, новеллист, эссеист, публицист, критик, историк-исследователь, этнограф, государственный и общественный деятель, мыслитель, драматург, либреттист, энциклопедист, степной Цицерон и Сократ, исключением тут не является. Написано им немало. И все им написанное, как правило, этапное, монументальное, значительное. И о нем написан не один корджун: статьи, диссертации (кандидатские и докторские), сценарии, документальные повести, монографии, романы. Имя его не одно десятилетие у всех на устах. К каждой реплике-лебизу, к каждому мнению этого колоритного абыза-мудреца жадно прислушиваются. Интересуются не только тем, ЧТО он сказал, но и КАК сказал. Ибо он, выразитель национального духа и радетель родного слова, владеет им, как редко какой современный казах. В смысле исконного

казахского красноречия он напоминает колодец героя его рассказа-притчи Енсепа, докопавшегося до животворной жилы неукротимого подземного источника, с яростью смывающего все преграды на своем пути.

Да, Абиш копает глубоко, основательно, во всеоружии. Любую тему, любую проблему он видит в контексте исторического времени и пространства, нить своих рассуждений он склонен тянуть с Адама и Евы, он вглядывается зорким оком в глубь степей, в даль истоков. Дабы не растекаться мыслью по древу, ему приходится постоянно сдерживать свои эмоции и груз знаний, крепко натягивать поводья неудержимого скакуна воображения. Он из всего настроен извлечь исчерпывающий ответ. И в отечественной истории, народной философии, литературе, обществоведении он ощущает себя опытным проводником-следопытом в своем родном краю. В безмолвной, беспредельной степи его осеняют необыкновенное вдохновение, сила и увлеченность. Вот мы группа деятелей культуры, который день колесим по прикаспийской низменности, каким-то образом после долгих часов езды по фантастическому бездорожью выбрались на бескрайний, ровный, как бильярдный стол, Устюрт, носимся взад-вперед, поднимая пыль столбом, и в конце концов сбились-таки с пути. В растерянности наш кортеж остановился, из головной машины выбрался Абиш в легком дорожном одеянии и — откуда такая прыть? — вприпрыжку, при его-то габаритах, взбежал на песчаный бугорок, долго озирался во все стороны, притенив глаза ладошкой, каким-то чудом сориентировался, решительно показал куда-то в сторону, сказал уверенно: «Туда!» Шофер удрученно спросил: «Сколько?» «Е-е... близко, — ответил наш гид. — километров сто». Он читал Устюрт, как знакомую книгу.

Потом остановились возле одинокого, погруженного в вековую думу стояка-балбола, потемневшего от времени, обточенного ветрами. «Какую тайну он хранит?» — спросил неосторожно кто-то из нас. «Ойбай, — всполошился академик Кабдолов. — Ни о чем не спрашивайте. А то его не остановите». И, действительно, Абиш сходу встрепенулся, завелся. Темнолицый, разлохмачен-

ный на ветру, дородный, он сам почудился балболом и начал пространно рассказывать о русской экспедиции времен Петра Великого, о древнем караванном пути в сторону Хивы, о том, что этот балбал, судя по форме и клинописи, скорей всего, относится к XIV-XV веку, здесь когда-то находился колодец, ныне он обвалился, засыпан песком, а неподалеку находился оазис, вот там пролегает лощина, там еще лет сорок назад стояли аулы, паслись верблюды... Абиш увлекся, рассказывал так красочно, будто обитал здесь с незапамятных времен, и мы слушали его, разинув рты. Позже я спросил: откуда ты все знаешь? И он мне назвал одного крупного археолога из Ленинграда, который в начале 50-х годов прошлого века в летний сезон регулярно приезжал с экспедицией в Мангышлак и брал мальчика Абиша на все лето проводником и переводчиком. «Но почему именно на тебя пал выбор профессора-археолога?» — спросил я. «А я книги читал», — просто ответил Абиш.

Тогда-то смышленый, любознательный мальчик из захудалого аула и привязался сыновней любовью к родному — диковинному краю, исходил его с археологами вдоль и поперек, познал людей, их родовые связи, достоинства и причуды, полюбил степь, меловые горы, обиталища святых, источники-ключи, верблюжьи тропы, овраги-каньоны, водопады, древние бастионы, холмы, погосты, балбалы, курганы — все многоликие чудеса уникального края по имени Мангышлак.

...Многие годы спустя, Абиш уговорит меня погостить в его родном краю, и я своими глазами увижу все достопримечательности его малой родины, увижу стоянку его аула, тропу вдоль внушительной меловой горы, по которой он ежедневно ходил в школу, заброшенную, заваленную шахту по-над обрывом, где в годы войны трудилась его мать — удивительная, незабвенной памяти наша апа Айсауле, от которой Абишу досталось много достоинств и в том числе его языковой дар и жар. Абиш был рад, что показал мне свой край во всем блеске и таинственности, и я проникся почтением и любовью к той загадочной земле, сотворенной Всевышним в час вдохновения и отрешенной мудрости. Я, давний перевод-

чик большинства его произведений — романов, повестей, баллад, рассказов на русский язык, — осознал душой и сердцем, откуда есть и пошел мой мудрый друг, где его истоки, так щедро питавшие его уникальный талант художника и мыслителя.

Делиться своими знаниями, наблюдениями, пережитым — одна из ипостасей его художественной натуры, потребность его общительной, доброй души, необходимость высокого душевного общения. Это его свойство мне раскрылось при первой же нашей встрече.

...Это, кажется, было зимой 1964 года. Я жил несколько дней у Абдижамила Нурпеисова, вместе с ним толмачил первую книгу трилогии «Кровь и пот». Как-то вечером зашел Абиш, в то время худой, длинный, курчавый, очень смуглый, улыбчивый. Имя его мне было знакомо, а встретились впервые. Мы как-то сразу сблизились и проговорили, перебивая друг друга, до глубокой ночи. В доме Нурпеисова все давно уже спали, а мы в невзрачном кабинете (один книжный шкаф, громоздкий письменный стол, два расшатанных, продавленных кресла) никак не могли наговориться.

Он сразу расположил себя ко мне. Открытый, образованный, начитанный, склонный к юмору, уверенный, раскованный, речистый. Сходу подружились. Где бы он ни работал — в газете «Лениншил жас», в киностудии, в Министерстве культуры, в ЦК КП К, в СП К, в «Социалистік Қазақстан», в Обществе охраны памятников истории и культуры, в Верховном Совете Казахстана, советником Президента, Государственным секретарем РК и т.д. — мы находились в постоянном контакте. Бывали вместе в командировках. Встречались в домашних условиях. Имели много общих друзей и знакомых. И с писателями ГДР находились в творческой связи.

Я на пять лет старше Абиша. Но пальма первенства в наших отношениях всегда принадлежала ему. Более того, в нашем содружестве — Ахтанов, Нурпеисов, Кабдолов, Мухамеджанов, А.Сулейменов — незаметно верховодил самый младший из нас — Абиш. Мы только и говорили друг другу: «Абиш сказал», «Абиш считает», «Абиш решил», «Абиш советует». Мудрость его, прозорливость

и дальновидность мы безоговорочно признавали. Одна ехидная дама насмешливо говорила нам: «Ваш гуру».

Меня он старательно «тянул» за уши. Настоял, чтобы я входил в разные важные комиссии, комитеты, советы, чтобы согласился стать депутатом Верховного Совета Казахской ССР, включал во всевозможные командировки, давал ответственные поручения, настойчиво приглашал к себе на работу, иначе говоря, благоволил ко мне, проявлял заботу, привлекал к крупным общественным компаниям. Но я, видно, не проявлял достаточной активности и интереса к тому, что называется карьерным ростом.

Гидом-поводырем моим в Германии тоже был Абиш. Несмотря на мои отнекивания и колебания, он волевым путем, не оставляя мне возможности для отступления, включил меня в состав правительственной делегации участников Дней культуры Казахстана в Германии, уговорил подготовить доклады на немецком языке для встреч в двух германских университетах и повозил меня по городам и весям родины моих предков. Сам он там побывал уже не однажды, живал и в соседних странах, чувствовал себя уверенно, разбирался в истории, географии, достопримечательностях, как в своем Мангышлаке. Он пространно объяснял мне факты из истории разных германских королей и князей, сыпал немецкими фамилиями (немного на казахский лад), показывал диковинные ландшафты, горную площадку у слияния двух германских рек, воспетых в древних сказаниях, сказочные холмы с дивными замками вдоль величавого Рейна, водил по музеям, выставкам, ресторанам, кафе, пивным, радовался моим радостям, восхищался моим восторгам, советовал, где и какие покупать сувениры. Какое это было счастье, что я попал в ту делегацию, что оказался рядом со своим другом, что обогатился впечатлениями, из которых потом родилось немало моих опусов.

Когда Абиш баллотировался в депутаты Верховного Совета Казахской СССР по Павлодарской области, он попросил меня сопровождать его в поездке по районам в качестве доверенного лица.

И эта поездка стала для меня знаменательной школой жизни. Мы бывали в сельских клубах, в школах, на стойбищах, на станах, в конторах, слушали и выступали,

своими глазами увидели, чем и как живут простые труженики. А время было смутное — начало 90-х годов прошлого века. Тотальная разруха ржой разъедала все общество. Недовольство охватило всех. Все мерещилось в тумане. Абиш увлеченно и складно говорил о текущей политике, о тяжелом переходном периоде, о положении в стране, о духовности, о заповедях предков, взывал к терпению и толерантности, пространно отвечал на вопросы (помню, как старики в аулах допекали его: если, мол, проголосую за тебя, ты мне воз сена доставишь, два мешка отходов раздобудешь, лекарства моей байбише пришлешь?), завораживал слушателей казахским красноречием, шутил, говорил о своих творческих планах. А они были у него привлекательными. Он говорил о поэтах, философах, просветителях Павлодарщины прошлых веков, об их жизни и чаяниях и мечтал написать о них цикл историко-философских этюдов. И еще он говорил, что должен написать третью книгу своей исторической саги о времени хана Абулхаира.

Слушать Абиша всегда бывало интересно и в официальной обстановке, и за дастарханом, без которого казахи во все времена не обходились. Моя активность как доверенного лица была невелика. Я больше слушал Абиша, нежели говорил о нем. А иногда Абиш становился как бы моим доверенным лицом и всячески превозносил меня.

В разное время о творчестве Абиша я написал полдюжины статей — предисловия и послесловия, рецензии, исследовательские статьи, очерки. Если их собрать вместе, может получиться книжка. Сейчас я не стану перепевать себя, не буду анализировать его романы, философские баллады, повести, рассказы и прочие его творения (о том писали многие умные головы), а попытаюсь поведать о нем исключительно как о человеке, о личности. Я его как-никак знаю около 50 лет, находился годами близко и рядом, и я, понятно имею ЧТО сказать о нем.

Скажу — точнее, повторю — еще вот что:

Редкий литературный талан и масштаб его дарования общепризнанны. Он известен не только казахскому читателю, но и русскому, немецкому, иноязычному. Двенадцать томов собрания сочинений — еще не все,

содеянное им. Написал он больше. А мог бы написать более того. Мог бы... Но он, как это не парадоксально, никогда не был сугубо профессиональным писателем. То есть, писательство не было его профессией. Он всегда служил. И служил на ответственных, значительных постах. Он привык видеть себя на высокой государственной службе, освоился со своим неизменным весом, статусом, приноровился ко всем аксессуарам власти, ощутил себя борцом за независимость страны, в когорте Первого казахского президента. Это стало отнюдь не его хобби, не его ролью, а органической доминантой, гражданским долгом, душевной потребностью Азамата, его подлинной сутью. Ради этой высокой цели он часто жертвовал своим литературным даром. Его выбор. Его право. И я тут ему не судья. Хотя — по мне — двадцать (допустим) томов сочинений Абиша Кекилбаева казались бы весомей и значительней, чем его долгая-долгая безупречная и верная государева служба.

Достохвально, что Абишу дивным образом удалось совмещать, сопрягать государственную службу и творчество. Это делает ему честь. Кого я считаю вершинами казахской прозы? На мой взгляд, это Жусупбек Аймаутов, Мухтар Ауэзов, Абиш Кекилбаев, Мухтар Магауин. Знаю, не все со мною согласятся. Кто-то наверняка назовет другие имена. Но с моей колокольни эти четыре мощные фигуры, как никто более, символизируют казахскую художественную словесность.

Надеюсь, читатель этих строк еще помнит, что разговор об Абише я начал с гипотетической библиографии. О той самой печке, от которой следует танцевать в культуре, науке, просвещении. Вместо сотни хвалебных статей о достойном юбиляре я предпочел бы иметь перед глазами обстоятельную, выверенную библиографию о культурном, творческом явлении по имени Абиш Кекилбаев.

Абиш (я это знаю) — украшение любого застолья, духовного пира, вольной беседы. И еще: человек он компанейский, добродушный, широкий, склонный к доброй шутке, «красному словцу», розыгрышам, игривому подтексту, насмешкам.

И еще: высокая государственная служба, ответствен-

ные должности внесли свои суровые коррективы в априорно вольную натуру Абиша: приходится быть сдержанным, застегнутым на все пуговицы, всегда при галстуке, порою замкнутым, осторожным, предельно уравновешенным, сановитым, ограничивать себя во многом, не позволять себе оплошностей, наступать нередко на горло собственной песне, упаковать себя (а, случается, и душу) в строгое, неприступное облачение. Это очень не просто — чувствовать себя постоянно взнузданным. Но что говорить: искони тяжела шапка Мономаха. На государственной службе важнее всего не допускать очевидных промахов.

И еще: политика и художественная натура, как две соперницы-бабы, плохо и трудно между собой уживаются. То и дело одну из них приходится время от времени от себя удалять, отстранять, отодвигать. А это и трудно, и опасно. Грозит раздвоением личности. Оставляет тавро на психике. Как Каинова печать.

И еще: надо быть верным раз и навсегда выбранной Судьбе, избранному жребию, высоко поднятой духовной планке.

И еще: необходимо постоянно балансировать между императивом и народной любовью.

И еще: везде и всюду быть верным завету предков, священных аруахов, истории родной земли, родного народа на его неимоверно трудном, излучистом пути, не осрамить Дух и Память нации.

Тяжелая миссия художника.

И, думая об этом, о затейливых испытаниях Судьбы, выпавших на долю моего друга, я вижу его стоящим на вершине песчаного холма в бескрайней, безлюдной степи Мангышлака. Большеголовый, курчавый, крутогрудый, крепконогий, он зорко вглядывается в сизую, окутанную маревом даль и предается мучительным вопросам: где мы? кто мы? Куда идем? Что ожидает нас там, впереди? Может, он в этот миг бормочет абаевские строки: «Грядущее скрыто туманом от нас...»?

Он мне мерещится караванщиком перед дальней дорогой. Доносится до слуха заключительный эпизод из его романа «Всполохи»:

«В эту смутную пору суток даже самый отчаянный спутник, как бы он ни спешил, не отправляется в путь: он ждет, когда на небе зажгутся звезды, а когда они меркнут, дожидается рассвета. Существует давнее поверье: караван, вышедший в путь до рассвета, подстережет беда. Злые духи непременно собьют его с дороги».

Абиш — опытный караванщик. Он все взвесил. С юных лет. Он по звездам определил свою стезю. Он знает, когда караван должен отправиться в путь. И злые духи его с дороги не собьют. Таким я вижу Абиша. Таким я его воспринимаю.

Он мудр и величав. Он олицетворение природного степняка-номада. Гражданин независимой страны.

Абиш.

Абиш Кекилбаев.

...С переездом его в Астану мы встречаемся все реже. Я иногда его вижу по ТВ, читаю в официальных газетах. Бывает, мимолетно встречаемся на каких-то заседаниях. Получается, обитаем в разных аурах, пребываем на разных уровнях. Однако, я в курсе его дел, знаю, что́ он делает, каков его настрой. Знаю, что неизменно рядом с ним его верная спутница Клара. Как-то в шутку она сказала мне, что у нее четверо детей, но самый трудный и хлопотный ее ребенок — пятый, Абиш.

Пять лет назад, будучи в Алматы, супруги зашли ко мне поздравить меня с 70-летием. Вручив часы Orient, Абиш заметил: «Теперь тебе следует почаще поглядывать на часы». Эти его слова я ныне могу переадресовать и ему.

«Central Asia M0nitor», 14.08.09

«Литературная Алма-Ата», № 6, 09.

ПАССИОНАРИЙ

Смерть бывает двух видов: естественная и духовная. Наша цель — спасти подлинно исторических личностей от духовного забвения

Манаш Козыбаев

Плотный, крупноголовый, крепко сбитый, коренастый, он был похож внешне на степного борца-палуана, этакого добродушного увальня, улыбчивого, приветливого, склонного к безобидным розыгрышам, шутке. Он сразу располагал к себе. И всегда находился в тесном окружении людей. В мою активную пору я встретился с ним на бесконечных собраниях, совещаниях, семинарах, «круглых столах», комиссиях, комитетах. Человек был напористый, шумный, пассионарный, блистал отменным казахским слогом, шешено-златоустским красноречием, запросто, на ходу, слагал шуточные стихи, посвящения, мадригалы, пародии, становился душой и украшением любого застолья. Натура исключительно деятельная, он предпочитал людей активных, энергичных. Вместо традиционного приветствия, бывало, испытующе спрашивал: «Бурлишь? Кипишь? Клокочешь? Джигит! Жить надо так, чтоб пыль столбом. Бұрқырат, бауырым!»

Я знал, что он крупный ученый, историк, академик, руководитель института и несколько сторонился его. Но однажды выяснилось, что он обо мне наслышан, читал мои статьи, слушал мои выступления. На одном заседании о судьбе репрессированных народов в Академии наук он усадил меня рядом с собой, одарил стихотворным экспромтом, завел в перерыве как старого знакомого в свой институтский кабинет, где огромный его письменный стол был завален книгами, рукописями, альбомами, кар-

тами, на моих глазах сочинил еще один стишок, прочел его с пафосом и тут же, вызвав секретаршу, распорядился отпечатать для меня экземпляр.

Я проникся огромной симпатией к этому жизнерадостному степному батыру. При встречах он улыбался, глаза его при этом становились еще же, широкой ладонью разок хлопнув меня по плечу, обнимал по-медвежьи, называл «Бауырым» — «Брат мой!» Был он всего на три года старше меня и вдоволь испытал аульного лиха военных и послевоенных лет.

Звали его Манаш Козыбаев.

Позже я узнал, что у него нелады с сердцем, перенес инфаркт. Однако виду не подавал. А на высоких банкетах вел себя так, будто здоров, как бык. Он и умер на ходу. Помню, позвонил утром Абдижамил Нурпеисов и, сообщив о кончине Маке, скорбно заметил: «Смерть ходит рядом». Тот день отражен в моем дневнике. На панихиду в Академии наук собралось очень много народу. Я протиснулся с трудом. Постоял в почетном карауле. Опустошенный, обессиленный после митинга побрел домой.

Книги его и воспоминания о нем выходили и после его кончины. Ими снабжал меня его брат — профессор Сағымбек Козыбаев. А теперь жена Маке́ — Сараханум — преподнесла мне еще один увесистый том под названием «Тұлғалар тұғыры», составленный сыном покойного академика — тоже историком Ильясом Козыбаевым.

Я посчитал: в книгу включены более 100 статей и выступлений и 23 стихотворных посвящения академика Манаша Козыбаева. Все они написаны на казахском языке и были в разные годы опубликованы в разных изданиях — в газетах и журналах. Некоторые прозвучали по радио и ТВ. Составитель бережно собрал их под одну обложку, распределил по четырем частям, привел в надлежащую композиционную систему. В первую часть, озаглавленную «Раздумья», вошли статьи-исследования историка на жгучие темы времени: «Вопросы жанра мемуаристики», «Азамат», «Батыр — защитник родины», «О казахской интеллигенции», «Национальная элита у нас есть», «Не

знающий своих корней ни о чем не ведает», «О пирахтоях», «Бесплодно спорить с духами усопших», «У гордого народа есть светлое будущее», «Какой мы народ? И каким должны быть?». Все эти статьи опубликованы в промежутке 1997-2001 годов, то есть на начальном этапе нашей независимости, когда вопросы самопознания и самосознания, постижения новой реальности, исторические, нравственные, духовные проблемы стояли особенно остро. Сами названия этих публицистических работ академика Козыбаева красноречиво говорят о том, что́ тревожило и волновало казахстанцев в самый сложный, зыбкий период становления страны.

Академик обстоятельно анализирует десятки мемуаров и жизнеописаний, увидевших свет в годы советской власти, подробно останавливается на деятельности выдающихся казахских личностей в начале прошлого века, заложивших основу самобытного национального духа и страстных стремлений народа к свободе и независимости, оперирует множеством славных имен и знаменательных произведений, воспитавших национальное самосознание. Той же высокой идее посвящена и короткая, но ёмкая статья «Азамат».

Автор раскрывает всеобъемлющее значение этого многозначного казахстанского слова, вбирающего в себя такие понятия, как Человек (с большой буквы), Личность, Деятель, опора, остов, защита, Гражданин, призывает к тому, чтобы каждый человек нашего свободного общества был бы не рабом своих вожделений и шкурных интересов, а подлинным Сыном Отечества, что и является главным счастьем. Высший идеал человека — честь и достоинство, активная позиция в жизни-борьбе, неизбывное стремление служить народу. Неизменная забота маститого историка — носители Духа народа, достойная часть просвещенных людей — «зиялы қауым», то есть национальной интеллигенции. Автор предлагает такие определения:

Интеллигенция — суть нации, ее опора и защита.

Интеллигенция — духовный стержень нации.

Интеллигенция — маяк, светоч и прозрачный источник нации.

Интеллигенция — вершина чаяний и мечты нации, ее незыблемый остов.

Интеллигенция — смелость, порыв, созидание нации, ее верный страж и заступник.

Интеллигенция — неиссякаемый родник нации, ее кровеносный сосуд.

Интеллигенция — неустанные крылья нации, воля к миру.

Интеллигенция — слава и гордость нации, ее беспредельный вольный простор.

Это — замечу — звучит как гимн, как ода национальной интеллигенции. Точнее, его идеал. В этом сказалось поэтическая душа Манаша Кабашевича. Я лично идеализировать нашу интеллигенцию не склонен. Скорее, наоборот. Слишком много ее изъянов вижу. А академик, должно быть, мечтал о такой интеллигенции. Его идеал в истории казахов — Бухар жырау, Актамберды, Махамбет, Сегіз серы, вожди «Алаша», К.Сатпаев, М.Ауэзов, С.Садуакасов, З.Торегожин, Г.Мусрепов, И.Омаров, Дж.Молдагалиев, С.Зиманов, У.Жанибеков. Вот на кого он призывал равняться.

Рассуждая о национальной элите, Манаш Кабашевич приводил мысль автора книги «Элита Казахстана» Ерлана Арынова: «Понятие элиты неоднородно. В высокоорганизованных обществах существуют, взаимодополняя друг друга и взаимодействуя друг с другом, разные виды элит — политическая, экономическая, научная, творческая, военная».

Соглашаясь с этим, М.Козыбаев, однако, отказывается все 700 имен, включенных в книгу «Элита Казахстана», признавать национально элитой. Это, замечает он, скорее номенклатура руководящей партии в годы советской власти. Национальная элита, по мнению академика, — деятель, творец, борец-пассионарий. Такому требованию отвечают далеко не все, причисляющиеся себя к элите.

Болью и недоумением пронизана статья историка о юбилее Абая в 1995 году. Это был той-торжество акимов, а не акына. Юбилей прошел не на уровне, скомкано, хвастливо, крикливо в угоду чиновников-руководителей высшего эшелона, которые не учли всенародную значи-

мость этого события. Еще одна постоянная забота Манаша Козыбаева — наследие священных предков-аруахов, героическая история народа, которая не должна зарастать травой забвения. Мы не должны отказываться от своего прошлого, от традиций, заповеданных предками, и, опираясь на прошлое, мужественно и дерзко вторгаться в будущее гордой и независимой страны.

Таким было духовное кредо академика Козыбаева.

Во второй части книги, озаглавленной «Титаны казахского духа», речь идет о священных предках, о предтечах истории и культуры — о Мухаммеде Хайдаре Дулати, о Кадыргали бие, о бахадуре Жалантосе, о великих казахских ханах Керее, Жанибеке, Аблае, Джульбарсе, Есиме, Касыме, о легендарных батырах-ратоборцах, о Бухаре жырау, Махамбете, Исатай батыре, Сырым батыре, о Чокане Валиханове, об Аблае, о вождях-руководителях «Алаша» — Бокейханове, Байтурсынове, Садуакасове, об эмире Абдигапаре, о повстанце, народном вожаке Амангельды Иманове, о Сакене Сейфулине, Жусупбеке Аймауытове, Спандияре Кобееве, о Каныше Сатпаеве. Эти очерки-исследования, очерки-обзоры, историко-литературные портреты выдающихся деятелей в славной истории казахов. Нет такой приметной национальной личности, о которой М.Козыбаев не писал бы со свойственными ему темпераментом и дотошностью исчерпывающе обстоятельно, всеохватно, опираясь на богатую библиографию и источники. Публицистичность и историзм — вот главное достоинство этих работ. Прошлое и настоящее рассматриваются в неразрывном единстве, познавательно и актуально. Все эти названные выше личности служили великой цели — Истине, Справедливости, своему народу, родному краю, его духу и благоденствию. И, вдохновенно рассказывая об их жизнедеятельности, академик Козыбаев сам преследует высшую цель Гражданина — постижение и осмысление прошлого во имя настоящего и грядущего. И в этом непреходящая ценность его работ. В одной из них он приводит цитату из «Тарих-и-Рашиди» Хайдара Дулати: «Они (летописцы — Г.Б.) должны писать все, что есть, чтобы сохранилась история о народах мира. И в будущем

каждый человек из могущественного ли он сословия или другого, взглянув на эти строки, поймет, что это — назидание и уяснит себе, что можно ждать от похвальных нравов и от неприемлемых поступков и поймет, почему в таком-то свете упоминали о каждом человеке. И, быть может, приняв это назидание, он приступит к добрым делам и воздержится от разных поступков, чтобы его помнили добрыми молитвами».

Этому благородному и назидательному принципу, полагаю, подчинены и исторические очерки-этюды и литературные портреты академика Манаша Козыбаева.

Третью главу книги — «Современники» — составляют очерки, статьи, выступления об ученых, литераторах, общественных деятелях, с которыми автор при жизни тесно общался и духовные масштабы, заслуги которых высоко почитал и ценил. Это наиболее объемная часть книги. Круг знакомств автора, его проникновенное представление о научной, общественной, интеллектуальной роли современников, составляющих славу и гордость нации, буквально поражают. Он имел что́ сказать о 58 крупнейших деятелях казахстанской культуры и науки. В этой же части читатель найдет стихи-посвящения — доброжелательные, светлые, иронические, лукавые, написанные по разным случаям экспромтом. О ком эти очерки и портреты? Вот несколько славных имен: Алькей Маргулан, Габит Мусрепов, Ильяс Омаров, Малик Габдуллин, Динмухаммед Кунаев, Шафик Чокин, Умурзак Султангазин, Чингиз Айтматов, Салык Зиманов, Калтай Мухамежданов, Узбекали Жанибеков, Торегельды Шарманов, Мухамеджан Каратаев, Муслим Базарбаев и многие другие — объем статьи не позволяет всех перечислить. Со всеми этими выдающимися личностями автор находился в тесном контакте, постоянно с ними общался, со всеми, что называется, сидел не раз за одним дастарханом, и потому в своих очерках он создает не только служебный, официальный, так сказать, их портрет, но и человеческий, теплый, сквозь призму сугубо личностных впечатлений. Характерны в этом смысле его пространные воспоминания о писателе Габите Мусрепове, в котором поразительными, бытовыми деталями раскрыт

сложный и обаятельный человеческий образ классика казахской литературы. Мне повезло в жизни: многие личности, описанные Манашем Козыбаевым в разделе «Современники» его посмертно изданной книги, были в той или иной мере и мне знакомы, а потому я с особым интересом прочитал эти очерки, памятные мне еще при первой их публикации в периодической печати. Это люди-маяки. Светоносцы. Пассионарные личности. И неслучайно составитель в качестве эпиграфа предпослал этой части известные стихи Назыма Хикмета: «Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если он гореть не будет, кто ж тогда развеет тьму?!» в казахском поэтическом переложении Манаша Козыбаева. В этих очерках много познавательного, много фактов, ссылок, исторических параллелей, верных наблюдений, «странных сближений». Им характерны интеллектуальная масштабность и свобода, раскованность. Они отличаются блестящим казахским слогом, личностным восприятием, любованием, благородным отношением к описываемому субъекту. Они отмечены талантом, просветленностью, добром и нравственностью, душевной открытостью автора. Очерки своеобразны и по форме: одни написаны в традиционной тональности юбилейной статьи, другие — как обращение, как душевная беседа, третьи — как письмо, четвертые — как философское рассуждение по поводу, пятые — как вольная устная речь, шестые — как благословение-бата. Словом, пером автор владел грациозно.

Кому же адресованы стихи-пожелания, стихи-шутки, экспромты? Байкену Ашимову, Сырбаю Мауленову, старшему брату Оразалы Козыбаеву, Заманбеку Нуркадилову, Михайлу Исеналиеву, Мухтару Магауину, Розе Баглановой, Марфуге Айтхожиной, Сагадату Нурмагамбетову, Имангали Тасмагамбетову, Музафару Алимбаеву... и еще многим другим, в том числе и некому Герольду Бельгеру.

Четвертую часть книги составили глубокие исторические исследования: «Ермак: легенда и правда» (эта обширная статья была опубликована в 1989 году в шести номерах «Қазақ әдебиеті»), «Сталин и Казахстан», «Голощекин и Казахстан», «Хрущев и Казахстан», «Брежнев и

Казахстан», «Путь независимости — путь надежды». Это фундаментальные исследования, насыщенные фактами, ссылками на документов, охватывающими тернистые, ухабистые этапы истории Казахстана. Эти труды достойны вершить тщательно продуманную составителем посмертную книгу академика Манаша Козыбаева.

Пока я писал эти строки, перед моими глазами стояла коренастая, крепко сколоченная фигура покойного знакомца-энциклопедиста. Он весело щурился на меня, щедро улыбался, добродушно похлопывал меня по плечу и по обыкновению вопрошал: «Ой, бауырым! Бурлишь? Кипишь? Клокочешь? Так и надо! Бұрқылдат, брат мой!»

Благодарно, с нежностью вспоминаю его. Благодарю и его сына, составившего и издавшего столь уникальную книгу отца.

«Город», № 51-52, 2009.

КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ ОБ ИЛЬЯСЕ...

I

Когда речь заходит об Ильясе Джансугурове, слово Казахский Поэт хочется писать с большой буквы. В поэзии Ильяса казахское слово звучит в первозданном виде, в своей стихийной неукротимости, в незамутненной субстанции, в своей беспредельной шири и мощи, играя всеми красками вольной степи и отдавая бодрящим ароматом горькой полыни. В его словах ощущается та чарующая гармония, о которой сказано Абаем? «Сылдырлап өңкей келісім» - «струятся, переливаясь, сплошные созвучия».

Жизнь моя с детства связана с казахским словом, и для меня мощь и краса его заключены в прозе Аймаутова и Ауэзова, в поэзии Абая и Ильяса.

Полагаю, с этим согласится большинство казахов, не лишенных вкуса родного речестроя.

Жутко представить, но мое поколение едва ли не прошло мимо этого кладезя национальной духовности. Ведь когда мои казахские сверстники (о сверстниках другой национальности и речи нет) учились в школе и даже на первых курсах вузов, славные имена САКЕН, ИЛЬЯС, БЕИМБЕТ были табуированы, не говоря уже об их творчестве. Этот подлинный мир казахского духоустройства нам приоткрылся уже после 1956 года, а некоторые мои курдасы заканчивают свое земное бытование, имея лишь весьма смутное, отдаленное представление об этом поэтическом космосе номадов. Как это прискорбно! Целое поколение в самом хрупком, чистом и восприимчивом возрасте, можно сказать, прошло мимо волшебных строк уникальных творений Илъяса «Кюй», «Кюйши», «Степь», «Кулагер». Многие годы спустя мы теперь удивляемся, отчего в нашем обществе столько нравственно убогих мыркымбаев и манкуртов всех мастей, отторгнутых от национальных святынь, взращенных Бог весть на каком суррогате, понуро влачащих свой век с абортированной душой.

Новые поколения казахов (и не только, понятно, казахов!) пытаются приблизиться к подлинным национальным истокам, к казахскому слову-самородку, облагородить душу светлоструйным, живительным потоком поэтического речестроя, но путь постижения оказался неимоверно трудным и тернистым. Необходимо огромное напряжение воли, интеллекта и души, дабы пробиться к той вроде не столь далекой эпохе, к тому мировидению, материализованному, выраженному воспетому словами жемчугами Поэта Ильяса.

Ключевая фраза блистательной поэмы «Кюйши», написанной семьдесят лет назад, звучит и поныне актуально. «Ер қайда? Аруақ қайда? Намыс қайда?» («Где герой? Где предков дух? Где честь народа?») и ныне не снята с повестки дня. Может, взыскующая эта фраза звучит ныне даже острее, чем тогда. Тогда еще были такие герои-титаны духа. Ныне они выродились, измельчались, как в провидческом сне хана Аблая. Тигры, барсы обернулись шелудивыми котами и трусливыми шакалами.

Такие вот мысли приходят в голову, когда читаешь гордую поэзию Ильяса.

II

Теперь несколько слов о том, почему Ильяс звучит пока что по-русски неадекватно.

Вообще-то это тема большого научного труда, может, даже капитальной диссертации.

Переводили Ильяса на русский язык именитые переводчики,прекрасные поэты — Вл.Савельев, В.Смирнов, К.Алтайский, Е.Евтушенко, В.Соколов, Вс.Рождественский, М.Луконин, Е.Виноградов, Ю.Полухин и др. Ныне с ними вступил в состязание-байгу Берик Джилкибаев.

Я знаком с этими переводами. Свидетельствую: в нерадивости, «тяп-ляпстве», высокомерии, амикошонстве, шапкозакидательстве никого не обвинишь. Очень все старались, максимально выкладывались, изощрялись в поисках русского адеквата, настраивались на дыхание оригинала, улавливали дух, ритм, экспрессию.

Однако стоит обратиться к оригиналу, как сразу обна-

руживаются все изъяны, все белые нитки. Убеждаешься: изнанка ковра, нечто приблизительное. Слова, может, и совпадают, да живой дух исчезает.

И я задумался: в чем тут дело?

Читал и перечитывал оригинал, вникал в мощь и энергию Ильясовских слов, метафорических речений, в неукротимую экспрессию и темперамент его словотворчества.

Ловил себя на том, что даже подстрочник его стихов мне не по силам.

То же и с Абаем.

То же со всем подлинным, настоящим, первородным.

Тайнами казахского речестроя Ильяс владел бесподобно, артистически, виртуозно. Он чувствовал себя уверенно в этой стихии. И владел всеми ее атрибутами.

А истинное всегда труднопереводимо, а чаще всего — вообще не переводимо.

Иллюстрируя свою мысль двумя-тремя моментами.

Вот звукоподражательность, которой так богата казахская речь и к которой часто прибегал Ильяс.

Пример: стихотворение «Экскаватор». Новое явление в казахской жизни той эпохи. И Ильяс описывает его, как живое, одухотворенное существо, которому все под силу, все нипочем, нет ему никаких преград.

Ырғалса,
сықыр, сықыр, сықыр.
Қозғалса,
шықыр, шықыр, шықыр.
Опырса,
күтір, күтір, күтір.
Шайнаса,
қытыр, қытыр, қытыр.
Күйсесе,
күрс, күрс, күрс...

Ну, можно придумать «хрип-хрип», «хряп-хряп», «хруп-хруп», а дальше как? Как это передать по-русски адекватно, зримо? Не знаю.

Примерно то же в стихотворении «Ақын мен Мақым».

Өзі тіпті күлмеуші еді:

Күнк,
күнк,
мыңқ,
мыңқ.
Оттың басын үрлеуші еді:
Ап!
Сап!
Қара пышақ!
Ай құлақ!
Бақ!
Бақ!
Бақ!

Невольно вспоминается Маяковский, Хлебников, Вознесенский. Может, они что-нибудь придумали бы при передаче это на русский язык.

Казахский язык очень динамичен, экспрессивен. Обилие рифмующихся, созвучных глагольных форм, причастий и деепричастий придает стихам энергию, живость, буйство, озорство.

Ұстатпайды, өлшетпейді:
Жырқылдатып,
тырқылдатып,
ыңқылдатып,
қырқылдатып,
бұтып,
шатып,
Сөз сорлыны қуалайды.

Не играет по-русски, хоть лопни! Приходится изощряться, пускаясь во все тяжкие.

Бесконечные аллитерации поэтического речестроя придают строкам необыкновенное благозвучие.

— Алатау айырларда алтын күннен...
— Жарғақ шал, жарық қобыз, жалғыз дауыс...
— Күй көргем көкті қауып күркілдеген...
— Жүйрік үн жүрек жалмап жамыраған...
— Қар дала, күрең түнгі кердең қандай...

Подобные особенности при переводе безнадежно теряются. Или, придерживаясь формы, приходится жертвовать содержанием.

Казахские глаголы очень выразительны, эмоционально окрашены. Они выражают не только движение, динамику, но и характер действия. Вот пример из «Күйші»:

Құлпыртып, бәйшешекті кетті шалқып,
Аққудай көкте күйлеп, көлде қалқып,
Ақтарып, лекілдетіп, лепілдетіп,
Талдырып, тамшылатып, сығып, сарқып.

Одинадцать глагольных форм в одной строфе создают целую картину вдохновенного действия, буйства, экспрессивного динамизма.

По-русски в переводе Вс. Рождественского получилось так:

Полевые цветы тот напев оживил,
Он, как лебедь по озеру, тихо скользил:
Сквозь преграды мелькая, резвясь и пьяня,
Отягченные слезы по капле точил.

Вроде и неплохо, однако упругости оригинала нет, все разжижено.

Или:

Соқ, жігіт! Соқ! Соқ, жігіт! Күйіңді тарт!
Лапылдат! Жандыр! Күйдір! Құмарт! Құмарт!
Безілдет! Сарнап! Зарлат! Үздіктірші!
Керек жоқ! Лақтыр әрі! Қысқарт! Қысқарт!

Шестнадцать глаголов в повелительном наклонении создают огневую, неукоснительную стихию. Ошеломляющий натиск! Водопад!

По-русски это передано так:

Бей же, бей, о кюйши! Жарче этой играй
Жги мне сердце! До тла! Я горю пред тобой!
Бей! Иль нет, замолчи. Слушать нет больше сил,
Не могу. Подожди. О кюйши мой, постой!

А ведь в общем-то неплохо, согласитесь. Особенно если прочесть с пафосом, то можно приблизиться вполне к оригиналу.

Ильяс — гений экспрессии, экстаза, кульминации вдохновения. Словесная стихия клокочет, бурлит, неистовствует в нем, как горный водопад, как степной смерч.

По-русски выразить это сложно.

Он также мастер в употреблении так называемых «қос сөз» — дуплетных слов, которыми так богат и неистощимо выразителен изначально казахский язык. Дуплетными словами в казахском языке можно выразить тончайшие и разнообразные оттенки действии, чувства, обстоятельства, состояния, всего на свете. «Қос сөз» — удивительный колорит, феномен казахского речестроя. В одной из своих книжек я об этом более обстоятельно говорил. Здесь же ограничусь лишь одним примером.

Аю қыз ашуланып сарқ-бұрқ етті,
Наркескен қыз қолында жарқ-жұрқ етті,
Кім өліп, кім қалған мағлум емес,
Әйтеуір үй есігі сарт-сұрт етті.

В самом деле, как передать по-русски эти «сарқ-бұрқ», «жарқ-жұрқ», «сарт-сұрт»? Нет таких слов, таких понятий. Приходится как-то выкручиваться, чтобы хотя бы смысл передать.

Гнев взволнованной девушки сердце обжег,
И в руках ее вспыхнул острый клинок,
Как узнать — кто погиб, кто остался в живых?
Только дверь распахнулась, да скрипнул порог.

У Ильяса богатый лексический словарь, и каждое его слово живое, одухотворенное.

Вспомним описание Кулагера в одноименной поэме. Оно воспринимается как поэтическое состязание со знаменитым стихотворением Абая «Приметы коня» («Аттың сыны»).

Тәует бас, қамыс құлақ, қуарған жақ,
Құлан жал, бұлақ мойын, қой жұтқыншақ,
Қоян жон, жазық жая, жауырынды,
Құс топшы, қос шынтағы қалқынқырақ.

Сіңірлі, жер соғарлы, аяғы тік,
Түлкі төс, таза тізе, ит жіліншік.
Шашақты, шақпақ етті, аласа ұршық,
Құндыздақ қалай біткен құйрыққа дүп?

Прочитайте: двадцать две приметы, особенности скакуна, описанные образно, картинно, зримо в двух строфах, зарифмованных в традиционном казахском одиннадцатисложнике. Ну, как это передать по-русски? И не просто описать-перечислить все внешние признаки призового скакуна, а передать поэтически, максимально близко к оригиналу?

Мне почудилось — невозможно. И приятно удивился, когда прочел в переводе М.Луконина и Е.Виноградова:

Голова суха, а уши, как камыш торчат,
Шея гибкая, как глотки молодых зайчат,
Круп широк, спина прямая, мускулы туги,
Соколиное предплечье, локоть, как рычаг.

Ноги жилисты и прямы, в землю бьют — пора!
Грудь лисы, колена гончей, ноги — вес пера.
Голени продолговаты, мускулы — кремень,
Репица хвоста чудесна — словно у бобра.

Ну, разве плохо? Переводчики, кажется, «выжали» максимум из возможного.

А как Поэт знал флору и фауну родного Семиречья-Жетысу! Кто-то насчитал 85 названий флоры в стихах Ильяса. Я думаю, столько не встретишь ни у одного казахского поэта. А попробуй найди всем этим названиям верный адекват на русском. Тут наверняка и Институт ботаники бессилен.

В числе тех, кто дерзает передать поэзию Ильяса на русском языке, в последнее время обращает на себя внимание Берик Джилкибаев — филолог, эссеист, публицист, переводчик. В отличие от многих русских поэтов-переводчиков он слышит и чувствует оригинал, т.е. обходится без посредников, без подстрочников. Конечно, это, большое, серьезное преимущество при наличии таланта или хотя бы чувства меры, вкуса и версификационной техники. Я знаком с рукописью его переводов. Узрел в них и достоинства, и изъяны. О том при случае нужно говорить отдельно. А сейчас скажу, что меня обрадовал его перевод лирического, интимного, доверительно-исповедального цикла Ильяса

«Фатиме», опубликованный в четвертом номере журнала «Простор» за этот год. Мне эти переводы показались аккуратными, бережными, чуткими. Приведу для сравнения один лишь пример из этого цикла. Стихотворение написано Ильясом в 1927 году и посвящено возлюбленной Фатиме. Называется в оригинале «Еркетай қоңыр жел» («Ласковый шалун-ветер»).

Еркетай қоңыр жел,
Еркеме соқсаң егерде,
Күрсінгендей сыбырла,
Кімдікі десе, - үндеме...

Ойнақы тұнық бұлақша,
Жолықса еркем егерде,
Бетіне жастай сорғала,
Кімдікі десе, - үндеме...

Жайдары шуақ күнікей,
Еркеме түссең егерде,
Күйдіре қарап себезде,
Кімдікі десе, - үндеме...

Қараңғы жым-жырт тоғайшық,
Қойныңа еркем кіргенде,
Бұлақпен төсін қытықта,
Кімдікі десе, - үндеме...

Удивительно нежная, задушевная лирическая миниатюра. Она написана на одном дыхании. Она само дыхание, ласковый шепот, трепет влюбленного сердца. Поэт раскрыл свою чистую, вдохновенную душу любимой Фатиме и доверительно, откровенно передал свое затаенное чувство только ей, одной ей, исключительно ей. Миниатюру эту можно смело включить в аналогию мировой любовной лирики. Очень непросто ее передать в иноязычной тональности. Но Берик Джилкибаев дерзнул. И получилось так:

Свежий ласковый ветерок,
Нежно милую обними!

Если спросит: «Послан ты кем?»
Оставайся, прошу тебя, нем...

Ах, игривый ключ-родничок,
Если встретишься ей на пути,
И слезами лицо ей смочи,
Если спросит: «Ты чей?» — Молчи...

О веселый солнечный луч!
Освети ее, обогрей.
Улыбнется и спросит: «Кто он?»
Нашу тайну не выдай ей...

- Роща тихая! Если во тьму
Кущ твоих забредет она,
Приласкай ее буйной листвой,
Спросит кто «Кто?» Мое имя скрой...

Что тут скажешь? На слух вполне приемлемо. Передано содержание, уловлен ритм, сохранено дыхание, озвучена мелодия. Очень даже прилично. И все же по-казахски выражаясь, «бір қайнауы ішінде», т.е. «нуждается в еще одной варке», или: «чуть-чуть недоварено». В оригинале каждая строфа заканчивается словом-заклинанием «үндеме» — «молчи». Оно цементирует все стихотворение, точно рефрен, придавая таинственный шарм. При переводе эта «изюминка» выпала. Не везде сохранена форма рифмовки. Ну, и «еркетай жел», вероятно, не совсем «свежий ветерок», а, скорее, шаловливый, игривый, проказливый, баловливый, озорной, баловной, ветерок-пострел, ветерок-шалун, ветерок-сорванец, ветерок-бедокур, что-то в этом роде.

Но я не хочу заниматься ловлей блох. Я просто пытаюсь показать какой же Ильяс — лирик, и как непросто озвучить его на ином языке Попытку Берика Джилкибаева в этом направлении я горячо и искренне поддерживаю.

Все это я говорю в надежде объяснить, почему мы пока не имеем достойного Ильяса на русском языке. Сложное это дело — озвучить истинных поэтов на других языках. Мы в этом убедились на примерах переводов Абая и Махамбета, Сколько уж десятилетий продолжается их осмыс-

ление и постижение на русском языке? Однако кто станет отрицать, что кое-какие успехи в этом направлении есть? Тому свидетельство сборники Абая, в которых одно и то же стихотворения приводится в пяти-шести вариациях на русском языке. Усилиями русскоязычных казахских поэтов в последние годы вполне прилично прозвучал по-русски и Махамбет. То же можно сказать и о Магжане. Думаю, дойдет черед и до Ильяса. Нужны воля, желание, вдохновение и подлинно государственный интерес, подход к национальной святыне.

Конечно, русский и казахский языки разносистемны и разноструктурны. Ментальность, духоустройство, мировидение, мироощущение — все иное. Однако Космос Поэзии един и духовное созвучие разноязыких поэтов - бесспорная реальность.

Апрель 2004 г.
Алматы

КАЛЕКЕ НЕУГОМОННЫЙ

(к 80-летию Калмухана Исабаева)

Не знаю, с кем мне сравнить прозаика, публициста, очеркиста, энтузиаста-доброхота Калмухана Исабаева.

Пожалуй, в нем есть что-то ходжанасреддинское: находчивый, неунывающий, шутник, озорник, балагур, насмешник, оптимист, открытый, доступный, мудрый и по-детски наивный. Без чванства и высокомерия. Настроенный на веселую волну.

И при этом — великий труженик. В отличие от большинства своих коллег вечно пропадает в архивах, перелопачивает горы пожелтевших газет, журналов, документов и непременно в них что-то находит — то, на что многие по лености и внимания не обращают. Потом эти драгоценные крупицы истины тщательно просеивает, провеивает, изящно преподносит читателям в форме романов, повестей, рассказов, очерков, статей, заметок.

Печатается Калеке много. И сам покоя не знает, и других постоянно тормошит: пишет в высшие инстанции, акимам, разным руководителям разных учреждений, в посольства, поднимает проблемы, о чем-то напоминает, что-то просит, настаивает, требует, возмущается. Знаю: некоторые власть предержащие шарахаются и от него, и от его колких вопросов: «Апырай, этот старичок с ноготок достал нас, совсем заколебал».

«Достал» он не только казахов и русских, но и немцев — от президента ФРГ до сотрудников Музея Гете в Габельбахе.

За сорок лет тесного знакомства я убедился в его настойчивости, упорстве, принципиальности, бескорыстии.

Не о себе печется — убежденно служит правде, литературе, истории, факту.

Про себя называю его Калеке Неугомонный.

Даже во время прогулок у памятника Чокану он неожиданно выныривает точно из-под земли со своей изрядно потертой папкой под мышкой и начинает меня теребить: вот письмо из Ильменау, вот ответ местных чинуш из Семея, а вот что я раскопал в архиве, вот мои заявления-прошения в посольства Германии, Чехии, России, вот...

Сколько же он написал за свою жизнь? Кажется, книг 40 или 50, сотню рассказов и повестей, тысячу очерков, статей, заметок.

В основе всех его писаний — о трудном восстановлении послевоенной Германии, об исторических личностях Павлодарщины, о полузабытых чекистах, о строителях канала Иртыш — Караганда, о схожих судьбах и мотивах немецкой и казахской культуры, о проблемах казахского аула, о казахских паломниках XIX-XX вв. и т.д. — лежит строгая документальность. И именно в этом сила, достоинство и своеобразие его творчества.

Многие книги Калеке на германскую тематику я читал. Они жизненны и достоверны, ибо в них ощущается неравнодушие бывшего культур-офицера, коменданта к немецкой истории, ментальности, языку, нравам и обычаям.

Подробнее поведаю об одном случае.

В далеком 1949 г., взобравшись однажды на зеленый холм Тюрингии, осмотрев и зарисовав охотничий домик Гете, советский комендант немецкого городка Калмухан Исабаев помимо воли запел абаевскую песню «Қараңғы түнде тау қалғып», являющуюся, как известно, переводом-переложением гетевской миниатюры (через Лермонтова). Тогда-то и возникла у Калеке идея о духовном родстве, перекличке Гете и Абая. Как было бы здорово, если б родина Гете познала казахского гения!

Позже Калеке снабдил музеи Гете в Кикельхане и Веймаре абаевскими экспонатами. В Музее Абая в Семипалатинске открыл гетевский уголок. Потом возникла идея присвоить имя Абая какой-нибудь улице в Веймаре. Для достижения этой цели Калеке добился сначала того, чтобы в трех городах Казахстана появились улицы имени Гете. Куда и к кому только не обращался по этому поводу Калеке! Сколько извел бумаги на письма, прошения, обращения, объяснения, внушения, пока в результате многолетних

усилий (конечно, не без помощи и поддержки других) добился, наконец того, что в Берлине появилась улица Абая. На торжестве по этому знаменательному случаю выступил с проникновенной речью и счастливый Калеке. Все драматические перипетии на этом пути обстоятельно, документально освещены в его любопытной книге «Берлин, Абайштрассе».

Таков наш Калеке. То, что однажды задумал, непременно осуществит. Я не раз бывал с ним в разных командировках, часто встречаюсь, в курсе всех его задумок и интересов. И постоянно восхищаюсь его мобильностью, контактностью, деловитостью, простотой, и все эти достойные человеческие качества обрамлены веселым шутовством, балагурством, товарищеским подтруниванием и розыгрышами, безобидным зубоскальством, эксцентрическими выходками, что и роднит его с бессмертными Ходжой Насреддином и Дон Кихотом.

Такие люди, известно, украшают и облагораживают жизнь.

Свой солидный возраст, мне кажется, он не ощущает. Я не помню, чтобы он когда-нибудь лежал в больнице. Не слышал, что бы он когда-нибудь жаловался. Он только сетует на беспредел и равнодушие чиновников, на душевную глухоту и алчность «новых» господ жизни, чьи аулы ныне обосновались далеко от истины и порядочности.

Я воспринимаю Калеке как симпатичный, редкий человеческий экземпляр. И искрение желаю своему старшему коллеге долгих лет жизни и новых свершений.

«Начнем с понедельника» 12.08.05.

У КОГО ЕСТЬ ХОРОШИЙ СЮЖЕТ...

❁ ❁ ❁

Я в общем-то хорошего мнения о казахской литературе (не зря ведь перевел на русский язык томов 25-30). Конечно, как и у всех, и мусора в ней хватает, много и узколокального, незначительного, второстепенного («без паршивой овцы отара не полна»), но довольно и достойных произведений, которые можно смело выдвигать на мировую арену. Просто нет умения показать свой товар лицом; слабо поставлены популяризация, пропаганда, перевод. А потому за рубежом почти не имеют представления о казахской литературе. А то представление, которое имеется, явно поверхностное, приблизительное. Многие популярные писатели мира (не буду перечислять имена, они и так на слуху) переведены на десятки языков миллионными тиражами. Потому-то их знают, потому-то они и обладают престижными премиями. Все же для наглядности приведу два примера. Исторические романы Иво Андрича «Травницкая хроника» и «Мост на Дрине» принесли ему мировую славу. В 1961 г. за роман «Мост на Дрине» Иво Андричу была присуждена Нобелевская премия. По сведениям десятилетней давности, этот роман пережил 93 издания в разных странах Европы и Азии и переведен на три десятка языков. «Травницкая хроника» насчитывает 54 издания в переводах более чем на двадцать языков.

Или возьмем ныне безмерно модного («культового») Пауло Коэльо (честно скажу, что я его читать не могу: то ли не «мой» писатель, то ли я просто не дорос до восприятия его сочинений. Каюсь.). Еще чернила не высохли на последней странице его очередного «шедевра», как его издают в 80 странах на 50 языках. Какова раскрутка! Как работают литературные агенты! Какова реклама! Даже у нас, в Казахстане, усилиями его почитателей-популяризаторов его

«Захир» скороспело прозвучал по-казахски, и по этому поводу раздули по всем каналам такую рекламу, что чертям стало тошно. Даже вокруг презентации этого произведения завертелись макабрские пляски. Знай, мол, наших!

Ох и дурят народ!

Можно ли такое представить в казахской литературе? И много ли казахских писателей, переведенных хотя бы на пять-десять языков? От силы наберешь человек десять. У нас иным произведениям присуждают Государственную премию, а о них едва написан пяток хилых рецензиек, о переводах же на другой язык и речи нет. И потом недоумеваем: почему у нас почти нет всемирно известных писателей, почему нас не удостаивают «нобелевки».

А вот и потому! Слишком уж низки наши показатели по всем параметрам-критериям. Слишком пурхаемся в сугубо локальных проблемках, топчемся по исхоженным тропкам, слабо и робко звучит наш собственный голос. И не на кого жаловаться. Пенять следует только на себя. И не строить из себя вечно обиженных мальцов-балакаев.

❁ ❁ ❁

И еще одну очевидную болезнь замечаю в казахской литературе. Манерность, вычурность, «узоры красных словес», нарочитую стилистическую усложненность, нагромождение формальных изысков, избыток фольклорных украшений, боязнь простоты, украшение методом лоскутного одеяла, строение фразы способом складывания кубиков, многословие («По сравнению с другими слова казахов длиннее», — замечал Абай), мнимая философичность, упоение мыльными пузырями. Увы, все эти элементы назойливо бросаются в глаза.

Не хватает благородной простоты, четкости, доступности. Убогость мысли ведь литературными финтифлюшками не скроешь. Блеск и сверк еще не главное достоинство. Знаю прозаика, который годами шлифует (облизывает, мурыжит) свои фразы, добивается какой-то безупречности, сомнительного «ыритыма» (ритма) и «интанасия», а предложения его, точно безделушки, не волнуют, не колышат, ибо они искусственные, вымученные, лишенные вкуса,

веса, вида. Между тем вспомним великие произведения от «Илиады» до «Слова о полку Игореве», от «Гамлета» до «Фауста», от «Короля Лира» до «Медного всадника» — все они написаны простым, доступным без выкрутасов языком.

На это еще четверть века назад обратила внимание Новелла Матвеева. Я, конечно, понимаю, что кому-то по душе и «игра в бисер». Однако нарочитая усложненность не панацея от примитивизма. Вычурность и есть чаще всего примитивизм. Простота Пушкина полна тайны магии и обаяния.

Вот любопытный пассаж на этот счет Эрвина Штриттматтера (когда-то он был весьма популярен в ГДР и СССР): «У кого есть хороший сюжет, может писать просто; у кого их нет, тому приходится расцвечивать свой стиль. У кого есть дело жизни и план осуществления его, может молчать; у кого их нет, тому приходится молчать. Кто любит, тот любит; тому, кто не любит, приходится говорить о любви и требовать ее от других».

❁ ❁ ❁

Говорят: талантливый писатель. Но что значит талантливый — толком не объясняют. На мой взгляд, талантливый — определение условное, зыбкое, эфемерное, расплывчатое. Помню, в 60-70 гг. на пленумах-съездах Союза писателей Казахстана одна напористая поэтесса все время подчеркивала: «Мы, талантливые писатели...» По ее классификации получалось, что в талантливых ходят пять-шесть литераторов Западного региона, а все остальные — определенно бесталанные, от Бога лишенные таланта. Меня этот водораздел всегда смущал. Интересно, на каких весах шумливая поэтесса взвешивала таланты? Рассказывают, как в 30-х гг. Альжаппар Абишев, бывало, говаривал: «Орденоносные писатели, оставайтесь, остальные пусть выйдут из зала». Писатель-шахтер Абишев обладал орденом, а Мухтар Ауэзов в то время — нет.

Было и такое.

Я с некоторым сомнением отношусь к определению «талантливый». Не знаю, называли ли Толстого, Чехова, Абая талантливыми. Говорят, «талантливый поэт», а он, бедняга,

не в состоянии ни очерк, ни рецензию, ни обзор, ни дельную статью написать. Ну и в чем его талант?

Литератор, владеющий литературным ремеслом или мастерством, для меня ближе, дороже, чем неопределенный, сомнительный «талант».

Как-то еще в газете «Правда» (12.XI.1984) я прочитал интервью с академиком (конструктором реакторов) Николаем Антоновичем Доллежалем. «А талант?» — спросил у него корреспондент. И академик ответил: «Мне кажется, что это прежде всего мастерство, высота совершенства. Она дается не всем. В научной работе, индивидуальной или коллективной более приемлемо понятие «мастерство». Мне лично больше нравится мастерски поставленный эксперимент, чем «талантливый». Как формировался первый, его логику я понять могу, а как второй — не всегда: ведь талант в привычном понимании иногда может проявляться в «наитии»...»

Академик Доллежаль точно сказал то, что я никак доселе не мог выразить. Мне эта точка зрения по душе. «Мастерская операция» мне понятна, «талантливая операция» — не всегда. «Мастерское произведение» для меня ближе, «теплее», чем «талантливое». Понимаю: не все со мною согласятся.

❂ ❂ ❂

Мухтар Магауин в одном из своих автобиографических романов утверждает, что так называемого вдохновения («шабыт») в творчестве не бывает, а бывает настрой («бап»). А настрой приходит тогда, когда работаешь. Я, пожалуй, с ним соглашусь. Правда, полностью отрицать вдохновения все же не стану. Видно, особо одаренных людей оно изредка посещает. Но все-таки разумно уповать не только на талант, на вдохновение, на озарение, а прежде всего на систематический, организованный, целеустремленный, упорный труд. Вот беззаветного труженика и может в счастливые минуты посетить вдохновение как концентрация воли, цели, трудового усилия, как награда за труд, как особый душевный настрой. Должно быть, это имел в виду Мухтар Магауин — сам большой, бесспорный

труженик. И такая постановка вопроса мне кажется правомерной. В качестве свидетеля такой мысли приведу Марка Шагала: «Нужно работать, неустанно работать. Нельзя достигнуть идеала без работы. Для того чтобы создать произведение искусства, необходимо отдавать себя работе на все 100 процентов, даже больше. Если вы выкладываетесь на 90 процентов, значит, вы не талантливы. В любой профессии работать нужно на пределе, отдаваясь ей целиком. Не ради денег — ради качества. Качество придает смысл жизни».

Хорошо сказано! Особенно вот эта мысль: «Если выкладываешься только на 90 процентов, значит, ты не талантлив».

Вот и критерий таланта! Плохой работник не может быть талантливым.

❁ ❁ ❁

В связи с этим мне вспоминается один случай. В 1987 г. пригласили в ЦК КП Казахстана группу писателей-старейшин (М. Каратаев, А. Сарсенбаев, З. Самади и, если не ошибаюсь, Д. Абилов) и меня. Было ясно, что аксакалам вручат почетное звание «Народный писатель Казахстана». Ну а я-то приглашен с какой стати? На «аксакала» в то время я явно не тянул. Я ловил на себе недоуменные взгляды Мухамеджана Каратаева. «Апырай! — читалось в них. — Ну нам, почтенным и заслуженным людям, если дадут «Народного», это понятно. Но этому-то за что?!»

Мне тогда присвоили звание «Заслуженный работник культуры Казахстана». И я выступил с благодарственной речью. «Для меня, немца, нет высшего звания, чем работник. Горжусь тем, что официально обретаю такой статус. Но я не просто работник, а заслуженный. А это поднимает мой статус еще выше. К тому же я заслуженный работник самой дорогой, значительной для меня, высокой отрасли — культуры. Вы только вдумайтесь в это сочетание! Но и это еще не все: я заслуженный работник культуры... определенной страны, республики... Ка-зах-ста-на, в котором живу и работаю сорок шесть лет. Разве может быть высшей награды для меня?»

Наступила тишина. Никто, видно, такого спича не ожидал.

Аксакалы одобрительно закивали головами. Высокие чины ЦК были довольны. А я искренне рад. И поныне считаю, что «работник» — высшая похвала.

❁ ❁ ❁

Да, работником быть не всем дано. Гете принадлежат слова: «Надо чем-то быть, чтобы что-то сделать».

Может, в сущности, это и есть талант?

❁ ❁ ❁

В 70-80-х гг. прошлого века я был знаком с грузинским литературоведом, теоретиком перевода, очень увлеченным, активным, общительным человеком Отаром Нодия. Он тогда руководил каким-то управлением по художественному переводу (у этой организации было длинное и мудреное название, которое сейчас не помню). Встречались на семинарах, круглых столах в Москве, несколько раз в редакции «Дружбы народов» (в бытности редактором С. Баруздина). Непревзойден был Нодия и в застольях: шутил, пел, балагурил, щедро угощал.

Переводческое дело в Грузии было тогда на высоте. Оно было хорошо организовано. Помню, Нодия с гордостью говорил и писал о том, что грузины могут непосредственно переводить с 19 языков народов СССР и 14 языков народов мира. Так оно и было. Мы, казахстанцы, с изумлением и белой завистью слушали его: у нас такого и в помине не было.

Даже переводчиков с казахского на русский можно было тогда сосчитать на пальцах одной руки. Ну еще Медеубай Курманов переводил «Фауста» непосредственно с немецкого. Пожалуй, и все. Нодия давно умер. В каком ныне состоянии находится художественный перевод в Грузии, не знаю, но, полагаю, как и везде, в плачевном. А какие праздники переводческого искусства проводились в Армении! Какое значение придавалось переводу на государственном уровне во многих республиках бывшего СССР. Расцвет! Пир духа! Благодаря переводам мы знали, что происходит в литературах братских стран. Мы, литераторы, чувствовали себя равными среди равных и гордились своим братским

союзом. Горизонт наших представлений был широк. И на бесчисленных декадах не только пировали за пышным дастарханом, на банкетах.

А сколько переводили на иностранные языки! Именно в 70-80-х гг. прошлого века я, например, находился в тесном контакте с Берлинским издательством «Фольк унд Вельт», являлся информантом по казахской литературе, посылал нашему другу, издателю Лео Кошуту списки казахской литературы, которая, на мой взгляд, представляла интерес для немецкого читателя. И в те годы по-немецки прозвучали два десятка казахских прозаиков.

А теперь что? Каждый варится в своем национальном казане, друг о друге почти ничего не знаем, не имеем представления о том, что происходит в литературах других стран, и каждый воображает себя пупом земли. Приходится, например, читать в национальной прессе о том, что в казахской литературе минимум пять мастеров пера достойны Нобелевской премии и если бы в Европе были бы такие литературоведы, как Зеке и Шаке, казахская литература была бы недосягаемой во всем мире.

Таковы издержки локального, местечкового мышления.

В духовном, культурном плане потери после распада СССР колоссальные, невосполнимые.

Некоторые ищут оправдание: дескать, все это было политикой, идеологией. Ну и что? Было духовное общение, единение культур, взаимовлияние, взаимообогащение, подлинная человеческая близость, праздник Духа. Ныне долдоним о независимости, самостоятельности, суверенитете, а повсеместно деградируем, дичаем, примитивизируемся, кичимся своей национальной изолированностью и ограниченностью. И сколько это будет продолжаться? Достойно ли такое положение человека?!

❁ ❁ ❁

Двадцать лет назад (см. «ЛГ», 22.01.86) доктор исторических наук Н. Бестужев-Лада задал резонный вопрос: «Не окажется ли в скором времени так, что поэты будут писать только для поэтов, а кинорежиссеры ставить фильмы только для кинокритиков?»

Как в воду глядел. Ныне мы уже к этому пришли.

❁ ❁ ❁

Читатели катастрофически убавились, выродились, а те, кто еще читает, довольствуются Акуниным, Сорокиным, Улицкой, Марининой, Донцовой, искренне полагая, что это и есть литература. Теперь повально увлеклись Пауло Коэльо. То, что его «Захир» первым в мире перевели на казахский язык, выдают как историческое событие, проводят пресс-конференции, анонсируют в газетах, затевают дорогую презентацию в лучшем отеле. Бог ты мой! Даже подсчитали, что в течение восьми месяцев «Захир» будет издан в 88 странах на 48 языках. И Казахстан успел на этот раз отметиться первым. Ликуйте! Читайте! Восторгайтесь! Коэльо на казахском языке — это же всенародный той. Мы утерли нос всему просвещенному миру: Абая не читаем, зато Коэльо читаем на родном языке. Вот куда взметнулось наше национальное сознание! И как только обходился казахский читатель до сих пор без Коэльо?! Уму непостижимо! Теперь-то все пошло на лад. С казахским «Захиром» мы едва ли не впереди планеты всей. Знай наших!

Такая вот раскрутка. Неважно, кто и что написал. Важно, как тебя раскрутили, подали, преподнесли.

Мой покойный друг, поэт Еслям Зикибаев, бывало, внушал мне: «Главное, чтобы ты умел писать на «тройку». А «тройку» можно запросто раздуть до «пятерки». Сделать из посредственности гения при умелой раскрутке — раз плюнуть».

Прав оказался Еслям. Ныне мы это видим повсеместно.

И что в результате? Сплошная дебилизация! На «Дядю Ваню», на «Иванова» молодежь уже не идет, она валом валит на пошлость и кич, на бездумные дрыгалки.

Встречаюсь со студентами. Сытые, гладкие, ухоженные, модно упакованные. Перед беседой говорю: «Назовите трех крупных казахских писателей». Называют Есенберлина, подумав — Шаханова, через паузу — Олжаса Сулейменова. Иногда заполошенно — Чингиза Айтматова. У ученицы 10-го класса, участницы литературного конкурса, спрашивают: «Кто написал «Ленинградцы, дети мои!», бойко отвечает: «Абай». Спрашиваю у студентов-аграриев: «Какие спектакли вы видели в последнее время?» Тягостное молчание.

Тяга к знанию утрачена. Образованный человек не в цене. Литературная волна 60-х гг. — К. Мырза Али, З. Сериккалиев, А. Сулейменов, С. Муратбеков, К. Искаков, А. Кекилбаев, А. Тарази и др. — помню, отличалась неуемной любознательностью и тягой к знаниям. Невежества они стыдились, начитанностью гордились. А что теперь? Культура не в почете. Ориентиры сместились. Представления о подлинных ценностях исказились. На поверхность всплыла пена. Ныне герои дня — ловкачи, юркачи, авантюристы, прощелыги, прохиндеи, рвачи... И не хотелось бы брюзжать-ворчать, но такова реальность.

❁ ❁ ❁

Рьяно защищая родной казахский язык, некоторые национал-патриоты горячо обрушиваются на русский язык, считая его первопричиной всех бед. Ну никак не могу с этим согласиться.

Полностью и искренне разделяю тревогу и заботу о казахском языке, но виной его плачевного состояния русский язык не считаю. Ну кляни политику, идеологию, имперское мышление, кого и что угодно, но причем тут один из богатейших языков мира?! Знанием русского языка нужно только гордиться. Без него мы все ущербны. Здесь не должно быть «или-или», а только «и-и».

Точно и кратко выразился по этому поводу Юло Туулик («ЛГ», 17.02.88): «Я понял, что ненавидеть можно идеологии и людей, но язык ненавидеть нельзя».

Увы, иным национал-патриотам мерещится, что если полностью вытеснить из сознания русский язык, то сразу же откроется широкий простор для казахского языка.

Это не так. Русский язык никому и ничему не помеха.

❁ ❁ ❁

Я держусь обычно на почтительном расстоянии от аула Поэзии. Мне чудится, это не моя зона. Для восприятия поэзии не хватает чуткости, восприимчивости, сердечной отзывчивости, душевности, детской непосредственности, да еще много другого, что и словами не выразишь. И все же

поэтов читаю: и немецких, и русских, и казахских. Имею свое мнение. Иногда высказываюсь печатно. В поэзии российских немцев мне по душе ее Volkstümlichkeit, т.е. народность, фольклорность, искренность, тяга к классическим формам и четкой версификационной организованности. Собственно германская поэзия эти качества в большой степени давно утратила. Она более «головная», сухая, изощренная, похожа на кроссворды и ребусы, на упражнения рацио, на игру в эпатаж.

Русская поэзия — океан. В ней найдешь все что угодно. Она обладает бездонным богатством. А сколько русскоязычных поэтов обитает за рубежом! А сколько стихотворцев в Интернете!

А вот казахская поэзия последних лет мне кажется монотонной, однообразной. Открытий почти нет. Есть достигнутый общий уровень, хорошо освоенные арсенал и техника, внешние атрибуты, а резко, оригинально, уникально почти никто не выделяется. Кадыр, Иран-Гаип, Есенгали, Темирхан, Темирше, Жаркен — вот сопки, которые выделяются на равнине и такырах современной казахской поэзии. Вокруг этих сопок поют своими голосами сотни и сотни вполне сложившихся поэтов. И мне иногда кажется, что вот-вот из сонма современных казахских поэтов родится гигант и орлом взметнется ввысь, удивляя мир своим божественным даром. И время это вроде как близко. А пока воцарилось некое затишье, накопление энергии для поэтического взрыва, процесс перехода количества в качество, духовный старт.

В 2004 г. на страницах «ЛГ» проводилась дискуссия на тему «Век у нас — новый. А как быть с поэзией?»

И вот суть некоторых ответов (см. «ЛГ», № 48/04):

«Сейчас в России быть поэтом не престижно».

«Что, в русской поэзии исчезли таланты? Да нет, они не востребованы».

«Поэзия переживает сейчас не самое лучшее время».

«...Русская поэзия в наше нелегкое время мельчает, даже деградирует; не воспевает высоких идеалов, а становится прислужницей наших извращенных вкусов, нашего инфантильного непонимания окружающего мира».

«Поэзия, пожалуй, жива. Но она трагична. В поэзии сейчас никто не заинтересован».

«Сейчас читатели стихов практически полностью — писатели стихов».

«Поэтам обидно: их не читают».

«Нынешняя поэзия — поэзия авторов. Читателей — единицы, зато авторов — тысячи».

И т.д.

Может, немного резко, категорично? Но верно.

А в отношении современной казахской поэзии, пожалуй, еще верней.

❁ ❁ ❁

Деградация в литературе, по-моему, факт очевидный. В данном случае я говорю о русской литературе. Неожиданно подтвердил мои ощущения и актер Альберт Филозов (см. «Известия», 20.02.01): «А то, что я прочел в последнее время, — и Пелевин, и Акунин — это, к сожалению, очень убого. В поздние советские времена все с удовольствием читали «Альтиста Данилова» — а ведь по сравнению с Булгаковым это второсортная литература. Но сейчас пошел уже третий сорт».

Филозов скромничает, деликатничает. Улицкая, Маринина, Донцова, Сорокин и иже с ними, на мой взгляд, на третий сорт уже не тянут. Примитивизм и убожество нынче везде правят бал. И то ли еще будет...

❁ ❁ ❁

Истинные писатели знают себе цену и говорят о том без ложной скромности.

Пушкин: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...»

Гоголь: «Я совершу!»

Толстой: «Много ли у нас великих писателей? Ну... я».

И наш Магауин говорит: «Я». С полным, впрочем, на то основанием. «Я» — и никаких! Значит, чтобы так сказать, надо чем-то или кем-то быть. Не так ли?

Магауину это идет. Ему можно. Мыркымбаю — нет.

❁ ❁ ❁

Мне давно уже кажется, что читатель (особенно в наше рыночное время) теряет интерес к художественной литературе, к беллетристике, обозначился явный кризис вымысла. Люди охотнее читают документальную прозу, публицистику, аналитические статьи, обзоры, мемуары, дневники. Художественную вышивку (особенно постфактум) многие не жалуют, предпочитая разным художественным украшениям, финтифлюшкам, красивым штучкам-дрючкам краткий, но емкий документ, факт. Знаю казахских писателей, которые начинали как «чистые» прозаики, а потом ушли в публицисты, этнографы, культурологи, ученые. Один из них мне как-то признался: ну какой смысл читать мне четыреста страниц описаний природы, надуманных коллизий, бесконечных диалогов, проходных банальностей, затертых сравнений, чтобы на 401-й странице наконец узнать, что герой на сеновале или в ковыльной степи заимел героиню, о чем я догадывался уже со второй страницы текста?

И в самом деле, я знаю «классиков», которые художественно оформляют то, что публицисты вдоль и поперек изъездили, разжевали и рассусолили еще 15-20 лет тому назад. Ныне художественная литература должна быть сжатой, емкой, упругой, конкретной, философичной, жизненно достоверной, лишенной набивших оскомину беллетристических фигур. Кто ныне станет читать 40-листовые романы, пухлые эпопеи-пятерицы, от которых можно опупеть? Еще Твардовский говорил, что нет такой мысли, которую нельзя было бы изложить, выразить на восьми печатных листах. Некоторые казахские писатели никак не могут это осознать и по инерции стряпают тягомотные дилогии, трилогии, тетралогии и хамсы-пятерицы.

Лидия Гинзбург писала (см. «ЛГ» от 08.07.90): «Скажу нечто еретическое: даже у Солженицына меня гораздо более волнуют его документальные, на личном опыте основанные («Архипелаг ГУЛАГ», «Бодался теленок с дубом») вещи, нежели те, в которых он дает простор художественному вымыслу...»

❁ ❁ ❁

Вообще-то — я так понимаю — писатель должен быть там, где трудно. Где трудно народу. Это долг писателя и его единственная привилегия. Сейчас везде говорят, что престиж писателя упал. Реноме его среди народа невысокое. Очевидно, так оно и есть. Но кто виноват? Прежде всего сам писатель. Многие стали откровенными попрошайками, льстецами, лгунами-приспособленцами, государственными рэкетирами, лизоблюдами, аллилуйщиками, ловкачами, лавочниками, жандайшапами. И при этом еще хорохорятся, мыльные пузыри пускают, цену себе набивают. И зачем они народу? Зачем их читать, почитать, уважать, если для таких «писателей» шкурные интересы превыше всего?

Народ не обманешь!

Народ видит, что писатели по старинке тоскуют об ауле, расписывают его былые прелести, а современного аула не знают, избегают его, прячутся в своих городских квартирах и на дачах, закрывают глаза на народное горе.

Иные жмутся к кормушке власти, поют в угоду временщиков, идеологически обслуживают их в надежде на подачку.

Другие отсиживаются за рубежом. Чингиз Турекулович, например, давно решил все проблемы Киргизии и комфортно устроился в Люксембурге.

Там, видно, интереснее.

Каждый находит в это сложное время свою нишу и оттуда иногда чирикает, напоминая о себе. А то и романы верстовые катает о далеком прошлом или переписывает, подлаживая под современность свое стародавнее изделие, полагая, что современники должны ему воздать.

Народ и воздает. Равнодушием, безразличием, брезгливостью, презрением.

Писатели, ошивающиеся возле власти, всегда вызывают двойственное чувство. Вообще-то, по большому счету, писатель по самой своей сущностной природе должен держаться от власти независимо, на почтительной дистанции. Это вполне естественно. Писатель, прислуживающий той или иной власти, — нонсенс, трагедия. Можно ли представить прислуживающего властям Абая, Ауэзова, Толстого?

Увы, в советское время писателя растили, воспитывали в таком рабском духе, ломали его психологически, заставляли ходить на задних лапах и петь, как хозяин велит. Того, кто норовил петь по-своему, на естественный лад, давили, оттесняли, шельмовали, унижали, отвергали, замалчивали, не издавали, преследовали, усаживали в седло задом наперед.

Знаю, как составлялись тогда перспективные планы, разные тематические сборники, какие идеи впихивались, силком втискивались в романы, какие «гражданские» мотивы преобладали, как свирепствовала сверхбдительная цензура, какие слова вытравлялись из обихода, как корчилась душа бедного сочинителя под временем фальши и наглой лжи.

Совсем недавно все это было.

Я по себе все это знаю. По неволе раболепствовали. И ждали внимания, ласки, одобрения, похвалы от власть имущих, власть предержащих в лице ЦК, министерства, Комитета печати, областной, районной администрации. Редко кто сохранил живую душу. И поныне большинство «жазушылар» по-прежнему угодничает перед властью, заискивает, жаждет ее любви, благосклонности, уповая на подачки, ордена, звания. А народ не обманешь. Он точно знает, в ком еще тлеет совесть, а кто давно превратился в попрошайку или в безнравственного торгаша. Знаю одного писателя-попрошайку, который десятилетиями слоняется по кабинетам власти в роли государственного рэкетира. При одном его появлении начальство шарахается, как от прокаженного. Самостоятельный, принципиальный, достойный, независимый, имеющий свое суждение писатель и нынешней власти даром не нужен, Ату его, ату!

Не потому ли писатели играют ныне жалкую роль в обществе?

Критик Игорь Золотусский это точно подметил: «Писатели, собирающиеся на совет к президенту и клянущиеся в верности «престолу», — постыдное зрелище. Поэт выше царя, выше президента. Так было всегда, и лучшие люди русской литературы (среди которых немало наших современников) доказали это» («ЛГ», 30.01.91).

Много ли среди казахских писателей это доказали? Ай мало, очень мало...

Наши аксакалы, приглашенные на беседу к Президенту, начинают пышно и витиевато, состязаясь в красноречии и преданности, на все лады расхваливать, возносить его, считая это своим истинным предназначением. Точь-в-точь наемные акыны при ханском дворе. Потом этот публичный стриптиз по нескольку раз демонстрируют по государственному каналу телевидения. И народ от изумления цокает языками: «Апырай, как бедняги изворачиваются, из шкуры лезут в подобострастном упоении! Даже Джамбул так не мучился, подыскивая сравнение для солнцеподобного Сталина». Помню, один из «классиков-патриархов», предупредив, что он очень честный, откровенный и принципиальный, несмотря на все злословия и пересуды в его адрес, должен прямо заявить, что наш Президент — «отец народа», как Джавахарлал Неру, как Ататюрк. «Да, да! — именно так: отец народа. Я настаиваю!» — в экстазе заявил он, очень довольный своим сравнением, забыв, однако, в эту минуту, что вымученное сравнение несколько лет тому назад было предназначено совсем для другого руководителя. Счастливый, откинулся на спинку кресла, выдержал паузу и зачмокал губами.

Я видел: Президенту было неловко. Да и коллеги, находившиеся рядом, конфузливо заерзали. Состояние писателя, оказавшегося между молотом власти и наковальней народа, самокритично выразил Илья Эренбург:

Пора признать — хоть вой, хоть плачь я,
Но прожил жизнь я по-собачьи...
Не за награды — за побои
Стерег закрытые покои.
Когда луна бывала злая,
Я подвывал и даже лаял...

Куда ни шло, если кто-то в смутную пору хотя бы лаял, а я знаю все больше тех, кто и в те времена и ныне главным образом лишь подвывает.

Нет, это не писательский удел.

❁ ❁ ❁

Роман-трилогия Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот» достался автору очень трудно. Я тому свидетель. Я находился рядом с ним. Он на это произведение извел лучшие годы, работал над ним страстно, с увлечением. На мой взгляд, трилогия — вершина его творчества. Сейчас, годы спустя, можно к чему-то, вероятно, и придраться, но в свое время роман получал мощно. Недаром его столько издавали-переиздавали и переводили на многие языки. Убежден: трилогия того стоила.

Но не только автор, много пота и крови потратили на трилогию и переводчики. Сколько усилий потребовалось только на подстрочный перевод. До меня Нурпеисов «испробовал» переводчиков. Одних отверг сам автор, другие спасались от него бегством, не выдержав его требований-придирок. При этом с каждым подстрочникистом автор работал сам, сидел рядом, придирался к каждому слову, сам (будучи — мягко говоря — не силен в русской грамоте) правил, переписывал от руки на клочках бумаги не раз и не два, искал эквивалент, тональность, ритм и интонацию (даже там, где их и в помине не было). Муторная, адская, галерная была работа. Не всегда удавалось за день вымурыживать одну страницу. Иногда едва конструировали один абзац, который дотошный автор на другой день нередко забраковывал. Но я выдержал, перевел все три книги, посильно потакая требованиям (иногда капризам) автора. И никогда о том не жалел, ибо прежде всего такая работа оказалась для меня хорошей литературной школой. К тому же я был тогда молод, терпелив, усидчив.

Знаю переводчиков, которые работали с Нурпеисовым. На его непосильные требования жаловались все. Ворчали. Стонали. Возмущались. Строптивились. Иные дамы впадали в истерику. К переводчикам своим Нурпеисов бывал не только строг и требователен. Порой беспощаден. Мне жаловались на него многие. Совместную работу вспоминали, как ад. Уж на что Юрий Казаков и Петр Краснов — видные, признанные русские писатели, но и с ними Нурпеисов то и дело жестко спорил, конфликтовал в процессе работы над переводом, тоже правил, редактировал их и навязывал

свою волю. Покойный Тахави Ахтанов усмехался: «Нурпеисов самого стилиста Казакова по-русски правит». Иногда это было смешно и нелепо, но это было так. Казаков возмущался: «Ты б... б... правь свой казахский текст, а в русский не лезь».

Я, понятно, был более покладист, учтив, считался с его старшинством и послушно выносил все нурпеисовские придирки. Шутка сказать: сорок один год работали рядом, бок о бок.

Знаю: многие московские литераторы жалели Юрия Казакова, считая, что он поневоле потратил лучшие свои годы на перевод «казахского бая». Видно, о том где надо не надо поговаривал и сам Казаков, подчеркивая, что это он (только он) «сделал» Нурпеисова. Помню, на московских семинарах-тусовках любопытные литераторы не раз отзывали меня в сторонку и допытывались: сам ли Нурпеисов написал трилогию или за него это сделал Казаков. Черт знает что! На этом фоне, знаю, случались недоразумения между автором и художественным переводчиком. Подогревали разные слухи на сей счет Евтушенко, Конецкий, другие знаменитости. Их суждения особенно охотно раздували казахстанские недоброжелатели Нурпеисова, потирая руки и злорадничая.

Вот что писал, вспоминая Юрия Казакова, Алексей Иванов («ЛГ», 13.08.97): «А как напрасно, глупо были отданы годы жизни на Алма-Ату, где переводил он с казахского трехтомный роман Нурпеисова, который получил широкое признание не только в нашей стране, но и за рубежом (это выделено курсивом. — Г.Б.), — он оправдывался: все ради денег, на ремонт дома. Перевод тяготил его, он говорил, что ему своею кровью приходится «орошать пустыни Казахстана», «зато верный заработок, верный, следовательно, хлеб и луковицы, и семена, и ремонты, и налоги, и все остальное...»

Читать это, вероятно, не только автору трилогии, но и мне неприятно. «Орошать пустыни Казахстана» — сказано явно хвастливо и высокомерно, Казаков не с пустыней имел дело, а с добротной по форме и содержанию, достойной художественной основой. Из дерьма, простите, конфетку не сделаешь. Никакому русскому стилисту-художнику это

не под силу. А, во-вторых, Казаков трехтомный роман не с казахского переводил (в казахском он ничего не смыслил, хотя и считал, что рыбаки Арала должны выражаться русским кондовым языком, как рыбаки Белого моря), а обработал мой с Нурпеисовым подстрочник, над которым мы корпели несколько лет и который, смею надеяться, что-то из себя представлял. К тому же справедливости ради скажу, что добросовестно, основательно работал Казаков главным образом над первой книгой трилогии, над второй — спустя рукава, а над третьей — и вовсе тяп-ляп, заручившись гарантией автора, что «этот немец» (т.е. я) в суд не подаст.

Ну а если Казаков «орошал пустыни Казахстана» своею кровью ради хлеба и луковицы, то это, во-первых, неоригинально, во-вторых, полностью на его совести.

Сказать об этом в открытую — мой долг, ибо к этому выдающемуся творению Нурпеисова равнодушным быть не могу.

❁ ❁ ❁

Существуют писательские курьезы, о которых мы, казахстанские литераторы, и знать ничего не знаем. Мне приходится слышать удивительные толки о том, что трудяга Кадыр Мырза-Али издал 14 томов своих сочинений и еще томов 5-6 держит в запасе, что по 12-13 томов издали Абиш, Дукенбай, Туманбай, Кабдеш, по 6-7 томов — Дулат, Шерхан, Олжас. «Апырай, как они успели столько накатать?! И как только им не наскучит день-деньской шкрябать пером?!» — поражаются читатели или рядовые обыватели.

Я в таких случаях вспоминаю про германского прозаика-«криминальщика» Хайнца-Вернера Хёбера, которого у нас вообще не знают. Я прочел о нем в «ЛГ» (12.12.90). Его романы изданы 600-миллионным (!) тиражом. За 37 лет интенсивной работы он опубликовал 514 криминальных романов. Я должен повторить для убедительности: 514 (!) книг.

Писатель привел журналиста в свою библиотеку и сказал:

- Смотри, здесь собраны у меня самые известные авторы. Сам считай: Жорж Сименон написал 164, Эдгар Уоллес — 94, Агата Кристи — 88 романов. Всего 346, а твой покорный слуга, на Востоке никому не известный, один насочи-

нял 514. К тому же у меня десятки киносценариев, много пьес, коротких юмористических рассказов. В прежние времена, когда работоспособность была повыше, я выдавал в месяц до трех романов, каждый объемом в 160-200 машинописных страниц.

Я, читая это, от удивления, как говорят казахи, хватался за воротник.

Такая производительность труда у нас совершенно немыслима. У нас один почтенный прозаик мурыжил один роман 23 года и при этом страшно гордился этим, считая это редким достоинством, едва ли не высшим профессионализмом.

Нет, с подлинным трудолюбием мы все еще не в ладу.

Покойный мой друг Аскар Сулейменов был оригинальным и неординарным во всем. Он очень увлекался западной литературой, философией, музыкой. И, как мне думается, хорошо знал все эти отрасли. Имел свое суждение. О казахской литературе часто говорил свысока. Спрашивал меня: «Что творится в казахской литературе? Я уже десять лет ничего не читаю».

Это было не так.

Обычная бравада. Фрондерство.

Со многими казахскими прозаиками тесно общался. Знал, кто чем дышит. И кто на что способен.

Но читателем он был, пожалуй, протестно-нигилистического склада. Скудоумия, описательности, дряблого многословия, отсутствия философской концепции, фольклорного украшательства, эпигонства он не терпел, зло высмеивал, отвергал, откровенно глумился. А надо признаться, казахская литература этим грешила. Грешит и поныне. Отсутствие четкого философского стержня, мировоззренческого начала, размытость позиции, претенциозное украшательство, приверженность к обветшалым традициям сковывают казахскую прозу. Есть роман, дилогия, трилогия, есть образы и характеры, язык, а на вопрос:

«Для чего это написано? С какой целью?» — определенного ответа нет. Написано по наитию, как Бог на душу положил. Достоевский писал брату, что от чтения Гегеля и Канта зависит вся его литературная будущность. Не примечательно разве? Вот у большинства казахских прозаиков я такого не замечаю.

❁ ❁ ❁

Часа два читал статьи Магауина в «Жулдызе» (№5/05). С чем-то можно поспорить, но полемист он дерзкий, яростный, напористый, язвительный, задиристый, обладает своим ярким, своеобразным стилем, бьет размашисто, прицельно, логически убедительно, принципиален, излишне не деликатничает, не жалеет своих дружков, бывших и настоящих, и ни в чем, нигде себя в обиду не даст. Писатель оригинальный, строптивый, амбициозный, и позиция его достойна уважения. Но, судя по всему, в своей среде, на своей земле, среди своих соплеменников живется ему непросто. Іші толған у мен дерт, сырты дүрдей, как у Абая. Магауин органически не переносит любую несправедливость, ни за что не промолчит, не проходит мимо. И я думаю: а каково было бы Мухтару, если бы он влез в мою, например, шкуру, как бы он вытерпел все несправедливости, обрушившиеся на мою голову за семьдесят прожитых лет? Ведь он бы тогда наверняка свихнулся. Как же тогда жить? Где находить силы для повседневного испытания ложью, фальшью, несправедливостью, беспределом?

А вообще-то, замечаю, по всей своей психофизической организации — истинный писатель. И потому его душа сплошь в ссадинах, ранах, заплатах, в коросте уязвленного самолюбия.

Такой личности трудно жить. А ведь ТАК писатель, собственно, и живет. У того же, у кого душа обросла қазыжиром в три пальца, у кого шкура толста, как у бегемота, — какой же он писатель?

❁ ❁ ❁

Есть актеры, которые **играют** роль, то есть лицедействуют, и есть актеры, которые ею, ролью, **живут**.

Так и писатели. Одни забавляются литературой, другие пробавляются ею, третьи в ней живут.

Так и политики. Одни хотят преобразовать страну, другим достаточно потолкаться возле государственной кормушки и пускать мыльные пузыри.

❁ ❁ ❁

Разумеется, путей-дорог у литературы много. Но русла два: в сторону народа и в сторону временщиковской власти. Первое русло плодотворное, второе — губительное. Когда я знакомлюсь с книгой, я первым долгом задаюсь вопросом: не что (о чем), не как написано, а для чего, с какой целью написано. Лишь определив, для чего написано, я обращаю внимание на что и как. Если как является самоцелью, такое произведение меня вообще не интересует. Для меня неинтересны и «плетенье словес», и нарочитая заумь, и пускание философских пузырей, и упоение выкрутасами. Знаю: к этим штучкам-дрючкам прибегают, когда сказать нечего. Для меня ясность замысла и четкость вывода прежде всего. Однако не на уровне банальности, примитива и убожества.

Писатель, который прислуживает властям, вынужден все время притворяться, ломать себя, лицедействовать, отрицать то, что в действительности. Верно это заметил Монтень: «Служа государям, мало быть скрытным, нужно быть ко всему еще и лжецом».

❁ ❁ ❁

Мой старший друг, писатель, журналист, переводчик, редактор Алексей Борисович Дебольский уверял меня, что читать следует только Библию и народные сказки.

Там, мол, все есть.

Другой мой наставник Евгений Исаакович Ривлин постоянно подчеркивал, что все и обо всем сказали еще древние греки.

Андрей Кончаловский немного расширил круг необходимого чтения: «Нужно читать Ницше, Библию и Достоевского. Больше ничего в принципе не надо» («Известия», 25.06.2000).

Но для того чтобы читать Ницше, Библию и Достоевского, необходимо, конечно, попутно одолеть не одну тысячу книг.

Недавно один из современных еврейских писателей сказал, что в его детские годы на иврите говорили едва 300 тыс. человек на свете. Ныне ивритом пользуются 8 млн евреев.

А как у казахов?

Боюсь, что с точностью наоборот...

«Начнем с понедельника»
№№ 24, 25, 26/2005

ХРАНИТЕЛИ ИСКУССТВА ПРЕДКОВ

(Эссе)

Братья Кулменовы — Турысжан, Махмуд, Айтберген — Художники с большой буквы, в искони философском понимании, по мировоззрению и духоустройству, по национальному ощущению.

Они не просто мастеровитые оружейники, кузнецы, ваятели, ювелиры, чеканщики, историки и толкователи древнего национального искусства, граверы, рисовальщики, языкознатцы и пр. Они прежде всего реставраторы прошлого, философы, способные объяснить каждую деталь походного, скажем, седла, боевых клинка, сабли, меча, лука, наконечников стрел, кольчуги, множества разновидностей воинских доспехов и бытовых-хозяйственных предметов, утвари конно-кочевой цивилизации. Они талантливые, искусные «уста» столь высоко почитаемого номадами ныне крайне редкого искусства. Своими изящными и грозными изделиями они воскрешают то, что, к горькому сожалению, нерадивыми потомками предано забвению. Они все это восстанавливают по крупицам, самозабвенно копаясь в древних рукописях, книгах, альбомах, казахских эпических сказах и батырских дастанах, старинных миниатюрах и гравюрах, придавая каждой художественной детали, простому глазу незаметной, философское, историческое, географическое, мифологическое осмысление и толкование.

Нет, они не занимаются изготовлением расхожих сувениров или театральной бутафории. Они убежденные противники всякого кича, тем более — откровенной халтуры. Они воссоздают подлинные вещи, имеющие непреходящую художественную ценность и свидетель-

ствующие о высокой культуре, чести и духе славных предков, веками достойно защищавших родную землю от бесчисленных недругов.

Я посетил мастерскую братьев Кулменовых под хлипким навесом на алматинской улице Хаджи-Мукана, крохотные комнатушки старого частного дома, где выставлены поразительные изделия-творения их рук, слушал упоительные рассказы увлеченных братьев, знакомился с их библиотекой, где собраны книги и альбомы по искусству со всего света, прочитал разные отзывы, посмотрел газетные и журнальные вырезки, узнал, что мастерскую братьев посетило немало именитых, влиятельных лиц, в том числе иностранцы. Чего, например, стоят одухотворенные фотографии знаменитого фотографа американца Уэйна Истепа в альбоме «Казахстан Жан дуниесі», изданном в 2001 году в Нью-Йорке!

Я разделяю их восторг. Понимаю: я прикоснулся к подлинному искусству, которое следует всемерно поощрять, культивировать, пропагандировать, описать и осмыслить, сделать достоянием не только казахского народа, но и народов мира, ибо, убежден, это искусство активно и наглядно работает на достоинство и во славу независимой страны, на национальную культуру, на патриотизм, на национальный дух, в котором так нуждаются все граждане суверенной страны. Это очень важно. Иначе сработает старая истина: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем».

Нельзя смотреть на творчество Кулменовых как на поделки, имеющие всего лишь прикладное значение. Здесь корни (тамыр) казахского искусства, казахского нетленного Духа.

Братья Кулменовы — зрелые люди, маститые художники с высоко развитым гражданским, национальным чувством. Старшему из братьев 52 года, младшему — 43.

Живут они, как все настоящие, талантливые художники, непросто. Проблем много. В чем они нуждаются? Вероятно, в понимании, в востребованности их редкого таланта, в поддержке общественности, материальной и моральной, в пропаганде их искусства, в привлечении их шедевров

музеями (жаль, если все обретут иностранцы), в издании внушительного, красочного альбома, иллюстрирующего их многогранный талант. Возможно, нуждаются они и в улучшении бытовых условий, в пропаганде их искусства через телевидение, печать, выставки как внутри страны, так и за рубежом.

Словом, грешно быть глухим к столь нужному и редкому, уникальному дару. Талант их должен быть оценен по достоинству.

«Эпоха», 16.04.04
«Amanat» № 3/04

СОДЕРЖАНИЕ

Х.Садыков. Настольгия по невозвратному 5

РОМАН

Разлад 14

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

СУДЬБА-ВЕЛИКАН 236
СЛОВО БИЯ АЙТЕКЕ 241
СЛЕД СЛОВА 247
МИР МУСРЕПОВА 262
СТАРОСТЬ (эскиз) 268
ЭТЮДЫ ОТ АБДИЖАМИЛЕ НУРПЕИСОВЕ 274
ШАГ К ПРИЗНАНИЮ 276
КТО ИДЕТ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ТРОПОЙ 290
ВЫСОТА СОВЕРШЕНСТВА 324
БАУКЕ, КАКИМ Я ЕГО ВИДЕЛ 328
О МАЛИКЕ ГАБДУЛЛИНЕ МОЙ БЛАГОРОДНЫЙ СКАЗ 333
АХА – АХМЕТ, СЫН КУАНА 344
ОТ НЕГО ИСХОДИЛ ДОБРЫЙ СВЕТ 353
ЧУТКОЕ СЕРДЦЕ ХУДОЖНИКА 358
АЗАМАТ-АМАНАТ 363
ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ 370
ОН ЧУТКО ВЫСЛУШИВАЛСЯ В ТРЕВОЖНЫЙ ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ 374
АСКАР (ПАМЯТИ ДРУГА) 381
С ЧУВСТВОМ БРАТСТВА 396
В ОЖИДАНИИ ПЕРЕВОДЧИКА 399
ВОЗДУХ ЭПОХИ 412
«ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ, НУЖНО ЖИТЬ» 415
ПРИЯТНАЯ ВЕСТЬ ИЗ БЕРЛИНА 422
СЫН ОТЕЧЕСТВА 431
ОН БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПИСАТЕЛЬ, И ШИРЕ, ЧЕМ ПОЛИТИК 432
СБЕРЕЧЬ НРАВСТВЕННУЮ ПАМЯТЬ 437
ТАМЫР ТАМЫРОВ 442
ЕЗАГЛОХШАЯ ТРОПИНКА ИЗ АУЛА КОКТЕРЕК 447
О КАРЛЕ БЕЛЬГЕРЕ, ОТЦЕ МОЕМ 454

САЛЕМ, САЛИМ! 458
ОГНЕМ СОТВОРЕННЫЙ 465
УРОКИ БОРИСА РАУШЕНБАХА 468
«НАРОДНАЯ САГА РОЛЛАНА» 489
ШЕСТЬ ПИСЕМ ЮРИЯ ДОМБРОВСКОГО 500
АБИШ 505
ПАССИОНАРИЙ 514
КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ ОБ ИЛЬЯСЕ 522
КАЛЕКЕ НЕУГОМОННОЙ 532
У КОГО ЕСТЬ ХОРОШИЙ СЮЖЕТ 535
ХРАНИТЕЛЬ ПРЕДКОВ 557

Герольд Бельгер

Избранные сочинения в десяти томах

РАЗЛАД
Том пятый

Художественное оформление обложки — Ян Логинов.
Директор издательства — Ш. Байкенова.
Редактор — Г. Кудайбергенова.
Дизайнеры — К. Кенебаев, Д. Кадырбаева

ИБ № 1(141)

Сдано в набор 14.06.2010 г. Подписано в печать 24.03.2011 г.
Формат 84x108 $^{1}/_{32}$. Объем — 35,25 ус.п.л. Тираж 2000 + 100. Заказ № 46.

Издательство «Балалар адебиеті»,
050009. г. Алматы, проспект Абая, 143. тел/факс: 8 (727) 394-37-64

Отпечатано в типографии ТОО «Полиграфсервис»,
050050, г. Алматы, ул. Зеленая, 13 «А», тел.факс: 8 (727) 233-32-53

Герольд Карлович Бельгер (1934) – казахстанский прозаик, переводчик, публицист, эссеист, литературный критик, литературовед, исследователь литературы российских немцев.

Рос в казахском ауле на берегу Есиля, окончил казахскую школу. Лауреат премии Союза писателей Казахстана им. Беимбета Майлина (1988), заслуженный работник культуры Казахстана (1987), лауреат Президентской премии мира и духовного согласия (1992), лауреат Казахского ПЕН-клуба (1996), лауреат Независимой премии «Тарлан» (2002), лауреат высшей журналистской премии «Алтын Самрук» («Золотой Грифон») – 2007 и др. Автор 50 книг и 1800 публикаций на русском, казахском, немецком языках.

Награжден орденами «Парасат» (1994), «За заслуги перед Германией» (2010) и медалями.

ISBN 978-601-252-037-8